

Станислав Росовецкий



РАМАТУРГИЯ

Тексты. Варианты

Киев - 2024



УДК 821.161.2–2 Росовецкий С.
ББК 84(4Укр)-6 Росовецкий
Р75

Р75 Росовецкий, Станислав Казимирович

Драматургия. Тексты. Варианты: Сборник пьес.
[Электронная книга]. Киев, 2024. 996 с.

В предлагаемом издании собраны русскоязычные пьесы Станислава Росовецкого (1945–2022) – писателя, литературоведа, доктора филологических наук, профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, лауреата Международного литературного конкурса «Коронация слова» (2007, 2011) etc. Публикация сборника приурочена к 60-той годовщине литературной деятельности автора.

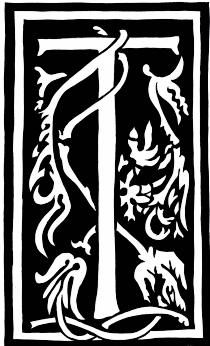
Для театролюбов, ценителей оригинальной мысли и тонкого юмора.

На авантитуле – фото С. К. Росовецкого авторства С. Н. Саломатина.

Использована графика С. К. Росовецкого к изданию «Спадкoємні зв'язки національних словесних культур» (Київ, 1997) – восстановлено Ю. Б. Дядищевой-Росовецкой.

УДК 821.161.2–2 Росовецкий С.
ББК 84(4Укр)-6 Росовецкий

© Росовецкий С. К., текст. 2024
© Росовецкий С. К., дизайн. 2024
© Саломатин С. Н., фото. 2024



ЕКСТЫ





грати «Ревизора»

Комедия



Действующие лица

Иван Семенович Ф и о л е т о в , антрепренёр, трагик и благородный отец бродячей труппы, лет 50-ти, играет *Городничего*.

Светлана Марковна Р о с а л ь с к а я , гражданская жена Фиолетова, бывшая трагическая актриса, лет 45-ти, играет *Анну Андреевну*.

Изольда Аркадьевна Р а с с в е т о в а , сноха Росальской, инженеру, 18-ти лет, играет *Марью Антоновну*.

Алексей Никитич Р а с с в е т о в , сын Росальской, муж Изольды, герой-любовник, лет 20-ти, играет *Хлестакова*.

Пров Петрович П у с т ы ш к и н , комик труппы, лет 50-ти, играет *Землянику, попечителя богоугодных заведений, а также Слесаршу*.

Владимир Ксавериевич М и р с к и й , ссыльный придворный, городской помещик, 40-ка лет, играет *Осипа, слугу Хлестакова*.

Максим Максимович Ч е р е в а т е н к о , владелец кирпичного завода, лет 30-ти, играет *Хлопова, смотрителя училищ*.

Петр Федорович Г л а з о в , подпоручик в отставке, основатель Староводской бесплатной городской библиотеки, лет 35-ти, играет *судью Ляпкина-Тяпкина*.

Николай Николаевич М е нь ш о в , уездный Почтмейстер, в форменном мундире и с сумкой, лет 30-ти, играет *Почтмейстера*.

Адриан Иванович Кочин, уездный Л е к а р ь , лет 35-ти, играет *Добчинского*.

К а к и й К а к о е в и ч , приживал Мирского, городской вестовщик, лет 55-ти, играет *Бобчинского*.

С и о н с к и й , школьный учитель из семинаристов, лет 25-ти, играет *квартильного Держиморду*.

К а т и ш ь , она же Екатерина Макаровна Хоменкова, вдова откупщика, лет 35-ти, играет *Жену унтер-офицера*.

С т ё п к а , лакей Мирского, лет 30-ти, в парике цвета соломы играет *Мишку*, слугу городничего, а в рыжем парике – *Трактирного слугу*.

М а т ю ш к а , суфлёр из отставных актёров, лет 60-ти. В европейской обтрепанной, с чужого плеча одежде.

Р а б о ч и й с ц е н ы , в мещанском платье, неопределённого возраста.

Созонт Ираклиевич Федоров-2, староводский Г о р о д н и ч и й , лет 60-ти. Загримирован и одет точно так же, как Фиолетов.

Жандармский офицер из Харьковского управления Третьей его величества канцелярии, в просторечии «Г о л у б о й », лет 30-ти, в длинной голубой шинели.

Ж а н д а р м . В форме.

«Ревизор», первое издание комедии Н. В. Гоголя (СПб., 1836), тоненькая книжка в картонном переплете в цветочках с черными уголками, снабженная кожаной закладкой.

Действие происходит перед началом, во время постановки гоголевского «Ревизора» и после неё в уездном городке Староводске в конце февраля 1855 года.

На протяжении всей пьесы сцена представляет собою закулисное пространство провинциального театра, показываемое как бы с изнанки. При этом главный занавес реального театра соответствует воображаемому заднику представляемого, а занавес последнего – заднику реального. Представляемый в спектакле театр ветх и запущен, с поломанными машинами для летания и спуска в люк, кулисы и декорации кривы, занавес поеден молью, кое-где заплата. С софита посредине свисает паутина, слева малый колокол и несколько веревок, у одной из них конец разломачен. Справа часть сцены отделена перпендикулярной относительно занавеса стеной с дверью, это гримуборная на два места. За нею дальше уже не видная костюмерная. На авансцене стоят пять разномастных стульев, роскошное мягкое кресло в стиле ампир или рококо и три табурета.

Действие первое

Актёры труппы Фиолетова и любители, в гриме персонажей «Ревизора», актеры своим кружком, любители тоже особой группой, густо столпились на сцене слева. Мирский, элегантно одетый по моде середины XIX века, сидит, развалившись, в кресле в центре сцены. Фиолетов, в костюме и гриме *Городничего*, с книгой в руке (страница заложена пальцем) прохаживается между креслом Мирского и толпой участников спектакля. В гримуборной накладывают на лица последние штрихи, шушукаясь, Росальская и Рассветова, после первых реплик задерживают занавеску.

Фиолетов (*напыщенно*). Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор. (*Обычным своим голосом*). Первая фраза... Она, юноша, определяет успех всего спектакля... Кто мне это говорил – Мочалов или Сосницкий? (*В иной тональности*). Я пригласил вас, господа, с тем...

Мирский. К лешему вашу первую фразу, к лешему и успех ваш! Доложите лучше, Иван Семенович, как у нас дела с публикой?

Фиолетов (*оставаясь в образе, марширует через сцену, топя ботфортами, и становится навтыяжку перед Мирским*). Так что двойственны, ваше сиятельство.

Мирский (*скучно*). Почтеннейший Иван Семенович! Я, как всем известно, убежденный либерал и

даже, страшно вымолвить, демократ, и мне неприятно такое от вас подобострашие. Мне титул «сиятельство» не присвоен, потому что я незаконный сын своего беспутного отца, князя Любомирского, и по именному указу сохранил только огрызок родовой фамилии – Мирский. Как либерал и прогрессист, я не стыжусь своего происхождения, однако какого лешего мне о нём постоянно напоминать? (*Пауза*). И совершенно напрасно вы принимаете меня за миллионщика, Иван Семенович! Я городской помещик вроде вашего Бобчинского. У меня всего имущества, что чахлый лес и худые земли с полусотней нищих крестьян на них, да поместье в Староводске с парком. А родовое имение покойный мой дядя проиграл в карты, всю нашу Варяковку, да еще и с родовым костелом, в котором похоронено два десятка Любомирских. Вот только зачем я вам об этом рассказываю? А-а-а, вспомнил я, зачем...

Фиолетов (*оставаясь навтыяжку, выпучивает глаза. Язвительно*). Да уж, ваше сиятельство.

Мирский. Опять вы... В отставку я вышел церемониймейстером, так что меня следует титуловать высокоблагородием – вот только стоит ли между нами? Уж давайте лучше по имени-отчеству.

Глазов (*шепчет на ухо Лекарю*). А сам в карете с княжескими гербами разъезжает, доктор.

Лекарь (*так же*). Известное дело, демократ.

Фиолетов (*щёлкает каблуками*). Виноват, ваше высокоблагородие!

Мирский (*присматривается к Фиолетову, усмехается*). Да ладно уж, господин Городничий! О какой двойственности вы говорили?

Фиолетов (*искренне изумлен*). Я? О двойственности? Человеческой природы? С чего бы это? Ах да, вы о публике спрашивали. Тут лучше из первых рук, сударь.

(Рычит). Матюшка! (Пауза. Мягким голосом). Господа! Будьте добры, позовите суфлера.

Суфлер (выныривает из толпы, расталкивая актёров. Подходит, вытирая рот рукавом). Ну, вот он я! Чего разорался, Иван! Думаешь, как в ботфорты влез, так уж и прямым полицейским начальником стал?

Фиолетов (всплеснув руками, горестно). Тяпнул! Уже тяпнул? Где же твоя совесть, Матвей? Мы же с гурьбой любителей, без генеральной репетиции на «Ревизора» отважились, и на тебе, суфлере, весь спектакль держаться должен...

Суфлер. И будет держаться, не шлёпнется же! А тяпнул для куражу, как положено. Меня теперь хоть опять на сцену в «Гамлете», вторым гробокопателем! (Нервный смех из толпы актёров-любителей. Оглядывается обиженно). Зачем звал?

Фиолетов. Расскажи вот сам его сиятельство..., нашему благодетелю, как там дела в кассе. И вообще с публикой.

Суфлер (солидно откашлявшись в кулак). Значится, в партер и в ложи продано 126 билетов. А на галерку народу набилось по завязку, потому как его сиятельства лакей выдавал каждому простолюдину, согласному пойти в театр, по калачу и по чарке очищенной.

Мирский (гордо). В том подражал я Петру Великому, который так поступил при открытии первого театра в Петербурге.

Суфлер. Однако один мастеровой обижался. Я-де и за свои бы выпил, говорит, коли б знать, что така мода пошла, а зашел бы всё равно: любопытно и нам представление посмотреть. Это раз. (Загибает палец).

Из-за спин актёров доносятся аплодисменты, крики «Начинайте!», «Пора!» и свист.

Ф и о л е т о в . Не извольте беспокоиться, Владимир Ксавериевич, всего на четверть часа задерживаемся. У нас вроде как премьера, а для премьеры задержки обычное дело...

М и р с к и й . Вы со мною, словно с ребенком. Будто я на театрах не бывал. (*Суфлеру*). Валяйте, почтеннейший, не тяните.

С у ф л ё р . Странные с публикой творятся дела, доложу я вам. Что 126 билетов было продано, дознался я, у вас же перед проходкой моей в кассу точное время спросивши, ваше сиятельство. Имелось тогда у нас до начала спектакля, на афише объявленного, то бишь до семи часов пополудни восемь минут. И только что заглядывал я в кассу...

М и р с к и й (*достаёт золотые часы на цепочке, отщелкивает крышку*). Сейчас ровно четверть восьмого.

С у ф л е р . Вот. А там, в кассе, продано всё те же 126 билетов. Такого не бывает, чтобы дворяне на театр не опаздывали. Это два.

Все присутствующие на сцене переглядываются.

Ф и о л е т о в . В театральном деле всяко случается. (*Осторожно, отодвинувшись от Суфлёра*). Бывает, что деньги у господ за кресла берут, а билеты забывают отдать. А вот откуда забывчивость происходит? Видать, планеты таким манером промежду звёзд расположились.

С у ф л ё р . Какие планеты, Ваня? Да я ушам своим не поверил, когда ты намекнул, что моя супруга Василиса Кузьминична, посаженная тобой на раздаче билетов, могла своровать! Во-первых, она честнейшая женщина. Во-вторых, за нею там приглядывает лакей его сиятельства. (*Мирскому*). И тот ваш лакей Степан, парень рассудительный и к человеку искусства

уважение имеющий, вот что велел вашему сиятельству секретно донести. (*Громко шепчет*). Степан говорит, что ни один чиновник не пришел, ниже жены их и прочие из семей ихних зрители. Это три.

Мирский. Ну, как раз здесь-то никакого секрета нету. Это мне еще в полдень перенесли, что городничий распорядился никому из чиновников на наш спектакль не ходить и домашних своих не пускать. Вы ведь ручаетесь за свои слова, полупочтенный наш Какой Какоевич?

Какой Какоевич (*в костюме и гриме Бобчинского выбирается из толпы, подскакивает к Мирскому*). Так точно, благодетель. Ручаюсь головой.

Мирский. Вот потому-то и нет никого из чиновников на театре, за исключением нашего дорогого почтмейстера. Он любезно согласился сыграть своего сослуживца по почтовому ведомству почтмейстера Шпекина.

Почтмейстер (*бодрится*). Много он на себя берет, наш городничий! Впрочем, я сам присутствовал (больше из любопытства), когда он поутру чиновников собрал, и слышал своими ушами его распоряжение. Господин городничий сказал: «Чтобы мне ни одной самой завалящей и пьяной чиновничьей морды не оказалось в зале!» А я, господа, и не в зале вовсе, а на сцене.

Его никто не слушает. Новый взрыв шума и криков в зале.

Фиолетов Чёрт! И вправду пора начинать. (*Суёт Суфлёру книжку, крестит его*). Иди, Матвей, в будку. И Христом-Богом тебя молю: не засни там, как в Новочеркасске на «Дочери драгунского полка».

Мирский (*хихикает. Вполголоса*). Надо же, прямо на дочери ...

Суфлер. Кто старое помянет, Ваня...
(Поворачивается, чтобы уйти).

Глазов (в гриме судьи Ляпкина-Тяпкина). Нет, не могу молчать! (Останавливает Суфлёра, обращается к Мирскому). Если я предоставил вам книгу из основанной мною Староводской бесплатной городской библиотеки, если для общественной пользы не пожалел драгоценного прижизненного издания «Ревизора», то это еще не значит, что с ним можно так варварски обращаться! (Фиолетову). Вы, почтенный, позволили себе держать в книге вместо закладки свой собственный палец. А теперь этот ваш пьянчуга хватает моего Гоголя своими грязными руками. (Суфлёру, трагическим тоном). Я вижу, Ирод, что нос ты успел уже насандалить, а вот руки ты разве мыл?

Суфлер (чуть было не хватил «Ревизором» об пол, потом зажимает его под мышкой, а обеими руками хватается за голову). Оскорблять Иродом? Меня? Меня, лучшего благородного отца в Пермской губернии?

Мирский. Господа, да успокойтесь же! Господин Белоглазов, я в прошлом месяце побывал в вашей библиотеке и прекрасно запомнил, как у вас служитель надевал случившемуся читателю на пальцы бумажные колпачки. Пошарьте у себя в карманах, наделайте из ненужных бумажек колпачков, наделите ими суфлера и давайте начинать! А в антракте Матвей Батькович помоем руки. И с мылом, а?

Суфлер (ворчит). Если пожалуете гривенничек на баню, господин библиотекарь, я не только руки вымою, а также ноги и голову. Драгоценное издание... А по страницам написано: «Читал я сию книгу, и видел в ней я фигу. Воспитанник Сидоров 2-ой». (Уходит).

Рабочий сцены. Господин антрепренёр, а, господин антрепренёр!

Фиолетов (*в сторону*). Однако нервное начало... Впрочем, как всегда, как всегда и везде. (*Громко*). О, чуть не забыл. Господа любители, тут наш рабочий сцены желает вас поостеречь. Сидорыч, в двух словах!

Рабочий сцены. Господа хорошие, на сцене и за кулисами имеются механизмы, опасные которые для вашего здоровья. Вот за это помимо меня дергать (*указывает на веревки*) Боже упаси. Механизма подъемная: на ней с одной стороны подвешивается за кольцо на поясе какая-нибудь дамская воздушность в виде Ангела, или даже такой приятной консистенции, как наша знаменитость госпожа Росальская (*полупоклон в сторону гримуборной*), а с другой стороны – добрый мешок с песком. Дерните, запустите пустую механизму, и мешок сорвется на сцену, запросто кому-нибудь шею сломит. За правую кулису и не тыкайтесь: там пол прогнил. Как ходите по сцене, под ноги смотрение имейте, чтобы не наступить на люк и не провалиться.

Череватенко (*мрачно*). А куды потрапышь, если провалишься?

Рабочий сцены. Обнакновенно куда. В ад, ваше степенство. (*Достаёт трубку, чиркает спичкой о подошву, прикуривает. Актёры-любители кривятся от вонючего духа «сернички»*). А главное – не курите здесь, господа хорошие! Вокруг картон, холсты пересохшие – польхнет, и поминай, как звали. А кстати, где пожарный? Ему положено за кулисами в полной амуниции стенку подпирать.

Фиолетов. Да уж... Теперь пора! Теперь по старому театральному обычаю сосредоточимся и помолимся перед началом. Молчание, *silentium!*

Все на сцене, кроме Мирского, критически оглядывающего свои ногти, послушно сосредотачиваются и бормочут. Некоторые крестятся.

Мирский (*встаёт, поворачивается к гурьбе актеров, опираясь правым коленом на сиденье кресла. Протягивает вперед руку, как оратор*). Милостивые господа! Согласен, за такое начинание и прогрессисту не грех помолиться. (*В толпе ропот. Продолжает, не обращая внимания*). Ведь этим спектаклем талантливого русского писателя Гоголя наша группа передовых и свободомыслящих людей Староводского уезда дает сегодня решительный бой продажной камарилье городских взяточников во главе с грубым служакой городничим. Увидев на сцене дикие рожи чиновников, обличённых Гоголем, и сравнив их с нашими монстрами, кои ничуть не краше, дворяне Староводского уезда прокатят на приближающихся выборах приспешников и приятелей городничего, и на должностях предводителя дворянства (*выпрямляет спину*), председателей и заседателей палат гражданского и уголовного суда и прочих засядут наши кандидаты! Староводск окажется в наших руках, в руках людей гуманных и прогрессивных, людей честных и порядочных. Господа, не бойтесь! Пусть полицейская власть принадлежит нашим противникам, зато Бог за нас, за нами правда и незыблемые права российского дворянства и граждан Российской империи, под защитой справедливых законов которой нам не страшен никакой Держиморда и никакой взяточник в чиновничьем мундире! Я кончил, господа.

Пауза. Потом начинает аплодировать Лекарь, к нему присоединяются Череватенко и Глазов.

Мирский Я счастлив, господа, вашей безоговорочной и единогласной поддержкой. (*Достаёт белоснежный платок и обмахивается им*).

Почтмейстер. А я, пожалуй, пойду. Я ведь совершенно о том забыл, господа, а между тем я

недавно женился. Моя Олимпиада Вуколовна, небось, обо мне уже беспокоится. *(Актёры дружно удерживают Почтмейстера за полы мундира. Он остаётся).*

Мирский *(снова разваливается в кресле. Томно)*. Какой Какоевич, не в службу, а в дружбу, сходите вы, заберите сюда Стёпку. Мне пора переодеваться, да и ему тоже. Вы же Бобчинского играете, вам не тотчас выходить.

Фиолетов. Да заодно заскочите, голубчик, в кассу. На вас там набросится крикливая баба. Прикажите ей от моего имени выручку и оставшиеся билеты взять за пазуху и встать вместо Степана на дверях. На галёрку, впрочем, пусть пускает по-прежнему безденежно.

Какой Какоевич. Лечу повинность исполнять. *(Убегает)*.

Фиолетов. Матвей, я тебе пьесу отдал, так уж ты разогни да назначай, кому в первое отделение на сцену.

Голос Суфлера. Сейчас. *(Важно)*. Так что господа «городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных» – пожалуйста бритесь!

Лекарь. Извините, но разве я выхожу не в третьем явлении?

Фиолетов. Да это не о вас, господин доктор, вы ж у нас Добчинский! Это в комедии господина Гоголя выведен «Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь». Он там он по-русски не бум-бум, ни аза не знает, а ему чиновники без конца: «Ауфидерзеен, Христиан Иванович!» Вот мы с Владимиром Ксавериевичем и решили сократить: без немца обойдется! Да и без частного пристава Уховертова заодно. *(Актёры уходят на сцену)*.

Мирский. Иван Семёнович! На секунду! Скажите, во-первых, почему у вас Держиморда в маске?

Фиолетов. Наш гример, правду сказать, сбежал еще в Рыльске, и с тех пор моя супруга Светлана Марковна всех гримирует. Так она убедила меня, что у господина Сионского физиономия до того постная и ученая, что под квартального полицейского Держиморду его никак не загримируешь. Вот она и не пожалела своих белых ручек, полночи лепила маску из папье-маше и раскрашивала.

Мирский. Прямо тебе античный театр! А признайтесь, Иван Семёнович, что сам же учитель её и уговорил. Надеется, хитрец, что под маскою не узнают.

Фиолетов разводит руками. Порывается убежать. За спинами актёров новый взрыв аплодисментов, криков и свиста.

Мирский. И последний вопросик, Иван Семенович...

Фиолетов. Какой еще вопросик? Театр разнесут...

Мирский. Нету ведь никого на роли Слесарши и Унтер-офицерской вдовы.

Фиолетов. Не вполне нету, ваше сият... Владимир Ксавериевич. Наш комик Пустышкин сотрёт грим Земляники и сыграет Слесаршу. Проказник Пустя... то есть Пров Петрович замечательно представляет старух, обхохочешься... А третье и четвёртое явления совсем уберём, тогда он успеет к следующей реплике Земляники и переодеться снова, и загримироваться... Простите, бегу!

Мирский. А Унтер-офицерша?

Фиолетов. Да ну её к черту! Обойдёмся...

Мирский *(поднимается из кресла)*. Позвольте, но это же персонаж огромной обличительной силы! Публично высечена беззащитная вдова павшего героя, защитника православного нашего Отечества, да еще и по ошибке. Тем более сейчас, когда в Севастополе тысячи нижних чинов кладут головы... *(Пауза)*. Куда же они их кладут? И в самом-то деле...

Фиолетов. На алтарь отечества. Я должен бежать!

Мирский. А зачем класть головы на алтарь? Уж не карбонарий ли вы, Иван Семёнович? Да Бог с ними, с головами... *(Подходит к антрепренеру, подталкивает его в плечо поближе к гримуборной, повышает голос)*. К тому же мне стало известно, что роль Унтер-офицерши репетировала ваша любовница, травести труппы Полина Лучезарнова. *(Фиолетов замирает на месте)*. Однако после того, как я вас авансировал, Иван Семёнович, и вы подарили на мои деньги своей супруге боа из чернобурки...

Фиолетов *(никуда уж не торопится, стоит перед Мирским в почтительной позе, гримасничает и тычет через спину оттопыренным большим пальцем в сторону гримуборной. Шепчет)*. Какая еще чернобурка? Наврал вам ваш Какой – обыкновенная лисица с подпалинкой... Да и зима на дворе, морозы...

Мирский. В общем, ваша *maîtresse* госпожа Лучезарнова, она же травести (ах, баловник, баловник!), разгневалась и, чтобы наказать вас, позволила месье Гранаткину увезти себя в его имение Загуляйки.

Фиолетов *(в панике)*. Тише, тише, Господа ради!

Мирский *(ласково)*. Почему вы так её боитесь, госпожу Росальскую? Разве вы с нею не в гражданском браке? Разве между вами не безоблачные отношения свободно соединивших свои жизни передовых людей?

Фиолетов. О Боже!

Мирский. Как странно! Знаете, я поработал за вас, пригласив на роль Унтер-офицерши одну свою старую приятельницу, Катишь Хоменкову. Я уже послал за ней карету с форейтором. Накрасится, расфуфырится и подъедет. А вы можете идти.

Фиолетов, топая ботфортами, убегает за внутренний занавес.

Стоящие слева Почтмейстер, Рассветов и Лекарь переглядываются. Почтмейстер снова делает движение, будто хочет убежать, но останавливается.

Мирский (*снова развалился в кресле*). Господа, я мог бы успокоить Ивана Семёновича, пояснив, по какой уважительной причине месье Гранаткин не станет посягать на честь мадмуазель Лучезарновой.

Лекарь. И я бы смог, с вашего позволения.

Мирский (*поднимает брови*). В самом деле? Однако мы с вами промолчали, доктор, и теперь первая реплика «Ревизора» будет произнесена с неподдельным чувством.

Рассветов (*присвистнув*). Ничего себе режиссерский приёмчик...

Мирский одаряет актёра неласковым взглядом.

Голос Фиолетова. Сидорыч, поднимай занавес, родной!

Мирский в кресле скрещивает пальцы.

Рабочий сцены. Ну, с Богом! (*Тянет за одну из верёвок*).

Со сцены слышится глухой удар, ахи-охи. Из зала – крики и свист.

Рабочий сцены (*чешет в затылке*). Эхма! Не та была, вишь, веревка-то...

Фиолетов (*за собою, пыхтя, вытаскивает на веревке большой толстый мешок. Плаксиво*). Ты что же творишь, инквизитор гишпанский? Смерти моей хочешь?

Рабочий сцены (*смущён, подбегает помочь*). Извиняюсь, Иван Семенович. Не за ту верёвку потянул. Они тут как-то не по-русски подвешены.

Мирский. Там хоть все живы?

Фиолетов. Живы-то живы, но... Держиморда сомлел. Груз-то рядом с ним ухнул. Нет ли у вас с собою, доктор, нюхательных солей?

Лекарь (*подаёт пузырек*). Всегда беру с собою, когда надеюсь оказаться в дамском обществе.

Рабочий сцены (*тянет тем временем за другую веревку*). А вот она где, от занавеса. (*Гордо*). Вишь, открывается!

Фиолетов. Да погоди ты! (*Убегает. Пауза, заполненная шумом в зале*).

Голос Фиолетова (*истошным шёпотом*). Сидорыч, давай!

Рабочий сцены (*сперва недоверчиво присматривается к веревке, потом хватает её и вытягивает до упора*). А я что говорил? Она, родимая!

Шум постепенно стихает. Редкие аплодисменты.

Голос Фиолетова (*с неподдельным чувством*). Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

Голос Суфлера. Аммос Федорович, господин Глазов. «Как ревизор?» (*Пауза*). «Как ревизор?»

Голос Глазова (*тихоньким тремоло*). К-к-ак р-р-рев-в-в-изор?

Голос Суфлера. Пустя, ты. «Как ревизор?»

Голос Пустышкина (*громко, раскатисто*).
Как ревизор? (*Мирский недовольно морщится*).

Голос Фиолетова. «Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: чёрные, неестественной величины! пришли, понюхали – и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо... (*Мирский затыкает уши пальцами. Пауза. Отнимает пальцы от ушей*). ...и уведомить тебя». А! Вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию... (*Мирский прижимает пальцем одно ухо. Голос Фиолетова звучит раза в два тише*)... и особенно наш уезд. (*Мирский снова затыкает уши пальцами. Пауза. Отнимает пальцы от ушей*) ... потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки...» (*Мирский машет рукой в сторону зала и сцены и топает ногой*). Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрипке... (*голоса на сцене замолкают до конца спектакля*).

Стоящие слева Почтмейстер, Рассветов и Лекарь усталились на Мирского. Почтмейстер мизинцем правой руки прочищает себе правое ухо и таким же порядком левое.

Лекарь. Вы это проделали посредством электрического разряда, не иначе...

Мирский (*любезно*). Простейшим способом, доктор. Попросил Сидорыча опустить внутренний занавес. У него же, как всегда, заедало.

Почтмейстер, Рассветов и Лекарь синхронно поворачивают головы. Рабочий сцены, и в самом деле, красуется у верёвок.

Рассветов. Свежо предание, а верится с трудом.

Почтмейстер. Нет, нет, ваше сиятельство. Вы – масон, розенкрейцер. Русский Калиостро!

Мирский. Как вам угодно. А мне нужно подумать. Если желаете смотреть спектакль, господа, подойдите к левой кулисе. Да и указания суфлера в сем случае не пропустите. Месье почтмейстер, ваш выход следующий.

Почтмейстер. Может, когда-нибудь в другой раз, ваше сиятельство? Ах, простите, зарапортовался.

Мирский *(в сторону)*. Почему же всё-таки не было опоздавших? Запретил городничий служилому люду показываться на представлении – и прекрасно, ибо сам подставился, дураком. Но неужели... *(Задумывается)*.

Слева появляются Какий Какоевич и Стёпка. Весьма предупредительно, с извинениями и поклонами, проталкиваются мимо актёров у левой кулисы, движутся через сцену, трогательно поддерживая друг друга и остерегая *(тише, мол, авось не заметит!)*. Мирский поворачивает голову и внимательно смотрит на них. Пауза.

Мирский *(вкрадчиво)*. Так с какой стати посмели вы меня подвести?

Какий Какоевич. Да так как-то вот. Нóлито уже было, не пропадать же вину и закуске, ваше сиятельство.

Стёпка. Да я и не пил вовсе, Владимир Ксавериевич, разве что чуточку попробовал вино, не прокисло ли оно. Нешто мы не понимаем? Нешто мы позволили бы себе неблагопристойность в..., в...? *(Уставился на Какия Какоевича, надеясь на его помощь)*.

Какий Какоевич. В трепетном ожидании пребывая... *(Неожиданно громко икает. Беспokoйно ос-*

матривается: икота сбила его с мысли. Неуверенно и тише). В трепетном ожидании...

М и р с к и й . То есть вы, трепеща своего выхода под огни рампы, не вынесли мук ожидания – и...?

К а к и й К а к о е в и ч . В трепетном ожидании ужина после представления. С настоящим шампанским, вы уже изволили заказать у Филиппьева. Вот, вспомнил я, чего хотел сказать.

М и р с к и й . Тридцать горячих, Стёпка. А сечь будет Герасим-кузнец. Напомни мне, когда вернёмся в имение.

С т е п к а . Воля ваша, Владимир Ксавериевич. А право же, не по вине кара.

М и р с к и й . Поговори еще мне, пьяный скот! А теперь влепи Какою пару добрых затрецин. С правой размашки, а потом и с левой.

К а к и й К а к о е в и ч . Да как вы смеете!

С т е п к а (*подступает к Какию Какоевичу*). Прости, друг Какой: не моя воля, барина. (*Размахивается*).

М и р с к и й . Стой, не так! Остатки грима смажешь. Лучше в том же порядке два хороших тычка под ребра.

К а к и й К а к о е в и ч . Ой! Ой! Как вы посмели? Чтобы меня, потомственного дворянина, избивал ваш крепостной?

М и р с к и й . Но вы же соглашались со мною, Какой Какоевич, когда я пропагандировал идею всеобщего равенства людей.

К а к и й К а к о е в и ч . Я тотчас же покидаю вас, ваше сиятельство. Ноги моей больше не будет в вашем доме!

М и р с к и й . Так вот вам на дорожку пара пирожков. Отвесь, Степка, ему под дышалку. И полновесных, не жутьничать мне!

Степка. Каковы дружки, таковы им и пирожки.
(Размахивается).

Какий Какоевич, задыхаясь, падает на сцену. Разевает рот, как рыба, выброшенная на берег, хочет вздохнуть и не может. Катается по сцене. Актёры собираются вокруг него, неодобрительно посматривают на Мирского. Какой Какоевич начинает плакать.

Рассветов. И не стыдно вам, господин Мирский?

Лекарь. Удары в солнечное сплетение чрезвычайно опасны: невзначай и убить можно.

Мирский. Ничего, переживу! И Какой переживет. А поплакать сейчас ему, подлецу, даже и полезно. Гладишь, и часть спиртуозных паров со слезами выйдет. (Начинает злиться). А на меня чего смотрите? Думаете, что это за демократ такой? А уж такой я демократ. И Гоголь ваш драгоценный был не лучше. Посмотрите сами: у него в «Ревизоре» явления обозначены без внимания к приходам и уходам слуг. Будто они и не люди вовсе! А вспомните его несчастненьких, его знаменитых «маленьких людей» – ведь все как один дворяне, и Башмачкин, и Поприщин! Да и сами вы...

Какий Какоевич внезапно вскакивает на прямые ноги, хохочет, барабанит себя по брюху кулаками, подпрыгивает на обеих ногах.

Какий Какоевич (выкрикивает). Обманул! Надул всех! Обмишулил! У меня же на живот подушка подложена!

Сионский. (Вбегает в маске Держиморды). Господа, вы что ж, заснули здесь? Суфлер уже охрип, Почтмейстера выкликаючи. Меня господин Фиолетов

послал, а сам принялся по второму разу про письмо рассказывать!

Почтмейстер (*вздрагивает*). Вы как знаете, господа, а я не пойду. Решительно не пойду! Тут и за сценой чёрт знает что делается, а вы меня – на сцену! Чур меня, чур!

Изловчившись, Рассветов и Лекарь хватают брыкающегося Почтмейстера за руки, Какий Какоевич со Степкой – за ноги, раскачивают и забрасывают на сцену.

Рассветов (*декламирует*). Взглянуть, как треснулся он: грудью или в бок?

Степка (*поднимает с полу сумку Почтмейстера, протягивает Лекарю*). Господин Почтмейстер свою сумку потеряли, а им без сумки как без рук. Забросьте, будьте любезны, господин лекарь! (*Лекарь выполняет просьбу*).

Мирский. Доктор, вы подготовьтесь сами, следующий выход ваш. И ты, приятель, приободришь, слезы осторожно вытри и сосредоточься на роли. Лучше бы вам за руки взяться и войти вместе, друг друга приободряя.

Какий Какоевич. Эх, ваше сиятельство, обиделся я всё-таки на вас. Едва я, фигурально выражаясь, успел вдохнуть запах кулис, едва я, опять-таки фигурально выражаясь, человеком себя снова почувствовал, как вы меня – под дых. Не бойтесь, никуда я от вас не денусь. Таким лизоблюдам, как я, прежде чем обижаться на благодетеля, требуется сперва новое блюдо найти.

Мирский. Но-но! Тебе ничто не мешает подать на меня в суд за оскорбление твоей чести.

Какий Какоевич. А вот вам, ваше сиятельство! (*Тычет кукиш*).

М и р с к и й (хохочет. Поворачивается к Стёпке). Ну, давай мне переодеваться. Скоро и нам с тобою на сцену.

Стёпка лихо открывает дверь в уборную, срывая задвижку. Оттуда вылетают, визжа вполголоса, Росальская и Рассветова и, отвернувшись от мужчин, срочно завершают свой туалет.

Росальская. Что это вы себе позволяете, господин Мирский, а ещё в университетах обучались?

Рассветов (бросается к матери). Он вас обидел, маменька?

М и р с к и й (невозмутимо). Прошу прощения, mesdames. Однако же и вы, госпожа Росальская, подзадержались в уборной.

Росальская (отстраняет Рассветова). Ещё бы! Я ведь гримировала всю эту вашу команду, замучилась прямо. А вот сноха моя Изольда Аркадьевна мне крепко помогла с костюмами, все свои пальчики исколола.

Рассветова (делает книксен). Счастлива служить вам, ваше сиятельство.

М и р с к и й. Правда? Это приятно. (Заходит в уборную вслед за Степкой. Тот раздергивает занавески). Инженю, она же прекрасная гризетка, сегодня ещё припомнит эти свои слова.

Степка. Женить меня в наказание собрались? После Красной горки? Эх, не по вине кара.

Рассветов (жене). Не стоило тебе, Зóля, расстилаться перед этим сатрапом.

К а к и й К а к о е в и ч внимательно рассматривает кресло в свой треснувший лорнет и усаживается в него в той же позе, что давеча М и р с к и й.

С т ё п к а (*снимая сюртук с хозяина*). Теперь извольте ручки держать посвободнее... вот, хорошо...

М и р с к и й . Давай рассказывай... Впрочем, некогда. Меня сейчас только одна вещь интересует. Скажи, много ли простолюдинов пришли в театр или просто появлялись на площади после третьего звонка?

С т е п к а . И вовсе даже нисколько, Владимир Ксавериевич, я сам удивлялся. Ни чистой публики, ни мастеровых. И площадь будто вымерла. Мы почему и соблазнились с Какоем, что оказались в греховной праздности перед морем разлитым даровой водки...

М и р с к и й . Не бывает ничего дарового в жизни, болван! Я за ту водку заплатил заёмными деньгами, а ты еще доплатишь собственной спиной. Да только дело не в тебе... Дай сосредоточиться!

Л е к а р ь (*пытается привлечь внимание Какия Какоевича*) Зовут уже нас подготовиться к выходу на сцену, Какой Какоевич.

К а к и й К а к о е в и ч (*зевая и потягиваясь*). Да что это вы все заладили: Какой Какоевич, Какой!... Особливо же вам не к лицу и не по чину, доктор: вы человек молодой, не чиновный, не богатый, да и не дворянин. Я, с вашего позволения, Акакий Акакиевич, это наш сиятельный остроумец меня для смеху переименовал.

Л е к а р ь . Прошу прощения, Акакий Акакиевич. (*Подозрительно*). А фамилия ваша случайно – не Башмачкин?

Р а с с в е т о в а смеется и аплодирует. Л е к а р ь смущен и неловко кланяется.

Р а с с в е т о в (*в недоумении*). Вот ведь любит Зóля посмеяться... Иной раз ей только палец покажи.

К а к и й К а к о е в и ч . Фамилия-то моя честная-благородная, она вам ни к чему... А вот почему бла-

годетель Какием Какоевичем прозвал, я уж лучше вам сам расскажу, а то ведь всё равно кто-нибудь продаст – и обязательно приврёт, подлец, чего и не было. Были же именины у нашего полукнязя, и я до уголка своего, занавеской в людской отделённого, добрести не сумел и прикорнул, пьяненький, в библиотеке на диванчике. А проснулся, ощущая... обделавшись, если коротко, а вокруг гости хохочут. И хозяин стоит, зажав нос, надо мною в халате и сурьезно так, для смеху, укоряет меня. И, как на грех, тут же рядом, под шкапом красного дерева, присела любимая борзая сука полукнязя, Зорька, и гадит. А он на неё никакого внимания! *(Из-за кулисы слева выбегает Сионский. Манит к себе Лекаря, тот не видит, увлеченный рассказом)*. Однако же я тогда нашелся: «Где же ваша справедливость, Ваше сиятельство? Собаке вон у вас позволено какать в библиотеке, а потомственному дворянину – уже нельзя!». Мои острые слова по всему уезду прогремели, всё жду, когда их и в газетах пропечатают... Только непонятно мне, как это они до вас не дошли? *(Снова выбегает Сионский. Молча воздевает руки горе)*.

Лекарь. Просто я не в тех эмпиреях вращаюсь, Акакий Акакиевич. Смотрите, опять Держиморда выскочил, нас зовет!

Какий Какоевич. Ладно уж, Бог с вами. Дайте мне руку. Да, вот так... *(На ходу откашливается, пробует голос)*. Чрезвычайное происшествие!

Лекарь *(робко)*. Неожиданное известие!

За кулисой исчезает сначала Сионский, затем Лекарь за руку с Какием Какоевичем.

Росальская. Зачем ты делаешь, душа моя, этому чудаку авансы, да еще такие непонятные?

Беден, фигура совершенно не танцевальная, а ноги кривые. Ещё вообразит о себе, станет надоедать.

Рассветова. Ах, маменька! Впрочем, и ты, Алексис, перестань витать в облаках и тоже послушай. Доктор не станет докучать. Он смешной, и я не боюсь его. Чем и приятен, в отличие от его сиятельства: тот, противный, так и ест меня глазами. Я вот всё думала, маменька, о том, что вы сказали давеча насчет белого рюша к тому синему платью, ну, которое под горлышко, вы в нем еще играли Марию Стюарт. Не будет ли слишком мрачно для вас? И не идет к вашим глазкам. *(Рассветов пожимает плечами и начинает смотреть по сторонам).*

Росальская. О, как давно это было, дружок! Я о том золотом времени, когда я играла Марию Стюарт...

Рассветова. Вы ещё, маменька, хотели превзойти знаменитую Рашель.

Росальская. ...и когда ещё влезала в то синее платье. Теперь-то ясно вижу, что было это для меня золотое время, а тогда я злилась, что растолстела (представляешь?) и что молодость почти прошла, а я мало чего к своим тридцати достигла. Посмотрела бы я тогда на себя теперешнюю!

Рассветов. Маменька, да вы прекрасно выглядите!

Рассветова. Зачем вы клеветеете на себя, маменька?

Росальская. Уж не знаю, что и ответить... Боюсь, что вы всё-таки мне льстите, дети. *(Обнимает обоих за плечи).* А платье это, синее с белым рюшем, мы для тебя перешьём, дружочек. Только ты уж прости, но там обшлага обтрепались. И прореха...

Рассветова. Где прореха, маменька? *(Росальская шепчет ей на ухо. Соображая).* Тог-

да обязательно надо будет пустить кружевное, этакое воздушное, внизу рукавов. А вот на мадам Сижу... Не ушить ли там – и от талии вниз по всей длине? (*Задумывается*).

Из гримуборной выходят Мирский и Стёпка. Мирский в красной косоворотке, плисовых шароварах и грубых сапогах, в руках держит золотые карманные часы, на носу оставлены золотые очки. Стёпка в парике цвета соломы.

Стёпка (*ворчит*). И правильно, неча в уборной часы оставлять. Кто её знает, эту актёрскую шатию-братию...

Рассветов фыркает. Мирский находит в штанах карман, сует туда часы. Разваливается в кресле в прежней позе. Вваливаются гурьбой Пустышкин, Глазов, Череватенко, Почтмейстер. Уставились на Мирского, Почтмейстер захихикал, Череватенко ухмыльнулся, Пустышкин захохотал и тотчас зажал рот рукой, отвел глаза и отмахнулся, точь-в-точь, как человек, увидевший привидение и не поверивший глазам своим.

Мирский (*язвительно*). Скажите и мне, господа, что смешное увидели, я тоже не прочь посмеяться.

Пустышкин. Очки ваши, ваше высокоблагородие, желательно бы убрать перед выходом на сцену.

Мирский. Извольте, если вам желательно, чтобы я всем поотдавливал ноги – перед тем, как свалюсь в оркестровую яму. (*Актёры переглядываются*).

Пустышкин. Милые дамы, Матюшка просил вам передать, что ваш выход через пару минут. Как только вся компания придурковатых любителей уберется со сцены.

Росальская. Мерси тебе, конечно, Пустя, но мы и сами помним... Есть ли что на свете более волнительное, чем первый выход в новой роли? Чем эта неизвестность впереди и мурашки по спине, когда тебя выпихивают на сияющую голгофу авансцены? О!

Рассветова. Как вы хорошо сказали, маменька! Я испытываю весьма похожие чувства, вот ещё только бывает стыдно... Ведь я Бога молю, чтобы зритель не разглядел на мне обносков и не догадался, что Васька-гримёр сбежал.

Росальская внимательно присматривается к снохе, но ничего не говорит. Обе начинают прихорашиваться, ерзают, чуть ли не подпрыгивая, суетятся. Зрителю они должны напомнить бегунов на стометровке перед забегом. Мирский неторопливо поднимается с кресла и становится за спиной Росальской. Из-за кулисы появляется Фиолетов, за ним Почтмейстер, Какой Какоевич, Лекарь и Сионский. Росальская с Рассветовой приподнимают юбки и начинают свой забег на сцену.

Росальская (*внезапно тормозит*). Кто из вас меня ущипнул?!

Рассветов. Кто посмел ущипнуть мою мамашу?

Фиолетов. Кой чёрт там щипается, господа? (*Пауза, все молчат*). Ладно, нет времени разбираться! Девочки, на сцену! (*Пауза*).

Голос Росальской. Антон, куда, куда? Что, приехал? ревизор? с усами! с какими усами?

Фиолетов (*кричит у левой кулисы*). После, после, матушка!

Голос Росальской. После? Вот новости – после! Я не хочу после... Мне только одно слово: что он, полковник? А?

Фиолетов (*широко шагает через всю сцену к креслу, усаживается в него*). Провал, ужасный, невообразимый провал! Какие-то святочные игры вяземских посадских. Странно, что мне самому не приснились под утро две черные крысы. Ничего, Анна Андреевна и Марья Антоновна у нас опытные, битые – авось вытащат первое действие! (*Прислушивается*). Сидорыч! Сидорыч! Кой чёрт велел опустить внутренний занавес?

Рабочий сцены (*появляется у веревок. Указывает на Мирского*). Вот они-с.

Мирский (*стоит посредине авансцены, понаполеоновски скрестив руки на груди*). Да, это я распорядился. Мне надо было подумать в тишине.

Фиолетов. А сейчас почему бы не раздернуть?

Мирский. Я ещё не додумал, Иван Семенович. (*Рабочий сцены разводит руками*).

Фиолетов (*озирается, осторожно поднимается с кресла, пересаживается на стул, тут же встает, чуть ли не на цыпочках отправляется к левой кулисе, прислушивается. Покачивает головой*). Иногда моя супруга проявляет на сцене темперамент прямо-таки африканский. Ага... Вот оно, первое «Скорее!». «Скорее!» – два, «Скорее!» – три... Сидорыч, занавес!

Рабочий сцены (*нерешительно*). А какой?

Фиолетов. Что – какой?

Рабочий сцены. Какой тебе занавес требуется, Иван Семенович?

Фиолетов. Главный занавес опускай, урод! Домучили мы первое действие.

Рабочий сцены (*ворчит*). Будто нельзя было сразу изъяснить... (*Тянет за верёвку*).

Ф и о л е т о в опять прислушивается. Вздыхает.

М и р с к и й . Небось, бурные аплодисменты?
Крики «Браво!»?

Ф и о л е т о в . Смеяться изволите? Вообще-то похлопали немножко...

П у с т ы ш к и н (*приятно улыбаясь*). Это с галерки, ваше сиятельство. Всегда найдется мастеровой или парикмахер, осведомленный, когда на театре положено бить в ладоши.

Г о л о с Р а с с в е т о в о й . Маменька, успокойтесь! Да плюньте вы на них!

Р о с а л ь с к а я (*вылетает на середину сцены, подбоченивается*). Так кто из вас посмел меня ущипнуть? Ты, что ли, Пустя? За старое взялся?

П у с т ы ш к и н . Да я ни сном ни духом, красотулечка... За кого ты меня принимаешь?

М и р с к и й . Это я, сударыня. (*Склоняет голову*).
Покорно прошу меня простить. (*Пауза*).

Р о с а л ь с к а я (*тоном уже пониже*). И с чего бы это?

М и р с к и й . По непреодолимому душевному побуждению. Просто безумно захотелось. Ещё раз прошу меня извинить.

Р о с а л ь с к а я . Боюсь, у меня синяк останется... (*Задумчиво*). Вот уж не думала, ваше сиятельство, что вам нравятся пышные блондинки и чуть постарше тридцати.

М и р с к и й . Вот в последнем вовсе не уверен, сударыня. Говорю же, я поддался непреодолимому влечению. Знаете, ожидание первого выхода на сцену, вечер актёрского дебюта, волнение, раздражение нерв...

Л е к а р ь . Патологический случай... (*шёпотом*)
рукосуйства.

Фиолетов (с облегчением). Если раздражение нерв, тогда понятно. (Рассветову). Что вызверился, Лёша, на человека? Поди-поди на свежий воздух, поостынь на морозце. (Хлопает в ладоши). Господа, за работу! Антракт для зрителей, а нам надо многое успеть ко второму действию.

Какий Какоевич. Ещё чего захотел! Ишь, раскомандовался. Я, пожалуй, прилягу. (Укладывается под декорацию в центре сцены, ногами к гримуборной). Ты, Семёныч, меня разбуди, когда понадоблюсь.

Фиолетов. Бог с тобой, пьянчуга! (Рабочему сцены). А ты, Сидорыч, не медля, вытаскивай Матюшку из суфлерской будки, и давайте, други, мебель городничего со сцены выволакивать, а обстановку гостиничного убогого номера вносить. Помнится, там немного нужно: «Постель, стол, чемодан, пустая бутылка...».

Рабочий сцены. «Стол, чемодан, пустая бутылка...». Сделаем.

Степка. Лак там на господском шкапу не поцарапайте!

Фиолетов. А вы, господа, садитесь, рассаживайтесь, пусть ноги отдохнут... (Господа усаживают дам, потом садятся сами. Сионский и Лекарь остаются стоять). Я, господа, давеча, быть может, слишком уж резко выразился. Пардоньте, это в сердцах. Однако ж играли вы, господа любители, из рук вон, за одним исключением. Дайте мне руку, господин почтмейстер, я её пожму в знак... Ну, пожму с благодарностью. Молодцом! Сперва заробели вы немного, не без того, да и вошли с излишней экстравагантностью, а потом разыгрались.

Почтмейстер (сияет). Да как же было мне не освоиться, когда родная-то материя? И до чего же точно

описывается, господа! Скажите, а сочинитель Гоголь не служил ли по почтовому ведомству?

Ф и о л е т о в . Не знаю, право, где Гоголь служил... Господа любители, я всё же надеюсь кое-что в спектакле на ходу поправить. Вот вы, например, господин доктор, всё первое действие простояли к публике спиной.

Л е к а р ь . Да ведь так оно натуральнее, Иван Семёнович. Это вы норовите выстроить нас в одну линию, как на семейном дагерротипе.

Ф и о л е т о в . Исключительно лицом к публике, для неё ж играем! При чём тут натуральность? Хотя... Вот забыли мы с вами, Владимир Ксавериевич, о Частном приставе, из-за него в середине действия настоящая каша получилась. И ещё Держиморда только под ногами путается и блеет...

С и о н с к и й вдруг убегает в угол сцены. На ходу срывает с лица маску и с отвращением её разглядывает. Бросает маску на пол. Останавливается у веревок, спиной к коллегам.

Р о с а л ь с к а я . Господа, да поднимите же кто-нибудь маску! Эх, столько труда в неё вложила, вонючего клею нанюхалась... Стыдно вам, господин учитель.

Л е к а р ь поднимает маску, подносит её на некотором расстоянии к носу и, как заправский химик, ладошкой подгоняет к себе от неё воздух. С отвращением отставляет подальше и отдаёт Ф и о л е т о в у . Тот рассеянно вертит её в руках.

С и о н с к и й . Извините, Бога ради, госпожа Росальская. Видно, я совсем непригоден к актёрскому занятию.

М и р с к и й (*убеждённо*). А и не нужно вам! И во-все нам ни к чему, господа, сия пригодность. Мы же не собираемся в актёры поступать! Вообще трудно

вообразить себе порядочного человека, который по доброй воле сделался бы актером. (*Присутствующие актёры переглядываются*).

Ф и о л е т о в . Однако... А без Держиморды обойдемся: никто и не заметит, что Держиморды на сцене нет. (*Разглядывает маску и вдруг тычет пальцем ей в глаз*). Вот тебе, урод!

М и р с к и й . Впрочем, для господина Сионского найдется занятие и потруднее, и попочетнее. Давайте-ка прогуляемся, молодой человек. (*Обнимает Сионского за плечи и направляется с ним к гримуборной*).

Они останавливаются, потому что из-за левой кулисы показывается Рабочий сцены, на горбу он тащит совершенно никакого Суфлёра. Укладывает его под декорацию головой к голове с Каким Какоевичем. Теперь они лежат точь-в-точь, как мужчины внизу фотографии участников пикника, только успевшие заснуть, пока фотограф возился со своим ящиком.

Р а б о ч и й с ц е н ы . Умаялся, бедолага. Легко ли было, выпивши, всем подсказывать? А мне, стало быть, теперь самому мебели тягать? Увольте, господа хорошие. Уж подмогнули бы.

М и р с к и й . В самом деле, помоги ему, Степка. Заодно и за моей мебелью присмотришь.

Г л а з о в (*вскакивает со стула, хватается за голову*). Книга! Где книга?

Подбегает к Суфлёру, осматривает его со всех сторон, снова хватается за голову и исчезает за кулисой.

Ч е р е в а т е н к о (*мрачно*). Чогось сумнив мэнэ бэрэ насчёт шубы. Чи не стацать ийи з гардэропу? Була ж ужэ история у Нежине, и тоже зимою, на святках. Така ж прыйихала компания комедиянтив – та й смылася

з театру з грошима за билэты, да еше и з шубами з гардэропу. А у нежинских грэков славные были шубы!

Дослушав историю, Мирский вталкивает в гримборную Сионского, запирает дверь и собирается с мыслями.

Пустышкин. Да это же чёрт знает что делается! Иван, как ты терпишь такое? Ведь это же моя мать, честнейшая женщина, тридцать лет отдавшая театру, сидит на гардеропе!

Фиолетов (серьёзно). Успокойся, старый друг. Мне тоже не по себе. Однако мы анонсированы его сиятельством, и раз уже худо-бедно начали, должны доиграть. Я сокращу антракты. Чёрт с ними, с антрактами, буфетчик тоже заплатил вперед.

Возвращается Глазов с «Ревизором». Раскрывает его, пролистывает, охает, гримасничая.

Мирский. Вот уж не думал, что за кулисами можно так славно развлечься... (Сионскому). У меня к вам важное предложение, для молодого человека так даже заманчивое, господин учитель. Вы человек ученый, к вам благосклонны музы. Напишите-ка корреспонденцию о нашем спектакле (на ухо) в «Колокол» Александру Ивановичу Герцену. Я с издателем давно в переписке и знаю, как переправить рукопись в Лондон.

Сионский (отшатывается). Господи Боже! Это тебе не в «Ревизоре» рольку сыграть. Да меня со свету сживут!

Мирский. А вы не подписывайтесь. Я, вашу рукопись выправив, своим почерком перепишу, свой псевдоним поставлю – и тем приму огонь на себя. Либо тоже не подпишусь, а «голубые» примут вас за автора

уже известного им корреспондента из Староводска, то есть за меня.

С и о н с к и й . Какие «голубые»? Ах да, те, в голубых мундирах... П-п-п-онимаю, ваше сиятельство.

М и р с к и й (декламирует):

И вы, мундиры голубые,
И ты, подвластный им народ!

С и о н с к и й . Б-б-благодарю за предложение, ваше сиятельство. Но мне уже п-п-пора на квартиру, п-п-пожалуй. Сегодня вечером я еще тетради должен исп-п-править. (*Порывается уйти, но не может справиться с защёлкой*).

М и р с к и й (не делая попытки удержаться). Послушайте, ну неужели вы, человек образованный и гуманный, не хотите помочь прогрессу в нашей несчастной стране? Селяне закрепощены, мещане пьянствуют, и не ворует только ленивый. Как только мы отдадим туркам Крым, всё это старьё и гнильё в государственной машине рассыплется. С кем вы тогда захотите быть – с победителями-прогрессистами или с замшелыми крепостниками, уползающими в свои норы? У вас ведь и норы своей нет.

С и о н с к и й . Допустим, я напишу, а вы подпишите... Не вижу я резона рисковать своим местом, ваше сиятельство. Уж извините, если подвел вас.

М и р с к и й . Искандер гонораров не выплачивает, однако я вам заплачу. Из расчета пятьдесят рублей серебром за лист. А что боитесь, это пустое... Солдаты вон в Крыму тоже боятся, но под пули идут.

С и о н с к и й . Эх, где наша не пропадала! Ладно, я попробую.

М и р с к и й . И упирайте на то, что городничий сам подставился: сперва разрешил представление, а потом не пустил на него староводских чиновников и, похоже, перекрыл все подходы к Театральной площади. Словно бы в открытую признался: «И я-де взятками живу». Да и глупость свою продемонстрировал. Сам, напишите, себя высек, как та унтер-офицерская вдова.

С и о н с к и й . Почему вы говорите: «унтер-офицерская вдова»? У Гоголя там «жена».

М и р с к и й . Да? Но ведь «вдова» смешнее.

П о ч т м е й с т е р , уже некоторое время подслушивающий их разговор, подскакивает к Г л а з о в у , выхватывает у него «Р е в и з о р а » , поспешно перелистывает, возвращается к гримуборной и тычет раскрытой книжкой под нос выходящему уже из дверей М и р с к о м у .

П о ч т м е й с т е р (*показывает пальцем на странице*). Это Городничий говорит, что «вдова», а она «унтер-офицерская жена». Вы, господин Мирский, ошибаетесь точно так же, как Городничий!

М и р с к и й . Да? (*Обходит Почтмейстера, словно это пустой стул*).

Из-за кулисы появляется С т ё п к а в обнимку с Р а б о ч и м с ц е н ы , отпускает его, тот падает, потом встает на колени.

Р а б о ч и й с ц е н ы (*с блаженным видом*). Так что пошабашили. Всем хороша пьеска, одно забыл сочинитель приписать. Куплетов не хватает! (*Орёт оглушительно*).

Поп-задира, поп-буян,
Беспрерменно всегда пьян!

Он к Наташке подбегает,
Задирает ей подол...

Стёпка зажимает Рабочему сцены рот.

Фиолетов. Да что ж это за напасть такая?

Лекарь. Хвороба под названием *epidemia spiritiosa*.

Череватенко. Косыть честной народ, нэначе шрапнэль.

Рабочий сцены (*передразнивает*). «Что за напасть? Что за напасть?» Сами же велели предоставить пустую бутылку. А где я вам пустую возьму? Я вон и полную едва выискал!

Стёпка (*бухается на колени рядом с Рабочим сцены*). Владимир Ксавериевич, не погубите! Сидорыч вылакал вашу французскую водку, вы её велели прихватить от простуды, а я спрятал в шкапу. Вот вам святой истинный крест (*крестится*), что я ему запрещал и сам ни глотка не выпил! Не погубите, барин! Вы мне и так уже десять плетей определили!

Лекарь (*уже известным зрителям способом апробирует запах, исходящий от Стёпки*). Подтверждаю. Пациент употреблял только отечественный продукт.

Мирский. А между тем поэтическое дополнение Сидорыча вовсе и не глупое, если присмотреться. Гоголь в «Ревизоре» своим высмеивает всё уездное общество, от судьи и до последней слесарши, однако ни слова не говорит о местном духовенстве. Будто в уездном городе нет ни благочинного, ни протопопа, ни простых приходских священников и дьяконов! Да и монастырь же есть ведь там какой-нибудь поблизости или даже в самом городе, как у нас здесь этот Яковлев третьеклассный.

Лекарь. Вот уж поистине рассадник мракобесия! Я там вскрывал нарыв на задку у келаря, так выяснилось, что святой отец убежден, будто это солнце вращается вокруг земли. А как же, дескать, может быть иначе, если в Ветхом Завете Иисус Навин остановил именно солнце, а не землю?

Глазов *(в ажитацши)*. Наш благочинный, когда открываться должна была моя библиотека, пожелал прежде проверить содержание книг. Почему я тотчас же не записал его перлов и не отправил тогда еще живому господину Гоголю? Ему бы хватило на новый «Ревизор»!

Почтмейстер *(на ухо Рассветову)*. Сам тоже хорош! Не говел и не исповедовался много лет – мне доподлинно известно.

Рассветов *(громко)*. Уж лучше бы сходил перед Пасхой. К чему дразнить длинноволосых? Маменька говорит, что в важных грехах можно и не признаваться: многого-де он хочет, попик, довольно с него и того, что пришла на исповедь.

Почтмейстер *(закрывает лицо руками)*. Господи, Твоя воля! Вот прямо сюда Твоя молния и ударит!

Фиолетов. Едва ли. Сидорыч! Первый звонок! *(Пауза)*. Черт! *(Сам подсакивает к колоколу и часто дергает за верёвочку)*. Пора протрезвлять Матюшку.

Суфлер *(поднимает голову)*. Не надо, Иван. Сам перемогнусь как-нибудь. Пьесу только верните. *(Жестом просит наклониться к нему. Громким шепотом)*. Как думаешь, повяжут нас всех?

Фиолетов. Моё дело не думать, а играть.

Суфлер. Я-то ведь пьян был. Ты подтвердишь, Ваня? *(Фиолетов кивает)*. И вы все свидетели, господа хорошие: пьян был суфлер, как свинья, не ведал, что творил. А вам, господин Мирский, первому на сцену.

Мирский. Стёпка, я должен произносить монолог, лежа на постели. Есть ли там постель, на которую я не побрезгую лечь?

Стёпка. Имеется ваш же диванчик на львиных лапах, Владимир Ксавериевич, я его вашим дорожным пледом покрыл.

Мирский. Сбегай и проверь всё досконально. И чтобы никакой мне мешок с песком не болтался над диваном.

Стёпка кланяется и уходит. Суфлёр с криканием встает на ноги и ищет книжку с «Ревизором» у любителей. Фиолетов возвращается к верёвкам, даёт сам второй звонок. Подзывает Сионского.

Фиолетов. Господин учитель, не ходите больше на сцену. Становитесь здесь. Проще простого! Когда скажу, сделаете третий звонок. Вот так: дзинь, дзинь, дзинь. (*Звонит. Удивленно*). Ладно, тогда сделаете четвёртый. А занавес поднимается этим вот канатом, а опускается вот этим. Если и ошибётесь, не беда: грузы уже свалились. (*Тянет за верёвку. Со сцены доносится грохот*).

Голос Стёпки. Чемодан под пол провалился. Не страшно, я достану... А-а-а!!!

Мирский. Не премину вычесть с вас при окончательном расчёте, господин Фиолетов. Леший с ним, с коньяком, он одесской выделки, а вот чемодан был настоящий парижский, шагреновой кожи.

Суфлёр. Мыслил парень, что под ногою лесенка, а там обломки подъемной машины. Ничего, я подмогну. (*С «Ревизором» под мышкой, пошатываясь, идёт к кулисам*).

Навстречу вылетает Катись, она крепко прижимает к себе растерянного Рассветова. Суфлер отшатывается, обходит их и исчезает за левой кулисой.

Катись (*весьма непринужденно*). Приветствую, господа! Что это ты напялил на себя, Вольдемар? Вы только посмотрите, господа, какую я птичку поймала! Малость заплутала, там темновато в проходах, вдруг смотрю, заходит с черного хода это чудо-юдо в перьях. Мало того, что такой хорошенький, да ещё и раскрашен, как продажная девка. Вот, думаю, как прогрессирует разврат в нашем Староводске – не скучнее у нас, чем в ночном Париже! Останусь пока здесь, подождет меня Париж. Кричу ему: «Плачу любую цену! Ангажирую до утра!». А он – бежать. Пришлось помять немножко...

Фиолетов. Госпожа Хоменкова, позвольте представиться. Антрепренер театров российских Иван Семенович Фиолетов. А поймать вы изволили моего пасынка. Рекомендую: герой-любовник нашей труппы Алексей Никитич Рассветов. В гриме Хлестакова он прогуливался, обдумывая свою...

Катись (*разочарована*). Так он актёришка? Тогда забирайте... (*Отпихивает от себя Рассветова*). Впрочем, разница невелика...

Мирский (*отсмеявшись*). Дорогая Катись, я должен идти на сцену. Вон актрисы помогут тебе переодеться и загримируют. (*Уходит*).

Рассветов (*бросается в объятия к матери*). Маменька! Защити меня! Это же ужас что такое!

Росальская (*гладит сына по голове. Вполголоса Рассветовой*). Золя, вот это баба! Настоящая Бобелина, героиня греческая! Я всегда мечтала только так обращаться с мужчинами!

Рассветова (*озабоченно*). Маменька, вечно вы на себя наговариваете. Лучше поправьте у

Алёши грим. У него на щеке лишнее красное «о» и губы вконец размазаны. Господи, и рукав у бедного оторвала... *(Извлекает из лифа иголку с ниткой, из рукава вытаскивает моточек ниток, берет нитку в рот, намачивая, вдевает иголку в нитку и продолжает говорить)*. И никакого тебе понятия, что на театре всё понарошку, на живую нитку...

Мужчины постепенно обступают К а т и ш ь .

Пустышкин. Не сразу и решился... Позвольте представиться, Пров Петрович Пустышкин, известный русский комик. Позвольте ручку. *(Целует руку у Катись)*.

Лекарь. И мне позвольте ручку поцеловать, Екатерина Макаровна.

Катись. Ну, здравствуй, Адриан Иванович. *(Треплет его по склоненной над её рукой голове)*. Ишь, как тебе вихры-то наподадили!

Глазов. А мне пожалуйста ножку поцеловать, по случаю старого знакомства.

Катись. Пошёл вон, Петька.

Стёпка *(появляется, хромая, из-за кулисы)*. Их сиятельство легли и приказывают поднимать занавес.

Фиолетов. Держиморда! Господин учитель! Занавес!

Занавес

Действие второе

Сионский стоит у колокола, будто всю жизнь проработал на театральных механизмах, и с завистью наблюдает за играющими в подкидного дурака Пустышкиным, Рассветовым, Глазовым, Почтмейстером, Лекарем и Череватенко. Шлёпают картами они на спине стоящего недвижно на четвереньках Рабочего сцены. Фиолетов прохаживается, руки за спину заложив, по сцене взад-вперед. Катишь в сарафане, лаптях, платке и в ужасающем (неспроста!) старушечьем гриме сидит в кресле, Мирский, полюбив её, на ручке кресла; курят сигары, она – с ужимками. Такая же сигара в зубах у Фиолетова. Росальская и Рассветова сидя в гримуборной, сплетничают шепотом.

За кулисами топот. Вваливаются, вытирая пот со лба и отдуваясь, Стёпка, Суфлер и Какий Какоевич с карикатурной нашлапкой на носу.

Стёпка. Готово, Иван Семёныч. (*Садится на корточки под декорацией*).

Суфлёр. Господа хорошие! Я не вынесу, доложу вам, ещё одной перестановки. Становая жила лопнет, ей-богу.

Лекарь. Любопытно, какие именно физиологические процессы он имеет в виду?

Череватенко. Вы бы, доктор кислых щей, не умничали, а сдавали. В мэнэ туз.

Фиолетов. Пережили два позорных действия, авось и после третьего от стыда не удавлюсь. Господин

учитель, изобразите третий звонок. (*Звучат три отрывистых удара в колокол*).

Лекарь. Не пойму я, ваше степенство, зачем так злобствовать? (*Ловко собирает, тасует и раздает карты*). Черви козыри! А будь я доктор медицины, а не магистр – неужто был бы лучшим врачом?

Череватенко. Та я зовсим не на вас, доктор, розсэрдывся, вы вжэ пробачтэ мэни... Ладно, дограемо, тоди вжэ скажу.

Пустышкин. (*Почтмейстеру*). А вы что скажете на три восьмерки?

Глазов. А к ним и козырная.

Какий Какоевич. Вспомнился мне один помещик, так он каждые два дня переставлял мебель... Господа, пожалуйста карту.

Почтмейстер (*сердит, потому что принял*). Какую тебе сейчас карту, шут ты гороховый? Мы ж режемся в подкидного.

Какий Какоевич. Извините, господа... Привиделось, что штосс мечете. У меня как раз поплыли перед глазами стеклистые червяки.

Фиолетов (*бурчит, проходя мимо*). Лишь бы не черные крысы... (*Стучит в дверь гримуборной*). Девочки, пора на сцену.

Росальская и Рассветова, жеманничая и болтая, пробегают через сцену. Суфлёр, поклонившись, пропускает их вперед, затем и сам исчезает за кулисами.

Катишь. Фу! Глупые гусыни какие!

Мирский (*наставительно*). Откуда ты знаешь, какие они на самом деле? Вон Варя Асенкова была умница, хоть и любила повеселиться. Впрочем, ты её не можешь помнить.

К а т и ш ь . Еще бы! Когда она блистала в Петербурге, я безвыездно сидела в деревне у отца моего покойного, а потом под замком у мужа. Зато теперь я свободна и богата, передо мною – весь мир... А на какую из актрисок ты положил глаз, Вольдемар?

Ф и о л е т о в . Господин учитель, поднимайте чертов занавес!

Р а с с в е т о в (*веселится*). Дурак! Дурак! Подставляйте нос, господин доктор!

М и р с к и й (*посмеивается*). Да уж... Где нам, дуракам, чай пить... Пошли в уборную, у нас разговор не для чужих ушей.

Л е к а р ь . Зачем ещё по носу? Мы так не договаривались. А вот сдаю снова я...(*Сдаёт*). Себе не вам, шестерку не сдам.

Ф и о л е т о в (*заглядывает ему в карты через плечо*). Следующий выход ваш, господин доктор. Вы запыхались, потому что долго бежали... Эх, да не всё ли равно!

Г л а з о в . (*Вполголоса*). Катишь совсем забросила свой чепчик за мельницу. Даже удивляюсь. Хотя... Будь у меня её деньги, я бы тоже никого и ничего не стеснялся.

Л е к а р ь . А вот вам пикового... (*Вполголоса*). Да все знают, что Екатерина Макаровна бегала к нему ещё при жизни мужа-миллионщика.

Р а б о ч и й с ц е н ы . А вам и завидно, господин доктор? Эх, до чего же спеть хочется...

П у с т ы ш к и н (*собирает карты и шлепает ими Рабочего сцены по голове*). Стой тихо, а то отправим веревки дергать.

Л е к а р ь . А кому было бы не завидно, любезный Матвей? Не скрою, я очень люблю женское общество. Но я так долго пользовал Екатерину Макаровну, что не

смог бы отнестись к ней романтически... А вот еще две семерки.

Какий Какоевич. Ох, мутно мне... Похоже, я слишком усердно приложился к полу во втором действии.

Фиолетов (у кулисы). «...пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!» Оно... Добчинский, вперед!

Лекарь (встаёт со стула, подражает паровозу). Фу-ты, фу-ты, фу-ты...

Продолжая держать в руке карты веером и фукая, Лекарь медленно бежит, высоко поднимая колени, через сцену, по дороге передает свои карты Фиолетову. Тот заглядывает в карты Череватенко и садится на стул Лекаря. Заводчик показывает ему кулак. Дальнейшие события на сцене (карточная игра, уход за кулисы Степки в рыжем парике, возвращение Лекаря, возвращение Степки) происходят беззвучно. Слышна только беседа в гримборной.

Мирский. Почему ты так задержалась, Катишь? Я надеялся, что мигом примчишься на мой страстный зов.

Катишь. Да? Ты угадал, однако меня пытались остановить. Представляешь, я уже выезжаю на Театральную площадь – ан нет, Аннозачатьевская перекрыта. Стоит поперек извозчичья пролетка, возле неё квартальный, тот, с подусниками, от него почему-то всегда селедкой несет... (Гнусаво передразнивает). «Извините, мадам, въезд и выезд запрещены до особого распоряжения». Я, понятно, велела твоим кучеру и форейтору отогнать пролетку, а сама не стерпела – да за зонтик! Весь зонтик об квартального расколотила, в щепки, там же и бросила. Я проехала, конечно, но за мною никто не решился последовать.

Мирский. Конечно, не мог я исключить чего-нибудь этакое вот, однако подлец-городничий

действует слишком нагло. А ведь вряд ли твой подвиг занял у тебя столько времени... Забыл спросить, а ты не боишься последствий?

К а т и ш ь . А... Сотенной больше, сотенной меньше... Кстати, Вольдемар, ты же в долгах, как в шелках. Откуда взял деньги на спектакль? Выписал трупку из Тулы, осветил да обогрел махину театра, да ещё, говорят, у Филипьева откупил второй этаж для ужина с шампанским – это же давно не по твоим финансам, дорогой!

М и р с к и й (легко). А у Череватенки перехватил. Ты же мне перестала занимать... Шучу, шучу... Если мы выиграем выборы, хитрый хохол свои деньги вернет – и с немалой прибылью. А нет... Распиской больше, распиской меньше... Ты же знаешь, как философически я отношусь к этим мелочам жизни. А где ты всё-таки застряла, Катишь? У кого-то тут же, на площади?

К а т и ш ь . Неужто ты ревнуешь, Вольдемар? Обрадовал, признаться... Выходит, дорогой, не всё ты наврал, когда клялся мне в вечной любви.

М и р с к и й (элегически). У тебя же, Катишь, на плечиках твоих голова, а не подставка для шляпки. Могла бы и сама сообразить, когда я правду говорил, а когда... Припомни, как я из тебя, женушки-резвущики толстого откупщика, воспитывал передовую русскую женщину. Разве не доказывал я на пальцах, что вечная любовь невозможна? И с какой тогда стати ты приняла всерьез мои позднейшие уверения в любви до гроба? Да мало ли чего мужчина в горячке сболтнет... Так где ты была?

К а т и ш ь . Господи, Вольдемар, да в партере же... Ты написал в записке, что буду играть Унтер-офицершу. Я, конечно, не ожидала, что меня так дико костюмируют и загримируют... Впрочем, это не важно. Главное,

я решила, что сперва появлюсь в партере, сохраняя шикарную натуральность. Тем больше ошеломлю публику своим сценическим простонародным видом. Хотя теперь... Скажи, ты уверен ли, что меня вообще узнают?

М и р с к и й . *(Не сразу)*. Боюсь, что да.

К а т и ш ь . Вот как? И еще я хотела спросить. Смутно так припоминается мне, что эту мою Унтер-офицершу, страшную, как смертный грех, Городничий тем не менее обидел. Надеюсь, он не посягнул...

М и р с к и й . Она была ошибкою высечена на площади. Или на базаре.

К а т и ш ь . О таких вещах следует заранее предупреждать, Вольдемар! Я не уверена, что решусь обнажиться на сцене. Вот так сразу, без подготовки, во всяком случае... Надо было и о белье соответствующем позаботиться. Да и полиция, опять-таки... Хотя должна признать, что предчувствую восхитительные переживания. Тот приятный мужчина, что Городничего играет (Вельветов, что ли?), делает зверскую рожу и поднимает плетку над моей белоснежной, безусловно округлой и трогательно беззащитной попкой. Весьма чувствительная и несколько даже... пожалуй, что и неприличная картина – ты не находишь? Ведь точь-в-точь, как на гравюре в твоей книжке маркиза де Сада.

М и р с к и й . Увы, ты всего только пожалуешься на свою обиду Хлестакову... тому пареньку, которого ты отловила в коридоре и привела на аркане за кулисы. *(Оживляется)*. А как тебе спектакль? Ты ведь просидела в партере первое действие...

К а т и ш ь . Ожидала я, Вольдемар, что ты меня спросишь. Хотела ответить таким манером, чтобы не обидеть, да ладно уж... Гаже представления я в

жизни своей не видала, зато публику вы отменно позабавили. И особенно – очаровашкой Держимордой, что без конца на всех натыкался и всем говорил «*Mille pardon*» понятно с каким произношением. Дам, тех интриговала его маска. Нинель Сапожкова (ты её знаешь, противный!) заявила, что это смелый намек: российские полицейские, дескать, столь отвратительны, что на их лица и посмотреть страшно. А вдруг на театр беременная дама забредет?

Мирский. А как тебе мы со Степкой?

Катишь (*прыскает*). Извини, но твой Осип-аристократ просто нелеп. Смотрела я на тебя в этой мешковатой красной косоворотке, однако, как всегда, светского и надменного... Грешна, конечно, да подумала: ну до чего же в Вольдемаре всё-таки сквозит порода, эта противная польская порода!

Мирский. Почему польская? Я русский царедворец, только отставной...

Катишь. И никакой ты не царедворец, а ссыльный.

Мирский. Я вовсе не ссыльный. Никакого официального решения после моей последней шалости принято не было. Государь просто вызвал меня к себе и сказал: «Поезжай-ка в свое имение. Я пришлю за тобой, когда понадобится».

Катишь. Ты каждый раз по-новому рассказываешь об этой аудиенции.

Мирский (*шёпотом*). Он болен, отец нашего отечества. Его безумная гордость не вынесла крымских поражений. Когда станется, как написал некогда Державин... «Умолк рев Норда сиповатый», ты понимаешь? Конец моей истории будет такой: «Я призову тебя, когда возьмусь за перемены». И не успеет, разумеется, призвать.

К а т и ш ь (*оживлённо, громко*). Ты абсолютно прав, Вольдемар. И в самом деле, в городе поскучнело, когда 2-ой харьковский местный батальон промаршировал на войну. Однако же и ты огорчил дамское сообщество, перестав украшать рогами лбы местных помещиков, чтобы заняться политикой.

М и р с к и й . Тоже нашла мне политику... (*Помявшись*). Я тут замыслил притиснуть в уголке младшую из актрисок. Поможешь?

К а т и ш ь (*чересчур поспешно*). О чем речь? Конечно.

М и р с к и й . В антракте я просмотрел оставшийся кусок пьесы. Лучше всего приволокнуться в 5-ом явлении, минут через десять, когда мы со Степкой сходим на сцену и вернемся. Тебе нужно будет только отвести к кулисам старшую, толстуху, и занять её разговором. Сделаешь?

К а т и ш ь . Сколько раз тебе повторять... Вот только чем можно заболтать эту гусыню?

М и р с к и й . А я уже подслушал, чем. Впрочем, не нужно было и подслушивать, до того банальна материя. Заговори с нею о нарядах.

Ф и о л е т о в (*стучит в дверь гримуборной*). Осип! Владимир Ксавериевич! Давайте бегом на сцену, и без того безумно затягиваем.

Степка в рыжем парике несет чемодан с лопнувшими боками, перевязанный веревкой, М и р с к и й , важно, руки за спиной соединив, вышагивает за ним. Появляются Росальская и Рассветова. Осматриваются. Мужчины усердно режутся в дурака, никто не догадывается предложить дамам стулья. Кресло заняла К а т и ш ь . Росальская и Рассветова усаживаются в гримуборной.

Росальская. Не знаю, как тебя, Золя, однако меня сквозняки на сцене уже донимают. Отлично везде было протоплено, князь не пожалел дров, а вот теперь... Или попросить Пустю разыскать истопника?

Рассветова. Здание-то старое, маменька, казенное, неухоженное, вот и выдувает тепло в щели. Накиньте лучше сверху чего-нибудь. Тут где-то была мантилья. Вот, накиньте.

Росальская. Спасибо, милочка моя. А заметила, какой взгляд, проходя, бросил на меня князь? Мнится мне, всё же равнодушен к полненьким. И это после randevu с такой блестящей дамой!

Рассветова. Блестящей дамой, маменька? *(Хихикает. Шепотом)*. Да ведь вы одели её и загримировали похуже последней коровницы.

Рассветов *(бросает карты на спину Рабочего сцены, они падают на пол, потому что Рассветов вынужден был держать в руках чуть ли не всю колоду)*. Это же чёрт знает что такое!

Фиолетов. Плюнь и разотри! Хотя признаю, что восемь раз подряд остаться дураком – это достижение! Зато теперь тебе, Алексис, непременно повезет в... *(Оглядывается, проглатывает банальность, готовую было сорваться с языка)*. Господа, пора нам всем на сцену! *(Хлопает в ладоши)*. Я впереди! Нет, первым ты, Алексис! Тебя только что превосходно угостили, ты пьян и весел...

Рассветов. Если бы, Иван Семенович ...

Фиолетов. Ты на театре служишь! И дрянь жалкая из тебя выйдет, а не хороший актер, если ты сейчас не выйдешь на сцену Хлестаковым. Ты сыт и пьян после голодухи, и нос в табаке! Я за тобой... Потом ты, Пустя. Тут вопросов нет. Тобой я надежен. Следом вы, ваше степенство, а замыкают Бобчинский

и Добчинский. Эй вы, как вас там... Какой, ау! *(Какий Какоевич вытягивается во фрунт и тут же пошатывается)*.

Глазов. И я с вами, только сверну налево – и в буфет!

Актеры выстраиваются на сцене. Вдруг выходит из строя Череватенко, направляется к выходу. Ему навстречу бежит Рабочий сцены.

Рабочий сцены. Иван Семёнович! Уже договорили! Так что идут...

Фиолетов. А вы куда намылились, ваше степенство?

Череватенко. Та на прогулянку, шановный. *(Останавливается, увидев выходящих из-за кулисы Мирского и Стёпку)*. Доктор, и вам советую тикать.

Лекарь. А я рискну, Максим Максимыч. Уж больно интересно.

Фиолетов. Алексис, выше плечи! Ребята, за мной! *(Уводит остальных)*.

Стёпка *(пятится затылком перед Мирским, громким шёпотом)*. Нет уж, Владимир Ксавериевич, ошибиться мне никак невозможно. Всякий раз, как начинаете подпрыгивать походочкой, жди от вас шалости. И вам беда, и людям вашим! Вы ж сами давеча, эфто на диванчике когда, замечательно изложили, каково прекрасно было вашей дворне в Питере пребывать. Сошлют и отсюда, ухнем тогда в пучину окончательного невежества. Смилуйтесь, отец и благодетель наш! *(Падает на колени)*.

Мирский. Заткнись, осёл! Не то добавляю горячих. *(Обходит Стёпку, натывается на*

Череватенко). Ага! Как я понимаю, бунт на корабле?

Череватенко. Угу. Надежду тилькы имею, что обийдэтся без матросыкив, повишенных на реях. У мэнэ, господин Мирский, вот уже цилу годыну свербить пид правою лопаткою...

Мирский. Бунтарей-казначеев, кажется, там же вешают. Простите, я спешу.

Череватенко...а цэ вирна прыкмэта нэпрыятности. Тому и уходжу. (*С гримасой срывает с нижней части лица пластырь, прикрывающий бороду*). Чому було не даты мэни ролю купца Абдулина, а ролю смотрителя училищ, образованного человика, дворянына – бритому якому-нэбудь бездельнику? Навищо всэ перевертаты догоры ногамы? Позорыще тилькы... Господы, вэсь вэчир видчуваты жирну мазь на щоках! (*Достаёт из кармана огромный клетчатый платок*).

Росальская (*подходит с паклей в протянутой руке*). Не пачкай платка, почтенный, вот возьми лучше пакли. Бросай, дружок, прямо на пол, тут найдётся, кому убрать. И скинь, будь добр, мундирный сюртучок, мне его ещё в костюмерный сундук укладывать. Вот спасибо. Я и твою чуйку принесла. Славное сукнецо, аглицкое!

Мирский (*подмигивает*). Катишь! (*Направляется к гримуборной*).

Череватенко. Тоби спасыби, матушка, на доброму слови. (*Уже переодетый, в спину Мирскому*). Зазырну до Филипьева у трактыр, распоряджусь, чтобы не ставылы жаркое на вогонь. Если ужин зирвэться, з ным, з Филипьевым, легче договорытыся будэ, ваше сياتهљство.

Мирский. Да как вам угодно! Ваши ведь деньги.

Череватенко. Мои?! От як ускочив, так ускочив. *(Уходит)*.

Катишь *(берет за локоток Росальскую, разворачивая её в сторону левой кулисы)*. Госпожа актриса! Увы, не знаю вашего имени-отчества, а на афише снег подтаял, и как раз размазалось на том месте, где «Анна Андреевна».

Росальская *(кладёт сюртук на спинку кресла, слегка приседает)*. К вашим услугам, госпожа Хоменкова. Моя театральная фамилия Росальская, зовут Светланой Марковной. Игрывала в свое время трагических героинь и на Москве, и в Нижнем Новгороде, и во многих прочих местах.

Катишь *(берёт под руку, уводит к левой кулисе)*. А меня все называют просто – Catieshe. Мне вас рекомендовали, Светлана Марковна, как даму, весьма компетентную в современной модной политике. Я вот получила свежий номерок «Магазина мод и рукоделий» – и в полнейшем недоумении! Пишут, что теперь в Париже носят...

Росальская. Вот, вот – и в этом вся загвоздка! Нам тут, на просторах Руси-матушки, полезно, кто спорит, знать, что в этом сезоне носят в преславном городе Париже, а вот шить по парижским гравюрам – Господи упаси! Потому что будут на тебя смотреть, как на корову под седлом, пока парижская мода до нас не дойдет. А когда, наконец, дойдёт – и наряд износится.

Катишь. Как же быть, Светлана Марковна?

Росальская. К тому-то и веду, дорогуша...

Мирский *(вталкивает Рассветову, высунившую было нос из гримуборной, внутрь, запирается и заключает её в объятия)*. Не могли бы вы, госпожа

Рассветова, поправить мне грим? И зачем только я это сказал? Я ведь должен был это сказать, чтобы заманить вас в уборную... Ой!

Рассветова (*яростно сопротивляясь*). Я ещё и закричу, если тотчас же не отпустите!

Мирский. Противьтесь сколь вашей душеньке угодно, это только разогревает, а вот если и вправду закричите – тогда не заплачу вашему антрепренёру больше ни копейки, и баста. Что ж не кричите?

Росальская (*она у самой левой кулисы*). Нас, меня и Золю, зовут на сцену. Я побегу, а вы скажите, пожалуйста, Золе, чтобы шла. У неё реплика в середине явления, однако пусть лучше поторопится.

Рассветова. Какая низость с вашей стороны! (*Не очень громко*). Помогите!

Сионский, сидящий на полу под веревками, Рабочий сцены, лежащий под декорациями, и Почтмейстер, дремлющий на стуле, поднимают головы. Катись, продвигаясь на цыпочках в сторону гримуборной и вслушиваясь, делает им запрещающий знак рукою.

Мирский. И никакой низости, обычное желание получить хоть какое-нибудь удовольствие за свои деньги. Спектакль вышел никудышный, так хоть...

Рабочий сцены (*презрительно*). Барские забавы.

Сионский снова опускает голову на грудь. Почтмейстер решительно встает, переставляет свой стул таким образом, чтобы сесть спиной к гримуборной, и садится.

Рассветова. Мой муж вызовет вас на дуэль и убьет. Да уберите вы руки, наконец!

Мирский (*бормочет*). Ваша угроза настолько глупа, что даже и не смешно... О господи, опять! (*Отпускает Рассветову*). Вот, убрал я руки! Небось,

довольны теперь? (*Садится на скамью. Бормочет*). Опять фиаско. В губернию мне нельзя, придется довериться Лекарю, а он язык за зубами не очень-то держит, намекнул ведь на секрет Гранаткина. (*Скользит взглядом по Рассветовой*). А ты можешь идти, чего тебе тут ещё ожидать...

Рассветова (*подбоченившись*). Что?!

Мирский (*вбирает голову в плечи*). И в самом-то деле, о чём это я... Вы уж извините меня, госпожа... э-э-э... Закатова. Знаете, вечер актёрского дебюта, волнение, неуспех спектакля, раздражение нерв...

Рассветова (*задыхается*). Вы смеете... смеете извиняться передо мною за то, что не сумели насильничать меня, как конюх дворовую девку за конюшней?

Мирский. Зачем такие слова? Как демократ, я обязан выступить в защиту интимных чувствований крепостных людей. А если честно: времени в обрез, явление короткое. И как же не извиниться, когда, как передовой и порядочный мужчина, обязан был предоставить вам равное удовольствие?

Рассветова. Какой ужас!

Мирский. И вообще, чего вы еще ожидали, оказавшись в бродячей, нищей труппе? Мне много раз приходилось слышать от офицеров, при этом даже и пехотных, об их, так сказать, победах, одержанных над актрисками вашего пошиба.

Рассветова. Так знайте же, что я дочь почтенного чиновника, личного дворянина, пошла в театр вовсе не для того, чтобы ко мне приставали пьяные офицеры или потасканные благодетели вроде вас! И не моя вина, что труппа, из которой нам с мужем некуда пока деться, потеряла антрепризу в Туле.

Мирский. А ведь вы очаровательно выглядите в гневе... Раскраснелись, глазки горят, ротик прелестно

приоткрыт. Прямо как в романсе талантливом, но беспутном Глинки. (*Шевелит пальцами, будто аккомпанирует себе на пианино, поёт*).

Когда откроешь свои мне губки
И заворкуешь нежней голубки...

А знаете... Я, пожалуй, действительно, поторопился извиняться... (*Встаёт, тянется к ней*).

Р а с с в е т о в а свизгом выскакивает из гримуборной.
Натыкается на подслушивавшую К а т и ш ь .

К а т и ш ь (*отступает*). Вас... дочку городничего... требуют на сцену...

Р а с с в е т о в а (*отвешивает ей пощечину*). Вот тебе, облезлая сводница!

Р а с с в е т о в а , на ходу поправляя костюм и проверяя грим, бежит на сцену.

М и р с к и й , пытаюсь держаться непринужденно, появляется из гримуборной – и тут же получает пощечину от К а т и ш ь .

М и р с к и й . Больно! (*Хватается за щеку и изумленно смотрит на ладонь, запачканную гримом*).

К а т и ш ь . И этим идиотом я имела глупость увлечься! (*В сторону*). И почему это обязательно «облезлая»?

М и р с к и й . Путь волокиты усеян терниями.

Р а б о ч и й с ц е н ы (*открыв один глаз и решив, что Мирский обращается к нему*). Знамо дело, господин хороший. Приударись таким вот манером за горничной, а на тебя цепных кобелей спустят.

М и р с к и й безмолвно поворачивается к Р а б о ч е м у с ц е н ы спиной и возводит очи горе.

К а т и ш ь . Вольдемар, сигару!

М и р с к и й . Стёпка, оглох? И огоньку подай
Екатерине Макаровне.

К а т и ш ь . Вольдемар, ножичек!

М и р с к и й . Стёпка, ножичек!

С т е п к а разводит руками, а вслед за ним и
М и р с к и й . К а т и ш ь злобно откусывает кончик
сигары и выплевывает его, стараясь попасть в спину
П о ч т м е й с т е р у . С т е п к а отбегает к кулисам, там
взрывается серная спичка, от нее он зажигает длинную
полоску бумаги. К а т и ш ь прикуривает и, с сигарой
в зубах, широкими мужскими шагами направляется
к П о ч т м е й с т е р у , который спиной к ней увлеченно
читает какой-то листочек. К а т и ш ь с грохотом
разворачивает ближайший стул и усаживается лицом к лицу
с П о ч т м е й с т е р о м . Выдыхает на него клуб дыма. Тот
вздрагивает.

К а т и ш ь . Скажи, а хоть на тебе-то мундир –
настоящий?

П о ч т м е й с т е р . Конечно, Екатерина
Макаровна. Мы ведь с вами знакомы. (*Привстаёт*).
Я староводский почтмейстер коллежский регистратор
Николай Николаевич Меньшов.

К а т и ш ь . Скажи тогда, почему письмо от моей
воспитанницы, посланное из Петербурга в первых
числах сентября прошлого года, принесено мне на двор
только позавчера?

П о ч т м е й с т е р . Так ведь столица в двух
тысячах вёрст от нашего Староводска, Екатерина
Макаровна. Бывает, что ямщик мешок с почтой повезёт
не в ту сторону.

К а т и ш ь . Скажи тогда, почему письмо от моей
воспитанницы было дважды заклеено, а её печать
сломана?

П о ч т м е й с т е р . Так ведь ваша воспитанница
мадмуазель Полина его писала после, как его..., де-

бюта на Мариинском театре. Впервые танцевала в кордебалете, переживала, волновалась, вот и... того...

К а т и ш ь (переглянувшись с Мирским, вставшим за спиною Почтмейстера). Значит, ты вскрыл письмо моей воспитанницы?

М и р с к и й (льстиво). Никакой иной вывод не возможен, Катишь.

П о ч т м е й с т е р (пытается встать, Мирский удерживает его за плечи). Не имею права отвечать на такие вопросы, Екатерина Макаровна.

К а т и ш ь. Скажи тогда, почему не имеешь права?

П о ч т м е й с т е р (важно). Государственная тайна.

М и р с к и й. Секрет Полишинеля, дорогая Катишь! Давай я тебе растолкую. Идет война, а потому втихую перлюстрируется...

П о ч т м е й с т е р (важно). Перелюстрируется, а не «перлюстрируется». То есть с латыни оно будет «перепросмотр».

М и р с к и й. Хорош латинист! Перлюстрируется, говорю, переписка всех иностранцев, живущих в уезде, а также российских подданных, неблагонадежных в политическом отношении. Ты женщина прогрессивная, а главное, моя приятельница, так что извини... Я только думал, что мои письма «голубой» в Харькове читает, а не этот вот елистратишка, вошь в мундире.

К а т и ш ь. Покорно благодарю, Вольдемар. Но откуда в нашем уезде взяться иностранцам?

М и р с к и й. Ты забыла, дорогая, про целую россыпь гувернеров по деревням, да и в самом Староводске.

К а т и ш ь. Господи, да какие же с них шпионы?

М и р с к и й. Это ты меня спрашиваешь? А я удивляюсь, как это с началом войны все наши французы да англичане не отправились в Сибирь.

Почтмейстер (важно). И я удивляюсь. А вот за «вошь в мундире» можно и ответить.

Мирский (весело). Это если мундир настоящий. Но если вы играете Почтмейстера в «Ревизоре», на вас и мундир всё едино что бутафорский.

Почтмейстер (жалобно). Госпожа Хоменкова, господин Мирский! За что вы на меня взъелись? За что без конца шпыняете? Уж ежели мне так и так, по службе, пришлось распечатать ваше письмо, Екатерина Макаровна, то не грех было мне от него и самому развлечение получить. После того как оно, в особливой бандероли, вернулось ко мне из Харькова... (зжимает себе рот рукой).

Мирский. Ага. Проговорились, что переправили распечатанное вами письмо «голубому» в Харьков? Не догадываешься, почему, Катишь?

Катишь. Наверное, из-за того места, где высокая особа при посещении балетного училища особенно посмотрела на ученицу, на некую Амосову-1-ую...

Почтмейстер кивает и показывает глазами наверх. Рабочий сцены начинает громко, демонстративно храпеть. Сионский снова опускает голову на грудь.

Мирский (весело). Такое случается...

Почтмейстер. У вашей воспитанницы, Екатерина Макаровна, замечательный слог, и столь живо она описывает завлекательные поступки в балетном училище, что мне страсть как захотелось переписать для себя выбранные места. А на службе суета, дел выше головы. Вот и получалось у меня переписывать урывками по воскресеньям да по праздникам... (Потупясь). Ох, до чего бы мне хотелось в Петербурге побывать да поглядеть самому на те го-

лые плечики, короткие юбочки, а под ними на розовые ноги.

К а т и ш ь (*встаёт, отходит*). Однако вы, господа, достойны друг друга.

Из-за левой кулисы вываливаются в обнимку Фиолетов и Рассветов.

Фиолетов (*покровительственно*). Ничего, Алексис, молодцом. Сначала немного куксился, а потом разыгрался, особенно когда мать твоя выплыла на сцену.

Р а с с в е т о в . Мало того, что восьмижды дурак, не хотелось ещё и на сцене опозориться перед маменькой. Это же надо – «Лабардан! Лабардан!». Глупая всё-таки пьеска.

Фиолетов. Молод ты судить о таких вещах, Алексис. Лабардан – это та же треска, но посоленная в бочках без головы и хребта. Простая еда, а Хлестаков, голодный, наелся ею, натрескался, и ему показалась она чем-то особенным. Разве не смешно?

У левой кулисы показываются за руку Лекарь с Какием Какоевичем. Не в лад подпрыгивают, пытаются высоко задирать ноги. Появляется Пустышкин.

Росальская (*выглядывает из-за левой кулисы, по-театральному громко*). Антон Антонович, куда ты запропастился? (*Фиолетов уходит*).

Р а с с в е т о в . Хотя я Ивана Семёновича глубоко уважаю, однако тут я с ним не согласен. Пьеску перехвалили. Право же, походжение проезжего вертопраха вовсе невероятное, да ещё и переполнено противными житейскими мелочами: тот же лабардан, габерсуп, колпаки на головах больных, солдаты без штанов, черная крыса – тьфу! Театр должен

предоставить зрителю действие волшебное, уносящее в иную, красивую жизнь.

М и р с к и й (*покровительственно*). Ваши эстетические принципы устарели, молодой человек. Вот вы сегодня несколько раз цитировали «Горе от ума», значит, любите эту комедию. А ведь она тоже о мелочах жизни.

Р а с с в е т о в . Зато о них стихами излагается, ваше сиятельство. (*Робко*). А что такое эстетические принципы, если вам не трудно пояснить?

М и р с к и й . Ну, это, например, ваши взгляды на театр, на прекрасное в нём... (*Видно, что ему наскучил разговор. Поворачивается к К а т и ш ь*). Поплечусь поближе к кулисам, дорогая. Сейчас мой выход.

К а т и ш ь . Где же это вы учились, юноша, если остались в счастливом неведении насчет эстетических принципов?

Р а с с в е т о в (*несколько отодвигаясь, с опаской*). Да я, матушка, нигде не учился. У меня, все говорят, природный талант.

П у с т ы ш к и н . Там Осипа зовут, ваше сиятельство. (*Мирский поправляет очки на носу и выходит*).

К а т и ш ь . Гм... Если я назвала вас юношей, это еще не повод именовать меня «матушкой». Или вы оговорились потому, что мы в гриме? Я немногим, собственно, старше вас.

Р а с с в е т о в . Простите, бога ради... Мысль же моя была такова: вы богачка, следственно благодетельница, следственно мать для бедных.

К а т и ш ь . Извинение принимается. Насчет благо-детель-ство-вания (ух!) не отказываю. Однако как это возможно для мужчины нигде не учиться? Объяснитесь.

Рассветов. Маменька не отдавала меня в школу, так уж вышло. И бродячая жизнь, знаете, и я ревмя ревел, когда меня пытались отодрать от её подола. Грамоте и письму научил меня маменькин приятель (не Иван Семенович, другой ещё), а после я за кулисами сам учился. И теперь чуть ли не весь драматический репертуар наизусть помню – от «Сына любви» и до «Суд людской – не Божий». Книжки бы читал, да только где их раздобыть? Вон у господина Глазова, что Ляпкина-Тяпкина пыжится играть, библиотека вроде и бесплатная, а залог требуют. А мы, после того как в Туле антрепризы лишились, с хлеба на квас перебиваемся... Ах! *(Закрывает себе рот рукою)*.

Катишь. Да ваши секреты известны всему городу. *(Усмехается)*. Сам-то, небось, тоже сын любви?

Рассветов *(неохотно)*. Отца не знаю. Мать говорит, что был актёр из мещан.

Катишь *(тянет его за рукав)*. Придётся мне заняться твоим образованием. *(Затаскивает в гримуборную. Решительно задергивает занавески)*.

Возвращаются Росальская и Рассветова. Почти тотчас же за ними Мирский. Ищет глазами кого-то, не находит, пожимает плечами. К нему подходит Лекарь. Видно, что хочет заговорить, но не решается. Из-за левой кулисы появляется Фиолетов. Подходит на цыпочках к Сионскому, будит его.

Фиолетов. Занавес, быстро! *(Сионский вскакивает на ноги и начинает дергать за все веревки подряд, наконец, попадает на нужную. Фиолетов подходит к Мирскому)*. Ну и дела! Квартальных нет, пришлось говорить в дверь, будто они там. Осточертел мне этот балаган. Я с вашего дозволения решил сократить антракт до нескольких минут, а из четвертого действия выбросить явление с Хлоповым *(всё*

равно заводчик сбежал) и заодно с купцами. Зато Слесарша и Унтер-офицерша должны прозвучать на ять! (Оглядывается, пинает ногою Рабочего сцены). Кончай придуриваться, Сидорыч. Вели Матюшке прийти с книжкой сюда, а потом сгоняй в буфет за баринком, что Ляпкина-Тяпкина играет. (Рабочий сцены не реагирует, Фиолетов снова пинает его ногою, уже сильнее). Ну и пошел к чёрту!

Мирский (не оборачиваясь, он наблюдает за гримуборной). Стёпка!

Степка. Здесь я.

Мирский. Слышал, что сделать нужно?

Степка. А как же.

Мирский. Давай. Одна нога здесь, другая там. И не вздумай допивать из стакана за Глазовым. (Стёпка убегает).

Фиолетов. Звонарь, бей первый звонок! (Сионский выполняет распоряжение. Появляется Суфлер с «Ревизором»). Ты вот что, Матюшка, потрудись, пожалуй, прогони пока с Унтер-офицершей её роль. Где же, однако, госпожа Хоменкова?

Суфлёр (ворчит). Нет, чтобы передохнуть хотя в антракте. Неужели трудно было роли переписать, заказав какой-нибудь канцелярской крысе? Кажется, одиннадцатое явление... (Лизнул палец и принялся перелистывать пьесу).

Мирский (вздыхнув, стучит в дверь гримуборной). Катишь, тебя на выход!

Катишь (высовывает голову наружу. Платок на её голове сбился, прическа растрепана). Уже? Представь, Вольдемар, малый даже целоваться не умеет. Умора! О прочем я тебе потом расскажу...

Голос Рассветова (полузадушено). Маменька! Спасай!

Рассветова. Ой!

Росальская. Умри, несчастная! (*Засучивает рукава*).

Катишь (*после паузы*). Да что это с ними, господа? Я хотела сказать, что их драгоценный Алексис не сумел мне руку поцеловать, когда я пообещала заплатить за него залог в библиотеку и подарить «Путешествие скифа Анахарсиса в Грецию» в семи томах.

Фиолетов (*крестится*). Разобрались, слава Богу... Второй звонок!

Катишь выталкивает из гримуборной растерзанного Рассветова и втягивает внутрь Суфлера. Раздергивает занавески.

Рассветов. Маменька! (*Затихает на груди Росальской*).

Суфлер (*дышит в сторону*). Так что, госпожа унтер-офицерша, читайте свои реплики, а я буду подсказывать, какие на сцене вам надлежит исполнять поступки.

Катишь. Отсюда, что ли? (*Показывает пальцем*).

Суфлер. Да вот же, мадам, напечатано. Это еще за сценой, из-за кулисы. Сперва Пустышкин своё скажет, а потом вы. Читайте же.

Катишь. «Повели, государь, выслушать».

Суфлер. Сойдёт. Только громче, протяжно и жалобно. Дальше точно в таком же порядке, после Пустышкина, но уже на сцене. Смотрите на Хлестакова, будто глазками съесть его желаете.

Катишь (*усмехается*). «На городничего, батюшка, пришла».

Суфлер. Тут низко кланяйтесь и ручкою вот эдак. Через реплику Хлестакова читайте теперь.

К а т и ш ь . «Высек, батюшка». Что за овца, право!
Ф и о л е т о в . Господин учитель, бейте три раза! А ты, Матюшка, марш в будку!

С у ф л е р . Так не закончили же, Иван.

Ф и о л е т о в . Я сам с мадам Хоменковой порепетирую. Марш-марш!

С у ф л е р (*блеет*). Фигаро здесь, Фигаро там. Фигаро! Фф-фи-га-ро...

Ф и о л е т о в (*любезно*). Госпожа Хоменкова, это же моя обязанность, некоторым образом и режиссера. У меня тут нарочито переписана ваша роль. (*Достаёт из внутреннего кармана мундира лист бумаги, свёрнутый в трубочку и перевязанный розовой ленточкой с бантиком*). В высшей степени разборчиво... Вы пока прочтите, а потом подходите к левой кулисе, мне там необходимо будет находиться, чтобы отправлять актёров. И чтобы не забыть. Перед самым выходом прошу вас снова завязать платок, только ни в коем случае не причёсываться – сейчас у вас волосы лежат весьма живописно.

К а т и ш ь (*развязывает ленточку, разворачивает лист, читает. Вдогонку Фиолетову*). Скажите, зачем вы дописали мою роль? Вот здесь, сверху: «Шалунье моей ненаглядной Поиночке в её маленькие ручки».

Ф и о л е т о в (*бегом возвращается, забирает у Катюшки листок, отрывает полоску сверху, комкает и сует в карман. Бормочет*). Тише, ради бога! Ошибка, нет, шалость пера переписчика – и ничего больше. Так вы подходите, мадам. (*Громко*). Внимание, господа! Ляпкин-Тяпкин, Земляника, Почтмейстер, Хлопов... Пардоньте, господа, откуда у нас теперь взяться Хлопову? Бобчинский и Добчинский – станьте в означенном порядке у левой кулисы.

Мирский. Веселее, господа! Раньше на сцене покончим, раньше пойдём на ужин.

Фиолетов (*подбоченивается*). А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!

Стёпка (*приволок на себе Глазова, поставил на пол и отпустил*). А вот тебе, дядюшка, и Ляпкин-Тяпкин!

Фиолетов (*поводив у Глазова перед носом пальцем*). Эй! Вы кто, месье?

Глазов (*стоит, распустив губы, и с интересом осматривается*). Я? Да я, разумеется – кто ж ещё? (*Косится на свой рукав*). Меня вернули в гвардию, но в непонятный полк. То-то мне всё разводы снились... (*Морщится*). Нет! Вспомнил! Я председатель судебной палаты! Мне подлец Мирский пообещал... И не обманул, ишь ты... Я б-б-б... Нет, я вз-з-з... Вспомнил! Я б-б-орз-з-зыми щенками закусываю.

Фиолетов. Что ж, роль в общем и целом помнит. Прими его, Пустя, под свое шефство и расставь, будь другом, господ любителей по сцене. (*Пустышкин, Глазов, Почтмейстер, Лекарь, Какой Какоевич уходят*).

Мирский. Неужели в буфете не осталось никаких закусок?

Стёпка. Полки пустые, как шаром покати.

Фиолетов. А мочёные яблоки?

Стёпка. Давно народ разобрал. Буфетчик говорит, что спрашивали и тухлые яйца. Обижался мужик.

Фиолетов. И вовсе не обязательно нам выходить после «Немой сцены», если вызывать не станут. (*Исчезает ненадолго за левой кулисой*). Готовы, наконец... Занавес! (*Издалека легко кланяется Катись, жестом подзывает её к себе*).

Сионский тянет за веревку. Потом снимает фуражку, расстегивает и стягивает мундир, выползает из форменных панталон. Остается в крахмальной рубашке, кальсонах и сапогах. Оглядывается. Однако на его поступок никто не обращает внимания: Мирский задумался, сидя в кресле, Фиолетов увлеченно репетирует с Катишь, Рассветов по-прежнему держит голову у матери на груди, Рассветова неотрывно смотрит на них. Стёпка сидит на корточках, голову свесив, подле лежащего Рабочего сцены.

Росальская. Пойдём, сынок, нам надо поговорить без посторонних ушей. (*Рассветовой, порывающейся за ними*). Оставь нас, Золя. Боюсь, дорогуша, тут не без твоей вины.

Росальская и Рассветов заходят в гримборную, дверь оставляют полуоткрытой. Рассветова закрывает лицо руками.

Сионский. Господин Мирский, Владимир Ксавериевич! Не скажете ли, который час?

Мирский (*достаёт свои часы, щёлкает крышкой, не глядя на учителя*). Четверть десятого.

Сионский. Пора уже и тетрадами заняться. Служил я нынче кварталным, трудился театральным машинистом, а вот в арестанты отчего-то мне не хочется. Толстухи Росальской нигде не видно, и костюмерная, конечно же, заперта. (*Обхватывает себя руками, переминается с ноги на ногу*). Ничего, добегу домой, не закоченею. (*Уходит незаметно*).

Рассветов. Маменька, ну что сегодня за вечер несчастный! Восемь дураков подряд, ты представляешь? И этот противный меценат посмел тебя ущипнуть! Закончится спектакль, он выплатит остаток Ивану Семёновичу, и вот тогда я его вызову на дуэль.

Стреляться через платок! Бог на стороне правого, на моей, а всё одно, маменька, боязно мне что-то.

Росальская. Забудь о дуэли, дружок, успокойся. Какая еще между вами дуэль? Ты же не дворянин. Да и Мирскому нельзя, он ведь ссыльный. Пошлёт своих слуг с палками, прибьют они тебя – вот и вся тебе дуэль.

Рассветов (*оглядывается через дверь на Стёпку*). Да уж... А как же тогда твоя обида, маменька?

Росальская. Мы теперь маленькие люди – нам обижаться не положено. Нам положено проглотить обиду, да и молчать себе в тряпочку, да постараться помаленьку поправиться и самим в обидчики выйти. Тебе надо успокоиться, сыночек, и молодцом доиграть спектакль.

Рассветов. А подружка его, маменька, эта Катишь – она ведь ещё хуже его! Бесстыжая, как... Уж и не знаю, с чем и сравнить... Стыдно и пожаловаться, маменька. Еле вырвался! (*Снова прячет лицо на груди матери*).

Росальская. Вот это-то меня и озаботило, сыночек. Ты у меня красавчик, не удивительно, что женщинам нравишься. Давеча попал ты на развратницу, которая ни в чём себе не отказывает, на казака в юбке – и в панике спрятался к матери под подол. Мужчины, дружок мой, так не поступают.

Рассветов. А как поступают мужчины?

Росальская (*улыбается*). Ну, это уже другое дело, как в таких случаях мужчины поступают. Одно скажу, что не так, как ты сегодня. А ведь ты у меня уже взрослый мужчина, полгода как женатый. (*Решается*). Расскажи мне, чем ты по ночам занимаешься со своею Золей?

Рассветов *(безоблачно)*. Да спим, конечно.

Росальская. А перед тем, как заснёте?

Рассветов. Разговариваем.

Росальская. И не целуетесь?

Рассветов. Почему же? Иногда она меня поцелует в щёчку перед сном, иногда я Золю чмокну. А без толку – зачем целоваться? Это перед женитьбой целуются, и на сцене всегда после объяснения в любви. А после свадьбы уже не нужно. Где, в какой пьесе ты видела, чтобы муж и жена целовались?

Росальская *(еле удерживается от смеха)*. А и правда. Я ещё после вашей первой ночи кое-что заметила, да только неверно, выходит, себе изъяснила. Приписала твоей Золе несуществующие грешки. Ну да ладно.

Рассветов. Ах, маменька, я вспоминаю то упоительное время, когда мы с вами ещё спали в одной постели. Как было тепло, уютно, как сладко пахло от вас! А как страдал я, когда вас обижали эти ваши приятели! Как хотел защитить вас, стать вашим поручиком Любимовым, вашим Карлом Моором! И этот Иван Семёнович, которого вы так любили, маменька, он ведь бежит за Полинкой! Он бросит вас, маменька. А казался хорошим человеком.

Росальская. А он и есть хороший человек. Я уж пересердилась на Ваню, хотя он ужасно меня боится. Седина в бороду, бес в ребро – слышал? Да ещё я полновата, а Поинка худа, как щепка, вот ему и захотелось новенького. Тебе пора уже становиться взрослым мужчиной, поэтому я и хотела кое о чём тебе рассказать.

Рассветов. Маменька, а можно, пока будете рассказывать, я пососу вашу грудь? Помните? Я уж большим был, играл на улице с мальчишками, обидят

они меня, задразнят, я и прибегу к вам, заплаканный. Попрошу вас грудь сосать, а вы мне погрозите пальчиком, да и дадите, в конце концов. Такой тяжёлый вечер сегодня, дайте мне в последний раз свою грудь, маменька, в самый из последних распоследний!

Снаружи все давно собрались у двери в гримуборную и подслушивают, а первая Катись, при этом Стёпка устроился на полу. Только Рассветова стоит на том месте, где её остановила Росальская.

Фиолетов (*мечется у левой кулисы*). Куда это Хлестаков запропастился? Зову, зову... Там уже Пустя, спасая положение, рассказывает анекдоты.

Мирский. Тсс... А вы пойдите, помогите Пустышкину. Я сам пришлю вашего пасынка.

Внутри Рассветов успел уговорить свою мать.

Росальская. Странные я, однако, испытываю ощущения... Ты поостерегись, сыночек, чтобы нас не увидели, а то задразнят тебя еще похуже, чем в детстве. Скажут, что между нами любовь, которую законы осуждают, и придется тебе вешаться, а мне топиться. Однако в той песне дочь слюбилась с отцом, кажется... А если кроме шуток, то хотела я тебе рассказать вот о чём. Помнишь, хотели тебя, еще до женитьбы твоей, в ополчение забирать? Ты ведь у меня по паспорту мещанин города Ичня Черниговской губернии. А знаешь ли, почему не забрали? Потому что Иван Семёнович, не желая видеть моих слёз, поехал на деревню и купил у помещицы крепостного. Пожилого мужика вырвали из семьи его, заковали в кандалы, напоили до беспамятства и привезли на приём, как добровольно идущего вместо тебя. Ещё взятки чиновникам и доктору, и засунуть мужику за пазуху двадцать пять рублей да вольную от

помещицы. Каково было всё это проделывать Ивану Семёновичу с его золотым сердцем! А цены на людей, конечно же, сразу подскочили. Вот и пришлось, тебя спасая, Ивану Семёновичу уступить антрепризу в Туле за те деньги, что давали, и распродать многое из пожитков и реквизита.

Снаружи слушатели расходятся.

С т ё п к а . Жаль, теперь пошло уже и не смешное.
М и р с к и й . Хлестаков, на сцену! Рассветов!

Р а с с в е т о в . Ну, маменька, вы будто страшный сон рассказали. *(Пересекает сцену и на пути от гримборной до левой кулисы перевоплощается в Хлестакова).*

Компания актёров вываливается из-за левой кулисы. Потом Пустышкин и Почтмейстер под руки встаскивают Глазова на сцену. Пауза. Те же притаскивают Глазова обратно. Почтмейстер возвращается на сцену.

Ф и о л е т о в . Так ничего и не сказал?

К а т и ш ь . Мужчины вообще пить не умеют, только пыжятся.

П у с т ы ш к и н . Совсем бедолагу развезло.

М и р с к и й . Эффектный прием. Судья от испуга и рта не сумел раскрыть... А что это у него на ухе повисло?

П у с т ы ш к и н . Да моченым яблоком угодили... Он-то увернуться не способен.

М и р с к и й . Забираю назад сказанное об эффектном приёме. Как только чиновники вручат Хлестакову взятки, начинайте сокращать, Иван Семёнович, где только сможете.

Ф и о л е т о в . Легко сказать.

Мирский. Да нам и финальная, как её, «мертвая сцена»...

Фиолетов. «Немая сцена», Владимир Ксавериевич.

Мирский. Пусть «немая», но нам она тоже не очень нужна. Подумаешь, жандарм да чиновник из Петербурга – тоже мне *deus ex machina*. У нас другая цель – чтобы нам самим, передовым людям уезда, одолеть нашего староводского (*понижает голос*) орангутанга в ботфортах.

Лекарь (*подходит сзади*). Абсолютно согласен с вами, Владимир Ксавериевич, вот только не уверен, что удастся справиться. Городничий и его приспешники в делах и делишках своих собаку съели, а вы, передовые люди, как бы не оказались в склоке с ними такими же любителями, как на сцене.

Почтмейстер выходит из-за кулисы, на сцену устремляется Пустышкин.

Мирский. (*Обводит рассеянным взглядом закулисы*). О! Вы посмотрите, учитель испарился! Иван Семёнович, вы тоже поглядите!

Фиолетов. Я уже ничему не удивляюсь, господа. Испарился так испарился. Опять некому занавес опускать – вот что досадно! Вы, доктор, чем останки учителя Держиморды изучать, лучше бы начали потихоньку Бобчинского извлекать из объятий Морфея – ваш с ним выход следующий!

Лекарь. Успеется. (*Одалживает у заинтересованной Росальской зонтик и начинает им ворошить оставленные вещи*). Если бы наш учитель испарился по неизвестной науке физической причине, то здесь остались бы сапоги и нижнее бельё. Сапоги – это вообще последнее, что в таких случаях остаётся от

человека. Когда в прошлом лете под Мизюковкой убило молнией глупую бабу (додумалась идти в грозу через поле), на том месте только и нашли, что обугленные подошвы сапог.

Из-за кулисы появляется Пустышкин.

Катишь. А была бы в лаптях, и того бы не осталось.

Мирский (желчно). Испарился, испарился... Сбежал господин учитель. Ну и скатертью дорожка! (Хлопает себя по лбу). Господин доктор!

Фиолетов. Бобчинский и Добчинский! Ваш выход, толстячки!

Лекарь. На себя бы посмотрели... Извините, Владимир Ксавериевич, бегу! (Вприпрыжку движется к левой кулисе, за собою тащит кренящегося на бок Какия Какоевича).

Пустышкин (Росальской). Светлана Марковна, несравненная! Срочно произведите из меня Слесаршу, Христом-Богом молю!

Фиолетов. Да, и поскорее, розанчик, очень нужно. Купцов мы сократили, хоть на бабищах отыграемся.

Росальская уводит Пустышкина в костюмерную. Мирский становится рядом с Рассветовой.

Мирский. Я вас приглашаю, госпожа Закатова, на интимный ужин в мое городское поместье. Часу в четвертом пополудни (надо же мне выспаться после банкета) пришлю за вами карету. Там и получите остаток вознаграждения, договоренного с вашим тестем.

Р а с с в е т о в а . До этого я жалела вас, господин Мирский, а вот теперь обязательно пожалею мужу.

М и р с к и й . Уж лучше посоветуйтесь с господином Фиолетовым.

Р а с с в е т о в а . Почему мне всё кажется, что мы с вами на сцене, что говорим и действуем понарошку?

М и р с к и й . Потому что вы изрекаете банальности. Впрочем, я сейчас рассмотрел, что шейка у вас весьма недурна.

Из костюмерной выбегает Р о с а л ь с к а я с листком бумаги, помятым гусиным пером и чернильницею. Суёт всё это М и р с к о м у .

М и р с к и й (*отшатывается*). Что такое?

Р о с а л ь с к а я . Вас сейчас мой Алёшенька вызовет, потребует бумагу и чернила. Вы и принесёте ему.

М и р с к и й (*держит подальше от себя чернильницу, подносит к очкам листок бумаги*). «А брусничного квасу приготовление. Берёшь три фунта брусники на ведро...». Что за дичь?

Р о с а л ь с к а я . Главное, чтобы бумажка, а уж Алёшенька сделает вид, что пишет. (*Гордо*). Это театр, ваше сиятельство.

Л е к а р ь (*притаскивает на себе Какия Какоевича*). Эй, там Осипа звали!

М и р с к и й . Здешняя фамильярность нравится мне всё меньше и меньше. (*Уходит*).

Ф и о л е т о в . Не слишком ли вы сократили, господин доктор?

Л е к а р ь (*укладывает Какия Какоевича рядом с Рабочим сцены*). Хотя бы помог кто-нибудь... Я не сокращал ничего, а вот мой напарник только мычал и порывивал. Уж не удар ли его хватил?

Фиолетов. Паразиты и приживалы народ выносливый. Только мычал, говорите... Значит, совсем пропала у нас замечательная реплика Бобчинского.

Лекарь. И пованивает от Какоя, а расслабление круговых мышц седалища именно и наблюдается при апоплексическом ударе. Полезно бы кровь пустить, да нет с собою инструментов...

Катишь. Господа, это не Какой обделался, а Петька. *(Издаലെка тычет пальцем в Глазова)*. Я уж давно обхожу его стороной.

Лекарь. Тогда возможен и другой диагноз... А что вы такое, Иван Семёнович, начинали говорить о реплике Бобчинского?

Катишь. Я тоже заинтересовалась. *(Повисает на руке Фиолетова и, как была, в гриме Унтер-офицерши, делает ему глазки)*.

Фиолетов. Польщён вашим интересом, сударыня. У Гоголя Бобчинский, дав взятку Хлестакову, излагает ему свою просьбишку: *(тихо, умильно)* «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным – сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живёт в таком-то городе Пётр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живёт Пётр Иванович Бобчинский. Да если этак и государю придётся, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живёт Пётр Иванович Бобчинский». На театрах принято сие выкрикивать, как идиотическую дичь, я же учил вашего городского шута произносить, как я сейчас. Ведь здесь не сам он, смешной толстенный провинциал, говорит, а его бессмертная человеческая душа! Ведь это она хочет заявить всему огромному миру, что осознала себя, что существует в этом мире, наконец!

К а т и ш ь . Как умно, господин Вельветов!

Справа, из костюмерной, спешит Пустышкин в гриме и платье Слесарши, за ним, задорно подбоченившись, приближается Росальская.

Росальская. Вот только этого мне не хватало! Лекарь *(в сторону)*. Смешной толстенный провинциал... И кто бы говорил?

Фиолетов *(смущён)*. Вам пора на сцену, госпожа Хоменкова! Вот Пустя будет вами руководить.

Пустышкин пытается взять Катишь под руку, она свою руку вырывает. Становятся у самой левой кулисы.

Голос Рассветова. А, что ты, матушка?

Пустышкин *(теперь по-бабьи)*. Милости твоей, отец, прошу!

Катишь *(неожиданным басом)*. Повели, государь, выслушать.

Голос Рассветова. Пропустить её.

Пустышкин и Катишь исчезают.

Фиолетов. Пойти посмотреть. *(Уходит)*.

Рассветова *(решительно подходит к Росальской)*. Вы, маменька, меня с некоторых пор сторонитесь, а я позволяю себе по-прежнему называть вас маменькой, потому что решительно ни в чём перед вами не виновата. И не у кого мне, сироте, кроме как у вас, попросить помощи.

Слышны аплодисменты. Крики «Браво!».

Росальская. Шалопай Пустя спасает нас всех... Я было обиделась на тебя, Золя, да оказалась не права. Думала я раньше, что ты замуж вышла уже не

девицею... (*Рассветова ахает*). А оказалось, что ты и по сию пору девица. Первое я по-бабьи понимала, а второе – дурость, которую я тебе, такой умнице, не сразу смогла простить.

Рассветова (*делает гримаску*). Маменька, да с этим не горит! А вот что замыслил этот противный Мирский... (*остальное излагает на ухо*).

Тем временем со сцены доносится новый взрыв аплодисментов. Все способные двигаться, кроме Росальской и Рассветовой, забились за левую кулису. Потом отхлынули, сопровождая триумфаторов – Пустышкина и Катишь.

Голос Мирского. Пошли, пошли! Не время, завтра приходите! Пошёл, пошёл, чего лезешь! (*Возникает у кулисы собственной персоной*).

Рассветова. Вот он, мой злодей! Побежала я, маменька. Но каково мне теперь сыграется в расстроенных чувствах?

Росальская (*задумчиво*). Беги, а я, дай Бог, чего и придумаю.

Мирский. Хоть отдохнуть мне теперь от лакейской службы. Этот щенок слишком уж достоверно вошёл в роль барина. (*Садится в кресло*).

Росальская (*подзывает к себе пальчиком Фиолетова*). Иди со мной, дружок, есть секретный разговор. (*На ходу*). Знаешь ли, эта уборная сегодня вроде беседки в «Севильском цирюльнике».

Фиолетов (*уже в уборной*). Да я, розанчик, ей просто обязан был оказать внимание, этой миллионерше! Надует Мирский, одна надежда, что она поможет.

Росальская. Так я тебе и поверила! Знаю я твой норов! Но дело моё в другом: этот фат, твой Мирский, мало того, что приставал к Золе прямо вот тут, в уборной, он ещё поставил условие, что отдаст

деньги только ей, если приедет к нему в поместье на ужин. В четыре пополудни пришлёт, подлец, карету. Знаешь, дружок, я решила поехать вместо неё.

Фиолетов. А разве Золя сама не сумеет его... того... тру-ля-ля! *(Крутит в воздухе рукой)*.

Росальская *(вздыхает)*. Уж больно неравные они противники. Золя ведь... *(шепчет на ухо)*. А Мирский думает, что имеет дело с разбитной актриской. Ты бы поговорил с Алёшей, растолковал бы по-мужски, по-простому, что к чему. Кому, как не тебе, дружок, просветить мальчугана?

Фиолетов *(убежденно)*. Это потому, что не учился в школе. Там бы его живо просветили. А как ты собираешься выдать себя за Золю? *(Окидывает жену скептическим взглядом)*.

Росальская. Едва ли кучер и фореитор станут ко мне присматриваться. Надену шляпку с густой вуалью, натяну Золино платье... Ну, не платье, так накину её шубку. Главное, до подльца Мирского мне добраться, а уж там я у него наши деньги когтями выцарапаю.

Фиолетов. Беда, розанчик, что ты путаешь театр с настоящей жизнью. Боюсь, как бы тебе завтра лакеи не намяли бока. А сейчас твой выход. За тобою и мой. *(Росальская уходит к левой кулисе и почти тотчас же исчезает за нею)*.

Мирский *(осматривается, находит глазами Лекаря)*. Доктор, а мы ведь не договорили с вами.

Лекарь *(подходит)*. Я весь внимание.

Выбегает, снова в расстроенных чувствах, Рассветова, остается у кулис рядом с Фиолетовым.

М и р с к и й . Послушайте, ну неужели вы, человек образованный и гуманной профессии, не хотите помочь прогрессу в нашей несчастной стране? Селяне закрепощены, мещане пьянствуют...

Л е к а р ь . Господин Мирский, не тратьте на меня своё красноречие! Да и голосовые связки поберегите: они у вас сегодня и без того натружены. Вы столь пламенно агитировали нашего робкого Держиморду, что все мы вас слышали. Я, во всяком случае, не упустил ни слова – вы уж простите великодушно.

М и р с к и й . Какой пассаж... Я просто подумал... Уж если Сионский удрал с невинного спектакля, корреспонденцию в... *(шепотом)* Искандеру в Лондон... *(снова обычным голосом)* он уже точно не нацарапает, побоится. А вы, доктор, я слышал, пописываете...

Л е к а р ь . Грешу понемножку... Вечерами, одному, чем заняться? Всегда охотнее писал юмористическое. Был у меня, к примеру, «Монолог клистирной кружки». *(Рассветова возвращается на сцену)*.

М и р с к и й *(рассеянно)*. Не пробовали печатать?

Л е к а р ь . Зачем? Ведь для себя пишу, скуку разогнать, Владимир Ксавериевич.

Ф и о л е т о в *(подбегает к Мирскому и к Лекарю)*. Ваше сиятельство, я вот-вот пойду на сцену, а вы, будьте любезны, подтягивайтесь к кулисе. Ждите, пока я не скажу: «Ай, Антон! Ай, городничий! Вона, как дело-то пошло!». А тогда выходите сами: «Лошади поданы».

М и р с к и й . Простите, доктор, потом договорим. Слава Богу, хоть последний у меня выход.

Л е к а р ь *(провожая Мирского к кулисе)*. А нечего договаривать. Я напишу корреспонденцию о нашем спектакле. Только предварительно хотел бы у вас

получить несколько номеров «Колокола». Чтобы сообразить стиль.

Мирский (*кивает*). Я мог бы прислать вам со Стёпкою, но лучше всего прочитайте их в моем кабинете.

Катишь (*останавливает Лекаря, с нею Пустышкин, снова в костюме Земляники*). Ты один ещё не похвалил нас, Адриан Иванович.

Лекарь (*Пустышкину*). Вы, сударь, были выше всех похвал. (*Присматривается*). А ведь вы забыли лысый парик Земляники надеть. Ну, а вы, Екатерина Макаровна, произвели фурор одним своим появлением.

Пустышкин. Поскольку едва ли кто-нибудь ещё меня сегодня похвалит, не грех добавить и самому. Пусть я Пустя, пусть я дешёвый шут и кутила, но только не при свете рампы, а в скучные будни,

Пока не требует поэта...

Лекарь (*подхватывает*).

К священной жертве Аполлон...

Пустышкин. Вот-вот... Так что уже вскоре, на ужине, мы принесём сию священную жертву Аполлону, начав с обильных возлияний...

Катишь. А ежели серьезно, Адриан Иванович, то мне хлопал и на меня шикал партер, а Пусте безумно аплодировала галерка.

Лекарь. И сие ярко отразило социальное, а равно культурное расслоение нашего староводского общества.

Катишь. Что значит ученый человек! (*Повисает на руке Лекаря. Пустышкину*). А куда подева-

лась та толстая горничная, что помогала мне одеваться и краситься? Скорее бы стереть грим с лица.

Пустышкин (*гордо выпрямляется*). Во-первых, то не горничная была, а известная трагическая актриса Светлана Росальская. Во-вторых, в конце спектакля ещё будет общий выход на аплодисменты. Мы все в гриме, держимся за руки...

Катишь. Да знаю я, противный! Только напрасно вы думаете, господа, что я подставляюсь под залп мочёными яблоками.

Почтмейстер. Осмелюсь заметить, что мочёные яблоки у зрителей давно закончились.

Лекарь. Не все же из зрителей живут одними чувствами, как вы, господин Пустышкин, найдутся в зале и расчетливые типы.

Пустышкин. Была ли это похвала? О! Идут наши.

Стёпка уже успел тихонько расставить прямо у левой кулисы стулья и табуретки.

У левой кулисы показываются Рассветов, Мирский, Фиолетов, Росальская, Рассветова. Садятся в таком же порядке. Стёпка, помедлив, и сам осторожно, самым краем зада, садится на крайний справа табурет. Из-за кулисы на брюхе выползает Суфлёр, держа в зубах «Ревизора» с торчащей в нём закладкой.

Лекарь (*поглядывая на спящего Глазова*). Ничего, протереть spiritus-ом – и всем инфузориям аллес капут.

Суфлёр с полу грозит ему кулаком, встаёт на ноги, раскрывает «Ревизора», подаёт его Рассветову и тычет в страницу пальцем.

Рассветов (*не глянув в книжку. Громко*). Про-

щайте, ангел души моей Марья Антоновна! *(передает книжку Фиолетову)*.

Фиолетов. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете? *(Хочет передать «Ревизора», однако Рассветов молча отказывается: помнит, мол, наизусть)*.

Рассветов. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор. *(Фиолетов, заглянув в пьесу, передает «Ревизора» Стёпке. Тот отшатывается, выпучив глаза)*.

Суфлер *(выхватывает книжку у Фиолетова. Тихо)*. «Голос ямщика. Тпр...»

Стёпка *(радостно и громко)*. Тпру!

Фиолетов *(получив книжку от Суфлёра)*. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?

Рассветов. Нет, зачем? это пустое; а впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.

Фиолетов. Эй, Авдотья! ступай в кладовую, вынь ковёр самый лучший, что по голубому полю, персидский. Скорей! *(Суфлер тычет пальцем в Стёпку)*.

Стёпка. Тпру!

Фиолетов. Когда же прикажете ожидать вас?

Рассветов. Завтра или послезавтра. *(Суфлёр тычет пальцем в Мирского)*.

Мирский *(получив книжку от Фиолетова)*. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! *(Кричит задорно)*. Чтобы до самого Староводска не сполз! *(Из зала доносятся хохот, аплодисменты)* Теперь давай-ка с этой стороны сена. *(Суфлёр щелкает пальцем по лбу задумавшегося Стёпки)*.

Стёпка. Тпру!

М и р с к и й . Вот с этой стороны! сюда! ещё! хорошо. Славно будет. (*Вполголоса, с недоумением*). «*Бьёт рукою по коврику*.)» (*Подзывает Суфлёра, жестом просит повернуться и хлопает «Ревизором» по спине. Отдаёт ему книгу*). Теперь садитесь, ваше благородие!

Р а с с в е т о в . Прощайте, Антон Антонович!

Ф и о л е т о в . Прощайте, ваше превосходительство!

Р о с а л ь с к а я и Р а с с в е т о в а . Прощайте, Иван Александрович!

Р а с с в е т о в . Прощайте, маменька!

С у ф л е р . «Ямщик. Эй, залетные!» (*Тычет пальцем в Стёпку*).

С т ё п к а (*вытаращившись*). Тпру!

Р а с с в е т о в и Ф и о л е т о в . Эй, залетные!

С у ф л ё р (*тычет «Ревизора» в руки Стёпке, подсказывает к колоколу и пытается изобразить на нем бреньканье бубенчиков тройки. Потом тянет за верёвку, опуская занавес. Рушится на пол прямо под колоколом*). Еле дожил до антракта. Господа хорошие, если уж нельзя опохмелиться водочкой, позвольте хотя кваску!

М и р с к и й . Как легко мне сейчас, как весело! Я чуть было снова не полюбил театр. До чего же здорово подавать реплики, когда нет перед тобою зрительного зала, этой стоустой гидры, неизвестно чего от тебя ждущей!

К а т и ш ь (*аплодирует, хохоча*). Браво, Вольдемар!

М и р с к и й (*Росальской*). Я ещё не имел случая, сударыня, выразить вам свое восхищение. С какой замечательной живостью сыграли вы обе любовные сцены с Хлестаковым! (*Росальская и Рассветов переглядываются*).

Фиолетов. А я вот о чём думаю, мечтаю собственно. А не сократить ли нам к чёрту весь пятый акт? Ведь если зритель не полный дурак, он и без всякого там вскрытого письма, раскаяний Городничего и «немой сцены» понимает, что Хлестакова с деньгами уже след простыл и что настоящий ревизор обязательно приедет... Что это там?

А там

Ещё одна развязка «Ревизора»

(структурная часть пьесы, непосредственно продолжающая «Действие второе»)

В реальном зрительном зале гремит топот сапог. По проходу марширует Городничий, за ним Голубой, позади рядовой Жандарм. Завидев их, Пустышкин на цыпочках ретируется в костюмерную. Городничий и жандармы поднимаются из зала на сцену.

Городничий. Разумеется, пятый акт отменяется. Потому как всех актёришек я арестовываю. Откуда же в таком случае произойдёт пятый акт?

Голубой. Иванов 4-й, действуй. И без этих твоих «Слушаюсь...»

Жандарм подходит к Стёпке и начинает вырывать у него из рук книгу.

Стёпка. Эй, не балуй, служивый! (Оглядывается на Мирского).

Мирский (лениво). Отдай ему. Хозяин-то не возражает.

Жандарм (забирает книгу у Стёпки, кладет её на пол. Вытаскивает из-за отворота шинели рукописную афишу, разворачивает её, в мокрых пятнах, с

оторванным углом, суёт Стёпке). Подержи, холуй. *(Поднимает с полу «Ревизора», заворачивает в афишу, перевязывает со всех сторон извлечённой из кармана шинели верёвочкой и прячет за отворот шинели).*

За спинами актёров проскальзывает, согнувшись и на цыпочках, Пустышкин в платье Слесарши. Исчезает за левой кулисой.

Фиолетов *(отрывает глаза от манипуляций Жандарма, встряхивается, встаёт)*. Позвольте спросить, господин городничий, за что нас арестовываете? Вы ведь сами изволили разрешить наше представление три дня назад, у меня и бумага с вашей подписью имеется.

Городничий *(становится навтыжку)*. Обстоятельства переменялись на крайне прискорбные. *(Склоняет голову)*. Государь Николай Павлович, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая помре в Бозе 18 февраля сего года. *(Все на сцене встают и крестятся)*.

Рассветова. Господи Боже...

Рассветов. И что же теперь станется с Россией?

Стёпка рыдает в голос. Жандарм достаёт из рукава огромный клетчатый платок и вытирает ему слёзы.

Голубой. В тот же скорбный день в империи, само собою, в общем... был объявлен государственный траур. Все вы обвиняетесь в нарушении траура, следственно, в оскорблении чести величества. Будете закованы в кандалы и в ожидании суда как государственные преступники заключены в крепость. Караульная партия для доставки вас в Харьков по этапу уже собирается. Наличные в цейхгау-

зе кандалы приготовлены. Кузнецы ждут под театром. (*Жандарму*). Иванов 4-й, вели кузнецам раздувать огонь.

Жандарм. Слушаю, ваше высокоблагородие. (*Спускается со сцены и уходит через зал*).

Катишь. Какие глупости! Мы же понятия не имели, что помре!

Голубой. Незнание не освобождает от ответственности. Осмелюсь заметить, мадам, что вы удобно одеты для пешего следования по этапу, равно как и вы, господин Мирский.

Городничий. А ты, Хоменкова, вообще бы лучше помалкивала. На тебе висит еще избиеение квартального, находившегося при исполнении.

Катишь (*вполголоса Лекарю*). Похоже, мало ему сотенной.

Лекарь (*так же*). Рад, что вы, Екатерина Макаровна, не падаете духом.

Катишь (*так же*). Если медицина рядом, Адриан Иванович, я ничего и не боюсь.

Фиолетов. А когда, позвольте полюбопытствовать, в Староводске узнали о смерти государя императора?

Городничий. Эстафета из Харькова пришла в шестом часу пополудни. В шесть ровно я собрал на совещание всех чиновников города. У вас было время отменить спектакль.

Фиолетов. Сколько же вам повторять, что нам не было сообщено о введении траура! А... Понятно теперь, зачем вы не пускали никого в театр...

Городничий забирает стул, на котором сидел Рассветов, и садится на авансцене. Мирский опять

разваливается на своем кресле, К а т и ш ь присела на свой стул. Все остальные остаются стоять.

Г о р о д н и ч и й . Как это вам не было сообщено, ежели среди вас находится чиновник, присутствовавший на означенном совещании? Вот он, Колька Меньшов, наш староводский почтмейстер, который в присвоенном его должности мундире незнамо что делает на сцене.

Г о л у б о й (*прохаживается по авансцене*). Позорит мундир своего ведомства, вот что он делает!

П о ч т м е й с т е р . Однако же я не был на совещании, Созонт Ираклиевич! Я специально не пошёл, потому что вы раньше изволили приказать, чтобы ни одной даже самой пьяной и подлой чиновничьей морды не оказалось в зале, а мне было страсть как любопытно...

Ф и о л е т о в . Вот видите, господин городничий!

Г о р о д н и ч и й . Чушь! Колька сейчас же покажет, что на совещании был и что вам сообщил о прискорбном событии и о трауре, однако вы его не послушали и злокозненно начали представление. А если он не даст такого показания, то уже я при производстве следствия изобличу, что он взятки с ямщиков брал и что ухитрился украсть сто рублей ассигнациями из денежной бандероли, пришедшей на помершего мещанина. Пусть и я виноват, что не донес про Колькины преступления, однако ни одного из них не пропущу!

П о ч т м е й с т е р (*потупившись*). Да я просто подзабыл. Всё так и было, как говорит господин городничий.

Г о р о д н и ч и й . Что, съели?

Жандарм (*из-за кулисы проталкивает на середину сцены Пустышкина в костюме Слесарши. Руки у того связаны кушаком за спиной, во рту кляп*). Осмелюсь доложить, ваше высокоблагородие! Пытался бежать, переодетый бабой, пойман преданным престолу простонародьем.

Голубой. Вынь у него кляп и поставь рядом с прочими. А сам выйди на сцену и объяви, что театр закрывается за нарушение пожарных правил.

Какий Какоевич (*лежа, не открывая глаз*). Как столбовой дворянин, требую нелицеприятного монаршего суда!

Мирский (*сидит, развалившись в кресле, рассматривает свои ногти*). При всём моем уважении – или неуважении – к вам, господин городничий, я никогда не поверю, что вы, с вашим умишком мелкого взяточника и казнокрада, сами придумали эту интригу. Удивительно мне также, что вы, майор, оказались в наших палестинах столь вовремя. Разве что сами и привезли в Староводск прискорбную весть. Однако едва ли могли отправить майора, да еще жандармского, курьером к коллежскому асессору...

Городничий. Требую выразаться благопристойно. К чему такие скверные слова – «взяточник», «казнокрад»?

Голубой. Вы правы, господин Мирский. Я приехал сюда из Харькова по другому поводу. Неслыханное дело в империи Российской! Кружок так называемых прогрессистов, в основном уездных дворян, по главе со ссыльным заводит интригу против правительственного чиновника, осуществляющего в уезде полицейскую власть. Третья его величества

канцелярия обязана была заинтересоваться, согласиться.

Мирский. Получив соответствующий донос, разумеется. Однако сегодняшняя provocation не может быть ничем иным, кроме как вашей личной импровизацией. Чем это я вам не угодил, майор?

Голубой (*останавливается*). А вы разве не узнали меня?

Мирский (*снимает и протирает платком очки, снова надевает, всматривается в Голубого*). Извините, не узнал.

Голубой (*саркастически*). Конечно, к чему придворному хлыщу запоминать офицера, которого он публично оскорбил, опозорил, которому испортил карьеру?

Мирский. А... Так это вам, господин майор, я привязал на шею живого поросенка и провез в таком виде на извозчике по всему Невскому? (*Катишь хихикает*).

Голубой. Ах, вам смешно, мадам мещаночка! Вот и начальство смеялось мне в лицо, когда я просил разрешения вызвать эту лощеную скотину на дуэль. Я еле удержался в Корпусе и вынужден был снова начинать карьеру здесь, в хохлацкой Тмуторокани.

Городничий. Я же просил, господа, не собачиться ...

Мирский. Вы, майор, и сами виноваты! Вольно же вам было так скотски напиваться в кондитерской, в публичном месте, вот я и не преодолел соблазна. Да и против вас я ничего личного не имел, мне просто вдруг резко не понравилось (тоже, должно быть, спьяну) ваше место службы.

Голубой. Мне отомщение, и аз воздам.

Мирский. Да бросьте! Напомню, что я входил в кружок ближайших придворных цесаревича наследника Александра Николаевича (теперь уже, стало быть, нашего государя) и в ближайшее время буду возвращён ко двору. И если сам новый государь в военных хлопотах обо мне забудет, то ему не преминёт напомнить мой покровитель и единомышленник генерал-адъютант Яков Иванович Ростовцев.

Городничий. А пока суд да дело, вы в кандалах будете вшей кормить, равно как и ваша кучка бездельников. Кстати, господин майор, не отпустить ли нам в видах человеколюбия этих двух бабёнок? Кандалы ещё на них переводить... Протолкать за городскую заставу, да и Бог с ними.

Росальская. Алешенька, не бойся, сыночек! Пойду за тобой и за Иваном Семёновичем хоть и в Сибирь!

Жандарм. Разрешите исполнять? (*Голубой машет на него рукой*).

Мирский (*поднимает глаза от своих ногтей на Городничего, переводит их на Голубого*). Ладно, я посижу малое время, да и выйду, а потом и ты, городничий, попадёшь под суд за самоуправство и старые твои грешки, и ты, майор, даже и без всякой явной твоей вины поедешь в Тобольск улучшать тайный надзор над каторжниками. Попугали – и довольно. Излагайте теперь ваши просьбы, господа.

Пауза. Рассветов, Фиолетов, Рассветова, Росальская, Пустышкин, Почтмейстер, Суфлер глядят на Мирского во все глаза, а Рабочий сцены, по-прежнему лежащий под задником, одним глазом. Стёпка ухмыляется, Лекарь усмехается, Катишь осторожно хихикает.

Городничий (*подходит к Фиолетову, выталкивает его на авансцену, пока оба не оказываются лицом к лицу, а к зрителям в профиль*). Здравия желаю, ваше благородие! За что ордена удостоились?

Фиолетов. Да ведь это бутафория, господин городничий.

Городничий. Эх ты, бутафория... А я своего Георгия 4-ой степени (*берёт рукою крест, висящий у него на шее*) получил, прежде потеряв под Эриванью пару пальцев. Ядром оторвало. (*Показывает на правой руке торчащий средний палец, остальные поджав*). «Казнокрад», «взяточник»... Да знаете ли вы вообще, штафирки, что такое городничие, из чего образовались? Я расскажу. Городничие назначаются из увечных и раненых офицеров, чтобы дать им возможность подлечиться, подкормиться, обрасти жирком, пожитками. А разве возможно всё это произвести на жалкое казённое жалованье? И разве не подсказывает мне этим нищенским жалованием сама власть, чтобы я питался от своей малой должности, как священник питается от жертвенника? То-то же. Однако я и сам признаю, что слишком увлёкся, переусердствовал. Так что готов поделиться.

Мирский. Излагайте, что желаете за собою оставить... (*Пауза*). Созонт Ираклиевич.

Городничий (*грозит пальцем, хихикает*). А я догадался, что вы не прочь пойти на мировую, ваше сиятельство, когда вы убрали из представления возмутительную сцену с купцами. (*Фиолетов и Мирский переглядываются*). Вот купцов-то наших вы мне и оставьте: я с ними сжился, как с родными, а они во мне души не чают. (*Загибает палец*). Это раз. А взятое с яр-

марки напополам: мои ребята сами соберут да вам в кабинет и предоставят. Это два. (*Загибает второй палец*). И зачем вам лично избираться в предводители дворянства? Лучше бы денежные дела свои поправили...

Мирский. Я буду баллотироваться в предводители дворянства, чтобы не обмануть ожидания своих сторонников. Здесь нет предмета для торга.

Городничий. Ладно. (*Показывает на спящего Глазова*). Это наш будущий председатель судебной палаты? Я угадал? (*Мирский кивает*). Сейчас у нас судья – картёжник и пьяница, будет – книжник и пьяница. Какая разница? Касательно же рекрутского присутствия...

Мирский. Главное мне понятно, Созонт Ираклиевич, об остальном лучше между четырёх глаз. А вы, господин майор, чего вы от меня требуете?

Голубой. Мы квиты, Владимир Ксавериевич. Я не требую, а покорнейше прошу, когда сами переберётесь в Питер, вытащить и меня в наше Главное управление. Век за вас буду бога молить, и моя старушка-мамаша за ваше здоровье свечку поставит. (*Актерам*). А вы что стоите, будто инвалидная команда? Все свободны, дамы и господа.

Городничий (*потирает руки*). Осталось, как в народе говорят, sprysnut'ь мировую. (*Вскакивает со стула, вытягивается, склоняет голову*). Сперва же, само собою, помянув в Бозе почившего государя императора. Я, господа, признаться, уже послал за ящиком самолучшей мадеры к шельме Кузякину.

Фиолетов (*нерешительно*). Однако ведь накрыты столы на втором этаже в трактире Филиппева... Не кажется ли вам, господин Мирский...?

М и р с к и й (легко). Да, конечно же, кажется... Собо-
благоволите, Созонт Ираклиевич, и вы, майор, откусать
с нами. Дамы и господа, приглашаю всех!

С т ё п к а . Тогда я побежал. Распоряжусь, чтобы
ставили на печь жаркое.

Р а с с в е т о в . Ведь это же невесть что на белом
свете делается, маменька! (Бросается к ней в объятия).
Такого ведь и на театре не увидишь!

Занавес

2009, 2013 г.





Умник кёнигсбергский

Одноактная комедия



Действующие лица

Кант Иммануил, 34 года, доктор философии, даёт частные уроки. Худошав, носит свои волосы с буклями под пудрой. Потрёпанный халат, тёмный платок на шее, домашний колпак, шлёпанцы. Руки в чернилах.

Исменев, Василий Иванович, поручик Архангелогородского пехотного полка, командир роты. 30-ти лет, причёсан по моде с буклями под пудрой, короткие, закрученные вверх усы. В мундире и сапогах со шпорами. С саблей.

Тверской, Александр Григорьевич, подпоручик той же роты, лет 19-ти, не причёсан, в нижней рубахе, форменных штанах, турецких туфлях и полосатых немецких носках.

Болотов, Андрей Тимофеевич, подпоручик того же полка, лет 20-ти, служит секретарём-переводчиком в канцелярии губернатора. В гренадёрской форме, с саблей.

Миллер Иван Фридрихович, плац-майор, толстяк лет 40-ка в пехотной форме, в паричке с буклями и сапогах со шпорами. При шпаге.

Фохт Готлиб-Фридрих, начальник полиции Кнайфопо. Тощий, в синем мундире, лет под 60. При шпаге.

Краузе Иоганн, подмастерье переплётчика Борна. Лет 25-ти. В мещанском платье.

Элеонора, кухарка. Лет 30-ти, скорее пикантная, чем хорошенькая. Одета по-мещански.

О р д и н а р е ц – унтер-офицер в гренадёрской форме.
Возраст от 30-ти до 40-ка лет.

В е с т о в о й – пехотный рядовой в расстёгнутом мундире, в сапогах, лет 30-ти.

Действие происходит в начале сентября 1758 года в Кёнигсберге, в комнате квартиры Канта, занятой Тверским. Из мебели – стол, четыре стула, кровать с пологом. Слева входная дверь, на ней вешалка. Висят треуголка, мундир и на перевязи сабля. На стене обои в цветочек, к ней прибиты гравюры, на них императрица Елизавета Петровна и общий вид Кёнигсберга. Справа – окно с ламбрекеном.

Исменев и Тверской сидят за столом, пьют чай из больших фаянсовых кружек, перед ними миски с нарезанной колбасой, сыром, булки.

Вдруг застывают.

Из-за правой кулисы гусиным шагом марширует русский пехотный солдат, на плече держит палку с транспарантом «*Говорят на русском*». На середине авансцены поворачивается усатым лицом к зрителям, отставляет палку в сторону, будто ружьё со штыком. Неподвижен несколько секунд. Берёт снова «на плечо», отдаёт честь и таким же манером возвращается за левую кулису.

Исменев. Пора мне, Саня, уже отчаливать. Ну, до чего ж неохота шлёпать в этот караул...

Тверской (*робко*). А ты, Василий Иванович, старайся находить в явлении хорошую сторону, как наш хозяин изволит говорить.

Исменев. Этот учёный чудаки? И что же ты увидел хорошего в недельном карауле? Ни мундира снять, ни шарфа, спишь в сапогах, а ноги скучают.

Тверской. А хоть бы и вот что хорошее. Этак поскучав недельку, после пару месяцев о караульной службе хоть и не вспоминай. А наслаждайся жизнью здешней, в славном Кёнигсберге.

Дверь распахивается, в комнату без стука вливается Элеонора. Делает книксен.

Элеонора. Ист довольно об ихр фриштык, мейн херрен?

И с м е н е в (*отмахивается от неё*). Довольны мы, довольны. Поди, Лорка, не мешай беседе! (*Элеонора исчезает*).

Т в е р с к о й . А этими вот её услугами (*делает неприличный жест*) доволен ли ты, Василий Иванович?

И с м е н е в (*смеётся*). Фули спрашивать такое, Саня? Вот не будет меня неделю, так ты сам к Лорке подвали. Тогда и узнаешь. Да только ты своей командирши Лизхен побоишься.

Т в е р с к о й (*смущенно*). И при чём тут Лизанька?

Раздаётся первый дребезжащий удар городских часов.

И с м е н е в . Саня, чу!

Т в е р с к о й загибает пальцы.

Т в е р с к о й . Полных восемь часов, Василий Иванович! Всего-то. Спокойно можешь ещё попить чаю! И приятно побеседовать.

И с м е н е в . Пожалуй. (*Громко отхлебывает из чашки, заедает булкой, чавкая*). Беседа про баб или девок, она завсегда приятность доставляет.

Деликатный стук в дверь.

Т в е р с к о й . Войдите!

Входит К а н т . Легко кривится на звуки, издаваемые поручиком.

К а н т . Гутен абент!

И с м е н е в . Абент, абент.

Т в е р с к о й . И вам доброго утра, герр Кант. Чем обязаны?

К а н т (*достаёт маленькую книжку и держит её в руке, как на портрете 1768 года*). «Тшем обяза-

ны»? (*Ловко перелистывает*). О! Нихт «тшем обязаны». Э-э-э... (*Читает с клочка бумаги*). Я нижайший просить вас сделать мне протекция перед всемилостивейшая государыня императрица (*низко кланяется портрету*). Профессор Кёнигсберг университет герр Кипке ист при смерти, унд я намереватса просит вакансия профессор логика и метафизикс. Прошу в просьба моя не отказат.

Пауза. С улицы слышны звуки шарманки. Т в е р с к о й распахивает окно. «Ach, du lieber Augustin» звучит теперь громче. Смолкает.

И с м е н е в . Слышь, Саня, объясни ты этому полу... полупрофессору. Ты с немчиками спрехаешь получше меня – девка, что ли, тебя столь усердно учит?

Т в е р с к о й . И сюда ты ухитрился милую Лизаньку впутать... Ладно. (*Бросает взгляд на портрет. Встаёт*). Герр Кант! Мы не можем сделать протекцию перед государыней императрицей Елизаветой Петровной, потому что мы персоны для того мелкотравчатые. Вы поняли ли, герр Кант?

К а н т . «Поняли»? (*быстро ищет в книжке*). «Понять...». О! Фэрштэен нихт.

Т в е р с к о й . Нет? Ну тогда... Вир ист кляйне официере. Вот.

К а н т . О! Зехште официере... Не иметь значений. Ин Руслянд... В Россия ист фаворитсмус, унд бевахрер (*листает*)... стороз канн хабен фюр государыня императрица большой гевихт... (*листает*) вес, незели министр. Есть ли у ваши ан дем хоф... (*листает*) при двором знаемы стороз?

И с м е н е в . Как ты посмел, немец, оклеветать нашу государыню и отечество наше? Какой-такой в России фаворитсмус? Ты хочешь, чтобы я на тебя «Слово и дело государево» объявил?

Кант. «Слово и дьело»? Найн, найн... Фэрцайен зи бите! Ауф видерзэен. *(Делает общий поклон, поспешно уходит).*

Тверской *(смущённо улыбаясь)*. А теперь немчик разозлится и за пансион плату потребуует. Да и разве не так оно у нас при дворе деется, как герр Кант сказал?

Исменев. Если и деется, то мы, русские, про это вольны посудачить меж четырёх глаз, как вот сейчас. Но иноземцам – зась, не твоё дело!

Тверской. Но разве он иноземец, если присягал нашей государыне императрице? И у него... глаза смеялись.

Исменев *(отпив чаю)*. Зачем из-за такой чепухи, Сеня, ты мне поперёк говоришь, будто полаяться со своим командиром желаешь? А меня злит, что немцы после вести о Цорндорфской баталии, которую пруссаки своей победой по всему свету объявляют, задорны стали и смотрят с наглостью. Опасаюсь я, что оттого сие, что уже имеются у них ведомости, когда нам на войну отсюда маршировать.

Тверской. Вот этого не дал бы Бог. *(Вскакивает из-за стола и начинает нервно ходить по комнате).*

Исменев *(спокойно)*. А почему бы и нет? Не вечно же нам в безопасном, сытом и роскошном Кёнигсберге прохлаждаться. Сам же ты по ведомостям о раненых, убитых и пленных высчитал, что после последней несчастливой баталии убыль в офицерах составила почти тысячу человек. Кому, как не нам, заменить их теперь?

Тверской *(опустив голову)*. Ты прав, конечно же, Василий Иванович... Эй, там что же, тревога объявлена?

С лестницы и коридора слышен стук дверного молотка, грохот сапог, возня. Дверь распаивается, появляется О р д и н а р е ц .

О р д и н а р е ц (*отдаёт честь*). Господин подпоручик! Вот славно, что и командир роты здесь!

И с м е н е в . Давай вываливай приказ, не томи!

О р д и н а р е ц . Ваши благородия! Господин полковник приказать изволил в поход собираться. Уходим послезавтра ровно в седьмом часу утра с главной площади, на ней же и сбор.

И с м е н е в . Это понятно. Наша колонна марширен нахт криг. Непонятно мне только, заступать ли мне с командой моей в караул, али нет уже.

О р д и н а р е ц (*хлопает себя по лбу, попадает по бляхе на шапке*). Прощения просим! Забегавшись я, ваше благородие! Про караул вам велено сказать: «Отставить!». Нынешний караул сменит команда из третьего батальона, туда всех полковых больных и слабаков сейчас лекарь отбирает.

И с м е н е в . Поди, братец. (*О р д и н а р е ц исчезает*). А полковник сейчас отбирает негодных к службе офицеров, да только мы с тобой в вечные караульщики не попадём. Вот и приятная для меня новость: хоть караула избегну. Эй, да что это с тобой, Саня?

Т в е р с к о й (*едва не плачет, стучит кулаком по столу*). Так ведь капут пришёл всем моим прожектам! Теперь ведь и меня искалечат презлые пруссаки да изуродуют, как других прочих... А что в бок попадёт, уже не вынешь! И совсем не время мне под горой трупов в земле издыхать, Василий Иванович! Не время, ох, не время же!

И с м е н е в . Да никому не время, мнится мне, под горой трупов-то. Вот не пойму я, Саня, что с тобою творится...

Осекается, потому что звучит нетерпеливый стук дверного молотка. Снова грохот сапог. В комнату входят Миллер, Болотов и Фохт, за ними Кант. Через проём двери видны в коридоре пехотные солдаты, с ружьями.

Тверской (*плакливо*). Вот ещё беда на мою голову? Нешто тот немчик, что я ему пересчитал зубы за неучтивость, жалобу подал?

Исменев (*кричит*). Да как вы посмели врывать-ся в комнату к русскому офицеру?

Миллер (*из-за плеча Фохта*). Молчать, поручик! Перед ты плац-майор Миллер. Допросить желаю подпоручик пятая рота Тверской. Сей есть оный меланхолик?

Болотов (*светским тоном, Миллеру*). А меня эти офицеры знают. Я из гренадёрской роты был взят переводчиком к господину губернатору. (*Поворачивается к Тверскому*). Ты же, Тверской, не пужайся. Нашали по-скотски, так имей мужество ответить по закону.

Исменев. Андрюша, привет! Что ты такой суровый? За чего там Сане отвечать велишь?

Болотов. Сейчас тебе скажут, Василий Иванович. Не порадуешься и ты.

Актёры застывают, как в «немой сцене». Потому что из-за правой кулисы появляется немец-горожанин в городском европейском платье, в чулках и башмаках. Действуя, как давешний русский солдат, он показывает зрителям транспарант «*Говорят по-немецки, кто на сіе способенъ*».

Фохт (*указывая пальцем на Тверского*) Хватайте его! Слёзы раскаяния изобличают злодея!

Исменев. Саня, хоп!

Мгновенно сорвав с себя перевязь с саблей, бросает Тверскому. Тот ловит на лету.

Миллер (*ошеломлён*). Да что это вы себе позволяете, поручик? Как вы смели вооружить подозреваемого?

Исменев подзывает к себе Болотова и бубнит ему на ухо по-русски. Зрители, как и позже в таких случаях, слышат только: «Бу-бу-бу».

Болотов. Господин плац-майор! Поручик докладывает, что просто вернул подпоручику его саблю, кою у него позаимствовал, собираясь в караул. Свою же отдал в роту поточить.

Миллер. Ладно уж. Господин Фохт, вы там ближе, прикройте, пожалуйста дверь. Конвойным покамест нечего тут делать.

Фохт захлопывает дверь – и возмущённо вытаращивается на саблю, висящую на вешалке. Оборачивается к Миллеру, тот разводит руками.

Миллер (*бормочет*). Дерзость этих бесстыжих русских дворянчиков превосходит все границы... (*Громко*). Господа, давайте присядем. А вот подпоручику Тверскому придётся постоять. (*Рассаживаются. Исменев при этом кладёт ногу на соседний стул, занимая его для Тверского. Кант и Болотов вынуждены, откинув полог, рядышком усесться на кровать*). Господин Фохт, изложите суть дела.

Фохт (*встаёт*). Суть дела ужасна и омерзительна. На рассвете рыбаки-удильщики увидели в Преголи медленно плывущий труп женщины. Его держал на воде воздушный пузырь, образовавшийся в юбках несчастной. Рыбаки достали лодку, поймали и вынесли тело на берег перед кнайпфопской Биржей. Была вызвана полиция, то есть я, Готлиб-Фридрих Фохт, начальник полиции Кнайпфоба. По дороге я зашёл за врачом, почтенным Фрицем Гофманом, доктором медицины.

Миллер (*наставительно*). А надо было немедленно послать за мною в Замок.

Фохт (*пожав плечами*). Когда мы пришли, у тела уже маячил русский патруль, унтер-офицер и солдат. Солдат был отправлен за русским аудитором, вот за господином плац-майором. Врач без всякого сомнения установил, что эта молодая девушка была изнасилована (увы!), а затем задушена. Тем временем в толпе зевак нашёлся свидетель, который помог установить, что жертва есть фройляйн Лизбет Шмидт, продавщица в книжной лавке Штайнмайера. Что она круглая сирота, помолвлена с Иоганном Краузе, подмастерьем переплётчика Борна. Но в последнее время за нею волочился вот этот (*указывает на Тверского*) русский офицер.

Тверской (*тихо, покачивая головой*). Лизанька? Нет, как же так? Зачем вам меня обманывать?

Фохт (*сурово*). Увы, подозреваемый. Нашлись и другие свидетели. То была Лизбет Шмидт.

Тверской (*кричит*). Нет!

Вдруг выхватывает из ножен саблю и пытается заколоться. Иسمенев бросается на него и подбивает руку. Острые сабли проходит над плечом подпоручика.

Исменев (*отбирает саблю и кричит*). Бу-бу-бу!

Фохт (*Болотову*). Господин подпоручик, переведите мне, будьте добры, сказанное этим офицером.

Болотов (*любезно*). Больше всякие русские ругательства. А потом, что дурак едва не остался без уха. И поделом бы ему.

Фохт. То есть всякие глупости. А я говорю, что убийца пытался покончить с собою в порыве невыносимого стыда и внезапного раскаяния. Арестуйте его! Не дайте улизнуть вместе с его полком и так избежать наказания!

К а н т . Дозволено ли будет мне, господа, вмешаться в ваш разговор?

Ф о х т (*остывая, бурчит*). Это не ко мне, господин доктор. (*Тычет пальцем в Миллера*).

М и л л е р (*с интересом*). Так вы тоже доктор? Мой клятый почечуй...

К а н т (*любезно*). Боюсь, герр майор, что против почечуя я не воин. Я ведь доктор философии и метафизики.

М и л л е р . Говорите. (*Внезапно заинтересовавшись*). Чего, чего вы доктор?

К а н т (*по-прежнему любезно*). Долго изъяснять. Я хотел спросить, в каком качестве сюда приведён? Как квартирохозяин?

Ф о х т (*сначала переглянулся с Миллером*). Ну, да... Вы ведь можете быть ценным свидетелем для нашего следствия. Как и жених фройляйн Шмидт, который ждёт в коридоре.

Т в е р с к о й (*кричит*). Какой жених? Это я жених фройляйн Шмидт, моей Лизаньки!

К а н т . Вот ведь эгоист... Да, мне русский фурьер поставил на постой двух офицеров, а у каждого ещё слуга и вестовой. Они заняли четыре лучшие комнаты, а я вынужден ютиться в чулане. Чтобы хоть деньгами компенсировать неудобство, я предложил им пансион, для чего нанял приходящую кухарку. Но платы не получил ещё ни за один месяц. А теперь уж... (*машет рукой*).

М и л л е р . Сочувствую, герр доктор. (*Отворачивается*).

К а н т (*живо*). Я не закончил, господин плац-майор! У меня предложение. Предстоит допрос сего пылкого юноши. При этом в ваших действиях, го-

спода плац-майор и начальник полиции, очевиден обвинительный уклон, оба (*улыбается*) как бы играют в прокурора.

Миллер (*ворчит*). Какой уж с меня прокурор? Мне, плац-майору, приходится вникать в это паскудное дело, потому что господин губернатор барон Корф изволил приехать на должность, не прихватив с собою ни одного юриста.

Тверской (*ломаю руки*). О, моя Лизанька!

Кант. Так вот, если господа не возражают, я хотел бы, исходя из возвышенного понятия справедливости, занять на допросе позицию адвоката. Юриспруденция есть ни что иное, как формализованное воплощение практической этики, а её теоретической стороной, критикой практического разума, мне приходилось заниматься.

Миллер. Ох, как бы от вас голова не заболела!

Фохт (*усмехаясь*). Доктор Кант давно признан первейшим умником во всём Кнайпфопе. Он не стал миллионщиком только потому, что чересчур честен. И деньги не любят остряков.

Миллер. Ну, хорошо. Герр Фохт, изложите своё обвинение.

Фохт. (*Поднимается со стула*). Русские военные отвратительно поступают с женским полом нашей несчастной родины. Бесчинства над женщинами разного возраста и состояния, сотворённые казаками в местечке Рацебур под Кюстрином, не поддаются описанию. Одни эти казаки опозорили Россию на всю Европу. И тут, в мирном нашем Кёнигсберге, солдаты и офицеры в пьяном виде шляются по улицам и пристают к честным девушкам и замужним жёнам. Будто мало им проституток! Этот же молодой офицер свёл знакомство с честной, работающей девушкой, а не сумев соблазнить её,

решился на насилие. Чтобы скрыть своё преступление, негодяй задушил свою жертву и бросил в реку. Кажется, дворянина мы не имеем право подвергнуть пытке, но его слуг городской палач принудит сказать всю правду. Я кончил. (*Садится*).

Т в е р с к о й . Какие глупости!

И с м е н е в кивает. Убирает ногу со стула. Т в е р с к о й садится.

К а н т (*поднимаясь на ноги*). Вы позволите, герр плац-майор?

М и л л е р . Только покороче! И без непонятных слов.

К а н т . Если сумею. Вывод о виновности этого молодого офицера сделан герром Фохтом, исходя из его общего представления о жестокости и распутстве русских. То есть герр Фохт прибегнул к дедукции, что в данном случае чревато ошибкой. Ведь при расследовании преступления надлежит пользоваться другим методом познания, а именно индукцией...

Ф о х т . Герр доктор, вас же просили...

К а н т . Да я никогда не говорил о важных вещах столь просто! Итак, обратимся к индукции, а сей метод требует вначале изучить факты. Факты же вопиют в пользу моего квартиранта. Я готов подтвердить под присягой, что вчера, после того, как я в сумерках выпустил из квартиры фройляйн Шмидт, отсюда больше никто не выходил. Тогда я запер входную дверь вот этим ключом (*достаёт из кармана связку, показывает*) и отпер её уже ранним утром, когда пришла кухарка.

М и л л е р (*изумлён*). Так эта девушка вчера была здесь... Как долго?

К а н т (*ухмыляется*). Молодые люди... беседовали около четырёх часов. Воскресенье ведь.

Фохт. Ладно. (*Тверскому*). Имели ли место вчера между вами и покойной фройляйн... ну, тесные отношения?

Тверской. Бу-бу! Бу-бу-бу.

Миллер. Ох, уж эти богатенькие дворянчики...

Фохт (*Болотову*). Герр офицер, переведите сказанное подозреваемым.

Болотов (*любезно*). Русская ругань, а потом... что не ваше дело. Ещё Саня говорит, что сделал Лизаньке предложение руки и сердца.

Кант (*усмехаясь*). Конечно же, они миловались. Мой чулан как раз под этой комнатой, а кровать тут отменно скрипучая. (*Все посмотрели на кровать, а сидящие на ней – ещё и друг на друга, при этом Кант встречает взгляд Болотова с комическим ужасом. Пауза*). Господин подпоручик, а как фройляйн Шмидт поясняла вам... это при первом тесном сношении... что не вы сдули пыльцу невинности?

Тверской (*агрессивно*). Не понял.

Болотов (*Тверскому*). Ну, бу-бу-бу. Бу-бу.

Тверской. А... Бу-бу-бу! Бу-бу-бу-бу.

Исменев хохочет.

Фохт. Что сказал подозреваемый?

Болотов. Сначала я ему посоветовал отвечать, ежели не желает он пропутешествовать в Сибирь пешком и в кандалах. Саня сгоряча и меня послал... А Лизанька-де извинялась местным обычаем... э-э-э... стыдных игр подростков.

Немцы изумлённо переглядываются.

Кант (*растерянно*). Господа, как антрополог я мог бы долго рассказывать об удивительных обычаях народов мира, относящихся к браку и дефлорации...

Миллер (*умильно*). Так расскажите нам, герр доктор!

Кант. Извините, герр плац-майор, но я должен поторопиться. Ведь приближается час моей прогулки, а я уже тринадцать лет, как на неё не опаздывал... Нет у нас здесь такого обычая, девушка солгала из стыдливости. А этот молодой человек не виновен в изнасиловании и в убийстве. Во-первых, он тогда спокойно спал. Во-вторых, зачем бы ему? Он ведь её любит, хотел на ней жениться и не далее, как днём, простите меня, наслаждался ею.

Тверской (*Болотову*). «...наслаждался ею». Не понял я...

Болотов. Бу-бу.

Миллер (*потирая руки*). Сдаётся мне, герр Фохт, что крыть вам нечем...

Фохт (*язвительно*). Допустим. Однако в нашем городе живут скромные, работающие и честные люди. Пусть не этот русский варвар, так другой...

Кант (*перебивает*). Господа! Нам ничего не мешает прямо сейчас поймать настоящего убийцу. Герр плац-майор, не соблаговолите ли вы вызвать сюда Иоганна Краузе?

Миллер, пожав плечами, выполняет просьбу Канта. Конвойные вталкивают в комнату Краузе. Тот держит руки в карманах штанов.

Миллер. Представься, братец.

Краузе (*кланяется*). Я Иоганн Краузе, подмастерье переплётчика Борна. Мы с невинной жертвой этого русского изверга (*показывает подбородком на Тверского*) были помолвлены.

Фохт (*кисло*). Вот когда узнал я тебя... Ведь это ты сунулся в банк с поддельным чеком князя Радзивилла?

Краузе потупился. К нему усердно присматривается Тверской.

Тверской. Бу-бу-бу? Бу-бу...

Болотов. Саня спрашивает: «Так это тебе я начистил рожу, когда ты мою Лизаньку продажной девкой обозвал?». Дальше не переводится. В недоумении он, в общем...

Кант (с улыбкой). Обычные антимионии в психическом бытии примитивного индивидуума, игнорирующего требования категорического императива.

Миллер (хватается за голову). О Боже мой!

Кант (бодро). Сейчас, господа, я все ваши недоумения устраню. (Краузе). Иоганн, есть ли у тебя платок?

Краузе (удивлён). Имеется, герр доктор.

Кант. Тогда потри им, будь добр, свою левую щёку.

Краузе. Ах, я ошибся, нет со мной платка... А-а-а!

Краузе бросается к окну. И смеев, не меняя выражения лица, подставляет ему ножку. Тот рушится на пол. Свалка. Сильный треск. Это сломалась ножка стола, остатки завтрака летят на пол. Тверской оседлал Краузе, тузит его кулаками по голове. Кант и Болотов, сидя рядом на кровати, наблюдают за побоищем. Наконец, конвойные поднимают Краузе с пола и, награждая тумаками, уводят.

Кант. (Болотову). Приятны мне, господин подпоручик, ваши воздержанность и спокойная в поведении манера.

Болотов. Ах, герр доктор, книги для меня милее всех на свете девок! А фройляйн Лисбет завсегда казалась мне такой благоразумной.

Исменев и Тверской, переглянувшись, возвращают на место стол и стулья. Садятся на свои места. За ними и немцы, при этом Фохт придерживает рукой столешницу.

Миллер. Не томите нас, герр доктор! Откройте, как удалось вам угадать убийцу?

Кант (*выходит на середину сцены*). Не угадал я его, герр майор, а вычислил методологически безупречным индуктивным исследованием... Всё, стоп! Теперь только самыми простыми словами! Вот мы с господином переводчиком суть верные завсегда и книжной лавки герра Штайнмайера. Но я не только любовался пригожей продавщицею, но ещё и обыкновение имел прислушиваться к её речам. Я понял, что эта сирота железный характер имеет...

Исменев (*внимательно слушает*). Фрой-ляйн-командир.

Кант. Вот-вот! И что нрав её есть «вещь в себе». А как-то, когда вас, господа, ещё не было в нашем городе, довелось мне с другой стороны стеллажа, у коего Лисбет с русским офицером кокетничала, нечаянно подслушать, что она согласилась прийти к нему на квартиру. А его полк должен был, вот как нынче ваш, господа, через пару дней из Кёнигсберга выйти. Многие тогда пошли на площадь у ратуши посмотреть, как русские уйдут. Я тоже. И, знаете ли, того офицера увидел, а у него голова забинтована.

Тверской. Это неправда, герр доктор. Моя Лисбет была очень доброй и нежной. Она любила только меня. (*Закрывает лицо руками*).

Миллер. А почему вы, герр доктор, не донесли тогда по команде?

Кант. Это была бы только догадка, как вы только что изволили выразиться. Да и полк тот ушёл.

Исменев. Вы нас, русских, не любите. Вот почему.

Кант (*любезно*). Может быть, вы, герр поручик, подскажите, за что мне русских-то любить? А того прежде мне, человеку небогатому, заплатите за пансион?

Тверской срывается со стула, достаёт из кармана мундира, висящего на вешалке, увесистый с виду кошель, развязывает его и высыпает на стол три золотых монеты. Кант забирает две монеты, одну оставляет на столе.

Кант. Спасибо. Я, право, не знал уже, как с кухаркой расплачусь. А теперь и на ремонт стола мне хватит. Так вот, появляется эта коварная Лисбет у меня в доме, и мой младший квартирант просто млеет от счастья. Я хотел было его предупредить, да только, знаете... (*Исменев ухмыляется*). Вот, вот, счастливый амант мог меня и прибить. А сегодня слышу ужасную весть. И я вижу вороватого Краузе у себя в коридоре и узнаю, что это жених покойной. У него на щеке царапины замазаны чем-то жёлтым, а руки в карманах. И тут-то у меня в голове будто молния блеснула! Он-то и убил, а щёку и руки ему Лисбет ногтями исцарапала, когда душил. Она ведь из тех была, кто борется до последнего.

Фохт. А убил-то он свою сообщницу зачем, герр доктор?

Кант. Да потому, что из-за юбки даже скромному, работающему и не совсем честному немцу может кровь или иная не столь благородная жидкость ударить в голову! Не знаю, грабил ли Краузе любовников Лисбет. Может быть, он довольствовался долей от денег, ей подаренных. Но вчера мой квартирант сделал Лисбет предложение, и она решила, что лучше быть богатой

русской помещицей, чем в лавке дышать книжной пылью. От Краузе она сего не утаила, да к тому же как девушка по-своему честная сочла больше невозможным продолжать с ним и близкие отношения. Он взбеленился и... Не удивлюсь, если коморка парня выходит окном на Прегель, и он просто сбросил труп в реку.

Ф о х т . Благодарю вас, герр доктор, вы очень помогли следствию. Мы покидаем ваш дом. Надо доставить преступника в пыточный подвал под ратушей.

М и л л е р . Примите также извинения за беспокойство. А отведём мы, герр Фохт, убийцу туда, куда господин губернатор прикажет.

Немцы уходят. Последним – К а н т , кланяется офицерам, закрывает за собою дверь.

И с м е н е в и Т в е р с к о й поднимаются из-за стола, выходят вместе, обнявшись. Б о л о т о в , вставший с кровати, когда поднялся из-за стола М и л л е р , подходит к гравюре с видом Кёнигсберга. И с м е н е в приводит В е с т о в о г о со стопкой книг, и тот надставляет ими стул, чтобы заменил ножку стола. Лишние книги бросает на пол. Б о л о т о в их поднимает и аккуратно складывает на столе. В е с т о в о й уходит. Возвращается Т в е р с к о й с неполной четвертью шнапса и тремя стаканами. Разливает шнапс.

Офицеры застывают. Из-за правой кулисы снова появляется солдат с транспарантом «*Говорят на русском*», проделывает свои штуки, уходит.

Б о л о т о в . Я не пью, господа.

Т в е р с к о й . Так пригуби, Андрюша. Мы мою Лизаньку поминаем.

Пьют – стоя, не чокаясь.

И с м е н е в . Эх, солёных рыжиков бы сейчас!

Тверской. Мне всё кажется, что это сон какой-то, и она сейчас в своей лавке.

Исменев (*грубо*). Ты скажи лучше, Саня, для чего хозяину-то заплатил?

Тверской. А побоялся, что он, хитрец-мудрец, на нас с тобой порчу наведёт.

Болотов. Да ну... Ежели такой мудрый, отчего сам книг не пишет?

Исменев. А вот если бы герр доктор у цезаря Фридриха командовал артиллерией, боюсь, друзья, от нас осталось бы одно мокрое место.

Занавес

2016 г.





Кекспир как ты и я

Комедия в 3-х актах



Главная мужская роль (45–50 лет), может быть бенефисной, еще 6 мужских, 7 женских ролей, 1 – для девочки 5-ти лет.

Рассказывается о последних трёх годах жизни Шекспира, проведённых в родном Страдфорде. На надёжной документальной основе автор выстраивает свою концепцию Шекспира как творца жизнелюбивого и глубоко погружённого в свою современность, безусловного автора приписываемых ему произведений. Шекспир в комедии остроумен, провокативен, он ловко разрешает гротескные и комические ситуации в жизни домочадцев, отнюдь не лишен пороков своего времени, бесстрашен перед смертельной болезнью. Однако, человек Ренессанса, угасающий Шекспир вынужден оглядываться на набирающую силу в родном городе пуританскую мораль. В предлагаемой комедии нет «хрестоматийного глянца», более того, она эпатажна и не лишена грубого народного юмора, носителями которого являются образы трёх площадных актёров-призраков, гротескно комментирующих перипетии сюжета. Российский зритель увидит, как близки ему проблемы Шекспира и его друзей, живших в такую же переходную эпоху.

Действующие лица

Вильям Шекспир – богатый домовладелец торгового города Страдфорда-на-Эйвоне, живущий в нем на покое. Лет 50-ти, выглядит на сорок. Седая прядь в длинных волосах только подчеркивает его молодость. Желательно, чтобы внешность и одежда соответствовали гравюре на титульном листе «Первого фолио».

Ричард Бёрбедж – приятель и земляк Шекспира, пайщик, режиссёр и актёр труппы лондонских театров «Глобус» и «Беркфлайерз». Лет 45-и. Должен быть одет и загримирован точно так же, как Шекспир, только волосы и борода-эспаньолка у него рыжие.

Энн, урождённая Хэтауэй – жена Шекспира. Дама под шестьдесят. Со следами, как говорится, бывшей красоты. Одета по-домашнему.

Сьюзен – старшая дочь Шекспира, 30-и лет. Одета с большей претензией на моду, чем мать, однако не плохо было бы, если бы заметно походила на неё.

Джон Холл – магистр искусств, врач, муж Сьюзен, 40-а лет. С очками на носу, лысый, сторбленный. Одет хорошо, однако небрежно. В первом акте из кармана у него свисает большой носовой платок.

Джудит – младшая дочь Шекспира, 28-и лет. Одета, причёсана и говорит, словно только что проснулась.

Элизабет – дочь Сьюзен, внучка Шекспира, 5-ти лет.

Дж о а н Х а р т – сестра Ш е к с п и р а , 44-ти лет. Наряд на ней потрепанный, однако с претензией на моду.

Т о м а с Г р и н , эсквайр – главный олдермен Страдфорда, 50-ти лет. Одет дорого, но по моде конца XVI века.

М э р и Г р и н – дочь главного олдермена, первая красotka Страдфорда, 17-ти лет.

Ф р э н с и с К о л л и н з – поверенный. Богато, но небрежно, по старой моде одетый древний старик.

С п е н с – писмоводитель К о л л и н з а . Одет бедно, лет 40-а.

Ж е р д ь – слуга Ш е к с п и р а , привезенный из Лондона, лет 20-ти.

С а р а – служанка в доме Ш е к с п и р а , лет 30-ти.

К э т р и н , служанка Холлов, кормилица Э л и з а б е т , лет 40.

Бродячие актеры, существующие, похоже, только в воображении главного героя:

О б ъ е д а л о - П у к – с привязанными седой бородою и брюхом.

Д а м а - К р и в л я к а – плохо выбритый мужчина средних лет в дамском платье и парике.

Ш у т - П о д з а б о р н и к – в костюме шута, то есть в пёстрой куртке, узких разного цвета штанах, в колпаке с бубенчиками и с огромной позолоченной цепочкой от часов на груди.

В темноте одежды бродячих актёров фосфоресцируют.

Действие всех трёх актов происходит в Страдфорде, в принадлежащем Шекспиру доме Нью-Плейс, в различных комнатах особняка и в разное время.

Акт первый

Май 1613 года. Спальня для гостей в Нью-Плейс. В начале спектакля в комнате нет никакой мебели.

Жердь и Энн за руки, за ноги встаскивают Шекспира и укладывают на пол. Жердь, подумав, отстегивает с пояса хозяина длинную шпагу и ставит её в углу.

Энн. Ну, идиот, если ты перепутал – берегись! Не верю я, что твой хозяин приказал доставить его в гостевую светёлку.

Жердь. Меня, почтеннейшая, назвали на кресте Жердью... то есть Сэмуелем, а вовсе не Идиотом. И, сдаётся мне, не вы меня нанимали на паперти собора святого Павла. Поимейте же уважение к сему святому месту!

Энн. И где это мой бесценный мужёнок так надрался, что и языком не шевелит? Небось, у этой рыжей суки, трактирщицы из Уинскота?

Жердь. Надрался, надрался... Разве такими словами должна жена встречать больного мужа после долгой разлуки?

Энн. Поумничай ещё мне тут! А не напоить ли пьянчугу сывороткой?

Жердь (*рассудительно*). Если хозяин и пьян, то не больше меня. А мы своими ногами забрались – хозяин в карету, я на запятки...

Энн (*хватается за голову*). А я и забыла... Этот мот ещё и на карету и лошадей разорился! Найдётся ли теперь, на что его похоронить?

Ж е р д ь . Да наняли мы её в Лондоне, в один конец. Надо, кстати, поскорее отвязать багаж и отпустить кучера.

Э н н . Телега с соломкой под зад его теперь не устраивает! Забыл уже, как бегал в Лондон на своих двоих...

Ж е р д ь (*выпрямляется, подбоченивается, вопит*). Молчать, неразумная женщина! (*Сам испугавшись, кланяется. Уже потише*). Неужто это так тяжело – дослушать то, что я уже полчаса пытаюсь вам сказать? Хозяин не настолько был пьян – ему в дороге стало скверно. Ещё когда трактирщица вышла его провожать, заметил я, что она вся покраснелась, а хозяин уже тогда был бледен, хоть хересом от него и пахло. Врача сюда приведите, врача, мадам!

Э н н . А от тебя несёт, как из пивной бочки! (*Уходит поспешно*).

За нею, оглядываясь, уходит Ж е р д ь .

Один за другим на сцену вытанцовывают – на цыпочках, с такой мимикой, будто боятся потревожить больного, бродячие актеры – Об ъ е д а л о - П у к , Д а м а - К р и в л я к а и Ш у т - П о д з а б о р н и к . Окружив Ш е к с п и р а , замирают в гротескных позах сожаления и печали.

Пауза. Об ъ е д а л о - П у к выходит вперед.

Об ъ е д а л о - П у к (*к зрителям, громовым шепотом*). Я – Об ъ е д а л о - П у к , уважаемые! Запомните мое имя – имя говниального актера! (*Поворачивается боком, сначала выпячивает перед собой живот, потом отставляет зад и делает вид, что выпускает газы*).

Д а м а - к р и в л я к а (*к зрителям, так же*). А я – Дама-кривляка, и дьявол его знает, почему меня так прозвали. (*Корчит изумительную гримасу*).

Шут - Подзаборник (к зрителям, так же).
А я – Шут-Подзаборник, и я здесь всех умнее. (Высоко подпрыгивает в антраша или делает шпагат).

Бродячие актёры снова застывают в гротескных позах.

Объедало - Пук. А не накроется ли наш спекпуклю, братцы, и не начавшись? Плакали тогда наши денежки...(Меняет позу. Это же делают его товарищи после каждой следующей реплики).

Шут - Подзаборник. Да ты погляди, сколько народу набилось! Если сейчас опустить занавес, они же театр разнесут. А не потанцевать ли нам для почтеннейшей бублики?

Объедало - Пук. Танцы в конце спекпукля положены, никуда зрителям от нашего изысканного миневета не деться. А ты давай шуточки придумывай, пока нас тухлыми яйцами не забросали.

Дама - Кривляка. А мне жаль красавчика Уилла. (Хнычет). С тем же успехом мог окочуриться и в Лондоне, не разоряясь на карету.

Объедало - Пук. Заткнись, дура безмозглая! Такого не бывает, чтобы герой-любовник протягивал ноги в начале представления.

Дама - Кривляка. Сам заткнись, протухшее кладбище отбивных!

Шут - Подзаборник. Уж если напялил юбку, братец, терпи теперь бабскую долю. (Делает неприличный жест).

Дама - Кривляка (подбоченившись). Уж не ты ли, недоносок, собрался меня приглубить? Меня, члена гильдии развязывателей корсетных шнурков?

Дама - Кривляка бросается в погоню за Шутом - Подзаборником, Объедало - Пук подставляет ему ножку, тот падает. Комическая куча мала.

Шекспир (*капризно*). Жердь, да перестань ты, наконец, болтать. И вовсе не обязательно бросать багаж на пол с таким грохотом.

Дама - Кривляка. Бредит... Жив наш красавчик!

Бродячие актёры встают с пола, снова, на сей раз робко, окружают Шекспира.

Объедало - Пук. А каково ему будет, когда совсем очухается, оказаться в собственной доме да на голом полу?

Дама - Кривляка. Пожалуй, соломки принести...

Шут - Подзаборник. Сказано же, дура... За мною, бродяги!

Выходят, пританцовывая и оглядываясь.

Шекспир (*по-прежнему не шевелясь*). Что значит воздух зелёной моей родины! Так бы и проспал целые сутки!

Объедало - Пук и Шут - Подзаборник вносят простую кровать с постелью на ней и уже втроем перекалдывают на неё Шекспира, а затем Дама - Кривляка приносит стул. После чего до конца действия замирают неподвижно, время от времени меняя позы, при этом пример подает Объедало - Пук.

Вбегает Энн, за нею, не торопясь, входит Холл и прокрадывается Жердь.

Энн. Вечные его фокусы, да простит меня всеблагодой Господь! Умиравший Уилл втащил в гостевую кровать из комнаты служанки, улегся на сальную постель этой девки – и опять отрубился.

Холл. Я на вашем месте, драгоценная моя тёща, вызвал бы поверенного. Наш старенький Фрэнк, насколько мне известно, в городе.

Энн. Всё-таки Уилла требуется сперва подлечить, чтобы по крайности успел подписать завещание. Иначе мы все тут передерёмся, а наши денежки подгребнут судейские.

Холл. В этом есть резон. (*Ставит саквояж на стул, руки соединяет за спиной*). Однако сначала я хотел бы обсудить своё вознаграждение.

Энн (*задыхается*). Да что ж это...?!

Холл (*быстро*). Да-да, разумеется, скидка. О чём речь? На целую треть.

Энн. Ты, коновал, решил заработать на собственном тесте?

Холл. Ну, тесть – это всё же не кровный родственник... Да и чего ради я должен пресмыкаться перед ним? За то, что скинул мне на руки вашу перезрелую дочку, оказавшуюся тайной паписткой, которая даже к причастию не ходила? Ничего себе семейное счастье! Слава богу, убедил я вашу Сьюзен вернуться в лоно единственно правильной церкви, так чем она отплатила мне теперь? Позволяет распускать о себе по Страдфорду позорящие мое имя слухи!

Энн (*стусевалась*). Да ладно, заплатим уж тебе. Два шиллинга, говоришь, за осмотр?

Холл. Диагноз, а не осмотр, женщина, диагноз. (*Начинает осматривать Шекспира. Кладёт ладонь ему на лоб, покачивает головой. За работой успокаивается. Приговаривает себе под руку*). Коль исцеление дарует Господь, а не я, грешный, то и платить за обрётённое здоровье вам надлежит не столько мне, сколько Ему. (*Показывает пальцем в небо*). Да и разве я трачу эти деньги только на себя и на свою семью? Уж

года три, как я фактически содержу нашего приходского священника Роджерса, отца пятерых прожорливых детей. (*Отворачивается от Шекспира, шарит в саквояже*). Я помогаю старине Джону во всех его мирских потребностях. Да я даже ...

Шекспир (*быстро поднимает голову, пискляво*) ...помог ему застругать шестого младенца? (*Снова опускает голову и закрывает глаза*).

Холл (*замирает на несколько секунд, уставившись на Энн, по-прежнему серьёзно*). Драгоценная тещенька, как это вам пришло в голову? У вас же матушка Марта каждое воскресенье перед глазами! Старина Джон – уж он-то к ней малость привык, правда? А ведь и он, исполняя со своею Мартой супружеские обязанности в дни, разрешенные церковью, выбирает при этом те ночи, что потемнее, да еще и завешивает на всякий случай окно в спальне. Сам мне признавался, пропустив стаканчик после пасхальной трапезы.

Энн. Да я и слова не промолвила, зятёк Джонни.

Холл. В самом деле? Ну-ну... (*Осматривается. Не заметив бродячих актеров, поверх очков приглядывается к Шекспиру*). Осмотр закончен, и вот мой диагноз: у пациента большое количество горячего хереса смешалось с внутренними гуморами организма, что привело к излишнему давлению на становую жилу. Отсюда и обморок. Лечение: немного рвотной настойки, тертые семена ивана-да-марьи, экстракты лука-порая, чеснока. Ad usum!

Холл мгновенно вытаскивает из саквояжа большой зеленый пузырьёк, вынимает притёртую пробку, быстрым движением сует пузырьёк под нос *Шекспиру*. Тот очумело мотает головой, резко садится в кровати и раскрывает глаза.

Холл. И вот вам результат. С вас два шиллинга, драгоценная тёща. Ведь он опять в вашем распоряжении, ваш обожаемый Уилл. Во всяком случае, для домашнего употребления годится. *(Пауза)*. С прибытием тебя, Уилл, к родным пенатам.

Шекспир. Здравствуй, клистирник, он же магистр искусств. А насчёт меня стоит говорить, пожалуй, о возвращении. Впрочем, лучше я о делах помолчу, пока все домашние не соберутся.

Холл. Сьюзен вот-вот прибежит, я просто удивляюсь, что она до сих пор... А может, обсудим с тобой наши с нею неприятности, пока вторую твою дочь, девственную Джудит, не разбудили?

Шекспир. А моя младшенькая по-прежнему дрыхнет целыми днями?

Холл. Будто ей есть чем заняться. Ни хозяйства на ней, ни детей. Я было попытался уговорить Джудит помогать мне на моем огороде лекарственных трав – да где там. Одно слово – девственница. Дева досужая, никому не нужная.

Энн. Не смей обзывать мою девочку!

Шекспир. Скажи лучше – старая дева, Джонни. А они тебе не помешают – мой новый слуга и старая моя жена?

Холл. Лучше бы наедине, Уилл.

Шекспир. Эй, слышали? Брысь из комнаты! У меня с моим ученым зятем секретный разговор. *(Поворачивается к бродячим актерам)*. Это и вас касается, полупочтенные!

Энн, Жердь и бродячие актёры выходят, толпясь. Бродячие актёры при этом пританцовывают.

Холл. А ты уверен, что окончательно уже очнулся?

Шекспир. Давай, Джонни, рассказывай. По

тебе вижу, что дело серьёзное. Ведь ты до сих пор не выдавил из себя ни одной клистирной шутки.

Холл. Бездельник Джон Лейн рассказывает всем, кто только захочет его выслушать, что на прошлой неделе Сюзен пьянствовала на холостяцкой вечеринке у Джона Палмера...

Шекспир. Постой, постой... Ты имеешь в виду не старого Джона Лейна, виноторговца, а Джона Лейна-младшего – беспутного племянника олдермена Ричарда Лейна?

Холл. Его самого... Так вот, будто бы на той вечеринке твоя дочь грешила с Ральфом Смитом, галантерейщиком...

Шекспир. Да знаю я его, этого красномордого Ральфа. Женить его давно пора... Это всё, Джонни?

Холл (скорбно). Увы, нет. Джон Лейн утверждает также, что Сюзен спьяну похвалялась, будто больна французской болезнью.

Шекспир. Однако! И какой именно? (Холл шепчет ему на ухо). Истечением из почек, говоришь? Не стану утверждать, что ты меня успокоил. В странные времена мы живём, зятьёк. В Лондоне супружеская измена считается пустяком, а заболеть французской болезнью для столичного жителя, что насморк подхватить. Весельчак не стыдится проваленного своего носа, напротив, гордится: получил, мол, отличие в Венериних битвах.

Холл (резко). Вполне возможно! Но у нас тут не Лондон. Мне стыдно на улицу показаться. (Отворачивается от собеседника, коротко всхлипывает). И у неё не люэс будто, а та стыдная болячка, от которой мужики на стену лезут. Кстати, я всегда удивлялся, Уилл, как это ты, с твоей беспутной жизнью, сам не подхватил никакой французской заразы?

Шекспир. Да ладно. Ты зол, я понимаю. Что же касается меня, то я никогда не распутничал, не влюбившись, а вот влюблялся всегда в женщин порядочных. Разве что в Энн... Но тогда я был мальчишкой, обезумевшим, как олень в начале весны.

Холл. Болтун! Ты и деньги добываешь складной болтовней!

Шекспир (*примирительно*). Давай разбираться. Я уверен, что мы с тобой найдём выход и без нашего забывчивого поверенного. Давай разделим проблему на части. Сначала разберемся с болезнью. Ты же врач, Джонни, тебе ли не знать, больна ли твоя супруга?

Холл. Никаких симптомов я не обнаружил, Уилл. Однако сложность в том, что Сьюзен вполне могла и скрыть от меня кое-какие свои женские неприятности.

Шекспир. Значит, на том и остановимся. Если нет этих, как ты их называешь, симптомов, нет и французской болезни. А раз нет болезни, не было и никаких супружеских измен, во время которых Сьюзен могла её подцепить. Или ты сам её...?

Холл. Что ты такое говоришь, Уилл?!

Шекспир (*кратко*). На нет и суда нет. Теперь насчёт этого бычка Ральфа... Что сказала сама Сьюзен?

Холл. Будто бы она просто посидела с мужиками, выпила кубок-другой канарского вина, послушала-послушала застольные шутки, да и пошла себе домой. Клянется, что ни с кем из них не уединялась.

Шекспир. Если сама Сьюзен так говорит, на том и будем стоять. А кто там был с нею, только эта троица холостяков?

Холл. Еще известный тебе Роберт Уотскотт. Хороша компания для моей жены и твоей дочери!

Шекспир. Мой работник? Вот Боб и покажет на суде, что Сьюзен из-за стола не отлучалась. Я с ним

поговорю. Мы вместе, я и мой шелковый кошелёк, убедим Боба.

Холл. На каком ещё суде?

Шекспир. У нас нет другого выхода, Джонни. Ты справедливо сказал, что тут не Лондон, и каждая собака другую знает. Тут и грешат в узком кругу, и всё обо всех сразу становится всем известно. Страдфордские бабы уже прополоскали своими язычками грешки моей старшенькой, и если оставить всё как есть, ты навсегда останешься для них рогиносцем, а наша Сьюзен – потаскухой.

Холл. О Боже!

Шекспир. Однако мы подадим на сплетника в церковный суд за клевету, вот что мы сделаем. Ты засвидетельствуешь здоровье Сьюзен, а Боб – что в тот вечер добродетель её не пострадала. А скотина Ральф... Это в трактире ходок по бабам – герой, а на церковный суд ему заявляться не с руки – он и не придёт. Джон Лейн-младший проиграет процесс и будет объявлен клеветником. Тогда – баш на баш, мера за меру. Твоя и Сьюзен репутации будут обелены, по крайней мере, на половину, а там и вся история забудется.

Джудит (*высовывает из двери взлохмаченную, непричёсанную голову*). Папуля!

Шекспир (*ласково*). Подожди, дорогая, сейчас мы с Джоном закончим.

Голова Джудит исчезает.

Холл. Не слишком ли ты уверен в успехе?

Шекспир. Ты у нас приезжий, Джонни. И всегда поглощен своей наукой, своими лекарственными травами и пациентами. Я же тут родился и поэтому хорошо помню, что обидчик Сьюзен давно известен как

городской сплетник и не раз был осуждён церковным судом за клевету.

Холл. Пожалуй, это меняет дело. Благодарю Тебя, Господи!

Шекспир. Погоди Господа благодарить, тут не все концы сходятся... Послушай меня внимательно, Джонни. Если Сьюзен ни слова тебе не сказала о скверной репутации пресловутого Джона Лейна, значит, она здорово растерялась. Следовательно... Нет дыма без огня, дорогой зятек.

Холл. Ты, надеюсь, не принимаешь меня за осла? И я об этом думал. Конечно же, я думал, Уилл.

Шекспир. Осёл – животное безрогое... Ой, прости, дьявол меня за язык дернул!

Холл. Где уж мне обижаться, Уилл? Я и сам сообразил. Одно из двух. Либо согрешила, либо похвасталась французской болезнью. Как ни туп Ральф, он после такой похвальбы переломал бы ей кости.

Шекспир. Сьюзен отнюдь не настолько глупа, чтобы изменять мужу при стольких свидетелях. Пара поцелуйчиков, разбавленных канарским, не в счет.

Холл. О Боже!

Шекспир. Плюнь и разотри, мой друг и зять! Нам с тобой ничего не остается, кроме как трезво оценивать ветвистые украшения на наших умных, вовремя и красиво облысевших головах. И чего другого могли мы с тобой ожидать при наших постоянных разъездах? Я счастлив и тем, что убедил себя, будто дочери и покойный Хемнет (*упокой, Господи, душу бедного мальчика!*) – мои собственные дети. А женщины ведь тоже люди, они еще более пылко, чем мы, отдают дань природе, потому что мы, мужчины, всегда найдём

занятие для души, способное отвлечь нас от призывов похоти, они же заключены в замкнутый круг домашних дел.

Х о л л . На бабах проклятье Евы, говоришь?

Шекспир . Да? Хоть и не глупее они нас, отнюдь не глупее. Знаешь ли, я не удивился бы, если бы оказалось, что и моя Энн, эта старая корова, приплачивает из своих, припрятанных от меня денегат одному из наших работников, чтобы грел ей по ночам постель. И ещё я хотел бы дать тебе совет, друг.

Х о л л . Ну?

Шекспир . Сам поберегись, Джонни.

Х о л л (*медленно*). Если Сьюзен в самом деле больна той гадостью или переболела ею раньше, у тебя не будет больше от неё внуков. Одна Лизбет у нас и останется.

Шекспир . Вот и надлежит нам беречь нашу вострушку как зеницу ока. Иди ко мне, зятёк, обнимемся. (*Обнимаются*). Что ж, спускай на меня свору домо-чадцев.

Х о л л выходит. Не успеваает закрыть за собою двери, как мимо него проталкиваются бродячие актёры и, пританцовывая, окружают лежащего Шекспира .

Шекспир . Я оценил, что вы, полупочтенные, послушались меня и удалились, дабы не быть посвящёнными в постыдные семейные тайны. Похвально. Не ожидал от вас.

Шут - Подзаборник . Ты про свою старшенькую, что ли? О ней и за дверью отменно судачили, пока сама не пришла с малышкой. (*Обхватывает Шекспира и поднимает его верх-*

нюю половину туловища). Эй, шалава! Заснула, что ли? Подтягивай подушку повыше!

Дама - Кривляка. От ходячего почечуя слышу! А ты, Уилл, изобрази на лице нечто этакое меланхулическое! Подоткнуть, что ли, постель?

Объедало - Пук (*шлёпает Даму - Кривляку по отставленному в приступе усердия заду*). Уж лучше филопукское, Уилл! И толику мировой грусти.

Двери распахиваются. Вбегает Элизабет и тотчас же залазит на постель к деду. Рядом с ней, рискуя затоптать малышку, вбежала Джудит. Входят Энн, Холл, Джоан, служанка Кэтрин, Жердь, и позади всех, медленно, со склоненной головою, Сьюзен. Она сильно накрашена.

Бродячие актёры, приняв нелепые позы, выстраиваются за спиной Шекспира.

Холл (*прокашлявшись*). Итак, я объявил твоим домашним, Уилл, что медицина тебе пособила (*меру же Божьей помощи только Тебе и оценивать, о всеблагой Господь!*), однако ты нуждаешься на несколько дней в постельном режиме. Я позволил себе собрать всех...

Элизабет (*ухватив Шекспира за бородку*). Дедуля, а это правда, что мама захворала истечением из почек?

Шекспир. Э... Это шутка для взрослых, детка. А кто так с тобой пошутил?

Элизабет. Кто же, как не Кэт. Ведь, кроме неё, никто со мною не разговаривает.

Шекспир. Кэт пошутила. Ты ведь уже заметила, детка, что шутки взрослых бывают и непонятны для тебя, и не смешны?

Элизабет (*насупившись*). Не понимаю. И ты, дедуля, совсем позабыл о семье в своём нечестивом

Вавилоне. *(Оживляется)*. А ты поймёшь мою шутку, если я сейчас сделаю лужу на твоих простынях?

Шекспир *(насупился, передразнивая внучку)*. Не понимаю. *(Пауза)*. Детка, да посмотри ты на маму! Если бы у твоей мамы было истечение, это она стояла бы в луже.

Элизабет. Глупый ты, дедушка. Ведь у маминой юбки широкий подол.

Джозан *(шипит)*. Очнись, дьяволица! Сойди с места.

Сьюзен выпрямляется, поднимает руки. Соединяет их над головой и делает пару танцевальных шагов. Бродячие актёры аплодируют ей и снова замирают.

Элизабет соскакивает с постели, прибегает на то место, где стояла Сьюзен, садится на корточки и внимательно изучает.

Шекспир. Теперь ты убедилась, детка? Кэтрин, забери ребенка, а наш с тобой разговор впереди. *(Кэтрин уводит Элизабет. Шекспир внезапно хихикает)*. Вот ведь проказница, испортила мою торжественную речь... *(Выпрямляется на постели и делает правой рукой царственный жест)*. Итак, вот что я желал сообщить своей семье и добрым горожанам Страдфорда. Отныне и навсегда... *(Вздыхает)*. Да, навсегда я изменяю свою жизнь и свой *modus vivendi*. Прежде, долгие годы был я лондонцем, наезжавшим в Страдфорд привезти денег для семьи и присмотреть за купленной здесь недвижимостью, а теперь я стану жителем Страдфорда, который будет временами уезжать в Лондон по своим делам. Своей резиденцией я избираю Нью-Плейс, как самый просторный и удобно расположенный из моих домов. *(Бегло осматривается)*. Ремонт тут требуется небольшой, а вот мебели большая нехватка. Пустоват особняк, прямо скажем. Од-

нако я уже заказал всё недостающее в Лондоне и Кембридже, и заказы будут доставлены в течение трёх недель. Среди них – самый модный шкаф и роскошная кровать с новым балдахинном, занавесями и постелью. Из лондонского дома уже везут сундуки с моей одеждой, мой письменный стол с бумагами, библиотеку, клавесин и кресла. Всё это будет установлено в лучшей комнате, и Энн придется её мне уступить. Я же ей подарю свою лондонскую кровать, тоже весьма неплохую. И вот ещё что. Я приехал в Страдфорд не делать деньги, а жить на покое и в своё удовольствие. Денег я заработал достаточно и себе, и вам. Из вас ведь только друг и зять мой магистр Холл трудится, как муравей, все же остальные – с рождения нахлебники и дармоеды. Так вот, обещаю, что буду содержать вас, как и прежде, вот только счета теперь буду вести я сам, а не супруга моя Энн. Моя же цель теперь – наслаждаться здешним покоем, здоровым воздухом и чудесной природой нашего зеленого Йоркшира, охотиться на оленей в Арденском лесу. Я также буду рад получать от своих домочадцев ту долю уважения, которого заслуживаю как ваш кормилец и благодетель – настоящий и будущий.

Энн (*цедит сквозь зубы*). На какое уважение к себе может претендовать отставной актёр?

Шекспир. Уж не помутилось ли у тебя в голове, женщина?

Энн. Скорее у тебя, муженек. Ты ведь так и не получил дворянство, хоть и пытался. А я из Хэтауэев. Я дворянка.

Шекспир (*усмехается*). Твоим тупым мозгам не понять, почему я прекратил хлопоты о дворянском гербе. Зато я имею титул камердинера его величества, а твоим сельским родичам ничего подобного и не снилось.

Энн. Грош цена придворному званию,

полученному за кривляние на сцене. И деньги свои ты заработал у Сатаны.

Шекспир. Мои деньги сатанинские, Энн? Однако ты не погнушалась запустить в них руку.

Энн, гордо подняв голову, выходит. Хлопает дверью.

Шекспир (*откидывается на подушку*). Что-то я устал. Подремал бы, пожалуй.

Сара (*поклонившись*). А когда, сэр, я получу назад свою кровать и постель? Я ведь, сэр, никогда и ни в чём вам не отказывала, но...

Шекспир. Эй, Жердь, проснись и подай мне мой кошелёк! (*Жердь извлекает из пазухи большой, набитый до отказа шёлковый кошелёк и с поклоном подносит его хозяину. Тот развязывает шнурки, достаёт монету и бросает её Саре. Она ловит*). Это тебе в возмещение неудобства, Сара, а мой парень принесёт тебе в комнату достаточно соломы. (*Подмигивает ей*). Ты, Сара, здоровая и добрая молодуха, и мне куда приятнее полежать на твоей постели, чем на взятой из-под моей злобной жены. Ей-богу, её простыни принялись бы жалить меня, а подушка – навевать кошмары.

Сара кланяется, Сьюзен фыркает.

Холл. Тебе и вправду, Уилл, не помешало бы отдохнуть.

Сьюзен. Отец, я должна срочно поговорить с тобой!

Джудит. И я! И я очень хочу, папуля.

Сьюзен. Только наедине. Все, все уйдите. И ты, Джон!

Все уходят, кроме Сьюзен и бродячих актеров. Последней, оглядываясь, покидает сцену Джудит.

Шекспир. Возьми стул... Присядь ко мне... Дай мне руку. Так, хорошо. Отпускает вроде. (*Пауза. Более напряженным тоном*). И вот опять с тобой случилась неприятность, девочка моя. Как это вышло?

Сьюзен (*вздыхает*). А ты и в самом деле хочешь услышать это, папа?

Шекспир (*резко*). Нет, не хочу. Да и есть ли на свете отец, которому захочется такое слышать? Но я должен тебе помочь, поэтому рассказывай, будь добра.

Сьюзен. Но я ничего не помню, папа. Только пьяные смеющиеся морды.

Шекспир. Тогда начинай с начала.

Сьюзен (*покорно*). Откуда?

Шекспир. Как ты оказалась в той холостяцкой компании?

Сьюзен. И в самом деле, надо с самого начала... После последнего... последней неприятности я какое-то время держалась. Потом стало мне скучно. Смертельно скучно! Вот Лизбет тебе пожаловалась, что с нею никто не хочет разговаривать. Как будто со мною кто-то разговаривает! Джон вечно занят и через день в отъезде, Лизбет слишком еще мала, к матери загляну – одни жалобы на ваш брак, и я просто устала тебя перед нею оправдывать.

Шекспир. Ценю твою заботу обо мне, моя девочка.

Сьюзен. Мать и в самом деле несправедлива к тебе. А ты сегодня опять её унизил...

Шекспир. Девочка моя! Достаточно и того, что Энн при тебе выливала на меня ушаты грязи. А если бы и я принялся вываливать на тебя наше грязное бельё, это было бы недостойно ни тебя, ни меня.

Сьюзен. Красиво сказано. Ты всегда красиво говоришь, папа. Однако тебя не было со мной, и я снова

принялась беседовать с кувшином. Канарское вино, шипит оно и душу веселит. Закончится вино, отправлю Кэт в «Медведь», чтобы кувшин снова наполнили. Денег мне хватает: мой Джон только притворяется рачительным и скупым, на самом же деле он щедр и в денежных делах беспечен...

Шекспир Я всегда говорил тебе: несмотря на внешность, Джонни – настоящий мужик!

Сьюзен. Говорил, говорил... Эта чумичка Кэт начала на меня странно так поглядывать... Послушай, папа, ты не обидишься, если я тебя о чем-то попрошу?

Шекспир. Валяй, говори.

Сьюзен. Ты не мог бы дышать в сторону? От тебя идёт такой винный дух, что мне снова захотелось выпить.

Шекспир (*бурчит*). Вот ты и нашла виноватого. Всегда во всём я у вас виноват...

Сьюзен. Кэт начала странно так поглядывать, говорю. Она же знает, что мой Джон совсем не пьёт – ну разве глоток бренди, если промочит ноги... Пришлось мне самой наведываться с кувшином в трактир.

Бродячие актёры начинают «иллюстрировать» рассказ Сьюзен: Дама - Кривляка показывает, как она идет вначале с пустым кувшином, затем с полным, покачиваясь; изображают пьяных; Обьедало - Пук и Шут - Подзаборник пристают к Даме - Кривляке и т. п.

Шекспир. В «Медведь», говоришь? Сам старый Энтони тебе наливал?

Сьюзен (*пожимает плечами*). Ну да.

Шекспир. Не ожидал такого от доброго приятеля...

Сьюзен. В тот вечер я допила остатки в кувшине и пошла налить его в «Медведь». В голове уже шумело...

Шекспир. Никогда больше так не делай!

Сьюзен. Слушаю и повинуюсь, мой капитан! Но знал бы ты, какая это скучища – пить в одиночку, втихомолку, в темноте, потушив свечу... Я была уже навеселе, говорю, когда ребята пригласили меня к себе за стол. Ещё помню, как согласилась продолжить вечеринку у Тома, а дальше – только мрак и туман. Ваш работник Боб отвел меня домой. А может быть, и принёс.

Шекспир. Так. У тебя было нечто с этим Ральфом?

Сьюзен. Вроде бы нет, папа.

Шекспир. Вроде бы?! А мне казалось, что женщина всегда может определить, было ли у неё соитие с мужиком, или нет.

Сьюзен. А-а-а... Признаки такие, что ничего не было. А если бы посмел скотина Ральф (*мрачно усмехается*), потом горько бы пожалел.

Шекспир. Вот как. (*Задумывается*). Ладно. Я уже договорился обо всём с твоим мужем. Ты немедленно подаешь жалобу в церковный суд, обвиняешь молодого Джона Лейна в клевете. Твой муж засвидетельствует перед судом твоё здоровье, а Боб Уотскотт – твою порядочность. Если священник станет тебя допрашивать, скажешь, что Ральф принялся тебя тискать против твоей воли, ты побоялась, что не сможешь от него отбиться, и решила отпугнуть, придумав, будто больна французской болезнью. Все судебные издержки я оплачу.

Сьюзен. Спасибо, папа. (*Целует отца в лоб*).

Шекспир. Мне неловко с тобой об этом... Когда суд завершится – и не раньше (*нехорошо вынуждать нашего честного Джона ко клятвопреступлению*), ты попроси мужа осмотреть тебя. Если, не дай того Бог, ты и в самом деле подхватила...

Сьюзен. Вот, теперь снова! На конце мочала начинай сначала. Я, что же, на допросе?!

Шекспир (*кричит*). Не желаю ничего об этом слышать! Не желаю ничего знать! (*Пауза. Спокойно*). Твой муж хороший лекарь. Иногда ему удастся победить болезнь. Назначит лечение – пей все лекарства, делай всё, что прикажет. И верь в то, что вылечишься. Хорошо?

Сьюзен (*отвернувшись*). Ладно, папа.

Шекспир. И тебе надо наполнить свою жизнь. Я вот подумал... Хорошо бы тебе заинтересоваться ремеслом твоего мужа. Ты же грамотная! Начала бы потихоньку почитать его книги...

Сьюзен. Они все на латыни, папа.

Шекспир. Есть у него и на нашем языке, я видел. За обедом вставишь мыслишку из лекарской книги – вот удивишь, вот порадуешь старину Джонни! И расспрашивай его о целебных травах, запоминай, что скажет. И приучи к тому, чтобы, уезжая, муж оставлял на тебя свой драгоценный лекарственный огород. Ты не нашла в нашем добром Джонни пылкого любовника, но если последуешь моим советам, обретишь в нем доброго друга, учителя и компаньона.

Сьюзен. Да? Спасибо тебе, папа. (*Пауза*). Пойду я, пожалуй.

Шекспир. Если Джудит по-прежнему сюда рвётся, скажи ей, пусть войдет.

Сьюзен медленно, с опущенной головой, уходит.

Дама - Кривляка (*стоя сзади, кладет руку на плечо Шекспира*). Грустная история, Уилл.

Шекспир (*не оборачиваясь*). И в пьесу её не вставишь, дружище.

Дама - Кривляка (ладонью хлопает Шекспира по плечу). Противный! Ты об одном только и думаешь!

Врывается Джудит. Последние до кровати шаги делает медленно. Пристально всматривается в отца.

Джудит. Слава богу. А то мне уже показалось спросонья...

Шекспир (ласково). Ладно уже, я понимаю: спешила увидеть отца – и не причесалась. А вот откуда у тебя перья в волосах? (Ловко достаёт у неё из волос перо, показывает).

Джудит (недоуменно). Перья? Да, откуда?

Шекспир. Кажется, я понял. Ты, послушная папина дочка, всё-таки научилась писать. Как только перо у тебя затупится, ты его втыкаешь в причёску и берёшь новое. Разве я не прав?

Джудит. Но я же не умею писать... Да и что мне писать, папуля? И это перо куриное, а пишут большими, гусиными. Ты, что же, меня за дуру принимаешь? (Присматривается к нему). Так ты шутишь надо мной?

Шут - Подзаборник беззвучно демонстрирует, будто умирает от смеха. Дама - Кривляка указывает на него пальцем, Обьедало - Пук крутит пальцем у виска.

Шекспир. А почему бы мне и не пошутить, доченька? Твоя старшая сестра вон как здорово подшутила над всеми нами.

Джудит. Ты так долго не приезжал, папуля, что я совсем забыла, как с тобою разговаривать. Когда я выхожу к завтраку (или там к ланчу), полностью просыпаться вовсе не обязательно, сойдет и так. А вот с тобою...

Шекспир. Теперь я понял, откуда в твоих волосах появилось перо...

Джудит. Ну да, откуда же ещё, как не из подушки? Я теперь сплю целыми днями. Ночами тоже. Что плохого в круглосуточном спанье? Я же не поденщица у тебя и не обязана с утра до вечера зарабатывать себе на хлеб. Я как-никак внучка бейлифа и дочь королевского камердинера. И ещё: кто спит, тот не грешит. И вот: во сне быстрее проходит время и легче дожидаться твоего приезда, папуля.

Шекспир. О боги всемогущие...

Объедало-Пук (*шепотом на ухо Шекспиру*). Какая цельная система мировоззрения, Уилл!

Шут-Подзаборник (*отталкивает его*). Скажи лучше: миропрезрения.

Шекспир (*шёпотом*). Заткнитесь оба, вы, умники!

Джудит. Как противно прошуршало... Крысы? Но в доме не было крыс. Разве что приходящая и на двух ногах. Твоя ненаглядная Сьюзен, папуля. Крыса с красными глазками! Крыса! Крыса!

Шекспир. Ты несправедлива к старшей сестре, Джудит.

Джудит. А ты пристрастен к ней, папуля. Если бы хватило у тебя силёнок, носил бы свинью на руках. Говоришь, она ловко над всеми нами подшутила? А Сьюзен опозорила нас всех, опозорила. Вот! Однако ты с нею первой стал шушукаться – нет, чтобы успокоить меня, твою честную девочку. Правильно мама говорит, что вы со Сьюзен два сапога пара: только ты пьянствуешь и развратничаешь в Лондоне и всегда находишь, чем перед мамой оправдаться, а Сьюзен тут у всех на виду...

Шекспир (язвительно). Я счел бы необходимым оправдываться перед Энн и тобой только в одном случае. Это если бы лежал сейчас беспомощным, а вы стирали бы соседское белье, чтобы заработать нам на пропитание и мне на лекарства.

Пауза. Бродячие актёры принимают позы, комически изображающие отчаяние.

Джудит. Прости меня, папуля. Уж очень ты меня рассердил.

Шекспир. Мир, что ли?

Джудит. Мир, папуля. Ну, давай. *(Протягивает вперед кулак, распрямляет и сгибает мизинец. Шекспир повторяет её жест и цепляет своим мизинцем мизинец дочери).*

Шекспир.	}	Чур, не драться,
Джудит.		Не щипаться!
		За волосы не таскать,
		И в рожу не плевать!

Шекспир. У Сьюзен, девочка ты моя ревнивая, дело было более срочное, вот почему я и начал с неё.

Джудит. Мое дело тоже очень срочное. Она накуролесила и только сама виновата в нашем позоре. А разве я, невинная девица, в том виновата, что вот-вот превращусь в старую деву? Ты, папуля, должен срочно выдать меня замуж. Да ты ведь и обещал.

Шекспир. Гм. А сколько тебе, доченька, точно годков?

Джудит *(поджав губы)*. Двадцать восемь мне.

Шекспир *(мечтательно)*. Ты родилась в двойне вместе с бедным Хемнетом, и я прекрасно помню, какой ужас испытал, оказавшись до своего ещё

совершеннолетия отцом трёх детей. У меня ведь и пристанища-то своего тогда не было, мы жили в доме твоего покойного дедушки на Хенли-стрит. А дай-ка я подсчитаю... (*Считает на пальцах*). Тебе сейчас полных двадцать девять лет.

Д ж у д и т . Тем хуже.

Ш е к с п и р . Но не тридцать же, доченька.

Бродячие актёры хватаются за головы.

Д ж у д и т . Теперь ты освободился от дел, наконец. Сам ведь нам сказал, что приехал навсегда. Вот и исполни свой отцовский долг: найди мне мужа.

Ш е к с п и р . Ну, не тотчас же! Дай мне передохнуть. Неужели ты не заметила, что я болен?

Д ж у д и т . Кто там тебя знает, ты ведь такой притворщик, папуля. Однако это твоя родительская обязанность. Ты дал мне жизнь, спасибо тебе большое, а теперь дай мне мужа – и тогда уже можешь спокойно помирать.

Ш е к с п и р (*изумленно переглядывается с бродячими актерами*). Знаешь ли, я решил с этим не торопиться... Подготовиться ведь надо: выбрать хорошее место для могилы, написать эпитафию, заказать модный саван.

Бродячие актёры с началом следующей реплики Д ж у д и т начинают разыгрывать пантомиму на сюжет «спящей красавицы».

Д ж у д и т . Думаешь, зачем я сплю целыми днями? Во сне я сохраняю свою свежесть и красоту, как та спящая принцесса, что проспала тридцать лет и три года, пока её не разбудил суженый. Чаще мне снится всякая чепуха, иногда я и припомнить не могу, что мне

привиделось, однако порой я встречаюсь во сне со своим женихом, прекрасным юношей.

Шекспир.

Уж не эльф ли,
Притворщик дерзкий и бесстыжий,
Твой сон тревожил?

Джудит. Что? Уж не переутомился ли ты, папуля? (*Кладет ладонь ему на лоб, покачивает головой*). Я говорила о том, что мне снился женишок, такой лапочка. В последний раз он пришел ко мне в блестящем шелковом наряде, в роскошной шляпе, такой же, как у тебя, и с сияющим в ночи лицом – очень, кстати, похожий на мою подружку Мэри Грин, словно бы брат её, хоть и нет у Мэри брата-юноши...

Шекспир. Мэри, дочка олдермена? Эта белобрысая пищалка в испачканных травой панталончиках?

Джудит. Ну, тоже мне вспомнил... Теперь некоторые считают Мэри первой красавицей на нашей Чэпель-стрит, хотя на самом деле самая красивая в околотке – это я у тебя. Кстати, папуля. Мэри захлеб читает какую-то твою напечатанную книжку, чуть ли не на память заучивает, и просила меня, чтобы с тобой познакомила, прямо на колени становилась. Как ни встретит меня в церкви, так и спрашивает, так и напоминает: «Не приехал ли еще твой импузантный отец? Не забудь меня к себе пригласить, чтобы мне с ним увидеться!».

Шекспир. Вот еще! Никаких визитов, пока не привезут мебель и все мои наряды! (*Подкручивает ус*).

А что эта пригожая Мэри еще обо мне говорила? И что о моей книге? О какой именно?

Джудит. Вот ещё! Стану я запоминать такую чепуху... А ты не увиливай, папуля. Ну, пообещай же своей доченьке, что завтра же примешься искать для меня мужа.

Шекспир *(вздыхает)*. Хорошо. Конечно, я выдам тебя замуж. Но ведь и ты должна мне помогать, взяв на себя свою долю хлопот и обязанностей. Слушай же... Мне очень неловко спрашивать тебя об этом, однако... Сохранила ли ты свое девичье сокровище, без которого замуж, как некоторые полагают, ни ногой?

Джудит. Да, уж этим-то я могу гордиться. Могу даже предложить матронам освидетельствовать меня.

Шекспир. Так ты читаешь апостола Павла? Вот не ожидал...

Джудит. Да нет, запомнила из проповеди преподобного отца Джона Роджерса. Он тогда описывал пороки древних христианских общин – народ в церкви сразу же перестал шушукаться и флиртовать, а молодёжь, та, затаив дыхание, его слушала.

Шекспир. Да, великая это книга, Библия... Но ты меня порадовала: я ведь, честно говоря, боялся, что в той давней истории с молодым Темплом...

Джудит *(потупилась)*. Увы, нет... А точнее, так к счастью. Теперь ведь уже можно тебе в том признаться, папуля, но мама тогда мне посоветовала использовать тот же охотничий прием, которым некогда поймала в свои сети тебя. Однако противный Джерри испугался и позорно сбежал. Впрочем, я уже на него пересердилась.

Шекспир. Ану-ка, доченька, встань и пройдишь, чтобы я мог тебя рассмотреть. *(Дама-Кривляка передразнивает Джудит, утрируя её манерные повадки)*. Нет, ты не кривобокая, бог миловал.

Джудит (*подбоченивается*). И с чего бы это мне быть кривобокой?

Шекспир. Предрассудок есть такой мужской: если старая дева, так обязательно кособокая. И откуда оно пошло, в самом деле, если твои замужние сверстницы бывают ядреными, кровь с молоком?

Джудит. Зато у меня ноги красивые. Как у тебя, папуля.

Шекспир. А ну, покажи.

Джудит подтягивает вверх юбку. На ней панталоны почти до щиколоток и башмаки на несколько размеров больше, чем нужно. Дамы - Кривляка вытаращивается. Обьедало - Пук и Шут - Подзаборник закрывают глаза растопыренными пальцами.

Шекспир (*неуверенно*). Наверное, красивые. Впрочем, твоих ног всё равно никто не увидит.

Джудит (*опустив подол*). А вот мужа ты мне найди с красивыми ногами.

Шекспир. О муже – потом. Вернемся к тебе. Знаешь ли, доченька, что наилучший цвет лица я наблюдал у молочниц и у торговок сыром и сметаной на Ротер-маркит? Вот и тебе хорошо бы ежедневно прогуливаться под зонтиком на сыроварню Кемпбеллов и дышать тамошним воздухом. А не удастся вернуть на щечки румянец, попроси для этого дела румян у своей матери или у Сьюзен. И раздобудь обязательно маленькие щипчики, чтобы избавляться от волосков под носом и на подбородке.

Джудит. Где ты их нашел?!

Шекспир. Поверни-ка головку... Да, я не ошибся. Добудь персидской хны и начинай уже закрашивать седую прядь. Мне сейчас пришло в голову, что ты, небось, совсем не смотришься в зеркало.

Джудит. Я своё разбила, папуля. Под настроение.

Шекспир. Не беда! Как только приедут мои вещи, я ссужу тебя одним из своих венецианских зеркал. Ведь теперь мне не нужно будет проверять, достаточно ли красиво мои волосы спадают сзади на воротник. *(Вздыхает)*. Не сомневаюсь, впрочем, что ты и сама сразу же побежишь чистить перышки, как только на горизонте появится этакий крепенький принарядившийся вдовец.

Джудит. Вдовец?! Да никогда в жизни! Не нужен мне такой муж, как у Сьюзен – старый, лысый, сторбленный и подслеповатый!

Шекспир. Ты несправедлива к зятю. Он был для нас, как манна небесная, и счастье наше, что ему понравилась Сьюзен, что он приезжий, из Бедфордшира, и, занятый своей лекарской наукой, не прислушивался к сплетницам. Ведь твоей сестре было уже двадцать четыре года, и все страдфордские женихи были наслышаны об её слабостях и о склочном нраве. У Сьюзен хватило ума понять, что это последний шанс, она и не противилась.

Джудит. Да помню я, помню...

Шекспир. И Джонни не был вдовцом, он женился в тридцать, однако первым браком. Боюсь, что для тебя мне не удастся найти порядочного молодого холостяка, и не мечтай. А вот подловить вдовца с детьми, это еще реально. И то в том только случае, если я покручу у него под носом приманкой: сто фунтов, мол, оставляю в завещании тебе, Джудит, и еще сто фунтов в собственность твоим детям, если у тебя будут. А не ему, поняла? Если не окажешься последней дурой, муж не сможет тогда обчистить тебя и бросить.

Д ж у д и т . Почему ты только сейчас объяснил мне всё это? Как жестока жизнь, папуля! *(Убегает, рыдая)*.

Бродячие актеры, поглядев вслед Д ж у д и т , окружают Ш е к с п и р а .

Объедало - Пук . Вот ты и вернулся в родной город, творец, прославивший Страдфорд.

Ш е к с п и р *(отмахнувшись)*. Скажете тоже, ребята...

Ш у т - П о д з а б о р н и к . Ликующие горожане встретили тебя посреди Клоптонского моста, заставили выслушать приветственное слово главного олдермена, сложенное хромыми ямбами, увенчали лавровым венком, сплетенным женой бакалейщика, и на руках отнесли на ложе, благоухающее полевыми цветами.

Д а м а - К р и в л я к а . Почтенная супруга окружила тебя нежной заботой, а дочери утешили своим щебетаньем и милыми сюрпризами.

Синхронно раскланиваются.

Ш е к с п и р . Поживём – увидим, но для этого мне придется вначале ожить. *(Откидывается на подушку)*.

Акт второй

5 ноября 1613 года. Теплый и сухой осенний вечер. Страдфорд. Сцена представляет собою кабинет, обставленный Шекспиром после того, как он обосновался в Нью-Плейс. В начале акта на сцене стоит объемная мебель – клавесин, два кресла и кровать. В настенной жирандоли горят три свечи.

Бродячие актеры вносят с ужимками плоские макеты книжного шкафа, письменного стола с многоэтажными надстройками, трюмо и ...камина с горящими в нем дровами. Собираются на авансцене, отряхивают руки.

Изящной походкой входит Шекспир в лучшем своём платье.

Шекспир. Спасибо, братцы. Можете теперь отдохнуть. Только вот там, за дверью. *(Невдалеке башенные часы бьют восемь раз. После паузы отбивают еще две четверти. Шекспир удовлетворенно кивает головой)*. Дамы, они всегда опаздывают. Ко мне сегодня рано или поздно придет девушка. Теперь уж точно позднее, а не раньше.

Объедало - Пук *(приставляет ладонь к уху)*. А почему бы нам и не подслушать?

Шекспир. Я мечтаю, что наша с Мэри беседа будет из тех, которые плохо повлияли бы на её вот нравственность. *(Показывает на Даму - Кривляку)*.

Шут - Подзаборник. С мечтами поосторожнее, Уилл! Особенно в твоём опасном возрасте. Размечтаешься, размечтаешься – а тебе мокрым лопухом по носу.

Шекспир. Будто я сам не знаю! (*Выпроваживает их*).

Почти сразу же стучат в дверь. Не дожидаясь ответа, входит Жердь.

Жердь. К вам молодая девица, хозяин. Говорит, что она мисс Мэри Грин. (*Протягивает перед собою серебряный поднос*).

Шекспир (*берёт с подноса сложенную бумажку*). Она принесла, что ли? (*Подходит ближе к жирандоли, развёртывает бумажку и читает*). «6 мая 13 года А. Д. Каплун – 2 шиллинга 6 пенсов. Сверх того соус – 4 пенса. Херес – 1 шиллинг, 3 пенни. Хлеб – ½ пенни. Оплачено!». Что за дьявол? Где твоя совесть? Подсывивать такое сидящему на диете...

Жердь. Хозяин, я своими глазами видел, как в лучших домах столицы прежде, чем впустить гостя, слуга приносит на подносе бумажку. А эта чем плоха?

Шекспир (*суёт ему бумажку*). Кончай умничать, Жердь! А девушку проси.

Жердь исчезает, и почти тотчас же входит Мэри. Ставит ноги изящно, носками наружу. Приседает перед Шекспиром, тот кланяется в ответ.

Мэри. Доброе утро, сэр. Я в чем-то успела разочаровать вас?

Шекспир (*любезно*). Сегодня добрый, прекрасный вечер! От всей души желаю, чтобы он таким для вас и оставался. И о каком разочаровании говорите вы, Мэри? Я намерен припомнить вас подростком, а с тех пор налицо невероятный прогресс. Садитесь, прошу вас.

Мэри. Благодарю вас. (*Снимает плащ, бросает его на спинку кресла, садится, за ней и Шекспир*).

Шекспир. На кухне есть сладости. И не позвать ли сюда заодно мою дочь Джудит, вашу подружку?

Мэри. Право же, я...

Внезапно двери распахиваются после удара ногой, и в кабинет влетает Энн. Таращит глаза на мужа и Мэри.

Энн. Чем это у тебя воняет? Ах, это ты, Мэри, до чего же приятная встреча! А я после обеда как раз собралась забежать к твоей матери, вот и будет у меня, о чем с нею потолковать. *(Разворачивается и уходит, прогремев дверью).*

Мэри. И как это вас угораздило жениться на этой старой ведьме!

Энн и Шекспир одновременно выскакивают из кресел и бросаются к дверям. Чуть ли не сталкиваются лбами у дверной ручки, потом Шекспир достает из кармана брюк ключ и с торжествующим видом показывает. Запирает дверь. Оба, довольно улыбаясь, возвращаются в кресла, Энн – широкими шагами, вразвалку. Садятся, на сей раз разваливаются в креслах, Шекспир кладет ногу на ногу.

Шекспир. На твой вопрос коротко не ответить. Мне, дураку, было девятнадцать, ей – двадцать шесть. Поскольку теперь неприятности всё равно не избежать... Расскажи, Мэри, зачем ты хотела меня увидеть?

Мэри *(потупившись)*. Трудно так уж сразу, сэр.

Шекспир. Да какой я тебе «сэр»? Будь со мною на «ты», а друзья зовут меня «Уиллом».

Мэри. Попробую, сэр.

Шекспир. Неужели и тебе тоже почудился здесь скверный запах?

Мэри. Вовсе нет. Там, у дверей, мне показалось, напротив, что от вас очень приятно пахнет. Совсем не так, как от моего отца, сэр.

Шекспир. Ещё бы! Это самые дорогие французские духи, которые только можно было достать в Лондоне. Да и камзол мой пропах навсегда другими духами (*вздыхает*), духами прошлых лет.

Мэри. А вы все ещё хотите пригласить сюда Джудит?

Шекспир (*покачав головой*). Прошу ещё раз: на «ты» и «Уилл».

Мэри. Знаешь, ...Уилл, а я ведь в детстве сама пыталась делать духи. Цветочки сирени набивала в пузырьки и заливала водой. У нас тогда дедушка помер, а пузырьки от лекарств остались.

Шекспир. И получились?

Мэри. Духи? Нет, только лепестки завонялись. Я очень переживала, дурочка. А не было ли такого и в вашем детстве, Уилл? Ведь вы писали о том, что зимой цветы гибнут, однако их аромат – летучий пленник в стенах из стекла, сохраняет их красоту.

Шекспир. Разве? А в детстве я и понятия не имел, что на свете существуют духи. (*Улыбается*). У меня были другие забавы и заботы.

Мэри. И у меня, Уилл, могла быть сегодня другая забава. Ведь сегодня 5 ноября! Будут жечь чучело Гая Фокса, но я предпочла, отпросившись на праздник, придти к тебе.

Шекспир. Итак, я победил Гая Фокса. Почти как добрый наш король Иаков. Я и король Иаков... Смешно.

Мэри (*осторожно*). Что же тут смешного, Уилл? Приказано королем, его величеством, праздновать годовщину Порохового заговора, вот мы, его добрые подданные, и празднуем. Так мой отец говорил сегодня за завтраком.

Шекспир (*быстро*). ...размахивая вилкой и ножом? Старина Томас, как всегда, прав. И ты ещё успеешь поглазеть на процессию, ведь чучело подожгут в девять вечера.

Мэри (*показывает на окно*). А не увидим ли мы фейерверк отсюда?

Шекспир. Увы, нет. Мне очень жаль, Мэри, однако я нарочно выбрал для кабинета комнату, которая окнами выходит в наш тихий сад.

Мэри. Кстати, Уилл, я хотела тебя спросить. Ты так здорово, с таким столичным шиком одет, ты такой блестящий кавалер – ну просто, ну просто...

Шекспир (*придвигает кресло ближе и наклоняется вперед*). ...пальчики оближешь?

Мэри (*хихикает*). Да нет... Ну просто элегантный. Вот. Надеюсь, я не сказала ничего неприличного? (*Шекспир садится прямо и энергично жестикулирует, возражая*). Я и хотела спросить: почему же тогда ты не носишь карманных часов?

Шекспир. Ах, вот ты о чем... Я было обзавёлся часами-луковицей в Лондоне, однако со временем понял, что они мне мешают, а не помогают в делах. Крошечные часы идут вовсе не так точно, как башенные, и расходятся с ними. Зачем же, подумал я, мне лишние недоразумения? Здесь же, кстати, прекрасно слышно, как бьют часы на куполе Крытого рынка.

Мэри. Я, кажется, поняла, сэр... Когда я о том же спросила у отца, он мне просто объяснил, что часы излишняя роскошь, от дьявола. (*Осматривается. Увидев клавесин, хлопает в ладоши*). Зато у тебя клавесин! Как здорово! Прошу тебя, дай мне поиграть, Уилл, миленький, ну пожалуйста!

Шекспир (*поднимает брови*). Ты разве умеешь? А у кого училась?

Мэри. Да не умею я вовсе! Я всегда мечтала услышать, как клавесин звучит под моими пальцами. И разве, как ни нажимаю на клавиши, не музыка ли польется из этого хорошенького ящичка?

Шекспир (*задумчиво*). Ты меня поставила в тупик. И в самом деле – будут ли такие звуки музыкою? Однако друзья-музыканты говорили мне, что в их искусстве существуют строгие правила. Я написал для них кое-какие песенки, чтобы положили на музыку, а они научили меня нескольким простым тра-та-та, тру-ля-ля.

Мэри. А вы не могли бы сыграть и спеть для меня эти песенки? Ну прошу вас, Уилл!

Шекспир. Из меня плохой певец. А те песенки... Они, как бы это сказать, для мужской компании. Мне было бы неловко петь их для тебя. (*Подкатывает к клавесину свое кресло*). Ко мне, Мэри! Я тебя кое-чему поучу.

Шекспир играет упражнение, ныне называемое «Собачьим вальсом», потом усаживает Мэри в кресло и показывает ей, как сыграть.

Мэри (*играет сама и смеется от радости*). Ты меня щекочешь бородкой, Уилл!

Шекспир. Очень мне надо!

Выходит на авансцену и начинает ловко танцевать «моррисову пляску». Поскольку в наше время никто не знает, как исполняли этот старинный английский танец, режиссер может сам придумать его движения.

Внезапно Шекспир хватается за живот, останавливается, осматривается и, согнувшись, добирается до кровати, на которую и падает.

Тем временем Мэри оглядывается. Не увидев хозяина инструмента, обрывает «Собачий вальс», и начинает тыкать в клавиши пальцами, как вздумается. Знающий меломан

с удивлением обнаруживает, что Мэри играет... начало «Сюиты для фортепьяно, опус 25» Арнольда Шенберга.

Шекспир. Мэри!

Она не слышит, продолжает играть. Наконец, чувствует неладное, оставляет клавесин и начинает искать пропавшего хозяина кабинета.

Мэри. Уилл, ты куда спрятался? Ау! (*Находит в кровати с полузадернутым пологом*). Вот те раз!

Шекспир (*задыхаясь, смущенно*). Извини, приступ... Живот будто перерезало... Ножом... Скоро пройдет... Ты иди пока, поиграй...

Мэри. Ещё чего! Чем тебе можно помочь, бедненькому?

Шекспир. Разве что если ты ляжешь на кровать... и положишь голову мне на живот... Сразу же полегчает...

Мэри. Так ведь юбку помну!

Шекспир. А ты сними её... юбку...

Мэри. Ишь, чего надумал! Уж лучше пусть помнётся. (*Решительно укладывается на кровать рядом с Шекспиром, кладет ему голову на живот*).

Тотчас же кровать наклоняется в сторону зрительного зала (градусов 45), так что зрители могут наблюдать за происходящим на ней.

Шекспир. Стесняешься зеленых пятен на своих панталончиках? Опять запачкалась, играя на траве?

Мэри (*хихикает*). А ты ещё заговариваешься... Однако ты был прав, Уилл: так удобно лежать, если кровать такая огромная, как у тебя. Я так только в детстве с мамой валялась, в лесу на полянке.

Шекспир. Согласно науке, в этом положении тебе даже не нужно ничего говорить: твои мысли сами перетекают из твоей головы в мою грудь, в моё сердце...

Мэри. Убери руки! Вовсе незачем было именно на мне показывать, где у человека грудь. И разве сердце у тебя – в животе? Хорошо ещё, что у тебя там не бурчит.

Шекспир. Я должен был убедиться, что у тебя груди не свисают до пупа.

Мэри. Вовсе и не свисают. А вот тебе по рукам! Вот тебе!

Шекспир *(наставительно)*. Вот если бы ты пришла в более нарядном и модном платье, мне не потребовались бы осязательные исследования. Вон королева Бесс (упокой, Господи, её просвещенную душу!) и в шестьдесят показывала на приёмах свои груди, дабы придворные убедились, что они у неё красивы и девственны.

Мэри. А разве её величество с графом Дадли не...?

Шекспир *(прикладывает палец к губам)*. Тсс... Что-то не проникают мне в сердце твои мысли: вертишься ты всё, Мэри... Давай спрашивай, что хотела спросить.

Мэри. А... С тобою так забавно, Уилл, что даже странно возвращаться к тому делу, по которому пришла. Скажи лучше, где ты научился так здорово танцевать? Конечно, я, когда играла, только на клавиши и смотрела, однако и на тебя пару раз успела покоситься...

Шекспир. Я научился танцевать, когда поступил в актёры. Спектакль в театре обычно заканчивается танцами, а исполняют их молодые актёры, которым приходится танцевать намного искуснее, чем придворным дамам и кавалерам. Лондон – это воистину волшебный город, Мэри! Здесь,

в Страдфорде, во мне видели неуклюжего чудака, а в Лондоне я сумел научиться всему, чему только пожелал. И, как говорят, в некоторых искусствах достиг совершенства.

Мэри. Но ты не научился петь, Уилл.

Шекспир. Как сказать... В комедии я сумею спеть песенку, если понадобится. Но в пении главное не мастерство, а голос. Красивым и сильным голосом человека наделяет Бог. Я и сейчас уверен, что сумел бы овладеть любым ремеслом, позволенным мне моей физической природой.

Мэри. Хвастунишка...

Шекспир. Почему же? В нашей стране человек имеет достаточно свободы, чтобы избрать себе любое ремесло, а искусства... Разве они уже достигли степени совершенства, не позволяющей овладеть ими любому мало-мальски способному ученику?

Мэри. Ладно. Я давно слышала о вас, Уильям Шекспир, джентльмен, что вас хлебом не корми, дай только похвастаться.

Шекспир. Я сейчас же, мисс, опровергну это несправедливое мнение, просто замолчав. Ведь не секрет, что хвастун останавливается, только когда от него сбежит последний слушатель. Итак, если ты хочешь успеть на праздник... О чем ты хотела у меня спросить?

Мэри. Видишь ли, Уилл, моё дело оно как бы и не только моё. То есть дело у меня не личное, а скорее даже общее, точнее общественное. Я пришла как представитель корпорации образованных девиц Страдфорда...

Шекспир. О!

Мэри (быстро). Вообще-то это церковный кружок юных штопальщиц при нашей церкви свя-

той Троицы. Преподобный Джон Роджерс нашел в ризнице облачения католических ещё патеров и их помощников, теперь не нужные. Вот ему и пришло в голову продать это добро хотя и за бесценок, только починив сперва. Для этого он собрал девиц из добропорядочных семейств и поставил над нами Бренду Нэш, почтеннейшую супругу председателя церковного совета. На наше счастье, старушка оказалась не только глуховатой – стоит нам только рассестся после ланча в ризнице и зашуршать шелком и парчой, как она тотчас же погружается в здоровый сон. А за нею и твоя дочь Джудит начинает посвистывать носом. Странно всё-таки, Уилл, что твои способности никак не воспроизвелись в твоих дочерях. (*Присматривается к Шекспиру*). Эй! Ты что ж – заснул?

Шекспир (*подхватывается*). Нет, как можно... А о дочерях... Мне доводилось слышать и противоположное мнение. А ты продолжай, Мэри. Ей-богу, ты меня заинтриговала.

Мэри. Сколько затхлых тех облачений мы успели заштопать, это уже другое дело, зато болтаем мы там абсолютно свободно и обо всем, что нам только в голову взбредет. Почему, например, девочек не берут в грамматическую школу, а учат только читать и писать, да и то не всех? Ведь тем самым нам закрывают все пути в жизни, открытые для мужчин. Без латыни не поступишь в университет, университеты же мало чем отличаются от мужских монастырей, что были при папистах, и если бы девица, научившись латыни хоть бы и от бродячего учителя, сунулась в тот же Кембридж, её без лишних слов отправили бы в Бедлам. А ведь без университетской степени не станешь ни врачом, ни архитектором, ни...

Шекспир (*быстро*). ...зато королевой можно стать.

Мэри. Не сбивай меня! Мужчины ни одну женщину не пустили бы в королевы, если бы не было цариц уже в древности. Царица Савская вон в Библии.

Шекспир. Ага... Вот ты хочешь стать врачом... Значит, готова и мочу пациентов пить?

Мэри. При чем здесь это? Из-за коварства и тирании мужчин женщина не может стать офицером, капитаном корабля и даже простым матросом, купцом, актером, ростовщиком, даже тюремщиком и палачом – а эти профессии отнюдь не требуют университетского образования!

Шекспир. Не совсем так... Имеются бабы-проныры, вот они явочным порядком становятся отличными коммерсантами и ростовщиками, сам знавал таких. Равно как и баб-тюремщиков, баб-палачей – преотлично сумеет угробить муженька, не прибегая к мечу или петле. И сдается мне, Мэри, что ты преувеличиваешь значение университетского образования. Прямо как та кучка кембриджских чистоплюев и горлопанов, в коей верховодил покойный пьянчуга Роберт Грин. Они сами окрестили себя «университетскими умами» и кричат на всех перекрестках, что только выпускник Оксфорда или Кембриджа способен создать что-либо путное. Словно бы Плавт и Теренций кончали университет! А меня называют «английским Теренцием». И теперь я только счастлив тем, что меньше, чем Грин или покойный мой приятель Марло, убил золотых годков молодости на нудную зубрежку. Ну...

Мэри. Уилл!

Шекспир. Не мешай! Лучше сама посуди. Ну, какие знания, коих я лишен, выносят они из

университета? В богословии, юриспруденции, в медицине – вот какие! О полезности богословия промолчим...

Мэри (*морщит лобик*). Промолчим.

Шекспир. О моем мнении насчёт медицины ты могла уже догадаться... (*Пауза. Убирает руку с талии Мэри. Вдыхает*). Да бог с нею, с медициной... Юридические знания полезны, кто спорит. Однако что мешает мне обратиться напрямую к сборникам законов, вместо того чтобы платить немалые деньги за высокопарную болтовню адвоката?

Мэри. Уилл, позволь всё-таки тебя прервать. Я вспомнила о возмутительном неравноправии женского пола для того только, чтобы показать тебе, сколь серьезные вопросы обсуждаем мы в нашей корпорации. Речь не идет о твоём мнении, мы планируем встретиться для этого с более образованным человеком.

Шекспир. Благодарю покорно. (*Кладет руку ей на грудь*).

Мэри. Руки убери! Хотя... Твоя мысль о мнимой ненужности знания мне понравилась. Ну, в самом деле, вот не знаю я, кто он такой, твой необразованный Теренций – и разве мне от этого холодно или жарко? Да убери ты руку, наконец!

Шекспир (*убирает руку, поучительно*). А если ты узнала бы о Теренции, стала бы богаче. Обогадилась бы умственно то есть. И тогда, может быть, не считала бы необразованным человека, о котором мало что знаешь. Ах, да... Я протягивал куда не надо руку и потому, что мне очень этого хотелось, и как научный аргумент.

Мэри. Аргумент? Чего аргумент?

Шекспир. Что различия между полами обусловлены природой: меня так и тянет притронуться к тебе, а тебе подобное и в голову не приходит.

Мэри (*мурлычет*). Это ты так думаешь, Уилл. Мягонький такой... Да успокойся же ты, лежи как лежал, говорю! К тебе мы решили обратиться совсем по другому вопросу, потому что считаем тебя в нем экспертом. Это вопрос о природе страстной любви.

Шекспир (*трагическим тоном*). Что ж ты сразу не сказала? Мы столько времени потратили напрасно!

Мэри. Это не шутки! Ты самый прославленный страдфордский распутник за все времена. Мужики в «Медведе» и «Лебеде» рассказывают о тебе скабрёзные анекдоты, которые, в конечном счёте, доходят и до нас, девиц. И в то же время ты автор сладчайших сонетов, напечатанных Томасом Торпом в Лондоне года три тому назад. Я их перечитала много раз, те, что о страсти к женщине, во второй половине книжки, своими пометками и загибаниями углов на страницах едва ли не испортила драгоценный томик.

Шекспир. Не такой уж он и дорогой...

Мэри. Мне, во всяком случае, он дорого обошёлся. Не хотелось об этом упоминать, но я увидела твои «Шекспировы сонеты» на книжном прилавке под вывеской, изображавшей белую борзую, на паперти собора св. Павла. И тотчас же выложила за них десять пенсов, полученные на покупку сукна для новой юбки. Отчего, разумеется, дома пострадала именно та часть тела, которую должно было согреть не купленное сукно. А пошла я на это потому, что раньше мне довелось услышать три твои любовных сонета, прочтенные мне одним знакомым школяром по весьма затрепанной рукописной тетрадке. Да и любопытно мне было, как это мой земляк ухитрился

написать книгу. Я ведь о страдфордцах уже тогда была невысокого мнения.

Шекспир (*кривится*). И почему это я до последнего надеялся, что у тебя моя «Обесчещенная Лукреция» или, на худой конец, озорные «Венера и Адонис»? За набором этих книжек я проследил сам и в них ручаюсь за каждое слово. А печатные «Сонеты» глубоко меня огорчают, уж лучше бы вовсе не выходили в свет, чем так. Напечатал их проходимец Торп без моего разрешения (я и понятия не имел!), зато с разрешения нашей воровской гильдии типографов и книгоиздателей. В Англии писатель бесправен, как заяц в диком лесу, его грабят без зазрения совести все, кому только не лень. А «Сонеты»... Пиратское это издание снабжено дурацким посвящением (я так и не понял, что в нем хотел сказать идиот-издатель), обезображено целым ворохом опечаток. К тому же сонеты расположены в черт знает какой последовательности, и среди них есть вещи, которые я как раз и не предполагал печатать. (*Соскакивает с кровати и выходит на авансцену*).

Мэри (*обиженно*). Предупреждать надо было.

Шекспир. Да? Извини, в следующий раз обязательно. (*Корчит гримасу и глазами показывает зрителям на Мэри. Вдруг улыбается*). Однако среди самих сонетов есть и совсем неплохие, которые мне и до сих пор нравятся. Честное слово.

Мэри. Ну, утешил немного. Теперь я попробую поставить вопрос четче. Если тебе что покажется смешным, смейся, не стесняйся... Наш совокупный опыт, то есть нашей девичьей корпорации, в этой жизненной сфере ничтожен, однако мы пришли к выводу, что происходящее между мужчиной и женщиной наедине – явление грязное, грубое, крайне непристойное и для женщины во многих

отношениях опасное. Да ты и сам об этом писал весьма красноречиво. Чем же объяснить, что это явление воспевается в изящных серенадах, сонетах и элегиях, а в них речь идет о прекрасном, возвышенном чувстве?

Шекспир. Ты забыла о простонародных песнях, среди них есть такие же.

Мэри. Скажи лучше, понял ли вопрос?

Шекспир. А полегче чего не могла спросить? И ещё мне осталось непонятным, испытывали ли сами члены вашей... корпорации такие возвышенные чувства.

Мэри. Я, к примеру, не испытывала. К кому? Где мне найти в Страдфорде свою Смуглую леди?

Шекспир *(бросает на неё быстрый взгляд)*. Понятно. *(Говорит занудным тоном, прохаживаясь по авансцене)*. В человеке заложено Богом и животное, и духовное начало. Если бы мы не совокуплялись, как животные, не могли бы продолжить человеческий род. Здесь, кстати, заложены и корни обидного для тебя традиционного неравенства полов. На женщин возложена трудная и долгая задача вынашивания, рождения и воспитания детей. Увы, множество младенцев не доживают до конфирмации, поэтому для того, чтобы население не сокращалось (а еще чума! а войны?), женщинам приходится рожать без конца. Если бы английские женщины получили право становиться адвокатами, пиратами или актерами, они начали бы пренебрегать своей главной обязанностью. Страна постепенно вымерла бы, Мэри, и на её зеленые равнины пришли бы племена, у которых женщины по-прежнему прикованы к очагам и орущим младенцам.

Мэри. Ничего себе объяснил! *(Показывает спине Шекспира язык)*. Так, по-твоему, я обязана...

Шекспир. Где ты научилась перебивать старших? А вот духовное начало и облагораживает всё животное в человеке. Я покажу на примере. У вас есть дворовая собака?

Мэри. Есть цепной пес, наш Уилл такой забавный... Ой! Просто моему отцу очень не по душе пришелся наш сосед-зеленщик, он и назвал щенка Уилкинсоном, а мы уж сократили. Не обижайся, хорошо?

Шекспир. Гм. Ладно... Припомни, в каком комфорте грызет ваш лохматый Уилл свою кость, и сравни с роскошью и удобством вашего семейного обеда. А ведь необходимость есть и пить у нас тоже животная! Точно также и прекрасное чувство влюбленности облагораживает необходимость животного совокупления.

Мэри. Фу! А каким концом к этому приставлены сладкозвучные любовные вирши?

Шекспир. Их можно рассматривать как одно из внешних выражений любовных чувств. Когда дикий пастух бегаёт за пастушкой, глупо гогоча и пытаясь ущипнуть её за... За то место, что так причудливо сплелось причинной связью с моими сонетами... Меня всегда поражало, как по-разному воспринимают люди мной написанное, стоит только выпустить вещь в свет. О чём это я? Пастух таким образом выражает свои нежные чувства. Точно так же Ромео, влюбившись поначалу в Розалинду, помимо прочих модных безумств, пил уксус, крокодилов ел.

Мэри. Ромео? Ничего себе имя для англичанина!

Шекспир. Это из одной очень плохо напечатанной трагедии... Настоящий, живой Ромео, вполне возможно, ещё и кропал неуклюжие стишки,

воспевая свою придуманную любовь. Но стоило ему только по-настоящему влюбиться, как он забыл обо всей этой чепухе. (*Возвращается на кровать*).

Мэри. Ух! Голова кругом идет... (*Словно бы невзначай обнимает его*).

Шекспир. Если придуманной, словно понарошку влюбленности соответствует любовь настоящая, которой достаточно себя самой, то любовному зарифмованному бумагомаранию, в котором влюбленный так сяк пытается выразить свои чувства, отвечает настоящая, истинная поэзия. И дело вовсе не в том, что подлинный поэт шутя преодолевает трудности стихотворства, нет! Ему не нужен внешний повод для вдохновения, достаточно внутреннего. Поняла?

Мэри. Не торопись так... У тебя получается, что можно написать хороший любовный сонет, и не будучи влюбленным – я не ошиблась?

Шекспир. Именно так у меня и получалось. Хотя иногда выходили неплохие вещи, когда я пытался передать, что испытывал в тот именно момент. Лучшие же любовные стихи я написал, припоминая прочувствованное на пике своей страсти, когда, поверь мне, было совсем не до стихов... Тебя это, наверное, удивит, но я на собственном опыте убедился, что на самом деле в таких стихах пишу не о себе, живом Вильяме Шекспире, а о некоем знакомом незнакомце...

Мэри. О нет! Достаточно, Уилл. Слишком много за один раз.

Шекспир (*кратко*). Тогда скажи мне, о чем бы ты хотела послушать – о писании любовных сонетов или о любовной страсти?

Мэри. О любви, разумеется. Ведь я о ней спрашивала. А о стихах... Ведь мы ещё увидимся вот так

же, чтобы нам никто не мешал, а, Уилл? (*Поднимается на локте и заглядывает ему в глаза*).

Шекспир. Конечно же, Мэри. И не раз. (*Пауза*). Ведь я о том только и мечтаю.

Мэри. Вот сказано! Мечтает он – так я и поверила. (*Значительно*). Вот в следующий раз ты мне и расскажешь о стихах, Уилл.

Шекспир. Мне всё же неловко... Ну что же, любовь – это долгая болезнь.

Мэри. Читала уже. Даже наизусть затвердила. Давай от себя, не из сонетов.

Шекспир. Что ж... Тогда любовь – это тяжкий труд души, а счастливое свидание – благодатный оазис в пустыне, в который попадает путешественник после долгого, мучительного пути. Наслаждение, не оплаченное страданием и трудами долгого ухаживания, теряет ценность для человека, оно бесцветно и безвкусно. А вот если влюбленный вынужден месяцами подавлять свои желания, обманывать подозрения ревнивого мужа, скрытно привлекать к себе внимание любимой, если, наконец, он рискует жизнью, проникая в чужой дом, чужую крепость – вот тогда и будет нестерпимо сладкой его вождеденная награда! (*Бережно высвобождается из объятий Мэри, встаёт с кровати и выходит на авансцену*). Однако ни с чем не сравнимы переживания любовника, уже вкусившего от запретного сладкого плода и вынужденного опять надолго расстаться с любимой. Он обречен на муки ревности, горьких подозрений, одинокой бессонницы, зато у него есть теперь воспоминания. Холодными, пустыми ночами он беспрестанно воспроизводит в своем воображении каждое мгновение встречи с любимой, и уж этого

сокровища у него никому не отнять. Изумительные, человека к богам приравнивающие чувствования, испытанные во всей их полноте и красе, будут казаться ему ещё более ослепительными, и он зарыдает, оплакивая их недоступность для себя теперь.

Мэри (*тошно*). Почему ты ушёл, зачем покинул меня? Ты мне нужен здесь, Уилл.

Шекспир. Да, да, конечно... (*Возвращается на кровать и в объятия Мэри*). Однако тем слаще верное свидание, первое после долгой невыносимой разлуки. О какой тогда грязи и грубости может идти речь, сама подумай? Любовники ведь так долго мечтали об этой встрече, да они...

Шекспира прерывает громкий стук в дверь. Он спрыгивает с кровати и неторопливо подходит к двери. Мэри поспешно приводит свою одежду в порядок, обувается и присоединяется к нему.

Шекспир. Кто там? А, Бёрбедж... Вот здорово! Попроси его, чтобы подождал минутку.

Мэри. А не удрать ли мне через окно?

Шекспир (*скептически присматривается к окошку*). Разве ты пролезешь? И тогда уж точно не избежать скандала.

Мэри. Ой, едва не забыла тебя предупредить, Уилл. Отец грозил, что заставит тебя раскошелиться на устройство городского теннисного корта.

Шекспир. Пустое... Допустим, цирюльник снабдит магистрат волосом для набивки мячей, однако сомневаюсь, чтобы у наших горожан оказалось достаточно чистое нижнее белье. Ведь в верхней одежде играют в теннис только те, кто без нижнего белья обходится... Да... Как ты мне нравишься сейчас!

Оживилась, растрёпанная, глазки горят... Думаю, что заслужил прощальный поцелуй.

Мэри. Ах, Уилл!

Целуются долго и страстно.

Шекспир. Мой остолоп-слуга передаст тебе записку в церкви. До встречи, Мэри.

Мэри. До сви-да-ния.

Шекспир отпирает дверь и прячет ключ в карман. Мэри, легонько дернув его за бородку, проскальзывает в щель. Заходит, оглядываясь, Бёрбедж, за ним – Жердь.

Шекспир. Здорово, Дик!

Бёрбедж. Как поживаешь, проказник? Опять, я вижу, за свое? *(Обнимаются, потом отстраняются и вглядываются друг в друга. Как два близнеца, на первый взгляд. Черноволосый и рыжий, они одинаково одеты и подстрижены, носят похожие усы и эспаньолки).* Мимо меня промелькнула молоденькая вострушка, Уилл. Неужели ты разочаровался в зрелых леди?

Шекспир. Какое там, дружище... Мне бы жизни не дали в нашем родном Страдфорде. Это, знаешь ли, вроде упражнения, ну, как вокальный экзерсис. *(Становится в позу певца и начинает пробовать голос).* О-о-о, у-у-у...

Жердь, засмотревшись на хозяина, вытаращивает глаза и разевает рот.

Бёрбедж *(внезапно кричит)*. Стоп, орясина! Замри, кому говорю! *(Обходит слугу, со всех сторон его оглядывая. Рычит)*. А ну, ощерься! Зубы! Чтобы зубы я

увидел... Теперь руку согни! (*Щупает бицепс*). Хляк!
Ногу согни в колене и подтяни к подбородку!

Жердь. Не могу, мистер камердинер его величества. Смилуйтесь!

Бёрбедж. Не можешь? А почему твой хозяин может? Подтягивай колено, кому говорю! (*Щупает мышцы бедра, Жердю щекотно*). Тьфу ты...Свободен.

Шекспир (*усмехнувшись*). Никак ты замыслил, Дик, продать моего слугу в солдаты?

Бёрбедж (*машет рукой*). Какое там! Скорчил он тут рожу, мне и показалось, что готовый второй комик. Парень же возле тебя тёрся несколько месяцев, а ты у нас и по жизни первостатейный лицедей. В трупке некомплект, ты же знаешь...

Шекспир. И каков вердикт?

Бёрбедж. Пусть уж лучше выносит твой ночной горшок, как выносил.

Шекспир. Слышь, Жердь, не светит тебе пока актёрская карьера.

Жердь. И прекрасно! Очень мне надо гореть в геенне огненной...

Бёрбедж и Шекспир переглядываются.

Шекспир. Ты вот что, умник. Пойди, скажи Саре, чтобы принесла нам галлон хереса да мой напиток. И чего найдет на кухне готового на закуску, анчоусов там, копчёной оленины... Сам посмотри. Посуду пусть возьмет самую лучшую. (*Показывает Бёрбеджу на кресло, сам усаживается после него*).

Бёрбедж. Ты слышал? (*Шекспир кивает*). Зараза, о которой ты нас предупреждал в Лондоне, расползается, как чернила в воде.

Шекспир. Лучше поговорим о том за столом. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, увы, неутешительные. Скажи, как ты доехал?

Бёрбедж. Да кому может быть интересно, как я доехал? Доехал же. Бросил дома вещи, переоделся с дороги – да сразу к тебе. Скажи, Уилл, как ты себя теперь чувствуешь?

Шекспир. Тебе, конечно, мой добрый Дик, хочется услышать, что мне полегчало? О, как рад был бы я тебе угодить! Нет, нет. Приступы участились, и эти периоды слабости после каждого меня просто пугают. Нечем мне похвастаться, – ну, может быть, тем, что правильное решение тогда принял. В двух театрах, в «Глобусе» и «Беркфлайерзе» разом, даже в одном малом «Беркфлайерзе» я бы не потянул.

Бёрбедж. Как жаль, как жаль... Я так рассчитывал на тебя. Думал, что чистый воздух, здоровый сон и спокойная здешняя жизнь поставят тебя на ноги. Не скрою, что я привёз пару предложений, скорее так, предварительных соображений...

Шекспир. Успеется, Дик. Мне кажется, тебе тоже не мешало бы побережиться и уж, во всяком случае, показаться врачу. О моей болезни светила медицины, вроде почтенного моего зятя, магистра Холла, высказываются весьма туманно, и легко догадаться, что им попросту и сказать нечего. А вот твое лицо, Дик, в последние год-два так легко багровеет, что даже я, профан, решился тебя остеречь.

Бёрбедж (*машет рукою*). Думаешь, ты первый? Если мне суждено умереть от апоплексического удара, то не всё ли равно, когда и где настигнет меня длань Господня? Меня, Уилл, наоборот, страшит

смерть после долгой болезни, на смрадных простынях, среди измученных и в глаза тебе не глядящих родственников.

Шекспир (*аплодирует*). Браво, Дик! Отличное начало для веселой застольной беседы! (*Показывает на Жердь и Сару, вносящих покрытый шелковой скатертью столик*).

Слуги ставят столик между креслами и накрывают на стол. Жердь жует, Сара стреляет глазками в Бёрбеджа.

Бёрбедж. И есть в апоплексическом ударе даже кое-что приятное – ведь не успею облысеть. Как ты, Уилл.

Шекспир. Ах, Дик! Будь я таким великим актёром, как ты, модники подбрасывали бы себе лбы, как у дам на старинных портретах.

Жердь наливает в кубок Бёрбеджу из большого графина, хозяину – из кувшина и с поклоном отступает от столика.

Жердь (*Шекспиру*). Готово, сэра. Могу ли я отлучиться посмотреть на праздник?

Сара (*приседает*). Нельзя ли и мне, сэра?

Шекспир. Да бога ради! (*Бросает слугам по монетке*). Купите и себе по петарде. А в кубок моему дорогому гостю я рад буду подливать и сам.

Слуги убегают. Шекспир у двери прислушивается, запирает дверь.

Бёрбедж. Ушли?

Шекспир. Последнее время мне кажется, что парень подслушивает.

Бёрбедж. Для кого?

Шекспир *(ухмыляется)*. Быть может, и для себя. Как ты и сказал. Хочет, хитрец, на службе у меня поучиться тому-сему. Проходит свои лакейские университеты. Смешно теперь вспомнить: ведь я привез Жердь из Лондона, чтобы иметь своего человека в кухонном сообществе.

Бёрбедж *(поднимает брови)*. Отчего же смешно, Уилл?

Шекспир *(грустно)*. Оттого, что стало оно мне глубоко безразлично, мнение обо мне моей прислуги и домочадцев.

Бёрбедж *(с сочувствием присматривается к другу)*. Не так же всё плохо, право! Давай выпьем за твоё здоровье, Уилл! *(Пьют. Заедает анчоусом, не дожевая, продолжает, показывая подбородком на столик)*. В прежние времена мы поставили бы бутылки на пол, приказали бы принести соломы и развалились бы на полу, чтобы не пришлось падать, когда ноги перестанут нас держать.

Шекспир. А как весело нам было тогда... Mais om sont les neiges d'antan! Увы, где прошлогодний снег?

Бёрбедж. Послушай, а чего ты приказал налить себе? *(Засовывает свой длинный нос в кувшин)*. Пахнет... да нет, скорее приятно.

Шекспир. От настоящего пойла мне хуже делается. А этот напиток мне зять соорудил: настой валерианы, приправленный его фирменным фиалковым сиропом и разбавленный кипяченой водой.

Бёрбедж *(с отвращением)*. Кипяченой... Надо же.

Башенные часы бьют девять раз. Тотчас же лопается первая петарда и поднимается восторженный вой и визг.

Шекспир (*подливает в кубки*). Началось... И никто не задумается, есть ли что праздновать?

Бёрбедж (*оглядывается, кивает головой*). Угу, нечего. Между тем сейчас секретарь городского совета переписывает, небось, тех сограждан, что не пришли на праздник.

Шекспир. Тоже мне праздник... Хотя мы с тобою, Дик, и славно заработали на всяких королевских празднествах, я остаюсь при убеждении, что народ сам знает, когда и что ему отмечать. Как можно веселиться по приказу?

Бёрбедж. Выходит, что можно, Уилл. (*Потягивает из кубка*). Да и что празднуем? Там какой-нибудь школяр будет читать стишок, сочиненный продажным поэтом-лауреатом, а в нем есть полустигиие о том, что «Бог спас короля» – да только давно уже на те слова не обращают внимания. Уж если жгут соломенное чучело Гая Фокса, то кто же тогда герой? Разумеется, Гай Фокс.

Шекспир. Разумнее было бы забыть навсегда о Пороховом заговоре, чем увековечивать память о нём. Главный квартал города едва не разнесло взрывом, и погибли бы не только король, сановники и члены парламента, но и тысячи ни в чём не виноватых простых лондонцев, в том числе женщин и детей. Те, кто избежал бы смерти от обломков зданий и осколков стекла, задохнулись бы от пороховой вони. Многие из оставшихся в живых свихнулись бы от ужаса. Облако раскаленного дыма поднялось бы до высших сфер неба, и боюсь, как бы не опалило крылышки ангелам.

Бёрбедж. Скажи лучше: бороду Господню.

Ухмыляясь, приподнимаются с кресел и хлопают ладонью о ладонь друг друга. Тут раздаётся особенно громкий звук взрыва петарды и новый всплеск восторженных криков.

Шекспир. Здорово сказано, Дик! (*Вновь серьезным тоном*). Никто не подумал тогда, что наука в самом начале судьбоносного семнадцатого века, как бы предупреждая человечество, показала ужасающие возможности своего стремительного развития. Ведь только два столетия назад о порохе никто в Европе и понятия не имел, а сто лет тому назад во всей Англии не сумели бы выработать и собрать 36 бочек пороха. Злой воли нескольких заговорщиков хватило, чтобы возникла опасность высвобождения адских сил, доселе неизвестных.

Бёрбедж. Ты сказал сейчас о злой воле заговорщиков. Да, они преступники, и преступники чудовищные. Однако они ответили на жестокость короля Иакова, они могли с полным правом сказать, что защищали свою жизнь и свободу. Помнишь, тогда по стране прокатились показательные казни католиков? Людям рубили головы только за их убеждения, за желание молиться не так, как молится король или пуритане! И нам еще говорят, что мы живем в свободной стране... За эти годы я только убедился в твоей прозорливости, Уилл. Ведь в самом начале его правления, когда мы прославляли щедрого к нашей труппе короля, ты назвал его взбалмошным и заносчивым шотландцем.

Шекспир. Да уж. Счастье моё, что в нашей компании тогда ещё не завелись доносчики. Однако что прикажешь думать об этом монархе, если ещё на пути в Лондон, в Ньюарке, он отколол штуку, поставившую меня в тупик? Сначала приказал немедленно повесить карманника, на его глазах взятого в толпе с поличным, а потом выпустил всех

узников из городской тюрьмы. Ведь наверняка там сидели и субъекты, виновные куда больше невезучего любителя чужих кошельков. Ох, недаром мудрая наша старушка Бесс до последнего тянула с назначением его преемником!

Бёрбедж (*оглянувшись*). Уж лучше было под той бабой, чем под мужиком с женской натурой. Мне всё чаще кажется, что на самом деле моё мастерство или изящество твоих пьес для него безразличны. Золотой дождь королевских благодеяний, пролившийся на нас, как на Данаю, не объясняется ли просто тем, что его величеству приятно смотреть на наших юнцов, играющих женские роли?

Шекспир. Ты шутишь, но какая отвратительная действительность стоит за твоей шуткой, Дик! Я содрогаюсь до сих пор, когда вспоминаю свистопляску, что поднялась после суда и жутких, как в темные времена готов, казней заговорщиков. Мы прожили десятилетия, ропща и жалуясь на безденежье и несвободу, однако боюсь, что мы не понимали своего счастья и что наше время еще покажется нам «золотым». Я презираю всех фанатиков, и католиков, и пуритан, однако... Что за чёрт!

Под очередной всплеск криков и взрывов за окном в кабинет влетает Жердь. По лицу его, красному и мокрому, текут слезы, он наклонился вперед, с его задницы свисают лохмотья. За ним прокрадываются бродячие актеры, обступают Шекспира, прыгают от радости.

Дама - Кривляка. До чего же мы соскучились по тебе, Уилл!

Шекспир. А где вы пропадали, бродяги?

Бёрбедж. Ты обращаешься к слуге на «вы»? Так

вот как на тебя подействовал разведенный фиалковый сироп...

Объедало - Пук. Мы веселились среди толпы кровожадных провинциалов. Им позволили жечь соломенное чучело, тем легче им будет поджарить, когда прикажут, на костре живого еретика.

Шут - Подзаборник. И то приятно, что на сей раз мужичье потешало нас, а не мы их.

Шекспир. А вы заткнитесь. (*Жерди*). Разве это возможно – так быстро назюзюкаться?

Жердь (*убежденно*). В Лондоне всему научат. А вы, небось, сами пьяны, хозяин. То «Заткнись», то вопросы задаёте...

Бёрбедж. Да что с тобою приключилось?

Жердь. Сами же приказали пойти повеселиться с необразованным народом... Ну, выпил, поплясал, потерял Сару, ноги устали, присел отдохнуть на пригорок. А туда, как я понимаю, какой-то весельчак уже положил петарду с подожженным фитилем...

Бёрбедж. А не оторвало ли тебе главное твое достоинство?

Жердь (*с ужасом*). Боюсь туда посмотреть. (*Поворачивается задом к Даме-Кривляке, та закрывает глаза растопыренными пальцами обеих рук. Шут - Подзаборник, кривляясь, накидывает ей юбку на голову*). Господом Богом прошу, взгляните лучше вы, хозяин.

Бёрбедж. Да будь ты мужиком, успокойся. И без этого люди живут, парень.

Шекспир (*торжественно*). Могу дать тебе только такой совет. Дождись, когда соберется благочестивый кружок юных штопальщиц при церкви святой Тро-

ицы и обратиться к его кураторше, почтеннейшей Бренде Нэш, супруге председателя церковного совета. Пусть распорядится, чтобы девицы поставили тебе на штаны латку да заодно пришили и всё прочее, в чем у тебя нынче нехватка.

Раздается особо громкий взрыв петарды.

Акт третий

24 марта 1616 года. Утро. Тот же кабинет, что и во втором акте, только превращенный в обиталище тяжелобольного. Плоское изображение письменного стола сменилось объемным. Кровать теперь стоит посредине сцены, рядом с нею кресла и столик. Где стол был яств, там аптечные бутылочки с привязанными к ним длинными ярлыками.

Шекспир, тщательно, как и во втором действии, одетый, сидит на кровати, а Жердь завязывает ему шнурки на красивом, с серебряными инкрустациями, башмаке.

Жердь (*ворчит*). Кто ж, как не я, присмотрит теперь за вами, хозяин. Они все только и способны, что болтать о вашем завещании.

Шекспир. А хоть бы и Сара, она девушка добросердечная.

Жердь. Кто вам это сказал? (*Вздыхает*). Вас обманули, хозяин.

Медленно отворяется дверь, входит Джоан.

Джоан. С добрым утром, братец! (*Жерди*). А ты, прощельга, не оставляй ночной горшок прямо под дверью. Чуть не выплеснула на свой подол, споткнувшись, да простит меня всеблагодой Господь.

Шекспир (*машет ей рукой небрежно*). С чем пожаловала, сестрица? Зачем, уж если точнее.

Джоан. За чем же, как не за братским вспомоществованием? Грешно обижать несчастную

сестру, без пяти минут бедную вдову, обременённую сиротами.

Шекспир. О чём ты? Ведь твой Вилли, честный шляпочник, должен был позавчера отправиться в Бристоль на ярмарку, чтобы распродать по дешёвке запас шляп, залежавшихся в здешней его лавке. Кажется, я не дал вам ещё ни одного плохого совета.

Джон. Он, бедняга, не успел выкарабкаться из запоя и проморгал эту ярмарку. Да и на нашем календаре оказалось пятно от соуса на том именно месте, где март заканчивается. Это уж моя вина.

Шекспир. А почему ты и сегодня не принесла мою шляпу? Пора бы уж вернуть.

Жердь *(в сторону)*. Да уж, размечтался...

Джон *(плаксиво)*. Бессовестный! Сам же дал нам свою шляпу как образец, а теперь упрекаешь! Вилли, еще до запоя (или уже во время раскачки, вот не припомню), захотел испытать качество парижского фетра. Отогнул внутри шелковую ленту, чтобы не оставить заметный след, и капнул кислотой. Рука у него дрогнула, хорошо еще, что пальцы себе напрочь не сжег...

Шекспир. Моя лучшая шляпа! И десяти лет не проносил. Я держал её под мышкой, когда меня представляли его величеству! Не в чем теперь и на улицу выйти...

Джон. А ты разве способен на улицу вытащиться? Вот и сиди себе дома. Мой Вилли тоже лежит пластом, как бы не окочурился. Почему же ты не спросишь, братец, что с ним приключилось? *(Шекспир лениво кивает: мол, считай, что спросил)*. Совсем ты позабыл о нас, твоих родичах. А моего Вилли наш старшенький выводил из запоя и переусердствовал: он у нас парень крепкий.

Шекспир. Ладно. Зайди к зятю моему Холлу, скажи, что я прошу его осмотреть Вилли, что я заплачу. И за лечение тоже.

Джоан. И не забудь, Уилл, вставить меня в завещание. А то помрешь, а твои злые дочери вмиг нас выставят из дома на Хенли-стрит. (*С пафосом*). Из дома, где мы с тобою родились, Уилл.

Шекспир (*возвращает на место уже вытащенный из-под подушки кошель*). Спасибо, что напомнила, сестрица. Прощаю вам с Вилли два шиллинга арендной платы – двенадцать пенсов за прошлый год и двенадцать за нынешний. Вот тебе и помощь.

Джоан (*кисло*). И на том спасибо, братец. (*Встаёт с кресла понуро. Вдруг всплескивает руками*). Совсем забыла! У твоей Джудит такое несчастье, такое несчастье – весь город на ушах стоит. Зачем только ты выдал её за этого молодчика, виноторговца так называемого?

Шекспир. Да что же случилось?

Джоан. Нет, нет, не скажу тебе – и не проси! Боюсь! Ещё пристукнешь в гневе... (*Убегает*).

Шекспир. Вот ведь дура! (*Жердь*). А ты ничего не слышал?

Жердь. С утра на кухне тишь да гладь. Да и в «Медведе» (*заходил промочить горло перед завтраком*) все разговоры только про вчерашнюю драку.

Шекспир. Вот и поди разужнай...

Стук в дверь, и после стука поспешно заходят Сьюзен и Холл. Очень заметно, что они держатся вместе и дружны теперь.

Сьюзен. Доброе утро, папа. (*Холл кланяется*).

Шекспир. Что там ещё стряслось с Джудит? Сбежала от мужа посреди медового месяца?

Холл. Дела обстоят намного хуже, Уилл. (*Подходит ко кровати, кладет руку тестю на лоб*). А у тебя опять голова горячая.

Шекспир. А у тебя по-прежнему нет лекарского патента, самозванец. Иди, Жердь. Впрочем, ты всё равно обо всем...

Сьюзен (*резко*). Выйди вон, парень. (*Жердь обиженно разводит руками и выходит*). Мы привели Джудит сюда. Сара на кухне отпаивает её холодной водой и умывает. Как только успокоится, придет.

Холл. Похоже, Уилл, мы промахнулись, выбирая жениха для твоей младшей.

Шекспир. А ведь парень из хорошей семьи, Джонни. Я прекрасно помню Дика Куини, его покойного отца. Милейший был человек, с отцом моим дружил. Что Томас еще натворил?

Холл. Ещё, Уилл?

Сьюзен. Помнишь, папа, я всё удивлялась, что Томас и Джудит повенчались без церковной помолвки, из-за чего были даже отлучены от церкви? Да и венчание устроили чуть ли не тайное. Оказалось, что они прятались от некоей Маргарет Уиллер, с которой этот мордатый Томас путался и которая от него понесла, а тогда была уже на сносях. Священник ведь всегда спрашивает, не знает ли кто из присутствующих про препятствие для совершения брака. А какое ещё тут нужно было бы препятствие, если бы эта девка заявила на венчании о своей беременности от Тома – да еще с таким пузом?

Шекспир (*холодно*). Для меня здесь нет ничего нового. Я принял меры, чтобы уладить это дело.

Сьюзен. Ничего себе уладил! Эта Уиллер умерла родами, и ребёнок тоже помер.

Холл. Да, Уилл, хозяйка её выгнала, несчастная рожала на опушке леса, ребенок... в общем, тоже погиб.

Шекспир (*подскакивает на кровати*). Невозможное дело! Сьюзен, доченька, приволоки сюда эту дуру – и в том виде, в котором застанешь!

Сьюзен (*усмехается*). Знаешь, папа, а я ведь догадалась, о ком ты говоришь. (*Быстро уходит*).

Холл. Отвратительная история, Уилл. Нас всех вываляют в грязи. Ты болен, и я хотел бы избавить тебя от подробностей.

Шекспир (*бьет себя в грудь*). Я, один я во всем виноват! Ну скажи мне, Джонни, разве похож я на человека, способного доверить деньги лживой идиотке?

Холл. Бывает, Уилл, и на старуху проруха. Боюсь, тебе просто опасно так волноваться.

Входят Сьюзен, Джудит и Энн. Сьюзен тянет Джудит вперед за одну руку, Энн, пытаясь удержать младшую дочь на месте, – назад за другую.

Во время последующего скандала в двери поочередно заглядывают Жердь и Сара.

Шекспир. Джудит! Сейчас же встать вот здесь, напротив меня. Смотреть мне в глаза!

Энн. Не тронь бедную девочку, тиран!

Шекспир. А ты что здесь делаешь, моя прекрасная леди? Сама изолгалась в конец и из нашего перестарка сделала подлую лгунью!

Джудит (*плаксиво*). Это я перестарок, папа? А чья, спрашивается, в том вина?

Энн. Сегодня, подлец, я выскажу всё, что о тебе думаю!

Холл. Дамы, да успокойтесь же вы! Прислуга ведь подслушивает. А тебе, Уилл, я накапаю сейчас настоя пустырника.

Шекспир. Прекрати реветь и ответь мне, Джудит, что ты сделала с теми полфунта, что я тебе вручил для передачи мисс Уиллер? На эти деньги можно было и квартиру снять, и повитуху пригласить. И следовало ей передать, что и в дальнейшем я...

Энн. Не отвечай ему ничего, бедная моя девочка, ты не обязана уже. У тебя теперь есть муж.

Сьюзен. Мама, да не мути ты воду! А что касается её мужа (*переглядывается с Холлом*), то Томас на четыре года младше нашей Джудит, и это она готова его на руках носить...

Джудит. Скажешь тоже, Сью, на руках... Рада бы, да мой Томми такой здоровенький, румяненький, толстенький. (*Стесняется, закрывает лицо руками*).

Шекспир. О боже! (*Со внезапным спокойствием*). Джудит, куда подевались мои десять полновесных шиллингов?

Джудит (*глаза у неё снова на мокром месте*). Да, я взяла этот мешочек с деньгами у тебя, папа. Но ты не сказал мне, как их передать брюхатой потаскухе, совратившей моего скромного Томми.

Сьюзен. Что ты несешь? (*Возводит глаза к небу*). Он же вдовец, дура.

Энн. Не обижай мою девочку, Сью! Не всякий же раз, когда раскрывает рот, она говорит глупость. Знала и я очень скромных вдовцов, таких, что и глаз от земли не поднимали.

Джудит. Спасибо, мама. Не самой же к ней было идти! А Томми и говорит: «Не о чем не беспокойся, моя козочка, я всё устрою. Дай мне мешочек». Я разрыдалась и запретила ему даже подходить к сучке. Он потрепал меня по щеке, улыбнулся и сказал, что у него ничего подобного и в мыслях нет.

Шекспир (*переглядывается с Холлом*). Дальше!

Джудит. А у меня все же душа не на месте. Вдруг он таки ходил сам к этой противной Уиллер? Я пару дней перетерпела, да и спрашиваю, кто относил кошелёк.

Шекспир. А никто и не относил.

Джудит. Как ты догадался, папа? Да, Томми мне признался, что решил оставить деньги в семье. «Твой папаша – денежный мешок, – говорит, – однако на свадебные подарки сильно поспешил. А я давно хочу эту халупу сменить на жильё попросторнее и уже присмотрел дом на углу Хай-стрит и Бридж-стрит, «Кейдж» называется. Внизу устроим винную и табачную лавку, а наверху, моя козочка, будем жить». Я и вздохнула с облегчением, признаться.

Шекспир. Уж лучше я бы своего слугу послал к бедняжке с этими деньгами.

Жердь (*высовывает голову из двери*). А она хоть хорошенькая, сэр?

Шекспир. Сам посмотри, только сначала из земли выкопай. (*Голова Жердя исчезает*). Тут надо подумать. Мисс Уиллер сирота, следовательно, в уголовный суд подать жалобу некому...

Джудит. Ой!

Холл. Не о чем тут думать, Уилл. Беспутный Томас уже вызван в церковный суд. На завтра.

Жердь (*снова высовывает голову*). В «блудодейный суд», как говорят в простонародье, сэр.

Шекспир. Войди, умник, и подожди у двери. (*Джудит*). На завтра? Да, конечно же, ведь сегодня суббота... И ты скрывала до последнего, ты, ты...

Холл. Лучше не говори этого, Уилл. Слово не воробей...

Э н н . Только посмей её обозвать! Я тебе глаза выцарапаю, я тебя проткну твоей же шпагой!

С ь ю з е н . Смело говори, папа! Ты если кого назовешь – как припечатаешь.

Ш е к с п и р (ядовито). Да уж, как теперь нашу Джудит не назови, содеянного не изменишь. Сейчас уже ничего не успею поделать, вот ведь дьявол! Хотя... (Задумывается). Жердь! Беги к Джону Роджерсу, приходскому священнику, и пригласи его сегодня же зайти ко мне. Скажи: мой хозяин хочет сделать пожертвование на церковь св. Троицы, и весомое.

Х о л л . Хорошее дело! Давно тебе следовало раскошелиться, Уилл.

Э н н . Какое легковерие! А еще магистр искусств... Забыл ты, зятёк, что породнился с безбожником.

Ш е к с п и р . А на обратном пути к поверенному мистеру Коллинзу забеги, попроси его прийти сегодня. Скажи: мне срочно надо изменить завещание. Беги!

Ж е р д ь убегает.

С ь ю з е н (подозрительно). С чего бы это такая спешка, папа?

Ш е к с п и р (неохотно). Вопрос по делу, Сью. Ты и Джонни должны об этом знать, ведь придется залезть в семейную кубышку, которую я намеревался оставить в одних, ваших руках. Однако я вижу в этом единственное спасение для Джудит. Молодчик Том показал себя бессовестным и бессердечным хапугой. Ишь ты, свадебные подарки ему дешевыми показались! Если этот мой зять хладнокровно обрек на смерть любовницу и своего новорожденного ребенка, где гарантия, что со временем он не выбросит на улицу и Джудит с её детьми, моими внуками, а твоими, Сью, племянниками?

Энн. Ты сгущаешь краски, муженёк. Одно дело приبلудная сучка, другое – законная жена из хорошей семьи. И наш красавчик Томми не так виноват, как сама девка. Я многое могу простить пылкой молодежи, однако есть же возможности для незамужней девушки и обезопасить себя... Гуляй, гуляй, да головы не теряй.

Сьюзен. Он не посмеет так поступить с твоей дочерью, папа.

Шекспир. Сейчас не посмел бы, но я не вечен. Неужели вы не видите сами, что мне всё хуже и хуже?

Энн (*фыркнув*). Ты вечно притворяешься, лицедей. Теперь, – может быть, из-за скандала с Мэри Грин, – тебе показалось выгодным корчить умирающего. Ух, ненавижу!

Холл (*удивленно*). Скандал с Мэри Грин? В первый раз слышу... Ах, да.

Шекспир. Шустрая Мэри тут уж точно не причем... Впрочем, идея хороша. Браво, Энн! А молодчик не только жаден, но и туп, если до двадцати семи лет не смог разбогатеть на виноторговле. От глупого бедняка жди любой пакости.

Джудит. Надеюсь, ты это не о моем Томми говоришь?

Шекспир. Да разве я бы посмел, доченька? (*Поворачивается к старшей дочери и зятю*). Делать нечего, дорогие мои Сью и Джонни, придется мне выполнить предсвадебное обязательство. Сегодня же продиктую и подпишу новое завещание. Тебе, Джонни, как душеприказчику придется выплатить Джудит из моих денег сто фунтов через год после моей смерти (*только ей в руки и через год, запомни!*) и ещё сто фунтов, как только родит ребенка.

Джудит (*подпрыгивает и хлопает в ладоши*). Я постараюсь, папа!

Шекспир. А тебя, Сью, я прошу перед каждой выплатой втолковывать сестре, что деньги её и что отдавать их мужу я запретил.

Сьюзен кивает, Джудит возмущена.

Энн. А мне что ты оставишь, муженёк?

Шекспир. То же, что и прежде. Нашу старую, скрипучую кровать.

Энн. Изверг рода человеческого!

Шекспир. В отношении тебя, жёнушка, я придерживаюсь древнего салического права. И скажи еще спасибо, что тебя, связанную, не бросят в мой погребальный костер.

Холл. Иногда мне кажется, тесть и тёща, что вы всё еще влюблены друг в друга.

Шекспир. Джонни, дружище, боюсь, что общая сумма наследства окажется меньшей, чем мы с тобою прикидывали. Откуп церковной десятины остаётся за мной, и недвижимость, в Лондоне и здесь, будет вам приносить стабильный доход, но вот мои доли в театрах...

Дверь распаивается, влетает Грин. Он растрепан и сердит. Шекспир быстро укладывается на постель и задергивает полог. В дверь, оставленную главным одерменом открытой, прокрадываются бродячие актёры и выстраиваются у задней стены.

Грин. Что за бардак! Если обо мне некому доложить, я доложу сам!

Холл. Привет, Томас! Кто это прицепил тебя к такой длинной шпаге?

Грин. Если уж взялся шутить, лекарь, то шути новые шутки. Поучился бы, как подшучивать, у своего

тестя-шутника: подкидывает нам тут, в Страдфорде, шутку за шуткой.

Шекспир (*тихим, томным голосом*). Это кто пришел? Не голос ли Томаса Грина я слышу?

Грин. А это не Уилл ли там крикает, как подстреленный лебедь? Выходи, подлец, на свет Божий! Я пришел либо намять тебе бока, либо вызвать на поединок. (*Откидывает полог, видит на постели Шекспира с закрытыми глазами, продолжает уже тоном ниже*). Из-за тебя моя дочь Мэри опозорила меня, и я обязан защитить свою честь. Советую тебе приказать слуге отчистить от ржавчины твою шпагу. Я не хочу, чтобы моя рана, если мне не повезет, загноилась из-за твоей нечистоплотности, грязная ты скотина.

Шекспир (*так же*). Но в чем же моя вина, Томас? Ты же видишь, что я болен и в любом случае не способен выйти на дуэль.

Объедало - Пук и Шут - Подзаборник показывают, будто фехтуют на шпагах, а Дама - Кривляка в стороне ломает руки.

Грин. И не прикидывайся, будто тебе уже не рассказали, что моя Мэри сбежала этой ночью с подмастерьем цирюльника!

Теперь Дама - Кривляка и Шут - Подзаборник бегут на месте, взявшись за руки, их преследует, размахивая руками, Объедало - Пук.

Шекспир (*открывает один глаз, однако произносит по-прежнему*). Вот и лови теперь ловкача, а я каким концом к этому причастен?

Грин (*подпрыгивает*). Каким-таким твоим концом?! Опять шутить изволишь?

Д ж у д и т . Папа вовсе не шутит. С чего вы взяли, дядя Том?

Г р и н . Да уж, болтать ты мастер... Назови своего секунданта, и мой, почтенный Фрэнсис Коллинз, обсудит с ним условия поединка. (*Мрачно, после паузы*). Можно подумать, Уилл, будто тебе неизвестно, что такое развращение несовершеннолетних.

Х о л л . Смотри не возгордись, Уилл! Наш главный олдермен тебя обвиняет в том же преступлении, за которое засудили Сократа.

Г р и н . Какого Сократа? Одноглазого шорника из Уорика, что ли? Кто бы ожидал от него такой прыти!

Ш е к с п и р . Вот видишь, это ты сам без конца остришь, Том. Давай поговорим серьезно, как два отца, как два почтенных гражданина славного Страдфорда. (*С пафосом*). О каком развращении может идти речь, сам подумай? Я, что же, обрюхатил её, твою Мэри? (*Грин свирепо тарашится на Шекспира*). Я, по-твоему, лишил её невинности? (*Грин скрипит зубами*).

Э н н (*вытягивает руку с раскрытой ладонью вперед и вверх, как депутат в парламенте*). Слушайте! Слушайте!

Ш е к с п и р . Я понимаю, как горько такое слышать отцу, только об этом тебе лучше потолковать с беглым подмастерьем цирюльника, вот с кем. И если прыткий юнец, спасая свою шкуру, наврет с три короба, то у тебя будет только его слово против моего слова.

На сей раз Ш у т - П о д з а б о р н и к и О б ъ е д а л о - П у к тычут пальцами друг в друга, обвиняя, а Д а м а - К р и в л я к а хватается за голову.

Г р и н . Заткнись! О горе мне!

Ш е к с п и р (*кротко*). Я всего лишь изложил тебе

юридическую сторону дела, Томас. А теперь прикинь, мог ли я на самом деле совершить такое неподобающее деяние с юной Мэри? Я ведь чуть ли не в три раза её старше...

Э н н . Свинья!

Шекспири у меня у самого взрослые дочери. Вот только, когда они были в возрасте нежной юности, я трудился в Лондоне, как раб на галерах, и очень редко мог позволить себе вернуться к семейному очагу, чтобы посекретничать с каждой в уголке. Так и вышло, что в отношении Мэри у меня возродились нерастраченные отцовские чувства. Да и Мэри тянулась ко мне, словно ко второму отцу – ведь ты, Том вечно или в лавке, или в магистрате, а свое свободное время топишь в кружке с элем. И сам убедись, сколь невинны были наши занятия! Я учил её играть на клавесине церковные гимны (*показывает на клавесин, за которым уже сидит Дама-Кривляка и притворяется, будто играет нечто патетическое*), предостерегал от увлечения излишней роскошью, доказывал преимущество скромности перед экстравагантностью, объяснял принципы стихосложения и хитрости поэтики, предостерегал от изощренных приемов, используемых против молоденьких девиц коварными соблазнителями – недостаточно, как оказалось, предостерегал. (*Склоняет голову*).

Джудит . Вот видишь! Чужую Мэри ты всем наукам научил – нет, чтобы заняться моим воспитанием, папочка!

Э н н аплодирует.

Грин (*медленно, весомо*). Бог тебе судья, Уилл Шекспир. Ты всегда, с младых ногтей, был выдумщиком и вралем, а в Лондоне научился красиво говорить. Но

всё-таки... (*машет рукою*). Эх, не могу высказать! Вызов не отменяется. Мы будем драться, как только тебе позволит твой зять-лекарь. (*Поворачивается к Энн*). Ах, Энн, Энн... Если бы паписты по-прежнему верховодили у нас в Англии, они признали бы тебя великомученицей. (*Уходит*).

Пауза. Все молчат, осторожно переглядываются, на Шекспира не смотрят. Он откидывается на подушку, закрывает глаза.

Шекспир. Теперь как честный человек я должен умереть.

Холл. Пожалуй, тебе, и в самом деле, нужно отдохнуть. Впереди исправление завещания, дело хлопотное. Пойдемте.

Все уходят, кроме бродячих актёров, а те усаживаются на пол у кровати Шекспира. Пауза. Шекспир не шевелится. Гаснет освещение в глубине сцены, теперь освещена только авансцена.

Бродячие актеры выходят на авансцену.

Дама - Кривляка. Танцы!

Объедало - Пук. Куплеты!

Шут - Подзаборник. От великих артистов, широко известных между Арденским лесом и Клопстонским мостом!

Объедало - Пук. Конечно, мы помним о том, что танцами представление должно заканчиваться. Однако дальше речь пойдет о столь грустных вещах, что вряд ли удастся приткнуть куда-нибудь комические куплеты.

Шут - Подзаборник. И самые весёлые в Йокшире танцы!

Дама - Кривляка. О-ля-ля!

Танцуют.

Затем Объедало - Пук и Шут - Подзаборник
отступают в тень.

Дама - Кривляка .

Далась вам Смуглая леди!
Чем я не хороша?
Смуглянку черви съели,
В аду её душа.

Объедало - Пук .

Уилл ретив в желаньях,
А в неге – недобор.
Зато поел он сладко
И пил не самогон.

Шут - Подзаборник .

Копеечку к копейке,
На десять фунтов – фунт.
Зря ростовщик надеется,
Что внуки не пропьют.

Замирают в гротескных позах, потом снова
возвращаются на свои места у кровати.

На сцене медленно темнеет. Одежды бродячих
актеров по мере того, как гаснет свет, начинают всё сильнее
фосфоресцировать.

Тем временем Дама - Кривляка усаживается за
клавесин, делает вид, что играет. Звучит рондо из второй
части Концерта № 1 для фортепьяно с оркестром Бетховена.
Объедало - Пук поднимается на ноги, выносит два
кресла на авансцену и садится в одно из них.

Ранее, чем окончательно стемнело, Шекспир спускает ноги с кровати, проходит через комнату, подобно сомнамбуле, и садится в кресло напротив Обьедалы-Пук а. На сцене темно. Клавесин замолкает.

Обьедало-Пук. Зачем ты так подло обошёлся со мною, Уилл?

Шекспир. Да кто ты такой, чёрт тебя заберет?

Обьедало-Пук. Загадочная картинка. А ты вспомни, кого ты сначала умертвил, потом оживил, а потом окончательно опозорил и убил морально.

Шекспир. Да будет тебе известно, призрак, что я в жизни никого, слава Богу, не угробил – ни на войне, ни в пьяной драке, ни на дуэли даже.

Обьедало-Пук. Так то в жизни... А на сцене ты заставил откинуть копыта великое множество народа.

Шекспир. Вот ты о чём... Теперь я, кажется, узнал тебя, толстяк.

Обьедало-Пук. И что же ты можешь сказать в свое оправдание?

Шекспир. Ты же сам признал, что на сцене действуют свои законы. Я ведь не сказал, заметь, что справедливые законы, однако они обладают внутренней целесообразностью, то есть кажутся вполне уместными внутри текста и в сознании зрителей, оболваненных предшествующей традицией. Тут действует свой «Кодекс Юстиниана», и не важно, нравится ли он тебе или мне.

Обьедало-Пук. Ну, Уилл, тебя без пинты хереса не поймешь!

Шекспир. Да ты и капли вина не выпил! На сцене тебе наливали в кубок чистую воду.

Обьедало-Пук. Разве? А мне-то казалось, что это имбирное пиво... Не уходи в сторону, Уилл! И

потом, не вижу я в тебе достаточного почтения к моему общественному положению.

Шекспир (*вздыхает*). Ладно, сэра. Позвольте продолжить. После того, как беспутный принц Гарри избрал путь праведности и весьма хитроумно оправдался перед отцом и английским народом, такой приятель, как вы, стал для него ненужным напоминанием о прошлых шалостях. Он и вас попытался исправить, отправив, на первый случай, набирать солдат, а потом на войну. Однако вы со своими прапорщиком, пажом и слугою стали и в войске притчей во языцех. Вы должны были бы еще сказать мне спасибо, что не были повешены за мародерство, сэра.

Объедало - Пук. Какая несправедливость! Да ведь мои невинные плутни ничтожны по сравнению с преступлением этого предателя и лицемера принца... нет, короля, и не Гарри уже, а Генриха. Залил кровью половину Франции ради глупой мечты своего предка и убрался восвояси! Я же набирая в свою роту доходят и калек, это пушечное мясо, в котором вязли удары рыцарской конницы противника, спасал сотни здоровых английских парней для их матерей и суженых.

Шекспир. Скажете еще, сэра, что это вы выиграли битву в лесу Гольтри, а не ваш бывший венценосный приятель? Впрочем, мне так и не удалось урвать времени, чтобы перечитать по второму разу наши тяжеловесные хроники.

Объедало - Пук. А давай-ка снова на «ты». Мне как-то неловко, ведь ты в некотором роде мой родитель. А теперь объясни: как это тебе пришло в голову меня воскресить? Я ведь повторил судьбу Лазаря четверодневного и, хоть и гордился сим немало, первое время всё оглядывал себя: а не спадает ли на мне с костей червивое мясо? Нет, Бог миловал! Точнее ты, Уилл.

Шекспир. Ну и шуточки у тебя, толстяк! Брр... А с твоим воскресением дело было так. Ты очень нравился незабвенной королеве Бесс, большой любительнице театра, и она была огорчена сообщением о твоей смерти. Вот и пожелала снова увидеть тебя в следующей пьесе.

Объедало-Пук. Ага! Это ещё одно лестное для меня доказательство, что моя могучая нога и поражающий воображение живот по-прежнему сводят женщин с ума. Уилл, да ведь вдовы-трактирщицы затаскали бы меня по судам за неоплаченные счета, если бы каждая не была влюблена в меня, как кошка!

Шекспир. Признаться, высочайшее поручение пришлось мне по душе. Ведь я и сам, бывало, смеялся до колик, когда сочинял твои реплики.

Объедало-Пук. Зато до чего же паскудно ты его выполнил, столь лестное для меня поручение королевы! Сделал из меня этакую гору мяса, живую бочку для хереса, а главное – тупого стяжателя, каковым я никогда не был. Ведь если я и принимал угощение, то расплачивался за него своим неподражаемым остроумием, если засиживался в гостях на неделю-другую, то воздавал за гостеприимство верною дружбой! И скажи честно, Уилл: разве пошел по миру кто-нибудь из добрых англичан, за счет которых доводилось мне есть и пить?

Шекспир. Ох, мне самому неловко... Я, знаешь ли, привык всё, что бы я ни делал, делать хорошо. Уж если взялся угодить королеве, так на полную катушку. Если раболепствовать, так раболепствовать, дружище. Королева Бесс в старости, хоть и осталась заядлой театралкой, однако не на шутку возлюбила постную добродетель. К тому же ей было приятно, что действие комедии происходит в Виндзоре, где она проводила

тогда едва ли не круглый год. А как женщине королеве Бесс надо было польстить сказочкой о веселых бабёнках, запросто одурачивших мужчину почтенных лет. Увы, дружище...

Объедало - Пук. Ладно, я понял. В конце концов, ты не лорд и вынужден зарабатывать себе на хлеб. Но что мне обидно до слез, Уилл, так это твое непонимание вселенской трагичности моей судьбы. Я докажу тебе, что твой гениальный приятель Бёрбедж должен был подвязать спереди подушку и играть меня, а не старого дурака короля Лира. Мы оба были молоды в ту прекрасную пору, когда англичане пытались вернуть себе радостную полнокровность жизни, утраченную под властью вкрадчивых и дотошных католических попов. Нет, я понимаю, что люди и тогда, при папистах, пьянствовали, объедались и предавались беззаконной любви, однако любое человеческое движение души и тела, хоть бы и бездумный взгляд, совершенно бесполезно брошенный на улице вслед красотке, влекло за собой напоминание о потустороннем воздаянии, об адских муках. В нашей молодости люди наслаждались свободой жить, как им хочется...

Шекспир. И свободой мысли тоже.

Объедало - Пук. Это тебе хотелось так думать, Уилл. Но я хоть и пью, да ум свой не пропил, и я уверяю тебя, что со свободой мысли и тогда не густо было, а теперь её и вовсе нет. Кто спорит, после церковной реформы стало полегче, однако ты и сейчас не полностью свободен даже внутренне, даже в тех своих мыслях, которыми не собираешься ни с кем делиться.

Шекспир. Теперь уже ты, мое создание, хочешь меня же и унижить. Поберегитесь, сэр!

Объедало - Пук (ухмыляется). Уж если ты меня создал, то уничтожить уже не в силах. Пока чело-

вечество будет строить театры, я сохранюсь таким, каким ты показал меня в первой хронике о принце Гарри. Да ты и сам это прекрасно понимаешь, Уилл. И я вовсе не хотел тебя обидеть. Однако приведу пример. Ты, сам с собою рассуждая, иногда отождествляешь себя с Богом-Творцом.

Шекспир. Допустим.

Объедало-Пук. И мне ничего не остаётся, как согласиться с такой твоей самооценкой. Однако тот факт, что образ творца ты взял из Библии, разве не свидетельствует об ограниченности твоего мышления? Итак, мы пытались наслаждаться жизнью, пытались реализовать ту свободу, о которой верховная власть нам уши прожужжала, пустились во все тяжкие – и не заметили, как постепенно стали брать верх новые тёмные силы, о могуществе которых мы и не подозревали. Но разве мне не присущ и внутренний трагизм? Я жил в своё удовольствие и блистал остроумием, однако чего я достиг в старости? Пустоты. Другие выдумывали порох, строили мосты, плавали в обе Индии, основывали колонии на краю света и растили детей. Я сыт, пьян, пресыщен любовью, мне сам черт не брат, но не утратил ли я и нечто человеческое – то, чем обладают бесплотные и бесцветные католические святые? Почему же ты не мне, а манерному датскому принцу вложил в уста это бессмертное «Порвалась цепь великая, порвалась...»?

Шекспир. Собственно, он говорит, что время вывихнуто. И важно, зачем он...

Стук в дверь. В кабинете начинает светлеть. Дамаривляка оставляет клавесин и, понуриив голову, возвращается на свое место у кровати.

Шекспир. ...и что он сам надеется...

Объедало-Пук. А на себя посмотри! Что

губит тебя, как не суматошные попытки всюду успеть, всем угодить – да и себе тоже! Ни одного сладкого куска ведь не упустишь. Наш пострел везде поспел. Желаеть и чистым творчеством насладиться, и достойной настоящего поэта кончины избежать – в голоде и холоде на чердаке! На чердаке – да с чистой совестью, Уилл!

Снова стучат. Обь е да ло - Пук поднимается с кресла и присоединяется к товарищам у кровати. Светлеет. Видно, что Шекспир неподвижно, опустив голову и с закрытыми глазами, сидит в кресле. В комнате уже светло, как прежде.

Входит Бёрбедж. Он обеспокоен.

Бёрбедж. Что здесь происходит? Проньра Жердь пропал, родичи Уилла повесили носы на квинту, только у злючки Энн глазки сияют. Уилл, ты где? (Замечает в кресле Шекспира). Уилл, ты спишь?

Шекспир (отрывисто). Уже нет. Здорово, мистер щеголь! Я тут задремал в кресле, и мне приснилась ужасная дичь: будто бы я, старый и толстый, обличаю себя теперешнего в тяжких грехах. В несуществующих грехах, Дик.

Бёрбедж. Привет, Уилл! Слава богу, а то уж я подумал, что ты в обмороке. Я вот недавно грохнулся. Распекал суфлера, вдруг в ушах зазвенело... Очнулся уже на полу. А твой сон к добру: придется тебе теперь подождать, пока растолстеешь да постареешь, и тогда уж разбираться со своими грехами.

Шекспир. Добро бы так. А дурной сон от несварения, наверное. Тут мне подали на завтрак такие неприятности, что еле проглотил. Рассказывать не буду, тебе всё равно перенесут, если уже не насплетничали. А время дорого, потому что с минуты на минуту я жду приходского священника, эту плодовитую мышь, что-

бы ублажить его серое преподобие добрым куском сыра. Каково, Дик?

Бёрбедж. Я ни с кем в городе еще и словом не перекинулся, мой бедный друг. Можно сказать, что из Лондона, да прямо к тебе. Мой обычай тебе известен: если предстоит сообщить скверную новость, так не тянуть. Мужайся, Уилл. *(Пауза)*.

Шекспир. Произошло то, о чем я подумал, Дик?

Бёрбедж. Она умерла в понедельник. Позволь мне обнять тебя.

Шекспир встает, друзья обнимаются. Шекспир возвращается в свое кресло, Бёрбедж – в кресло напротив.

Шекспир. Отчего она... умерла?

Бёрбедж. В замке я не был. Там распоряжается её племянник, а тот мог на меня и собак спустить. Однако говорят, что хотела привязать к себе очередного любовника, родив ему ребёнка, а потом передумала и послала за ведьмой со спицею, хоть и поздно уже было – и вот... Умерла, как жила, сказал бы я.

Шекспир. Я ощущаю странную пустоту, Дик. Теперь потеряна последняя надежда. Ты ведь знаешь, я позаботился о том, чтобы она всегда, в любую минуту знала, где меня найти, и если бы вдруг захотела (а у неё ведь вечно ветер в голове), могла сразу же ко мне вернуться. Я принял бы её и нищей, и больной, и беременной, и покрытой позорными язвами – с радостью, с ликованием бы принял! Я никогда не мог поверить, что она навсегда меня оставила, когда так резко, без объяснения, прогнала. Мы ведь и раньше

ссорились, даже расходились... О чёрт! (*Закрывает лицо руками*).

Бёрбедж. У тебя не было шансов, Уилл. Прости, что говорю тебе это.

Шекспир. Ты думаешь, я не хотел освободиться от её власти? Чего я только не вытворял для этого, что только не писал! Однако с годами я понял, что наши с нею отношения касаются уже одного меня только и стали неотъемлемой частью моего «я»... Не знаю, поймёшь ли ты.

Бёрбедж. Куда уж мне? Я ведь порхаю по жизни... Впрочем, и мне по дороге пришло в голову, Уилл, что её смерть – еще одна примета скорого конца нашей прекрасной эпохи.

Шекспир. Прости, если невзначай тебя обидел... По тебе вижу, что ты не только эту горестную весть мне принес. Выкладывай, Дик.

Бёрбедж. Было на днях совместное заседание пайщиков обоих наших театров. В общем, ребята-актёры не очень довольны тем, что ты, Уилл, за последние три года устранился от дел труппы, только долю свою в общих прибылях не забываешь получать. Ты же знаешь, мы за такие же деньги трудимся по чёрному, как и ты в прежние времена трудился – чума да великий пост, вот время наших передышек.

Шекспир. По бумагам всё правильно, Дик. И разве я не засыпал раньше труппу доброкачественными пьесами, ещё не потерявшими успех у публики?

Бёрбедж. Да всё я понимаю... Молодой Джон Флетчер и старина Бен Джонсон усердно пополняют наш репертуар, но публика еще не забыла тебя и требует твоих новых пьес. Кстати, дошло ли до вас, что твой приятель Бен получил звание лауреата и королевскую пенсию?

Шекспир. Да, я знаю. Рад за Бена-задиру. Лично мне пенсия не нужна, я себе на жизнь сам достаточно заработал.

Бёрбедж *(приподнимается с кресла, торжественно)*. Так вот, Уилл, я к тебе как бы послом от труппы. Твои друзья и партнеры Хемминг и Кондел предлагают издать все твои пьесы. Роскошно издать, в лист и с твоим большим портретом на титульном листе каждого тома. Из твоих пьес едва ли половина напечатана, да и то пиратски и по плохим копиям, вплоть до украденных суфлерских – ведь так?

Шекспир. Ну, да. Поблагодари Джона и Генри за отличный замысел. Хотя и нужно подумать...

Бёрбедж. О чём тут думать? Издание будет вполне законным, потому что пьесы принадлежат труппе, а Джон и Генри полноправные её члены, как тебе известно. У ребят к тебе убедительная просьба: снабдить их хорошими копиями твоих пьес, желательно, твоею рукою выправленными, а ещё лучше – тобою и переписанными. Тебе же в этом прямая выгода, Уилл.

Шекспир. Я что же – спорю с тобой? В другой день я прыгал бы до потолка от радости. Славные ребята разрубили настоящий Гордиев узел. Я ведь, как ушёл от дел, не бездельничал: каждый день по несколько часов сидел над рукописями, выправлял и переписывал пьесу за пьесой. Я ведь тоже до этого додумался – напечатать все свои опусы. Денег та затея съела бы изрядно, однако, если не засиживаться и выпустить первый том, пока меня еще не забыли, вложенное обернётся, не обойдется и без доброй прибыли. Значит, и наследников своих я не обидел бы. Короче, пьесы я успел подготовить. Вон, видишь, у стола баул из оленьей кожи? Я заказал его

у перчаточника Джима, сменившего в этом ремесле моего покойного отца, точно по размеру половины бумажного листа. Там сложены уже копии всех пьес, одна за другой, в том порядке, как должны быть напечатаны. Я не давал переплетать каждую пьесу, однако все страницы пронумерованы, и я их проверял трижды. Сегодня же, а еще лучше, прямо сейчас забери этот баул, Дик, и отвези Джону и Генри. Скажи им только, что я прошу напечатать все мои пьесы, даже самые слабенькие, потому что и они могут пригодиться будущему драматургу. Он возьмет мой сюжет и делает стоящую вещь, как и я не раз поступал. И скажи им, чтобы не смели экономить на вычитке.

Бёрбедж (*бьёт себя ладонью по колену*). Славно, Уилл! Славно, друг! Но почему же ты передумал сам их издавать? Почему выпускаешь из рук верную прибыль?

Шекспир. Дик, набор, корректура и печатание всех моих пьес займет не один год. Я же не могу заглядывать вперёд и на полгода. Помнишь, я жаловался тебе на резкие боли в животе? Так вот, они прекратились, точнее, сменились постоянной тупой болью. У меня темнеет в глазах, ноги подо мною подгибаются... Боюсь, что закончится это худо. (*Пауза*). Как бы не выкидышем. (*Хихикает*).

Бёрбедж. А выглядишь ты, Уилл, совсем неплохо. Бледноват вот только...

Шекспир. У меня такое ощущение, будто я только что еще одну перезрелую дочь замуж пристроил... И то подумать, рукопись-сирота беззащитна, как невинная девица в портовой таверне. Оставишь рукопись домочадцам, так мои вздорные бабы пустят её на папильотки, на завертку свечей, а то ещё вдруг вздумают клеивать моими пьесами стены под обои.

Одна была надежда на зятя-лекаря, что заберёт мои рукописи и книги к себе: у него приличная библиотека, только медицинская... А вот печатание дарует каждой написанной от руки вещи маленькое бессмертие: даже если пуритане, взяв верх, примутся сжигать вредные книги, всегда найдется читатель или занудно-коллекционер, который пожалеет свою собственность. И обязательно несколько экземпляров из тысячи будут увезены за границу, на континент, и хоть один из них сохранится в тамошних библиотеках.

Б ё р б е д ж . Как далеко ты заглядываешь, Уилл! А я на днях думал об огорчительной эфемерности нашего театрального дела. Три года тому назад и фанатиков-пуритан не понадобилось, достаточно было тлеющего пыжа, попавшего на соломенную крышу, чтобы «Глобус» сторел за несколько минут. А что значит наша с тобой слава, слава актеров? Да это просто дым от костра на пикнике, утренний туман под солнцем... Мы знаем имена драматургов древней Греции и Рима, но не актеров. И у нас, вспомни, долго ли вспоминают даже о самом удачном спектакле? Он просто растворяется во времени. Вот уж точно «дни его яко тень проходят». Нас с тобою, Уилл, хоть художники на портретах увековечили, а кто, кроме меня, помнит, как выглядел великий комик... Вот чёрт, имя вылетело из головы...

Вбегает Ж е р д ь . За ним входят К о л л и н з и его
письмоводитель С п е н с .

Ж е р д ь . Хозяин, мне не удалось уболтать попика! Он не придёт! Сидел за столом во главе всей своей оравы, кушал кашку без масла и ругался, как сапожник. Шипел, что святая церковь не нуждается

во взятках от грешника, нажившего состояние на устройстве богопротивных медвежьих боев, где пленники сатанинского азарта, губя свои души, бьются об заклад. (*Бёрбедж и Шекспир изумленно переглядываются*). Тебе, толстосуму, не повредит, мол, полюбоваться, как твой зять в белом саване еженедельно будет каяться перед прихожанами. Ещё и потому не повредит, что для этого тебе придется, наконец, самому посетить церковь. Вот ведь вредный какой!

Шекспир. Боюсь, что не светит мне получить пастырское утешение. О миропомазании же и не заикаюсь. Аминь.

Бёрбедж. Мое почтение, дядюшка Фрэнк!

Коллинз (*всмотревшись в Бёрбеджа*). Как поживаешь, Чарли?

Бёрбедж. Да ведь я Дик! Дик Бёрбедж, дядюшка Фрэнк.

Коллинз. Да? Будь по-твоему, сынок. А вот преподобным Джоном Роджерсом я глубоко возмущен. Сегодня он не уважает богатство, а завтра скажет, что и без его величества короля обойдемся. Ох, уж эти мне пуритане! Я это всем говорю, и даже лорддукандеру скажу. Прямо в глаза его светлости скажу, не побоюсь. В следующий раз, когда будет проезжать по Клоптонскому мосту... А вот зачем я сюда пришел? Ага. Как поживаешь, Уилл?

Шекспир. Здравствуйте, Фрэнк. Я просил вас прийти, чтобы пересоставить моё завещание.

Коллинз. Тоже мне проблема! Переписывай завещание хоть триста раз, главное, чтобы я с тебя мзду не забывал взять. А такого я, мальчики, никогда не забываю. Эй, Спенс, действуй, бумажная ты душа!

С п е н с подходит к письменному столу, пинает ногою стоящий перед ним баул, усаживается, сметает со стола рукописи на пол и достает из сумки чернильницу, перья, стопку бумаги, раскладывает всё на столе.

С п е н с . Готово, сэр!

Б ё р б е д ж поднимает с пола баул, идёт к двери. Бродячие актёры подбирают рукописи, и каждый прижимает одну из них к сердцу. Выстраиваются у стены.

Б ё р б е д ж . Пойду я, пожалуй. Не буду мешать. Я ещё навещу тебя до отъезда, Уилл. Прощай. До свиданья, господа законники.

С п е н с кланяется.

Ш е к с п и р . Прощай, друг. Спасибо тебе за всё.

К о л л и н з . До свидания, Чарли. (*Бёрбедж, ухмыляясь, уходит*). Ах, молодёжь, всё бы вам шутки шутить... Решил притвориться Ричардом Бёрбеджем передо мною, стариком, ну и бог с ним. Старое завещание нам не нужно, Уилл, только запутаемся... Готов, Спенс? Тогда оставь место для даты и пиши в начале, что положено. «Во имя бога, аминь. Я...». (*Замолкает, недоуменно взирая на Шекспира*).

Ш е к с п и р . С утра ещё был Уильямом Шекспиром.

К о л л и н з . «...Уильям Шекспир, из Страдфорда-на-Эйвоне, в графстве Йоркшир, джентльмен, в совершенном здравии и полной памяти (слава Всевышнему!), привожу в порядок дела...». Ну и дальше там, сам знаешь, Спенс. А я пока выслушаю твои пожелания, мой мальчик. Что ты решил завещать своей милой супруге?

Шекспир. Моей жене, злющей ехидне, оставляю нашу старую кровать, а к ней рваную перину и лохматые простыни.

Коллинз. А напишем так: «Сим завещаю своей жене вторую по качеству кровать со всеми относящимися к ней постельными принадлежностями».

Дама - Кривляка, успевшая снова усесться за клавесин, делает вид, что бьёт всеми пальцами по клавишам. Мгновенная дикая какофония, завершающаяся звуком лопнувшей струны.

Занавес

2010, 2015 г.





Киевские мечты
о Шевченко 1859 года

Комедия в 3 актах



Действующие лица

Товмаченко Сергей – студент историко-филологического факультета Университета св. Владимира. Молод, красив, в потрепанном студенческом мундире и начищенных сапогах. Подрабатывает у Аскоченского секретарем – его личным и киевской редакции журнала «Домашняя беседа».

Ольга Левицкая – лет 17-ти, выпускница института благородных девиц. Одета скромно, по европейской моде.

Левицкий Пётр – студент Киевской духовной академии, брат Ольги. В характерном наряде студента-«академика»: подрясник, «юпка», сапоги.

Галинка, крепостная горничная соседей Аскоченского. В праздничном украинском национальном костюме. Лет 18-ти.

Вержбицкий Юлиан – студент историко-филологического факультета Университета св. Владимира. Молод, худ, некрасив. В отлично пошитом студенческом мундире с белой подкладкой. На носу золотые очки.

Максик, т. е. Колотилов Максим – приказчик Заведения искусственных минеральных вод. Лет 25-ти, одет дешево, но с гипертрофированной претензией на моду – старую, конца 40-х годов.

Галушник, зажиточный горожанин в украинском крестьянском костюме, лет 45-ти, ходит на Тараса Бульбу, шаровары шириной в Черное море обязательны.

Пашковская Варвара Матвеевна – худая женщина лет 45-ти болезненной внешности, одета богато, по-европейски.

Аскоченский Виктор Ипатьевич – мужчина богатырского телосложения лет под пятьдесят, с круглым приятным лицом. Одет тщательно.

Лобода Хведир – псевдоним Феофана Гавриловича Лебединцева, тридцатилетнего профессора Киевской духовной академии. В гражданском платье. Одет незаметно.

Морис – лакей Вержбицкого. Почтенной наружности, в завитом белом парике, белых чулках и камзоле под XVIII век.

Горничная Пашковской. Зовут её Оришкой. В белом крахмальном переднике, босая по летнему времени.

Филёр – мужчина внешности неопределенной, одетый в серенькое.

Действие комедии происходит в городе Киеве в первой половине сентября 1859 года.

Акт первый

Байковая гора, излюбленное место воскресных гуляний киевлян. Вид на старый Киев: темно-красная коробка университета, за нею – вдалеке старинные церкви, а вокруг море разлитое одноэтажных домов, окруженных садами.

Поляна на плато горы, пересеченная ближе к заднику тропинкой. Толстые стволы старых дубов образует левую и правую кулисы. Товмаченко, Левицкий, Вержбицкий лежат на траве вокруг осьмушки водки и немудрой закуски, Ольга как избранная хозяйкой сидит у самовара, Галинка – рядом с Товмаченко. Студенты уже навеселе.

Левицкий. Други, я что? Я тоже ведь признаю тупую бессмысленность нашего бытия. Однако же...

Ольга. Помолчи, Петечка, ну пожалуйста. Поют...

Несильный, но приятный тенор исполняет невдалеке украинскую народную песню «Ти зійди, зійди, зіронько ти вечірняя...» Молодёжь молча прислушивается. Песня замолкает.

Левицкий поднимается на ноги и, слегка покачиваясь, делает несколько шагов в сторону тропинки. Уставился за левую кулису. Неловко кланяется, машет рукой. Возвращается к самовару, снова ложится.

Вержбицкий. И кто это там распелся? Ты рассмотрел ли, Петро?

Левицкий. Да так, трохы. Там стояла на круче компания, все пидтоптанне такие, подстаркуватые.

Учителя из Второй гимназии. Художник Соха, старый чудака, и наш, с Академии, профессор с ними, отой, Хведир Лобода. Пошли уже.

Ольга. Да какой же господин Лебединцев старик? Тоже мне сказанул, Петечка.

Галинка. Так, Феофан Гаврилович ще молодой чоловик, кавалер.

Ольга (*прыскает*). Да ты, Галина, никак глаз на него положила? Губа у тебя не дура... А кто там всё-таки пел?

Левицкий (*сосредоточенно заглядывает в свой пустой стакан*). Хоть чаю бы, что ли, налила, сестричка... Кто пел? Да незнакомый мужичок какой-то. С седыми усами, приземистый. На голове брыль, у балахоне таком парусиновом...

Ольга. В парусиновой куртке? Да это же самый модный писк – «патрик» называется.

Левицкий (*рассудительно*). Коли балахон такой потрёпанный, сестрица, то уже не «патрик».

Вержбицкий. Какой-нибудь провинциальный землемер.

Товмаченко. А почему же не конторщик?

Вержбицкий. С конторщиком, Серж, профессор не стал бы водиться. А землемер вот-вот станет самой главной фигурой.

Товмаченко (*думая о другом*). И с чего бы это, дорогой Юлэк?

Вержбицкий. Ты – и не догадался, товарищ? Ведь если крестьяне будут освобождены с землей, придется всю землю заново делить. Вот землемеры и станут в провинции первые люди.

Галинка (*крестится, тихонько*). От спасибочки Шевченку!

В е р ж б и ц к и й (хлопает ресницами). А при чём тут этот малороссийский поэт-самородок?

Т о в м а ч е н к о (улыбается). Не стесняйся, Алина Петровна, расскажи, что знаешь.

Г а л и н к а . Та это ж такая история, что её все и сами знают. Ну, Шевченко еще до войны не давал его царскому величеству проходу, всё докучал: «Освободите крепостной народ, ваше величество, а не то большая беда случится». А его величество, покойный...

Т о в м а ч е н к о (быстро). ... Карл Иванович.

Г а л и н к а . Чего?

Т о в м а ч е н к о . Не называй, будь добра, имён...
Говори: Карл Иванович.

Г а л и н к а . А его царское величество... ну, Карл Иванович, тот только насупится, бывало да проворчит: «Поди прочь, Шевченко, не мешай нам с государыней императрицей кофей пить». А Шевченко всё докучал его царскому... Карлу Ивановичу, потому что сам был из крепостных и хотел всех крестьян освободить.

Л е в и ц к и й . Кстати, а все ли знают, как Шевченко освободился из крепостного рабства?

Т о в м а ч е н к о (с доброй улыбкой). Не мешай Алине Петровне, видишь, как она расхрабрилась...

Г а л и н к а . Скажете тоже, Серёженька... Вот однажды царь рассвирепел и сослал Шевченко на самый край земли. «Доставьте его, – кричит, – мигом, чтобы одна нога здесь, а другая там!» Тогда самый главный генерал отрядил с Шевченко самого злого жандарма, настоящего цепного пса. Тот сел рядом с ямщиком на облучок – и давай ямщика плетью полосовать, а ямщик – давай лошадей кнутом! И так в три дня доставили Шевченко на край земли. Дальше только нечистые народы Гога и Магога, навечно заточенные в пещерах,

а москалики на часах стоять, чтобы не выбрались из пещер и не накинулись, не дай того Боже, на народ православный...

Из-за правой кулисы появляется Ф и л ё р . Он буквально протанцовывает по дорожке, как Адриано Челентано в фильме «Блеф» – выделывая комические па, изображающие подглядывание, слезку, подкрадывание, погоню, арест и т. п. Перед самой правой кулисой прикладывает козырьком ладонь ко лбу, всматривается и убегает.

Л е в и ц к и й . Что это было?

В е р ж б и ц к и й . А разве что-то было?

Г а л и н к а . Мышка пробежала.

О л ь г а . Фу!

Л е в и ц к и й . А не выпить ли нам, товарищи и... дамы, то есть тоже товарищи? Под мышку, а?

Т о в м а ч е н к о . Сколько мне тебя учить, Петро? Не спрашивай, а наливай.

Л е в и ц к и й . Давно бы налил, да вот беда: не моя очередь наливать – коллеги Вержбицкого.

О л ь г а . Мне зельтерской воды.

Г а л и н к а . А мне белой, пожалуй. Надо же горло промочить, чтобы не охрипнуть.

В е р ж б и ц к и й неловко разливает. Студенты сперва наблюдают за ужимками, с каковыми Г а л и н к а выпивает свою четверть стакана, утираясь в заключение платком, затем лихо и дружно опрокидывают посуду. О л ь г а возмущенно отворачивается.

Т о в м а ч е н к о и Л е в и ц к и й , закусив, запевают негромко:

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвите,
И ворожей злою кровью
Волю окропите.

О л ь г а (*мечтательно*). Я не думаю, что сам он такой же жестокий. Ведь это только поэзия, правда ведь, господа? Ведь он же не хочет, наш кроткий прекрасный поэт, чтобы одни люди стали свободными, убив других людей?

В е р ж б и ц к и й . И вот что любопытно. Даже вы, малороссийские дворяне, не осознаете, что можете оказаться среди тех, чья «вражья злая кровь». А каково мне, ляху, это слышать?

Л е в и ц к и й (*прожевав, задумчиво*). Что-то сомнение меня берёт насчет этой кильки...

Т о в м а ч е н к о . Килька как килька...

Л е в и ц к и й . Олька, не бери её!

В е р ж б и ц к и й . Пардоньте мне, умоляю, эту глупую кильку. Морис закупался. Говорил, настоящая ревельская.

По тропинке слева направо, почти падая вперед, продвигается Г а л у ш н и к . Под мышкой тащит бутылъ вишневки, в другой руке корзинка, из которой торчит селечный хвост и палка колбасы. Держится как пьяный персонаж комической оперы «Запорожец за Дунаем» или китчевых самодельных открыток середины XX в. Исчезает, незамеченный и на компанию внимания не обратив, за правой кулисой.

Г а л и н к а . А скажите, будь ласка, пане Юлиан, у вашего папаши багато земли?

В е р ж б и ц к и й (*прищурившись*). То бишь, панна Галина, вас интересуєт, доволно ли у моего отца десятин?

Г а л и н к а . Так.

В е р ж б и ц к и й . Достаточное количество. (*Обводит рукой угощение на скатерти*).

Г а л и н к а смеется как ни в чем ни бывало. Т о в м а ч е н к о возмущенно отворачивается. О л ь г а

нервно закуривает папироску, В е р ж б и ц к и й помогает ей прикурить.

Л е в и ц к и й . Да это в тебе, Юлэк, кровь играет, гордая польская кровь. И ни за что я не поверю, что ты сознательно хотел обидеть товарищей. Сегодня ты нас угощаешь, а завтра я наберу ещё уроков, собью копейку и устрою пикник не хуже! Эх, давай я тебя, Юлэк, обниму. *(Обнимаются)*.

В е р ж б и ц к и й *(высвобождается, смеется)*. Вот ведь медведь, едва из-за тебя горелую спичку не проглотил!

Т о в м а ч е н к о *(хмуро, глядя в сторону)*. Послушай, Вержбицкий, если ты действительно имел в виду попрекнуть товарищей глотком водки и куском колбасы... Зови тогда своего лакея и забирайтесь отсюда оба – и с этой вшивой закуской!

В е р ж б и ц к и й *(вспыхивает)*. Да я ни сном ни духом...

На тропинке у правой кулисы появляется А с к о ч е н с к и й . Он в шляпе, в крылатке, с тростью в руке.

Т о в м а ч е н к о *(удивленно)*. Здравствуйте, Виктор Ипатьевич!

А с к о ч е н с к и й . Добрый вечер, Сергей! *(Разглядывая компанию)*. И ты здесь, Гальшка? Ну, ну...

Г а л и н к а . Добрый вечер, Виктор Ипатьевич! А меня Надия Марковна отпустили с двух часов дня и до конца вечера.

А с к о ч е н с к и й . Ах, молодёжь, молодёжь... Нет, чтобы потратить воскресный день на усердную молитву, или хотя бы на паломничество по родным нашим киевским монастырям! Вот ведь как мы тут все живём:

иногородние паломники лучше нас с вами знают наши собственные киевские святыни...

Вержбицкий. А почему сам пан сейчас не в церкви?

Аскоченский *(в сторону)*. А почему я просто не прошел сейчас мимо? Спокойствие, спокойствие... *(Громко)*. А я не осматриваю сейчас пещеры на Зверинце только потому, молодой человек, что мне надо найти тут, на Байковой горе, своего старого знакомого, можно сказать, приятеля давних ушедших лет.

Товмаченко *(уже стоит)*. Господа, позвольте представить вам... То есть нет, простите, Виктор Ипатьевич... Коллеги, перед вами мой некоторым образом работодателем, знаменитый наш украинский историк Виктор Ипатьевич Аскоченский, автор фундаментальной «Истории киевской академии», издатель ежемесячного журнала «Домашняя беседа». Я у Виктора Ипатьевича секретарём подвизаюсь. А теперь позвольте представить вам, Виктор Ипатьевич, моих коллег-сту...

Аскоченский. Извините, некогда, очень тороплюсь... Скажите, господа, не видели ли вы тут... ну... известную особу?

Товмаченко. Что-то не понял я, Виктор Ипатьевич... Кого это мы не видели?

Аскоченский *(нетерпеливо)*. Не узнаю вас я сегодня, Сергей, не узнаю... Неужто это общество милых дев и юных дам на вас так действует? Я сейчас вам на ухо... *(Делает нетерпеливый жест и шепчет на ухо Товмаченко)*.

Товмаченко. Вот вы о ком, Виктор Ипатьевич... Нет, его здесь не было.

Аскоченский. Что ж, гора большая, а лужков тут раз два и обчелся, авось найду... Верные сведения получил, что здесь сегодня... До свидания, мадемуазель.

(Притрагивается к шляпе). Господа! Прощевай, Гальшка. Не огорчи сегодня добрую Надежду Марковну.

Г а л и н к а *(встала, неловко приседает).* Счастливого пути, Виктор Ипатьевич.

Студенты наперебой прощаются, В е р ж б и ц к и й – по-французски. А с к о ч е н с к и й торопливо уходит влево.

О л ь г а *(медленно).* И правда, Серёжа, ты странно ведешь себя сегодня. Прости, но я ещё не видела, чтобы ты перед кем-нибудь так... вытягивался.

Т о в м а ч е н к о *(садится на свое место, смотрит в землю).* Я и сам себе противен, Ольга Ефимовна. Но что поделаешь? Я у этого реакционера, пока он в Киеве, секретарём и в редакции его рвотного еженедельника тоже заодно подрабатываю. А прогонит – придется по урокам бегать, вон как Петро. Да и то – как ещё повезёт с ними, с уроками.

В е р ж б и ц к и й *(улыбается).* Приятно, не скрою, когда и в тебе, таком несгибаемом революционере, открывается нечто человеческое.

Л е в и ц к и й . По этому поводу следует выпить.

О л ь г а . Мне зельтерской.

Г а л и н к а . А что это такое – революционер?
(Студенты переглядываются).

Т о в м а ч е н к о *(с лёгкой досадой).* Да я тебе ведь уже объяснял, Галинка. А тут, боюсь, и у... *(оглядывается)* и у дубов есть уши. Лучше уж я тебе снова растолкую, что такое реакционер.

Г а л и н к а . Как гарно звучит... Ре-ак-ци-о-нер.

Л е в и ц к и й . Реакционер, красавица ты наша, это такая сволочь, которая хочет, чтобы всё оставалось по-прежнему. Я разливаю, товарищи.

Г а л и н к а . Ну, тогда я тоже... ре-ак-ци-о-нер. Вот вы все ждёте, когда царь отпустит крепостных на волю.

И Шевченко за это в столице свою голову снова кладёт на плаху. А мне, и не думаю, чтобы только мне одной, ваша прекрасная воля до... (*Закрывает рот ладошкой*). Ой, ни к чему она.

Л е в и ц к и й . Однако...

Г а л и н к а . А зачем она мне, воля? Я у своей госпожи, у Надийи Марковны, живу как у Бога за пазухой. Была бы я вольная, оказалась бы уж на улице. То я у неё ленивая, то с грязной шеей неделями хожу. А вот выгнать меня госпожа моя Надия Марковна, при всей её образованности, не может. За меня, сироту и свою собственность, ответ должна держать и, как мать родная, обязана замуж пристроить.

О л ь г а (*прыскает*). Что ж ты нам о Шевченко заливала?

Г а л и н к а . Нет, вы не думайте, я понимаю дядек на селе, которым воля, да еще и с землёй, и по ночам снится. А дворовая голь, ведь это все понимают, по миру пойдёт. А про Шевченко... Это я хотела Серёженьке сделать приятное, вот и рассказывала. А что ваш Шевченко? Сам он из рабства выкупился, а вся его родня в крепостных осталась, вот он и воюет, юродивый.

Л е в и ц к и й . Да не выкупился он! Давайте я расскажу. Как Шевченко на самом деле...

О л ь г а . Подожди, Петро. Нет, уж на этот раз мне точно не послышалось... Потрудитесь объяснить, Сергей Михайлович, почему Галина обращается к вам столь фамильярно.

Г а л и н к а . А вот они же не возражают, панночка. (*Пододвигается к Товмаченко, кладёт ему голову на колени*). Коль нельзя мне с ними под ручку по бульвару проходку сделать, коль не желают они в кондитерскую меня сводить, так хоть Серёженькой назвать.

Ольга фыркает.

Товмаченко *(нервно)*. Так нальют ли мне, наконец?

Левицкий торопливо разливает.

Ольга. Плесни и мне народной отравы, пожалуй.

Пьют, закусывает.

Левицкий *(с хвостом кильки, торчащим изо рта)*. Закуси лучше пастилкой, Оля. *(Прожевав)*. Вот молодец... О чём это я хотел сказать? Ну, ладно... Ты нам так и не поведал, Товмаченко, какую Сусанну искал на Байковой горе сей тучный старец?

Товмаченко *(он не в духе)*. Аскоченский? Да этого же самого вашего Шевченко. Наша знаменитость был приглашен сюда на пикник.

Ольга. Тарас Григорьевич? Он здесь, на Байковой горе? *(Вскакивает, отходит на два шага от скатерти, поворачивается к компании спиной)*.

На авансцене справа перед кулисами появляется Максик. Этот если и нетрезв, то самую чуточку. Увидев Галинку, замирает, взяв руки в боки. Она при виде его поспешно натягивает юбку на колени.

Максик. Тю! Чтоб мне очи повылазлы! Эфто ты! Та дэ ж ты свою совесть загубыла, дивко! Какое право ты маешь гулять с панычами! Хиба мало я тебе жареных перепелов в карманах перетаскал! А Николаяс! А Францик!

Галинка. Слышь ты, Макс... Да пошел ты...!

Максик. А вы, панычи, тоже хороши! Нужна вам мамзель для препровождения времени, так снимите себе на Канаве, как все добрые люди. Вон одна и у вас имеется... Нет, им надо у трудящегося люда девок уводить!

Ольга *(оборачивается)*. Эй, любезный, ври да не завирайся!

Максик (*снимает шляпу, кланяется*). Вы уж простите великодушно, барышня – обознался! Из заду, прощения просим, ну точно Эльжбетка с кафе «За канавой»! Чому ж только, думаю, напялыла всё черное – уж не заризалы знову кого з гулящих?

Ольга (*хватается за голову*). Вот ведь привязался! (*Левецкому*). Да останови ты его, наконец.

Максик. Пардон, барышня! Отака миля (*показует руками*) пардону, как изволил сказать один иностранный философ.

Левецкий (*вполне добродушно*). Если у тебя есть фонтан, любезный, заткни его: дай отдохнуть и фонтану.

Максик. О! Позвольте, господа студенты, карандашик и кусочек бумажки – записать! Можно и край от газетки... (*Роется в карманах. На свет божий появляются осьмушка водки из правого брючного кармана и соленый лец из левого. Пауза*). Ну, да ладно. (*Бормочет*). Запомню и так.

Товмаченко (*снисходительно*). Если я всё правильно понял, ты тот самый лакей из Заведения искусственных минеральных вод, который подвесил Галинке фонарь под глазом?

Максик (*кланяется*). Позвольте отрекомендоваться – служающий человек при ресторане заведения Максим Филиппович Колотилов, собственной персоной. А насчет подсинить очки эфтой лахудре, так это Францика работа. Если же и я ей навесил пару пендюлей пониже, извиняюсь, поясницы, так сие оттого единственно, что находясь в рассуждении огорченных чувств. Да и как было не огорчиться? Не говоря уж о Николаесе и Францике, а те ей тоже подарочки носили, я этой лярве столько жареной дичи в карманах перетаскал, что вот, господа, карманы совсем залоснились! Вот! (*Снова*

опустошает карманы, смотрит на осьмушку и на леща с тем же изумлением. Пауза).

В е р ж б и ц к и й (любезно). Я так понимаю, господин Голотилов, случилось небольшое недоразумение. Мой коллега, господин Товмаченко (*показывает подбородком*) – большой демократ и самый радикальный в Киеве прогрессист. Усаживайтесь, пожалуйста, возле него, закусите с нами чем бог послал. А там и недоразумение разъяснится.

Г а л и н к а . А что оно такое – радикальный?

М а к с и к . Заткни хайло, дурепа. А ваше, господин студент, любезнейшее предложение, не нахожу в себе никаких сил отвергнуть. Сие для меня неизбежная единственность, потому как всегда испытывал неотвратимую желательность побыть в образованной компании. Не о том речь веду, что совсем не слышал ученых бесед, однако из-за отлучек, из потребностей услужения проистекающих, терял нить научных рассуждений. Вот прошу присовокупить к вашей складчине, барышня и господа. (*Кладёт на скатерть соленого леща*).

В е р ж б и ц к и й (*морщится*). Вот это вы напрасно, господин Токотилов. Закусками мы запаслись.

М а к с и к . Если брезгуете из-за крепости ароматической (*тычет рыбу под нос О л ь г е , та возмущенно закрывает носик платком*), так оно единственно вследствие натуральной природности леща. Это же настоящий соленый платаный лещ! Да и разве мог он провонять, ежели я его только час тому назад вытащил из ледника наших «Минерашек», он мне ещё всю дорогу, извиняюсь, ляжку холодил.

В е р ж б и ц к и й (*берет со скатерти колокольчик и звонит*). Морис, подай ещё один стакан!

Из-за дуба торжественно выступает М о р и с , презрительно тычет М а к с и к у граненый стакан.

М о р и с . *S'il vous plaît.* (Столь же торжественно удаляется).

М а к с и к следит за ним, разинув рот.

Г а л и н к а . Закрой пасть, Макс, а то муха залетит!

Т о в м а ч е н к о . А почему же не бабочка? Не капустаница?

Г а л и н к а . Муха – и навозная!

М а к с и к . Вот ведь расквакалась! Дождешься ты у меня плюхи! (*Задумчиво*). А если бы в мой рот залетела бабочка, она для научных исследований уже бы не пригодилась.

Л е в и ц к и й . Золотые слова, друг.

В е р ж б и ц к и й . Абсолютно с вами согласен. (*Разливает водку*).

О л ь г а . (*Прикрывает свой стакан ладошкой*). Мне зельтерской.

В е р ж б и ц к и й . О, конечно... Прошу вас, Ольга Ефимовна. Я предлагаю выпить за нашу сегодняшнюю компанию. Ведь таким, как у нас сегодня собралось, и будет наше киевское общество, когда сбудутся мечты коммунистов и прогрессистов, вроде коллеги Товмаченко. Я пью за равенство и братство всех людей, когда не будет ни крепостных, ни свободных, ни господ, ни лакеев! (*Пьет*).

Г а л и н к а (*пьёт с обычными своими ужимками*). А что это такое...? (*Закашливается*).

Т о в м а ч е н к о . Я хочу пожать твою руку, Юлэк! (*Пожимают руки*)

Л е в и ц к и й . Давай с тобой, чертяка, обнимемся! (*Обнимаются*). Макс, а ты не чинись, вот бери кильки, закусывай. Они ревальские.

Максик (*прожевав*). Про крепостных правильно, в этом вопросе Тарас Шевченко государя императора таки дожмёт, зубами вырвет свободу для сермяжного люда. А вот лакеи будут всегда.

Вержбицкий. Почему так?

Максик. А кто же с вас, панычи, будет сапоги стаскивать? Неужели сами?

Вержбицкий. А хоть бы и сами. Вон ваш Шевченко служил солдатом. Кто с него, с вашего малороссийского гения, в казарме сапоги стягивал? А если мне придётся воевать? Рядовым бойцом, я же не офицер. В бою и на бивуаке между рядовыми то же равенство. Мориса с собою в поход ведь не возьмёшь.

Товмаченко. Лучше бы ты придержал язык, Юлэк. А тебе, братец, я скажу только одно: у нас в России всё так прогнило, что любые изменения в обществе будут на благо. Даже если настанет новая Колиивщина, и Киев захлестнет лютая волна гайдамаков с косами и цепями. Пусть и мы в том пламени погибнем, а всю гниль и грязь этот пожар таки выжжет.

Ольга. Какой ужас!

Товмаченко (*грубо*). Ну, а чего вы ждали, Ольга Ефимовна? Читали ведь «Заповит», и что «К топору зовите Русь!», вам понравилось, так представьте себе, и как оно будет, когда крестьянская Русь опустит свой топор.

Максик. Невежество дикое одно настанет, вот что. Как у господина Шевченки в тетради под названием «Гайдамаки».

Левицкий. Читал, значит, друг? А ты говорил, Сергей, будто народ знает только про личность нашего поэта, а стихов его не знает!

Максик. Да разве я народ? Народ по сёлам хвосты быкам накручивает. А я, извиняюсь, потомственный мещанин. Мой дед за Магдебургского права на главной церемонии командиру Золотой роты стремя придерживал, вот!

Товмаченко. Вот... Вот вам и социальное расслоение в трудящемся классе, коллеги. Кому хвосты крутить, кому стремя держать. Ну, как с этим народом – да в просвещенную Европу?

Вержбицкий. Остынь, Серёжа, а то я вижу, наш гость начинает обижаться...

Галинка (*фыркает*). Такой обидится – еще чего! Максик обижается, когда ему чаевых недодают.

Максик (*чешет в голове*). А я было разлетелся: наконец-то и ко мне отнеслись по-человечески...

Ольга. А позвольте спросить, господин Поколотилов, что в «Минерашках» говорят о Шевченко?

Максик. Отчего ж не рассказать, барышня? Говорят, Шевченка в Киев привезли на пароходе, а с парохода сводили четыре жандарма с обнаженными саблями, а сами Тарас Григорьевич были в кандалах. Говорят, на пристань москалики выкатили две заряженные пушки с зажженными фитилями, да это врут, небось... А потом приехали их сиятельство господин губернатор князь Васильчиков, и Тарас Григорьевич им два слова секретных изволили сказать, так что их сиятельство побледнели и платочком замахали: расковыивайте, мол, скорее! (*Товмаченко и Вержбицкий переглядываются*). А сами в свою карету юркнули и кучеру машут: «Погоняй!» И теперь ходят Тарас Григорьевич по городу как бы вольные!

Ольга. Как бы?

Максик (*вскакивает на ноги, кричит, размахивая руками*). От-от! Потому что, куда он не пой-

дёт, наш перед его величеством государем императором заступник, за ним филёр серой мышкой крадётся. А чтобы не потерялись они, Тарас Григорьевич, ещё один филёр вслед за ними на дрожках едет. А третий с крыши смотрит в подозрную трубу, а чтобы не упустить Шевченка, за ним с крыши на крышу перебирается. Где перескакивает, а где и взбегать приходится по пожарной лестнице.

В е р ж б и ц к и й (*хмыкает*). А четвертый филёр – на монгольфьере с высоты птичьего полета.

М а к с и к . Не понял... То есть на чём?

В е р ж б и ц к и й . En l'aërostat.

Л е в и ц к и й . То есть на воздушном шаре, друг. Нет, чтобы забраться со своей трубой на пожарную каланчу! Так мы пьём сегодня – или как?

Т о в м а ч е н к о . Или как, Петро... И не навязывай нам, будь другом, своих семинарских порядков.

Л е в и ц к и й . Бери выше – академических! Тогда наливай, Серёжа. Темнеет уже.

Т о в м а ч е н к о (*проигнорировав просьбу*). А что то были за секретные слова – какие на сей счёт имеются мнения?

М а к с и к . Мнение как раз самое простое: (*понижает голос*) ничего иного тут быть не может, как только – что Шевченко его, покойного государя императора, тайный сын.

О л ь г а . Не дай того Бог!

М а к с и к . То есть не природный сын, а приёмный. Как покойный государь его из рабства выкупили, тогда же и усыновили, а потом по-отцовски тяжкой рукой своею батьковскою и наказали. Даром, что ли, Тарас Григорьевич, куда ни приедут, сколь угодно сумм из казны выгребают?

Ольга. Ой! *(Все поворачиваются к ней, а она прижимает платок к губам)*. Что-то мне стало нехорошо после вашей народной отравы. Я *(встаёт)*, пожалуй, отойду. Любезная Галина, ты мне не поможешь?

Галинка. Да ладно уж, барышня, хоть и на самом интересном... Да только куда мне деться? *(Уходят обе за правую кулису)*.

Левицкий *(потирает руки)*. Так вот когда мы, наконец-то, выпьем!

Товмаченко. Да не до того сейчас... Хотя, почему бы и нет! *(Разливает)*. Будьмо! *(Пьют, торопливо закусывают)*. Уф... Нам сейчас выпала возможность о наших дамах словом перекинуться, хоть немного разобратся...

Максик. А то. Особливо с Галькой.

Товмаченко. Что ж Галька? Твоя, любезный, Галька и сама себя в обиду не даст. Знаешь ли, что она мне о тебе и о твоих приятелях рассказывала? Что живет её хозяйка на Крещатике, как раз через площадь от ваших «Минерашек». Что вы к Гальке прибегали с угощением, а она вам головы накрутит, да и убежит.

Максик. Ну-с, по-всякому бывало. *(Подкручивает тоненький ус)*.

Товмаченко. Вот как? *(Пауза)*. Я знаете ли, господа, за свободную любовь. И она, Галька, свободная девушка. Но что-то исчерпалось содержание наших отношений. И я ей, пожалуй, об этом сегодня скажу. Или потом когда-нибудь...

Максик *(в восторге)*. О! «Исчерпалось содержание наших отношений...» О! Позвольте, господа студенты, карандашик и кусочек бумажки – записать! *(Роется в карманах, вытаскивает осьмушку водки из правого брючного кармана. Пауза)*. Ну, да ладно. Запомню и так.

Левицкий. Признаться, удивил ты меня, Сергей. Ведь был в таком восхищении. Простота, говорил, безыскусственность... Ведь было же, было?

Товмаченко. Было, было, говорил... Однако, если по правде, то где она, та простота, коллеги? Галька – девица не только умная, но и хитрая.

Максик. Вот-вот!

Товмаченко *(будто решившись, быстро)*. Она от меня желает получить для себя выгоду. От меня, голяка? Как такое возможно? Разве ей было недостаточно моих пылких чувств? Разве Беатриче желала чем покорыстоваться от Данте?

Вержбицкий и Максик ухмыляются абсолютно одинаково, затем переглядываются.

Вержбицкий *(с искренним сочувствием)*. Тут уж ничего не поделать, Серж. Вот когда наступит истинное равноправие полов, тогда им от нас ничего не будет нужно. Но тогда, быть может, и мы станем уже им не нужны?

Товмаченко. Ну, знаешь, это её корыстолюбие... У меня всё к Гальке, ну, как отрезало. К тому же... Чем больше я узнаю твою, Петро, сестру...

Левицкий. А... Так ты и к Ольке клинья подбиваешь? Тоже мне друг – хуже сраной жопы! А вот это видел? *(Показывает огромный кулак)*. Не бывать с сестрицею по-твоему, красавчик!

Молодые люди вскакивают на ноги. Левицкий и Товмаченко хватают друг друга за грудки. Максик разнимает.

Из-за кулис раздаётся девичий визг. Затем из-за правой кулисы вылетает, подтягивая штаны, Галушник, за ним, после некоторой задержки, выбегают, спешно поправляя погрешности в нарядах, Галинка и Ольга.

О л ь г а . Петро, помоги!

Г а л и н к а . Хлопци такы побылыся! Настоящие вечерныци!

В е р ж б и ц к и й отвешивает Г а л у ш н и к у
пощещину.

Г а л у ш н и к *(хватается за щёку)*. Ой! Хто цэ! За что? Одийшов од компании отлить, а там, пид берестом, вже дивчата влаштувалься... Хиба я вынен? *(Близоруко присматривается к Л е в и ц к о м у)*. Та чи вы цэ, отче Юхимэ? Заберить скорише вид мэнэ отого немецкого чорта в окулярах!

Л е в и ц к и й *(отрывает одну руку от горла Товмаченко, показывает Г а л у ш н и к у кулак)*. Вот я тебе, дядьку, сейчас и от себя добавлю!

Г а л у ш н и к . Тьфу ты! Ты хто? Чорт тебе, москаля, забывай! Да я тоби купец второй гильдии, а не пустое место! Матери ваший, приبلуды сатанинские, ковинька! Тарасэ, чи ти бачишь, що робиться! Хиба цэ не наша земля, хиба цэ не наше мисто?

Справа из-за дуба выскакивает М о р и с , с криком «S'il vous plait» сбивает Г а л у ш н и к а с ног. Г а л и н к а присматривается к дерущимся, выпрямляет спину, подбоченивается и вдруг, завизжав, вцепляется О л ь г е в волосы. Свалка. Появляется Ф и л ё р , вытаскивает из кармана свисток, оглушительно свистит.

Занавес

Акт второй

Кабинет Асоченского в его киевской квартире. Обычный канцелярский стол, несколько стульев. На стене портрет молодого Асоченского. На полу у стены стопки нераспроданных номеров журнала «Домашняя беседа». Слева входные двери из сеней, справа из личных покоев хозяина.

Товмаченко сидит за столом, что-то усердно переписывает.

В дверях возникает Вержбицкий.

Вержбицкий. Vale! Можно?

Товмаченко. И тебя тем же валиком по тому же месту, Юлэк. И что-то рано ты прощаешься, древний римлянин. Уж лучше присаживайся. А почему ты не позвонил в дверь?

Вержбицкий. Надеялся застать тебя одного.

Товмаченко. Виктора Ипатьевича нету дома. Он ещё не вернулся с заутрени, до сих пор грехи замаливает. Быть может, на сей раз мои. Перед тем, как выставить.

Вержбицкий. Это к лучшему. Конечно, я нашел бы, чего и пану Асоченскому сказать. (*Присматривается к кипе номеров журнала, иронически улыбается*). Однако наш разговор не для посторонних ушей.

Товмаченко (*выпрямляется, вставляет перо в отверстие письменного прибора*). Я готов, Юлэк.

Вержбицкий. Отчего-то трудно начать сразу о главном...

Товмаченко (лениво). Могу и помочь. Под занавес нашего столь несчастливо закончившегося пикника ты отвесил аристократическую плюху бедному, ни в чем не повинному, да к тому же и пьяненькому малороссийскому патриоту. Ты, такой всегда невозмутимый, ироничный... Стало быть, зацепило тебя, решил, что толстячок хотел наших дам обидеть. Неужели ты Галинку защищал?

Вержбицкий. Гениальная догадка! А кстати, как у тебя с Галинкой дела?

Товмаченко. Как сажа бела. Нет, правда, разошлись мы с прекрасной пейзажкой, как в море корабли. Это уж чересчур было – выдирать волосы у Ольги Ефимовны, ты не находишь?

Вержбицкий. В этом виноват ты один, Серж, с твоими социальными экспериментами.

Товмаченко. Да уж... Однако, быть может, ты позволишь мне закончить?

Вержбицкий. Proszę pana.

Товмаченко. Остается Ольга Ефимовна. Признаться, раньше я не замечал, что ты к ней неровно дышишь. Она, кажется, тоже.

Вержбицкий. Это к лучшему. Если за мною не замечали, позору меньше. Где уж нам, дуракам, чай пить.

Товмаченко. А я вчера пытался объяснить, но получил резкую отповедь. Не то чтобы я рылом не вышел, но она пылко влюблена в другого, и знал бы ты, благородный мой соперник, в кого! (*Встаёт из-за стола, становится в позицию рапириста*). Я д'Артаньян! Защищайтесь, мсье Рошфор!

Прыгают по кабинету, изображая фехтовальщиков французской школы: держат туловище отклоненным назад, прямым на выпаде. Наконец, устают.

В е р ж б и ц к и й (делает вид, что снимает маску и что кладет рапиру на стол). Однако нам и биться не нужно, если мы оба отвергнуты, к тому же я – и не предложив себя. А что я мог Ольге Ефимовне предложить?

Т о в м а ч е н к о . Тебе – и нечего честной девушке предложить? Иное дело я – вот уж точно гол, как сокол. Кстати, спасибо тебе, что откупил всех нас от полиции – а то меня мой добродетельный работодатель уж точно бы выставил!

В е р ж б и ц к и й . Пустое. Просто я завёл обыкновение не выходить на улицу без золотого соверена в кармане. Да и Морис всегда готов ссудить. Что ж... Ты дашь мне ответ на позавчерашнее предложение?

Т о в м а ч е н к о . Пожалуй...

В е р ж б и ц к и й . Прежде я вот ещё о чем хотел сказать. Перед тем, как попали мы в полицейские лапы, был у меня проект. Проводить наших дам, а самим загреметь к иным дамам, веселым, на Канаву. И Макси-ка с собою прихватить – вот был бы смех!

Т о в м а ч е н к о . Грязноватый какой-то проект был, Юлэк.

В е р ж б и ц к и й . Согласен. Однако, во-первых, разве и без того наша вечеринка не закончилась грязно? Во-вторых, тебя никто не неволил бы к решительным поступкам. А попеть с мамзелями, выпить шипучки под названием шампанского и посмеяться над очаровашкой Максимом – что ж тут грязного?

Т о в м а ч е н к о . А что грязного было – вступить за честь наших девушек? И ехать тогда ночью к мамзелям... Знаешь ли, тут был бы этакий неприятный выверт... (Важно). Уж не говорю, что эти рабыни городской похоти сами нуждаются в духовном и материальном освобождении.

Вер ж б и ц к и й (крестится по-католически).
Амен. (Пауза. Вдруг вскакивает с кресла). Скажи же,
не томи! Каков твой ответ?

Т о в м а ч е н к о (тоже встаёт, небрежно
вытягивается «во фронт», делает вид, что выполня-
ет ружейный прием «на плечо». Снова расслабляется,
садится). Даже позавчера, под шофе, пребывая в рас-
стройстве чувств, я понимал, что отвечу только одно:
«Нет». Ты уж прости, Юлэк. Я, быть может, лучше поехал
бы освобождать Италию вместе со славным Гарибальди
или даже Ирландию, чем присоединиться к вам. И гово-
ря честно, едва ли мне по душе такое занятие – скитать-
ся по лесам с ружьём, как охотнику, зная что на тебя
охотятся другие. (Тихо). В голубых мундирах.

Вер ж б и ц к и й. Ты не торопись, Серж. Ведь
позавчера в карете я не всё мог сказать. (Понижает
голос). В сорок восьмом году, когда вся Европа поль-
хала в святом огне революций, и даже в дикой Вен-
грии восстали студенты, у наших отцов не вышло.
Зато теперь заговор зреет и ширится. На этот раз фи-
лёрам ничего не вынюхать, тайна крепка. Мы начнём,
как только в России пойдут крестьянские волнения.
Русские прогрессисты поддерживают идею польского
восстания. Они говорят: «Вы будете сражаться за вашу
и нашу свободу». Вот так, Серж. Лучшие русские люди
на нашей стороне. Не поторопился ли ты отказаться?

Т о в м а ч е н к о (тоже тихо). Я понимаю, о ком
ты говоришь. Этим петербургским деятелям – чем хуже,
тем лучше. Они, мне говорили, делают большую полити-
ку, рассчитывают захватить власть. А это легче сделать
в слабой России, без Польши, чем в сильной империи. Я
их понимаю, но я ведь и не совсем русский... Я украи-

нец, Юлэк. Для меня восстановление Польши – это ведь и восстановление господства её над нашей, восточной Украиной. Ведь вы теперь мечтаете опять – «od morza do morza»?

Вержбицкий (*досадливо хмыкает*). Но разве это не лучше для вас, украинцев, чем в Российской империи? Ну, сравни только – косная, чиновничья Россия и молодая, только что из пепла воскресшая Польша! К власти придут революционеры, люди молодые, образованные, прогрессивные, наконец! Зачем новой Польше угнетать другие народы? Разве не вольнее дышалось бы вам в демократической Польше, чем под русским гнётом?

Товмаченко. Хрен редьки не слаще, Юлэк. (*Усмехается*). А русская редька, она хоть тоже православная.

Вержбицкий. Эти вопросы давно решены, Серж! Перед тем, как Польша погибла окончательно, перед третьим её разделом, украинская церковь получила равные права с католической.

Товмаченко. Я об этом не знал. (*Пауза*). Думаю, что и не все поляки-заговорщики знают. Да и для них постановления давно разогнанного сейма не указ.

Вержбицкий. А если я тебе скажу, что твой Шевченко в Туркестане подружился с такими же, как он, отданными в солдаты поляками? Что твой великий поэт и сейчас поддерживает связи и переписывается со своими польскими друзьями? А ведь все они – повстанцы 1931 года или заговорщики 1948 года, Серж!

Товмаченко. А разве мы с тобою не друзья, Юлэк? Я надеюсь, что и наши с тобою неразделен-

ные чувства к Ольге Ефимовне нас не поспорят. А, кстати, ведь она именно в Шевченко влюбилась. Каково тебе?

Пауза.

Вер ж б и ц к и й *(медленно)*. Но ведь он не молод, ваш знаменитый поэт. У меня такое впечатление, что его «Кобзарь» был напечатан лет двадцать тому назад, когда...

Т о в м а ч е н к окогда Ольги Ефимовны ещё и на свете не было. Да, он старик, наш с тобою нечаянный соперник! А знаешь ли, каким она его себе воображает?

В е р ж б и ц к и й . Ну, ну! Нет, ты меня ошеломил...

Т о в м а ч е н к о . Оля представляет себе Шевченко высоким, с длинными черными кудрями, в чёрном развевающемся плаще, с огненным взором!

В е р ж б и ц к и й . Куда ж поэту без огненного взора? Что ж, даже если кудри поседели... Вот мой отец, хоть и старик (ему хорошо за сорок), хоть и седой, пользуется успехом у окрестных барышень. А Ольге Ефимовне предмет её мечтаний является таким, каким она на гравюре видела Байрона. Или Кукольника. *(Показывает на портрет молодого Аскоченского)*. Или этого вот...

Т о в м а ч е н к о *(глядя в сторону)*. Поразительно, но Оля решила явиться к Шевченко, пока он в Киеве, изъяснить ему свои чувства и отдаться в полное его распоряжение – хоть секретаршей, хоть горничной. Чтобы, понимаешь ли, везде его сопровождать.

В е р ж б и ц к и й . Да уж... Шевченко ведь холост. При этом обстоятельстве горничная или там секретарша... Легко догадаться, в кого она превращается. А что об этом думает Петро?

Т о в м а ч е н к о . Петро ничего об этом не думает, поскольку, по счастью, ничего не знает. Такие вот дела, Юлэк.

Пауза.

В е р ж б и ц к и й . Я вот что придумал. Хочется Ольге Ефимовне увидеть своего кумира – так пусть увидит. Что-то мне подсказывает: она разочаруется. Только лучше будет, если мы к нему поедем все вместе. Ты ей не говори, что мне об её влюбленности рассказал. Мы поедем... да, поедем как представители студенческой молодёжи, чтобы приветствовать славного украинского поэта. Вот.

Т о в м а ч е н к о (*ухмыляется*). Глядишь, и разочаруется, когда увидит своего гения в шлафроке. (*Серьёзно, понизив голос*). Однако же и я надеюсь улучшить время, чтобы потолковать с Тарасом Григорьевичем о наших украинских делах.

В е р ж б и ц к и й . Только, знаешь ли... Хорошо бы и Галинку с собою прихватить. Я бы подкатился к её хозяйке, попросил бы отпустить с нами на пару часов...

Т о в м а ч е н к о (*страдальчески морщится*). Зачем нам там эта шальная девка? Да и Оля едва ли согласится ехать вместе с нею.

В е р ж б и ц к и й . А мы её посадим отдельно, на извозчика. Галинка необходима для моего коварного плана. Весьма, прямо-таки иезуитски коварного! Мне известно, что относительно женского пола у Шевченко вкусы весьма демократические. Отец рассказывал, как тот ещё перед арестом сватался к поповне, дочери сельского священника, у которого некогда служил батраком. Малорусский гений западёт на Галинку,

станет на неё коситься – вот и ещё один повод для Ольги Ефимовны в нём разочароваться, в своём вымечтанном кумире.

Товмаченко. Гениально, Юлэк! Теперь только адрес узнать.

Вержбицкий. Не самая сложная задача. Да хоть бы и у твоего хозяина спросим.

Товмаченко (*Смотрит в окно*). А вот и он. Да и не сам, а с Лободою.

Входят – первым Лобода, за ним, пропустив гостя вперед – Аскоченский.

Аскоченский (*осматривается, будто не понимает, куда попал*). Заходите, Феофан Гаврилович.

Товмаченко. (*Вскакивает*). Виктор Ипатьевич, позвольте представить вам моего коллегу, студента историко-филологического факультета Юлиана Вержбицкого.

Вержбицкий и Аскоченский раскланиваются, при этом Аскоченский едва кивает.

Аскоченский. Чем могу служить, милостивый государь?

Вержбицкий. Мне желательно было познакомиться с вашим журналом, глубокоуважаемый Виктор Ипатьевич. Но в Киеве скверно с книжными продажами, вот я и решился попросить о приобретении непосредственно у издателя.

Аскоченский. Да Бога ради, всегда счастлив помочь любознательной молодёжи. (*Широким жестом указывает на кипу журналов под стеной*). Поищите здесь, юноша, а потом обратитесь к Сергею: он посчитает. (*Оборачивается всем корпусом к Лободе*).

Извините, Феофан Гаврилович, мы ненароком прервали вашу мысль.

Лобода. А мысль моя проста, господа, очень проста. Сейчас, когда так трудно, почти невозможно добиться разрешения на издание журнала, что остаётся делать человеку, у которого руки чешутся заняться журналистикой? Да сотрудничать в уже издающихся журналах, вот что!

Аскоченский (*иронически*). По крайней мере, остроумно!

Товмаченко (*с энтузиазмом*). Извините, что вмешиваюсь в вашу беседу, господа, но ведь, действительно, Киеву необходима журналистика! Что мы имеем? Вон с этого лета газетку «Киевский Телеграф» – и ничего более! Да что это за телеграф такой? Если великий украинский поэт приехал в Киев, а о том – ни строчки?

Лобода (*скривившись*). Издатель «Телеграфа» фон Юнг, да он скорее мученик журналистики... Знаете ли вы – чтобы добыть деньги для своей газеты, Юнг завербовался на Крымскую войну погонщиком волов?

Вержбицкий. Постойте, господа, это ведь он напечатал поправку? (*Скандирует*). «Во вчерашнем номере, на столбце таком-то, у нас напечатано: «Киевляне преимущественно все онанисты»; читай: оптимисты».

Товмаченко и Вержбицкий хохочут, Лобода ухмыляется. Аскоченский строго, с серьезным видом уставился на Вержбицкого. Смех сходит на нет.

Лобода. Гм. Ещё наша Академия печатает «Воскресное чтение». Вот уж поистине воскресное, господа...

Аскоченский (*хмурится*). Насмешки над этим церковно-просветительским изданием считаю неуместными, милостивый государь.

Лобода. Да кто над этими убогими брошюрками смеется? Помилуйте! Дело в ином, в узости предназначения... Я вот сейчас пробиваю разрешение издавать при Академии «Руководство для сельских пастырей». Авось, и удастся напечатать из истории что или культуры отечественной. То бишь малорусской.

Аскоченский. Не считайте меня совсем недогадливым, Феофан Гаврилович! Однако в данный момент я не могу вам предложить сотрудничать в своем издании «Домашняя беседа для народного чтения». Во-первых, по узости, как вы изволили выразиться, своего предназначения (а одновременно и по ширине, вот ведь какой парадокс!) этот журнальчик недостойн вашей учености и вашего таланта. Я ведь замышлял его для духовного окормления простолюдина, нашего простого русского мужичка. И если и привлеку кого-нибудь из посторонних авторов, то разве что благочестивых грамотных мужичков. И я ведь и сам, уж извините меня, принизился. И так отрекомендовался в первом выпуске... Вот, если не забыл: «Я человек православный и со всех сторон русский (*Вержбицкий и Товмаченко переглядываются*), учился тоже на медные деньги, (*ухмыляется*) грамоту всякую – и церковную, и гражданскую – смекаю...». Да и журнал выходит в Питере, а я тут на летних, так сказать, каникулах...

Товмаченко. Простите, Виктор Ипатьевич, но я хотел спросить: удалось ли вам позавчера встретиться с Тарасом Григорьевичем Шевченко, как

вы намеревались? Мы тут подумывали о студенческой депутатии к нашей малорусской знаменитости, да не знаем адреса.

Пауза.

Аскоченский. Депутатия? Студенческая? Едва ли такое начинание уместно.

Лобода (*с улыбкой обращается к явно симпатичному ему Товмаченко*). Да с адресом Тараса Григорьевича целая истории вышла. Его ведь, как в Киев не совсем обычным порядком привезли, то и оставили в полицейской тюрьме. Однако, поскольку за Тараса Григорьевича поручился добрейший отец Евфим Ботвиновский, всем в Киеве известный священник Свято-Троицкой...

Вержбицкий. Поп Ефим? Лучший в Киеве билиардист? После ротмистра Курдюмова? А я, все говорят, на верном третьем месте...

Товмаченко Батько Юхим? Тот, что всех затейливее мазурку отдирает?

Аскоченский (*вдруг улыбается почти по-человечески*). Первый охотник с гончими на всю округу! И это ещё не все Ефимовы достоинства! Впрочем...

Лобода (*перебивает*). ...так Тарас Григорьевич и должен был пожить у отца Ефима, пока дело не решится. Однако там нашему поэту не очень приглянулось, и он поселился у другого своего приятеля, фотографа-художника Гудовского. Там же, в Старом Киеве, в двух шагах от Георгиевской улицы. А к отцу Евфиму теперь...

Вержбицкий. У Гудовского? А старательнейший Иван Васильевич, случаем, не портретировал Шевченко на свою оптическую камеру-обскуру?

Лобода. Конечно же, портретировал светописью – и не один раз. Так вот, к отцу Евфиму...

Вержбицкий } (вместе). Покажите карточку,
Товмаченко } Феофан Гаврилович!

Лобода (*смеётся*). Да что вы, право, не даёте договорить! Нет ещё у меня карточки Тараса Григорьевича. Однако непременно раздобуду у Гудовского. Так вот, к отцу Евфиму Тарас Григорьевич продолжал ходить в гости. И как-то раз засиделись до трёх ночи, а Тарас Григорьевич вдруг решил уходить. Веселье было в полном разгаре, и отец Ефим, угаром гостеприимства увлекаемый, приказал слуге не открывать перед Тарасом Григорьевичем ворот. Наш украинский гений, и без того вконец раздражённый, пришёл в совершенное неистовство, при этом в выражениях отнюдь не постеснялся. Тогда отец Евфим понял, что переборщил, почухал в потылице и позволил, как он выразился, честным мощам святого Тарасия покинуть пределы его владений. И Тарас Григорьевич, невзирая ни на какие тебе новые, без обид, уговоры, пошёл в осенней тьме, как был, без калош, по этой вечной грязи, что под оградой Софийского собора.

Товмаченко. А что ему, Тарасу Григорьевичу, пришлось не по душе на той вечеринке?

Лобода (*после паузы*). Я Тарасу Григорьевичу земляк, он бывал у нас в доме ещё в крепостном своем отрочестве, и свободным, до первого ареста своего, того, десятилетней уже давности, и я знал его всегда как человека чрезвычайно деликатного...

Аскоченский (*с внезапной горечью*). Где там теперь! Нет, не тот, не тот уже мой Тарас!

Лобода. Я только и хотел сказать, господа, что если теперь Тарас Григорьевич пару раз и вышел из себя,

так только потому, что очень уж жестоко был наказан. И оба раза, о которых я известен, у него для таких срывов были серьезные резоны. Я уж не говорю, что дело его тогда было ещё на решении у князя Васильчикова, и при неблагоприятном течении следствия могло закончиться снова тюрьмой. А у нас в Киеве это Косой капонир в крепости.

Т о в м а ч е н к о . Расскажите, прошу вас, об обоих случаях! Вы не представляете, Феофан Гаврилович (*переглядывается с Вержбицким*), как для нас с Юлэком важны самомалейшие подробности о настоящем, живом Шевченко.

Л о б о д а . Одну историю я вам уже рассказал. Вторая произошла на семейном обеде у одного очень уж хлебосольного киевского патриота. Тот пожелал продемонстрировать знаменитому гостю все прадедовские церемонии угощения. Посему пили «стуканця» – до борща и после борща, и чтобы рыба в воде плавала, и потому, что она воду любит, зубы полоскали и уж не помню, какие ещё хозяин находил поводы снова налить своей крепчайшей калгановки. Я-то мог и пригубить, а от почётного гостя требовалось, чтобы каждый раз – «до дна». На дворе было нестерпимо жарко, в комнате душно, и у Тараса Григорьевича нервы сдали.

В окно заглядывает Ф и л ё р . Внимательно разглядывает собравшихся. Они его не замечают. Ф и л ё р исчезает.

А с к о ч е н с к и й . Ох, не тот теперь Тарас!

Л о б о д а . Да была ведь, я же сказал, была причина. После обеда хозяин сел за фортепьян, а его замужня дочь взялась петь украинские песни – а у нас ведь только и знают, что «Йихав козак за Дунай» и «Виють витры». Вот Шевченко и высказал с полной непринужденно-

стью своё неодобрение этому наследию графа Джузеппе Сартти и других итальянско-малорусских композиторов. То ли дело, говорит, настоящая, народная песня...

Товмаченко. А какая была у Тараса Григорьевича причина разбушеваться на ужине у отца Юхима?

Лобода. Что-то разболтался я сегодня, господа... Не к добру. Да ладно уже, где наша не пропадала! *(Тихо)*. Сказал мне Тарас Григорьевич, что к нему там посадили филёра, и подозревает он в соучастии отца Ефима, что вряд ли справедливо.

Пауза.

Товмаченко. Так что ж, Тарас Григорьевич и сегодня живёт у Гудовского? Это там, где ателье его – на углу Маложиитомирской со стороны Крещатика?

Лобода *(неохотно)*. Да нет уже. Тарас Григорьевич решил поселиться на самой окраине, чтобы полиция его не достала. Он теперь квартирует у одной моей знакомой, у госпожи Пашковской.

Вержбицкий. А можно узнать адрес, милостивый государь?

Лобода. Право, не знаю даже... Во всяком случае, Тарас Григорьевич меня не уполномочивал. Он туда никого не приглашает, сам ходит в город навестить, кого захочет. *(Пауза)*. Да ладно уж, студентов он, я думаю, с радостью примет... Запомните, адрес простой: по дороге на Вышгород, на Приорке, слева на горке собственный дом госпожи Пашковской, там каждый покажет.

Вержбицкий. Позвольте поблагодарить вас от имени киевского студенчества, милостивый государь.

Товмаченко. Спасибо вам огромное, Феофан Гаврилович! *(Переглядывается с Вержбицким)*. По-

звольте мне, Виктор Ипатьевич, отлучиться на пять минуток, товарища проводить.

Аскоченский *(с неожиданной яростью)*. Нет уж, позвольте вам не позволить, господин студент! Уж выслушайте сначала, что я скажу! Не тот стал Тарас, не тот! Был вчера здесь у меня, был он, ваша малорусская знаменитость – и жестоко меня оскорбил! Да вы понимаете ли, до чего короткими были у нас раньше отношения? Он ведь одобрил стихотворения мои, которые ваше общество, пан студент, обсмеяло! *(Выпучивает глаза на Вержбицкого. Вдруг подсакивает к нему, выхватывает из руки тросточку и ломает её на две части, бросает на пол)*. Вот что значит для меня ваше мнение, господа провинциальные аристократы!

Вержбицкий *(спокойно и непринужденно усаживается на стул, кладет ногу на ногу, поправляет на носу очки. Всматривается в Аскоченского, будто редкостного зверя в зверинце разглядывает)*. Grubian... Laska... трость венской работы! Господин Аскоченский, с чего вы это взяли, что ваше хамство на сей раз сойдёт вам с рук?

Товмаченко. Юлэк!

Аскоченский. Так ты, сопляк, вызывать меня вздумал? Не дожدهшься! Да я тебе морду набью, вот тебе и вся дуэль. Тебе не понять, полячишка, о чём речь! *(Вдруг обнимает Товмаченко и Лободу, могучим движением прижимает их к себе)*. Быть может, друзья, для меня мысль о том, что где-то на земле живет и страдает Тарас, была единственным утешением. Когда я своего «Асмодея нашего времени» писал, когда этого безбожного циника частично и с себя, грешного, списывал, передо мною сиял светлый образ Тараса. Се Человек! Пройдя через все немислимые унижения

и оскорбления крепостного детства и юности, он не обозлился на людей, сохранил кротость и чистоту души. Он в каждом искал и поддерживал лучшее, человеческое! Он жил для других, о себе нисколько не заботясь! Он был настоящий святой на нашей грешной земле!

Л о б о д а . Успокойтесь, Виктор Ипатьевич! Хотя бы потому успокойтесь, что наш Тарас Григорьевич и сейчас таков. И если я ненароком...

А с к о ч е н с к и й *(передразнивает весьма раздраженно)*. Успокойтесь, успокойтесь... Это вы спокойны, несчастная вы посредственность, потому что нечему в вас восставать. Вы сейчас присели между двумя стульями, между обскурантами и прогрессистами, пытаетесь устроиться в жизни, чтобы и нашим и вашим... Нет в жизни гаже позиции, и один из неё путь – в ад! Я-то сумел воспарить над нею, придушив немало дорогого и любимого мне в своей душе, чтобы бестрепетно стать на сторону Бога против дьявола... Но вчера Тарас сделал всё, чтобы обрушить мою веру в человека!

Л о б о д а . Да что за напасть, наконец!

Т о в м а ч е н к о . Вы говорили, у вас гостил Тарас Григорьевич...

А с к о ч е н с к и й . Я думал сделать ему приятное, перевесить то странное впечатление, каковое (Бог его знает почему) произвел на него программой своего журнала. Когда-то он плакал над песней «Злетів орел попід небо», которую мы с ним ошибочно почитали за народную. Тарас ещё и потому плакал, что у «орла» мать тоже умерла, как и у него. Оказалось, что песню сочинил некто Станиславский, я переписал у старика текст. Когда пришел Тарас, я прочитал ему. Тарас покрутил своей лысой головой...

Вержбицкий }
Товмаченко } (вместе, изумлённо). Лысой?!

Аскоченский (*грубо*). Как колено. А какой же ещё? Он светил порядочной плешью ещё в первое наше знакомство... Покрутил своей лысой головой, говорю! И хмыкнул в свои вислые седые усы. (*Вержбицкий и Товмаченко переглядываются*). А потом сам нашёл перо и чернильницу, присел вот к этому столу (*показывает*) и дописал эту вот дрянь... Где та моя бумажка? (*Роется в карманах*). Ах, вот она...

В Малороссии родилась
И воспитана была.
Отца-матери лишилась,
Сиротою век жила.
И в бардели очутилась.
На смітнику умерла.

Какое оскорбление! Каков ответ на чувствительное движение моей души? Записать для меня сей лакейский образец творчества...

Товмаченко. Да уж, Максику понравилось бы...

Аскоченский (*подозрительно*). Какому такому ещё Максику?

Товмаченко прыскает в кулак. Вержбицкий, усмехаясь, молча рассматривает Аскоченского.

Товмаченко. Да это, Виктор Ипатьевич, наш знакомый лакей из «Минерашек»...

Аскоченский. Лучшая для вас компания, юноши...

Лобода. Виктор Ипатьевич, вы меня обругали, да брань на ворота не виснет. Может статья, вы и правы относительно меня, но не все же мы борцы... Однако ваша раздражённость и ваш апоплексический вид мне весьма не нравятся. Найдётся ли у вас где прилечь? Не послать ли за парикмахером, чтобы пустил кровь?

Аскоченский. К чёрту вашего цырульника! Вы, в вашей провинциальной тупости, не можете постичь, что сейчас происходит последняя и решающая борьба добра со злом! Для всех нас одно спасение – грудью, до последней капли крови защищать основы нашей национальной жизни! Да, да, господа! Те самые многожды обруганные и осмеянные православие, самодержавие, народность. Да, согласен, в этих наших основах есть гадкие, смешные, даже отвратительные стороны, однако вся беда в том, что нам нечего, кроме них, противопоставить той высокой океанской волне неверия, цинизма, отвратительного эгоизма и разврата... Да, той волне, что неумолимо идёт на нас с Запада и вот-вот сметёт старую Русь. Она обезобразит и ваш уютный мещанский Киев, где так славно гнить и разлагаться, думая, что одна древность города спасает его от пошлости... Как тяжело сражаться одному! Как тяжка добровольно и истово взятая на плечи ноша добродетели! Тарас предал меня! Знаете ли, за что он был арестован? За кощунство! Богородицу называл «покрыткою», вот так! Мне плохо... плохо... *(Срывает с шеи воротничок)*.

Лобода *(убеждённо)*. Это только слухи! Какое ещё там кощунство? Дело о кощунстве вершилось бы в консистории, а не у военного генерал-губернатора князя Васильчикова!

Аскоченский. Я не могу видеть ваши тупые физиономии. Да еще такие красные... Боже, всё красное, будто в крови... (*Тяжело ступая, уходит вправо, очевидно, в спальню*).

Слышен стук упавшего на землю массивного тела, потом короткий крик, скорее громкое рычание. Звуки бьющегося на полу тела.

Лобода. Да у него ведь падучая... Эй, поищите, чего бы вставить Виктору Ипатьевичу в рот между зубами?

Медленно поднимается со стула Вержбицкий, нагибается, поднимает с полу один из двух обломков своей трости, протягивает Лободе.

Вержбицкий. Больше ничего не вижу поблизости... Вставьте, милостивый государь, православному воителю. (*Короткая пауза*). Чтобы не откусил в судорогах свой красноречивый язык.

Занавес

Акт третий

Задник декорации представляет собою изображение большой хаты Пашковской, ныне дома № 5 по Вышгородской. Перед домом забор с калиткой, впереди спускается на авансцену зеленый, с пятнами осенней листвы, холмик.

Из-за левой кулисы слышен стук копыт, звук откидываемой дверцы, скрип подножки.

Появляются Ольга, Товмаченко и Вержбицкий.

Товмаченко. Ух ты, наконец. Это здесь, товарищи, я уверен.

Вержбицкий. Тогда стучи!

Товмаченко поднимается к калитке, стучит. Через некоторое время появляется Горничная, таращит глаза на Товмаченко, закрывает лицо руками, хихикает и исчезает. Товмаченко разводит руками.

Вержбицкий. Да, Серж, ты неотразим. Посему противник предпочел укрыться за крепостной стеной. Однако надо бы повторить попытку и начать переговоры.

Слышен новый топот копыт, сопровождаемый на сей раз и отчетливым скрипом колесных осей. Из-за левой кулисы вылетают Галинка и Левицкий. Она барабанит его кулачками по спине.

Галинка. Ач чего вздумал! Руки распускать! А я вот Серёженьке пожалуюсь!

Левицкий. От скаженная! Да я ж только хотел помочь тебе сойти с брички...

Товмаченко хватается за голову. Потом снова стучит кольцом запора калитки.

Ольга (*закусив губу*). Потрудитесь сказать, Сергей Михайлович, что делает здесь эта скандальная особа?

Товмаченко снова разводит руками. Топчется, спиной к честной компании, у калитки.

Вержбицкий. Позвольте мне объяснить, дорогая Ольга Ефимовна. Это была моя задумка. В нашей компании все одеты в европейское платье, а украинский наряд Галинки как бы придает нам национальный колорит. *Coloure locale*. И чтобы было на чём отдохнуть взору маститого поэта.

Ольга. А на моей стройной фигурке, стало быть, не может отдохнуть взор знаменитого поэта? (*Нервно, но с долей кокетства*). Благодарю вас, пан Юлиан. Теперь мне вполне понятно ваше ко мне отношение.

Галинка. И чего бы вам дуться, панночка? Ну, повздорили, как между девчатами случается. Так я на вас за Серёженьку зла не держу, готова и помириться.

Вержбицкий (*едва не теряет в волнении очки*). Простите, Бога ради, Ольга Ефимовна. Я вовсе не ожидал такого эффекта.

Калитка снова раскрывается. В ней появляется Горничная. Смотрит на Товмаченко так, будто он вот-вот скажет нечто очень смешное.

Товмаченко. Мы, милая, к господину Шевченко. Передай, пожалуйста, Тарасу Григорьевичу, что пришла депутация от киевских студентов.

Г о р н и ч н а я хихикает и исчезает за калиткой.

Г а л и н к а . А добрый будыночек.

В е р ж б и ц к и й . Умоляю, без замечаний!

Л е в и ц к и й . Чего-то я не понимаю, други... А славно мы погуляли в прошлый раз, правда, коллега Вержбицкий?

В е р ж б и ц к и й . Наверное, коллега, наверное... А вот сейчас мне хотелось бы хоть небольшой ясности. Понять, на первый случай, туда ли мы попали.

Т о в м а ч е н к о возвращается к компании. Г а л и н к а тут же повисает у него на руке. Т о в м а ч е н к о пытается стряхнуть её с себя, смущённо оглядываясь на О л ь г у .

Л е в и ц к и й . Как бы там ни было, а прогулка уже получилась, други. Чудесное солнышко, теплынь. И давненько я не катался на извозчике.

О л ь г а . Прости, Петечка, но иногда ты бываешь непроходимо туп. Вот сейчас, пролетит несколько мгновений – и мы увидим великого поэта! Тут сердце то бьётся-бьётся, то замирает... А ты... (*Машет рукой*).

Калитка скрипит, медленно приотворяется. Все замирают. Из калитки появляются Г о р н и ч н а я и М а к с и к , которые выносят и устанавливают венское кресло-качалку.

Л е в и ц к и й . Тю! Ты, что ли, Макс? А откуда ты, любезный, взялся?

М а к с и к (*косится на калитку*). Как это откуда? Известно, из «Минерашек». У здешней хозяйки (*косится на калитку*) сегодня день тезоименитства её супружника, наш управляющий на именины приглашены и меня с собой присовокупили, в рассуждении этому вот растению (*показывает пальцем на Г о р н и ч н у ю*) помогать.

(С глубоким убеждением). Но ей самой уже ничем не можешь.

Пашковская (*появляется из калитки, опираясь на палку, усаживается с помощью Горничной в кресло. Грозит палкой Максику*). Пофилософствуй ещё тут у меня! (*Свысока*). Только что Оришка мне донесла, что какие-то панычи и барышни спрашивают Тараса Григорьевича Шевченко. Что вы за люди?

Товмаченко (*выходит вперед. Горничная охает и прячется за кресло-качалку*). Мы – депутация к Тарасу Григорьевичу от киевского студенчества. Позвольте представить вам, госпожа Пашковская, моих друзей – выпускницу Института благородных девиц Ольгу Левицкую (*Ольга делает книксен*), студента юридического факультета Юлиана Вержбицкого (*тот кланяется*), студента духовной академии Петра Левицкого, брата Ольги (*кланяется*). А сам я студент историко-филологического факультета Сергей Товмаченков. (*Кланяется*).

Пашковская (*показывает подбородком на Галинку*). А это что с вами за овощ?

Товмаченко (*с некоторой обидой*). А это наша подруга Галинка Сорока. Она горничная Надежды Марковны Дзюбенко, что живет на Крещатике в собственном доме, и её крепостная девка. (*Галинка, неуклюже подражая Ольге, приседает*) Однако наш дружеский круг не знает имущественного и социального ценза.

Максик. О! Браво, Серж! Брависсимо! Позвольте карандашик и кусочек бумажки – записать! (*Шарит по карманам*). Впрочем, такое сказанули, чему не страшна человеческая забывчивость.

Пашковская. Так вы и с этим шутком гороховым знакомы?

В е р ж б и ц к и й (*рассматривая свои ногти*). Мы с господином Максом недавно познакомились на Байковой горе. Устроили совместный пикник.

П а ш к о в с к а я . Ну и молодёжь пошла! Какие выбрыки вы себе позволяете! А я Варвара Матвеевна Пашковская, хозяйка этой усадьбы. Я тоже себе сейчас многое позволяю, потому что доктора приговорили меня к смерти, от моей болезни, и дают мне немногие месяцы.

О л ь г а . Да что вы! Они бесспорно врут, доктора!
Г а л и н к а . Такэ скажетэ!

П а ш к о в с к а я . Спасибо на добром слове. А ты, милая, как сказал тот красавец, закончила Институт благородных девиц. Небось, наш киевский? Я в нём тоже поучилась в своё время, однако курса не кончила: родители забрали меня и выдали замуж.

О л ь г а (*горько*). А вот я закончила. И получила диплом. Помню его на память, как оду Державина «Фелица». (*Декламирует*). «И она получает, не подвергаясь особому испытанию, свидетельство на звание домашней наставницы и, если в течение 20 лет посвятит себя образованию детей, имеет преимущественное право на поступление в дом Призрения бедных девиц благородного звания». Однако и в богадельню я вряд ли попала бы: звание мое недостаточно благородное...

Л е в и ц к и й . Пока я жив, у Оли всегда будет верный кусок хлеба.

П а ш к о в с к а я . Судя по братцу твоему, ты из поповского звания? (*Ольга кивает*). Надо же! В первый раз в жизни вижу такую утончённую поповну...

О л ь г а . Благодарю вас, но... (*складывает просительно руки*). Варвара Матвеевна, прошу вас, не томите дольше! Скажите, когда выйдет к нам Тарас Григорьевич?

П а ш к о в с к а я (недоумённо). Послушайте, но разве Оришка не сказала вам, что Тарас Григорьевич сегодня на рассвете уехал в Петербург?

О л ь г а падает в обморок и скатывается с холма на авансцену. Возле неё бестолково хлопочет Г о р н и ч н а я , Г а л и н к а смотрит на неё сверху, подбоченившись.

Л е в и ц к и й . Оля, ведь я же просил тебя утром: сделай себе омлет!

В е р ж б и ц к и й . Галинка, чего стоишь столбом, да помощи же ты ей!

П а ш к о в с к а я . И правда, девка! Дай-ка ты ей нюхнуть ароматических солей! (*Подзывает к себе Г а л и н к у , даёт ей флакон*). Боюсь, что бедная девочка связывала с нашим Тарасом Григорьевичем слишком большие надежды...

В е р ж б и ц к и й (*задумчиво*). Не без того, пани Варвара, не без того...

Г а л и н к а , высоко поднимая ноги, спускается с холма. Оскалившись, буквально тычет Ольге под нос открытый флакон, отчего та открывает глаза и возмущенно вскидывается. М а к с и к показывает Г а л и н к е кулак. Т о в м а ч е н к о разводит руками.

Пока все заняты этим инцидентом, вверху, за спиной П а ш к о в с к о й , появившись слева, вдоль забора протанцовывает свою партию Ф и л ё р . Корчит рожи, с ужимками заглядывает в окна и прочее. Исчезает справа.

О л ь г а (*поднимается на ноги, говорит, сгорбившись, глядя в землю*). Как прекрасно было узнавать человека по написанному им! Чистота чистой души проливается на чистую бумагу, а пишущий с грязной душой, как бы ни скрывался он, обязательно оставит между строк грязные следы. Какое это было наслаждение, когда в тёмном дортуаре передо мной ярчайшим светом

вспыхивали слова «ТАРАС», «КАТЕРИНА», «ШЕВЧЕНКО», а сквозь тюфяк жгла мою спину заветная тетрадка со стихами!

Повернувшись влево, В е р ж б и ц к и й знаками показывает М о р и с у, чтобы принес, на чем сидеть. Тот, вызвав фурор у Г о р н и ч н о й и ироническое внимание к себе П а ш к о в с к о й, важно приносит раскладной табурет и ставит его перед хозяином. В е р ж б и ц к и й показывает на О л ь г у. Та, не глядя, садится на табурет, когда ей его сзади подставляет М о р и с. Выпрямляет спину и, глядя теперь перед собою, продолжает говорить.

О л ь г а. Вот ведь кто по-настоящему любит людей! Шевченко не может не любить своих героев, несчастных Катерину, Наймычку, девушку, залоскоченную русалками, потому что он их не описывает, а оказывается внутри их. Катерина, которая слишком безоглядно полюбила, это и есть Шевченко, а Шевченко, страдающий вместе с нею и внутри неё, это и есть Катерина. И вовсе никакой он не «кобзарь», он просто становится Перебендей, когда пишет о нём. Что ж я – кобзарей не видела? Шевченко гениальный поет, и если вдуматься, его творческий подвиг выше, чем у Пушкина или Лермонтова. О Гёте не скажу, слишком плохо в институте учили нас немецкому, чтобы я могла судить о его поэзии.

Её прерывают аплодисменты. О л ь г а будто проснулась, недоуменно озирается. Аплодирует Л о б о д а, незаметно для присутствующих вышедший из калитки.

Л о б о д а Bravo, милая барышня! Я тоже не стал бы хаять сумрачных немецких гениев. Гете и Гейне – вот где великаны духа! А теперь к ним прибавляется Вагнер, творец античной мощности и универсальности, заставляющей вспомнить о Леонардо да Винчи.

Вержбицкий. Я читал, даже в Париже образовалась партия вагнерианцев и вагнерианок.

Лобода. Я с удовольствием записался бы в шевченкианцы.

Товмаченко. И за шевченкианками, как видите, дело не станет.

Галинка. И шо цэ вы такэ кажэтэ? Эфто ж про нашего пана Вагнера? Аптекарь он и правда нэпоганный. Але ж пьяныця, цэ все знают.

Максик. Стулы пэльку! Ты доиграешься, дурная девка, что нас отсюда выставят. А до чего же умное слово – шевченкианец! (*Шарит по карманам*).

Вержбицкий (*осторожно*). Ольга Ефимовна, а почему вы думаете, что как творец Шевченко выше Пушкина и Лермонтова – или, скажем, Мицкевича?

Ольга. Но это так просто, неужели сами не понимаете? Пушкин, Лермонтов, Мицкевич – все они были дворяне и с детства витали, как рыба в воде плавают, в атмосфере высших умственных и художественных интересов нашего времени. А Шевченко родился крепостным крестьянином, и то, что дворянские гении впитали с молоком матери, должен был добывать тяжким духовным трудом. А самое главное! Ваши Пушкин и Лермонтов, да и Мицкевич тоже, и Гёте, и Гейне, что бы о них ни говорили, все они уже умерли. Что они создали, то создали, а нового уже ничего не напишут. А наш Шевченко жив! И он как раз в расцвете сил, наш великий поэт! Стряхнул он с себя десятилетнюю солдатчину, как Илья Муромец повисших на нем татар, снова пропагандирует среди простого народа. Его арестовывают, вынуждены отпустить, и даже неусыпное жандармское наблюдение...

Лобода. Панночка, умоляю вас! Осторожнее, ведь и стены имеют уши.

Ольга. Но я только о том, что за такой живой развалиной, как поэт Подолинский, что под Киевом свой век доживает, и жандармы не станут следить. А наш великий поэт преисполнен энергии, – как это по-русски сказать? Да, он дышит силой, излучает мощь. У него впереди долгие десятилетия творческого труда – и он такое ещё напишет, такое... (*трясет поднятыми над головой кулачками*). Такое создаст, что поднимет его не только над Пушкиным и Лермонтовым – над всеми поэтами всей Земли вознесёт!

Пауза.

Товмаченко. Что ж, спасибо вам большое, госпожа Пашковская. Мы, наверное, пойдём. И так отвлекли вас напрасно от гостей.

Те, что сидели на траве, поднимаются. Появляется Морис, чтоб забрать из-под Ольги табурет, когда и она встанет. Ольга склоняет опять голову, начинает подниматься. Между тем Товмаченко с повисшей на нем Галинкой, Вержбицкий и Левицкий поворачиваются спиной к Пашковской и успевают сделать по несколько шагов влево.

Лобода. Гей, а куда это вы?

Вержбицкий. А если уехал Шевченко, что нам теперь здесь делать, пан Лебединцев?

Лобода (*деловито*). Всё не так плохо, как вам кажется, молодой человек. Ведь Шевченко не гусар какой-нибудь, наш поэт не на перекладных полетел, а на еврейской балагуле влачится. К тому же поехал он сейчас в Переяслав, собираясь там погостить немного у своего приятеля Козачковского. Если возникнет необходимость, Тараса Григорьевича можно без особенных хлопот и догнать.

О л ь г а . Да где уж мне, это не с нашими деньгами.

П а ш к о в с к а я (г р о м о в ы м г о л о с о м , п ы т а е т с я стукнуть палкой о траву). Стоять! Стоять, кому сказала! Куда это вы собрались? Неужели вы не хотите услышать от меня, как появился здесь Тарас Григорьевич? Неужели вам не интересно, что он за человек в действительности, этот ваш великий малороссийский поэт?

Не возражая, компания возвращается на прежние места, О л ь г а опять садится на подставленный М о р и с о м табурет, а Л о б о д а на этот раз укладывается у ног О л ь г и .

П а ш к о в с к а я . Он ко мне заявился самым оригинальным образом. Приходит какой-то незнакомец и ни с того ни с сего просит взять его на квартиру в долг, чтобы и харчеваться у меня. Видите ли, он не может из Киева выехать, пока ему не пришлют денег из Петербурга. И внешности оригинальной – огромнейшая лысина, вислые седые усы, лицо в глубоких морщинах, росточком небольшой, а фигура, как у русской матрёшки. (С удовольствием обводит взглядом молодёжь).

В е р ж б и ц к и й и Т о в м а ч е н к о переглядываются.

О л ь г а (весело). Ну и прекрасно, что как у матрёшки! Если бы в его годы выглядел как Ринальдо Ринальдини, покоя ему не было бы от вот таких вот. (Подбородком показывает на Г а л и н к у , не отпускающую руку Т о в м а ч е н к о).

Г а л и н к а . Вы уж звиняйте, скажу прямо – очень они мне нужны, старые и лыдые! (Улыбается Т о в м а ч е н к о и тут же снова показывает язык М а к с и к у).

П а ш к о в с к а я . Ну, об этих делах после. Я его тогда спрашиваю, а кто он такой? А он говорит: «Как

видите, человек! Шёл я, шёл, вижу – хата, не то барская, не то мужицкая – белая, белая, как сметана, да еще и садиком обросла; а на дворе детские сорочечки сушатся, рукавами машут – меня зовут. Я и зашёл». Мне это объяснение так понравилось, что я, дальше не спрашивая, взяла оригинала на квартиру. Я ведь, хоть о Шевченко и слыхала, портрета его никогда не видела.

Лобода. Но вы же, Варвара Матвеевна, прекрасно читаете его «Наймычку» и другие поэмы, а сколько небольших стихотворений – так даже и на память! А говорите: «о Шевченко слыхала». Зачем прибедняться?

Пашковская. Я только через несколько дней выяснила, что мой чудаковатый постоялец – тот знаменитый поэт. Он тогда уже стал в усадьбе своим, и не только для меня (меня он звал «тётушкой») и для моих шести детей, но даже для всех соседок и их белоголовой детворы. Дети бегали за ним, выкрикивая: «Дядьку! Да расскажи ты ещё хоть одну сказочку!»

Максик (*вполголоса Лободе*). Приношу вам препокорнейшую просьбишку, Феофан Гаврилович, впишите и меня, недостойного, в шевченкианцы. Если, конечно же, это товарищество не цурается (*скашивается на клочок бумажки*) имущественного и социального ценза.

Лобода. Отстань, парень, дай послушать.

Пашковская (*бросив возмущённый взгляд на Максика и Лободу*). Чудак он ещё тот, скажу я вам. Однажды является ко мне с двумя сразу просьбами: чтобы эта вот Оришка постирала его бельё тоже в долг и чтобы я одолжила ему хоть гривенник, «бо очень нужно». Потом я сообразила, зачем ему деньги, хотя жил у меня

на всем готовом. Разумеется, я согласилась. И когда начала безмозглая эта Оришка пересматривать бельё Тараса Григорьевича...

Горничная *(внезапно бубнит, загибая пальцы)*. Сорочек мужских – 10, подштанников – 4, полотенце – 4, салфеток – 2, носовых хусточек – 10...

Пашковская. Уймись, а то ещё и о заскорузлых носках доложишь. И запомни на будущее, если сумеешь: в приличном обществе говорят не «подштанники», а «невыразимые».

Ольга отворачивается, Галинка хихикает, Левицкий хмыкает в кулак. Остальные делают вид, что ничего не слышали.

Пашковская. И тогда Оришка, раскладывая на кучки «дядькино бельё», нашла на двух носовых платках узелки, а в них ассигнации – в одном узелке на двадцать пять рублей, а во втором ещё на три карбованца. Любая прислуга на месте глупой Оришки спокойно сунула бы эти деньги за пазуху и поблагодарила бы судьбу за нечаянный подарок. А эта курица не нашла ничего лучшего, как отнести деньги, что упали ей с неба, нашему чудаку. Он же обрадовался и целый день был сам не свой: всё пытался вспомнить, когда это он завязал ассигнации в носовые платки? Да так и не вспомнил.

Максик. И вправду безмозглая девка – если дозволено мне будет высказаться. Ведь с долею не шутят! Уж если Оришка отказалась от дара судьбы... *(Поворачивается к Горничной)*. Ожидай теперь, дурепа, большого несчастья.

Галинка. Максик, сам ты дурень! Орыся – девушка честная и не посмела стибрить. И то скумекай, у кого – у самого Шевченко! Да он бы только глянул ей в глазёнки своим огненным взором – и куда тут денешься?

Упала бы на колени и повинилась бы. Как по мне, уж лучше несчастье от злой доли испытать, чем такой позор.

П а ш к о в с к а я . Если прислуга уже высказалась, не будет ли и мне разрешено продолжить?

М о р и с (*выступает из-за левой кулисы*). S'il vous plaît, madame.

П а ш к о в с к а я . Слава Богу! (*Морис, сохраняя чувство собственного достоинства, прячется за кулисой*). Если моя Оришка повела себя по-дурацки, то мой постоялец ответил ей ещё большим чудачеством. Как я не уговаривала его расплатиться этими деньгами за стол, чай, квартиру и стирку, он упёрся: «Это, видно, пустяковые какие-то деньги, если я совсем забыл о них, а пустяковому – пустяковая и дорога». И вот тогда... Эй, молодёжь, да что это я такого сказала?

А тем временем за её спиной появляется из калитки Г а л у ш н и к . Он без шапки. У Г а л у ш н и к а фигура матрешкой, лысина на всю голову и длинные вислые усы. Студенты и О л ь г а разевают рты.

О л ь г а . Боже! Все приметы в наличии. Тарас Григорьевич, так вы ещё не выехали?

Л е в и ц к и й (*хватается за голову*). Так это я самому Шевченку дал бухана?!

Т о в м а ч е н к о . Позвольте вам, Тарас Григорьевич, представить...

Г а л у ш н и к . Гей! Вы шо – сдурели? Я не Тарас Григорьевич, а Гнат Костийовыч. (*Прищурившись, присматривается к Левицкому*). Шось он такэ сказал. Боже, да цэ ж тот самый дебошир, шо мне врезал на Байковой горе! И девки те же... Рятуйтэ, добрые люди! (*Прячется за калитку*). Караул!

П а ш к о в с к а я (*ворчит*). Так это же мой сосед. Сделали мне из двора бедлам. (*Наконец, разворачива-*

ется вместе с креслом-качалкой к калитке). Гнат Костийович! Вы чего-то хотели?

Г а л у ш н и к (*поднимает голову над забором*). Варвара Матвеевна! Голубушка! Гоните в шею эту шайку дебоширов! И сами убегайте, пока и вам не натоekli! А к вам послали меня гости с именинником, супругником вашим Павлом Максимовичем. Идите быстрее! Без вас уже горилка греется, а борщ вот-вот простынет. (*Голова Галушника исчезает*).

П а ш к о в с к а я (*серьёзно*). Ну и насмешили вы меня, ребята. Сравнили, уж простите меня, старую и больную, античную вазу с немецкой ночной посудинной. Ведь Тарас Григорьевич в сравнении с моим соседом – это же настоящий орёл! Одни глаза его хоть бы вспомнить...

В е р ж б и ц к и й . Описывать нужно было лучше, тётушка.

П а ш к о в с к а я . Что?! Что вы сказали?

В е р ж б и ц к и й . Да смолол языком, не подумав. Простите, madame.

О л ь г а (*звонким голосом*). А Тарасу Григорьевичу не нужно было вспоминать, когда это он завязывал деньги в носовой платок. И с какой стати ему это делать? Ему нужно только вспомнить, где в последний раз стирали его бельё, и не было ли в том доме великодушной дамы, которая таким образом могла поддерживать деньгами своего непрактичного приятеля.

П а ш к о в с к а я . О! Признаться, мне это не пришло на ум. Так вот, на счастливо найденные деньги он устроил настоящий пир для моей и соседской детворы, сам притащил с базара большой мешок с изысканными лакомствами и игрушками, а затем и стоворенная им перекупка привезла ручную тележку с яблоками, грушами, пряниками, баранками и с румяными

французскими булочками. Детей набежало полсотни, не меньше, и я не могла позволить им затоптать мой зеленый дворик и ухоженный, чистый сад. Спроведила всю честную компанию на выгон, где и совершился банкет. Но наибольшее удовольствие от пира получил, наверное, сам Тарас Григорьевич. Не скрою, господа, что взрослая публика, сбежавшаяся на это зрелище, ни чуточки не стесняясь, громко поддержала чью-то догадку, что «старый, по-видимому, съехал с катушек».

Т о в м а ч е н к о . Мало ли чего тупые мещане ляпнут!

О л ь г а . Мне поступок Тараса Григорьевича представляется прекрасным, хотя тревожит одна деталь. Скажите, Варвара Матвеевна, Шевченко рассчитался с вами перед отъездом?

П а ш к о в с к а я . Да, разумеется! Ему какой-то знакомец привёз, наконец, деньги, и он весьма педантично рассчитался со мной, не забыв и самой мелкой из услуг, какие деланы ему были поверх нашего с ним условия. Щедро одарил и прислугу. (*Горничная старательно кивает головой*). Мне и детям притащил из города целую шкатулку заморских винных ягод, пятнадцать фунтов – «чтобы ели – не кашляли».

О л ь г а . Тогда всё в порядке. Меня в институте учили – да и вас, наверное, Варвара Матвеевна, – что мужчины склонны к чудачествам, а женщины должны их останавливать – однако лишь в том случае, когда эскапады мужа ведут к разорению семьи. А в этот раз рядом с Тарасом Григорьевичем (*вздыхает*) очутилась умная женщина, которая тактично пыталась направить его на путь... педантичности. Разве я не права, Варвара Матвеевна?

П а ш к о в с к а я (*некоторое время всматривается в Ольгу*). Бедная девочка... Да, вы правы, между

мной и Тарасом Григорьевичем возникло чувство взаимной симпатии. Я впервые догадалась о его заинтересованности моей особой, когда заметила, что поэт недолюбливает моего мужа. Шевченко в наших беседах называл моего Павла Максимовича не иначе, как «чиновником в пуговицах». Мне он как бы в шутку сознавался, что если был бы помоложе, а я не такая... непривлекательная и больная, то обязательно влюбился бы у меня. Вот как. Это за моё умение петь песни о Сагайдачном и о чайке-несчастливике. Ой! Как в голове стрельнуло! Оришка, бегом неси очипок и платок!

Оришка выбегает. Пашковская прижимает ладони к вискам, кривится. Вержбицкий подходит к сидящей Ольге, легко кланяется.

Вержбицкий (вполголоса). Ольга Ефимовна! Поверьте, мне сейчас очень тяжело. Однако не примете ли вы от меня карету с Морисом и лошадьми? Вы легко догоните своего Шевченко, поговорите с ним. А там либо отпустите Мориса с каретой ко мне, либо вернётесь вместе.

Левицкий. Да не бывать же этому! Как можно так вот, элегантно и непринужденно, лишать меня сестры? Она – единственное, что осталось у меня на свете.

Ольга (посмотрев на Вержбицкого, будто никогда раньше него не видела). Благодарю вас, Юлэк. Позвольте мне зарезервировать ваше щедрое предложение. Однако сразу скажу, что принять благодеяние означает попасть в зависимость от того, кто предлагает. А я не хочу быть зависимой даже от вас. (Брату). А ты, Петро, напрасно считаешь меня своей крещёной собственностью.

Т о в м а ч е н к о (*хватается свободной рукой за голову*). О боже! Юлэк решился объясниться с Ольгой!

Г а л и н к а (*ласково*). А тебе, Серёженька, какое до этого дело?

Между тем прибегает Г о р н и ч н а я , приносит очипок «с кикой» и платок. П а ш к о в с к а я насовывает очипок на голову по-деревенски, почти по самые брови, а поверх него Г о р н и ч н а я повязывает ей ещё и пестрый головной платок. В сочетании с шёлковым, в талию, парижским платьем выходит зрелище, которое вынуждает присутствующих окаменеть.

П а ш к о в с к а я (*умиротворённо*). Вот видите, стоило только надеть – и головную боль как рукой сняло! Ведь мне это Тарас Григорьевич объяснил, что боли оттого меня грызут, что хожу по-панскому, свечу волосами, тогда как замужняя женщина должна покрывать голову.

Т о в м а ч е н к о (*вполголоса*). Да не мог Шевченко такого сказать. Такое ретроградство скорее какому-нибудь Галушнику к лицу.

П а ш к о в с к а я (*обиженно*). Если вам не интересно, как прожил Тарас Григорьевич у меня эти без малого две недели, то я пойду к гостям – заждались уже. Вот, едва не забыла. Здесь одна барышня даже слишком, кажется, беспокоилась о нашем поэте, так это напрасно она. Тарас Григорьевич не раз мне говорил, что хочет жениться, наконец, завести семью, как у людей. Но только не образованную барышню взять за себя, а умную крестьянскую девушку. Чтобы жить с ней по законам предков. И хотя за мною вроде бы ухаживал, но я же не дура последняя, я же видела, что в действительности он на моих девок поглядывал. Понятно, у себя в доме я никаких ухаживаний не допустила бы, а он, как человек очень умный, это видел.

О л ь г а (*гордо*). Это говорит только о том, что судьба сводила Тараса Григорьевича не с теми образованными девушками.

Г о р н и ч н а я (*подбоченивается, вытаращивает глаза*). Шо-шо? (*К Пашковской с упрёком*). А почему же вы, пани, мне раньше про дядьку не сказали? (*Плачет*).

Г а л и н к а (*убежденно*). Дура она дура и есть. Тю на тебя!

М а к с и к . И ейная девичья поведенция не без упрёка обретается.

Л о б о д а аплодирует. Слышен далёкий грохот грома.

П а ш к о в с к а я (*пожав плечами*). Полагаю, я могу продолжить? Ложится Тарас Григорьевич очень поздно, а просыпается на рассвете, чтобы тополя ему прошумели «Доброе утро!», и птички защибетали. К утреннему чаю всегда выпивает добрую рюмку горилки, загрызая обязательно её горсточкой пшена, добытою из кармана шаровар, широких, как Чёрное море. Любит настоящий украинский борщ, затёртый пшеном и затолченный старым салом, вареники с сыром из грубой муки-гречихи и из неё же галушки. Правда, от двух последних кушаний у него каждый раз начинается чрезвычайно болезненная изжога, но от неё лечится той же горилкой. Ещё по рюмке с закуской пшеном употребляет он перед завтраком, перед обедом, после послеобеденного сна, перед вечерним чаем и перед ужином. Однако никто из домашних и никогда не видел его выпившим. После очередной рюмки веселеет только и становится разговорчивее.

Л о б о д а . К сожалению, молодые люди, я видел его, на второй день по приезде, утром у отца Ефима,

в таком виде, что и говорить не мог. Сие, конечно же, не уменьшает моего глубочайшего почтения к Тарасу Григорьевичу.

П а ш к о в с к а я (*опять пожимает плечами*). Что я видела, о том и говорю. И ещё Тарас Григорьевич очень любит детей. Бывало, после обеда выйдет он, голубчик мой, в сад, ляжет на траву под своей любимой яблоней и громким голосом зовет к себе детвору на беседу.

Вдруг сначала дом П а ш к о в с к о й , а затем и холм под ним покрывает пелена ливня. Прибегает М о р и с с двумя огромными зонтиками. Раскрывает их. В е р ж б и ц к и й , О л ь г а и Л о б о д а прячутся под один зонтик, Л е в и ц к и й , Г а л и н к а и Т о в м а ч е н к о – под второй. М о р и с убегает.

Г о л о с П а ш к о в с к о й . И ещё Шевченко умеет шевелить усами по-кошачьи!

Шум ливня стихает, пелена тает. Перед забором нет теперь ни П а ш к о в с к о й , ни Г о р н и ч н о й , ни М а к с и к а . Исчезло и кресло-качалка. Зато над забором появилась вывеска «ФІЛІАЛ ДЕРЖАВНОГО МУЗЕЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА». Впрочем, персонажи пьесы, оставшиеся на сцене, вывеску не замечают. Приходит М о р и с , забирает зонтики у В е р ж б и ц к о г о и Л е в и ц к о г о , складывает, относит за левую кулису.

Т о в м а ч е н к о . Злая гадкая баба рассказывала вовсе не о Шевченко. Усами шевелит, как кот, с тупыми детьми возится, а о том, чтобы рисовал что-нибудь или писал, и помина нет.

Л о б о д а (*не отводя глаз от Ольги*). Юные друзья мои! Знали бы вы, как мне не хочется возвращаться за этот нудный стол к Пашковским!

В е р ж б и ц к и й . И не возвращайтесь, дорогой Феофан Гавриилович! Мы с вами больше молчали здесь,

но неужели нет у нас, о чем теперь побеседовать? (Достаёт золотые карманные часы, щёлкает крышкой, опять закрывает). Только что открылся ресторан «Европейской гостиницы». Вот только не знаю, как здесь найдём извозчиков на всю компанию...

Ольга. Располагайте вашей каретой, Юлэк. Никуда я не поеду. Мало я выстрадала, пока наш с Петею папа погибал от водки? Себя загубил, да и маму заодно.

Левицкий (вздыхает). Не думаю, что всем интересны наши семейные обстоятельства, сестричка. Однако и тому уже радуюсь, что теперь не придется тащить тебя на плечах в амбар и запирать.

Лобода. Мне сейчас пришло на ум, что лет через сто, когда жизнь станет легка и прекрасна, выйдет книжка воспоминаний о Тарасе Григорьевиче. Вы только представьте себе, друзья, сколько там будет сладкой лжи!

Ольга. А я беспокоюсь, не попал ли Тарас Григорьевич в дороге под этот ливень.

Лобода. Вряд ли. Наш Киев город небольшой, собственно, однако раскинулся широко. Вот я с Щекавицы не раз видел, что над Липками дождь, а на Подоле сухо. Поэтому необязательно и Шевченко только что намочило.

Галинка. Известное дело.

Товмаченко (рассеянно улыбувшись Галинке). Книжка воспоминаний о Тарасе Григорьевиче выйдет через сто лет только в том случае, если через сто лет будет существовать украинская нация.

Вержбицкий. Поляки о вашем великом поэте в любом случае не забудут. А украинцы – куда вы, Трохимы и Одарки, и через сто лет денетесь?

Л о б о д а . А я скажу вам, мои юные друзья, что украинцы ещё восстанут из рабства и невежества. Если Шевченко сумел подняться с колен и запеть так, что его слышали и россияне, и поляки, и обязательно ещё услышит вся образованная Европа... Если Шевченко уже совершил это, и неизвестно, каких ещё высот достигнет, то и миллионы его единоплеменников, живущих на огромном пространстве наших степей и лесов, ещё заставят мир заговорить о себе.

Так беседуя, компания уходит влево.

Вдруг сцену заливает яркий солнечный свет, и на глазах зрителей по стенам хаты П а ш к о в с к о й бегут трещины, а вывеска повисает на одном гвозде.

Занавес

2009 г.





Шевченко подсудимый

Трагифарс в четырёх актах



Действующие лица

Председательствующий – высокий человек в белой мантии, лицо прикрыто трагической маской Зевса, стоит на котурнах, говорит через рупор.

Первый заседатель – иеромонах о. **Вениамин**, отец-типограф Киево-Печерской лавры. Седой, старенький, в чёрном монашеском одеянии.

Второй заседатель – генерал от кавалерии, член Государственного Совета граф **Александр Христофорович Бенкендорф**, в голубом мундире со всеми положенными знаками отличия, орденами и крестами, с золотой саблей, усыпанной бриллиантами.

Третий заседатель – генерал-лейтенант, начальник Виленского жандармского округа **Андрей Александрович Куцынский**, тоже в голубом мундире, с солдатским Георгиевским крестом.

Подсудимый Шевченко – чучело собственно: на деревянный каркас скелета надет прорезиненный макинтош, вместо головы торчит посмертная маска поэта, снятая Клодтом. На некоторые реплики действующих лиц отвечает жестами. Впрочем, можно вместо чучела поставить актера.

Обвинитель – **Фаддей Венедиктович Булгарин**, маленький парализованный человечек в партикулярном платье, сидит в инвалидной коляске, прикрытый клетчатым пледом.

Защитник – **Осип Иванович Сенковский**, в персидском халате, человек на вид симпатичный и интеллигентный.

Свидетели:

Леонтий Васильевич Дубельт, генерал-лейтенант, управляющий Третьим отделением – длинноусый блондин с приятным, несколько слащавым лицом.

Николай I – в золотом венке и шёлковом белом хитоне; впрочем, снизу выглядывают ноги в панталонах с генеральскими лампасами, натянутых поверх сапог со шпорами.

Адольфинка, она же Дуняша, радость наша.

Мадам Гильде, она же фройляйн Хильда Шмидт.

Михаил Лазаревский – скромный невысокий человек с типично чиновничьей внешностью. Из тех, кто в николаевские времена действительно носил чёрные сатиновые подштанники – из опасения, что начальство заставит задрать штанину, проверяя, исполняется ли высочайшее распоряжение.

Ликера Полусмакова, в замужестве Яковлева – пожилая, одета бедно, будто в трауре.

Аскоченский, издатель газеты «Домашняя беседа» – толстяк в смиренной рубашке с завязанными рукавами.

Варфоломей Шевченко, дальний родственник Тараса Шевченко – седой мужчина с красивым значительным лицом, несколько неожиданным для простолюдина. В сюртуке и галстуке, брюки, однако, заправлены в грубые сапоги.

А так же:

Михаил Драгоманов – кудрявый, с маленькой бородкой, красавец средних лет, щегольски одетый по моде 80-х годов XIX века.

Борис Семёнович Якоби – старик с важным бритым лицом, в фартуке с пятнами от кислот поверх университетского мундира.

Шевченковед – одетый в костюм по моде сороковых годов XX века, однако в вышитой сорочке.

Вечный студент – в потрёпанном университетском студенческом мундире, тощий и высокий, с молодой бородкой и анахронической косой, в которую собраны сзади его длинные жидкие волосы. Говорит пылко, легко заикаясь, перед началом речи и на её протяжении время от времени подвигает пальцем круглые свои очки выше к переносице.

О. Григорий – в белом клобуке (и остальной наряд можно скопировать с торжественного облачения Филарета, патриарха УПЦ КП).

Княжна Варвара Николаевна Репнина – в тёмном платье и, несмотря на неправильные черты лица и полноту, выглядит достойно и аристократично.

Апостол Павел – в тоге и сандалиях на босу ногу. В манерах нечто напоминающее повадки протестантского проповедника. Черноволос, с редящими волосами, клинообразной чёрной бородкой, внешне соответствует, по возможности, изображению на росписи катакомбы Домициллы.

Слуга – Фёдор Эрстов, сторож Петербургской академии искусств, прислуживавший Шевченко на его последней квартире. В обтрёпанном солдатском мундире, в сапогах. Именно он обеспечивает жесты Подсудимого, устанавливая ему в соответствующие положения руки и голову.

Актриса – звезда маскультуры, пародирующая Руслана в клипе «Дикие танцы», в костюме обязателен черный топик под кожу, такие же короткие шорты и высокие сапоги.

Рабочие сцены одеты солдатами малосильной команды.

Декорации и оборудование зала остаются, в основном, неизменными на всем протяжении пьесы. Сцена представляет собою трехъярусную темную конструкцию. Верхний ярус составляет стоящая справа высокая кафедра Председательствующего, на той примерно высоте, что и кафедра для проповедника в киевском Андреевском соборе, второй ярус – стол, как для президиума, за ним лицом к залу восседают судебные заседатели, третий – столик, у которого, стоя, дает показания очередной свидетель.

Зал тёмен, только светятся два выхода слабым красным и слабым белым. Когда действующее лицо появляется из красного выхода, свет разгорается и колеблется, будто от пламени, слышны неясные крики, шум. Появление действующего лица из правого выхода сопровождается ослепительной вспышкой белого света и звуками арфы. Остальные действующие лица потихоньку приходят с приставными стульями, потом софитом высвечиваются и вызываются на сцену.

Постепенно зрители в зале осознают, что сами играют роль душ чистилища.

Акт первый

На сцене за столом о. Вениамин, Бенкендорф, Куцынский, за кафедрой – Председательствующий, справа сидит в инвалидной коляске разбитый параличом Обвинитель, слева – Защитник. Чучело с посмертной маской стоит перед столом, но ближе к Председательствующему. На полу возле него сидит Слуга. Все, кроме последнего, обращены лицом к зрителю.

Председательствующий (*стучит по кафедре*).
Прошу тишины! Заседание суда над академиком Тарасом Шевченко открывается!

Голос из зала. Кто ж вас назначив судыты Поэта?!

Председательствующий (*заводится*). Кто, кто? Эй, ты в пальто! Спросил, так хоть ответ выслушай, невежа! Тот, Кто назначает, вот Кто. (*Тычет пальцем в потолок и продолжает скучным голосом*). Кандидатуры судебного присутствия утверждены сверху и обсуждению не подлежат. Милостивые государи, представьтесь, ведь не все в зале присутствовали на предшествующем слушании. Прошу сначала судебных заседателей.

Заседатели переглядываются.

Бенкендорф (*прокашлявшись, снисходительно*).
Да ладно уж, начните вы, отец... Э-э-э...

О. Вениамин. ...Вениамин, бывший лаврский отец-типограф, с вашего позволения, господа. То бишь

пребывал я иеромонахом, начальником типографии Киево-Печерской лавры. Оторван был я для сего заседания от дела самонужнейшего: набирал объявление – в узорной рамочке, с виньеткой! – относительно субботней прогулки в райских кущах. Наборщики наши почившие, хотя и монаси, как один горят в пекле, пропойцы бестолковые...

Председательствующий. Гм.

О. Вениамин. А судить присягаю по правде: знакомство у меня с покойным Тарасом Григорьевичем (*смотря испуганно на посмертную маску, крестится*) было скорее так себе, шапочное. Детей я с господином художником Шевченкой не крестил, книг отпечатанных он, в друкарню до меня заглядывая, из стосов не цупив...

Бенкендорф. Понятно, отец. Меня же, я думаю, все знают.

Председательствующий. Ну извините, Ваше сиятельство, однако же не все при дворе бывали и ваши портреты, хотя и гравированные, видели. Представьтесь, прошу вас, вкратце.

Бенкендорф. Что ж, дамы и господа, позвольте мне в таком случае *representer*. Граф империи Российской Александр Христофорович Бенкендорф, из знатного в Германии рода франконского. России и русскому государю служил честно, саблей и головою в царском совете, как мог. Генерал от кавалерии, кавалер многих российских орденов, партизан в Отечественной войне 1812, за храбрость пожалован золотой саблей... Да, сенатор, член Государственного Совета. Что-то там ещё...

Голос из зала. Сатрапэ ты царськый!

Бенкендорф (*улыбнувшись пренебрежительно*). Благодарю, сударь, за напоминание. А я ведь, действительно, а *гггггг* основатель и первый начальник

Третьего отделения царского его величества собственной канцелярии, шеф Отдельного корпуса жандармов России. Подсудимого академика Шевченку не знал лично, хотя о выкупе его императорской фамилией из крепостного состояния извещен. К прохождению дела его отношения не имел, тем не менее обещаюсь судить сурово, но справедливо. Уж кого-кого, а людей из низших классов я никогда не обижал. О, как рыдали простолюдины, когда я опасно заболел на службе царской в году, помнится, в 1837-ом!

Председательствующий. Теперь вы, Ваше превосходительство.

Куцынский (*встаёт, щёлкает каблуками и наклоняет голову*). Генерал-лейтенант, кавалер орденов российских Куцынский Андрей сын Александров. Спервоначала желательно мне подчеркнуть, что для меня эфто великая честь – сидеть за эфтим столом рядом с его сиятельством, моим наивысшим начальником по службе в жандармском корпусе. А сам я, господа, в более приятственные для всех нас времена (*всматривается в посмертную маску, потом в зал, горестно вздыхает*) служил начальником Виленского жандармского округа. Я, господа, происхожу из крепостного состояния, отдан господином моим в солдаты и храбростью беззаветной выслужился в унтер-офицеры, а там и в офицеры, и личное дворянство кровью своей заслужил... Академику Шевченко, каюсь, помог в дни неприятности его в Киевском жандармском округе, потому как мне, господа, душевно близка была и карьера его, земляка моего, на мою похожая, и стишки его малороссийские читал не без приятности. Однако честь моя порукою, что судить буду беспристрастно как царю верный слуга.

Председательствующий. Благодарю, Андрей Александрович. Теперь вызовем прокурора и защитни-

ка... Прошу прощения, я должен осведомиться у вас, господа, в этом самом составе, на каком именно языке вам желательно проводить судебное следствие?

Бенкендорф (*оживляясь*). Изволили начать на русском, а теперь предлагаете перейти на *le française*? Оно несколько непатриотично, и – pardon! – нам, похоже, придется иметь дело с различинцами.

Куцынский. И я беглый француз плохо разумею. Пускай лучше на русском.

О. Вениамин. Дозвольте мне почтительно присоединиться.

Голос из зала. Украинською мовою!

О. Вениамин, приставив руку к уху, растерянно прислушивается. Куцынский набылчился. Бенкендорф достает лорнет и с изумленной улыбкой высматривает крикуна в темном зале. Чучело склоняет голову.

Председательствующий (*как ни в чём ни бывало*). Настала очередь прокурорского обвинителя и судом определённого защитника...

Обвинитель (*выкатывает свою коляску на авансцену*). Я – действительный статский советник и знаменитый русский писатель Фаддей Венедиктович Булгарин. Польщён доверием высшего начальства и приложу все усилия, чтобы поддержать обвинение. Его сиятельство знает, что мне не впервой выводить на чистую воду литературных смутьянов и проходимцев... Первое обвинение у нас весьма серьезное – государственная измена...

Председательствующий Аж гульк! Откуда же вам сие известно, полупочтеннейший Фаддей Венедиктович?

Обвинитель. Да какой я был бы его сиятельства первый по литературной части доноситель и верный

помощник, если бы такой малости не сумел бы прознать? Ваше сиятельство, Александр Христофорович! Защитите вашего покорного слугу, умоляю! Хи-хи.

Бенкендорф отмахивается, словно от надоедливой мухи.

Председательствующий. Теперь защитник... Представьтесь, милостивый государь.

Защитник (*встает, раскланивается*). Барон Брамбеус, ещё более знаменитый, чем дружок мой Фаддей.

Заседатели дружно ахают.

Председательствующий (*быстро*). Тут были вопросы, были... В наше с вами благословенное время, господа судебные заседатели, никаких на суде защитников, кроме совести самих судий, и не полагалось. Тут возникала идея пригласить из последующих времен какого-нибудь адвоката. Конечно же, не простого, а из прославленных судебных ораторов – Кони или Плевако...

О. Вениамин. Какие еще кони?

Защитник (*хохочет*). Тпру, отченька, тпру, не туда заехали! (*Вдруг серьёзным тоном*). Кони – это случаем не Фёдора Алексеевича сынок?

Председательствующий. Его, его, известного водевилиста. Автора преуморительной пьески «Петербургские квартиры». А темка-то вечная, особенно для людей мелкотравчатых... Так вот, славные юристы Кони и Плевако слишком критически относятся к нашей тёмной (в судебном отношении) эпохе, кроме того возникли почти непреодолимые технические препятствия. Посему и явилось распоряжение (*тычет пальцем в потолок*) назначить на должность защитника Юлиана Яновича Сенковского...

Защитник. ...Осипа Ивановича! Рекомендуюсь, коль надобно. Осип Иванович Сенковский, автор 442 произведений в прозе художественной и ученой. Бывший профессор кафедры восточных языков в Санкт-Петербургском университете, издатель известного в каждом русском доме лучшего русского литературного журнала «Библиотека для чтения».

Председательствующий. Поясню резоны такого назначения рапа Juliana..., то есть Осипа Ивановича, как я их сам уразумел. Во-первых, человек он талантливый, изобретатель, органиструм какой-то новый изобрел, вот и новое для себя занятие легко освоит. Во-вторых, Осип Иванович известен своим трудолюбием и ответственностью. Позволю себе напомнить, что в конце своей земной жизни Осип Иванович подрядился вести колонку фельетона в «Сыне Отечества» и последнюю статью свою для этой газеты додиктовывал, когда у него начиналась уже предсмертная икота. В-третьих, хотя Осипу Ивановичу и приходилось высмеивать и критиковать стихи Шевченки, но зададим себе вопрос – а кого из писателей русских не критиковал и не высмеивал веселый и резвый Барон Брамбеус? Словом, Высшая власть твердо рассчитывает на объективность и непредвзятость Осипа Ивановича.

Защитник *(вначале погрузнел, потом оживился)*. Да уж, да уж, всем сестрам по серьгам.

Председательствующий. Чего ж тянуть, начнем, пожалуй. Вы, Фаддей Венедиктович, небось, уже и обвинительное заключение подготовили? Так валяйте, зачитывайте.

Обвинитель. Извольте. *(Протягивает руку, как Ленин с броневика)*. Моё заключение будет кратким, как почти и всё гениальное. Скажите, какое может

потребоваться еще обвинение, если самой монаршей властью Шевченко был на десять лет отправлен туда, куда и наш вшивый Макар опасается гонять своих замызганных телят? Кто я такой, чтобы подвергать сомнению приговор высшего российского суда – самодержавной монаршей воли?

Председательствующий. Однако... Хотелось бы напомнить, что весьма многое из того, что делалось при покойном императоре Николае I, в последующее царствование оказалось отменённым или исправленным. Начиная с крепостного права хотя бы...

Бенкендорф. А прогос, известно ли вам, господа, кто первым подал государю Николаю Павловичу записку о необходимости отмены этого отвратительного крепостного права?

Обвинитель. Неужто чудак Сперанский?

Бенкендорф. При чем тут Михаил Михайлович? Это я составил такую записку как начальник Третьего отделения ещё в 1833, если не ошибаюсь, году. А кто предложил провести железную дорогу между Москвой и Петербургом?

Председательствующий. Думается, все тут известны, что также ваш был проект. Как председатель комитета по строительству её вы являетесь, совместно с графом Клейнмихелем, отцом этого общепольного предприятия. И ещё рассказывают, как Ваше сиятельство, бывшу вам назначену начальником Третьего отделения, попросили для своих чиновников и жандармов инструкцию и как государь Николай Павлович заместо инструкции вынул вам свой носовой платок, дабы вы утирали им слёзы обиженных.

Бенкендорф. Господи, чего эти штафирки только не придумают! Хотя... А ведь неплохо измышлено.

О. Вениамин (*огорченно*). Так значит – брехня?
Бенкендорф (*от него отмахиваясь*). Анекдот сей – враньё, конечно, но высочайшая инструкция была, по сути, именно такой: кто же ещё, кроме жандармов, мог спасти простого русского человека от тупого произвола мелких провинциальных начальников, от продажных судей и полиции хотя бы? А какой отбор, какой конкурс, господа, был в жандармский корпус! Из двадцати офицеров, подавших заявление, брали только одного, да и то – пожалуй сперва, дружок, в нашу школу и сдай после обучения экзамен! Вот так.

Председательствующий. Покорнейше прошу прощения, господа, но мы отвлеклись. Фаддей Венедиктович, вы изволили поддержать обвинение художника Шевченки в государственной измене, однако в речи своей не привели достаточных к оному тяжкому обвинению оснований. Если не хотите сразу же проиграть процесс в сем наиважнейшем пункте, вызывайте свидетелей, дабы они...

Защитник. А знаете, господа, почему плутишка Фаддей пытается поскорее проскочить этот пункт, государственную измену? Потому что на собственной шкуре слишком хорошо прознал, что такое измена русскому государю.

Обвинитель. Ложь, беспардонная ложь! Да я тебя, Оська, по судам затаскаю!

Защитник. Кишка тонка! Ведь ты же сам мне в пьяном виде хвастался, а для судов, коими грозишься – есть же твой послужной список! Разве это не тебя за мерзкую сатиру на полкового командира выставили из гвардии, из уланского Государя Цесаревича полка? И ты ещё два года прослужил армейским подпоручиком, пока не был уволен из армии с худой аттестацией. Якшался со всякой дрянью в Ямбурге, спился совсем, воровал,

что плохо лежит, просил милостыню. Наконец, удрал к французам и поступил в польский легион Наполеона рядовым, делал карьеру в Испанской и Русской кампаниях...

О. Вениамин (*с ужасом*). Это когда же – неужто при нашествии двенадцати язык?

Защитник. Именно, именно, отче! Бахвалился плут Фаддей, что именно в корпусе маршала Удино, прорывавшемся тогда к Петербургу, дослужился он до капитанского чина!

Обвинитель (*собравшись с мыслями, решается*). Господа, да вы только взгляните, кто это вздумал меня упрекать? Такой же поляк, друг изменника и беглеца Лелевеля, член богопротивного студенческого общества!

Куцынский (*встаёт, грозно нависает над съёжившимся в кресле Булгариным*). Присягу государю императору Александру Павловичу эта вошь принимала несомненно, и присяге сей святой изменила столь же несомненно. Одному удивляюсь: как это наши не расстреляли подлеца-полячишку, взявши в плен?

Бенкендорф (*явно развлекаясь*). Могу, генерал, рассеять Ваше недоумение. Почтеннейшему Фаддею Венедиктовичу просто повезло, ибо сдался он не русским, а пруссакам, уже по взятии Берлина. После войны, освободившись из плена, имел наглость переехать в Варшаву, а потом заявиться в Петербург.

Обвинитель (*постепенно приходя в себя, всё с большей уверенностью*). ...Имел наглость, имел наглость... Вы чересчур суровы к слабому человеку, Ваше сиятельство. Грешки юности, страстишки молодой неопытной души – с кем не бывает? А в Петербург я приехал служить российскому престолу и русской словесности после всемилостивейшей амнистии. И служил столь усердно, что выслужил

государев Высочайший указ о переименовании моем из капитанов французской армии в VIII чиновничий класс...

Бенкендорф (*громким шепотом Куцынскому*). Выползал, шельмец, сей указ на коленках, сперва у меня на ковре, потом перед государем Николаем Павловичем.

Обвинитель (*обиженно*). Позвольте заметить, что и в 1845 году, «во внимание к отлично-усердной и ревностной службе» было Высочайше повелено: «не считать препятствием к получению пенсии и других наград, кроме знака отличия беспорочной службы, отставки Булгарина в 1811 году, по худой аттестации, от службы»... Вот, на память запомнил! Просил я и знак отличия беспорочной службы – кто бы на моем месте не попросил? Но государь все милостивейше изволил не дать.

Бенкендорф (*снова громким шепотом Куцынскому*). При сем был высочайше выдран за уши, с отеческим поучением: «Ври, каналья, да не завирайся!»

Обвинитель. Да ладно вам, Ваше сиятельство... Смех-смехом, а моя ошибка молодости была высочайше объявлена несуществующей. Вот так-с.

Куцынский. Прямо как в том анекдотце, господа, где девица представила справку от трёх гусарских офицеров, апробировавших и свидетельствующих её девическую невинность! (*Сенковский ухмыляется, остальные будто и не слышали*). Гм. Виноват, Ваше сиятельство.

Председательствующий. Господа обвинитель и защитник! Я примечаю, что принцип состязательности суда вы поняли не вполне правильно. Соревноваться вам надлежит, отнюдь не обличая друг друга! Дело ваше – состязаться, стремясь от судей добиться оправдания или осуждения подсудимого Шевченки. Господин

обвинитель, если не имеете чего добавить к своей речи, вызывайте свидетелей, чтобы подкрепить обвинение. Вам дозволяется задавать им наводящие вопросы, после чего свидетель поступает в распоряжение господина защитника.

Защитник (*потирая руки*). Славно!

Обвинитель. А чего ж тут голову ломать? Расследовал дело киевского тайного Славянского общества управляющий Третьим отделением генерал-лейтенант Дубельт, ему и карты в руки.

Председательствующий. Вызывается генерал-лейтенант Леонтий Васильевич Дубельт!

Распахиваются правые двери, во вспышках блицев и звуках арфы является Дубельт. Сопровождаемый лучом софита, а затем Слугой, выходит на свидетельское место.

Дубельт (*Слуге*). Благодарю, мой друг. (*Снимает с головы серебряный венок, стягивает через голову длинный белый хитон. Оставшись в голубой жандармской форме, причёсывается и поправляет длинные усы*). О, Ваше сиятельство, мой добрый ангел и благодетель, до чего приятно встретиться с вами! (*Бенкендорф улыбается, кивает. Куцынский становится во фрунт*).

Куцынский. Здравия желаю!

Дубельт. Опомнитесь, генерал, о каком здоровье речь? Впрочем, вас помню, рад приветствовать. (*Раскланивается*). И вас, святой отец, и вас, господа. О, да тут заседание суда? Военного?

Председательствующий (*с неожиданной сухостью*). Судят известного вам художника, академика Шевченку. Обвиняется в государственной измене, а вы, Ваше превосходительство, вызваны как свидетель обвинения.

Дубельт (*на мгновение задумывается*). Так, значит, дело возобновлено. Зачем? Впрочем, негласный надзор не отменялся... Да ладно уж. Хоть какая-то деятельность. С утра до вечера слушай арфу – кишки уж наружу выворачивает! Единственное развлечение себе устроил – строевые занятия с ангелами, а так никакой пищи для ума. Ваше сиятельство, членам присутствия доверен ли доступ к делам с грифом совершенной секретности? (*Бенкендорф машет рукой, кивает утвердительно*). В таком случае готов выслушать ваши вопросы, господа.

Обвинитель (*фамильярно*) Леонтий Васильевич, обвинялся ли Шевченко в государственной измене?

Дубельт (*морщится, отвечает подчёркнуто официально*). В общем и целом такое обвинение выдвигалось против всего Славянского общества св. Кирилла и Мефодия, поскольку в его планах фигурировало расплывчатое требование устройства некоей славянской федерации, в котором Российской Империи не находилось места, зато присутствовала совершенно бредовая идея независимой Малороссии (в составе федерации, что ли? А чем тогда им не угодила наша империя?). Однако общество, как оказалось, не имело серьёзного политического значения, и наши опасения насчёт намерения этих болтунов действовать оружием или вести преступную пропаганду среди простого народа не оправдались. Поэтому заговорщики и наказаны были легко: в основном ссылкой в собственные имения или в места более или менее отдаленные. А вот на каторжные работы никто из них не попал.

Защитник. Кроме разве Шевченки: тот угодил в москали...

Дубельт. Ваш Шевченко, Осип Иванович, ещё счастливо отделался. Он твердо и умело защищался, на

очной ставке с одним до смерти перепуганным членом Славянского общества, неким, если не ошибаюсь, студентом Андрусевичем, спокойно опроверг его показания: доносителю казалось, что Шевченко был представителем неумеренного, бунтарского крыла малороссийской партии в Славянском обществе, имевшего целью восстановить гетьманщину. Всё это оказалось глупостями, и я, исследовав всё дело, в докладе на высочайшее имя, подписанным его светлостью, тогдашним начальником Третьего отделения и шефом жандармов незабвенным Алексеем Федоровичем Орловым, пришёл к выводу, что Шевченко не принадлежит к Славянскому обществу и действовал отдельно, увлекаясь собственной испорченностью.

Защитник. Тогда за кой хрен...?

Дубельт (*поднимает палец*). О! Преступление Шевченки было куда опаснее, чем прекраснодушные панславянские фантазии кучки провинциальных студентов и университетских выпускников. В возмутительных своих и в высшей степени дерзких малороссийских виршах он изливал клеветы и желчь даже на особ императорской фамилии, забывая в них личных своих благодетелей, удостоивших выкупить его из крепостного состояния.

Защитник (*примирительно*). Ну, неблагодарность свойственна человеку, Ваше превосходительство... Однако всё же – отдавать за стишки в солдаты... Разве не слишком жестоко?

О. Вениамин (*робко*). И правда, Ваше превосходительство, хотя вон Овидиус тоже был сослан за стихи...

Обвинитель. Почему же только Овидий? Помните, стихотворец студент Полежаев тоже был отдан

государем Николаем Павловичем в солдаты за стихи, да там и сгинул. А стишки в сравнении с Шевченковыми совсем невинные, у меня был, признаться, список.

Дубельт (*сладко улыбаясь*) Раз уж призывали меня, господа, так извольте до конца выслушать. С Овидием вы уж сами разбирайтесь, на то уж вы писатели и ученые, а упомянутого господином Булгариним Полежаева государь отправил, чтобы очистился военной службой, вовсе не в солдаты, а в унтер-офицеры. Это уже после дурацкого побега своего он был разжалован в рядовые без выслуги, и только по личной милости государя императора Николая Павловича дважды не подвергся наказанию шпицрутенами. Однако Полежаев был дворянин, а ваш Шевченко из крепостного крестьянского состояния, Полежаев написал вольные стишки глупым двадцатилетним юношей, а Шевченке было уже за тридцать...

Обвинитель. Позвольте поправить, Ваше превосходительство. Полежаев был незаконный сын вятского помещика Струйского, от крепостной, пардоньте, девки.

Дубельт (*оскалясь в мнимо-любезной улыбке*). Ваше замечание, господин Булгарин, доказывает, что знанию, не пущенному в дело, цена ломаный грош в базарный день.

Обвинитель. Это почему же, Ваше превосходительство?

Дубельт. Потому что аналогия с историей несчастного юноши Полежаева только запутывает и затемняет наше понимание преступления Шевченки. Тоже мне, сравнили дамский пальчик сами-знаете-с-чем.

Защитник (*аплодирует*). Браво, mon general! Ату его, ату!

Дубельт (*чеканит*). Преступление Шевченки отличается возмутительной дерзостью, а вина его усугубляется врожденными отвратительными нравственными качествами. Он подлец, трус и низкий притворщик. Малороссийский Тартюф! (*Подсудимый вздымает руки к небу*). Этой лукавой хохлацкой бестии (*сжимает кулаки*) несколько раз удалось провести меня – меня, который в политическом сыске собаку съел! И в том вина моя перед моими государями.

Председательствующий (*раздражённо*). И всё же, генерал, сформулируйте, в чём конкретно провинился Шевченко.

Дубельт (*несколько растерян*). Я не вправе разглашать, и потому не имею права, что речь идет о секретах уже не государственных только, а царствующей семьи тоже. (*Оправившись*). Скажу лишь, господа, что наказание было мною предложено весьма мягкое, не соответствующее тяжести преступления: как человека еще молодого, здорового, определить в пограничный Оренбургский отдельный корпус – и разумеется, под суровый надзор начальства. Шевченко происходит из подлых слоев общества, имел тогда звание некласного художника. Фук какой-то, а не звание (*будто сдувает пушинку с ладони*) – никакому военному чину не соответствует, так в какой же ещё должности, кроме как рядового, прикажете сего мужика, военным наукам не обученного, отправить в армейскую службу? Я и предложил – определить Шевченку рядовым с правом выслуги. Что такое – с правом выслуги, я надеюсь, вам, господа писатели, понятно? А вам, святой отец, сие вразумительно?

О. Вениамин (*с ужасом взирая на Дубельта*). Само собой, вразумительно, Ваше превосходительство...

А что сие означает, уж вы простите меня, глупого старика?

Дубельт (*любезно*). Сие означает, что ему оставлено было право выслужиться в унтер-офицеры. Для чего в военное время следует вызваться на опасное дело, выказать храбрость, а в мирное достаточно только сдать экзамены по строевым упражнениям с ружьём и по «словесности» (для человека образованного – раз плюнуть!). А из унтер-офицеров дозволяется выслужиться и в офицеры: снова быть в жарком деле, снова на глазах начальства отличиться под пулями – и ты уже офицер, а там глядишь, выслужив еще пару чинов, получаешь право проситься у государя в отставку. И зачем в отставку, когда перед тобой открывается лучшая в мире карьера – военная? Тому живой свидетель вон...

Защитник (*хохочет*). Так таки и живой?

Дубельт (*с достоинством*). Удивляюсь я, сударь, вашей жизнерадостности, для души, лишенной земной оболочки, тоже ведь не вполне естественной. Пардоньте мне оговорку, ни для кого ни обидную. Я хотел сказать, что вон заседающий в сем присутствии Андрей Александрович выслужился же от рядового до потомственного дворянства и звания генерал-лейтенанта, и к тому же не в армии, не в гвардии даже, а в частях наиболее привилегированных и к государю наиболее приближенных – в жандармском корпусе.

Куцынский (*хмуро*). Но не из государственных же преступников, Ваше превосходительство... Таких в жандармы ни при какой погоде не возьмут.

Обвинитель (*фамильярно*). Господин генерал-майор, не нужно нам хотя здесь очки втирать! Что ж мы все тут – сами крестьян не имели, не знаем, что так просто ни за что, с бухты-барахты, помещик кре-

постного своего в солдаты не сдаст? А тем более молодого, здорового и толкового!

Куцынский (*вдруг орёт так, что Булгарин дергается в кресле*). Не твоё дело, ты, прощённый изменник! Ушами слушай, а не жопой, польская ты мразь! Я говорю, что попал в солдаты не из государственных преступников.

Дубельт (*несколько свысока*). Успокойтесь, Андрей Александрович, я готов засвидетельствовать, что лоб вам забрили в результате истории замечательно романтической и вас вовсе не порочащей. Однако же вернемся к отданным в солдаты государственным преступникам. Вот, господа, вам прекрасный пример: солдаты-поляки. Бунтари, однако же народ молодцеватый. Кстати, очередной пример низости Шевченки и его двуличности: до солдатства своего поляков терпеть не мог и в написанном на малороссийском наречии опусе под названием «Гайдамаки» со смаком описывал убийства малороссийской чернью польского и еврейского населения в Юго-Западном крае во время бунта 1777 года...

Бенкендорф. Ужасная резня была мирных обывателей, а еврей-то за что пострадали? Какую же низкую душу надо иметь, чтобы воспеть этот тупой мужицкий бунт!

Дубельт (*любезно*). Совершенно верно, Ваше сиятельство! Но каков пируэт? На азиатской границе Шевченко принялся с теми же ляхами брататься, а с какими, в корпусе служащими, не встречался, так пустился в переписку и каждому – вот ведь подлец! – пишет: «Друже мой единый!»

О. Вениамин (*нерешительно*). А вы, Ваше превосходительство, откуда осведомлены, чего он там полякам писал?

Дубельт (*развеселившись*). Вы уж простите мне, святой отец, но вы задали чисто дамский вопрос. Даром, что ли, я упомянул, что Шевченко в армии оставался под суровым надзором? (*Вдруг, софит, освещающий Дубельта, начинает часто мигать*). И с чего это вы взяли, что мобильники не прослушиваются? (*Миганье прекращается, Дубельт недоуменно*). И что это я только что ляпнул?

Защитник (*с умным видом*). Здесь такое бывает. Магнитные возмущения, колебания в атмосферном электричестве...

Все присутствующие значительно переглядываются.

Дубельт. Так вот, поляки-то эти из солдатчины как раз и выслуживались. Вон один из приятелей Шевченки, Бронислав Залесский, тот выслужился сперва в унтер-офицеры, потом за Кокандский поход и за отличие при взятии Ак-Мечети получил первый офицерский чин, а потом служил в Оренбургском отдельном корпусе сперва по научной части, а затем при корпусной библиотеке. Чем не карьера для Шевченки, который над книжками, согласно донесениям агентов, просто трясся? Ещё один поляк, Сигизмунд Сераковский, тоже из приятелей Шевченка, тогда же, в Кокандской кампании, отличился такой храбростью и такой военной сметкой, ну просто молодец, одно слово... Мало того, что произведен в офицеры, но принят был в Академию Генерального штаба и отправлен в Петербург. На моей памяти уже капитан, отличнейшим образом служит в Генеральном штабе, подаёт большие надежды.

Куцынский (*сокрушенно*). Увы, подавал. Подавал надежды, Ваше превосходительство. (*Вздыхает*). Повешен по моему приказу. Виноват, если

огорчил ваше превосходительство. В последнее польское восстание сбежал он к rebеллянтам вместе с самозванным генералом Домбровским и возглавил вооруженные силы мятежников во вверенном мне некогда Виленском жандармском округе. В стычке с армейским отрядом ваш Сераковский был ранен, захвачен в плен. Армейское начальство передало его нам. Ну и... *(делает жест повешения)*.

Бенкендорф. Да не расстраивайтесь вы так, дорогой Леонтий Васильевич. Ну обманулись в полячишке – так что ж, разве вы первый? Трудно человеку чести прожить среди каналий. А поляки уж такая коварная нация! Наш русский мужичок словно про них сказал: сколь волка не корми, всё в лес смотрит.

Обвинитель и Защитник возмущенно переглядываются.

Дубельт *(махнув рукой)*. Да какая, собственно, разница?! Правильно сделали, генерал, что повесили. Всё равно это был храбрец, отданный в солдаты с выслугой и выслужившийся до капитана Генерального штаба Российской империи!

Куцынский *(крестится)*. Не дай мне, боже, такой храбрости – чтобы белому царю воинскую присягу порушить...

Дубельт. Да, но ведь это особая смелость: не убояться расстрела или позорной виселицы. А у Шевченки не то чтобы такой залихватской, разбойничьей храбрости не было, да и той, что попроще, обычной солдатской не оказалось. Это когда в шеренге отечественного войска, в открытом бою, где на миру и смерть красна, настоящий мужчина, не кланяясь ядрам и картечи, рвется подставить грудь под пулю и штык неприятеля. Потому что Шевченко трус! Почему присутствующий

здесь граф Александр Христофорович Бенкендорф пошёл в военную службу шестнадцати лет отроду? И он что – сразу генералом от кавалерии принят был и сразу же надел этот голубой мундир? Нет, принят был унтер-офицером, и в том же году уже бился с турками в Грузии, а потом прошёл через все войны, в которых Россия сражалась в начале XIX века, в том числе и все тяжёлые наполеоновские компании...

Бенкендорф. Ведь вы, Леонтий Васильевич, хоть десятком годков и помоложе будете, то же можете сказать и о себе. А под Бородином, в отличие от меня, ещё и ранены были...

Дубельт. Да, но никто не скажет обо мне то, что все знают о вас. Как вы, во главе партизанского отряда, громили французские тылы, пренебрегая угрозами Бонапарта, обещавшего вам петлю в случае пленения. Как вы, уже генералом и командиром Кирасирского полка, во время страшного петербургского наводнения сняли мундир, бросились в ноябрьскую Неву, доплыли до катера гвардейского экипажа, приняли им командование, и весь день спасали простолудинов, тонувших в разливах невских вод. А второй мой начальник по Третьему отделению, незабвенный Алексей Федорович Орлов! Тот в Бородинском сражении получил шесть сабельных ран, но вышел из боя только после ранения пикой в бок. Теперь посмотришь на Шевченка и спросишь себя: да что же это за мужчина, если он за десять лет не сумел научиться ружейным приёмам и только скулил и жаловался своим покровительницам и приятелям?

Чучело с маской беспомощно разводит руками.

Председательствующий (оживившись). Осмеюсь заметить, что трусость Шевченки была бы подсудна, если бы он проявил её в бою. Он же в боях и сраже-

ниях не бывал, а за то, что не просился у начальства на Кавказ или в Кокандский поход, а сидел себе смирно в мурье среди пустыни, где ему начальство определило, осуждать его законным порядком мы не вправе. Фаддей Венедиктович! Господин Булгарин! Имеются ли у вас ещё вопросы к свидетелю?

Обвинитель. Как же, как же! Конечно же, имеются. Что вы такое говорили, Ваше превосходительство, о том, что подсудимый будто бы несколько раз обманул вас?

Дубельт. Да, ему удалось меня объегорить дважды. А то и трижды – это уж как считать. Первый раз во время допросов у Тучкова моста, в Третьем отделении. Ему удалось убедить меня, что членом Славянского общества не был. Потом уже уразумел я, что фактически каналья был членом – и играл таки в нём главную роль. Ну в самом-то деле, что с того, что перстня со св. Кириллом и Мефодием не носил, что устава тайного общества у него не нашли? Уж если было это общество фантазёров и болтунов, то главным и самым опасным в нём и следовало бы признать стихотворца! Однако это мне уже после в голову пришло. Поздно было пересуживать. А надо было сразу Шевченку, не говоря худого слова, в крепость посадить и в одиночке сгноить.

Голос из зала. Ганьба! Сатрапы!

Дубельт (*задумчиво*). Второй раз он меня обманул уже после того, как мы отделились в Венгрии, придавив там революцию. Году, помнится, этак в 1850 его покровительница княжна Репнина открыла настоящую кампанию в высших сферах, дабы облегчить участь этого своего протеже. Получаем мы в Третьем Отделении несколько отношений от начальников Шевченки в

Оренбургском отдельном корпусе, наконец он и сам нагло обращается лично ко мне. Он мол, теперь вполне сознаёт своё преступление и вполне раскаивается.

Обвинитель. А чего просил?

Дубельт. Ныл, что нет у него ни молодости, ни здоровья, поэтому-де потерял всякую надежду на облегчение судьбы через военную службу. Чушь и дичь! А вот просьба была вполне разумная. Шевченко просил разрешить ему рисовать.

Защитник. А зачем было вас, занятого человека, о такой малости просить? Разве солдату запрещается рисовать?

Дубельт (*неохотно*). Нет, солдату как раз не запрещается. (*Оживляется*). В личное свое время хочешь – рубаху нательную штопай, хочешь – вшей в ней дави, хочешь – к сапогу новую подметку подбивай, хочешь (*расплывается в улыбке*) – акварельку пиши с товарища по казарме. Представил себе эту картину – самому смешно!

Председательствующий. Да уж! Портретный этюд акварелью в смрадной казарме, под развешанными на веревках портянками.

Защитник. Я весь внимание, Ваше превосходительство.

Дубельт (*очень неохотно*). Дело было в том, что на моём докладе про решение дела Шевченки государь Николай Павлович изволили дописать на полях карандашом: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать». Вот Шевченке и запрещалось.

Куцынский. Ага. Ну, теперь понятно.

Дубельт (*усмехается*). Рад за вас, генерал. А я тогда не весьма понимал, где тут собака зарыта. Шевченко имел звание неклассного художника, о чём ему выдан был аттестат, удостоверенный печатью

Императорской Академии художеств – так почему бы шельме и не рисовать? Никакие непозволительные рисунки его мне не известны. Я читаю в его письме, что он раскаивается. Ладно, мне пища, не грех и соврать (*жандармы и Булгарин, ухмыляясь, переглядываются*). Что же, я велю подобрать копии его писем из Оренбургского округа – нахожу и там такое же раскаяние, и очень даже патетическое, и очень даже религиозное. Он и княжне Репниной такое писал, и графине Толстой, пылкой его партизанке, которая, собственно и вытащила его на волю. Что ж думаю, если раскаялся, пусть уж, думаю, не зарывает свой талант в землю, авось чего полезного для государства Российского и нарисует. Он, помнится, до ареста сделал очень недурные картинки для «Истории Суворова». Заручаюсь поддержкой своего начальника Алексея Федоровича (*тонко улыбается, делает выдержку*) и обращаюсь к государю императору: так, мол, и так, не дозволить ли, Ваше величество, художнику Шевченке рисовать? А государь (*значительно*): «Ещё не настало время». Что ж, быть по сему. А потом там, в Оренбурге, один подпоручик накатал на него донос, что-де Шевченко и пишет, и рисует, и в партикулярном платье ходит и – вот уж крайнее безобразие! – живет не в казарме, а на частной квартире с неким поручиком Герном. А это для поручика могло кончиться весьма скверно, военным судом: в том случае, если доказано было бы его фамильярное общение с рядовым.

О. Вениамин (*робко*). Москалик, значит, уже и не человек. Уже и дружба с ним непозволительна.

Куцынский (*разводит руками*). Закон есть закон, отченька.

Дубельт (*мечтательно*) Второе дело Шевченки пошло обычным порядком: арест, обыск. Сижу я в

своём кабинете у Тучкова моста, читаю допрос, снятый с Шевченки в Богом забытой Орской крепости и вижу: обращается этот армейский бурбон, подполковник Чифирь, к Шевченке на «ты» – а ведь я – я! – и здесь, в Петербурге, допрашивал его на «вы»! Вот весело, думаю, выходит: тебя, подполковник, и близко не подпустят к тем аристократическим салонам, в которых этот рядовой толкался, а ты ему «тыкаешь»... В общем, покормил вшей в остроге наш «бывший художник» (так его тот армейский философ аттестовал) ещё с полгода вместе со всяким сбродом, что и было ему при решении дела государем императором зачтено как наказание. Думаю теперь, что Шевченка какая-то сволочь, писаришка там какой-нибудь, успела предупредить, потому что бумаги у него были найдены больше безобидные, письма в основном. Сгоряча местные умники в эполетах решили, что ему и переписка запрещена! Государь обвинил во всём покровителей Шевченка, а сам художник отделался кочевкой по батальонам, стоявшим в тамошних медвежьих углах.

Защитник. Чем же он вас обманул, Ваше превосходительство?

Дубельт (*со сдержанной яростно*). Да тем обманул, что не раскаялся вовсе! Сохранил свою противоземственную, необъяснимую ненависть к царствующему роду – и к царям вообще! Как только избавился от солдатчины и до Петербурга ещё не добравшись, накатав в Нижнем Новгороде вирши, ничуть не лучшие тех, за которые пострадал. Что-то такое там: «Фараоны... Кесари, то погань, лютая без Бога, сказано – драконы». А дальше про «новых фараонов и кесарей-людоедов».

Голос из зала. Слава! Слава Шевченку!

Обвинитель. Пьяные выкрики какие-то – и ничего больше.

Дубельт. Он ещё до первого ареста, в Киеве, называл всех монархистов мерзавцами, а вернувшись, принялся обличать – кого б вы думали? – святых Давида Псалмопевца и равноапостольного великого князя Владимира! Мне как доставили из Нижнего Новгорода список той поэмы, где про «кесарей-людоедов», прочитал я, грешный, схватился за голову и подумал: «Вот пожаловал мне государь три тысячи десятин леса, так найти бы там две по-настоящему гадких осины, чтобы на одной вздернуть Герцена, а напротив – Шевченку!».

Голос из зала. Ганьба!

Чучело Шевченко с грохотом падает на колени и вздымает руки к небу.

Защитник. Так почему же всё-таки царь запретил ему рисовать?

Дубельт (*раздражённо, переминаясь с ноги на ногу*). Вот вы сами у государя Николая Павловича и спросите – если не побоитесь. Я могу быть свободен, господа? Дежурю сегодня в райском генеральском круге при раздаче порций, а мне ещё по уставу положено с амброзии пробу снимать.

Председательствующий. Если ни у кого нет больше вопросов к вам... Так нету? Тогда благодарю вас, Ваше превосходительство.

Дубельт облачается в хитон, надевает венец, наскоро раскланивается и быстро уходит.

Председательствующий. А ведь идея неплоха... Господин Обвинитель, не желаете ли вызвать Карла Ивановича своим свидетелем?

Обвинитель. Кого, вы сказали?

Председательствующий. Да бросьте перед нами невинную девушку корчить. Небось и сами

так называли Николая I в частной переписке. И так? (*Булгарин энергично мотает головой*). У вас есть еще вопросы? Нет, значит. Тогда ваша очередь вызывать свидетелей, Осип Иванович.

Защитник. А вот я, господа, государя Николая Павловича, пожалуй, вызову. Вопрос о запрете рисовать остался ведь неразъяснённым.

Председательствующий (*кивнув, громко*). Защита вызывает свидетелем императора всероссийского Николая Павловича! (*Правые двери, выбросив пучок белого света и пару-тройку аккордов на арфе, сразу же захлопываются. Пауза.*) Делать нечего. Фёдор, сбегай поторопи.

Слуга проходит залом и скрывается за правым выходом. Пауза.

Обвинитель (*мечтательно*). А можно ведь было и доносчика сюда к нам вызвать...

Защитник. Признайся, Фаддей, что хотел бы покуражиться над парнем, как господин Дубельт над тобой куражился, а? Может, как он тебя, и тридцатью тремя рубликами серебром наградишь?

Обвинитель (*грозно, разворачивая коляску к Сенковскому*). *Pyłnij swoich spraw, lajdaaku!* Скажи мне лучше, почему ты над Дубельтом не решился посмеяться?

Снова короткая вспышка и аккорд на арфе, в зал влетает Слуга, вытолкнутый, по-видимому, взашей. Встаёт, ковыляет к сцене и на ходу ворчит.

Слуга. Так что сказали... Тийи фараоны-людойиды... Сейчас не придут!... А придут, когда покушают! И чего-то не понял я... По уху получил потому как... Чегой-то про Лександру Македонского...

Председательствующий. Ладно уж. Ужин так ужин.

Куцынский (*встаёт, официально*). Господин Председательствующий, позвольте вопрос. Было ли отдано вами распоряжение заготовить для нас порции на кухне на случай (к сожалению, уже произошедший), если мы опоздаем к раздаче?

Председательствующий (*мягко*). Не было нужды заготавливать, Ваше превосходительство. Для нас сегодня накрыли тут рядышком, в боковухе, то бишь в отдельном кабинете. Прошу к столу, господа. Антракт!

Акт второй

На сцене полный состав судебного присутствия. Нет только Слуги. Все молчат. Завороженно уставились на правый вход. Пауза.

Наконец, правая дверь распахивается, в блицах и райской музыке является Слуга с золоченым креслом в руках, за ним – Николай I.

Бенкендорф. Господа офицеры!

Жандармы немедленно становятся во фронт. За ними, посетившись, как собачка перед тем, как присесть *pour le grand*, встает и вытягивается Сенковский. Булгарин, ограниченный в своих верноподданных чувствах параличом, всеми силами стремится выразить нижайшее почтение. Неподвижны остаются только Председательствующий и Чучело. Слуга устанавливает кресло на сцене, рядом с местом свидетеля. Николай I, не сняв золотого венка и шелкового белого хитона, удобно устраивается в кресле.

Николай I. Бог мой! *Mon cher ami* Александр Христофорович, друг сердечный, вот где довелось увидеться! Садитесь, господа, почувствуйте себя вполне непринужденно.

Бенкендорф. Господа офицеры! (*Садится первый*).

Николай I. Послушай-ка, Председательствующий! Я же понимаю, что без воли Небесного Самодержца (*тычет пальцем вверх*) никто бы тебе не позволил устраивать здесь это шутовское представление

да пересуживать решенное в свое время моими молодцами-жандармами дело художника Шевченки. Я же против доброй шутки ничего не имею. Сам, знаешь ли, в веселую минутку на досуге любил пошутить. Раз в Петергофе приказал я построить в тайне от супруги моей премиленький сельский домик в стиле а la Russ и послал флигель-адъютанта, чтобы привел её в определенный час к сему домику. Вот подъезжает она в открытом экипаже, а я схожу с крылечка избы в мундире отставного солдата с золотым галуном на воротнике и с нашивкою, как положено, на правом рукаве. Прошу её оказать мне честь и в моей избе отдохнуть. Супруга моя, разумеется, меня сразу же узнала, однако поняла, что мне угодно пошутить, и принялась как ни в чем не бывало *prête concours a me...* Как это?

Обвинитель. ...подыгрывать, Ваше величество.

Николай I. Ну вот, дожил: поляк мне русское слово подсказывает. Да. Входит моя супруга в избу, а там я уже выстроил по ранжиру всех наших детей. Говорю со всем возможным почтением: «Позвольте мне представить Вашему величеству по имени всех моих детей и поручить их могущественному покровительству матушки-царицы. Старший мой сын Александр уже флигель-адъютант, хотя ему едва минуло девятнадцать лет, об нём я и не прошу, а вот десятилетнего Константина прошу назначить во флот, семилетнего Николая – в инженерный корпус, меньшого Михаила – в артиллерию». Также, коротко сказать, и дочерей моих попросил пристроить в институты благородных девиц. Моя дражайшая Александра Федоровна улыбнулась этак счастливо, пообещала мне по возможности позаботиться о представленных ей моих детях, но потом не выдержала роли и со слезами на глазах благодарила меня за сюрприз. Вот так. Однако же к чему бы я об этом заговорил?

Голос из зала. Кат дэкабрыстив, мучитэль Шевченка!

Обвинитель. Покорнейше прошу позволения напомнить Вашему величеству, что речь шла о государственном преступлении известного Шевченки.

Защитник. О том, почему вы, Ваше величество, запретили художнику Шевченке рисовать.

О. Вениамин. Про непознаваемую, одначе же обязательную для христианина волю Божества.

Бенкендорф (мягко). Ваше величество, вы говорили, что не прочь пошутить.

Николай I. Теперь понятно. Спасибо, mon cher ami. Я просто хотел объяснить, отчего я, от других всегда требовавший неуклонного соблюдения дисциплины и сам человек весьма дисциплинированный, позволил себе не явиться в судебное присутствие вовремя. Тому была серьезная причина. *(Совершенно неожиданно для всех отрыгивает, и по залу разносится запах нектара высочайшего качества)*. Пардон, господа. Это, хи-хи, моя серьёзная причина сама о себе заявила. Наступало время вечерней раздачи нектара, и мне, если бы я задержался у вас, тоже, разумеется, принесли бы порцию к общему столу, да только я не пожелал, чтобы она на столе без моего присмотра оставалась. Сашка Македонский – такой шутник, вечно что-нибудь учудит с порцией отсутствующего (ну мало ли какие причины бывают у человека отойти от стола!), и мне не хотелось, господа, стать очередным объектом его острот. Человек еще молодой, из эпохи нецивилизованной, дикарская энергия кипит, а делать ему нечего у нас *(софит, освещающий царя, принимается часто мигать, а он продолжает другим голосом)* в особом отеле для VIP... Тьфу чёрт, в нашем райском круге для монархов...

Обвинитель. Не извольте беспокоиться, Ваше величество: магнитные колебания, возмущения в атмосферном электричестве... Беспорядок, конечно, однако бывает-с.

Николай I (*подхватывает*). Бывает, бывает, к сожалению. И даже к нам явился было этакой дрожащий призрак в черной рамке (*обеими руками показывает размер и форму рамки*). Маленький, ехидный, на лысую лису похожий. Мой приятель здешний, король Фридрих II, когда его увидал, от страха чуть в своей качалке не опрокинулся. А призрак тот вроде как речь говорил, и на русском, знаете ли, языке. Одет был в партикулярное платье, в странном узеньком таком галстучке. Я говорит, желаю губернаторов сам назначать, а там их законодательные собрания губерний пускай утверждают. Удивительно! Во-первых, если ты русский царь из прекрасного сияющего будущего Российской империи, то почему ты, шельма, не в мундире! И как, еще, спрашивается, можно назначать губернаторов, если не лично царствующим государем?

Председательствующий (*почтительно, однако с твердостью*). Ваше величество, на настоящем судебном процессе вам был задан Защитником вопрос: почему на решении по делу Славянского общества вы начертали резолюцию, запрещающую художнику Шевченке рисовать? Не очень, поймите наше любопытство, ожиданно.

Чучело Шевченко несколько уже надоевшим зрителям жестом вздымает руки к небу.

Николай I. И что – я обязан отвечать на все поставленные здесь вопросы?

Председательствующий. Увы, обязаны, Ваше величество. (*Почтительно указывает пальцем вверх*).

Николай I. Хорошо. Хотя ж чего хорошего? Я тогда оказался в положении, для меня как для человека чести, прямо скажу, затруднительном. О том, какое оскорбление было нанесено царствующему дому Шевченкой, мои генералы, небось, не посмели тут рассказать?

Бенкендорф и Дубельт (*хором*). Никак нет, Ваше императорское величество, не посмели!

Николай I. Молодцы, верные слуги. Так вот, Шевченко в списках стихотворного пасквиля под названием «Сон» осмелился высмеять и меня, и мою супругу, свою царицу-матушку. Мы описаны на приеме в Петергофе по случаю ежегодного праздника 1 июля...

Обвинитель (*с фальшивым восторгом*). ...ежегодного праздника, учрежденного вами для воспоминания дня бракосочетания вашего с принцессой Шарлоттой Прусской, после перехода в православие – Александрой Фёдоровной! Сугубая наглость!

Николай I (*кивает*). Ну да. Меня он изобразил с похмелья, раздающего всем придворным плюхи и затрецины, а они-де только счастливы и морды под мой кулак подставляют (*Бенкендорф и Дубельт переглядываются, писатели тоже – промежду собою, Куцынский и о. Вениамин потупились*), а дальше вообще какой-то пьяный бред. Ну и Бог с ним, за себя я не в обиде. Однако же наглец посмел коснуться грязным своим языком внешности моей супруги, посмел посмеяться даже над её нервным тиком! Это при том, что моя Marie заболела в роковой день возмущения 25 декабря 1825 года, когда переживала за меня и

детей. Ведь неизвестна была, останется ли жив муж её к вечеру и ей самой не отрубят ли голову, как Marie-An-tuanette.

Дубельт. Позвольте мне сказать, Ваше величество. Вот имелись у вас серьёзные претензии к покойному поэту Пушкину, но всё же – какая разница между ним и Шевченкой! Мне вздумалось просматривать оставшиеся после Пушкина рукописи – не найдётся ли чего по части Третьего отделения, – и обнаружил я в черновиках к «Евгению Онегину», в описании бала, поэтический портрет всемилостивейшей императрицы Александры Фёдоровны. Списал, так, знаете, для собственного своего альбома, и даже запомнил. Прочесть, Ваше величество?

Николай I снисходительно кивает.

Дубельт (*встаёт в позу*). Пушкин тут называет матушку-царицу поэтическим именем Лаллы Рук, усвоенным ей Жуковским в прекрасном стихотворении. Так вот (*завывая немилосердно*):

в умолкший, тесный круг,
Подобна лилии крылатой,
Колебясь, входит Лалла-Рук.
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою,
И тихо въётся и скользит,
Звезда-Харита меж Харит.

Обратите внимание, Ваше величество, ведь и Пушкин упомянул о болезни вашей супруги: «Колебясь, входит». Вот вам и разница между

столбовым дворянином, светским человеком, и неумтым рагвену.

Николай I (*благодарно*). Умел же, повеса, писать, если захочет! Того, что Пушкина мне не убергли, я вам с Александром Христофоровичем долго простить не мог. Ладно, было и былем поросло. Ну, а выходка Шевченки поставила меня в дурацкое положение. Если бы такое сатирическое нападение позволил себя равнять мне, европейский какой король или там герцог, я бы дал ему пощёчину, а он бы уж решал, требовать ли по всей форме сатисфакцию...

Защитник (*скороговоркой*). Или войну нахалу ещё можно объявить.

Николай I (*тяжело всмотревшись в Сенковского, выдерживает паузу*). Твоя, самозванный барон, веселость в присутствии царствующей особы неуместна. Тут я решаю, смеяться мне или нет, а вот если от души расхожусь, только тогда дозволяется и тебе подсюсюкнуть. А как? Фаддейка, покажи ему – как.

Обвинитель (*втянув голову в плечи, осторожно*). Хи-хи.

Николай I (*раздумчиво*). Вот если бы кто хотя бы в генеральском чине на такое оскорбление отважился, я так и быть, позволил бы преданному слуге и надежному человеку, князю Орлову, к примеру, или вон генералу Дубельту дать подлецу пощечину и в виде исключения позволил бы и на дуэль с ним выйти. Однако как поступить со штафиркой, каким-то там неклассным (тьфу!) художником, да еще из крепостных?

Бенкендорф. Да на него пули жалко, Ваше величество!

Обвинитель (*осмелев*). В мешок безумца да в омут!

Николай I (*отмахиваясь от Булгарина*). Мне советовали и в желтый дом посадить. Ещё чего! Послал я князя Орлова за конфиденциальной консультацией к историку Погодину, какие, дескать, в России имеются прецеденты. Прецеденты оказались типа Фаддейкиного «в мешок да в омут»: кого сожгли публично, кто голову на плахе потерял, кто безвестно сгинул. Прямо скажу, варварские прецеденты, меня, как отца своих подданных и главу государства, основанного на строгом соблюдении законов, просто огорчившие. Правда, если как на духу... (*замолкает*).

А замолкает Николай I, потому что в мигании софитов в зале возникает Шевченковед. Вбегает на сцену и, едва не тыча локтем в щеку изумленно отстранившегося Николая I, начинает чеканить доклад.

Шевченковед. Товарищи! Шевченко, гениальный сын украинського крипостного селянства, зумив втилиты його волэлюбни думы и мрии у своей эстетично и идэйно досконалий поэтичний творчости. Борэць за социальнэ вызволення украинського трудового народу, вэликий Кобзар був вирным учнэм и одnodумцем росийськых рэволюцийных дэмократив – Бэлынського, Чернышевського, Добролюбова. Правильно сказав видомый радянськый поэт Дмытро Павлычко, що Шевченко був прэдтечею Вэликой Жовтнэвойи социалистычной революции.

Внезапно в зале и на сцене гаснет свет. Когда восстанавливается обычное освещение, Шевченковед на сцене уже нет.

Николай I (*ошарашенно*). Что это было, господа? Александр Христофорович, потрудитесь доложить.

Бенкендорф (*несколько выбит из колеи*). Ученые люди сами толком не знают, Ваше величество. Потусторонний мир, в котором нам с вами довелось оказаться после последних в жизни болезней и утешительных для самолюбия похорон, слишком эфемерен и призрачен. Говорили также о непрочном составе эфира, но этого я, признаться, не понял, в физике не силен... (*вспоминает, радостно*). Параллельно сему нашему миру, тонкому и субтильному, продолжает существовать земная жизнь во всей её грубости, и некоторые образы из неё, благодаря возмущениям в магнитном поле, говоря фигурально, прорывают временные кордоны.

Николай I. Благодарю, Александр Христофорович. Честно признаться, я этим безобразием глубоко огорчен. О грубости земной жизни вы хорошо сказали. Сколько сил я отдал России, пытаюсь навести в ней порядок! Однако, отбывая из земной своей юдоли сюда, чувствовал я себя оскорблённым неблагодарностью подданных: несмотря на мои неусыпные труды, невзирая на вседневные мои усилия... Да, я признаю это, я сознательно стремился соответствовать высшему идеалу отца отечества своего. И что же? К концу блестящего, что бы ни говорили европейские критиканы и завистники, моего царствования (*кривится*) народ стал еще больше пьянствовать и воровать, чиновники – брать взятки, помещики – развратничать и бездельничать, нет чтобы служить отечеству, где государь укажет... Особливо в Москве, в Кремле я это чувствовал, будто снилось наяву: стою посреди корыта с калужским тестом, отдаю приказ, топаю ногою – так рядом с ботфортом моим качнулось, задрожало, а чуть подале и шевеления нет! А воинство российское, любимое мое детище! Мало того, что так и не выучились, каналы, тянуть, как надлежит, носок на маршировке,

посмели еще и сражения проигрывать. Какой позор! С грязными бухарцами и турками худо-бедно управляют, а от англичан и французов бегут... Что ж, думаю, как уйду от вас, хоть тогда, может статься, раскаетесь, поймете, что были недостойны такого государя, как я. (*Бенкендорфу*). Ты рыдаешь, mon cher ami, не плачь! Я не имел в виду тебя, потому что всегда видел в тебе родственную душу (*плачут оба*).

Председательствующий. Успокойтесь, Ваше величество. Не желаете ли воды?

Николай I. (*Вытирает глаза платком, потом громко в него сморкается*). Нет, благодарю. Невкусная здесь вода, никакая, будто прокипяченная. И нектар приторный. Иногда вкусом напоминает Lakrima Kristi, однако нельзя же, господа, всё время пить одно Lakrima Kristi! Чаял я хоть здесь найти покой и порядок, а и тут у Тебя (*смотрит вверх*), мой Боже, сущий бардак. Ты хоть понимаешь, там наверху, что эти электрические возмущения и шалости могут разрушить мое последнее прибежище?

О. Вениамин (*смотрит на царя с ужасом*). Ваше величество, умоляю, не богохульствуйте! Лучше уж вернемся к Шевченко.

Николай I. А что я такое говорил о Шевченко?

Обвинитель. Об избрании ему рода наказания, Ваше величество.

Николай I. О! Сгоряча, только узнав об оскорблении им моей супруги, я какой только расправы не придумывал! Хотелось мне отдать его в солдаты, а едва обмундируют, тут же обвинить в государственном преступлении и гонять сквозь строй, пока не подойдет прямо под шпигрутенами. Однако, пока шло следствие, я остыл. И мне понравилось то решение дела, которое предложил генерал Дубельт. И в самом деле, армия могла

сделать из него настоящего человека, то есть офицера как человека наиболее совершенного – законопослушного, образованного, учтивого и молодцеватого. Рисовать же я запретил Шевченке по двум причинам, в обоих случаях заботясь об его же благе. Стал бы он рисовать портретики за деньги, на приварок к солдатскому рациону подрабатывая, отвлекался бы от обучения солдатской науке и оттянул бы благотворное для себя производство в унтер-офицерский чин. Это первый резон. Второй был посерьезнее. Коль склонен Шевченко оказался к пасквилям словесным, была опасность, что запрети ему писать, так он станет карикатуры рисовать. А нарисует карикатуру на начальство, на того же графа Перовского, который в азиатской глуши вел жизнь далеко не святую, доблядовался до того, что его метресса убила утюгом горничную, – вот солдату-художнику и смерть под шпицрутенами. Потому и запретил.

Голос из зала. Ганьба! Смерть катам!

Чучело Шевченко совсем уже надоевшим зрителям жестом вздымает руки к небу.

Председательствующий. Господин защитник, есть ли у вас еще вопросы к свидетелю?

Защитник. Есть, господин председательствующий, еще один и последний вопрос. (*Откашливается, не сразу решаясь*). Ваше величество, изменяли ли вы вашей супруге, государыне императрице Александре Федоровне?

Николай I (*набычившись*). Я что, и на это обязан отвечать? Понятно. Хамство, Сенковский, беспардонное хамство ты себе позволяешь. Недаром я всегда говорил (вон Александр Христофорович знает), что вся эта полуобразованная обслуга – художники, писатели, архитекторы, актёры, полотёры – все они должны знать

своё место. Вот был у нас толковый художник из лейб-гвардии, Федотов, замечательно начинал, пока служил, а на гражданке, что ж тут удивительного, свихнулся. Я бедолаге покровительствовал, и мне доставили его рисунки, сделанные уже в желтом доме. Там он меня великаном изобразил, в лупу рассматривающим его, ничтожную букашку... Так я подумал: сумасшедший, а мыслит правильно.

Председательствующий (*с неуместной раздражительностью*). Ваше величество!

Николай I. Да я отвечу, отвечу... (*внезапно успокаивается, продолжает легким светским тоном*). Да, изменял. Конечно же, изменял. Об этом, впрочем, многие знали. В своё оправдание могу сказать, что я ни разу не оскорбил свою дорогую супругу, заведя себе постоянную метрессу из придворной знати, как поступал, например, мой блаженной памяти несчастный отец. По мелочам всё больше, мимолетно, не нанося ущерба государственным делам и супружеским узам, срывал я цветы удовольствий.

Защитник. Измены ваши супруге, Ваше величество, не были ли связаны с болезнями и естественным... гм... старением императрицы?

Николай I. А как ты думал? Конечно. Все знают, что мужи стареются медленнее своих жен, и что-то я не слышал, чтобы кто-нибудь из вас, господа, пожаловался на сей каприз природы. А во мне дамы находили... Дайте припомнить... (*мечтательно*) внушительную и величественную красоту, величавую осанку, строгую правильность олимпийского профиля, властный взгляд и даже улыбку снисходящего к ним Юпитера. А что сплетничают про меня, будто я развращал и после пристраивал замуж девиц-институтков, так это еще вопрос, кто кого развращал, я их или они меня. Девочки с младших

классов были в меня поголовно влюблены, и если какая-нибудь выпускница отправляла мне *billet-douceur*, надушенную записочку, то уж, поверьте, знала, что делает, и была уверена, что вместе с будущим мужем займет почетное место при дворе. Вот так, господа.

Состав суда слушал, разинув рты.

О. Вениамин (*с восторженным ужасом*). Столь изящно признаться в порушении седьмой заповеди! О, се светский человек!

Председательствующий (*встряхнувшись*). Спасибо, Ваше величество. Господин обвинитель, имеете ли вы вопросы к свидетелю господина защитника?

Обвинитель. Всеподданнейше не имею.

Председательствующий. Благодарю вас, Ваше величество, ещё раз благодарю за откровенность и неоценимую помощь отправлению правосудия. Вы свободны, Ваше величество.

Николай I. А какие там у тебя следующие пункты обвинения?

Председательствующий. Безбожие, а потом разврат, Ваше величество.

Николай I. Знаешь, а я, пожалуй, останусь, посижу. Развлечений-то у нас в раю раз, два и обчёлся. Только ты поставь первым разврат, а с безбожия, если наскучит, я и сам уйду.

Председательствующий. Покиньте зал суда, Ваше величество. Таково правило.

Николай I. Послушай, я ведь всё время к тебе присматриваюсь. Зачем ты напялил трагическую маску? Ты кто – актёришка? Думал я, что Щепкин – так ты слишком молод для него. Ты – Каратыгин? Кто из них – Михайла или Петр? И ты полагаешь, что здесь я тебя не достану?

Председательствующий (*кратко*). Уже достали, Ваше величество. Фёдор, перенеси кресло государя императора в первый ряд партера. Так удобно? Господин Защитник, желаете ли вы вызвать следующего свидетеля?

Защитник. Желая. Прошу вызвать президента Императорской Академии художеств их высочество великую княгиню Марию Николаевну.

Председательствующий. Вызывается в судебное присутствие...

В зале внезапный шум. Дверь из рая так и не открывается, зато из зала, оттолкнув по пути Слугу, попытавшегося ему помешать, на сцену прорывается Драгоманов.

Драгоманов (*прерывающимся после возни голосом*). Цэ кытайська комэдия якась, а нэ суд. Як за жыття пэрэбувалы пид ярмом, так и писля смэрти ниякойи дэмократии нэма...

Бенкендорф (*холодно*). Не вы ли это, милостивый государь, позволяли себе всякие глупые выкрики на малороссийском наречии?

Драгоманов. Инколы я, а инколы й не я. У зали багато украинських патриотив, тилькы, як завжды, домовытыся миж собою не можуть.

Голос из зала. Космополитэ! Зраднику украинськоїи нацийи! Москвофилэ! Обрусытэлю!

Драгоманов. Слышали? Вот и мне досталось... Господа, я перехожу на русский язык не потому, что являюсь, как мне сейчас кричат, предателем украинской нации. Просто вещи, о которых я скажу, могут оказаться весьма существенными для оправдания Тараса Григорьевича Шевченко по первому пункту обвинения, и мне желательно, чтобы сказанное мною было хорошо понято вами, людьми отжившей эпохи.

Чучело заинтересованно поднимает голову.

Куцынский. Господин Председательствующий, да гоните вы молодчика в шею!

Председательствующий (заинтересованно). А вы кто такой?

Драгоманов. Добро, я представляюсь. Михаил Драгоманов, этнограф, публицист, грустный для меня момент встретил профессором Софийского университета в Болгарии.

Бенкендорф. В Болгарии – университет? Под турком? Гоните его – это явный самозванец.

Драгоманов. Осмелюсь напомнить вам, генерал, что ваш царь, который вон в партере восседает, он, действительно, по общему мнению, ради сомнительной славы полицеймейстера Европы, ради удовлетворения своего личного самолюбия отказался от исторических традиций России, предал наших братьев, православных славян. Однако после смерти этого тирана Россия воспрянула ото сна и кровью русских, украинцев и других народов империи освободила южных славян от мусульманского владычества...

Бенкендорф. Был ли взят Константинополь?

О. Вениамин. А кто теперь владыка киевский?

Председательствующий. Тихо! Всем молчать! Господа, всем вам, а вам, господин Драгоманов, в первую очередь, напоминаю решительное запрещение упоминать о кончине кого-либо из присутствующих и – что ещё важнее – убедительно прошу господ из предбанника молчать обо всех событиях, происшедших после водворения в ад и рай пребывающих там ныне душ. Всё это очень опасно, потому что может разрушить стены нашего зыбкого мира. Академик Якоби, глубокоуважаемый Борис Семёнович, дайте, пожалуйста, справку. Мы ведь в физике невежды.

Якоби. (*Встаёт в зале, под лучом софита. Говорит с сильным немецким акцентом*). В такой науке, как физика, мы все невежды, господин Председательствующий. Наблюдаем явления, объяснить их не можем, но вот измерить их физические характеристики иногда получается. Вот мой усовершенствованный вольт-агометр. (*С трудом поднимает над головой прибор дикого вида*). Во время запрещённой, преступной болтовни, о темах которой вы, господин Председательствующий, напомнили, показания прибора резко меняются, отражая соответствующие колебания магнитных электрических полей. И при этом действительно происходят прорывы временных оболочек, и мы видим и слышим поразительные вещи – вот как сегодня. У меня в лаборатории я соединил с этим прибором тонкую мембрану, и она выдает иногда удивительные сообщения, как например: «Ты где? Звякни мне на городской». Покамест прорывы во времени сами собою закрываются, однако кто знает, что ожидает нас в будущем?

Драгоманов. Да что ж я – враг себе? Молчу.

Председательствующий. Мне тут предлагали вас выставить, господин Драгоманов, но я тоже имею право вызывать свидетелей. Излагайте.

Драгоманов (*несколько выбит из колец*). Шевченко действительно был неистовым антимонархистом, но кто же теперь считает это состояние ума преступлением? Есть же такое государство, и преогромное, Соединенные Штаты Америки, и его жители, как ни удивительно, все сплошь антимонархисты. В Европе имеем Швейцарию, республику с незапамятных времен, наконец, на наших глазах Франция... Извините, молчу. Да, согласен, в стихотворениях своих Шевченко ругательски ругал

монархов древностей и некоторых русских царей прошлого, намеками осуждал и своего тогдашнего государя – но разве это уголовное преступление? И если переходил при этом иногда границы хорошего вкуса, так это беда его, а не вина.

Голоса из зала. Ганьба! Шевченко – твой бог, Украйино!

Драгоманов (*не обращает внимания*). Даже по жестоким законам Российской империи Шевченко мог быть осужден не за антимонархические взгляды, а за попытку применить их к жизни, чтобы уничтожить монархию в России и добиться отделения Украины. Что такой провинности за ним не было, установили, как мы тут все слышали, сами следователи Третьего отделения. Зачем же я тогда сюда вскарабкался? А чтобы доказать, что добродушный Тарас Григорьевич вовсе и не был никаким революционером. Когда он приехал в 1859 году в Киев, и не подумал ведь собрать студентов, выступить перед ними. Я сам тогда учился в Университете св. Владимира, у нас там были студенческие кружки и довольно радикальные, недаром же через год двенадцать моих товарищей оказались в крепости за принадлежность к харьковскому тайному политическому обществу. И мы сами даже не подсуетились, чтобы со знаменитым Шевченко встретиться. Потому что такая у нашего славного поэта была репутация – вовсе не революционера, а мы тогда все были помешены на освобождении крестьян и всемирной свободе. Да и известны мы были об его занятиях там, в хате на Приорке, где он поселился, наша знаменитость. Шутил со стариками, играл с детьми, проводил жизнь видимо бесцельно, день да ночь, сутки прочь. Это ли было поведение революционера? Так о какой государственной измене речь? Благодарю за внимание.

Председательствующий. У господ Обвинителя и Защитника есть вопросы к моему свидетелю? Нет? Благодарю вас, господин Драгоманов, вы свободны.

Драгоманов. Чем и счастлив (*бросив уничтожающий взгляд на жандармов, уходит*).

Председательствующий. Что ж, можем по этому пункту переходить к прению сторон. Ваше слово, господин Обвинитель.

Обвинитель. Ваше величество, господин Председатель, отче, ваши превосходительства! Шевченко, конечно же, виноват в государственной измене. Его несчастье в том, что принадлежит к малой, порабощенной и оттого малокультурной народности. Современный мир разделен между нациями сильнейшими, наиболее благополучными и жестокими – но и более культурными. Времена, когда полмира могли захватить дикари Атиллы или Чингисхан, прошли. Теперь сильная нация выступает в мире не только как завоеватель, поработитель и колонизатор, но одновременно как культуртрегер и цивилизатор. Английский джентльмен теперь и разрывает бунтовщиков-индусов выстрелами из пушек, и проводит в их диких джунглях железные дороги. В мировой культуре, в мировой литературе такие же отношения. Выходцы из бедных и слабых народностей должны или остаться в собственной культурной среде, дабы сочинять песенки, нужные разве что односельчанам, или присоединяться к культуре нации-поработителя, нации сильной и с богатой книготорговлей, способной дать писателю и журналисту возможность заработать на французскую булку с маслом. Все знают, что сэр Вальтер Скотт был шотландец, а на каком языке он написал свои прославленные на весь мир и сказочно обогатившие

его исторические романы? Вот то-то, господа, что на английском.

Голос из зала. Scott и значит «шотландец».

Голос из зала. И скотына, бо продався англичьям.

Обвинитель. Подсудимый Шевченко вначале занялся изобразительным искусством, где названная мною дилемма не так остра, потому что в цивилизованном мире язык живописи принципиально космополитический. Однако чёрт его дёрнул начать пописывать малороссийские вирши, и за бедностью талантов среди малороссийских стихоплётов сумел он сразу же привлечь к себе внимание. Я ничего против малороссов не имею. Мне, признаться, даже нравится их хлебосольство, их мягкий юмор, а украинские девушки, кому они могут не понравиться? – с их яркой, под стать итальянкам, наружностью, певучие, отзывчивые и пылкие!

Защитник (*смеется*). Остынь, Фаддей: второй удар лишит тебя и языка!

Председательствующий. Однако.

Николай I (*освещается софитом*). Шутки в сторону, господа. Хохлы при должном воспитании и руководстве – лучшие в Российской армии унтер-офицеры.

Обвинитель. Так точно, Ваше величество. У Шевченки не было ни должного воспитания, ни руководства – одна нищая богема, что крутилась вокруг его нечаянного учителя и покровителя, манерного выскочки Брюллова. Ну, проявилась у тебя способность кропать вирши, так пиши их на общерусском языке, дорожка проложена: Капнист, Гребёнка, Кукольник, Гоголь, наконец. Нет, в самом деле, почему было ему не пойти разумным путем земляка своего Гоголя? Тот в начале своей литературной карьеры использовал

колорит украинского быта и украинской истории, дабы расцветить русскую прозу новыми экзотическими красками, а из последних, зрелых его произведений читатель и догадаться не смог бы, что он украинец.

Председательствующий (*безразличным тоном*) Подсудимый любил творчество Гоголя, среди первых напечатанных его стихотворений есть Гоголю панегирик. Да и писать малороссийские вирши, господин Обвинитель, ещё не преступление.

Защитник. Разве что против хорошего вкуса, господин Председательствующий.

Обвинитель. А я говорю, что для Шевченки они были опасны, потому что привели его в конце концов к государственному преступлению. Уже обращение в них к малорусскому наречию оказалось для несчастного далеко не безвредным. Вон другой украинский патриот, упомянутый мною Капнист ещё при жизни Екатерины II, уязвленный указом вашей венценосной бабушки, Ваше величество, о прикреплении крестьян к помещичьим землям в Киевском, Черниговском и Новгород-Северском наместничествах, написал сатирическую «Оду на рабство», которую решился напечатать лишь в начале нашего века. Сложенная и напечатанная на русском языке, эта ода стала памятником раннего русского либерализма – и только, на развитие же абсурдного украинского сепаратизма не повлияла никак и повлиять не могла. Шевченко ж написал свой крамольный пасквиль «Сон» на малорусском наречии – и те же факты и обиды, что у Капниста, зазвучали бунтарски и законопреступно. Роковое значение приобрело и то, что пища по-малорусски, Шевченко пытался, а может быть, и вынужден был обратиться к традициям этой литературы, а малорусская литература, точнее

сказать, письменность, в основном, шутовская: малорусские литераторы посмеиваются над характером и комическими обычаями своего народа, над собственной дикостью и провинциальностью. Почитайте лучшего малороссийского писателя, Грицька Основьяненку – животики надорвете! Вот наш пиит и пошел зубоскалить – сперва над собою (он там, помнится, обзывает себя юродивым и пьяницей), а потом не может остановиться и в таком же оскорбительно шутовском тоне начинает описывать даже и... Ну, вы помните, о ком речь. Помилуйте, я вовсе не хочу его, Шевченку, оправдать, я хочу сказать, что его подвело к государственному преступлению не что иное, как увлечение малороссийским виршеплетством. Пасечник Рудый Панько принялся рассуждать об особах, для него неприкасаемых – стоит ли удивляться, что был за то взят на цугундер? Относительно же наличия в поступках Шевченки состава преступления мое мнение не изменилось. Высмеивание своих венценосных благодетелей, способствовавших выкупу Шевченки из крепостного состояния, – поступок непорядочный, безнравственный, однако подсудный скорее мнению общественному. Литературные же произведения, направленные против государства и его монарха, в скрытой сути подразумевают призыв к замене их иным государством и иным монархом. И если подобный опус автор не решился пропустить через печатный станок, значения сие не имеет, ибо злонамеренное произведение может распространяться и в списках, как мы это в свое время наблюдали относительно либеральной поэзии Пушкина и эротической – его дяди Василия Львовича. Что же касается наказания, которому подверг незадачливого поэта Его величество государь император, то я не уверен, что мы, его подданные,

вправе обсуждать этот вопрос, тем более в открытом судебном заседании, а не за мадерой и с чубуками в надежно запертом кабинете. Осмелюсь заметить, что в данном случае человеколюбие и мягкость избранного Его величеством наказания только подчеркивают низость преступления Шевченки. Ваше величество, ваши превосходительства, господин Председатель, отче святой! Я кончил.

Защитник. Браво, жаль только, что в одиночку... *(Выдерживает паузу. Члены судебного присутствия не знают, как реагировать. Сенковский пожимает плечами)*. Господа! За красноречием приятеля моего Фаддея обычно нет никакой идеи, или идея поддается извлечению, однако оказывается до того банальной, что вызывает зевоту. Ну стоило ли, например, трудиться и писать длинный роман, дабы в финале доказать, что воровать нехорошо? Однако сегодня мой оппонент превзошел себя, и некоторые мысли мои прямо предвосхитил, только обернул их в противоположную сторону. Я ведь тоже хотел начать с комического характера малорусского писательства, и из него вывести губительный для автора замысел сатиры «Сон». Я её, разумеется, читал, у тебя же, Фаддей, взявши переписать. Согласен, что это изображение пьяного сна и что первым делом сочинитель высмеивает самого себя. Хотелось бы пояснить, что в мировой литературе жанр литературного «сна» подразумевает сатиру литературную и, если выразиться учено, эстетическую, а не политическую. Ежели с этой позиции присмотреться к опусу Шевченки, мы увидим, что осмеивает он не Петра I, а «Медного всадника», в нашем холодном климате нелепо изображенного Фальконе в легкой античной тунике. Что же касается тогдашней российской царствующей

щей четы, своих благодетелей, то все вы заметили, что государь император Николай Павлович на собственное изображение Шевченкой отнюдь не обиделся. В самом деле, ведь малороссийский пиит, используя обычные средства шутовской малороссийской поэзии (Фаддей тут прав!), показал тот же трепет подданного перед особою грозного, но справедливого государя, который безумный Федотов передал в понравившемся венценосному свидетелю наброске. Что же касается сатиры на императрицу, то в ней высмеивается не сама Александра Федоровна, а льстецы-стихотворцы, воспевшие её как богиню. А в том не только всякая рифмоплётствующая сволочь отличалась, но ведь и Жуковский назвал Александру Федоровну «гением дивной красоты». Далее мы видим, что болезненная внешность императрицы вызывает у незадачливого пииты наивную жалость, и он обращается к ней со словами «лышенько с тобою» – и ведь теми же словами обращается, как ранее в нашумевшей поэме к своей излюбленной героине – забрюхатившей крестьянской девке Катерине. Ну, а относительно контраста между молодежавым и грозным самодержцем и его увядшей, хворой супругой, то в этом малороссийский пиит проявил, как я и старался показать своими нескромными вопросами к государю императору Николаю Павловичу, свою мужскую солидарность. Наглость с его стороны, однако же верноподданная наглость!

В зале аплодисменты, крики «Ганьба!».

Николай I. Фигляр! Погляди, *mon cher ami*, какую подлую и коварную гадину пригрели мы у себя на груди!

Защитник. Юпитер, ты сердишься – следовательно, ты не прав! Хотел я сказать и о проклятье, которое сам принимает на себя писатель, решившийся творить на наречии народа малоцивилизованного и пребывающего в составе державы, образованной народом более счастливым в государственном строительстве. Правда, наш скромник Фаддей постеснялся обратиться к собственному опыту поляка, прославившегося в русской литературе, но я ему в том подражать не стану. Мне стыдно признаться, сколько было у меня подписчиков, когда я пытался издавать на польском языке журнал «Balamut». А вот тираж «Библиотеки для чтения» я сделал умопомрачительным – без малого 15000 экземпляров, типографии не успевали их печатать! Вот только одно уточнение. Почтеннейший наш Обвинитель не хотел упомянуть, а может быть, просто и забыл, что подсудимый Шевченко на самом-то деле пытался писать и по-русски, вот только у него не очень-то это выходило. Шевченко-то ведь, оказывается, в солдатах исхитрился накатать целый портфель русских повестей и, не освободившись ещё, пытался через своих друзей и покровителей эти повести пристроить в петербургских и в московских журналах. Вот только пробиться в печать ему не удалось. Да и пьесы он писал только на русском.

Дубельт (*освещается на приставном стуле*). Показание господина Сенковского удостоверяю. Старик Аксакову Шевченко писал, что одной из этих повестей «хочет дебютировать в русской литературе». А вы, Осип Иванович, поосторожнее с русским царем.

Защитник (*его несёт*). С ним, что ли? По-вашему, генерал, это русский царь? Русский царь сейчас в

своём Зимнем дворце. А что с такими Карлами Ивановичами делается на здешнем свете, почитайте у Лукиана. Не читали? Греческий знать надо.

Дубельт с тонкой, иронической улыбкой разводит руками.

Куцынский (*побагровев*) Молчать, польская сволочь недобитая!

Председательствующий (*мягко, насколько это возможно через рупор*). Господа, успокойтесь. Вернёмся к подсудимому. Итак, вы господин Защитник, утверждаете, что Шевченко тоже не прочь был подзаработать себе на пропитание на обширном русском книжном рынке?

Защитник. Да, вы правы. И для меня это смягчающее обстоятельство. Одна его тетрадь, исписанная корявой русской прозой, побывала в «Современнике», другая – в «Отечественных записках», ещё какая-то – в «Русском вестнике», кажется. Говорили мне, что повести не бог весть какие, сентиментальные и нудные, однако для заполнения журнала, наверное, сгодились бы. Но никто не захотел связываться. Издатели предпочитают напечатать серенькое произведение автора уже известного, нежели такое же дебютанта. Потому что известный писатель ещё может получше написать, а дебютант, глядишь, станет нос задирать, возись с ним тогда. Да и не из-за чего рисковать, хотя риск был нешуточный: Шевченко подписывал повести «Кобзар Дармограй», псевдоним прозрачный, а печататься ему не разрешено. Пришли он мне, я бы тоже не напечатал. А потом, по приезде в Петербург, он вдруг перестал повести продвигать. Впрочем, Шевченко в Петербурге и так имел успех в обществе, и без русских повестей. Да и второе собра-

ние своих малороссийских стихотворений, говорят, издал весьма удачно.

Председательствующий. Господин Защитник, переходите к выводам.

Защитник. Да какие же тут могут быть ещё выводы? Плох Шевченко как малороссийский поэт или хорош, это не имеет значения. Тысячи людей тогда ругательски ругали правительство, но попались этим вот, в голубых мундирах, единицы, и Шевченко одна из них. Они за всех нас, людей мыслящих, но трусливых, там, в ссылке или в солдатчине, пострадали. И мучили их несправедливо. По законам общечеловеческим светский суд не вправе наказывать человека за его мысли, а понятие государственной измены подразумевает дела. Шевченко невиновен!

Аплодисменты. Крики: «Слава!», «Хай живэ Шевченко!». Заседатели тем временем активно шепчутся.

Председательствующий. Переходим ко второму пункту обвинения. И что там у нас, господин Обвинитель?

Обвинитель *(с удовольствием)*. Разврат, господа. Я охотно выдвигаю и готов поддержать сие обвинение, потому что относительно этих дел у каждого рыльце в пушку. А если богемный холостяк вроде Шевченки так и не женился в свои сорок семь лет, – значит, за ним накопилось наверняка сто-о-олько грешков... Ого-го сколько, на семь процессов достанет.

Председательствующий *(пожимает плечами)*. Не будем забегать вперед. Кого желаете вызвать свидетелем, Фаддей Венедиктович?

Обвинитель *(скверно улыбаясь)*. Кого ж вызывать, как не Адольфинку? Сия дама всех знает, всех исповедовала, а её самоё кто же тут не знает?

О. Вениамин. Господа, я требую...

Председательствующий. Свидетелем обвинения вызывается мадам Адольфина... Да ладно, фамилию свою сама скажет... В общем, содержательница вольного дома на Морской.

О. Вениамин. Я требую уважения к священному таинству исповеди!

Его никто не слушает. Потому что разразился скандал. Выход из зала слева с грохотом распахивается, оттуда вырываются языки красного пламени, визг и крик, перекрываемый тяжелым роком. Как бы вытолкнутая ими, в зал влетает Адольфинка – дама средних лет, ужасно намазанная и в кричащем ярко-зеленом платье, однако со следами былой вызывающей красоты. Впрочем, остатки этой красоты трудно разглядеть в Адольфинке, полуобгоревшей, точнее, обгоревшей с левой стороны. Вся она слева черно-красная, волосы слева выгорели, левый глаз вытек от жара и болтается на ниточке. Визжа, запрыгивает на сцену. За нею гонится через зал и настигает её на сцене другая дама средних лет, опять-таки в безвкусном пунцовом платье, из головы у неё топориком вперед торчит топор, вся – от талии и ниже – в чёрной блестящей смоле. Эта ковыляет неровно, потому что левый свой ботинок на высоком каблуке держит в правой руке и всё норовит двинуть им по голове первую даму. На сцене дамы сцепляются, пытаются наподдать друг другу ногами и поливая друг дружку на русском и ещё не менее чем на трёх языках.

О. Вениамин прячется под стол. Бенкендорф не обращает на драку внимания, Дубельт и Сенковский хохочут, Булгарин брезгливо морщится.

Куцынский (*орёт в обычной своей фельдфебельской манере*). Отставить! Прекратить! Цыц, потаскухи!

Председательствующий (*неожиданно вторит Куцынскому*). Мадам! Мадам Гильде! Тебе говорю, заяд-

лая ты девка! Оставь её! Обеим умыться, причесаться, перевязку сделать! Обе прочь! Причепуриться, перед судом явиться в пристойном виде! Всё! В судебном заседании объявляется перерыв, господа. Антракт!

Акт третий

На сцене те же, что были в начале первых двух актов. Слуга командует солдатами слабосильной команды, спускающими, чтобы повис над столом, белый экран в безвкусной позолоченной гипсовой раме с завитушками.

Слуга. Отак добрэ, хлопцы.

Председательствующий (*зычно, но беззлобно*).
Мадам Адольфина, прошу.

С обычными световыми и звуковыми эффектами из левой двери вылетает, будто вытолкнутая в спину, Адольфинка, замедляет шаг и на сцену входит уже довольно вальяжной походкой. Левая, повреждённая сторона платья грубо, огромными стежками, заплатана жёлтыми и голубыми латками, левая щека запудрена, левый глаз прикрыт чёрной пиратской повязкой. Повязка, сколь возможно, заслонена заливчатски спущенными полями невообразимой шляпки, о чём мадам забывает, когда снимает шляпку, чтобы ею грациозно обмахиваться.

Председательствующий (*фамильярно*). Что у вас там стряслось?

Адольфинка (*примирительно*). Небольшая потасовка. Булькаем мы с этой нижегородской бандершей в одном котле, так она сдуру приревновала меня к Велиалу Вельзевуловичу...

О. Вениамин (*крестится*). Господи, избави мя от лукавого...

Дубельт (*озабоченно*). К кому приревновала?

Адольфинка (*вертит головой, находит Дубельта в партере*). О, какие люди! Сам его превосходительство Леонтий Васильевич в наших жарких палестинах! Слышу знакомый голос, а в райском-то венке не узнала сразу! Да к Велиалу Вельзевуловичу приревновала меня глупая провинциальная лахудра, к бесу, что под наш котёл дрова подкладывает. Будто одного чёрта на двух курв не хватит? Так я её исхитрилась в соседнюю бочку, со смолой, воткнуть, а она, выпрыгнув, что твоя ракета, меня, стоило чуток отвлечься, засунула в огонь левым боком. Только я сообразила, как мне вырваться, вдруг слышу: меня на выход...

Председательствующий. Вы вызваны по делу художника Шевченки как свидетельница обвинения.

Адольфинка. А что бедолаге шьют на этот раз?

Председательствующий. Государственную измену...

Адольфинка. Не знаю ничего! И от клиентов по вашей части, Леонтий Васильевич, ни слова не слышала, вот крест святой!

О. Вениамин (*робко*) Я требую уважения к имени древа, на коем распят был...

Председательствующий. Измену уже рассмотрели, Дуняша, так что не бойся. Остались безбожие и разврат.

Адольфинка (*соображая*). Ага. А вы, маска, почему от меня укрылись? О, я всегда чувствую каждого из своих мужчин. Да разрази меня гром! Это вы, моя единственная слабость, мужчинка, от которого я завсегда в коленках слабела? Ваша светлость, князюшка... Неужто вправду вы?

Председательствующий. Вы ошиблись, мадам. Ваши вопросы, господин Обвинитель.

Обвинитель. Бывал ли в вашем заведении подсудимый Шевченко? И в каких целях?

Адольфинка. Бывал, не стану отрицать, а в каких целях, доложу. Вы-то нас, Фаддей Венедиктович, посещали, чтобы изучать нравственное падение столичной публики, а бедный Шевченко бывал в тех же целях, в каковых все остальные господа бывали. То есть, в молодости, как и вся молодёжь, больше порезвиться на свободе, выпить, попеть и подурачиться с веселыми мамзелями, потому как наедине мамзелей юнцы, как водится, сперва побаиваются.

Защитник (*развлекаясь*). De situ, значит, тогда не уловаялся. Адольфинка у нас, господа, известный моралист и психолог.

Адольфинка. Ой, извиняюсь, сразу и не узнала вас, любезнейший Осип Иванович – стало быть, разбогатеете ещё больше! Как поплохели, однако – страсть!

Защитник (*весело*). Что поделаешь, перетрудился я, Адольфина Батьковна, перетрудился.

Адольфинка. А у меня в заведении, Осип Иванович, не в обиду вам будь сказано, так больше отдыхали. Впрочем, их светлость замаскированные меня через трубу про Шевченку спрашивали. Надолго он исчез, бедолага, а когда вернулся из своей солдатчины, приходил с приятелями хорошо под шофе – и с той целью, с которой мужчины за сорок обычно к нам приходят. Потыкаться то есть туда-сюда.

Обвинитель. Проявлял ли Шевченко во время посещений вашего борделя какую-либо особливую свою развратность, особливый цинизм?

Адольфинка (*пригорюнившись протонародно, но со стороны здоровой щеки*). Эх вы, Фаддей Венедиктович, что ж вы вопросы такие несообразные задаё-

те? Почему не боитесь, что меня и об ваших, изучателя питерского нравственного падения, об особенных пунктиках могут допросить? Впрочем, Шевченку как раз все мамзели любили за весёлую, легкую его натуру, а вы, Фаддей Венедиктович, изучив дворянские нравы, верно уж знаете, что тех, с особенным цинизмом, девки как раз разве что терпят за большие их деньги. А я так, в молодые наши года, вообще заимела тогда к Тарасу столь нежную сердечную склонность, что не раз открывала ему кредит. Правда, он всегда возвращал должок и с лихвою, а сам тут же снова у нас загуливал. И хоть внешне никак не походил паренёк на гусара, лёгкость денежная у него была чисто гусарская, ничего не скажешь. А как вернулся в Петербург старым и жизнью побитым, встретились мы, словно давние друзья, со слезами.

Председательствующий. Имеете ли ещё вопросы к свидетельнице, господин Обвинитель?

Обвинитель (*спрятал голову в плечи*). Таковую распутную девку допрашивать – только самому пачкаться. Не имею.

Председательствующий. А у вас есть вопросы, господин защитник?

Защитник (*улыбаясь*). К чему мне её спрашивать? Адольфинка, она же Дуняша, радость наша, сама прекрасно защитила Шевченку.

Адольфинка (*воодушевляясь*). А кто ж его ещё защитит, доброго человека? Даже эта тварь безмозглая, вы её видели, господа – немецкая дешевка с топором в голове, и та в хорошую минутку... Не всегда ведь мы с нею в контрах, в одном котле как ни как варимся, иногда приходится и поговорить по душам... Так вот даже эта Гильдуха, распутная сучка, что за полушку удавится, а за копейку... (*оглядывается, сдерживает себя*). В общем, на такое похабство ещё способна, что глядя на

зрелище, столетний старец воспрянет на подвиг... И вот даже Гильдуха, с её кошачьими мозгами, отзывалась о художнике Шевченке с большою похвалой.

Обвинитель (*оживляясь*). Прошу вызвать в суд поименованную Гильдуху. Она далеко ускакать не могла.

Председательствующий (*посмеиваясь, что странно звучит сквозь маску и рупор*). Фёдор, приведи мадам Гильде, она и вправду где-то неподалёку. А вы, мадам Адольфина, свободны. И переждите лучше в зале, пока доставят следующую свидетельницу.

Слуга с опаскою отворяет левые двери и тут же с воплем вылетает. За ним, колотя кулачком по согнутой спине, гонится м-ме Гильде. Слуга прячется за Бенкендорфа, м-ме Гильде останавливается на сцене, озираясь. Топор торчащий из её головы, закамуфлирован теперь фиолетовой полупрозрачной тряпкой, отчего голова бандерши напоминает носорожку.

М-ме Гильде (*с твёрдым немецким акцентом*). Я тут опять. Чего надо!

Обвинитель. Ты содержала бордель в Нижнем Новгороде, это правда?

М-ме Гильде (*твёрдо*). Всякий русский хам норовит оскорбить честную остзейскую девушку. Я приехала в Россия заработать деньги на приданое. Мой жених Ганс Гермудейнахер изволил ждать меня в Дерпт десять лет, пока я пребывать в Москве, в гостинице «Не минуй», но мне пришлось задержать себя в Россия, потому что появился шанс начать в Нижний Новгород свой собственный дело, пансион для незамужних девиц, и заработать еще немножко. Акционер один Волжского пароходства предложить, у которого имеются добрые друзья в главных чинах нижегородской полиции. За гостиничный номер проклятой «Не минуй» выклады-

вать непомерные денег, да и столичный полицейские грабить честных остзейских девиц немилосердно – не говоря уж о том, что каждый норовить...

В зале смех, шум.

Председательствующий (*с неким умыслом, сурово*). Тихо! Мадам Гильде, вы привлечены к судебному процессу Обвинителем по делу художника Шевченки...

М-ме Гильде (*после внезапного оглушительного визга кричит*). Я не воровать тех денег, я девушка честная, остзейская! Я фройляйн Хильда Шмидт! Это Нинелька – русский воровка, она их стибрить у пьяненький Шевченко. Я и не знать ничего тогда, я так сыщичу и сказать.

Обвинитель (*встрепенувшись*). Значит, ты подтверждаешь, что Шевченко посещал твой бордель и, бывало, приходил пьяный?

М-ме Гильде. А они только пьяный в заведение и приходите. Назююкаться где-нибудь в гостях, на обеде или ужине, и вваливаться: «Принимайте гостя, мадам, я пришел отдохнуть в ваш очаровательный семейство». И отдыхать на полный катушка. Но я не знать, что у него Нинелька деньги стибрить, ей-богу, не знать!

Обвинитель (*сурово*). Ты, подстилка остзейская, не смей мне здесь врать! Солжешь – судьи велят тебя снова сунуть в кипящую смолу, вот только на сей раз – головою твоею тупою вниз! И не вынут, пока я не скажу! А я вовсе не скажу, потому что забуду. Отвечай, в чём проявлял Шевченко во время посещений вашего борделя особливую свою развратность, особливый цинизм?

М-ме Гильде (*задумывается*). Ну, кое-что особенное быть: сперва они накинуться на девиц, как моряк, что из плавания вернуться. Они и быть такое

же нечто, как и голодный моряк: десять лет прожить в пустыне простым солдатом, из женщин иметь в окрестность только немытая киргизка, которая то уходит со своей кибиткой в степь, а то поближе ко крепость подкочевывать. Девица моя, Шарлотка, над ними, Тарас Георгович, делать шутку: каковы, мол, ему верблюдицы показались? А они в ответ тоже её делать: «Верблюдица? Да всё равно, что с тобой, Шарлотка, спать».

Обвинитель (*подскакивает в кресле*). Так ты свидетельствуешь, что Шевченко признавался в грехе... как его... зоофилии?

О. Вениамин крестится и бормочет молитву.

Защитник. Протестую, господин Председательствующий! Человек отшутился на шутку бляхи, а ему бог знает что пытаются приписать.

Председательствующий (*быстро*). Протест принят. Еще есть вопросы, господин Обвинитель?

Обвинитель. Ты же не всё, что знаешь о его, художника Шевченки, привычках, сказала. Правда ведь? Не врать мне тут!

М-ме Гильде (*морщит лобик*). Привычки? Ну, сигары курить, в салоне продохнуть нельзя было. А... понимать (*мерзко ухмыляется*). Но в хороший общество такое не обсуживать.

Обвинитель. Обличай смело! Если брякнешь лишнее, господин Председательствующий тебя остановит.

Председательствующий (*кивает*). Говорите, мадам Гильде.

М-ме Гильде (*выпаливает*). Сами пожилые, низенькие, лысенькие, а молоденьких предпочитать. Как-то, когда все девицы были заняты, я соблаговолить

(*потупилась кокетливо*) предложить Тарас Григорьевич свой общество. А они едва не подавиться сигарой и говорить: «Прикажите лучше, мадам, самовар поставить. А я ваш очаровательный Лизетка дождусь, мне ей два словечко надо на ушко сказать».

Дубельт (*почему-то сидит уже за столом, рядом с Бенкендорфом*). Ну и что именно, моя милая, Шевченко ей сказал на ушко?

М-ме Гильде (*виновато*). Откуда мне знать, ваше превосходительство? Лизетка спуститься, асигнацию из чулок достать, мне отдать. И вся любовь. Молоденьких им подать! А сами на добрых десять лет быть старше за меня. Потом они сделать из себя посмешище на весь город, потому что ухлёстывать за молоденький актриска, шестнадцать лет. Свататься даже. Мои девицы над ними смеяться, и я не запрещать.

Голос из зала. Ганьба! Слава Шевченку!

Обвинитель. Слышь, ты, проститутка остзейская, глядеть мне в глаза, отвечать честно, не виляя! Я знаю, что для вас те ребята, каковыя в мужских замкнутых сообществах сословие Машек представляют, конкурентами являются и что вы, проститутки, о них, во всяком случае, известны. Шевченко говорил ли что-нибудь в пьяном виде о своем с таковыми во время солдатской службы отвратительном совокуплении?

М-ме Гильде (*задумывается глубоко, затем вздыхает облегченно*). Я понять! Так вы это говорить про пидоры, Ваше превосходительство?

О. Вениамин ошарашен, жандармы хохочут.

Защитник. Протестую, вопрос не по существу! Ваше сиятельство, Александр Христофорович, просветите меня, штафирку. Скажите, вот то явление,

о котором речь зашла, двойкий грех, в Российских отдаленных гарнизонах – обычное ли дело?

Голос из зала. И еще как обычное! На это дело употребляются барабанщики!

Бенкендорф (*утёр слезы, посерьезнел*). Да, бывает, Осип Иванович, не стану скрывать. В тюрьмах и на каторге оно дело обычное, нам и такса известна, поразительно мизерная, однако и в отдельных батальонах на туркестанской границе сие зло почти неизбежно. Русского солдата вообще держат в чёрном теле, а его sexual потребность просто игнорируется. В некоторых европейских армиях заведены военно-полевые бордели, а нам следовало бы рассчитать потребное на батальон количество прачек и не формировать ни одного пограничного гарнизона без портомойной команды.

Председательствующий (*быстро*). Благодарю, Ваше сиятельство. А вашу мысль я понял, господин Защитник. Протест принят. Еще есть вопросы, господин Обвинитель?

Обвинитель. Да пошла она...!

Председательствующий. А у вас есть ли к мадам Гильде вопросы, господин Защитник?

Защитник (*весело*). Конечно же, найдутся. Расскажите-ка, мадам, подробно, как у вас в заведении обокрали Шевченка.

М-ме Гильде (*раздраженно*). Так я же говорить, что не иметь к тому никакой отношений!

Защитник (*по-прежнему весело*). Ну разумеется, мадам. Я вас прошу изложить факты, только голые факты.

М-ме Гильде (*морщит лобик*). Голые? Ну, может и вправду весь дело в том, что господин Шевченко были с Нинелька голые? Я знать клиенты, которых раньше уже обворовывать в бордель. Такой клиент всё с себя

скидать, а на голый тело сюртук надевать, чтобы девка у него бумажник и бумаги не вытащить.

Защитник. По порядку, пожалуйста.

М-ме Гильде. По порядку? Я понять. Господин Шевченко прийти, сильно насандалившись, из обеда у господина Шнейдерса и начали в салоне девицам хватать, что они получили аванс 125 рублей серебром за рисунок, который сделает в два сеанса. И они спросить в шутку Лизетка, сколько ей нужно сеансов смотрения в потолок, чтобы столько заработать. Лизетка смеяться и отвечать, что чаще ей на спинку кровати тарашиться доводится, а ответить на его вопрос пусть лучше Нинелька, она грамотная и арифметику знает. Он тоже посмеяться, ещё пошутить и растянуться прямо на диване в салоне. Очень нецеремонно. Они были бездомные в Нижнем, жили, где придется, а спать после обед всегда ложиться. Потом опять гулять у нас, а ночью спать уже наверху, у Нинелька. Утром спускается к чаю, мы все сидеть по-семейному, а он говорить: «У меня деньги вытащили, что вам показать, 125 рублей. Отдайте, девчата, по-хорошему». Девки в крик, что ни сном, ни духом. Господин Шевченко нашел шапку, надевать шубу, говорить: «Лучше бы по-хорошему. И чаю мне вашего, мадам, не нужно».

А у них полицмейстер был лучший приятель. Назавтра и являться от него сыщик-дока и давать в заведении всё вверх дном поднимать, а всех нас на уши ставить. Я откупиться, он и ушел. А к вечеру и господин Шевченко приходит, опять крепко помоленные стеклянному богу. «Да шут с ними, с деньгами, – говорить. – Денег я всегда снова заработать, а где я ещё в Нижнем такое очаровательное семейство найти? Принимайте блудный сын, мадам!» А куда я деваться?

Дубельт. Скажи, милая, а это вот (*показывает у себя на голове*) откуда?

М-ме Гильде (*падает перед столом на колени, делает земной поклон, едва не стукнув замаскированным топориком по полу*). Не прикажи казнить, Ваше превосходительство! Сыщику-доке я отдать красненькую, так что пришлось мне, как стала под Новый год доходы-расходы подбивать, эту взятку восполнять. Разыскать надо было, кто украсть у художник. У меня все девки русские, только под французскими именами для завлекательность, все подлые твари, каждая сучка лживая, каждая не прочь стянуть, что плохо лежать. Оказаться, что Нинелька стянула уже ночью, из сюртука. Я с неё требовать полсотни на взятку и штраф за скверный поведение, а она меня в ажитации – колуном для дров, который швейцар наш забыть у печи на кухне. Так и пропасть мои денежки, мой приданое.

Перед тем, как встать, выпячивает зад. Из зала несется разбойничий свист.

Голос из зала. Эй, это не тебя ли снимали на порнографическую фотографическую карточку?

М-ме Гильде (*с ужасающим кокетством*). Вы меня узнать по выражение лица?

Голос из зала. По выражению твоей задницы, лахудра!

Председательствующий. Вставайте, мадам. Я так понимаю, господин Защитник, что свидетельницу можно отпускать.

Сенковский утвердительно кивает.

М-ме Гильде (*уже на краю сцены, всматриваясь в Председательствующего, нежно*). O mein lieber Karitätän, неужели вы думать, что сумеет спрятаться от своя

Хильда? Вы прятаться, потому что уплыть и не вернуться, как обещать? Я уже давно на вас не сердиться. Как окончить эта комедия, прошу вас разыскать меня: квартал Блудниц, сектор Притоносодержательниц, котел 58-А.

Председательствующий (*разводит руками*). Очень жаль, ей-богу, я сожалею, но вы ошиблись, мадам. Господин Защитник, у вас есть ли еще свидетели?

Защитник. Прошу вызвать Михайлу Лазаревского, управляющего делами графа Уварова, члена Санкт-Петербургского цензурного комитета.

На сцену из зала поднимается Лазаревский.

Защитник. Вы ведь принадлежали к числу ближайших друзей академика Шевченки, не так ли?

Лазаревский. Знаете, я бы предпочел, чтобы вы эти слова не употребляли. Какой же я «ближайший друг»? У гения ближайших друзей не бывает, а бывают помощники, ученики или поклонники. Я был помощником, кассиром, разве еще экономом в ближайшем окружении этого великого человека. Я пытался облегчить ему его солдатчину, потом собирал для него деньги, заботился, как мог, о лечении Тараса Григорьевича.

Защитник. Почему вы так уверены, что он был гений? Или... как вы сказали... великий человек? Ведь такие ярлыки наклеивает только история и на надгробия, как правило, уже весьма замшелые.

Лазаревский. Я бы так не сказал, господин Сенковский. Еще при жизни Гете и Байрона проницательные люди понимали их гениальность, а история подтвердила эту оценку. Мне Бог дал весьма скромные способности, однако, смею думать, эстетическим чутьём и хорошим вкусом не обделил. Мне не хотелось бы переходить на личности, господин

Сенковский, но всё написанное вами под именем Барона Брамбеуса (иногда это вещи совершенно блестящие по задумке и острословию) быстро забывается и уже, почитай, забыто. У меня сохраняются до лучших времён рукописи поэтических сборников Тараса Григорьевича, и там есть поздние стихотворения, которые, я уверен, предваряют поэзию XX, а то, кто знает, быть может, и XXI века.

Защитник (*пренебрежительно*). Вы, наверное, из этих... из социалистов, и думаете, что Шевченко велик, потому что вышел из простонародья?

Лазаревский. Ни в коей мере, господин Сенковский, ни в коей мере. Разве социалист подался бы в цензоры? А из какого сословия нашего общества вышел писатель, для меня значения не имеет. Вон крестьянский поэт Фёдор Слепушкин, обласканный в свое время императором всероссийским, так и остался крестьянином в своих писаниях, а Тараса Григорьевича в те времена, когда и я имел честь с ним познакомиться, кто осмелился бы назвать мужиком?

Председательствующий. Господа, я осмелюсь напомнить, о каком пункте обвинения идет речь.

Защитник. Да, да, конечно... Согласились ли бы вы, господин Лазаревский, с утверждением, что Шевченко был человеком развратным?

Лазаревский. Конечно же, нет! (*Жандармы за судейским столом, ухмыльнувшись, переглядываются*). Человек творческий выражается в созданиях своих, а творения Тараса Григорьевича, как словесные, так и в области изобразительных искусств, отличаются высочайшей нравственностью.

Защитник. У меня вопросов больше нет.

Обвинитель (*уныло*). У меня, кажется, тоже...

Дубельт. Пойдите! Фаддей Венедиктович,

позвольте вам помочь... Скажите, свидетель, это правда, что когда Шевченке надоело вести свой последний дневник, он подарил его вам?

Лазаревский. Да, и с пристойной надписью.

Дубельт. Вы читали этот дневник, ведь правда?

Лазаревский (*недоуменно*). Конечно же, читал, Ваше превосходительство. Если он мне подарен был, это же подразумевало разрешение его прочитать – разве не так?

Дубельт. Тогда позвольте осведомиться о вашем впечатлении от той страницы нижегородских походов Шевченки, где он рассказывает, как, вернувшись утром из борделя, узнал, что ночью его безуспешно искал еще один «друг его единый», брат ваш Федор, бывший в Нижнем проездом по спешной служебной надобности.

Лазаревский. Я был огорчен, Ваше превосходительство. Впрочем, Руссо в «Исповеди» открывал о себе вещи и похуже, настоящие гнусности. И не видно, чтобы каялся в них. А Тарас Григорьевич был очень смущен своей необязательностью, буквально казнил себя за слабость... Простите, Ваше превосходительство, однако откуда вы узнали, что было написано в «Журнале» Шевченки? Он ведь хранится у меня, не напечатан – и никогда не будет напечатан.

Дубельт. Вопросы здесь задаем мы, так что позвольте продолжить. Нам стало известно, что Шевченко, будучи задержан в Нижнем, узнал, что у вас есть возможность навестить его, приехав к нему из Москвы, и он попросил вас сделать это. Почему же вы не съездили к своему ближайшему другу?

Лазаревский. Я скажу вам честно, почему. Наказание отнюдь не улучшило характер Тараса Григорьевича. Он ведь прекрасно понимал, что в тех

условиях водка его просто уничтожит, и крепился, аж пока не получил известие о скором освобождении, однако после сего не был отпущен из Новопетровского укрепления еще полгода. Вот тогда-то он и не выдержал напряженного ожидания свободы, запил... Да, господа, я любил его, но больше как поэта, чем как человека со всеми его слабостями. Поймите, что есть люди, которых лучше любить издалека. Меня за это никто не сможет упрекнуть, потому что именно я сделал для Шевченки от чистого сердца всё, что мог. И немного сверх того, что мог.

Кривится, готов заплакать, достает платок и быстро покидает сцену.

Председательствующий (*безразлично*). Поверьте, господин Лазаревский, что вас никто и не обвиняет. Господин Защитник, есть ли у вас ещё свидетели?

Защитник (*неуверенно*). Есть. Я прошу вызвать Лукерью Полусмакову, в замужестве Яковлеву.

Председательствующий (*быстро и решительно*). Это невозможно!

Защитник. Но почему? С теми двумя свидетельницами мы рискуем оказаться в положении людей, судящих о лорде Байроне со слов его лакея.

Председательствующий. Можно подумать, что мы и без того не судим о лорде Байроне со слов историков литературы – а они такие же слуги, как его лакей, и даже большие паразиты великого писателя, чем он. Да и Ликера немногим лучше Хильды и Дуньки.

Защитник. Однако я настаиваю. Потому что иначе не выйдет полноценной защиты по сему пункту обвинения. Кроме того... я давно уже так не развлекался. Последний раз, когда в одной статье вознес Кукольника до небес, а в следующей извинился перед читателями

мимолетным капризом и не оставил от его трагедий камня на камне. Продлите всем нам праздник, прошу вас.

Председательствующий. Я напоминаю, что пресловутая невеста Шевченки благополучно прожила до 1917 года – страшно подумать, сколько лет пустой жизни подарил ей Господь! Стоит ей вспомнить о каком-нибудь заметном событии столь неммыслимо далекого от нас будущего, просто назвать вещь или наименовать научное открытие, неизвестные нашему с вами поколению, как могут наступить необратимые изменения в этом непрочном мире. Что ж, господа, желаете рискнуть? (*Состав суда и присоединившийся к ним Дубельт энергично кивают*). Добре, умываю руки. Вызывается мещанка Лукерья Яковлева, в девицах Полусмакова!

Защитник. Фёдор, не спать! Пускай картину.

На экране вспыхивает портрет Ликеры Полусмаковой работы Шевченко.

Через некоторое время софит освещает сухонькую сторбленную старушку в чёрном мещанском платье, стоящую на сцене. Руками старушка прикрывает лицо.

Председательствующий (*индифферентно*).
Спрашивайте, Осип Иванович.

Защитник (*громко, будто к глухой*). Бабушка, а правда ли, что вы обручены были с художником академиком Шевченкой?

Старушка сперва растопыривает пальцы, потом отводит ладони от лица – и оно открывается жутко набеленным, нарумяненным и начернённым, карикатурой на портрет Ликеры в молодости, по-прежнему высвеченный на экране.

Ликера (заунывно, заученно). Ой, добрый мий панэ, булы мы помолвлэни з Тарасом Грыгоровычэм, и так вже кохалы одын одного, так вже любылыся, що годынкы в розлуци не могли прожыты. Алэ недобрийи люды, зли паны, не захотилы, чтобы мы – проста, неосвичена наймычка и вин, видомый художнык Шевченко, побралыся, розлучылы нас, и Тарас Григоровыч з горя захворив и помэр. А я ось прийихала на Днипро, у Канив, на його могылу, щоб хоч йийи доглядаты, а знаходяться й таки добри паны, що грошыма допомагають мэни цэ робыты.

Чучело Шевченко и Председательствующий одинаковым жестом и синхронно вздымают руки к Небу. Сверху слышится рокот дальнего грозового разряда.

Защитник (*к жандармским генералам*). Что ж, вы, мундиры голубые, выручайте подвластный вам народ! (*Куцынскому*). Ваше превосходительство, помогите!

Куцынский (*прокашлявшись*). Ты, баба, лучше здесь не брешы. О несчастном сватовстве к тебе Тараса Григорьевича все в России, кто его ценил и любил, были неплохо наслышаны. Что-что, а уж худые вести и сплетни в империи разносятся быстро, без всякого телеграфа...

Ликера (*не сориентировавшись сразу*). Да я ж чысту правду, паночку...

Куцынский. Молчать, баба! Ты где сейчас, в пересыльной застряла? До фильтровального лагеря еще не добралась? То-то! А ежели будешь продолжать свою брехню, я тебе обещаю скорое помещение вон туда, где огонь и жупел пекельный. А именно в квартале баб лживых, за языки свои над жаровнею подвешенных, мигом тебе место определяю! Говори правду! Спрашивайте её, господин Сенковский.

Защитник. Скажите, а Тарас Григорьевич в самом деле собирался на вас жениться?

Ликера. А як жэ – збырався, конэчно ж, збырався, паночку... (*Взрывается*). Да, да, собирался, ему господа плешь проели, уговаривая, что я не пара ему, а он обязательно бы назло им – хотя и ворчал уже на меня, что нечисто хожу – в пику господам со мной обвенчался бы. Уже всем своим приятелям и благодетелям объявление сделал и на нашу свадьбу пригласил. Это я, балда, Тараса Григорьевича отшила, своего счастья лишилась. Не захотела, дура, выходить за старого и хворого, ковэрзувала, что лысый, как колено, скупой и пьющий. Эх, не понимала: выйди я за него, такого старого и хворого, что через полгода и преставился, мне бы и деньги его достались. А у Тараса Григорьевича большие деньги водились, он только брату Варфоломею на село на постройку хаты, никому не нужной, послал тысячу рублей, детей Варфоломея за свой счет в пансионах учил. Была бы я ему законная жена, всё бы мне досталась: и деньги, и почет от украинских панов – не дали бы мне от голода помереть, дожила бы свой век барыней, не бралась бы и за холодную воду. Эх, как поняла, локти себе грызла, да поздно: помер уже, пришлось опять служить горничной, в наймах перебиваться, а посватался цирюльник, за него и пойти.

Защитник. Спасибо, бабушка, вопросов больше нет.

Обвинитель. Зато я спрошу, с вашего позволения. Приставал ли к тебе Шевченко с нескромными предложениями, когда уж обручились?

Защитник. Протестую!

Председательствующий. Протест отклонен. Отвечайте, Яковлева!

Все притихли, прислушиваются.

Ликера (будто с сожалением). Нет, не просил у меня и без спросу, как мои тогдашние знакомцы лакеи, не пытался юбки мне на голову закинуть – врать не буду. Я девкой была заводная, бойкая, туды мигну, сюды мигну, сама себе хозяйка. Полез бы – могла бы и не оттолкнуть. Ежели б ещё под настроение попал. Кто знает... Но у него строго с эфтим было. Когда обручились мы, Тарас Григорьевич забрал меня у моей барыни, я уж не работала, слонялась только по снятой им для меня квартире, конфекты кушала, разбирала его подарки, подгоняла новые платья, учителя ещё мне нанял (*вздыхает*) молоденького студентика, но сам сидел у меня только до восьми вечера, а после – ни-ни! Говорил, что мы должны беречь мою ам-пу-тацию, вот.

Смех. Крики: «Ганьба!»

Председательствующий (*брезгливо*). Свободна! Фёдор, да помоги ты бабе сойти со сцены, я сказал. Господа! Если нет других предложений, начинаем прения сторон по второму пункту. Ваше слово, господин Обвинитель.

Обвинитель. Фёдор, пускай картинки.

Ликера (не уходя со сцены, отпихивается от Слуги; смотрит, как на экране её портрет сменили слайды ню, написанных Шевченко: «Сама з собой в своїй господі», «Жінка в ліжку». Изумлённо). Люды! Да что же эфто делается? Вы шо ж – с ума посхóдыли? Ну гостював инколы у моеи барыни такой пидтоптаний, нетверёзый чоловьяга, клинья ко мне подбывал, подарочки носил, а как дала ему от ворот поворот, так он заставил меня через моих господ все его подарки вернуть и спалил всё добро. Так он разве и был тот

великий поэт, хений украинского народу? (*Гром сверху сцены; Ликера отмахивается, крестится, продолжает свистящим шепотом*). Я думаю иногда: а шо, если жил тогда, в годы мои молодые, ещё один Шевченко и тоже в Петербурге, а паны ошиблись, переплутали его с моим пожилым женихом? Боже, чего только паны про нього не наговорили в 1914 году, якраз перед мировою войною, колы праздновали столетний юбилей того Шевченка, хеня, и меня запросили в при... как его ... в прижидиум... Ой!

Громовой удар уже посильнее, резко мигает свет, рушится на сцену экран, темнота, и вдруг во вновь сумасшедше пульсирующих ударах света на месте Ликеры возникает, актриса, пародирующая Руслану в клипе «Дикие танцы», изгибается, прыгает и под музыкальную какофонию выкрикивает:

Гей! Гей!
Виддай, все, що ты пойила,
Виддай сало, виддай свичкы,
Виддай гречку, черевычки!
Гей, гей!

О. Вениамин (*тонким голосом, пытаясь перекричать проигрыш, исполняемый гитарной группой*). Да воскреснет Бох и да расточатся врази его! Аминь.

Пародия на эстрадную певицу исчезает, музыка смолкает. Темнота.

Председательствующий (*устало*). Ведь я же предупреждал. Ваше превосходительство, Андрей Александрович, пожалуйста, распорядитесь.

Куцынский. Слушаюсь. Слабосильная ремонтная команда, к бою! На сцену, бегом марш!

Проходом тяжко прошаркивают пятеро пожилых солдат в полевой форме николаевских времен, – передний, имеющий нашивку капрала на рукаве, несет тусклую имитацию факела, остальные с шанцевым инструментом (кто с топором, кто с лопатой, кто с киркой), один горбат, один хромает.

Председательствующий (*по-прежнему устал*). Что ж, господа, перервёмся. Всё равно ничего не увидите, пока не починимся. Ну, в буфет там сходите.

Голос из зала. А там нектар закончился, амброзия осталась только дрянная... с душком.

Голоса из зала. Ганьба! Злодийи! Воры!

Председательствующий. Занавес!

Капрал (*передает факел солдату, сам вытягивается и отдает честь*). Разрешите доложить! Так что занавес заклинившись.

Председательствующий. Тогда свет потуши! Антракт.

Акт четвертый

Члены судебного присутствия снова на своих местах. Декорации не изменились, вот только экран висит криво, претенциозная золоченая рама его поломана, а изображение юной этуали, нахально уставившейся на зрителя черными глазами («Жінка в ліжку»), разорвано пополам и наскоро, большими стежками, сшито чёрными нитками.

Председательствующий. А быстро починили... Господа! Прежде всего нам нужно покончить с развратом. Остались только прения сторон. Прошу вас, Фаддей Венедиктович.

Обвинитель. Да что тут скажешь, развратный был человечешко. И вообще-то была личность двусмысленная, этакая и нашим, и вашим – вы меня понимаете, конечно? Я хорошо помню Шевченку в молодые его годы: фигура у него была странная, на контрабас похожая, и портному надо было крепко потрудиться, ваты для подбивки плеч не пожалев, чтобы он выглядел хоть чуточку по-мужски. Лицо тоже круглое, бабское какое-то. А заговорит, ну точно голос малороссийской молодки, вы знаете, господа, этот тип – молодки черномазой, толстой, ядреной этакой! А заматерел, так сам на баб кинулся. Причём, заметьте, дома терпимости посещал отнюдь не для изучения нравов, проституток называл своей семьёй. В зрелом уже возрасте всё ему молоденьких подавай – это уже хоть и незначительное, но извращение. Да посмотрите

на его ню – ведь эротика так и пышет! А ещё была у него заветная картинка, своего рода автопортрет на берегу Каспийского моря, так её и на стену повесить нельзя. *(Достаёт из кармана фотокопии форматом с почтовую открытку, подзывает Слугу)*. Фёдор, раздай-ка судьям. Самому не смотреть – и не вздумай мне!

Слуга хромает к судейскому столу. Оказавшись спиной к Булгарину, косится на верхнее фото, выпучивает глаза и крестится. Раздает участникам заседания открытки, делает несколько шагов в сторону зрителей, потом, махнув рукой, возвращается.

Обвинитель. Каково, господа? А когда гастролировал у нас этот негритянский трагик, Айра Олдридж, так Шевченко стал его самым восторженным поклонником и приятелем; мне рассказывали, как после какого-то спектакля он прямо на людях повесился африканцу на шею и принялся осыпать поцелуями. А многолетняя дружба с другим актером – со Щепкиным, и чувства снова самые пылкие! Теперь резюме: Шевченко виноват в разврате! Вот, я вижу, наш отченька со мною целиком согласен. Ведь правда, святой отец?

О. Вениамин *(мямлит)*. С одной стороны, понять-то можно, господа. Молодёжь всё, по молодости лет пылкая, художники, да ещё по ученической служебной обязанности испытывающие постоянное соблазнительное лицемерие обнаженного тела... *(Судьи перемигиваются и фыркают в кулак. О. Вениамин замечает это и продолжает уже обиженно, с некоторым вызовом)*. Да и люди, конечно, разные: одному Господь дарует хладнокровие лягушки, а другому – неистовую горячность козла. Хорошо, уютно и покойно первому, горько, хлопотно и срамно второму! Однако непонятна мне эта бесстрашная смелость в

выворачивании себя наизнанку, непонятна и поразительна! И еще обидно мне, слуге Господа нашего, за тварь Божью, что человек способен неистовую силу своей похоти (которую, если по правде, должен был бы и от себя прятать, чтобы ей не поддаваться) изливать на других людей, выносить на люди, вроде как гордиться ею. Это грех, господа. Это не только саморазвращение, это и развращение других, слабых духом овец небесного нашего Пастыря.

В партере шум, приглушенная ругань (можно разобрать: «Да не по ногам же, ты, урод длинноволосый!»), и после некоторой возни на сцене возникает фигура Вечного студента.

Вечный студент. Господа, послушаешь наших попов, особливо чёрных, так подумать можно, что мы живём не в просвещенном XIX столетии, а где-то в средневековье. А чтобы понять, в какой мы пребываем в глубокой жопе, то есть, пардон, в провинции, нам с вами, господа, и попов не надобно выслушивать. Вон в Париже Огюст Роден представил общественности отлитый им памятник Бальзаку, и все там знали, что это он уже в конце работы над композицией прикрыл торс писателя плащом, а сперва изобразил Бальзака опирающимся на свой мощно восставший член... (свист, аплодисменты, выкрики «Ганьба!» и «Слава!»). Чувственность, стремление в экстазе соединиться с противоположным полом, великий Эрос – вот основа художественного, да и не только художественного творчества! Сравните, что писал Абеляр, пока желал свою Элоизу и счастливо сочетался с нею, и что – после того, как обскуранты его оскопили! Однако даже если просвещеннейшие французы в наши благословенные девяностые годы XIX века (*громовой раскат*) отвергли

умозаключениях: например, primo, среди солдат встречаются мужеложцы, secondo, Шевченко был отдан в солдаты, ergo он мужеложец. Чушь и юридическая, господа, неграмотность. Коль свечку вы Шевченке не держали, то и обвинять его не имеете права. Обвинения же его в «непозволительных разговорах», как выражаются британцы, с Олдриджем и стариком Щепкиным нелепы вдвойне. Думаете, стал бы Шевченко на людях бросаться обнимать и целовать негра-актёра, если бы и вправду имел с ним превратные отношения? Он выразил свое пылкое восхищение игрой Олдриджа – и только. И что же, господа, у нас больше уже не признают мужской дружбы? Вон Пётр Александрович Плетнёв, известный издатель «Современника», ректор Петербургского университета, и грамматик Яков Карлович Грот так крепко подружились, что когда государь назначил Грота ректором Дерптского университета, они несколько лет каждый день писали один другому по письму – понаписывали целые чемоданы, Плетнёв мне такой с письмами Грота показывал. Прикажете и их также в двояком грехе обвинять? Ну а то, что Шевченко так и умер богемой и холостяком, в том не вина его, а беда. Я слышал, что он еще до солдатчины своей сватался в родном селе к красавице-поповне, а отец её, богатый поп, не отдал. А когда вернулся, то несколько раз пытался жениться на простой, но с твердыми нравственными устоями крестьянской девушке. Очень, скажу я вам, благородное и весьма разумное намеренье. Что же ему – к Адольфинке прикажете свататься или к дворянской надутой барышне? Вот ткнулся к мещанке-горничной, к этой Лукерье, польстился на юность и темперамент – ну, вы сами её тут наблюдали... Если бы не опомнился в

последний момент и обвенчался бы с нею, оказался бы наказан столь жестоко, как ни один суд его бы не наказал. И за что его было наказывать? Ведь Шевченко в сем пункте не виноват.

В зале голоса: «Лихо!», «Ганьба!», «Слава захысныкови!».

Председательствующий. Хорошо. Переходим к пункту третьему – и последнему. Безбожие. Серьезное обвинение, по вашей части, о. Вениамин. Гм, Ваше Превосходительство, господин генерал-лейтенант, если уж вы самовольно сели среди судебных заседателей, не считите за труд, разбудите отца-иеромонаха... (*Дубельт, закусив губу, трясет за плечо о. Вениамина*). Ау, отец Вениамин! Судим безбожие!

О. Вениамин (*мочает голову, ошалев со сна в неудобном положении*). Слушаю и повинуюсь, вручая слабые мои силы деснице начальственного благорасположения.

Бенкендорф (*неудержимо зевая*). А нельзя ли ускорить течение процесса? Безбожие военному суду не подлежит, дров бы нам не наломать. А впрочем, как желаете.

Председательствующий. Мы все устали, Ваше сиятельство. Думается, пристойно будет сократить обсуждение, не жертвуя глубине богословской. Ваше вступительное слово, господин Обвинитель.

Обвинитель. Тут нечего распространяться. Афеизм в современном развращенном обществе моден. Пушкин вон изготовил позорную для его памяти «Гаврииаду», а Шевченко, ревнуя его скандальной известности – «Марию». В обеих рукописных поэмках отрицается догмат Непорочного Зачатия. Для выдвигания обвинения в безбожии сего вполне достаточно, господа.

Вызываю свидетелем господина Аскоченского, издателя газеты «Домашняя беседа».

Слуга приводит, подталкивая перед собою, толстяка в смиренной рубашке, рукава у неё завязаны, передвигается Аскоченский прыжками, во рту у него кляп. Он в очках и очень походит на потолстевшего Вечного студента, только подстрижен коротко.

Председательствующий. Господи мой Боже! Что ж это с вами приключилось, Виктор Ипатьич?... Фёдор, вынь у него кляп.

Аскоченский (*дико осматривается; отплевавшись и подавив приступ рвоты, вопит*). Не поддамся вам, темноточным служителям сатаны! Буду обличать вас до мученической смерти моей!

Председательствующий. Заткни ему фонтан, Фёдор! (*Раздражённо обращается к Дубельту, нахально вызвавшему к судейскому столу ангела с голубыми тороками и эполетами и что-то ему невозмутимо толковывающему*). Господин генерал, хоть вы не мешайте!

Дубельт (*вполголоса*). ...в архиве Третьего Отделения Собственной Господней Канцелярии, дубина. Одно крыло здесь, другое там! (*Громко, со сладкой улыбкой*). А я вовсе и не мешаю, господин Председательствующий, напротив, пытаюсь помочь суду. Налицо юридический казус. Ваш Обвинитель ухитрился вызвать душевнобольного свидетеля. Сейчас мне доставят копию дневника Аскоченского, наш свидетель имел глупость его заполнять с конца тридцатых по середину пятидесятых годов, и вы сможете с честью выйти из тупика.

Обвинитель (*обиженно*). Разве я виноват? Я же представился (*зажимает себе рот*), пardon, пересе-

лился сюда ещё до смер... до переселения Шевченки. (*Отдалённый раскат грома*). Простите, ради Бога.

Дубельт (*грубо*) Ваши обмолвки сейчас уже не страшны, Фаддей Венедиктович. Беда в другом: эта вот египетская мумия хотя и спятила, однако слишком уж долго ещё прожила в жёлтом доме... Сейчас тряхнёт. Советую за что-нибудь держаться, господа.

Уже описывавшиеся световые и шумовые эффекты. Наконец, из темноты рядом с Аскоченским выныривает Вечный студент. Без фуражки, волосы растрепаны, боковые карманы его мундира взрезаны воровской бритвой, сквозь дыры видна белая шёлковая подкладка. Пьян, с трудом держится на ногах. Поворачивается к Аскоченскому, отшатывается, отпрыгивает от него, едва не запутавшись в собственных длинных ногах.

Вечный студент. Чур меня, чур! (*Озирается*). А, это опять вы, господа! Продолжаете перемывать косточки несчастному Шевченке? Кстати, вам не встречалась моя фуражечка? Грош ей цена, конечно, однако дорога мне как память об одной про... про...

Обвинитель. Вас же сожгло адским огнем! (*Крестится*).

Вечный студент. А вы забыли, язвительный господин Бул... Бул... Бул... (да дьявол с вами!), вы изволили запомнить, что я Вечный студент? Эх, господа, я оказался в такой ды... ды...

Голос из зала (*девичий, с надеждой*) ...в демократической республике?

Вечный студент. Ох, если бы... Нет, в такой ды... ды...

Голос из зала ... в депрессии?

Вечный студент. Нет, я же говорю, в ды.. ды... ды...

Голос из зала ... в дерьме?

Вечный студент. Уже теплее... В д-дыре... В дыре я оказался, поистине, словно в смрадной заднице. Меня выкинуло в камеру, набитую каторжными в кандалах. Вот уж где стоял русский дух, вот уж где Русью пахло! А язык, язык какой! Я тут же достал записную книжку и свой любимый серебряный карандаш, чтобы дополнить словарь Даля. (*Шарит по карманам*). Чёрт, ничего не могу найти... Так они меня хотели опустить за то, что за ними записывал. Непонятно, только куда – подвала там вроде не было... Тогда я им начал читать стихи Некрасова и Шевченки, а они даже заплакали и угостили меня водкой. Ну не то чтобы совсем угостили, но потребовали за неё заплатить... Странный обычай, у Сахарова «В сказаниях русского народа» такого нет... Ага, нашлась всё-таки записная книжка. Странно: странички вырваны – для чего бы это?... А вот и ихняя запись: решили сделать мне сюрприз... Ужасные каракули! (*Хмыкает*). Тоже дополнения к Далю... Фу, водка к горлу подступает. Какую дрянь, однако, вынужден пить наш народ! Жуткая сивуха, для крепости настоянная на табаке, едком камне и дурман-траве... Ой! (*Зажимает рот, убегает со сцены*).

Дубельт (*отечески*). Ах, эта нынешняя молодёжь! (*Деловито*). Господа, я получил копию дневника Аскоченского и как раз успел просмотреть. Места есть изумительные и как раз времён киевских, времён первого знакомства с Шевченкой. Вот полюбуйтесь: ополчается против монахов-профессоров Киевской духовной академии, где тогда преподавал, клеймит их как «чёрных гениев, представителей закоренелого кви-е-ти-зма»... Чего же это представителей, господин Булгарин?

Обвинитель (*бурчит*). Того же, что и резиньяция, Ваше Превосходительство. Ну, resignation.

Дубельт. Вот ведь фрукт! И дальше не лучше: академическое начальство его-де честит «карбонарием», а он вынужден «скрывать свои лекции от неразумной ревности инквизиторов-монахов». Постов не признает, над православными обрядами издевается... Нужен ли вам такой свидетель, господин Обвинитель?

Обвинитель. Фёдор, гони безумца в шею! С вашего позволения, господин Председательствующий, вызываю свидетелем отца Григория, митрополита новгородского, Санкт-Петербургского, эстляндского и финляндского!

Отворяются райские врата, и в сопровождении описанных уже эффектов через зал дефилирует и на сцену поднимается митрополит Григорий. Булгарин подъезжает к нему на кресле, целует руку и получает благословение. Всех остальных членов судебного присутствия Григорий благословляет оптом, однако его орлиный взор цепляется за Чучело Шевченко.

О. Григорий (*тянет носом, кривится*). А сие что ещё за мерзость? И какой дрянью химической здесь воняет?

Председательствующий. Это, ваше высокопреосвященство, художник-академик Шевченко, коего мы сейчас судим по обвинению в безбожии. Чучело символизирует отсутствующего на месте подсудимого, чему юридические прецеденты имеются. А запах химический проистекает от плаща иностранного, на чучело накинутого, а названного по имени английского его изобретателя Mackintosh. Такой непромокаемый резиновый плащ за сто рублей ассигнациями купил себе подсудимый на первые деньги, заработанные им акварельными портретами.

О. Григорий (*убеждённо*). Се деяние будущего безбожника! Благочестивый человек отнёс бы сии деньги в храм Божий и заказал бы благодарственный

молебен. Резина же есть изобретение богопротивное, потому что Бог человеку никакой резины не дал, только кожу, коноплю, лен и прочие натуральные материи – вот и ноги в резиновых калошах преют, а тело под макинтошем мокреет. Да и не нужен православному христианину макинтош! Если ты богат, тебя в карете не промочит, а нужда куда пройти – над тобой слуга зонтик подержит, если малодостаточен – сам с зонтиком походи, совсем бедный – дерюжкой прикройся, а нет дерюжки – тоже не огорчайся: дождь-то ведь по Божьей воле идёт, чай не расклеишься. Вот так.

Вообще же науки естественные следует окоротить. Пару лет тому назад доносят мне, что в Петербурге некий иностранец Роде публично показывает разные картинки и, не упоминая ни словом о Боге-Создателе, доказывает, будто образование нашей земли со всеми её растениями или животными, не исключая и людей, произошло только от действия естественных сил некоей первобытной материи и в продолжение не простых шести дней, как сказано в боговдохновенной Библии, а весьма и весьма продолжительного периода. Господа, тогда уж выбирайте что-либо одно – либо православие, либо так называемые естественные (а назвать бы следовало безбожными!) науки! Не можно служить и Богу, и Мамоне. Я обратился к обер-прокурору Синода с указанием на вредное для народной веры и нравственности содержание лекций Роде, и мне удалось эти лекции пре-кра-тить (*победоносно озирается, но ожидаемого сочувствия не встречает. Пожимает плечами*).

Обвинитель. Ваше высокопреосвященство, можете ли вы, как архипастырь петербургский, засвидетельствовать безбожие проживавшего в северной нашей столице художника Шевченки?

О. Григорий. О Шевченке наслышан, слухом земля православная наша полнится: ярый смутьян и безбожник. По консисторской справке не говел, не причащался. Удивительно мне, что такой грешник сразу же не оказался в геенне огненной. Поистине, пути Господни неисповедимы!

Защитник (*смотря в сторону, сдерживает смех*). Ваше высокопреосвященство, обращались ли вы с просьбой к Санкт-Петербургскому генерал-губернатору запретить публикацию в «Сыне Отечества» картинки парижских мод, на которых женское платье было украшено крестами?

О. Григорий. Да, я обращал на сие безобразие внимание графа Игнатьева, ибо усмотрел здесь крайне неприличное злоупотребление священного знамени креста.

Защитник. А правда ли, Ваше высокопреосвященство, что граф Павел Николаевич вам письменно отказал, тонко над вами посмеявшись, а затем ещё и переправил всю переписку Герцену в Лондон, и Герцен напечатал её с издевательским комментарием в «Колоколе»?

О. Григорий. И у больших вельмож, сын мой, правая рука порой не знает, что делает левая. Остается смиренно надеяться, что Господь вразумит его сиятельство и остановит на краю бездны вольномыслия, куда бесстыжий мятежник Герцен давно уж низвергся – и с шумом... Мне, однако, удалось запретить в Петербурге розничную торговлю всеми газетами и журналами, отчего бесовский соблазн юношеству, смею думать, уменьшился: меньше возможностей, с журнальчиком в нужнике запершись, над картинками французских блядей... сами знаете, в какой содомский грех впадать. (*Присматривается к Сенковскому. Тот отводит глаза*).

Что-то я не вижу в тебе, сын мой, должного почтения к иерарху церковному. Уж не католик ли ты?

Защитник *(медленно)*. А что, ваше высокопреосвященство, желательно бы вам в Российской империи вместе с газетами, модными картинками и лекциями запретить и всех иноверцев? Можете не отвечать, я хочу спросить о другом. Известно ли вам, что подсудимый Шевченко посвятил вашему преселению на пажити небесные комический надгробный плач, где вслед Герцену назвал вас «юбкоборцем»? Если да, то считаете ли вы, что можете непредвзято судить о православии Шевченки?

О. Григорий. Ах ты полячишка, ах ты, скрытый папист! Святая православная церковь в твоей лживой непривзятости не нуждается, потому что исконно предвзята: во что отцы и деды веровали, на том и стоим твердо. Это и есть православие в кратчайшем издании, господа. Стоит дать послабление, хоть и в ничтожных, казалось бы, мелочах, как конец православию: на секты бедненькое распадется, как последыши Лютеровы. *(Грозно озирается)*. Предупреждаю всех *(пауза, высокомерный взгляд на жандармов)*, и вас, служивые, также, что днесь, нынче же, дела сего не откладывая в долгий ящик, доложу Высшей власти *(тычет в потолок перстом)* о сомнительных и еретических судебных разбирательствах, которые вы здесь, под сенью Божиих крыл, позволяете себе устраивать!

Уходит со сцены широкими шагами, громко топая.

Защитник *(не остыв ещё, жандармам)*. И како-во вам, Ваши превосходительства, оказаться в компании смутьянов и еретиков?

Бенкендорф *(криво улыбаясь)*. Глупы они, эти квасные патриоты. Россия без иноверцев была бы и не

империей вовсе: кого бы усмиряла, кого бы приручала, кого бы приучала к своему византийскому православию и к своим кислым щам? Где, наконец, бедный дворянин-иностранец мог бы сделать карьеру?

Дубельт. Истинная правда, Ваше сиятельство. Я думаю даже, что отделение православной церкви от государства было бы естественным продолжением политики Петра Великого, который сих черных воронов сильно пощипал, и Екатерины-матушки, разорившей их гнёзда. Жаль, что не все гнёзда мудрая немка разорила. И жаль, что к их карканью вороньему власть ещё прислушивается.

Переглянувшись заговорщицки, с двух сторон склоняются к о. Вениамину, убеждаются, что старик сладко спит. Куцынский шокирован.

Председательствующий. Предлагаю прекратить опасный разговор, господа: и без того уже нарвались на донос. Осип Иванович, вызывайте ваших свидетелей. Господин Обвинитель, вы не против?

Обвинитель только машет рукой.

Защитник. Прошу пожаловать на свидетельское место княжну Варвару Николаевну Репнину.

Репнина появляется из задних рядов партера.

Защитник (*почтительно, тщательно выбирая выражения*). Благодарю Вас, княжна Варвара Николаевна, за то, что соблаговолили откликнуться на мое приглашение. Мы тут рассматриваем обвинение академика императорской Петербургской Академии искусств Шевченки в безбожии. Как его покровительница и благодетельница, знавшая Шевченку на протя-

жении многих лет, что вы могли бы сообщить о его религиозных убеждениях?

Репнина (*улыбнувшись*). Об этом вам лучше бы спросить самого Тараса Григорьевича. Я и в самом деле знала его и в относительной молодости нашей, и по письмам его с туркестанской пустыни, и по встречам в Москве после его возвращения, но я узнала о его душе только то, что он пожелал мне показать. Кантовская *Ding an sich*, «вещь в себе» – вот чем всегда была для меня его душа, и я могу рассказать только об обращённой ко мне её стороне. И еще одна оговорка: общаясь со мной, искренне поначалу числившей себя среди близких его друзей, Шевченко никогда не забывал о сословной и имущественной пропасти, нас разделявшей. Я хочу напомнить, что отец мой покойный был в 30-е годы генерал-губернатором Малороссии. Не нужно меня таким образом понимать, будто у Шевченки наблюдалось какое-то искательство перед членами моей семьи. Нет, он держался со старым князем, моим покойным *рара́*, как с ровней, и они прекрасно друг с другом ладили и друг другу симпатизировали. Более того, порой я подмечала у Шевченки особую плебейскую гордыню, и в такие минуты он живо напоминал мне немецких крестьян эпохи Реформации, идущих с вилами на закованных в железо рыцарей. Порою в этой гордыне виделось мне и нечто сатанинское... Вот с такими оговорками могу сказать, что был он человек глубоко религиозный, настоящий христианин. В поэме «Тризна», на русском языке им в принадлежавшем покойному моему *рара́* местечке Яготине написанной, мною, да позволено будет это утверждать, вдохновленной и мне в печати посвященной, он выказывает настоящие христианские чувства, а герой поэмы подражает крестному пути Иисуса Христа (*крестится*).

Защитник (*заинтересованно*). «Тризна» – не лучшее название для благочестивой поэмы. Так ведь назывался языческий обряд – ритуальные бои дружинников перед курганом их князя.

Репнина. А я думала, что по-русски «тризна» – просто поминки. Впрочем, вам, господин Сенковский, виднее, вы ведь профессор, а Шевченко не получил систематического образования. Зато он запоем читал, бросался на каждую умную книгу и впитывал знания буквально из воздуха.

Защитник. Княжна Варвара Николаевна...

Репнина. Да, я поняла. Из солдатской казармы в Оренбурге Шевченко писал мне, что с той ужасной безнадежностью, в коей тогда пребывал, может бороться одна только христианская философия, и просил прислать ему Фомы Кемпийского «О подражении Христу» в переводе Сперанского. В другом письме сообщал, что читает Новый Завет с благоговейным трепетом и мечтает описать сердце матери по житию Пречистой Девы...

Обвинитель (*фыркает*). ...каковый замысел впоследствии и воплотил, как мы сегодня выяснили, в малороссийской кощунственной поэмке «Мария».

Репнина (*выпрямляется и поджимает губы*). Не читала. Сия поэма не напечатана, а рукописи, насколько мне известно, критике неподсудны.

Защитник. У меня вопросов больше нет.

Обвинитель (*напористо*). Я хотел бы задать пару вопросов княжне Репниной. Можно? Княжна, испытывали ли вы особливую сердечную склонность к подсудимому?

Репнина (*с неожиданной весёлостью*). Вы меня спрашиваете, господин Булгарин, не была ли я влюблена в Шевченку, когда он гостил у нас в Яготине? Конечно же, влюбилась, но видимо, разочарую вас, признавшись,

что была это влюбленность чисто головная, рассудочная и даже, смешно теперь об этом вспоминать, писательская. Как же, как же! Кропала я рассказы, начала повесть... Передала Шевченке свой рассказ «Девочка» и конечно же волновалась, что скажет настоящий, известный литератор, а он откликнулся восторженным письмом, тоже вовсе не любовным. В нём поэтически высказывалось благоговение перед моей душевной болью и горечь сознания, что его талант слишком будто бы слаб, чтобы выразить чувства, испытанные им после чтения моей рукописи. Романтическое письмо – и как же я была счастлива! Талант его слишком слаб – да мне бы тогда хотя бы сотую долю силы его таланта!

Обвинитель (злбно). Достаточно.

Репнина (*свысока игнорируя Булгарина*). И знаете, господа, Шевченко тоже ведь дорожил нашими отношениями. Я в этом полностью уверилась только через много лет, когда он прикатил из Нижнего Новгорода в Москву с каким-то жандармом в одном возке за компанию, зато по дешёвке. В пути Тараса Григорьевича просквозило, и он, больной ещё, с отвратительным красным прыщом на лбу и распухшим глазом, не выдержал и прибежал ко мне. Я тогда жила в Москве. Свидание оказалось мучительным обоюдно. Он, как я почувствовала, искал во мне того давнего огня, той душевной пылкости, которую помнил, а я давно уже бросила... графоманствовать, устроила к покою свою религиозную жизнь, ограничилась обычными для старой девы моего возраста способами препровождения времени – благотворительностью и сплетнями. (*С горькой иронией*). Хозяйством занялась, господа! Мой компот, к примеру, Николай Васильевич Гоголь так даже расхваливал на всю Европу, называл его королем компотов и главнокомандующим всех пирожных. Надо же, компот! Шевченко же меня

попервоначально испугал: мне показалось, что пережитые им унижения, вся грязь солдатчины отпечатались на лице его, на руках, на одежде, какой-то разномастной, будто собранной подаянием от разных благодетелей. К тому же он и шутил, как на грех, неудачно. Смеялся, что придумал новый способ передвижения, езду на жандармах: один, мол, его увёз на край земли, другой назад привёз. Мне сказал комплимент, что хорошо выгляжу, и тут же ляпнул: «А не оттого ли, что завели хорошего исповедника?» И ещё раз забежал тогда, после какого-то торжественного обеда, обеда с возлияниями. Ну, не то чтобы совсем был нетрезв, однако заметно было. И очень искренне и тепло уверял меня в своей благодарности и в дружеских чувствах; вот только мне неприятно было, что его горячность, повторюсь, вполне искренняя, подогревается всё-таки выпитым...

Впрочем, в Москве Тараса Григорьевича приняли великолепно, он оправился и в Петербурге уже всюду блистал в тамошнем beau monde, и даже близко сошелся с Тургеневым, известным снобом и русским парижанином.

Обвинитель. Позвольте личный вопрос. Почему вы, аристократка и женщина примерной, святой жизни, до сих пор не в соответствующем вашему положению и добродетелям круге райском?

Защитник. Протестую!

Репнина. Да ради бога, господин Сенковский! Покойный Белинский вырвал у этой рептилии жало, шипит теперь только... Отвечу. Я хоть и княжна, хоть и старая дева, хоть и пряталась, как могла, от живой жизни, однако Бога искала отнюдь не в православном тёмном углу. Однако как русская, как жившая на Украине, как по крещению православная в другое место, кроме как сюда, и попасть не могла. Вот теперь

господа в клобуках, подобные митрополиту Григорию, и проверяют мое благочестие.

Председательствующий молча кланяется княжне Репниной и, дождавшись, пока она сойдет со сцены, жестом предлагает Защитнику продолжать.

Защитник. Господа, все устали, пункт тяжелый, богословский. А между тем светская власть ведь уже разрешила этот вопрос после ареста Шевченки под Киевом в 1859 году. Так, может быть, попробуем воспользоваться прецедентом? А для того попросим его превосходительство генерала Куцынского дать справку о той киевской истории.

Председательствующий. Прекрасная мысль, Осип Иванович. Не возражаете, ваше превосходительство?

Куцынский (кивает, будит локтем под бок о. Вениамина, встаёт). В кратком экстракте дело выглядело так. Шевченко, в Петербурге находившийся под строгим надзором полиции, выхлопотал себе разрешение съездить на несколько месяцев в родные места, на Украину, для поправки, как писал он в прошении, расстроенного здоровья, а также исполнения живописных этюдов. Естественно, из Третьего отделения последовало в канцелярию киевского гражданского генерал-губернатора генерала-лейтенанта Павла Ивановича Гессе секретное распоряжение учредить за подозрительным академиком особое наблюдение. Павел Иванович приказал соорудить соответствующий циркуляр всем исправникам губернаторства, дабы неукоснительно наблюдали за опасным Шевченкой. Поступил сей циркуляр и в Богом забытое местечко Межирич Черкасского уезда к тамошнему недреманному оку государеву, к капитану-исправнику Кабаш-

никову. И, надо же, одновременно с циркуляром и подозрительный академик на свою беду заявляется в Межирич. Глава уездной полиции понимает дело по-своему: коли художник Шевченко под строгим и тайным надзором, следственно, он преступник, а коли преступник, содрать с него сам Бог велел...

О. Вениамин (*умоляюще*). Андрей Александрович, да что же это вы творите... В таком месте!

Куцынский (*набычившись*). Не понял?

О. Вениамин. Не поминайте имя Господне всуе! Что вы такое сказали: содрать взятку – кто велел, а?

Куцынский. Действительно... Ну, извините, ваше священство, я только для связки слова. Исправник и приказывает: «Коли ты художник, так сними с меня портрет в полный рост и безошибочно!» Шевченко, понятно, отказывается. Тот его сажает под арест в ближайшую кутузку, в Мошнах, и начинает собирать доказательства. На подстрекательство к бунту тарыбары Тараса Григорьевича с крестьянами (в основном, в шинке и на нетрезвую голову) никак не тянут. Единственно, что он спьяну посоветовал сельчанам разложить да выпороть какого-то невежливого жидка, а те совету с удовольствием воспоследовали – однако такие шалости в Российской империи не преступление. Прошел слух, что Шевченко в шинке объявлял, будто наука доказала: Богородица была покрывка, а Иисус Христос – байстрюк...

О. Вениамин (*горестно*). Как же так? А ещё академик, человек умный и образованный...

Куцынский. Да, слух такой прошел, вот только крестьяне-собеседники не подтвердили: отговаривались, что сами были пьяны, не запомнили. Однако, на счастье умницы-исправника, явился к нему местный панок, землемер. Он оказался вместе с Шевченкой на охоте,

которую панки-поляки устроили, а начали, разумеется, с выпивона на свежем воздухе. Землемер явился на охоту во фраке, каковая светскость рассмешила столичного академика, уже успевшего отдохнуть на природе с легкой закуской. Начал он полячишку поддевать, слово за слово, начал и над католицизмом посмеиваться, над особливим возвышением у католиков Богородицы. В общем, осмеянный панок слова Шевченки насчет покрытки и байстрюка подтвердил. Наш умница-исправник сочиняет и отправляет гражданскому генерал-губернатору доношение, что им задержан отставной рядовой Тарас Григорьев сын Шевченко, уличенный в кощунстве и богоотступничестве. Павел Иванович не обинуясь приказывает препроводить Шевченка под конвоем в Киев.

Голос из зала. Ганьба! Катты!

Куцынский. Вот такая петрушка. Между тем мои люди об этой истории мне в Вильно доносят. Я тут же скачу в Киев, подключаю к делу военного генерал-губернатора князя Васильчикова, и мы уже вдвоем начинаем давить на Гессе. Князь Илларион Илларионович говорит ему, что, раздув дело, он поставит себя в неловкое положение. Вон вся Европа зачитывается «Жизнью Иисуса» Штрауса, а мы человека с теми же идеями собрались карать за богоотступничество. Сразу же Герцен в «Колоколе» высмеет нас и на всю Европу прославит, так что небо с овчинку покажется. А я говорю Гессе: «Ваше превосходительство! Прикиньте только, за что реально арестован Шевченко. За то, что полячишку пустого подразнил. Разве это вина для русского человека?» В общем, убедил я Гессе, хоть он и упрям, как всякий немец. Освободили Шевченку из-под стражи, а князь Илларион Илларионович сделал ему приличное наставление: «У нас тут, господин академик, как мы не

стараемся распространить просвещение, далеко ещё не Париж. Извольте-ка возвратиться в Петербург, а то опять напоретесь на идиота, не способного оценить ваши остроумные парадоксы».

Обвинитель. Ваше превосходительство, так всё же – повинен был Шевченко в кощунстве и вероотступничестве или нет?

Куцынский (*тяжело уставился на Булгарина*). Ты, клоп недодавленный, меня допрашивать вздумал? Меня, начальника особого Виленского жандармского корпуса?

Обвинитель (*быстро*) Вопрос снимаю. Вызывается мещанин города Корсуня Варфоломей Шевченко, управитель поместий князя Лопухина в Каневском уезде.

Из зала появляется Варфоломей Шевченко.

Обвинитель (*свысока*). Ты академику Шевченке кем доводишься?

Варфоломей Шевченко (*с чувством собственного достоинства*). Далекый родич я Тарасови Грыгоровычу, седьмая вода на кисэли. Алэ йому подобалося называты мэнэ братом, можэ тому, що мы з ным потоварышували, а з ридными братами йому було нудно. Боже, що це була за людына Тарас Грыгоровыч, настоящий святыи на гришний нашей земли! Для ридни та друга ничего не жалкував. Диты мои вчилься на його гроши, дочка моя Прися так навить у пансион мадам Соар в Киеве, для менэ все пидшукував лучшую роботу, ця його дратувала.

Обвинитель (*ухмыляется*). Ишь ты, у мадам Соар... Ты, дядя, старайся на чистом русском изъясняться: их превосходительства тебя не понимают... За-

мечал ли ты родственника своего Тараса Шевченку в кощунстве и богоотступничестве?

Варфоломей Шевченко. А Тарас Грыгоровыч казав, что лучше на родном языке говорить, чем на нечистом московском. Какое там кощунство и бого... бого... Не запам'ятав я, панэ...

О. Вениамин. Богоотступничество... Тягчайший грех!

Варфоломей Шевченко. Не могло бути ниякого богоотступничества, бо Тарас Грыгоровыч бул святым чоловиком. Вин миг статы таким славнозвисным проповидныком, як отець Леванда, а в стари часы – апостолом Христовым. Колы б захотив, высвятывся бы на мытропольта, нэ мэнше! Тарас Грыгоровыч так дияв на людэй, шо я, к примеру, колы б не жинка и четвэро дитей, шо выснуть на шыи, йисты просять, я бы все кынув, щоб бути завжды поруч з ным, допомогаты, захищаты од злых людей, затуляты од лыха.

Куцынский. А я тебя, дядя, вспомнил. Это ведь тебя мои молодцы-жандармы всё тягали к ответу за твои шуры-муры с польскими инсургентами? Ты и тогда так же вилял, разве нет?

Варфоломей Шевченко. Яки таки шуры-муры? Я ж управитель маеткив их светлости, а навколо их оти польськи паны и пидпанкы: паны помищикамы, а пидпанкы орендарямы, управытелямы, заводчикамы, навить землемерамы, як отой Дзензелеський, шо на Тараса Грыгоровыча доносыв. И хйба ж я виляв? Шо було, то було, а вид мэнэ хотилы, щоб я й зайвого на них наговорыв.

Дубельт (*показывая листочки бумаги*). А ведь прав Андрей Александрович, господа: свидетель наш всё-таки виляет. Вот у меня копия его письма Шевченке, где он беспокоится, что о брате его названном дур-

ная слава пошла: он-де безбожник и вот-вот снова отправится дальние царства срисовывать. Что, не писал такого, скажешь?

Варфоломей Шевченко. Писал, не отрекаюсь. И просив Тараса Грыгоровыча накалякаты молитву яку або оду (йому ж цэ раз плюнуть!) та й надрюкуваты в усих журналах, щоб начальство видчепылося. Алэ ж вин видповив мени, що про нього брешуть. Я, каже, только не фарисей, не идолопоклонник какой, как оти хрыстияны – сипаки и брехуны. Я братови своему вирю и на тому тепер стою.

Защитник. Думаю, свидетеля можно отпустить. Давайте уже заканчивать, господа. Вечерняя поверка вот-вот начнется, а там и «Зарю» сыграют на тимпанах. Пожалуйте тогда объясняться с начальником ангельского караула... (*Варфоломею*). Ты иди, пожалуй.

Варфоломей Шевченко кланяется судьям и спускается со сцены.

Обвинитель. Да уж, коль судим мы, как этот мужик сказал, чуть ли не апостола – нам только апостола осталось вызвать...

Апостол Павел (*под звуки особенно громкого проигрыша на арфах и особенно ярких световых вспышек из правого прохода*). Я здесь!

Энергично проходит на место свидетеля.

Апостол Павел (*несколько театрально*). Да это я, Саул из Тарса Киликийского, по прозванию Коротышка, проповедник и вестник Слова Божьего. Хотя у меня, как всегда, много дел и на земле, и у Господнего престола (*поднимает глаза вверх*), посчитал я долгом своим заглянуть к вам и наставить вас на путь истины. Вот уже второй час, сочиняя послание к верным

Южной Африки и одновременно разбирая тяжбу между вольноотпущенниками почтеннейшего и благочестивого патриция Марка Юния, в доме которого в настоящее время гостем пребываю, я одним ухом прислушивался и к комедии вашего так называемого суда.

Куцынский (*громким шепотом*). Отче, кто эфрот чернявенький? Прослушал я... Не дать ли ему окорот?

О. Вениамин. Коротышка по-латыни – Paulus. Говорит, будто он апостол Павел. А там кто его знает...

Апостол Павел. Дело Тарасия из Кирилловки представляется мне не только простым, но и надуманным. Являлся ли он гражданином вашего Третьего Рима? Являлся, ибо стал им, как только вышел из рабского состояния. Как гражданин, он имел право быть судимым своим императором лично, что и произошло. Тарасий из Кирилловки подчинился приговору, вынесенному ему императором, не пытался дезертировать из легиона, в коем служил, и перебежать к другому самодержцу. Так о какой же государственной измене может идти речь? (*Выдерживает паузу*). Да, да, невиновен. Обвинение же его в разврате просто смешно. Кто спорит, хорошо тому, кто остался девственником, и правильно поступает тот, кто предпочитает жениться, выбирая меньшее зло. Однако бытийный мир грязен и подл. Где вы видели раба-девственника? И разве ваш подсудимый с настойчивостью, достойной, возможно, лучшего применения, не пытался жениться? Тарасий из Кирилловки обвиняется в общении с гетерами низкого пошиба, а в прелюбодеяниях и в противоестественных сношениях с мужчинами только подозревается. Знали бы вы, с какими дикими извращениями и с каким развратом доводилось мне встречаться в некоторых

христианских общинах? И что же – святость крещения и искренность покаяния спасали и этих безумцев! Если Тарасий согрешил телом, это дело его совести и сыновства его в отношении Отца Нашего Небесного. Оправдан. *(Пауза)*. Наконец, о каком безбожии идет речь? Где вы в цивилизованном мире видели безбожников? Разве что в Китае. И никакой подсудимый не богоотступник. От Иисуса Христа он не отступал, дух Его святой в себе носит, а восставал против иудейского Иеговы – так ведь праведный Иаков даже и боролся с ним. *(Пауза)*. Неповинен! *(После паузы, понизив голос)*. А вот о вас, любимые мои, я бы так не сказал. Что вы сотворили с духовным и человеческим Христовым учением? Как ухитрились посадить себе на шею жрецов из корпорации бездельников, затворившихся в построенных вами для них крепостях? Поднимался на сей просцениум некто Григорий, так это же центурион, а не духовный глава общины! А ты, любезный черноризец *(обращается к о. Вениамину)*, чем ты занимался в своей крепости на берегу Борисфена, в однополом скоплении таких же тунеядцев? Постился – но почему бы тебе не поститься в миру? Молился, скажешь, за мирских христиан – но разве не полезнее для них было бы молиться самим?

О. Вениамин. Аз не... Я книги печатал! Молчать! Ваше превосходительство, прогоните самозванца!

Мощный громовой разряд. С потолка сцены устремляется вниз зигзаг молнии – картонной, обклеенной алюминиевой фольгой и словно втыкается в пол у стола судебных заседателей.

Громовой голос. Не мечи бисера, Павел!

Молния, как бы воткнутая в пол сцены, остается на месте и дрожит, а над сценой сам собою разворачивается экран, на котором начинают сменяться слайды графики Шевченко: ню, арест Пугачева, халтурные акварельные портреты, казарма, наказание шпицрутенами... Апостол Павел тихонько исчезает с оставшейся в полутьме авансцены.

Председательствующий (*будто только что очнулся*). Похоже, дозаседались. Ваш вердикт, господа... Извините. (*Дубельту*). Леонтий Васильевич, Ваше превосходительство! Покорно прошу занять свое место в зале.

Дубельт. А нельзя ли...?

Председательствующий. Нельзя.

Дубельт (*покидая сцену, со слабой улыбкой*). Надеюсь, что вы не ошибетесь в выборе союзников, господин Председательствующий. Фавор у властителей и судий (*показывает вверх*) имеет свойство в один прекрасный момент заканчиваться, а старательность и трудолюбие всегда остаются в чести.

Председательствующий (*пожав плечами*). Итак, ваш совокупный вердикт, господа. Кто его доложит? Ваше сиятельство?

Бенкендорф с достоинством кивает.

Председательствующий. Итак, ваш приговор по первому пункту? Государственная измена.

Бенкендорф. Оставлен в подозрении. Сие означает, что при открытии новых улик подсудимый может быть вновь привлечен к суду.

Председательствующий. Приговор по второму пункту? Разврат.

Бенкендорф. Оставлен в подозрении. Особое мнение, внесенное отцом Вениамином: виновен.

Председательствующий. Ваш вердикт по третьему пункту? Кошунство и богоотступничество.

Бенкендорф. Оставлен в подозрении. Особое мнение отца Вениамина: виновен.

Голоса из зала. Ганьба! Царськи каты! Опричники! Правильно! Вурдалак!

Председательствующий. Набрыдлы! Цыть!

Голоса из зала разом смолкают. Все члены судебного присутствия и Чучело остаются неподвижными, как в детской игре «Замри!». Каждого из них освещает отдельный софит, вырывая из темноты. Председательствующий, не торопясь, спускается со своей кафедры, сопровождаемый софитом; уже на полу сходит с котурнов, ставит на пол рупор, снимает и отбрасывает мантию и маску Зевса. Зритель узнает Тараса Шевченко. Он такой, как на фотопортрете 1858 года – элегантный, в белом костюме, в начищенных сапогах, носки которых поблескивают из-под панталон. Лицо его облагорожено и как бы ретушировано: это Шевченко, каким он внутренне видит себя.

Председательствующий обходит, рассматривая, замерших неподвижно членов присутствия; когда он, покачав головой, заканчивает осмотр и направляется к следующему, софит, высвечивающий актера, гаснет, и актер потихоньку покидает сцену, при этом играющий Булгарина везет кресло-качалку перед собою. Проходя мимо Чучела, Председательствующий толкает его на пол, посмертная маска катится ему под ноги. Равнодушно смотрит на неё, встает на свидетельское место. На экране остается слайд сепии «Казарма».

Председательствующий. Боже мій, що за монстрів ти викликав з моєї пам'яті та уяви? *(Всмагрувається в зал)*. Меня, как всегда, не понимают. А я хотел сказать, что Творец создал в моем писательском

воображении отвратительных монстров, однако существовали ведь и живые люди, носившие их имена – и вы думаете, господа, что те были лучше?

Что? Да, я догадался, о чём вы сейчас подумали. Вы не ошиблись. Эту мерзостную православно-жандармскую Валгаллу сотворил тоже я. А вы чего ожидали – что покинете земную юдоль страданий, а там добрые ангелы подхватят вашу душеньку под руки? Мы получаем тот потусторонний мир, какой заслужили нашей земной жизнью, это еще древние греки хорошо уразумели. И вы заметили, небось, до чего кукольными казались мои судьи в начале нашего фарса, как легко было кукловоду дёргать их за веревочки! И как они ожили и освоились ближе к занавесу, когда демократическая говорильня завершалась и к ним вернулось их право судить и карать!

Вы, живущие в тупой сытости, думающие, что ухватили счастье за хвост, вы, презирающие тех, кто ездит на экипажах подешевле ваших или ходит пешком, вы, смеющиеся над пьющими иное вино из других бутылок, почему вы так уверены, что жизнь ваша устроилась навсегда? Не читаете меня, а если и читаете, то не понимаете – ладно уж, я привык, но почему не читаете хотя бы Евангелие? Ведь и в самом деле стоит ещё секира при корени, дожидается ваших голов, и земля в любую секунду может рассесться у вас под ногами, чтобы пыхнуло из трещин адское пламя. Зазеваетесь, понадеетесь отсидеться в своей теплой хате – и накинут на вашу шею веревку новые Карлы Ивановичи и Дубельты, тогда придется вам сложить руки за спиной и брести, куда не хочется вам. Нет никакой радости в прошлом, а будущее может изменить вам – так пытай-

тесь сделать прекрасным тот краткий миг, в котором живёте, а если не удаётся насладиться им, попытайтесь прожить его хотя бы по-человечески осмысленно. Ведь умрёте – не придет к вам Иисус Христос, чтобы воскресить, как друга своего Лазаря, разве что черви придут к вам. Не было и не будет больше таких друзей, какой случился Лазарю.

Нет, я не отрекаюсь от своего пророчества:

І буде син і буде мати,
І будуть люде на землі.

Однако это ведь не о вас. І не про мене.

Поворачивается и уходит, сопровождаемый софитом. На полпути до кулис софит гаснет. Темнота на сцене. Занавес. Софиты блуждают по залу.

2004, Киев





ений измены

*Жестокая игра об украинской интеллигенции
в двух действиях, четырёх картинах*



Действующие лица

Пётр Иванович – в Картине первой ему лет 35, одет в рабочую спецовку из дорогой ткани, пошитую лучшим киевским портным, под ней белая рубашка с галстуком, в Картине второй – лет 45-ти, в красивом чёрном пальто, широкие брюки наглажены, ботинки тускло поблескивают, в Картине третьей – лет 50-ти, в немецком мундире офицера вермахта со споротыми отличиями, в Картине четвёртой – лет 70-ти, в модном костюме и галстукке, с орденом Отечественной войны 1-ой степени. Всегда в золотых очках, только в Картине четвёртой – в очках с роговой оправой. Реальный прототип главного героя пьесы с годами тучнел, однако актеру, играющему Петра Ивановича, вовсе не обязательно воспроизводить внешность украинского писателя, ученого и философа Петрова-Домонтовича-Бера.

Надежда Павловна Нулёва – жена, потом вдова известного украинского поэта-неоклассика и выдающегося литературоведа – в Картине первой ей лет под 30, в тёмном платье с белым воротником, яркая брюнетка. В Картине четвертой выглядит лет на 50, одета неброско, но модно, держится очень прямо, волосы неестественно черны.

Энкаведист – в Картине второй ему лет 30, в форме капитана госбезопасности, в Картине третьей – даже помолодел, одет подчеркнуто по-европейски: клетчатый джемпер под пиджаком, брюки гольф, на голове берет, в Картине четвертой – потолстел и постарел, в украинской рубашке-вышиванке под пиджаком светлого и просторного летнего костюма.

Филиппович Павел Ефимович, известный поэт-неоклассик, литературовед – лет 40-а, дорого, но немного мешковато одет по моде 20-х годов. С чемоданчиком.

Немка – лет 30-ти, хорошо одета по моде конца 40-х, худая блондинка, почти непривлекательная.

Клименко Тарас Григорьевич, ассистент Украинского Свободного Университета в Мюнхене – мужичок лет 35-ти. Одет бедно, в немецкий «секондхенд» 40-х годов.

Велецкий Георгий Александрович, академик АН СССР и АН УССР – высокий, представительный, элегантно одетый, под 80 лет.

Доцент кафедры советской литературы – немного за 40. В двубортном костюме, пошитом хорошим портным, на пиджаке колодка с ленточками орденов и медалей.

Рудаков, ефрейтор – лет 20-ти. В потрепанной солдатской шинели со знаками отличия войск НКВД, с винтовкой. Его должен играть тот же характерный актер, что и Доцента.

Человек с транспарантом на палке – в Картине первой появляется в толстовке, мятых холщевых штанах и в резиновых тапочках, в Картине второй – в безукоризненно подогнанной форме войск НКВД и в блестящих хромовых сапогах, в Картине третьей – в европейской гражданской одежде сороковых годов прошлого века, в Картине четвертой – в смокинге официанта, в галстук-бабочке.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Спартанская берлога неженатого гуманитария, которую украшают разве что книги, сложенные стопками у стены, и криво висящая модернистская картина без рамы. На авансцене Надежда Павловна и Пётр Иванович. Сидя на разобранной кровати спинами друг к другу, они заканчивают одеваться. Надежда Павловна, выпятив губки, застёгивает пуговичку сзади под воротником платья, Пётр Иванович завязывает галстук.

Появляется Человек с транспарантом, развязно выходит к авансцене, показывает транспарант «19 апреля 1930 года. Киев. Комната Петра Ивановича в коммуналке на Ленина». Оборачивает транспарант. Там: «Говорят сначала на русском, потом на украинском». Уходит.

Надежда Павловна (*теперь занята узлом волос на затылке, мычит, потому что держит шпильки во рту*). Может быть, мне лучше уйти отсюда молча?

Пётр Иванович. Прошу прощения, я не слышал.

Надежда Павловна (*вынув шпильку изо рта*). Разве не лучше ли было мне уйти отсюда молча?

Пётр Иванович. И тем обидеть меня ещё больше? За что?

Надежда Павловна. Только сейчас я поняла, что ты обращаешься ко мне на русском. Давай уже лучше на украинском, Петя.

Пётр Иванович. Странно. Я и сам только сейчас это заметил. По-видимому, с тобою я вернулся в двадцатый год, когда в нашем кругу все разговаривали по-русски.

Надежда Павловна. В двадцатый, когда мы с тобой сошлись, и ты бросил меня. И чем это я тебя сначала оскорбила, что теперь «ещё больше»?

Пётр Иванович (*удивлённо*). А мне так всегда казалось, что это ты меня бросила тогда... Не тогда, правда, а позже, когда замуж вышла. А сегодня – разве это не обида, что ты вынудила меня... ну, предать моего старого и лучшего друга? Я понимаю, что эти слова слишком грубо передают то, что происходит между нами тремя, но нужно же было как-то...

Надежда Павловна Я?! Тебя?! Однако стоп машина. Знаешь, я еще не готова обсуждать вопрос, кто из нас кого предал. Да и слово такое плохое... (*Пауза*). Тебе не кажется, что теперь на украинской мове в Киеве разговаривают только фрондеры, как до войны?

Пётр Иванович. О! (*Всматривается в её лицо*). Это ты сама придумала? Или услышала от...?

Надежда Павловна. Лучше уж я пойду. (*Остаётся на месте*).

Пётр Иванович. Прости! Просто очень острое сделала замечание. И весьма меткое. Хотя официально никто не прекращал нашу хилую украинизацию, в обществе опять стало добрым тоном разговаривать на великом и могучем. Относительно же измены... Если поставить вопрос шире, то для украинца понятия предательства оказывается таким же амбивалентным и расплывчатым, как образ Иуды Искарота в толкованиях новейших писателей. Как только украинская нация сформировалась, сразу же породила либо бунтарей-изменников, либо верных

служак чужому хозяину, ибо сформировалась наша нация в составе чужих государств. Разве Хмельницкий не изменил польскому королю? А вспомни Выговского, которого именно за измену и расстреляли поляки? О Мазепе и не говорю! А кто не изменил королю или царю, изменял собственному народу и его культуре – с тем до сих пор и живём!

Надежда Павловна. Вот как? Дай-ка я взгляну на твой галстук. *(Поправляет, он целует ей руку)*. Без теоретизирования минуты прожить не можешь. Повезло мне в жизни, ох, как повезло: один гениальный пустомеля у меня дома, под рукой, а другой мне письма пишет, всё не успокоится – так, может, теперь перестанешь, а, Петя?

Пётр Иванович. Скорее наоборот. Как можно успокоиться, когда ни одной, на тебя похожей, до сих пор не нашёл?

Надежда Павловна. А она? Эта тебе тоже не подошла? *(Показывает на картину)*.

Пётр Иванович. Саломея? *(Смотрит на картину)*. Не стану лгать, с нею я связывал некоторые надежды. Когда назначила мне свидание, правду скажу, не спал ночь, всё мечтал. *(Получает от Надежды Павловны ладонью по губам)*. А если бы я тебе признался, что мечтал отнюдь не о том, как будем мы с Саломеей чаёвничать в садку вишневом коло хаты, а ночь не спал от возбуждения?

Надежда Павловна *(задумчиво)*. После того, как мы с тобой опять побыли вместе, тебе показалось, что меня можно ни в чём не стесняться, и у меня только что возникло впечатление, что если бы тебе сейчас приспичило по малому делу, ты и дверь не стал бы за собой закрывать. Ты ошибся. Мы остались

разными людьми, Петя, а я к тому же глупой ревнивой женщиной. Да ладно... Так что там было с Саломеей?

Пётр Иванович (*поднимается, ходит перед кроватью*). А, нечего! Проговорили две или три ночи, а затем соскучились и разбежались. Слишком разные мы люди, Надя. Она настоящая богема, а я из тех, кто предпочитает получать твердую плату ежемесячно. И желательно в государственном учреждении, а не от глупого и надутого хозяйчика. Она же, Саломея, вряд ли сойдётся надолго с кем-то, разве что повезёт найти настоящего мазохиста-подкаблучника. Вот не знаю, как сказать по-украински...

Надежда Павловна. Не суть важно. Кажется, «той, що у жинкы пид пидбором».

Пётр Иванович. По-видимому, на украинский это переводится еще длиннее: «Просты мене, моя мыла, що ты мене была». Вот за что люблю я нашу мову – она живая, творится на глазах, не такая нейтральная и бесцветная, как языки русский или немецкий! И ты ещё успеваешь принять участие в её выработке, ещё имеешь возможность поиграть в Ганса Сакса или в Карамзина, ведь литературная мова до сих пор зияет огромными лакунами в сфере научного дискурса, не говоря уже о профессиональных технических. (*Другим тоном*). А Саломея – слишком *émansipé*, настоящая суффражистка, а мне по душе мягкие, домашние создания – такие, как ты.

Надежда Павловна. Тоже нашел мне домашнее создание! Я ведь учительница. И разве я – не *émansipé*?

Пётр Иванович. Всегда меня удивляло это твоё учительство! Почему ты не осталась в Книжной палате? Была бы там уже на первых ролях. Такая

нежная, такая кроткая, как ты управляешься с этими хулиганами-недоростками? И вообще, не могу привыкнуть, что хлопцам в школах теперь преподают женщины, а не строгие, неудовлетворенные судьбой мужики, вооруженные линейками.

Надежда Павловна (*таинственно улыбается*). Мне приятно, что ты меня считаешь мягкой и кроткой. А Саломея, она тебе не пишет?

Пётр Иванович. Давно уже не писала. Да и о чём ей писать? К тому же получать письма из Парижа стало теперь опасно.

Надежда Павловна. Что же касается чаепития с художницей...

Пётр Иванович. Да оставь ты, наконец, Саломею! Неужели нам больше не о чем поговорить?

Надежда Павловна. Я, Петя, не прочь бы выпить чаю.

Пётр Иванович. Для этого нужно, во-первых, вспомнить, куда я засунул пайковый чай, а во-вторых, спуститься, прихватив его с собой, и через улицу – во «Франсуа». Сколько уже раз кафе переименовывалось, а для меня оно всё «Франсуа»!

Надежда Павловна. Хочешь сказать, что у тебя нет примуса?

Пётр Иванович. А где я его тебе поставлю? На кухне стараюсь не появляться, ибо у меня с соседями такие отношения сложились, ну, прямо по лозунгу Троцкого «Ни войны, ни мира». А здесь, в комнате, зачем нужен примус – чтобы вонял керосином? К тому же чистая вода намного полезнее, чем чай или кофе. И всегда имеется приличный коньяк. Хочешь коньячку?

Надежда Павловна. Просто замечательно. На чайник и на примус у тебя денег нет, а на дорогой коньяк – тебе хватает.

Пётр Иванович. У меня хватает денег на всё. Я хорошо зарабатываю, а живу бирюком. Денег не хватает только, чтобы купить отдельную квартиру. Однако зачем она мне? Всё равно придется переезжать в столицу: Харьков теперь всему голова. Или ещё куда-нибудь отвезут. На бесплатную жилплощадь. *(Пауза. Бодрым тоном)*. А покамест здесь имеется хотя бы то преимущество, что в самом центре, в двух шагах от академии.

Надежда Павловна. Я, кажется, уже созрела для того, чтоб поговорить о вещах, для меня ещё более важных, чем твой самоубийственный холостяцкий быт.

Пётр Иванович. Скорее старохолостяцкий, дорогая.

Надежда Павловна. Или старокиевский, потому что в древнем Киеве тоже не было никаких примусов и никаких чаепитий. Знаешь, Петя, я уже припомнила, как надо с тобой разговаривать. Разговаривать с тобой, это всё одно, что играть в волейбол.

Пётр Иванович. Скорее в пинг-понг. Ты мне «пинг», а я тебе «понг». *(Нежно)*. Но я хотел бы снова поиграть с тобой в другую игру, ту, из которой мы уже сыграли сегодня один гейм.

Надежда Павловна. Отстань. Почему-то теперь вдвоём можно разговаривать откровеннее, чем в компании. Это у тебя нет друзей, ведь тебе не нужен никто, хватает и того, что варится в твоей голове, а у моего Николая, ты же знаешь, много друзей, и он обожает собирать их у нас на вечеринки. И вот как-то мы заметили, что на вечеринках стали меньше разговаривать. Смотришь: глазки у подруги заблестят,

раскроет она ротик – да и закроет сразу. Николай говорит, что так же было в Риме при Нероне в годы проскрипций.

Пётр Иванович. Разве? Теперь и вдвоем стало рискованно разговаривать. Вон мне Ефремов рассказывал, что Косынка выпил с каким-то товарищем-поэтом по фамилии Першотравнэвый (Сергей Александрович здесь в усы улыбнулся: «И такой есть») и что-то там начал ему о тяжком положении Украины, а тот подсовывает альбомчик: «Напишите, – говорит, – на пам'ять». Косынка и написал, а Першотравнэвый отнес альбомчик куда надо. За Иудину работу получил награду – командировку в Турцию.

Надежда Павловна. Но всё-таки не в Париж. Саломея ведь в Париже? *(Пауза)*. А о Ефремове теперь тоже опасно стало разговаривать, можно его только ругать. А учителям приказано повторять партийную точку зрения на него. Слава богу, что я преподаю не литературу и не историю.

Пётр Иванович. Ты хотела сказать о чем-то важном для нас, дорогая.

Надежда Павловна. Кто это утверждал, будто даже самые интимные наши чувства поневоле зависят от того, что происходит вокруг нас? Во всяком случае, не ты, потому что ты марксист лишь в научных своих писаниях. Это бы мог сказать Николай, ведь он относится к марксизму не так холодно и рационально, как ты.

Пётр Иванович. По-твоему, он относится эмоционально? В поэзии Николая нет никакого марксизма, одни греки и римляне. Я, правда, давно не гостил на его лекциях.

Надежда Павловна. Что ты? Николай упорно работает над собой! Не скажу, что конспектирует Марк-

са или Бухарина, такого не видела, но внимательно их читает, даже ночью. Года три назад купил мой Николай у букиниста «Историческую поэтику» Веселовского. Помню даже, у кого купил, потому что очень носился с этой книжкой. В лавочке Просьяниченко, знаешь? (*Пётр Иванович кивает, не изменяя выражения лица*). Так он читал, и вслух, для меня, тут же делал замечания, достаточно острые – и как раз с позиции марксизма.

Петр Иванович. Что Николай переходит на марксистские рельсы, меня не удивляет. Есть заразные идеологии, и марксизм одна из них. Все мы сейчас болеем марксизмом – кто ещё до войны заразился, а большинству теперь привили принудительно. Однако марксизм и сам по себе для многих выглядит очень привлекательно. О пролетариях и не говорю, однако также и для учёных мужей, ибо учёному всегда интересно осмыслить свои проблемы в новой системе понятий, наложить на известные ему факты новую методологическую сетку. Знаю среди настоящих ученых весьма многих, которые коммунистов ругают, а от марксизма в восторге. С точки же зрения философской, наши марксисты скорее гегельянцы, ибо у Маркса собственной философии как раз и нет. Прости, это тебе, возможно, не интересно.

Надежда Павловна. Разве я сама этого не знаю?

Петр Иванович. Да не дуйся ты. Я просто подумал: какой марксизм возможен в библиографии?

Надежда Павловна. Марксизм не марксизм, а тупой большевизм ещё как возможен. Поэтому я и ушла из Книжной палаты.

Петр Иванович (*целует ей руку*). Прости, ради бога. А ещё я подумал, что всё-таки оно немножко

смешно, когда знаменитого академика критикует доцент провинциального Института народного образования.

Надежда Павловна. Давно уже профессор. Почему ты притворяешься, будто не знаешь, что Николай профессор?

Петр Иванович. Пусть профессор. Они то дают профессорство, то отбирают. Не суть важно. Имеет значение, что ИНО провинциальный. А впрочем, это и хорошо. Знаешь ли ты, почему я пишу украинскою мовою? Ну, научные писульки понятно почему – ведь во Всеукраинской Академии наук работаю, на каком же еще языке тут писать? А я спрашиваю: почему пишу украинской мовою, когда развлекаюсь над своими романами? Казалось бы, мне естественно писать на русском языке, потому что я – природный русак, сын русского священника, дослужившегося до епископского сана. Однако, написав на русском свои романы, в которых действуют и спорят очень умные люди, современные интеллигенты, с кем я должен был бы соперничать? С Толстым и Достоевским, разумеется. Это было бы приблизительно то же самое, что претензии твоего Николая к Александру Веселовскому.

Надежда Павловна. Оставь, наконец, Николая в покое. Хорошо?

Петр Иванович. Как знаешь. Ты дослушай – и поймешь, что я отнюдь не хотел его унижить. Украинская литература еще дитя, она в коротких штанишках, вот почему у нас всё ещё возможны первопроходцы, и они почти автоматически получают статус отечественных малых гениев. В моей сфере, в интеллектуальном романе, я вижу соперником своим разве что Винниченко, но он давно уже перестал развиваться, а развиваться успел до уровня, который мне не угрожает.

Надежда Павловна. Что я в тебе, Петя, больше всего люблю, так это скромность. А Пидмогильный?

Пётр Иванович. Согласен, Валериан – это сила, хоть и больше в перспективе. Но его главная тема меня не привлекает. Судьба крестьянина в большом городе – и что бы я сказал об этом нового, я, попович, который ещё и родился в Екатеринославе, всё же в губернском городе, не на селе? Если ты ещё не приняла мою мысль, вот тебе убийственный аргумент. На каком же уровне находится наша литература, если мы, неоклассики, собрались в XX веке приобщить, наконец, матушку Украину к литературным сокровищам античности, в то время как французы эту стадию прошли бог знает когда: в науке в эпоху Возрождения, а в литературе – в XVII веке?

Надежда Павловна (*поднимается на ноги*). Ладно. И вот о чём я давно уже хотела тебе сказать, Петя. Ты мне посылал всё, что печатал из художественного. Я всё прочитала. Мне было интересно, потому что я видела за персонажами тебя. Не знаю, так ли интересно читать это другим читателям, ведь слишком уж сложно ты пишешь. (*Пауза*). Ты не обиделся?

Пётр Иванович (*свысока*). На что мне обижаться? На сущую правду? К тому же это самый положительный из отзывов, полученных на мою писанину.

Надежда Павловна. Мне уже пора. А мотивы своего сегодняшнего поступка я уж лучше обсужу с Павлом Соломоновичем Коганом. (*Пауза*). Как только доберусь до Одессы.

Пётр Иванович. Это тот самый чудотворец из Одесского психоаналитического общества, да? Слышал я краем уха, что общество разогнано. Да и не нужен тебе психоаналитик, я тебе сам все объясню, дорогая.

Надежда Павловна. Спасибо. (*Опять садится на кровать*).

Пётр Иванович (*подходит, обнимает*). Это было не тяжело, сделать выводы из того, что я услышал. (*Тише, на ушко*). И из того, что я почувствовал, дорогая, тоже.

Надежда Павловна (*твёрдо*). Вот это ты оставь, Петя.

Пётр Иванович. Кто мы такие с Николаем в действительности, это уже другой вопрос, ибо каждый человек есть кантовская Ding an sich selbst, но мне всегда казалось, что ты, начитавшись Ницше, воспринимаешь Николая как воплощение созерцательного и умеренного аполлонического начала, а меня как типичного бунтаря, оргиастического и непредсказуемого носителя дионисийской безалаберщины. Мне известно, что начало вашего брака с Николаем было непростым...

Надежда Павловна (*неприязненно*). Откуда?

Пётр Иванович. Да оттуда. Ваши отношения стали более-менее гармоничными, когда жизнь в стране немного наладилась. Как мы презирали новых буржуев! Но теперь видим, что нэпманы не только сами обжирались, но и для нас кой-чего доброго делали, во всяком случае, тут и в Харькове. А теперь на селе начинается новая гражданская война, в Киеве исчезают продукты, а вместе это может вызвать новый голод, привести к нашему маленькому украинскому концу света. Теперь бунтарское и глубинно-жизненное в твоей душе возопило в тебе и потянуло к моей волнующей анархической личности. Вышло, как в Библии, не вспомню точно... Вот: «Бездна бездну призывает». Поэтому...

Слышится далекий телефонный звонок. Пётр Иванович замолкает, оба прислушиваются. Тяжелые шаги в коридоре. Надежда Павловна подхватывается с кровати, забивается в угол.

Голос. Кого, кого позвать? *(Пауза)*. Канай к телефону, антилегент вонючий!

Пётр Иванович *(Надежде Павловне)*. Я быстро, дорогая.

Надежда Павловна *(потихоньку)*. Твоя болтовня не имеет никакого отношения к психоанализу.

Голос Петра Ивановича. Спасибо. Я слушаю. *(Пауза)*. Привет. Рад, что вы все вернулись. *(Пауза)*. Хорошо, у меня есть коньяк, а ты поищи чего-нибудь заесть, хоть бы пару яблок. *(Пауза)*. Жду.

Пётр Иванович *(возвращается в комнату, ему не по себе)*. Это Филиппович. Паля прямо с харьковского поезда. Их всех выпустили, и Николая тоже. Николай поехал домой, чтобы тебя успокоить, а потом тоже подойдет ко мне. Вы же здесь совсем рядом, через квартал. Боже, как я мог забыть! И ты...

Надежда Павловна *(ищет свою сумочку среди бумаг на столе, находит)*. Я пошла. А когда ещё я могла прийти к тебе? Николай был в Харькове, Валик в детсаде, а у меня сегодня отгул. Я сегодня выяснила кое-что относительно нас с тобой и возвращаюсь теперь к обязанностям матери и жены. А если ты раскаиваешься, то нужно было раньше вспомнить, что он на процессе СВУ.

Пётр Иванович. Я всё на свете сегодня забыл, стоило мне тебя увидеть.

Выходят. Слышно, как громыхают входные двери. Пётр Иванович сразу же возвращается. Садится на кровати, замирает неподвижно. Три коротких звонка. Подхватывается, приходит уже с Филипповичем. У того чемоданчик.

Пётр Иванович. Ты даже не представляешь, Паля, как я счастлив, что вы вернулись.

Филиппович (*немного запыхавшийся*). Тоже мне счастье, Петро! Но о нашей общей беде после. Я встретил на лестнице Надю.

Пётр Иванович. Какую Надю?

Филиппович. Будто сам не знаешь? Мне это очень не по душе, Петро.

Пётр Иванович. Если тебе не нравится, то я догадываюсь, о какой это ты Наде. Она не ко мне заходила. Дом высокий, надо мной ещё три этажа.

Филиппович. Пусть. Главное, я выразил тебе своё отношение к этому и сделал это до прихода Николая.

Пётр Иванович. Не понимаю, о чём ты. Садись, наконец. (*Показывает на кровать*).

Филиппович (*оглядывается*). У тебя же были стулья?

Пётр Иванович. Были, да сплыли. В лихую годину продал за бесценок, а как получу денюжат, всё забываю купить новые. Садись, Паля.

Филиппович. Прости, что я тебя не предупредил, но я позволил себе пригласить к тебе ещё Мишу и Оскара.

Пётр Иванович. Тогда подождем с коньяком. Ничего, сделаем сидения из книг. А почему ты не пригласил Максима?

Филиппович. Он слишком впечатлителен, слишком пуглив. Разумнее обсудить ситуацию между нами, а затем уже пугать Максима. Здесь у тебя единственное место, где можно спокойно посоветоваться. Ни семьи, ни домработницы.

Пётр Иванович. Ты пришел очень быстро, Паля. Забыл забежать в продуктовый?

Филиппович. Нет, забыл, что у меня колбаса в чемодане. Купил в буфете Театра оперы и балета во время заседания суда. Нет, ты представляешь, какую я проявил хозяйственность?

Пётр Иванович. В Театре оперы и балета? При чем тут заседание суда?

Филиппович. Ты что ж, газеты не читаешь? Процесс проходил открыто, в Театре оперы и балета. В Харькове шутили: «Опера «СВУ», музыка ГПУ». После того, как прочитан был приговор, стало не до шуток. Осуждено 44 человека, Ефремов – академик Сергей Александрович Ефремов – получил смертный приговор. (Пауза).

Пётр Иванович (потирает лоб). У нас все говорят, что никакого «Союзу вызволення Украины» не было.

Филиппович. Ясно, что не было. Обвинение высосано из пальца. Однако чекисты пошли на открытый процесс, демонстративно пренебрегая здравым рассудком. В духоте оперного зала как будто звучало: пусть не было антигосударственного заговора, но вы украинцы, поэтому могли устроить заговор. А в чём именно обвинить вас, мы уж сами придумаем.

Пётр Иванович. Бей своих, чтобы чужие боялись?

Филиппович. Едва ли. Мое впечатление такое, что мы им, хозяевам Украины, уже не свои, даже не попутчики. Я, знаешь ли, никак не разберу, что же именно происходит, поэтому мне нужна твоя аналитическая башка, Петро.

Пётр Иванович. Ты рассказываешь слишком абстрактно, Паля, чтобы можно было проанализировать. Для анализа нужно будет ещё поднять газеты. Но ты успел меня перепугать, признаю.

Филиппович. Я не спал в поезде, думал. И кое-что придумал. Это будет умозаключение уже более предметное. В чём обвинили Сергея Александровича? В том, что он напечатал в заграничном украинском издании полемическую рецензию на книжку советского публициста. Считалось ли такое преступлением, достойным расстрела, хотя бы пять лет тому назад? Следовательно, то, что раньше позволялось, теперь становится поводом для обвинения. Не знаю, как тебя, а меня охватывает дрожь перед логикой ГПУ.

Пётр Иванович. Ая бы не торопился говорить о нелепости обвинений против Сергея Александровича, Паля. Сейчас мы здесь вдвоём, так что положи руку на сердце и спроси себя, разве он не враг советской власти? Ты от него хоть раз слышал что-нибудь хорошее о советской власти? Если теперь карают за мысли, в приговоре Ефремову появляется смысл. К тому же возможно ещё одно объяснение: большевики не забыли его деятельности в гражданскую войну, не забыли, что он был заместителем председателя Центральной Рады и что возглавил киевскую управу после отступления из города Красной Армии. Поскольку же, в отличие от его вечного оппонента Грушевского, Сергей Александрович никогда не пресмыкался перед коммунистами, избегал даже дипломатии с ними, они считают его врагом, который не раскаялся и не разоружился.

Филиппович. Однако Сергей Александрович был амнистирован...

Пётр Иванович. Ты же сам сказал, что в ГПУ особая логика. И мораль особенная. Было время, когда им нужно было расколоть украинскую эмиграцию, и тогда они амнистировали даже кровавого атамана Тютюнника. Теперь наступает время репрессий, а об установках десятилетней давности и не вспоминают.

Что чекисты сделали бы с Сергеем Александровичем, если бы поймали его в двадцатом году, когда он был нелегалом и прятался, как нам рассказывал, в Боярке? А? Теперь, наконец, отыгрались. Если руководствоваться логикой мести, это нормально.

Ф и л и п п о в и ч (*медленно*). Мне не очень нравится то, что ты говоришь, Петро. Точнее, не то, что говоришь, а тон твой. Возможно, я не пересердился ещё на тебя за Надю.

П ё т р И в а н о в и ч . Гневаться – твое право. Но хотел бы напомнить тебе, что никто из нас, из группы мирных неоклассиков, не воевал против советской власти и даже не боролся с нею политическими или литературными средствами. Казенным же языком, у нас нет антисоветского прошлого. Разве есть за что нам мстить?

Ф и л и п п о в и ч . Это теперь не суть важно, ибо «кто не с нами, тот против нас». Теперь никто не может чувствовать, что он в безопасности. А уж тем более наша группа. Пока ещё мы втроём были вызваны на процесс как свидетели, однако в кулуарах я слышал, что эта машина, если уж затянула тебя в свои колеса, то не выпустит. Когда станет преступлением уже то, что мы не воспеваем социалистическое строительство, наступит наш черед.

П ё т р И в а н о в и ч . Боюсь, что ждать осталось недолго.

Ф и л и п п о в и ч . Увы! Тебя с Максимом и Мишу не таскали в Харьков, но в театральном зале звучали имена всех шестерых. Мы есть консервативно-эстетская группировка, мы воплощаем враждебные советской действительности тенденции, в частности, преклонение

перед культурным наследием мировой буржуазии et cetera.

Пётр Иванович. Ничего себе!

Филиппович. Но даже наш Нулёв не сможет доказать, что у древних греков были коммунистические убеждения, правда? К тому же ты, по-видимому, в наибольшей опасности. Там говорилось, что ты, редактируя вместо больного академика Лободы «Этнографический вестник», позволил украинским фашистам и попам напечатать там кулацкие повестушки и черносотенные церковные легенды об антисоветских чудесах. Так что ожидай неприятностей, Петро.

Пётр Иванович. Неприятностиуженачались. Дежурный том «Вестника» задержан, и меня вынуждают написать открытку-вкладыш с раскаянием в грехах и обязательством отныне приложить все силы для партизации этнографической науки. Вон так! Именно партизации! Как быстро они забыли, что в нормальном государстве не может быть одной-единственной партии и что сами ещё до лета восемнадцатого года правили в коалиции с левыми эсерами!

Филиппович. Нашел время вспоминать о левых эсерах! Скажи лучше, что нам теперь делать? Боюсь, что это теперь вопрос жизни и смерти.

Пётр Иванович. Бесспорно, Паля. Удрать – это было бы наилучшее решение. За границу теперь не смоешься, остаются Москва или Питер. Кстати, наша Этнографическая комиссия начала уже разбегаться: Данилов едет в Ленинград, а Квитка думает перебраться в Москву. Его как известного музыковеда давно уже приглашают преподавать в Московскую консерваторию.

Филиппович. Но что ему делать в Москве – мужу Леси Украинки? Где он там, Климентий Васильевич, будет записывать думы и песни?

Пётр Иванович. Не знаю. Видно, ему нервы дороже.

Филиппович. Нервы? Жизнь, Петро, жизнь. Лично меня никто никуда не приглашает. И мне было бы тяжело обитать в поголовно русской среде после нашего милого киевского кавардака.

Пётр Иванович. Присоединяюсь во всем. Теперь выскажусь коротко, ведь Николай вот-вот прибежит. Не покаяться ли нам, следуя этой иезуитской советской моде? Я, по-видимому, всё-таки напишу тот дрянной вкладыш и насыплю себе на плешь немного пепла на очередном собрании Академии.

Филиппович. А я уже не уверен, не выдавлю ли теперь из себя и не напечатаю ли чего-нибудь оптимистического, такого, что можно будет понять как принятие советской действительности. То есть в стихах.

Пётр Иванович. Ты же говорил, Паля, что в стихотворениях пишешь лишь то, что само собой пишется...

Филиппович. Мы с Марией Николаевной (ты же её видел) как раз приняли решение расписаться через месяц. И вот тебе еще одна причина, почему я так опечалился, когда увидел Надю на лестнице.

Пётр Иванович. Забудь, наконец, об этом нелепом совпадении, умоляю! Обещаешь?

Филиппович. Да. Фактически я уже не одинок, как ты, и должен думать не только о себе.

Пётр Иванович. Понятно. Третье моё предложение – это даже не о каком-то пути спасения, а

о жизненной позиции, которую стоит, по моему мнению, нам избрать. Жить, как жили, работать, как работали, полагаясь на то, что политика советской власти не даёт передохнуть, не даёт соскучиться – так, шут её знает, может быть, сделает и спасительный для нас поворот? Я слышал, кстати, что в Москве планируют составить новую конституцию, демократическую, наподобие европейских. Может быть, не для отвода глаз только? А пока что в нашем отношении к большевикам следует руководствоваться правилом: «Не дразни собак».

Филиппович. Иными словами, насунуть шляпу на глаза, если далеко бежать до кучи песка, чтобы всунуть голову? Стать адептом стоицизма? Или вот:

Бей в барабан и не бойся беды!
Целуй маркитантку звучней!

Пётр Иванович. Ух ты, как развеселился наш стойк! Кстати, Паля, «шляпу на глаза» и «бей в барабан» – это разные вещи. Ничего себе философская апатия – «целуй маркитантку»!

Филиппович. А вот я убежден, что Гейне воплощает здесь именно философию новейшего стоицизма. Итак, Петро?

Пётр Иванович. Подытожу в кратчайшем изложении. Если удирать, то в российские столицы, где местные чекисты украинцами не интересуются. Если оставаться в Киеве, то покаяться, чтобы выгадать время, а затем не рыпаться, в надежде на лучшее.

Филиппович. Мрак! Это же так она говорила, та дура из «Двенадцати стульев» – «Мрак!»?

Пётр Иванович. Что же касается пугливой поэтической души Максима, то парню уже...

Слышатся три коротких звонка.

Филиппович. Лёгок на помине.

Петр Иванович. Нет, это не Максим, это Николай так звонит. (*Кривится*). Не откроешь ли, Паля? Я что-то ногу засидел.

Филиппович. Почему же нет? А я забыл, что Максима сегодня не будет. (*Выходит*).

Петр Иванович. Ты даже не вспомнил, мой благородный Паля, что существует ещё одна возможность спастись.

Картина вторая

Кабинет следователя. Без окон. Письменный стол со стандартной настольной лампой. Она горит, изредка помаргивая. За столом и перед столом обычные канцелярские стулья. На стене несколько плакатов, один обязательно на тему «Болтун – находка для врага» и один из тех, где могучий красноармеец прикалывает штыком плюгавого немецкого солдата. У стены простой платяной шкаф и старинный сейф с открытой дверцей.

Звучат далёкие разрывы снарядов, более близкие пулемётные очереди и выстрелы из винтовок. Время от времени с потолка сыплются куски штукатурки.

Открываются двери, из них выходит строевым шагом Человек с транспарантом. Ставит на авансцене транспарант *«Харьков. 30 октября 1941 года. Корпус №1 областного управления НКВД. Говорят на русском»*, делает «Налево кругом» и так же, печатая шаг, выходит.

Появляется Э н к а в е д и с т с узлом в руках. Кладёт узел на стол, раскрывает дверцы шкафа, снимает поясной ремень с португеей и кобурой, кладет на стол и начинает неспешно раздеваться, вынимая всё из карманов и аккуратно вешая вещи на плечики в шкафу. Оставшись в белом казённом белье и светлых целых носках, развязывает узел и переодевается в бедную городскую одежду, теперь из формы на нем только сапоги. Пистолет, вынув из кобуры, затыкает за пояс под ватником.

Возвращается к столу, вытягивает из ящика стандартную картонную папочку, кладет на стол. Тщательным образом пересматривает вещи и бумаги, вынутые из карманов формы, что-то рассовывает по карманам ватника, что-то сжигает в костерке, разожжённом прямо на каменном полу.

Достаёт из стола удостоверение в красной коже, лезвием финки отскребаёт фото, обрывки тщательнейшим образом сжигает. Подпаливает удостоверение на костерке, кладёт на стол.

Энкаведист. *(Рассматривая удостоверение)*. Выходит, что такой себе капитан госбезопасности Гапонов был здесь, но это уже не я был. Хорошо. Эй, Рудаков! Привести сюда задержанного! Того, в очках!

Рудаков вводит Петра Ивановича со связанными за спиной руками.

Энкаведист. Рудаков, пойдёшь собери свой вещевой мешок и найди пустой для меня. Отставить, принеси прежде ещё одну бечевку.

Рудаков. Есть, товарищ капитан госбезопасности. *(Выходит, возвращается с обрывком верёвки, снова исчезает)*.

Энкаведист. Ну, здравствуйте, Пётр Иванович. *(Хочет обнять или делает вид, что хочет обнять. Тот отстраняется)*.

Пётр Иванович. Здравия желаю, товарищ капитан безопасности. Лучше бы руки развязали.

Энкаведист. Конечно. *(Умело развязывает)*. Садитесь, товарищ профессор, время на инструктаж ещё есть. Отступление уже началось, но комендант города клялся, что немцы нас здесь не застукают.

Пётр Иванович. Это ему немцы пообещали?

Энкаведист. Теперь я уже точно убежден, что это вы передо мной, Пётр Иванович. *(Аплодирует)*. И что не испугаетесь задания.

Пётр Иванович. Разве мы с вами знакомы, капитан? *(Снимает, протирает очки, снова надевает, присматривается)*.

Энкаведист. Неужели мне до такой степени не идет пролетарский ватник? Это же я проводил с вами первую беседу, Пётр Иванович, когда вы связались с нами и предложили тайное сотрудничество. В мае, одиннадцать лет тому назад. Дело было в Киеве. Цвели каштаны, под ними шли, щебеча, весёлые и голодные студентки, и плыли Бибиковским бульваром эти загадочные, очаровательные и пылкие киевлянки.

Пётр Иванович (*бросает на собеседника быстрый взгляд исподлобья*). Давайте всё же ближе к делу. Я не очень доверяю заверениям коменданта. Немцы напирают танками, а красноармейцы, сидя в индивидуальных окопчиках, прицеливаются в них из винтовок, произведенных ещё при царе.

Энкаведист. Хорошо. Просто я тогда не поверил услышанному от вас экстравагантному объяснению вашего перехода на нашу сторону. Но тогдашнее руководство так увлеклось вашими идеями относительно стратегии разложения враждебной эмиграции, что я ни с кем никогда так и не поделился своими сомнениями. К сожалению, ваш безутешный прогноз относительно лояльности населения Западной Украины полностью подтвердился.

Пётр Иванович. Что тут поделаешь, это был результат научного анализа. Анализа профессионального этнолога, между прочим.

Энкаведист. Пётр Иванович, или вас или меня, либо нас обоих могут убить в ближайшие часы, а я очень не люблю оставлять за собой какие-то тайны. Я всегда раскапываю, в конце концов, в чём дело, и благодаря этому до сих пор ещё жив и кое-чего достиг в жизни. Вот убьют вас, а я так и не узнаю, почему вы пошли на сотрудничество с органами, хоть были украинским

патриотом и сыном епископа. Не доставляйте мне такой неприятности, пожалуйста.

Пётр Иванович (*напыщенно*). Я и теперь сын епископа. Этот оксиморон приклеился ко мне навсегда. Звучит как парадокс, ибо у православных хиротонизировать в епископы возможно только монашествующего, но я родился, когда отец был ещё священником. Обратили ли вы внимание, как болезненно переживают французские писатели последствия своего католического воспитания? наших же поповичей и не отличишь в гурьбе новой интеллигенции.

Энкаведист. Вы так думаете? Прошу ответить на мой вопрос, времени у нас и в самом деле немного.

Пётр Иванович. Я тогда сказал сущую правду. Вы в своем деле специалист и знаете, что в таких случаях правда лучше лжи. Почему вас так удивило мое признание? Я не хотел быть расстрелянным или загнаться на Колыме от непосильного физического труда. Я человек выдающегося интеллекта и незаурядных творческих способностей, и позволить загубить себя было бы вредной бессмыслицей не только для меня, но и для человечества – уж не говорю о несчастной моей Украине, из которой ваш наркомат будто преднамеренно выбивает лучшие головы. Однако, чтобы спастись, тогда было недостаточно проявить лояльность. Разве попытка быть лояльным не есть, с точки зрения ваших коллег, ясным доказательством скрытой нелояльности? Ничем иным, как проявлением двурушничества и способом маскировки? Чтоб сберечь себя, необходимо было активно и полезно работать на вас. Почему вас не устраивает эта мотивация? Философия эгоизма достаточно распространена – и, главным образом, среди людей, в глаза не видевших трудов Конта и совсем не задумывающихся о

значении слова «философия». Вот и наилучший, самый талантливый поэт нашей эпохи, застрелившийся в том же году, посвятил какой-то там свой опус «себе, любимому».

Э н к а в е д и с т . Но вы предали своих друзей...

Пётр Иванович (свысока). Позвольте полюбопытствовать, а в чем это я их предал? У нас, неоклассиков, не было никакой политической программы, а наш украинский патриотизм, если уж у нас с вами пошел откровенный разговор, был крепко подмочен идеями о культурной отсталости Украины и о необходимости скорейшего наверстывания пропущенного. За что нас и долбили «просвитяне» – и старые, патриотические, и новые – якобы коммунистические.

Э н к а в е д и с т . Не это я имею в виду, Пётр Иванович.

Петр Иванович. А? Ну, знаете... Пусть я эгоист, но не такая же самовлюбленная сволочь. Против друзей-неоклассиков я не давал показаний. Да и вспомните: все они были арестованы летом или осенью тридцать пятого, а тогда я жил уже в Харькове, был директором Института украинского фольклора. Ах, нет... именно тогда я был в заграничной командировке, капитан.

Э н к а в е д и с т . Где же вы находились, если не секрет?

Петр Иванович. Как раз секрет. В бумаге о неразглашении, которую подписывал, не было сделано исключения для вас.

Э н к а в е д и с т . Следовательно, по нашей линии. Хорошо. *(Очень громкий взрыв, кирпичные стены вздрагивают, лампа гаснет уже на несколько секунд. Слышатся крики и стоны)*. Хорошо. Не бойтесь. Мы в

середине этой специально построенной крепости, нас не достанет ни бомба, ни снаряд. Вот завалить может, если уж совсем не повезёт.

Пётр Иванович. А я и не боюсь. Ещё не испугался, то есть. Давайте ближе к делу. Я хочу, наконец, услышать свою легенду, капитан.

Энкаведист. Хорошо. Сила и надёжность вашей легенды, Петр Иванович, в том, что её и легендой назвать трудно – вы идёте к немцам под своим собственным именем и сообщаете им только железные факты вашей собственной биографии.

Пётр Иванович. Да, об этом уже было договорено. Это наилучший вариант. Можно только представить себе, сколько раз гестапо проверяло Рихарда, но он ничего и не скрывал.

Энкаведист. Вы знакомы с Рихардом?

Пётр Иванович. А что тут странного?

Энкаведист. Во время московского отдыха он был плотно законспирирован. Вот что.

Пётр Иванович. А разве я сказал, что познакомился с Рихардом в СССР?

Энкаведист. Рихард арестован в Токио. Я слышал краем уха в наркомате.

Пётр Иванович. Если спёкся, то только из-за рации. По-видимому, немцы прислали японцам свои автофургоны с пеленгаторами. Ужасная штука! А иначе как японцы могли его вычислить, когда все европейцы для них на одно лицо?

Энкаведист. Про связь потом. Следовательно, немцам вы рассказываете об ужасах ежовского террора, о расстрелянных ваших друзьях Нулеве, Драй-Хмаре, Филипповиче.

Пётр Иванович. Что? *(Хватается за сердце)*. Все расстреляны? И Филиппович тоже?

Энкаведист. В этой папочке сведения о ваших приятелях, собранные ещё в прошлом году по вашей просьбе. Потом посмотрите. Сразу скажу, что Надежда Павловна Нулёва жива, на поселении.

Пётр Иванович. Где?

Энкаведист. Не скажу, где. И там люди живут. По крайней мере, не в лагере. *(Пауза)*. Но что это вы на меня так смотрите? Лучше бы спросили, где я был в тридцать седьмом году.

Пётр Иванович. Считайте, что уже спросил, капитан.

Энкаведист. Почти весь тридцать седьмой я провел на допросах в ежовских застенках. А мучили долго, потому как не признавался, что немецкий шпион. Потом на Дальнем Востоке. Я сидел, пока вы жировали в Киеве и Харькове. Возвращён в ряды НКВД по приказу нового наркома лишь в прошлом году. Удивляюсь, как это ежовские опричники не ликвидировали вас, уж слишком умного. *(Пётр Иванович улыбается)*. Что я такого смешного сказал?

Пётр Иванович. Вы, тоже слишком умный, верите, будто ничтожество Ежов мог без санкции сверху развернуть такие репрессии? Или что враг народа мог пролезть на должность руководителя госбезопасности?

Энкаведист *(медленно)*. Ответы на такие провокационные вопросы могут нас слишком далеко завести, а я не могу сорвать операцию, расстреляв вас. *(Ещё более рассудительно)*. Пусть вы индивидуалист, это, в конечном счёте, ваше личное дело, но я убежден, что на такой работе, как моя, необходимо во что-то и в кого-то верить. Я верю в чувство локтя, в нашу команду, в справедливость социалистической идеи, наконец,

и именно поэтому я не могу принять обвинение, скрывающееся за вашими вопросами. Видите, если я и умный чекист, то все же не слишком.

Пётр Иванович. Понял. Свои вопросы снимаю. Но как вы теперь относитесь к тем своим сослуживцам, которые вас истязали?

Энкаведист. Во-первых, мои товарищи – разведчики, а не контрразведчики, меня же допрашивали контрразведчики. Во-вторых, все они теперь на фронте или за линией фронта во главе диверсионных групп, из которых большинство не возвращается. Мне кажется, они искупают сейчас свои грехи.

Пётр Иванович. Вы пришпилили палачам крылышки и превращаете их в ангелов?

Энкаведист. Хватит! Знаете ли вы, что по приказу Ежова были казнены несколько высших должностных лиц ГПУ, протестовавших против разнарядок на врагов народа и на расстрелы? Нельзя мазать всех черной краской! *(Пауза)*. Но после войны, если останемся в живых, я напишу на вас докладную записку.

Пётр Иванович. Если после войны, не возражаю.

Энкаведист. Шутка.

Петр Иванович. Может, вернётесь к моей легенде?

Энкаведист. Вы скажете немцам, что были принудительно эвакуированы в Уфу, но вернулись нелегально в Харьков, сняли комнату по этому адресу *(достаёт из папочки и протягивает бумажку)*, а хозяин вышел ненадолго и не вернулся. Запомните адрес. И вот вам ключ. Это на восток от Госпрома.

Пётр Иванович *(Присматривается к бумажке)*. Да знаю я, где это. Частный домик, конеч-

но? Знаете, я лучше перепишу адрес своим почерком и оставляю себе. *(Пишет на краю бумажки, отрывает его, заворачивает в него ключ и прячет в карман)*. Готово. А почему я не мог пойти прямо к себе? Ведь моя квартира забронирована.

Энкаведист. Скажете, что побоялись, так как вернулись нелегально. В действительности я исключил такой вариант, потому что у вас слишком хорошая квартира, да ещё и на центральной улице. Немцы такие забирают себе. *(Сжигает остатки бумажки прямо в пепельнице, достает из папочки фото)*. Вот он, ваш квартирный хозяин, Сидор Ильич Гупало. Среднего роста. Вдовец, детей не имеет. Одет именно так, как здесь. Рубашка эта клетчатая, как видите, клетки синие и красные. Гупало не вернется: эвакуирован.

Петр Иванович. Надеюсь, не расстрелян? Это было бы очень опасно. Немцы для пропаганды вытягивают расстрелянных вашими коллегами из тюрем на площади и отдают родственникам. Готово, жгите фотографию.

Энкаведист *(сжигает фото)*. Разве я не знаю? Он эвакуирован. Дальше. Вы проголодались, а в доме ни крошки. Вышли на улицу что-нибудь раздобыть – а тут патруль. Вас сюда и приволокли.

Петр Иванович. В действительности самым тяжелым для меня было связаться с вами. Телефонные автоматы уже не работали. Наверху не ожидали, что немцы так быстро продвинулись к Харькову.

Энкаведист. Хорошо. Вас допрашивал капитан Гапонов, то есть я. Вы сказали, что возвратились, так как беспокоились об антиквариате, оставленном в квартире.

Петр Иванович *(улыбается)*. Это не пройдет, капитан. Нет у меня дома ни одной антикварной вещи,

когда не считать нескольких старопечатных книг без переплётов.

Энкаведист. Пусть. Итак, вас допрашивал капитан Гапонов. Для подтверждения ваших слов я брошу здесь это удостоверение. *(Передаёт)*. Как видите, фотокарточка оторвана, но, если спросят о внешности, спокойно описывайте меня. Я бывал в городе в форме. Чтобы фотографировали на улице, такого не заметил, но могли запомнить. А у меня не такая внешность, чтоб поймать меня по словесному портрету. В отличие от вас, кстати.

Пётр Иванович. Благодарю за комплимент. Действительно, я еще нравлюсь женщинам. Но я и не собираюсь прятаться. А вы не боитесь выдать немцам формуляр документа и тайные знаки, заверяющие его аутентичность?

Энкаведист. Нет, это удостоверение старого образца. Знаки тоже были устаревшие, но я их выцарапал на всякий случай.

Пётр Иванович. Как и с кем мне связываться?

Энкаведист. Вы забегаете наперед. Но какая разница? Связь только через меня. Я сам вас найду. Когда же не смогу сам, к вам подойдет человек, что-то там спросит, но обязательно проговорит слово «асбест». Вы же, если сами уже будете арестованы и вас выведут подсадной уткой, должны в ответе употребить слово «бетон». Это и когда я подойду, а вы будете в этой досадной ситуации.

Пётр Иванович. Ага – чтобы вы меня подстрелили? Я против. Связь только через вас. А если у меня возникнет срочная потребность вас увидеть, то я буду в Первомайском парке. Знаете? *(Энкаведист кивает)*. То бишь каждую среду на третьей скамье от

главного входа в три часа. Дня, понятно. Не выйдет у меня почему-то – в четверг на четвертой скамье в четыре. Я думаю, легко запомнить.

Энкаведист. Хорошо. Однако вы недооцениваете возможности моей группы. Кроме боевиков и подрывников, имею две рации – основную и резервную. Все люди уже в Харькове и законспирированы.

Пётр Иванович. Радиосвязь в городе, да ещё используя специального радиста, слишком рискованна, капитан. Первая-вторая передачи более-менее безопасны, а потом выпишут из Берлина пеленгаторы и начнут охотиться. Возьмут радиста, захватят шифры. Через радиста выйдут на вас, а расшифровав сообщение – на меня.

Энкаведист. Ничего лучшего в мире пока ещё не придумали, Пётр Иванович. Одно скажу: ребята будут замкнуты только на меня, а я вас не предаю.

Пётр Иванович (*невесело улыбается*). Простите, но откуда такое убеждение? Благодарю, конечно.

Энкаведист. Я же не сознался, что немецкий шпион. (*Вынимает из-под стола левую руку, показывает пальцы*). Видите, я настолько вам доверяю, что выдаю свою особую примету. Своим не сознался, а фашистов я ненавижу. У меня к ним личный счёт ещё с Испании.

Пётр Иванович. Тронут и сочувствую. Сознаюсь в ответ, что имею свой канал связи. На всякий случай. Когда совсем прижмет, сумею собрать приставку к радиоприёмнику. Надеюсь, статус мне позволит держать дома радио. Разве я вам не говорил, я же прошел спецподготовку!

Энкаведист. Вон как! Тогда давайте разомнёмся. Покажете мне, чему вас там научили.

(Поднимается, выходит на авансцену и начинает мягко подпрыгивать на обеих ногах вместе).

Пётр Иванович *(смотрит на него с ужасом, не двигается)*. Поищите себе другой старый мешок для тренировок, капитан! *(Присматривается)*. Э, да на вас командирские сапоги!

Энкаведист. Ну и что? Это на западной Украине, во Львове, в тридцать девятом году наши ребята в гражданском демаскировались, оставляя сапоги, потому что там гражданские в сапогах не ходят. А мы в Харькове, здесь можно.

Пётр Иванович. Пусть. Однако они у вас начсоставовские, отличного хрома.

Энкаведист. А действительно. Пожалуйста, заберите руки назад. Рудаков!

Рудаков *(прибегает)*. Вот вещмешок для вас, товарищ капитан.

Энкаведист. Скажи лучше, чем это ты набил свой мешок? Отставить, какой у тебя номер сапог?

Рудаков. Сорок пятый широкий, товарищ капитан.

Энкаведист. Нет, это слишком. Вот что, пробеги по камерам, найди мне сорок второй. Нужны обычные рабочие сапоги, но чтобы и зубы не скалили.

Рудаков. Там закончили, товарищ капитан. Наши собираются возле хозяйственного входа.

Энкаведист. Я уже услышал, что закончили. Одна нога – здесь, другая – там!

Действительно, ближних выстрелов из винтовок уже не слышно. Зато пушечные выстрелы стали громче.

Энкаведист. Продолжим. Ваша идея заработать авторитет у украинских националистов, издавая литературно-художественный журнал, одоб-

рена. Название придумайте сами, какое-нибудь патриотическое.

Пётр Иванович. Скажем, «Украинский запев».

Энкаведист. Какая разница?

Пётр Иванович. Или «Украинский засев». Денег просить у немцев?

Энкаведист. Деньги на журнал и на другие ваши потребности уже на конспиративной квартире. К сожалению, советские. Некоторое время ещё будут ходить, следует их как можно скорее потратить или поменять на оккупационные марки. А у немцев – отчего не попросить?

Пётр Иванович. Конечно. Это всё? У меня такое ощущение, что пятки припекает.

Энкаведист. Нет, не всё. Но я должен выйти, проверить нужно. Пока ещё почитайте, а затем можете использовать. Я вернусь, тогда придется папочку сжечь. *(Быстро выходит)*.

Пётр Иванович просматривает бумаги, время от времени стуча кулаком по столу. Забегает Рудаков. Вытаращивается на Петра Ивановича, бросает на пол принесенные сапоги, срывает с плеча винтовку, щёлкает затвором, наставляет на Петра Ивановича.

Рудаков. Руки вверх, буржуй! Нет, я на тебя патрон не стану расходовать, штыком приколю. Куда подевал товарища капитана?

Пётр Иванович *(не отрываясь от бумаг, вдруг кричит)*. Молчать, ефрейтор! Твой капитан пошел по камерам, проверяет, не осталось ли живых. *(Бросает быстрый взгляд на сапоги, потом снимает и протирает очки, присматривается внимательно)*. На сапогах – кровь! Хоть языком теперь вылизывай, пока не поздно. *(Возвращается к бумагам)*.

Рудаков кладёт винтовку на пол, добывает из кармана тряпку и начинает лихорадочно вычищать сапоги. Звуки боя усиливаются.

Вбегает Энкаведист, вырывает из рук Рудакова сапоги, садится на стул и молниеносно переобувается.

Энкаведист (*с офицерскими сапогами в руке, присматривается, куда их положить*). Есть чуток времени. Пехота закрепилась на углу, там зэки предварительно построили что-то наподобие баррикады. Наши, кстати, уже поехали.

Рудаков (*не поднимаясь с коленей, елозит по полу в направлении Энкаведиста*). Товарищ капитан! Сжальтесь! Не убивайте за то, что видел вас с этим буржуем! Товарищ капитан!

Энкаведист (*наступив на винтовку, тычет ему сапоги*). Сбегай туда, где брал те, рабочие, и брось возле зэка, с которого стянул. Никто тебя не собирается ликвидировать, пойдешь со мной в подпольщики.

Рудаков. Наши уже поехали! (*Выбегает*).

Пётр Иванович. Ничего себе подпольщик! С такой приметной мордой. Это моя вина, но он забежал неожиданно. Всё, я прочитал.

Энкаведист. Жгите сами – у меня руки заняты. (*В пустой вещевой мешок перебрасывает из чемодана несессер, мыльницу, белье, пачки денег в банковской упаковке, а патроны и гранаты рассыпывает по карманам*). Этот болван должен был нас вывести на улицу и пальнуть в воздух, мы бы разбежались в разные стороны, а он прошел через корпус и сел бы на грузовик, но теперь... Вы бы рассказывали, что рядом взорвался снаряд, и вам удалось убежать. Теперь, наверное, сами выйдем, так как винтовку я ему не доверю.

Пётр Иванович. Этот солдат не дурак: увидел меня за делом, не подобающим арестованному, и сделал логический вывод. Подумайте сами, капитан.

Энкаведист. Ликвидировать? Свой же всё-таки.

Пётр Иванович. А те, расстрелянные в камерах – они разве чужие? К тому же у вас в корпусе сидели подозреваемые и под следствием, а не осужденные.

Энкаведист. Вы сравниваете сами знаете что с пальцем! Они были арестованы за шпионаж и измену Отчизне, а я выполнял приказ. Я должен был сначала спокойно подготовить ваше появление у немцев, а затем проконтролировать очистку следственной тюрьмы. Никто не знал, что всё так запугается. Но теперь я сосредоточиваюсь полностью на обеспечении вашей миссии, хоть и не понимаю, почему с вами руководство так возится. Чуть не забыл! Скажите мне размеры вашей одежды и обуви. Я должен захватить немецкого офицера ваших габаритов, чтоб обеспечить вас немецкой формой и документами.

Пётр Иванович (*медленно*). А на что мне немецкая форма?

Энкаведист. Наверху хотят использовать ваш безукоризненный немецкий язык. В первую очередь нужно будет посмотреть умным глазом, что делается во Львове и Киеве (невероятные известия доходят), а путешествовать лучше в форме немецкого офицера.

Петр Иванович (*ворчит*). Я вам всё же не Мата Хари в штанах. У меня свое задание.

Энкаведист. Это приказ, Пётр Иванович. Приказ мне и приказ вам.

Пауза. Сильный взрыв: по-видимому, танковый снаряд попал в стену здания. С потолка сыплется пыль.

Петр Иванович. Да чёрт вас всех возьми! Нет необходимости так сложно и опасно добывать для меня немецкий мундир и документы. Мне сами немцы дадут, да ещё и на моё имя – во всяком случае, очень на это надеюсь. Я уже давненько в чине лейтенанта вермахта: немцы имеют уважение к учёным степеням, а я ещё в тридцатом получил докторат. Если не вычеркнули из списков, аккуратные бухгалтера начислят мне содержание за шесть лет, и этого хватит на издание «Украинского запряга». (*Энкаведист молниеносно достаёт пистолет*). Вы что, переутомились, капитан? Окститесь! Вспомните, приказывали ли вам добывать для меня немецкий мундир?

Энкаведист. Правильно. Теперь всё понял. (*Прячет пистолет*). Боюсь, у Рудакова сегодня не наилучший день.

Петр Иванович. Я не имел права говорить об этом. Но моя дисциплинированность могла стоить жизни лишнему десятку харьковчан. Вспомните: немцы имеют обыкновение брать и расстреливать заложников за каждого своего убитого в городе солдата. Они это проделывают даже во Франции, хоть и считают французов за людей. В отличие от нас.

Рудаков (*вбегают перепуганный*). Сделал! Танки! Танки уже близко, товарищ капитан!

Энкаведист. Тихо! Снять и развязать мешок. (*Рудаков не двигается*). Собрался в подпольщики в форме НКВД? Но тебя же харьковчане сразу же удавят. Что? (*Вынимает пистолет*). Снимай и развязывай, кому говорю.

Пётр Иванович кривится, поднимается из-за стола и отходит в сторону, чтобы не оказаться на линии огня. Энкаведист срывает с Рудакова вещевой мешок, развязывает его одной рукой и вытряхивает содержимое

на стол. Там три помятые и потрепанные кожаные куртки, кожаное кепи, запачканное известкой чёрное пальто.

Энкаведист (*спокойно*). Это мародерство. Расстрельная статья. Где же твоя совесть чекиста, Рудаков?

Рудаков. При чем здесь совесть? Все так делают, товарищ капитан! Вы просто цепляетесь ко мне из-за этого своего буржуя! А кто обул зэковские сапоги! Не надо!

Энкаведист (*стреляет*). Дурак. Всё-таки дурак.

Слышны близкая автоматная стрельба и рокот танковых моторов.

Петр Иванович. Это мне напоминает, капитан, финал греческой трагедии. Не дожидаться бы нам и зрителей в грязно-зеленых шинелях.

Энкаведист. Они уже рядом. Но пехотинцы не полезут сейчас в здание, из которого по ним не стреляли. Пройдут танки, и я вас выведу через чёрный ход. Хотите, я вам на всякий случай опять свяжу руки?

Петр Иванович. Нет. Вы всё сожгли?

Энкаведист. Да. Хотел ещё на прощание сунуть гранату в шкаф, но теперь лучше посидеть тихо. Всё же интересно: что вы делали для немецкой разведки, Пётр Иванович?

Петр Иванович. Этот потолок начинает уже давить на меня. Наконец-то достал меня природный ужас, овладевающий туземцем, когда воины враждебного племени захватывают его стойбище. Что делал? То же самое, что и для вашего Иностранного отдела, капитан. Этносоциологические прогнозы составлял. Опережая ваш следующий вопрос, скажу, что для немцев смешивал правду с ложью. Так же, как

ваши специалисты, когда гнали дезинформацию для белогвардейской эмиграции, выманивая Савинкова.

Энкаведист. Вот как. Вам не кажется, что танки уже уползают?

Петр Иванович *(закрыв глаза, мечтательно)*. Как только откроется университетская библиотека имени Короленко, посмотрю опять Моммзена, Гиббона, Мериваля. Образование и распад Римской империи могут много чего подсказать. Лучше уж свяжите мне руки, капитан. Но так, чтобы мог сам развязаться. *(Встаёт, поворачивается спиной к Энкаведисту, подаёт сомкнутые руки)*.

Энкаведист. Всегда пожалуйста. Только я для вас уже не капитан, а «Василь». В шифровках, если живы сегодня останемся, называйте меня «Васылём». А при чём тут распад Римской империи? Тысячелетний Рейх явно на подъёме.

Петр Иванович. А разве я что-то говорил о Рейхе?

Энкаведист. Всё, пошли. А то ещё дождёмся на свою голову подразделение второго эшелона. Нет, прошу вас первым. Только после вас, Пётр Иванович.

Петр Иванович. Всегда приятно иметь дело с вежливым человеком. *(Выходит)*.

Энкаведист *(уже в дверях)*. Нет, я не в состоянии это добро оставить гестаповцам! *(Подскакивает к шкафу, вынимает чеку из гранаты РГД, бросает гранату в шкаф и закрывает дверцы. Выбегает)*.

Взрыв. Шкаф вспыхивает. Сцена наполняется дымом. Одиночные выстрелы на улице.

Антракт

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина третья

Съёмная комната в квартире немецкого лавочника средней руки. Задник изображает стену, обклеенную обоями крупного рисунка, она пестреет прихотливо расположенными фотопортретами бургеров и бургерш в малых и маленьких разнообразных рамках. Почётное место занимает японская гравюра (или репродукция японской гравюры), изображающая свидание самурая с гейшей. На комодѣ ваза и фарфоровые статуэтки. Слева – дверь, справа – ширма жёлтого шелка с мифологическим рисунком, ею отгорожен спальный угол. На авансцене письменный стол XIX в., заваленный книжками и бумагами. Возле него кресло, напротив – два стула.

К и л и м е н к о сидит за столом спиной к ширме.

Из дверей появляется Человек с транспарантом, вносит транспарант с надписью *«16 апреля 1949 года. Германия, совместная американо-британско-французская зона оккупации или Тризония. Мюнхен. Говорят на украинском»*, ставит его справа на авансцене, выходит.

Из-за ширмы слышатся звуки какой-то возни, возгласы, томные стоны.

К и л и м е н к о (*ломает руки*). Боже мой! О боже мой!

Из-за ширмы выходит Пётр Иванович. Опускает голову, отворачивается от К и л и м е н к о , застѣгивает ши-

ринку. Подходит к столу, засовывая запонки в манжеты белой рубашки, снимает со спинки стула немецкий мундир, надевает в рукава. Садится напротив К и л и м е н к о .

Петр Иванович. Fräulein... – как её там?

Килименко. Вильде.

Петр Иванович. Fräulein Вильде сейчас выйдет. Почти стихотворение. Хотя и не сказал бы, что она поэтическая личность... Ваша Fräulein почистит пёрышки и выпорхнет.

Килименко. Петр Иванович, как вы могли? Как вы могли такое со мной совершить?

Петр Иванович (*рассудительно*). С вами? А я думал, что... гм, поступил как-то не так с вашей подругой, пане Килименко. Как мог я такое совершить, говорите? Тогда позвольте спросить: а для чего вы её привели? Я понял дело таким образом: вы напросились ко мне в гости, чтобы уговорить меня отнестись снисходительно к вашей лекции, подготовленной для утверждения на должность доцента в Свободном Украинском университете. Знали, что взятку я не беру, а то принесли бы мне кольцо эрзац-колбасы. А поскольку эрзац-колбасы я не взял бы, вы привели мне какую-то эрзац-девушку. Я и соблазнился, грешник. Но попробуйте теперь доказать, что дали мне взятку. Я буду это обвинение отрицать, защищая свою честь.

Килименко (*хватается за виски*). Ничего не понял! Бред какой-то. Это же дочь профессора Вильде, известного слависта! Я поставил себе целью установить связи с консервативными кругами немецких научных работников и пытался привлечь и вас, Петр Иванович, к этому благородному и полезному для украинцев делу. Боже мой!

Петр Иванович. Вильде, славист? Это же он работал на доктора Геббельса в Институте расовых

проблем? Доказывал, помню, что славяне принадлежат к более «низкой расе», ибо не имеют собственной древности, а в новые времена – философов и теологов. Действительно, консервативные круги... Теперь я вспомнил, вы на него ссылаетесь во вступлении к лекции.

К и л и м е н к о . Какой скандал!

П е т р И в а н о в и ч . Вместо профессора вы привели ко мне профессорскую дочь – и это лучший был выбор. Я не столь прогрессивен, чтоб вступать в связь с мужчинами, тем более с профессором. Привели бы герра Вильде – и обозлили бы меня, а теперь я расслаблен и добр. Вообще же эта коллизия «профессор – дочь профессора» напоминает мне смешную aberrацию моих юношеских лет. Можете ли себе представить, пане Килименко, что я боготворил девушек-библиотекарш? Они казались мне не только недоступно-прекрасными, но и умнее всех на свете, ибо я пребывал в убеждении, что они читают все те книжки, вокруг которых возятся. Какое же испытал я разочарование, когда оказалось, что ошибался! Точно так же и знакомство с дочерью профессора отнюдь не равняется общению с профессором, хотя профессора бывают до того тошнотворны, что с дочерьми даже интереснее. Кстати, чем эта Fräulein Гильде занимается?

К и л и м е н к о (неохотно). Вильде она. В войну отбывала трудовую повинность. Теперь называет себя художницей: расписывает вручную ткани. Боже, как неудобно!

П е т р И в а н о в и ч . Судя по тому, что на её бледном животике нет шрамов, ребенка для фюрера не рожала. Относительно же вашего опуса, пане Килименко. Знаете, мне тоже неудобно.

Замолкает, ибо Немка выходит из-за ширмы. В руках у неё сумочка, на высокой причёске неизвестно как держится шляпка. Пётр Иванович встаёт, за ним, поспешно, Клименко. Немка уставилась на Петра Ивановича, а на Клименко не обращает внимания, словно его и нет в комнате.

Из двери выходит Человек с транспарантом, оборачивает транспарант (там: «Говорят по-немецки»), выходит.

Пётр Иванович. Не выпьете ли кофе, Fräulein? Правда, у меня только желудевый.

Немка. О каком кофе может идти речь? Вы очень грубо повели себя со мной, и я пытаюсь понять, почему. Может быть, вы приняли меня за проститутку? Разве я похожа?

У Немки вдруг что-то там случилось с волосами, она кладёт сумочку на стол, деловито снимает шляпку, вытягивает шпильки, потом забрасывает руки за голову, опять укладывая причёску.

Петр Иванович (*присматривается к Немке, вдруг густо краснеет*). Да нет, никогда. А я – неужели я предлагал вам плату?

Немка. Вы грубо унизили меня, доктор.

Петр Иванович. Хотите сказать, что я изнасиловал вас? Но вы сопротивлялись ровно столько... как противится в подобной пикантной ситуации каждая порядочная женщина, Fräulein.

Немка. Я и не говорю, что изнасиловали. Я даже получила немного утех. Но вы взяли меня, как хозяйин рабыню, не имея на это никакого права. В Мюнхене на каждом шагу американские солдаты вынуждают немецких девушек к проституции, в советской зоне Германии и в Австрии российские солдаты насилуют

всех женщин, да ещё и по несколько раз – но они победители, имеют хоть такое оправдание! Вы же, доктор, не знаю, на каких основаниях носите мундир славной немецкой армии, следовательно, никакой вы не победитель. Мало того, что вы принадлежите к славянской расе, годной разве что на перегной для германских народов, вы ещё и побеждены, как и несчастные теперешние немцы. Однако немецкий народ ещё обязательно поднимется и будет главенствовать над миром, вы же теперь «displaced person», то есть никто, настоящий недочеловек, унтерменш. Надеюсь, что вы уже осознали, на какую решились преступную дерзость, унизив меня, арийку. А кары вам не избежать. Поскольку же германские боги погибли опять, как в опере неизвестного вам Вагнера, вас накажет ваша собственная судьба. Вы подохнете, доктор, у ног своего американского хозяина, облизывая ему ботинок. *(Пауза)*.

Петр Иванович. Прошу прощения, Fräulein, если в чём-то действительно перед вами виноват. Но вы ошибаетесь, называя меня побеждённым. В какие бы обстоятельства не забрасывала меня судьба, я всегда побеждал. И впереди у меня только победы. Вас проводить?

Немка. Найду и сама дорогу. Зря я надеялась, что вы поймете мной сказанное, доктор. А вам, Негг Коломийко, впредь запрещаю ко мне подходить. *(Идёт прочь)*.

Входит Человек с транспарантом, вращает транспарант. Теперь на нём надпись «*Опять по-украински*».

Петр Иванович *(садится)*. Что стоите, как за-сватанный? Садитесь. Теперь о вашей рукописи. Как-

то даже неудобно её рецензировать, говорю. (*Находит рукопись на столе, берет в руки, листает*). Начнём с посвящения. Вот:

«Мой порабощённый – в неволе и рассеянии сущий
Н а р о д!

Познай себя.

В е д и н с т в е борись за свою волю, правду
и МАТЬ УКРАИНУ!

Тебе, Народ-мученик, и посвящаю свою лекцию.

А в т о р ».

К и л и м е н к о (*глядя исподлобья*). И что же вам здесь не понравилось?

П е т р И в а н о в и ч (*улыбается*). Все очень правильно и патриотично, да только стиль не научный, не говорю уж о манере писать в разрядку или большими буквами каждое второе слово. Было бы естественно, если бы поэт Маланюк или прозаик Багряный такое написали, однако они не написали бы, потому что люди со вкусом. Но главное в другом. Простите, но посвящать так высокопарно произведение украинскому народу стоит, по-видимому, лишь тогда, когда произведение этого достойно, имеет соответствующий мировоззренческий масштаб. Вон Франко, тот снабдил патетическим обращением к народу поэму «Моисей», однако же не предварял подобными посвящениями своих этнографических статей.

К и л и м е н к о . Да. Кажется, я понял, Петр Иванович.

П е т р И в а н о в и ч . Вы пробуждаете в душе моей надежду. Идём дальше. Вот пишете вы: «Сноп-Дидух («Рай») – это место пребывания духов-прадедов, опекунов или «покровителей» своего дома. Украинский народ все

древние времена верил, что все духи (души) умерших – это святые души, они являются благодетелями рода и семьи». Все души святые – а души упырей или ведьм? И разве духи и души – это и в самом деле одно и то же? Дальше идем: «Вместе духи-Лада являются посредниками между богом-солнцем и людьми. Эти духи пришли с Неба (с большой буквы!) и вселились в человека (все в одного, что ли?), а после смерти они опять отошли в солнечный край, в край духов». Скажите, пожалуйста, откуда вы это взяли, и, прежде всего, что это за «духи-Лада» такие, кто и где вам о них рассказывал? Я почти всю жизнь занимаюсь украинской этнографией, а об этих вещах слышу впервые.

К и л и м е н к о . Ну, это я считаю, что так оно было у наших предков, Петр Иванович.

П е т р И в а н о в и ч . Вот как! То есть это только ваша гипотеза, а поскольку никакой аргументации нет, с позиции науки речь может идти лишь о догадке. Вы о «духах-Лада» будете с кафедры рассказывать, а студенты подумают, что так оно и принято в науке. Беда будет! Я с самого начала обратил внимание, что вы обещаете воспроизвести мифологическую систему древних пращуров, а пользуетесь записями XIX столетия и даже христианскими колядками. Но здесь возникают ещё не преодоленные наукой методологические трудности, о которых вы и не вспоминаете. Не попадала ли вам в руки моя лекция «О происхождении украинского народа» – студенты Украинского технико-хозяйственного института оттиснули на ротаторе? Изложение там несколько упрощено, но хоть этих трудностей не скрываю.

К и л и м е н к о . Как-то не случилось, но обязательно прочитаю, Пётр Иванович.

Пётр Иванович. Вам придется много чего ещё прочитать, если желаете заниматься наукой всерьёз и выработать из себя полноценного университетского преподавателя. Нам с вами повезло, ведь Мюнхен предоставляет для самообразования уникальные возможности: в Государственной библиотеке почти два миллиона томов всеми языками мира, в Университетской книжке меньше, зато сосредоточена именно научная литература. Не тратьте попусту время! Мне понравилось, что вы даёте ссылки, ибо это признак научной работы. Однако на что вы ссылаетесь? Только на старый русский энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, причём не указывая авторов, а иногда даже и названий статей. Где это вы такому научились, пане Килименко?

Килименко. Я же вам говорил, что имею высшее образование.

Петр Иванович. Не хотите раскрыть тайны, в каком вузе учились? Ну, как знаете. Я не могу дать положительную рецензию на вашу лекцию. Думаю, что вам нужно ещё поработать над собой, осмыслить избранную вами научную тему, а уже затем подавать на доцента. *(Встаёт)*.

Килименко *(Встаёт)*. А вы понимаете, что вырываете последний ломоть хлеба изо рта своего земляка? И не кажется ли вам, Пётр Иванович, что украинцы на чужбине должны помогать друг другу?

Петр Иванович *(вздыхает)*. Но в университете и ассистент это почетная и ответственная должность. С вашим уровнем образования, пане Килименко, я смог бы помочь вам, только написав за вас лекцию. Беда в том, что мне пришлось бы и преподавать затем за вас – не могу же я перебросить из своей головы в вашу необходимые для того знания.

К и л и м е н к о (враждебно). Знания... Кому нужны ваши знания? Настоящая любовь к Украине позволяет и мистически постичь мировоззрение наших пращуров.

Петр Иванович. С такими настроениями вам бы лучше податься в украинскую Богословскую Академию, но... Увы, как председателю профессорского совета этого заведения мне слишком хорошо известно, что штаты там заполнены. И всё же вам удалось меня заинтересовать, пане Килименко. Хотя... вы ведь прячетесь, поэтому это не ваша настоящая фамилия. А имя и отчество одолжили из патриотизма у Кобзаря – не так ли?

К и л и м е н к о. А хотя бы и так. Ишь, догадливый какой!

Петр Иванович. Вот я и дождался комплимента. А теперь попробую догадаться, почему вы прячетесь от союзников. Были начальником полиции при немцах, выдавали и вешали партизан? Шпрехаєте бегло – тогда, может, служили у немцев в зондеркоманде переводчиком? Но не в дивизии СС «Галичина» – произношение имеете восточнукраинское, где-то даже ближе к Чернигову.

К и л и м е н к о. Мне плевать на ваши инсинуации.

Петр Иванович. Но я всего лишь думаю себе вслух. Если прячетесь за чужим именем, совесть у вас нечиста, а в наши грязные времена обязательно и кровь на руках. Не зарезали же вы женщину из ревности, как Отелло! Я попробую потянуть за нить с другой стороны узелка. Почему вы скрываете учебное заведение, в котором получили высшее образование? Что не в тех вузах Харькова или Киева учились, где я преподавал, могу поклясться – ведь подрабатывал почти во всех тамошних вузах и выпускника того

же Киевского университета нюхом бы распознал. Какое-то учебное заведение, куда мне хода не было. Какая-то партийная школа – Коммунистический университет или Институт красной профессуры! Нет, судя по вашей образованности, скорее всего, первый. Образование вам дали, и знания вы там получили, но специфические, не те, которые можно применить на эмиграции в украинском университете. Ну, а как вы здесь, в Мюнхене, очутились, меня интересует уже в меньшей степени. Вижу только, что вы не из смельчаков. Скорее всего, оставлены своей ВКП(б) в подполье и испугались, дезертировали и убежали с немцами. Были коммунистом, стали националистом – какая для вас, собственно, разница? Мне всегда казалось, что та же Национал-социалистическая рабочая партия и ВКП(б) очень похожи и по происхождению, и по структуре, и по перипетиям внутрипартийного развития.

К и л и м е н к о . Вот вы как, Пётр Иванович. (*Усаживается снова*). А сами вы кто такой, это уже я вас спрашиваю? Вы сами – высоколобое чмо, за душой и пфеннига не имеете. Даже книжки, здесь разбросанные – не ваши собственные, а из университетской библиотеки – я смотрел.

П е т р И в а н о в и ч (*развалился в кресле, развлекается*). Мне достаточно моей головы, пане Клименко – или как вас там в действительности зовут. С моей головой я где угодно проживу – и совсем неплохо. Заведите себе такую голову, как у меня, и вам тоже будет принадлежать весь мир.

К и л и м е н к о . Слова, одни только слова. Вы берёте не головой, а гонором и нахальством. В профессорском совете университета на вас очень

обижены, что вы, глотку свою распустив, не позволили присудить докторат УВУ гоно... гонореум кауса группе деятелей национальной идеи и спонсорам.

Петр Иванович. Что? Если у Fräulein гонорея, нужно было предупредить. Ха-ха! А ведь вы действительно учились в партийной школе, где латынь не преподается. Honoris causa по-латыни значит «ради почета», но ведь предлагалось присудить наш докторат немцу – производителю шнапса, пожертвовавшему на УВУ от щедрот своих сотню марок. Наши учебные заведения и без того существуют на птичьих правах, это съемные голые стены, где кучка энтузиастов-преподавателей пытается передать свои знания несчастной украинской молодёжи, заброшенной на чужбину. Я даже не знаю, признают ли когда-нибудь на Западе дипломы УВУ, но вот что наши сиволапые оуновцы со степенями докторов наук скомпрометировали бы благородное дело, это уже точно.

Килименко. Кое-кто говорит, что вы московский шпион, потому что боитесь американских проверок и бегаете от них из города в город.

Петр Иванович. Любопытно вас послушать! А когда бегаю от советских репатриационных комиссий, то я уже американский шпион? Имеете ли еще какие-нибудь ко мне претензии, пане Килименко?

Килименко. О вас говорят, что вы избегаете политики, Петр Иванович, но человеку вашего масштаба от политиков не схорониться. О вас говорят, что днюете и ночуете в лагере Миттенвальд, где Бандера полновластный хозяин, а дружите с Шерехом и Костецким, известными мельниковцами. Нужно выбрать что-то одно. Это я вам говорю, человек маленький. Не

смею вам больше надоедать. Мы с фройляйн Вильде и без того потратили слишком много вашего драгоценного времени. До свидания. (*Кланяется, выходит*).

Пётр Иванович (*встаёт*). До свидания, до свидания. (*Усаживается опять*). А ведь он не дурак. Хотя и смешон с теми своими «духами-Лада». Даже не знает, что об этой мифической богине Ладе, выдуманной польскими хронистами, существует уже огромная литература. Но как над ними всеми тяготеют два десятилетия советской дрессуры! А надо мной – разве не тяготеют? Вот учредили мы с Шерехом и Костецким Украинское Движение Искусства, и мысль была, по видимому, правильная: если независимое государство построить не удастся, можно создать независимую культуру, а в первую очередь литературу за пределами метрополии, оказавшейся под властью тоталитарной советской империи. Но к чему всё свелось? К призывам, съездам, конференциям, амбициям, диктату и интригам! Вот слушал я на собрании доклады коллег-писателей и понял, что они бессознательно пародируют доклад покойного Горького на советском писательском Съезде. Те же установки: какую идею воплощать (ясно, что национальную!), на какого читателя рассчитывать, на каком уровне писать (понятно, что на наивысшем мировом!), каким языком, и даже какие именно европейские языки писатель должен обязательно знать и на какие языки свои гениальные произведения переводить. Забыли только указать, в какой сортир ходить писателю. И это ещё большой для меня вопрос, можно ли на воспоминаниях и на зарисовках лагерного быта создать действительно достойную украинского народа большую литературу? Эмигранты неминуемо растворятся в чужих нациях, а настоящая жизнь нашего народа продолжается там, под сталинским блестящим

сапогом. (Усмехается). И с такими мыслями я стану сейчас дописывать новый роман.

Далёкий звонок. Пётр Иванович подходит к дверям и прислушивается.

Женский голос. Guten Abend! Sie wünschen?

Мужской голос. Herr Professor...

Женский голос. Kommt doch 'rein.

Петр Иванович. Кого еще нечистый принес?

Входит Энкаведист.

Пётр Иванович. Эхма!

Энкаведист. Вижу, что на этот раз вы узнали меня. Здравствуйте, Пётр Иванович!

Пётр Иванович. Здравствуйте... Я удивился, увидев вас живым. С чем и поздравляю! (Бросается в объятия к Энкаведисту). И ещё. Я не ослышался? Вы действительно говорите по-украински?

Энкаведист. Зачем так громко? Хозяйка не подслушает?

Пётр Иванович. Да нет. Старуха не знает славянских языков, немного болтает по-французски.

Энкаведист. Коротко рассказать невозможно, а времени маловато, но попробую. Я исчез из Харькова, потому что попал в облаву. Втолкнули меня в эшелон остарбайтеров, дорогой убежал. Сумел даже отправить в центр открытку о том, что вы лишены связи.

Петр Иванович. Как это – открытку?

Энкаведист. Через резидента в Стокгольме. Другая возможность была – голыми руками захватить военный радиофургон и сообщить открытым текстом. Такое бывает только в кино. Опять схватили (не везло

мне в то лето), отвезли меня в Заксенхаузен, там, наконец, повезло: продержался, аж пока наши не освободили.

Пётр Иванович. Вон как. Вернулся я из Севастополя – а вас словно и не было никогда в Харькове. На тех скамьях в Первомайском парке галифе протер.

Энкаведист. А что вы делали в Севастополе?

Петр Иванович. Забыли уже?

Энкаведист. Но вы же свои шифровки сами и зашифровывали.

Петр Иванович. А... Для немцев – изучал настроения крымских татар, для наших – поглядывал, что за укрепления построены немцами после оккупации Севастополя. Вот когда мне пригодились немецкая форма и природное нахальство.

Энкаведист. Лишний был вопрос. А что касается моего украинского языка – да я всегда её знал, нашу мову. Это вы начинали разговаривать со мной по-русски – а почему бы и нет, если мы общались в таких учреждениях, а потом в Харькове? Хотите узнать, что подельваю в Мюнхене?

Петр Иванович. Лишнего лучше не знать. Кто вы такой, если спросят?

Энкаведист. Я? Василь Гронский (фамилию вы можете и забыть), довоенный выпускник Харьковского университета, спрашивал у вас о возможности аспирантуры в УВУ. Был в лагере для перемещённых лиц, теперь устроился в автомастерской в Билефельде. Однако никто не спросит, разве что квартирная хозяйка. Слежки за вашей квартирой нет. Хорошо. А на улице меня подстраховывают двое ребят. Вам нужно знать, чем я здесь занимаюсь. Вам рассказывали, как был ликвидирован лидер УПА Коновалец?

Петр Иванович. Не помню. Это ещё перед войной, кажется.

Энкаведист. Не кривитесь, Петр Иванович. Я расскажу лишь о том, что известно в ОУН. Коновалец встречался время от времени с советским матросом, вроде бы сознательным украинцем, выслушивал новости из Украины. А он, Коновалец, был сладкоежка, и тот привозил ему красивые шоколадные конфеты. После очередной такой встречи в Роттердаме, куда Коновалец приехал с фальшивым паспортом, у него в руках взорвалась коробка с конфетами, а матрос исчез. Осталось лишь его фото, случайно снятое на улице, с копиями которого оуновцы до сих пор носят, ищут этого боевика.

Петр Иванович. Ваша была работа?

Энкаведист. Да нет, конечно. Разве посмел бы я, зная о том фото, сунуться в главный провид ОУН? Наступила очередь Бандеры. И это уже будет вторая попытка. Вам нужно эвакуироваться, Петр Иванович, пока не произошел теракт. В ОУН наступит хаос, начнётся резня, как после ликвидации Коновальца, и вас могут убрать, воспользовавшись случаем, так как многим мешаете. А затем мельниковцы будут валить это убийство на бандеровцев, а бандеровцы на мельниковцев. Некрологи напечатают – оно вам надо?

Петр Иванович. А я всё-таки рискнул бы и остался ещё на пару лет. Я не успел насладиться Мюнхеном – что за музеи, что за библиотеки! Какие улицы в старом городе, какие площади! Вспомнить хоть бы один Максимилианеум, где прогуливался старый мудрец Освальд Шпенглер. Прямо глаза разбегаются.

Энкаведист. ...где прогуливались старый Освальд Шпенглер и молодой Адольф Гитлер.

Пётр Иванович. И разве можно сравнить со здешней Университетской библиотекой ту, которой мне позволят пользоваться в камере на Лубянке? Если позволят.

Энкаведист. Слава богу! А то я уж было подумал, что вы не понимаете своего положения, Петр Иванович. Я уже и забыл, как с вами нужно разговаривать. Дела ваши плохи. Вам приказано вернуться, чтобы дать объяснения. В частности, почему вы в Нюрнберге отказались от беседы с нашим представителем.

Петр Иванович. Так этот Яновский, вечный сопливый романтик с аж «Четырьмя саблями», оказывается, был вашим связным... Что в мире делается! А я ж ему просто не поверил, да и подался подальше от Нюрнберга.

Энкаведист. Так и говорите следователю. Однако у нас писатели давно пресмыкаются перед конторой, и никто не выпустил бы вашего романтика корреспондентом на Нюрнбергский процесс, если бы он не обязался с нами сотрудничать.

Петр Иванович. Я не хочу сейчас возвращаться. Чёрт, а как вас теперь называть?

Энкаведист. Хоть бы и Васылём.

Петр Иванович. Да какой вы там Василь... Не хочу возвращаться, поскольку мне не нравится, что там у вас делается. Мой прогноз о симпатиях крым-ских татар, чеченцев и малых горских народов к немцам-«освободителям» подтвердился, но разве можно было их экспатриировать? Это же мины, заложенные в будущее СССР! Ваши там что – истории не знают? Вон римляне выгнали евреев из Палестины, а они теперь туда вернулись и принялись вырезать арабов. Поспешная, под угрозой штыков – и на глазах

всей Европы – коммунизация стран-сателлитов. Глупая какая-то борьба с «космополитами», уничтожение сравнительного литературоведения (даже покойный академик Веселовский перед генсеком писателей Фадеевым провинился!), травля Зощенко и Ахматовой, да ещё и эта компания «Россия – родина слонов»! Нет, уж лучше я останусь, здесь теперь посвободнее дышать.

Э н к а в е д и с т . Вот обо всем только что сказанном – в Москве молчок. Я тоже вас не слышал: задумался о своих делах. А то, что я вам сейчас скажу, вы тоже забудьте сразу. То есть забудьте, кто это вам говорил. Слушайте же – всё, о чем вы сказали, на совести дяди Джо. Все делается так, как ему заблагорассудится. Он даже Сталинские премии всех трёх степеней лично распределяет. А ошибок сделано ещё больше, чем вам отсюда видно. Однако в отличие от греческих богов наше советское божество не бессмертно и не владеет секретом вечной молодости. Уже – в апреле! – началась всенародная подготовка к 70-летнему юбилею вождя, родившегося, как это всему прогрессивному человечеству известно, 6 декабря. Думаете, никто из его окружения не осмыслил того простого факта, что юбилей – 70-летний, а не 50-летний, и что дядя Джо сильно сдал за годы войны? Наилучшие шансы теперь имеет наш нарком.

П ё т р И в а н о в и ч . Я тоже никак не привыкну к переименованию наркомов в министры. Словно при царской власти!

Э н к а в е д и с т . Много чего имперского вернулось. Даже школы опять отдельно для хлопцев и девчат, как дореволюционные гимназии. Что же касается наркома... Мы его называем так, хотя в действительности министр внутренних дел является его подчиненным. Нарком наш уже теперь взял

много власти и устанавливает контроль над Красной Армией. Он, говорили мне люди, достойные доверия, готов исправить наиболее одиозные ошибки, реабилитировать невинных (едва ли не треть населения сидит!), улучшить отношения с прежними союзниками и в стране вести современную национальную политику, а то складывается впечатление, что живем во времена Чингизхана. А главное, наш нарком очень умный человек, что уже не раз доказывал на практике. Думаю, одного примера хватит. Обратили ли вы внимание, как американцы размахнулись атомной дубиной? Так вот, скоро не у одних американцев будет такая дубина. Мир ужаснется! А кто этим руководит – догадались? (*Пауза*).

Пётр Иванович. О чём вы? Я же не физик.

Энкаведист. Физиков ему как раз хватает – и наших, и немцев. А вы необходимы как советник по вопросам этим, как их...

Петр Иванович. Этногеополитическим?

Энкаведист. По-видимому, но вы и без премудрых слов поймете, о чем речь. Дело касается в первую очередь Югославии и Литвы. В Литве продолжается настоящая партизанская война, как и на Западе Украины. Необходимы нетрадиционные, научно обоснованные, а заодно по возможности гуманные и демократические (чёрт возьми чистоплюев-союзников!) решения. Истинные слова (*шёпотом*) Лаврентия Пальча.

Петр Иванович. Чрезвычайно интересная информация. Спасибо. Однако на вашем будущем реформаторе большая кровь.

Энкаведист. Предлагаете подождать, пока спустится ангел с неба? У всех у них там, наверху, руки

по локоть в крови. А вы? Не думаете же вы, что остались чистым?

Петр Иванович. Относительно себя я не тешусь иллюзиями. Но была война, и она закончилась.

Энкаведист. Началась новая, «холодная война». Я помню, до чего вы упрямы. Очень вас прошу, не торопитесь повторять свое «нет», даже мне. Отказав наркому лично, вы станете его личным врагом. Зачем оно вам? Я узнал, что вы просили мельниковцев спрятать вас где-то во Франции. Но разве от конторы спрячешься, Петр Иванович? Скажете, многие из тех, кто убежал с немцами, схоронились теперь в Америке и Канаде. Но, во-первых, не думаю, что они надежно там укрылись, во-вторых, перед тем, как впустить таких ДиПи, цеэрушники вытряхивают из них всю развединформацию об СССР. А в вашем случае это будет уже полномасштабная измена родине. Разве вы себя не уважаете, Петр Иванович?

Петр Иванович. Вот оно как. (*Невесело улыбается*). Правильно ли я понял, что идет речь всего лишь о теоретически возможных вещах? То есть, чисто теоретически, могу ли я продолжить обсуждение ситуации, не говоря конкретно «нет» или «да»?

Энкаведист. В ответ на ваше «нет» я не стал бы ликвидировать вас здесь, вместе с той старой немкой. Зачем? Мой человек напечатал бы статейку в местной оуновской газетке о вашем сотрудничестве с нами, и вам пришлось бы прятаться от службы безопасности бандеровцев, а не от наших. В конечном счете, мы силой вывезли бы вас в советскую зону оккупации, а вы бы этому только обрадовались. Правда, в таком случае вас на Лубянке не встретят со цветами, это уж точно.

Петр Иванович. У нас же теоретический разговор, так ведь? Тогда примите во внимание, что

я одиночка, что представление о родине становится у меня с каждым годом всё более абстрактным, что не раз уже в жизни рисковал...

Энкаведист. Опомнитесь, Пётр Иванович! Вот у меня для вас письмо.

Пётр Иванович (*берёт с недоверием. Потом поворачивается к Энкаведисту спиной*). Неужели от Надежды Павловны? Вы... вы же прочитали его?

Энкаведист. Конечно. И ещё прочитал мой прежний коллега, теперь начальник областного управления, его я попросил организовать это письмо. И, конечно, районный оперативник, который непосредственно встретился с Нулёвой. Конечно, письмо без подробностей, но она на поселении, работает библиотекарем. Вместе с подругой снимает отдельное помещение. Здорова. Сможете и вы ей написать, Надежде Павловне. Если вернетесь.

Пётр Иванович (*пробегает письмо глазами, потом читает сначала, бормоча*). «Я счастлива, что ты жив, хоть и не знаю, где ты и что делаешь. Живу, будто раковина на дне аквариума, новости доходят к нам, как сквозь толщу холодной воды. Уже реже вспоминаю внезапную смерть моего Валика и как её переживал покойный Николай. А теперь, дорогой, опять начну мечтать, а то уже разучилась». Мне можно это оставить себе?

Энкаведист. Конечно. Ну что вы так смотрите на меня? Я не уполномочен вам ничего обещать! Условия, при которых станет возможным освобождение всех репрессированных по политическим статьям, вам известны. Но не известно, дождёмся ли этого мы с вами. (*Пауза*).

Пётр Иванович (*решительно*). Мы поедем прямо сейчас?

Энкаведист *(улыбается)*. Нет, это было бы для вас, пожалуй, опасно. Послезавтра, в десять ноль-ноль, будьте у главных дверей Фрауэнкирхе. А дальше уже наши хлопоты. Из вещей достаточно зубной щетки, ну, портфель ещё возьмите. Поднимите воротник пальто, лицо прикройте. И оставьте, пожалуйста, здесь эту устаревшую одежду. *(Показывает на немецкий мундир)*.

Петр Иванович *(небрежно)*. Да дьявол с ней уже, с этой ветошью! Поигрался – и хватит. Нужно сделать так, чтобы моё исчезновение ещё более поссорило мельниковцев с бандеровцами. Пусть ваш человек напечатает нечто примерно вот такое. Садитесь, пишите, моей рукою нельзя. *(Пауза)*. «Кровавые бандеровские убийцы совершили очередное страшное преступление против украинского народа в рассеянии. В ночь на 17 апреля в темном углу лагеря Миттенвальд они убили известного украинского ученого...». Нет, я ещё посмеюсь над своими собственными некрологами!

Картина четвертая

Холл ресторана. Несколько диванов, журнальный столик с пепельницей. На стене какая-то посредственная гравюра: киевский пейзаж – мост Патона, Метро-мост или что-нибудь в этом роде. Слева выход на лестницу, справа – не видные зрителю двери в мужской и женский туалеты, еще дальше – банкетный зал.

Строевым шагом выходит Человек с транспарантом, ставит транспарант *«21 июня 1966 года. Киев. Ресторан «Прага» на Владимирской. Холл на втором этаже. Говорят по-украински»*, идёт прочь.

Пётр Иванович под ручку с Надеждой Павловной выходит из-за кулисы справа. Она бережно поддерживает его, когда он осторожно устраивается на диване.

Надежда Павловна. Ладно уж, отдохни от шума-гама, если тебе здесь по нраву. Ишь, какой! Выпил коньячку, глаза загорелись. Вот и пошутил бы с коллегами, как ты любишь.

Петр Иванович. Но я их каждый день на работе вижу, дорогая. Какие уж там с ними шутки? А ты пойди, чокнись с ребятами, потанцуй. Ты прости, мне захотелось покоя. Одна мысль в голове промелькнула, хочется проверить, стоящая ли.

Надежда Павловна. Опять твоя мысль, наша вечная разлучница... Послушай, здесь ведь курят – а тебе не повредит?

Пётр Иванович. В банкетном зале курят ещё больше. Да и... Что мне теперь сможет повредить, дорогая? Знаешь, если бы мне нравилось курить, а я бы раньше бросил ради здоровья, то теперь снова начал бы! Всё равно дольше не проживу.

Надежда Павловна. Кончай болтовню, а то ещё забудешь свою мысль, а я опять буду виновата.

Пётр Иванович. Да нет, я придерживаю её за хвост.

Надежда Павловна целует мужа и выходит вправо.

Пауза.

Пётр Иванович (*ворчит*). Нет, это вздор. Интересно, почему бы это в старости толковые мысли приходят всё-таки чаще, чем в молодые годы?

Доцент, поднявшись по лестнице, пробегает мимо диванов под заинтересованным взглядом Петра Ивановича, хлопает за кулисой справа дверью и почти сразу же возвращается.

Доцент (*оглядываясь*). Простите, товарищ, не видели ли вы здесь академика Велецкого?

Пётр Иванович. Это какого именно Велецкого? Георгия Александровича?

Доцент. А которого же ещё? Академик Велецкий у нас один. Академик двух академий! Украинской и союзной!

Пётр Иванович. Прямо как покойный Владимир Николаевич Перетц.

Доцент. Кто? (*Пауза*).

Пётр Иванович. Долго рассказывать. А Велецкого я в последний раз видел в сорок первом году в Уфе, в эвакуации.

Доцент. А... Он только что был здесь. Знаете ли, пропал куда-то с банкета. Я здесь защиту докторской отмечаю на третьем этаже, а главный свадебный генерал, он же мой научный консультант, исчез.

Петр Иванович. А в туалете смотрели? Он же старый, лет на десять старше меня. Где же ещё ему быть?

Доцент. Да смотрел я... Возле раковины нету, но не в кабинки же было заглядывать... Так, может быть, вы подниметесь со мной, товарищ, посидите немного с нашими кафедрами? Тем более, что вы тоже, я вижу, фронтовик. Орден Отечественной войны 1-ой степени – это тебе не фунт изюма!

Петр Иванович. Фронтовик, не фронтовик... Скажите, а в ноябре сорок первого вы не воевали в Харькове... это когда немцы наступали?

Доцент. Я был мобилизован уже в сорок втором году. А что?

Петр Иванович. Уж очень похожи вы на одного солдатика. Прямо одно лицо.

Доцент. Нет, я был рядовым только на артиллерийских курсах, а из курсов на фронт поехал уже младшим лейтенантом. Ну как, пойдём к нашим?

Петр Иванович. А какая кафедра?

Доцент. Истории советской литературы. Так пошли!

Петр Иванович. А... Да нет, благодарю покорно, но у меня здесь тоже банкет. Мне тоже сегодня присудили докторскую степень, только по совокупности трудов.

Доцент. Есть у нас на кафедре один преподаватель, он любит говорить, что защищать диссертацию никогда не поздно.

Пётр Иванович (*смеётся*). Меня это не касается, молодой человек. Я уже получал докторат в..., дай бог памяти, в тридцатом году. За диссертацию о Пантелеймоне Кулише. Слыхали о таком?

Доцент. Кажется, он был буржуазный националист и (*радостно*) пытался враждебно повлиять на Шевченко. Теперь такую тему не утвердили бы.

Пётр Иванович. Только не думайте, что тогда было лучше. А в войну все мои дипломы погибли, а после войны научные звания и степени были аннулированы.

Доцент. А... На проклятой войне люди много чего теряли: кто семью, кто последнее имущество, а кто и жизнь. У меня с войны два осколка в мозгу сидят, бог знает, когда дадут о себе знать. Учился до войны на геологическом факультете, а после госпиталя пришлось пойти на филологический. Однако, как видите, достиг некоторых успехов. Ну, что ж, побегу на первый этаж, поищу старика там. (*Уходит*).

Пётр Иванович (*ворчит*). Вот в первый раз орден нацепил, но, по-видимому, зря Надя прокрутила дырку в пиджаке. Будто знак некоей корпорации, к которой на самом деле не принадлежу. А что этот филолог из геологов сказал бы, когда бы я и немецкие награды нацепил? Покойный доктор Геббельс на деньги был скуповат, а вот висюлек для сотрудников не жалел.

Направо хлопают двери туалета, появляется, вытирая белым платочком руки, В е л е ц к и й . Он выпил, в добром настроении, мурлычет, фальшивя, мелодию оперной арии.

Пётр Иванович (*присмотревшись сначала*). Георгий Александрович! Здравствуйте! Вас здесь искали.

Четким шагом выходит Человек с транспарантом, оборачивает транспарант. Там: «*Говорят на русском языке*». Идёт прочь.

Велецкий. Похоже, мы с вами знакомы. Я не ошибаюсь?

Пётр Иванович. Не ошибаетесь, не ошибаетесь, Георгий Александрович! Разве не узнали? Мы встречались в Харькове перед войной и в Уфе в сорок первом. Я был тогда директором Института украинского фольклора.

Велецкий (*неуверенно*). Пётр Иванович, да? Господи, что вытворяют с нами годы! Глядя на вас, я понял, что и сам, наверное, не лучше выгляжу. Словно на фотографии, разъединной не смытым фиксажем.

Петр Иванович (*весело*). Ещё хуже выглядите, чем я, ещё хуже! Время выносит нам приговор, и обжалованию он не подлежит. Вас искал мужчина лет сорока. Удивил меня: докторскую по литературе защитил, а Перетца не знает и о Пантелеймоне Кулише имеет весьма смутное представление.

Велецкий. Этот? (*Передразнивает Доктора. Садится*). Он ещё не из худших, а необразованные они все, это их поколение. Учились после войны на медные гроши, конспекты писали на газетах между строк. Хотя бы что доброе конспектировали! А то лекции выпускников Института красной профессуры. Что лучше не знать чего-то, чем знать лишнее, хорошо поняли ещё во времена борьбы с «безродным космополитизмом». А этот парень ещё не худший, нет. О Перетце он должен был знать, ибо я критиковал покойного Владимира Николаевича за формализм в методологической статье для «Материалов к истории украинской литературы», а о Кулише я вам расскажу

анекдот. Вам будет интересно – вы же, как мне помнится, автор первой монографии о романах Кулиша.

Петр Иванович. Да нет, не о произведении, не о «Черной раде», а о романах его с женщинами.

Велецкий. Тут всё едино, всё связано. Что первый малороссийский роман, что покорение женщин – всё это проявления безумной гордыни Кулиша. Так вот, один мой прежний аспирант рассказывал. Он русист, а они позволяют себе не интересоваться украинской культурой, словно не в Киеве, а в Костроме живут. Не все, но больше таких.

Петр Иванович (*улыбается*). Погодите, а о ком это мне говорили, что он из принципа разговаривает только на русском языке и пишет на русском, а когда уже написано, если нужно, ему переводят на украинский?

Велецкий (*смеётся*). Обо мне, обо мне! Но украинский язык я знаю лучше, чем многие из замаскированных шароварников, которые обо мне сплетничают. Иначе разве подвинулся бы на бесконечные свои предисловия к украинским классикам? А что позволяю себе не разговаривать и не писать по-украински, так это моя прихоть, моё чудачество. Считаю, что имею право на эту прихоть, ибо я один из последних могокан старой науки ещё европейского уровня, ибо я последний патриций, оставшийся в живых после резни и вынужденный служить плебеям. А вы? Вы ведь тоже получили полноценное университетское образование. Разве и вы не чувствуете себя Овидием среди дикарей-даков?

Петр Иванович. Над этим не задумывался. А вот вы напоминаете мне Петрония при дворе Нерона. Кстати, тот ваш парень не знает и об академике

Украинской Свободной Академии Наук докторе Леониде Велецком.

Велецкий. А вот о Леониде Велецком ему и не нужно знать. Не по-ло-же-но. Это мне довелось в спецхране просмотреть его варшавское издание Шевченко, он там, кстати, много чего нахомутал, ваш самозванный академик!

Петр Иванович. Не всё же там вздор, Георгий Александрович.

Велецкий. Да хоть бы и самая святая правда! Меня этим вашим Леонидом Велецким достали наши Нероны, которые на Липках. Я же здесь после войны величина постоянная, а они, Нероны, время от времени сменяются. Однако имеется у них традиция – приглашать меня к праздничному столу. Балерина ножкой дрыгает, певец поет, а я для болтовни. Вот каждый такой очередной Нерон, знакомясь, обязательно зажмурит этак глаз (*показывает*) и спросит глубокомысленно: «Не твой ли это родственник, тот националист Велецкий»? Хоть и доложили уже, кому следует, что никакой он мне не родственник!

Пётр Иванович. Но разве это Нероны, Георгий Александрович? Скорее какой-то переход происходит от Диоклетианов к Константинам. Кстати, вышла ли ваша «История византийской литературы»?

Велецкий. Да где там... Всё статьи и предисловия царапаю для заработка. Никитка Хрущёв запретил совместительство, только нам с вами и осталось, что гонорары. Избавились мы теперь от неуча и хама Никитки, однако новые хозяева его запрещение не отменили. А тот ваш самозванный академик был учеником Перетца. Ну и расплодил старик профессоров – по всему миру разлетелись!

Пётр Иванович. А сам умер в ссылке, потому что защищал независимость Академии.

Велецкий. Ну и дурак! Как можно было надеяться защитить автономию Академии на десятом (или каком-то там -надцатом) году советской власти? Ему нужно было не об Академии заботиться, а о себе, о своем комфорте жизненном, внешнем и лелеять собственную внутреннюю, духовную независимость. Занимался бы себе тихо своей древней литературой – его и не трогали бы. Коммунисты – это сила! Теперь и на Кубе засели, и в Африке. Это не немцы, а коммунисты построят Тысячелетний Рейх!

Пётр Иванович. Вы обещали анекдот, Георгий Александрович.

Велецкий *(с изумлением)*. Разве? А, вспомнил. Тот русист что-то там калякал о начале исторической романистики в России и приспичило ему сравнить с украинской ситуацией. Он и спрашивает доцента-украиниста по фамилии Сиренький (такой и есть!): когда же началась украинская историческая беллетристика? Читал он, мол, повести Гребёнки, но они русскоязычны. Серенький помялся, помялся, да и говорит: «Так вот же оно и есть, начало». Представляете, побоялся сказать о «Черной раде» Кулиша!

Доцент *(вбегают, оглядывается)*. Так вот вы где, Георгий Александрович! Вас все ожидают, без вас и горилка в рюмках нагрелась! Мы же на третьем этаже, Георгий Александрович!

Велецкий *(свысока)*. Разве не видите? Я с коллегой разговариваю. Я не заблудился, склероза у меня ещё нет. *(Оживляется)*. Скажите, э-э-э, наш именинник, кто эта дама, что сидела по правую руку от Сиренького?

Доцент *(спешно вспоминает)*. По правую руку от Сиренького?

Велецкий. Полненькая такая шатенка, в мелких кудряшках! Ещё и на меня время от времени эдак значительно посматривала.

Доцент (*радостно*). Да это же ваша аспирантка, Георгий Александрович!

Велецкий. О! То, что нужно! Простите, я побежал. (*Кланяется, поспешно выходит на лестничную площадку. Тотчас же медленно возвращается, опять садится на диван*). Да ну их всех... Вы вот что, именинник, найдите лучше для меня сигарету с фильтром (мои в портсигаре, а его забыл дома) и организуйте чашку кофе. Двойной, сахара одна ложечка. (*Доцент даёт ему сигарету, потом прикурить. Велецкий затягивается, выпускает дым. Доцент выбегает*). Вот так и проходит моя жизнь: затянулся, взглянул на любимую гравюру, что напротив моего письменного стола, отхлебнул кофе – и написал еще фразу тошнотворного предисловия к трехтомнику какого-нибудь Андрея Головка.

Петр Иванович. Это все туфта, Георгий Александрович. Это все туфта, то, что они теперь пишут. Всё это забудется через десять, ну, через двадцать лет. Это перекрашенное просвितянство с обязательными воспоминаниями о босоногом идилическом детстве, этот романтизм (какой может быть романтизм в XX веке?) – и вечная, до сих пор не преодоленная наша культурная отсталость.

Велецкий. Считаете, что все туфта, даже без исключений?

Петр Иванович. Исключения всегда возможны. Но положение и в литературе, и в гуманитарных науках ужасное. Инженеров кое-как научились готовить, и теперь уже невозможен директор завода,

не знающий четырех правил арифметики, а вот гуманитарные науки сервильны.

Велецкий. Относительно литературы готов согласиться. И с критикою швах. Когда ещё было разрешено совместительство, я подрабатывал в университете, завкафедрой. И никак нельзя было вытурить старшего преподавателя, на которого без конца жаловались наши терпеливые студенты. На каждую открытую лекцию он приносил кипу листов с наклеенными на них вырезками статей из «Правды», читал эти вырезки одну за другою – и что с ним поделаешь?

Пётр Иванович. Великолепно.

Велецкий. А покойный Рыльский – он же ваш приятель был, и после войны, собственно, ваши довоенные должности занимал – что вы скажете о последних сборниках Максима Фадеевича?

Пётр Иванович. Барская болтовня. *(Декламирует)*. «Труд переростаете у красу». Хоть бы посмотрел, как женщины в колхозах или на железной дороге уродуются от каторжного труда!

Велецкий *(смеётся)*. Вы это Рыльскому и в глаза говорили?

Пётр Иванович. Нет, не довелось. Потому что Максим побоялся со мной встретиться, когда мне, наконец, позволили вернуться в Киев. Они с Тычиной в сталинщину перепугались навсегда.

Велецкий *(на глазах трезвеет)*. Так вы сидели? Были реабилитированы? А как же тогда это? *(Показывает на орден)*.

Пётр Иванович *(задумчиво)*. Сидел? Действительно, как вернулся из ФРГ, тогда ещё Тризонии, меня восемь месяцев держали на Лубянке. Но это не была отсидка, даже не следствие – скорее деловые беседы. Я

там работал – литературу привозили из Ленинки. Потом дали мне ставку в московском Институте археологии.

Доцент (вбегает с чашкой на блюдце). Вот кофе, Георгий Александрович!

Велецкий (поднимается на ноги, раздавливает сигарету в пепельнице, грубо). Да пейте теперь сами свой кофе! (Петру Ивановичу). Мне уже пора. До свидания. (Язвительно, вполголоса). И чем это только я провинился перед родными органами? (Спешно уходит, за ним Доцент, удивлённо оглядывающийся на Петра Ивановича).

Выходит Человек с транспарантом, поворачивает транспарант надписью «*Говорят на украинском*», уходит.

Пётр Иванович. Максима я понимаю: он испугался упреков своей совести. А чего испугался этот спесивый патриций? Разве в его возрасте имеет смысл бояться чего-то ещё, кроме смерти?

Пауза. Слышны звуки вальса. Влетает Надежда Павловна.

Надежда Павловна. Идём потанцуем, Петя! А то меня пригласит Брайчевский и опять ноги отдавит.

За спинами Петра Ивановича и Надежды Павловны, бросив на них быстрый взгляд, в направлении туалетов проходит Энкаведист.

Пётр Иванович. Да иди уж, пострадай, дорогая. Я выпил, боюсь, голова закружится. Уж лучше дождусь танго.

Надежда Павловна. Хорошо, но не с тобой я сегодня танцую в последний раз. Пойду, а то

музыка закончится. (*Целует Петра Ивановича и выбегает*).

Пётр Иванович (*растроган*). Какой же я молодец, что устроил этот глупый банкет! Бедная, в её жизни со мной так мало развлечений! Нужно чаще водить Надю в какой-нибудь ресторан вблизи от дома, чтобы потанцевать. И ужинать там.

Справа появляется Энкаведист, обходит Петра Ивановича сзади, неожиданно поворачивает налево и становится перед ним.

Энкаведист. Добрый вечер, Пётр Иванович. Вот ведь когда увиделись!

Пётр Иванович. Добрый вечер! Это же вы, загадочная личность, в последний раз назвавшаяся Васылём! (*Пожимают друг другу руки*). Садитесь же, прошу!

Энкаведист (*садится, достаёт сигарету из золотого портсигара, предлагает, закуривает сам*). Эта эффектная женщина, которая была здесь с вами, не Надежда ли Павловна?

Пётр Иванович (*надменно*). А кто бы ещё? Мы поженились, как только Надю реабилитировали, а меня отпустили в Киев. Я был тогда слишком старым холостяком, чтобы оставаться старым холостяком. Сначала у нас были квартирные неурядицы – как, собственно, у всех молодых супругов, а теперь получили отдельную квартиру на Русановке.

Энкаведист. Не узнал её, видел только на фото в деле. А мне дали двухкомнатную на Карла Либкнехта.

Пётр Иванович. Это где?

Энкаведист. Да на Липках, аристократическая очень улица, её и до войны так называли.

Пётр Иванович. Вспомнил, я ещё застал её как Левашовскую.

Энкаведист. Я там в солидной компании. Корнейчук с Вандой Василевской, художник Пащенко, а остальные – мои коллеги, действующие и на пенсии. Образует как бы живой щит для Первого секретаря: у него там резиденция. Красиво вокруг, тихо, но немного скучно. На работу, правда, пешком хожу.

Пётр Иванович. А что за работа, коли не секрет?

Энкаведист (*грустно*). Кончились мои секреты, Петр Иванович. А должность дали мне, как под зад коленом выставили из органов, такую, что стыдно признаться. Служу вторым заместителем председателя Союза писателей Украины.

Пётр Иванович (*ошарашен*). Наверное, пишете что-нибудь?

Энкаведист. Да пришлось надиктовать техническую запись брехливых эрзац-мемуаров, типа «Руки вверх, фрицы!», а ребята-редакторы уж обработали. (*Убеждённо*). Правду ведь нельзя писать. Вам я этой книжки не подарил бы, постеснялся б.

Пётр Иванович. Простите за бестактный вопрос, но как вы уцелели в пятьдесят третьем?

Энкаведист. Какая там ещё бестактность? Я с таким наслаждением вспоминал наши с вами откровенные разговоры. А в пятьдесят третьем... Своего наркома я дорогому Никите Сергеевичу никогда не прощу. А я? Я был слишком мелкой сошкой, чтобы меня расстреляли вместе с наркомом. Но это не вся ещё правда. Тогда и классные оперативники, и боевики были репрессированы. И тот проворный па-

рень, угощавший конфетами господина Коновальца (помните?), он до сих пор сидит. Я же спасся тогда тем, что был на задании за океаном. (*Шёпотом*). Организовывал последние попытки украсть секрет водородной бомбы. За малым там не сел. В этот раз почти ничто не удалось выведать, но наши физики и сами справились. (*Опять громко*). А вы, вы же Югославией занимались. Тогда вам будет интересно узнать, что ваш проект начали было претворять в жизнь – а затем Хрущёв вдруг помирился с цепным псом империализма Тито.

Пётр Иванович (*недовольно*). «Мой проект» – это звучит слишком помпезно. Там нужно только подтолкнуть, они и сами разбегутся по своим углам. И разбегутся, когда ослабеет железная рука товарища Йосифа Броз Тито. А что конкретно ваши успели там сделать?

Энкаведист. Нашли людей, чтобы посоветовали тамошнему Хозяину заселить албанцами опустевшие после партизанской войны земли собственно Сербии. Деталей мне не рассказывали, Петр Иванович.

Пётр Иванович. Мирно они не разойдутся. Без крови не обойдётся. А знаете, почему я пришел к этому выводу? Потому что в Сербии, Боснии и Черногории до сих пор процветает народный эпос. А это признак архаичности этих народов. Знаете, как переводится «архаичность» на обычный язык? Дикарство. Дикари не умеют договариваться. А в каких ещё странах Европы народный эпос сохранился почти до последних лет, а?

Энкаведист (*тихо*). Былины в России, думы на Украине. Боже мой... Вы полагаете?

Пётр Иванович. И почти у всех азиатских народов СССР имеется эпос. Если другие империи на наших глазах потеряли свои колонии, разве можно

надеяться, что эта чудом каким-то их удержит? Или что помогут глупые заклинания об образовании новой исторической общности – советского народа? Эта общность существует разве что в ЦК КПСС, где функционеры внешне вроде бы и в самом деле денационализировались и премило беседуют между собою на русском, а идеологам кажется, что и на Кавказе оно так же. Народы освобождаются из колониального ига, потому что мир постепенно демократизируется, независимо от того, желают этого правители, или нет. СССР придется либо вернуться к террору времен сталинщины, либо отпустить, оставив в них военные базы, те республики, которые будут бороться за независимость. В первую очередь, прибалтийские. Тем более что на Западе Россию никогда не любили, и натовцы давно уже пытаются разваливать её своей пропагандой. Только что я разговаривал с академиком Велецким, так он пророчил, что это коммунисты возведут настоящий Тысячелетний рейх. Мне же кажется, что и на сотню лет пороха не хватит.

Энкаведист (обиженно). Но я не хочу увидеть, как всё завалится. Политическая система, пусть и со скрипом, стабилизировалась, верхние прослойки как сыр в масле катаются, народу тоже бросили кость – твердые низкие цены и практически бесплатное жилье. Я не хочу...

Пётр Иванович. Разве я виноват? Это объективный процесс. Я мог бы обосновать этногеополитический аспект прогноза, но это никому не нужно. Наверху, как соловьи, поют, закрыв глаза на действительность, и, как соловьи, слышат только самих себя.

Энкаведист. Да. Ругали Хрущова за волюнтаризм, а сами чем лучшие? Разве они прислушиваются к научным работникам?

Пётр Иванович. Спросите лучше: какие ученые с нашими бонзами работают? Воспитанные и вымуштрованные партией лгуны, которые в рот к ним заглядывают. Однако этот разговор...

Энкаведист. ...не для фойе ресторана. *(Докуривает, раздавливает окурок в пепельнице)*. А Велецкий? Этот продался с кишками и требухой. Понятно, что ему психологически легче прожить, если убедит себя, что хозяева больше не изменятся. Вон Фадеев застрелился, когда вернулись первые репрессированные. И честно поступил.

Пётр Иванович. А по мне, так Фадеев был слабак. Его поколение безрелигиозно, и категория совести для них ещё с гражданской войны стала фикцией. Тем более категория греха. Ну, плюнули ему в лицо – и что? Фадееву следовало утереться и выполнять новые идеологические установки.

Энкаведист. Было очень приятно снова услышать ваши парадоксы. *(Тычет бумажку)*. Вот мой телефон, Петр Иванович. Позвоните мне как-нибудь вечером.

Пётр Иванович *(немного растерянно)*. У нас нет телефона. Новый район, знаете... Вечером можно разве что из автомата.

Энкаведист. А оно и лучше, из автомата. Безопаснее. Позвоните – и я, быть может, расскажу, почему не хочу иметь детей. И вот что – память уже не та стала – чуть не забыл. Будьте осторожны, Пётр Иванович, когда улицу переходите. Уж слишком много

наших бывших сослуживцев очутились под колёсами грузовиков. Как-то не по статистике оно выходит.

Пётр Иванович. Можно подумать, вы не понимаете, что делается.

Энкаведист. Всего доброго, Петр Иванович. Берегите себя.

Пётр Иванович. До свидания.

Энкаведист уходит.

Пётр Иванович (*ворчит*). Этот убийца выказывает странную сентиментальность, если надеется, что я пойду в очередь у телефона-автомата за два квартала. А я что-то устал. (*Прикрывает глаза*).

Вдруг, из середины такта, очень громко начинает звучать 7-я часть «Реквиема» Моцарта «Lacrimosa». Свет гаснет, и в лимонном лунном свете начинается с лестничной площадки своё медленное шествие цепочка людей,двигающихся словно в полонезе, но не держась за руки. Первым идёт Рудяков без винтовки, за ним Филиппович в бушлате эка, дальше немецкие солдат и офицер без оружия, босой человек в гражданском, седая женщина в ватнике и ватных штанах, похожая на Надежду Павловну, мужчины в национальных костюмах народов Югославии и крымских татар. Это могут быть актеры, игравшие роли других персонажей пьесы. Все они, кроме седой женщины, в окровавленной одежде.

Голос Надежды Павловны (*кричит отчаянно*). Петя, Петя!

Как только последняя фигура исчезает справа, «Lacrimosa» обрывается и возобновляется предыдущее освещение. Пётр Иванович в той же позе сидит на диване. Надежда Павловна склоняется над ним.

Надежда Павловна (*спокойно, ласково*).
Петя, ты задремал? Я там уговорила музыкантов сыграть танго «Дымок от папирасы», наше любимое. Помнишь, как ты пригласил меня на танго на именинах Крушельницкой и всё время дышал в сторону, потому что за столом наелся селедки?

Пётр Иванович. Обожди, давай посидим немного. Мне тут почудилось... (*Негромко. Со сдержанной яростью*). А вот и нет! Я отбрасываю все обвинения! То, что в душе моей вмонтировано на место совести, блестит, как новая копейка. Я победитель, а победителей не судят. Двум самым жестоким тираниям мира не удалось покорить меня, и я не впустил ни одной чужой мне идеи в хрупкую скорлупу своего черепа. Я боролся со всеми режимами, пытавшимися раздавить мою личность и превратить меня в лицо под каской на фото печатающей гусиный шаг шеренги. В том и моя заслуга, что фашистам не удалось промаршировать всей планетой, а Бандере распространить на всю Украину свою страшную власть. Жаль, что тебе, дорогая, не придётся, по-видимому, прочесть, что писал я на Западе о преступлениях сталинизма во времена, когда все там восхищались добрым дядей Джо. Я победил уже тем, что выжил! Я победил, ибо женился на тебе, дорогая, на женщине, о которой мечтал всю мою жизнь. Я победил, ибо ухитрился напечатать свои романы в Германии, и они теперь не исчезнут в неизвестности. Я победил, ибо за свою жизнь кочевника без юрты смог написать около двухсот совсем неплохих научных работ, и многие из них были изданы. А рукописи – ты ведь сбережёшь мои рукописи, дорогая?

Надежда Павловна. Несомневайся. Я сберегу твой архив, как сохраняю архив покойного Николая. Мне иногда кажется, что с тобой я балансирую над бездной, но после того, как побывала на дне бездны, это почти счастье. О! Заиграли! Идём танцевать, Петя!

Пётр Иванович. А давай здесь, дорогая! Зачем нам с тобой развлекать публику в зале?

Под вульгарную ресторанныю музыку делают несколько па, однако мелодия танго разрушается громкими диссонансами и обрывается. Пара на авансцене застывает в объятиях.

Занавес

2008 г.





азруха à trois

*Пьеса абсурда в трёх картинах
для актрисы и актёра старше среднего возраста
и ещё одного актёра помоложе*



Действующие лица

Она.

Он.

Третий. Тот же актёр изображает остальных персонажей:

Колька с младенцем.

Спонсор.

Аделаида Никоновна.

Одеты все как-то одинаково, в какой-нибудь серенькой униформе, в сером трико, а то и вообще неодеты – если вид обтянутых трико или неодетых актеров не вызовет отвращения у зрителей. Однако галстук должен быть обязательно ярким, в большую косую полосу, в цвета триколора Российской Федерации. Третий в кепке, Колька с младенцем – не с младенцем всё-таки, а в клеёнчатом кухонном фартуке со цветочками, Спонсор – с бутоньеркой в петлице, Аделаида Никоновна – со связкой ключей на шее.

Картина 1. Житье-бытье

Комната в коммуналке. Абсолютно пустая, если не считать грубо сколоченного книжного стеллажа у стены и, справа от него, гвоздя, на котором висит галстук. Слева дверь на балкон, справа – входная.

Он сидит на полу, прислоняясь спиной к стене, справа от стеллажа, ближе к двери.

Он (*прислушивается, повернув ухо к стене*). Вот-вот малый взвояет. А как только серия «Наших милых соседей» закончится, можно будет подумать об обеде. Пожалуй, макароны по-флотски. Давненько я не думал о макаронах по-флотски.

За дверью слышны шаги, замолкают. Кто-то с той стороны двери вставляет ключ и проворачивает его в замке.

Он (*с восторженным ужасом*). Неужели сама Аделаида Никоновна?

Он медленно поднимается на ноги и на полусогнутых, цепляясь за стеллаж, крадется вдоль него, чтобы укрыться за его вертикальной доской. Дверь открывается. Появляется Она с небольшим чемоданом. Оглядывается, задерживая взгляд на зале, потом выходит к авансцене и обнаруживает Его. Он вжимается в стену и прикрывает голову руками.

Она (*огорчённо*). Не повезло. Сохранилась всё-таки местная живность. Уж лучше бы кошка. Хотя... Огорчительно было бы обнаружить здесь кошку. Господи, до чего же они мне надоели, эти гламурные создания!

Он (*после паузы*). И вам, сударыня, доброе утро.

Она. Как странно! Голос этого бомжа показался мне знакомым. В Москве всё жестоко изменилось. Словно приехала в гости к бабушке – и что я вижу? Старикан вдруг помолодел, разбогател и обзавёлся гаремом из дешёвых шлюх. Однако, когда шла я сюда от Киевского вокзала, некоторые дома застенчиво подмаргивали мне стеклами окон, узнавая. Они всё те же под новой штукатуркой, под уродливыми коробками на месте балконов, под этими вульгарными пристройками конфетного какого-то стиля и под ужасной рекламой. Мой же дом уберёгся даже от ремонта – потому, наверное, что в глубине двора.

Он (*суровым начальственным голосом*). Кто вы такая и что вы тут делаете?

Она. Странно, наваждение продолжается... Голос Костика, я могла бы поклясться. (*Стоя спиной к нему, в зал. Монотонно*). С родителями расплевалась окончательно. Игорь меня избегает. Сначала у меня отняли культурную программу на курортном ТВ, потом газету про кошечек. И если мне стало нечего делать дома, если жить стало негде, то не лучше ли ничего не делать и нигде не жить в Москве, а не в Ялте или в Усть-Уюте? Я и приехала сюда. Естественно, что я пришла в комнату, которую четыре года снимала у Аделаиды Никоновны, пока училась в МГУ.

Он (*по-прежнему сурово*). А как вы проникли в мою комнату?

Она. У меня остались ключи. Я заказала как-то запасные, для моего приятеля, Костика, чтобы он мог тут прятаться от своей драгоценной супруги, когда мне доводилось уезжать домой на каникулы. Я их и оставила себе. Меня и в Ялте, и в Усть-Уюте, и везде грела мысль, что ключи от московской хаты – вот они,

никуда не делись. И не поменяла Аделаида Никоновна замки за эти годы, вот ведь молодец! А комната могла быть пуста. Размечталась... Даже если бы тут умерла старушка, я бы её вытащила на двор к мусорнику, помыла бы полы да и пожила бы здесь всё равно. Это ведь моя комната.

Он. Где вы тут видели старушку? А вот Аделаида Никоновна, та давно умерла. Я покупал комнату у мужчины, её внука, а он для удобства жильцов называет себя Аделаидой Никоновной. *(Испуганно)*. А ведь это и вправду ты, Фаня.

Она *(равнодушно)*. Я-то Фаина. А ты, выходит, и вправду Костик. Подонок. Подлый изменщик. Ты ведь именно отсюда слинял тогда. И эти ключи оставил на коврике перед моей дверью.

Он. Ладно, согласен, я поступил нехорошо. Однако ведь и ты меня бросила. Слишком, ты ж понимаешь, любила своего мужа. Баш на баш, Фаня. И это ты сбежала из Москвы, а я остался. Вот я назвал сейчас твоё имя, Фаня, преодолевая внутреннее сопротивление, но назвал. А было ведь время, когда тщательно прятал его в тайниках своей памяти, потому что стоило только его произнести – и я проваливался в чёрную дыру, днём всё валилось из рук, а ночь обращалась в пьяный кошмар. Вот так, Фаня.

Она. Вы. Фаина Витольдовна. Теперь меня называют так. А ты как оказался в моей комнате, полоумный?

Он. А вот меня теперь никак не называют. Ты воскрешаешь столь давние времена, Фаня, что мои воспоминания о них словно из-под слоя плесени выглядывают.

Она. На вы, подонок! И Фаина Витольдовна. Я, кажется, задала вопрос.

Он. На вы, на вы... А разве мы с тобой не...? Не того?

Она. Увы! Я и сейчас жалею о той своей слабости, развратник. (*Скривилась*). Боюсь, что меня сейчас стошнит. Отвечай на вопрос!

Он. А я с удовольствием вспомнил бы те два дня и две ночи, когда мы спрятались тут от всего света. Я ведь тоже, кажется, был ещё женат тогда. Ну, ладно уж. Ведь всё связано между собою. Именно те восхитительные минуты... В этой комнате на большой стальной кровати Аделаиды Никоновны и на твоём всегда накрахмаленном белье... Да, только воспоминания о пережитом здесь заставили меня купить эту комнату.

Она (*хватается за живот*). Ой! Мне нужно срочно выйти! (*Выбегает*).

Он продолжает некоторое время стоять в состоянии горестного изумления. Пауза. После стука в дверь она тут же открывается. Решительно входит Колька с младенцем. Он торопливо садится на прежнее место. Колька с младенцем подбоченивается и возмущенно взирает на Него.

Он. Заходи, Коля.

Колька с младенцем. Сосед, мы ж договаривались, чтобы всё по-тихому. Меж нами ж фанерная стенка, а у меня малый. Ты любишь побормотать сам с собою, постонать, поохать, поойкать, и я всегда говорю, чтобы на полтона ниже. Чтобы не понять мне было, о чём ты. Где ты снял эту крикливую бабу?

Он. Сама пришла. Фаина Витольдовна тут раньше жила.

Колька с младенцем. Надо же. Баба юркнула в сортир. Вот что, сосед, ты моешь сортир сегодня не в очередь.

Он. Это же всё-таки дама. А дамы, они, Коля, аккуратные.

Колька с младенцем. Надежду имею, не промахивается, как ты. Значит, договорились по-хорошему.

Слышен шум спускаемой из бачка воды. Он и Колька с младенцем переглядываются. Тут же раздаётся басовитый вопль младенца.

Колька с младенцем. Не худо бы и тебе садиться на очко, как бабы присаживаются. Вот, разбудили-таки малого! (*Показывает Емму кулак и уходит*).

Пауза. Заходит Она. Ошарашена. Он встаёт.

Она. Я прошу прощения... Видно, съела в дороге что-нибудь несвежее. Или уже на вокзале? Купила я с лотка два чизбургера, и один... (*Решается*). Послушай! Я сейчас в коридоре встретила мужичка. Неужели это тот самый жлобина, что жил в соседней комнате? Тот самый Колька-сантехник? И ребёнок за его дверью орал... Неужто то самое малое дитя?

Он. Насчёт того, тот ли самый Колька, я сам в сомнении. Вроде бы не мог так сохраниться, а там кто их знает, сантехников. А вот младенец наверняка уже другой.

Она. А по его бабе не пробовал определить? Та ли она, которая двадцатилетней давности?

Он (*пугается, прижимает палец к губам*). Тсс... (*Шёпотом*). Запретная тема. Не с чем было сравнить. Я совершенно не запомнил ту, что была двадцать лет тому

назад. Помню только, что тот Колька – или все же этот? – держал её за мебель.

Она (*по-прежнему громко*). А где, кстати, мебель, подинок? Мебель стареет не так быстро, как люди. Ведь здесь были и мои вещи, вертящийся табурет для пианино, например. И, кажется, ещё матрац. Что-то ещё там из мелкой мебели.

Он. Обо всём по порядку, Фаина Витольдовна. Зная твой характер, я подозреваю, что времени у нас впереди вагон и маленькая тележка. Итак, денег на покупку комнаты у меня, разумеется, не было, однако тогда, как вдруг оказалось теперь, мы жили в эпоху процветания, а потому на каждом углу предлагались кредиты. Вот я и взял кредит под залог имущества, и хотя никакого особого имущества у меня и тогда не водилось, зарабатывал я неплохо, и банк мне поверил.

Она (*вспыхивает*). А что ты знаешь о моём характере? Я всегда была мягкой и уступчивой, а вот склочной и въедливой никогда не была!

Он. Я имел в виду, Фаня, что ты отсюда не уйдёшь, пока не докажешь, что ты во всем права, а мы, остальные, виноваты. Так вот, к тому времени, когда надо было отдавать уже не проценты, а все деньги разом, я потерял работу. И не успел найти новой, как бабахнул кризис, и те годы, которые мы, в дурацком ослеплении нашем, считали тяжёлыми, оказались годами процветания.

Она. Я, в отличие от тебя, отсюда вовсе не уйду... А об упущенном процветании ты уже второй раз говоришь. Отчего это тебя так заботит? Вот я, например, успела заметить лишь технические изменения в своей жизни. А ты ведь тоже не разбогател... Плюнь да разотри!

Он (*рассудительно*). Это ещё как сказать: разбогател, не разбогател... Уже лет за пять перед кризисом я мог позволить себе обедать в ресторане и не заботиться о том, хватит ли денег на еду до полочки. Согласись, что это, даже если ещё не причисляет тебя к среднему классу, однако уже кое-что. (*В первый раз за всё время поднимает на Неё глаза, с изумлением всматривается.*). Знаешь, а я до сих пор боялся на тебя посмотреть – а вдруг увижу этакую огромную медузу? Ведь без малого четверть века прошло. Однако ты совсем не изменилась. Почему же я был тогда так уверен, что с годами ты непременно растолстеешь? Ведь я видел твоих родителей, а они у тебя щуплые такие, худенькие. Нет, ты совсем не изменилась, Фаня.

Она (*хихикает, потом печально*). Очки нацепи, недоумок.

Он (*в тон Ей*). Очков у меня сейчас нет. У меня их заняли на последней прогулке, пару месяцев назад. Один качок подошёл ко мне, снял их у меня с переносицы и положил себе в карман. Сказал, что позаимствовал на время, и спросил, не прихватил ли я с собою очечника. Теперь я остался с очечником, потому что очков он пока не вернул.

Она. Я не желаю выслушивать твой бред. Ты начинал рассказывать о том, куда исчезла моя мебель. Нет, это ведь ни в какие ворота не лезет – придти сюда, в святое место моих воспоминаний, и наткнуться здесь на тебя!

Он. А чем я так плох? Почему ты меня всю дорогу оскорбляешь?

Она. Посмотрись в зеркало, вурдалак.

Он (*напыщенно*). В доме нет зеркал. Я не смотрелся в зеркало вот уж лет пятнадцать, к твоему сведению.

Она. На нет и суда нет. А своего походного зеркальца я тебе не дам. Услышу ли я, наконец, отчёт о том, как ты пропил мою мебель?

Он. Пропил? Это мы с тобою прогуляли скромное наследство, оставленное мне отцом. Две тысячи рублей. Кооперативной квартиры за них уже нельзя было построить, но две тыщи были ещё деньги. Знаешь, а ведь это была совсем другая жизнь тогда. С другими запахами, с другой едой, с нашей бедностью, которой мы почти не замечали. Зато какой полной была та жизнь! Ведь мы могли попасть в любой театр, а Окуджава пел нам с пластинки!

Она. Угу. И всё на копейки, выданные из копеечной стипендии и копеечной зарплаты. А потом приехал император на голубой кобыле – и кранты. Ты меня не разжалобишь, мышиный жеребчик. А ну, колись, куда подевал мебель!

Он (кратко). Теперь так не говорят, Фаня. Впрочем, ты и тогда была провинциалкой. Очаровательной провинциалочкой, из песни слова не выкинешь.

Она. А как теперь говорят?

Он. Я не знаю, но так теперь не говорят люди нашего круга.

Она. Пусть. Пусть я провинциалка. Но и ты не москвич. Сам же рассказывал, как приехал из Волчанска.

Он. Разве? Теперь я не смог бы рассказать, потому что совсем забыл о Волчанске. А я награжден медалью «В память 850-летия Москвы», которую давали только коренным москвичам, и теперь, стало быть, дипломированный москвич. Государственно подтвержденный.

Она. Чушь.

Он. Ладно, пусть я не коренной москвич, зато приехал на добрых двадцать лет раньше тебя.

Она. Ты вообще был на двадцать лет старше меня. Как старший, ты должен был не впутываться в мои девчоночьи авантюры, а, напротив, удерживать меня от глупостей.

Он. Можно подумать, что ты воспринимала меня тогда как старшего, как ментора, который должен был тебя воспитывать! Ты это прямо сейчас придумала, Фаня. Тебе тогда было чуть за двадцать – и недаром я всегда так любил этот возраст! Полный расцвет девственной ещё как будто красоты и остатки щенячьего веселья и естественности, однако и жизненный опыт уже имеется, позволяющий оценить в человеке верность и доброту. И не видеть в мужике под сорок и в сорок замшелого старца. А насчет глупостей... У меня была очень скучная, очень правильная молодость, а тогда я принялся догуливать своё.

Она. Прожжённый циник и эгоист, каким ты был, таким ты и остался. А теперь ещё – и уже без балды – не казак лихой, а старпер.

Он. Извини, но ты теперь старше, чем я был тогда.

Она. А мне совсем это не интересно – себя с тобою сравнивать. Да и время тогда было другое. Я спрашивала о мебели, болтун.

Он (*переминается с ноги на ногу*). Кстати о мебели. Я хотел бы сесть. У меня проблема с коленями. А ты не могла бы присесть на чемодан?

Она (*обводит взглядом комнату, презрительно*). Не на твоём же грязном полу сидеть.

Он (*докторальным тоном*). Впрочем, на твой чемодан можно садиться, если он туго набит. Если нет, сломается, а ты окажешься на полу. На моём грязном полу.

Она. Мой заслуженный чемодан набит туго. (*Садится*).

Он. Никогда не думал, что тебя будут когда-нибудь интересоваться тряпки. *(Садится на пол и с наслаждением вытягивает ноги).*

Она. Правильно не думал. Там полный комплект моей газеты.

Он. Теперь понятно... Когда я пришёл покупать эту комнату, тут была какая-то мебель, однако Аделаида Никоновна её убрала. Я перевёз свою книжную полку (гордо указывает на неказистую самоделку) и кое-какие вещи, недостающее прикупил по дешёвке, а то и притащил с газона. Тогда возле мусорных баков можно было найти замечательную старинную мебель. Особенно, здесь в центре.

Она. Усекла. Моя мебель у потомка Аделаиды Никоновны. Что-то из сказанного тобою мне крепко не понравилось... Ага. Когда это я показывала тебе своих родителей?

Он. Странно, что ты забыла... Впрочем, это был один из критических моментов нашей дружбы.

Она. Я вспомнила! Ты приезжал к нам в Ялту летом на пару дней. А чего ж там было неприятного? Я помню, мы проговорили чуть ли не до утра, а днём поднялись к Музею Чехова, потом на Поляну Сказок. Наши отношения тогда были ещё гармоничны...

Он. Мы тогда очень нужны были друг другу именно как друзья. Моя вторая жена как раз додумалась завести любовника. А твой военный муж был в далекой отлучке, вот только не помню, курсантом ли на практике или уже кадровым лейтенантиком, и у вас пошли очередные контры. Тот разговор, до рассвета, был очень важен для нас с тобою, хоть порою и мучителен для меня, мужчины. Ты была слишком уж очень легко одета, а кровать совсем узка, чуть ли не раскладушка, а сесть было нельзя, потому что в щели между стеной и кроватью

ступни не помещались, даже и твои, крошечные. Вот и лежали мы, прижавшись друг к дружке...

О н а . Правда? Я вспомнила: дом был набит курортниками под завязку, я сама спала на раскладушке у родителей, а тебе они отвели каморку под лестницей, зато отдельную. Однако же мы и сидели тогда, подняв ноги на стену, а не только лежали.

О н . Возможно, что и сидели. Я помню только чёрный ящик, вроде гроба, и в нем твоё прелестное живое тело. Или так: пахнущую морской солью юную Венеру в тёмной, ещё не раскрывшейся раковине.

О н а (*скептически*). Надо было мне это сразу сказать – глядишь, уже тогда бы не устояла.

О н . Дружба! Святое дело дружба... А на следующий день, когда мы с тобой зашли к твоим вечером, чтобы я забрал рюкзак и с ними простился, твоя мать, отозвав меня в сторону, взяла с меня за двое суток по высшей ялтинской таксе. Я был не в обиде, только удивился слегка.

О н а (*смущённо, отвернувшись*). Я не знала, поверь. Мне такое в родителях самой противно. А ты удивился понятно почему: ведь ты привез нам гостинцы. Коньяк какой-то навороченный, сухую колбасу, зеленый сыр и чуть ли не икру. В Ялте такое можно было достать, кроме разве что коньяка, только через ресторан или совсем уж по большому благу. Зелёный сыр... вот это был уже чисто столичный деликатес, из «Елисеевского».

О н . Давненько уже куда-то пропал и здесь. Не вспомнить ли о бутербродах с зеленым сыром на ужин? А что его тебе в Ялту привозил, уже забылось... Но в разговорах с тобой, в самом общении с юной печальной красавицей я тогда отошел душой. Ты мне тогда очень помогла, очень, своим сочувствием... А деньги... Что ж деньги?

Она. А я уже взрослой прожила со своими родителями достаточно долго, чуть ли не десятилетие, да так и не научилась смотреть на эти вещи их глазами. Однако я поняла их позицию. Знаешь, они ведь люди интеллигентских профессий, им тоже не сладко пришлось, когда начали прирабатывать мелким отельным бизнесом, и оказались вынуждены в своём собственном доме угождать курортникам.

Он. Мне трудно в это вникнуть. Я всю жизнь был среди тех, кто квартиры снимает, а не сдаёт, кто даёт на чай, а не наоборот. Но вообще-то это нормально: в детстве на родителей молишься, в отрочестве их презираешь, взрослым стыдишься, а потом наступает время, когда стыдишься уже себя, что так к ним...

Она (*перебивает*). Первый пункт необязателен, а последний не при чем: мои-то живы-здоровы. Это в Ялте всеобщий промысел, там это не считается стыдным – комнаты, углы и койки сдавать. Что за лето на курортниках заработал, оно и твоё на долгую противную зиму. А мои ещё привыкли каждую копейку приберечь, чтобы я могла в Москве роскошествовать в этой комнате, когда в универе училась. Я бы тоже не стыдилась их и не злилась бы, если бы в Ялте и родилась.

Он. Так они приезжие? Мне твои родители показались коренными ялтинцами.

Она. Таких не бывает. Разве что татары. Всегда удивлялась, почему о татарах говорят, что они кочевники. Не трогай их, и будут сидеть у себя дома, что в Казани, что в Крыму. Вот мы, русские, вот мы – настоящие кочевники.

Он. Постой, а ты почему к русским примазываешься? Ведь Ялта в другом государстве.

Она. А почему ты решил, что я приехала из Ялты? То есть я, действительно, приехала из Ялты, да

только я паспорт меняла еще в Усть-Уюте, где мой муж служил. У меня российский паспорт, не хуже, чем у тебя.

Он. А у меня, кажется, советский, вечный... Совершенно не помню. А где ты прописана, прости за нескромный вопрос?

Она. Так ведь прописку везде отменили...

Он. Это так только говорится... Так где ты зарегистрирована, кочевница?

Она. Это про какой ты мой паспорт, зануда, спрашиваешь?

Он. Про российский, кажется. Совсем запутала... А есть разве и другой какой?

Она. Ну, мне родители в Ялте и украинский добыли. Это было не очень дорого. Хотели и заграничный, да начали мы тогда уже гыркаться... Так что у меня две регистрации, в Усть-Уюте и в Ялте. А почему это ты решил, что я не русская?

Он. Сама же хвасталась, что цыганка.

Она. А... Знаешь, в юности как-то хотелось выделиться. А оседлые цыгане, да еще с высшим образованием, это уже русские.

Он. Понятно. Значит паспортами и прописками, ты, Фаня, обеспечена. Почти как Штирлиц.

Она. Скажи лучше: как Мата Хари.

Он. Не примазывайся к Мата Хари! Она была выше проблемы регистрации. Я недавно купил диск Греты Гарбо (показывает подбородком в пустой угол) и смотрел старый фильм «Мата Хари».

Она. Она была похожа на меня? Такая же трусливая авантюристка?

Он (*задумывается всерьёз*). Нет, конечно же, нет. В сравнении с тобой просто стерва.

Она. Это что же – комплимент? (*Пауза*). Эй, а куда это ты показывал?

Он. Куда, куда? Там тумбочка с видеаком и плеером, кассетами и дисками. А... То есть была там тумбочка с видеаком. Судебные исполнители забрали.

Она. Не оставили тебе такой мелочёвки?

Он. Я же так и не досказал тебе о мебели... (*Торопится досказать*). Кредит я вернуть не смог, вот у меня и забрали всё, что нашли в доме. Даже книги унесли. Оставили вот только полку – не понравилась им, видишь ли. И галстук (*показывает на него*) я догадался сразу же повязать на шею. А когда судебные исполнители ушли, так даже перекрестился – вот уж не знаю, правильно или по-католически...

Она (*подбоченивается*). А ну-ка, перекрестись!

Он крестится.

Она (*качает головой*). Ты крестишься по-католически. С чего бы это?

Он (*отмахивается*). Даже перекрестился, говорю. Потому что они не догадались отобрать главной теперь моей собственности – этой вот комнаты. Представляешь, как мне повезло? Однако что это я всё о себе да о себе? А ты, Фаня, хау ду ю ду?

Она. Ты перекрестился по-католически. А твои кто родители? Почему я никогда не задумывалась о том, какой ты национальности, прохиндей?

Он. Потому что ты вообще никогда обо мне не задумывалась. Ты думала только о своем Олеге. А у меня в пятой графе не то, что тебе сейчас подумалось. Впрочем, и я никогда не видел особой разницы между евреями и цыганами. Ты уж прости, Фаня.

Она. Вот те на, а я уже успела немножко расслабиться. Ведь та же комната, хоть и ты на полу сидишь, как прыщ, тот же потолок, та же дверь на балкон. Если бы вставили модные стеклопакеты, комната стала

бы совсем чужая. А ты не смей говорить гадости о моем Олеге, ты, баба базарная.

Он . Очень мне нужно... Видел я его, твоего Олега, только один раз, ещё курсантом радиотехнического, кажется, училища, когда он, красавчик-блондин, мыл полы на здешней коммунальной кухне и в туалете, а потом ты на фотках показывала. Помню одну, где он с товарищами-курсантами, все в майках и трусах, в этой их казарме с двухъярусными койками. Запомнилось мне, что я сравнил его с князем Андреем Болконским – на фоне сельских парней он выглядел, как князь Андрей, если бы вздумал перед Аустерлицем выкупаться в пруду вместе с солдатами своего полка. А насчет гадостей... Мог бы только повторить те о нём гадости, что слышал от тебя.

Она . Не смей повторять мои гадости об Олеге!

Он . Ты слишком многого от меня хочешь. Это твой муж, а мы с тобой были, хоть и пару дней всего, любовниками, так как же я должен к парню относиться? Ах да, это тогда он был красавцем-блондином, а как сейчас выглядит, не представляю...

Она . Да уж, как Олег сейчас выглядит, лучше не представлять. Олега ведь давно уже похоронили в Ялте, а туда привезли в цинковом гробу.

Он . Извини, Фаня, я не знал. Сочувствую, чего уж там... Однако во всем этом есть и... как бы сказать?... позитивная сторона. Ты ведь теперь получаешь за Олега пенсию.

Она . Вот зарядил: «Фаня, Фаня...». Почему ты называешь меня этим дурацким именем? Ведь сказано тебе: на вы и Фаина Витольдовна.

Он . Похоже, ты уже забыла... Мы же играли в еврейскую семью: ты была Фаня, а я твой муж Изя. Мы тогда так и покатывались со смеху...

Она. Да уж, дурносмеха хватало тогда! Зато теперь ты только о пенсии и думаешь, скопидом.

Он. Наше государство простым людям ничего лишнего не даёт. Согласись, что с пенсией тебе легче пришлось.

Она. Вот привязался с этой пенсией! Тогда у Олега была уже другая жена. Он о такой, небось, всю жизнь мечтал: мещаночка из тех, что натянут мини-юбку или эти их короткие трусы... Как их?

Он. Слаксы?

Она. Да нет, вроде вспомнила – леггинсы, что ли... Раскрасятся как проститутки, и в выходной прогуливаются под военными училищами – авось душкурсанта подцепят. Вот он с нею и покатил к новому месту службы, а я тогда осталась в Усть-Уюте.

Он. И тебя не выгнали из служебного жилья? Поразительно...

Она. А ко мне командир части очень хорошо относился.

Он. Ага, понятно...

Она. И вовсе не то, что ты думаешь! Меня все старшие офицеры жалели, когда Олег связался с этой своей сучкой.

Он. А твоя соперница была официанткой в офицерской столовой – я ведь угадал?

Она молчит. Он веселится, потирая руки.

Она. Я там вела большую работу в женсовете дивизии: кружки ИЗО, макраме, драматический. В Усть-Уюте есть свой драматический театр, только башкирский.

Он. Помню, тебя всегда тянуло к этой мелкой самодеятельности, к любительщине, собственно... Но ведь ты же училась на факультете журналистики?

Она. Тогда ещё не доучилась. Да и в районной газете не было вакансий.

Он. А мне слышалось, что ты сама издавала газету... Нет, я вовсе не хочу беречь твои раны, ты не подумай...

Она. То уж совсем другая история, ты, отзывчивое ничтожество.

Громкий стук в дверь. Она и Он переглядываются.

Он }
Она } (вместе) Войдите!

Влетает Колька с младенцем.

Колька с младенцем. Я ж говорил – помалкивать! Еле-еле успокоил малого, а вы опять гыры-гыры да гыры-гыры! И как вы смеете мою Машку называть проституткой и сучкой?

Она (*хлопает ресницами*). Разве я кого-то называла проституткой?

Он. Речь шла вовсе не о твоей Марусе, Коля. Имелась в виду та баба, что увела вот у неё, у Фаины Витольдовны, мужа.

Колька с младенцем (*агрессивно*). Выходит, я ослышался. Ну, извини, сосед. Однако я в последнее время что-то часто начал слышать... чего не должно бы слышаться. Будто Машка и у тебя тут промышляет.

Он. Да как? Опомнись! Я же пустой, Коля. Да ты и сам сказал, что слышалось.

Колька с младенцем. Как, как? А хоть бы и в кредит. Ты же у нас большой спец по кредитам. Смотри мне! И запомните оба накрепко. Пусть моя Машка блядь, пусть и сучка. Однако называть её блядью и сучкой имею право только я. Намотайте оба себе на ус!

Раздается рев младенца. Колька с младенцем убегает. Крик младенца усиливается.

Он (*виновато*). Я это называю сериалом «Наши добрые соседи». Поднадоел уже несколько, зато, согласись, такой жизнеподобный! А с криком постановщик шумов перестарался. Надо просто перетерпеть, Фаня.

Она. А что этот монстр говорил насчет тебя и своей супруги? Ты же импотент...

Он. Во-первых, я не импотент, и тебе самой это прекрасно известно. Во-вторых, я же не идиот, хотя мне всегда лестно внимание молодой женщины, пусть даже крайне вульгарной. В-третьих, я без денег. (*Оглядывается, продолжает шепотом*). В отличие от Аделаиды Никоновны, который может себе позволить такое по соседству.

Она. Такое – что?

Он. Тру-ля-ля!

Рёв грудного ребенка, примолкший было, снова усиливается. Со стороны кухни слышны нервные стуки и ругань Кольки с младенцем.

Она. Да, к здешней обстановке нужно привыкнуть. Пойду-ка я прогуляюсь, пока не закончится кормление.

Он. Счастливица. А я вот не помню, когда в последний раз выходил. Сам-то тот последний выход помню, потому что именно тогда вернулся без очков, но вот когда это было...? А лифт окончательно сломался, говорят. Спуститься-то я спущусь, несомненно, а вот подняться мне теперь... Колени на подъём совсем отказывают.

Она. А как же ты...?

Он. Да так вот как-то.

Она (*вздыхнув*). Ладно, пошли вместе. Я помо-

гу тебе подняться по лестнице во имя нашей прежней дружбы. Хоть ты и сволочь коварная, однако я до сих пор убеждаю себя, что человек человеку товарищ и брат.

Он поднимается с пола, Она – с чемодана. Он снимает с гвоздя галстук и не без торжественности надевает его на шею. Одновременно достают по два больших ключа на кольцах и идут к двери.

Картина 2. Чистилище

Желательны совершенно аскетические декорации, но можно поставить какую-нибудь архитектурную конструкцию с намеком на модерн или на сталинский стиль.

Обязательны дерево, символизирующее бульварное пространство, и садовая скамейка.

Он и Она сидят на скамейке.

Он (*ворчит*). Погулять, Фаня, можно было и во дворе. Тут слишкомлюдно. Пристанет ещё какой-нибудь алкоголик, а то и кто похуже. То ли дело в нашем дворе, сразу за мусоросборником! Можно посидеть на бетонном блоке, а сейчас и на зеленую травку посмотреть.

Она. Ты и во всех наших приключениях был довольно осмотрителен, но вот во что я никогда бы не поверила, так это, что станешь таким трусишкой. Кого здесь бояться? Справа от нас на скамейке спит бомж, а слева лежит бомжиха.

Он. Вот именно бомжей теперь и грабят. Первым делом отбирают документы, у кого имеются, потом мобильники.

Она. А на что годится бомжеский мобильник? Разве что на запчасти.

Он. Для глубинки и такие сойдут, Фаня. Только бы рабочие.

Она. Хочешь сказать, что и у тебя с собою мобилка?

Он. Есть, конечно, и у меня, но её я благоразумно оставил дома. Аделаида Никоновна запрещает включать

свет, но я мобилку потихоньку подзаряжаю ночью на кухне. Отлично работает как фонарик. Знаешь, ночные походы в места общего пользования... У меня на счету остались какие-то рубли, поэтому время от времени приходят эсэмэски. То поздравление с праздником от компании, то предложение поучаствовать в акции, а иногда, что выиграл подарок, и куда, дескать, позвонить по этому поводу. Сам ведь пиарщик, понимаю, что чему, но всё равно приятно. И как-то даже греет, что не забывают человека.

Она (*бормочет*). Пиарщик? Помнится, у тебя была же учёная степень...

Он. Учёная степень весьма украшает резюме. Да будет тебе известно, что пиарщик может срубить хорошую капусту только в сезон, например, в избирательную кампанию. А тогда резюме приобретает решающее значение.

Она. Ты преисполнился мудрости, которую Христос называет ложной.

Он. Разве? А однажды пришла такая эсэмэска: «ТЫ КУДА ПОДЕВАЛСЯ. ВИТЯ». И номер был незнакомый, в моей электронной «записной книжке» такого нет.

Она. Текст заставляет задуматься.

Он. Конечно. Я и задумался. Не всё же время развлекаться сериалом «Мои милые соседи», а слушать детективы доводится довольно редко.

Она. Какие еще детективы?

Он. Это когда под балконом стреляют и матерятся. А потом мочатся – если повезет, на труп – и матерятся.

Она. И ты не боишься выходить на балкон? Тебя же могут подстрелить.

Он. А я вообще не выхожу на балкон. Аделаида Никоновна запретил. Боится муниципальной налоговой

полиции. Лужков пообещал разорить всех рантье, промышляющих сдачей квартир.

О н а . А кстати! Сколько в месяц ты платишь сейчас Аделаиде Никоновне?

О н (гордо). Нисколько в месяц. Я же купил комнату.

О н а . Но ты же платишь за коммунальные услуги? За свет, за воду, за канализацию, за неработающий лифт, как водится.

О н . Да не плачу я, так вышло... Всё идет в долг. Но я максимально экономлю. Все мои лампочки, например, – и в комнате, и на кухне, и в душе, и... ну, сама знаешь, где... Аделаидой Никоновной самолично выкручены.

О н а . А разве ты не получаешь пенсию, скопидом? Ты ведь раньше прилично зарабатывал.

О н . С пенсией вышла странная история. Да, я успел в своё время потрудиться на пенсию. А потом подрабатывал пиарщиком на всяких, как писал Маяковский, министров-капиталистов. Пока работал временно, с оплатой в конверте, нормально и пенсию получал. А потом соблазнился, лопух, постоянной должностью в фирме, а тут и кризис. Сначала у меня сняли пенсию, как у работающего пенсионера, а потом и в фирме сократили именно как пенсионера, в первую очередь.

О н а . Почему же ты не обратился в собес, чтобы тебе вернули пенсию?

О н . Конечно же, я обращался. Но тут-то и началось самое интересное.

О н а . Для кого интересное?

О н . Для тебя, Фаня, если спрашиваешь... А вообще-то нет повести печальнее на свете. Пенсию мне не вернули. Фирма оказалась под следствием за

то, что раздавала зарплату в «конвертах», а на самом деле потому, что пиарила не тех, кого надо. Моя пенсия оказалась вещественным доказательством, и мне её обещали вернуть, когда закончится процесс. Или моим наследникам – что там окажется на счету.

Она. Недаром говорят, что в России перепроизводство юристов...

Он. Мотя примерно так же объяснила.

Она. Это твой адвокат? У тебя сложились интимные отношения с твоим адвокатом?

Он. Наш почтальон. Раньше тётя Мотя приносила мне пенсию на дом. Потом начала приносить бумажки: дескать, на ваш счёт в МВД перечислена следующая сумма... А потом тётя Мотя перестала и бумажки приносить: с бумажки я ведь не мог дать ей десятку за услуги, а на радостях, бывало, что и две.

Она. Что-то здесь не так... Не поискать ли нам темы повеселее для разговора? День-то ведь какой чудесный!

Он. Да. Для человека моего возраста особенно огорчительна осень. Но и весна напоминает о том, что всё прекрасное когда-нибудь заканчивается. А с чего вдруг ты решила, что я импотент?

Она. Будто сам не знаешь? Я вспомнила те два дня и две ночи, когда мы с тобою решили променять нашу нежную дружбу на интим. Слово, конечно же, обидное, но разве оно не справедливо в данном случае?

Он. А... С тем же успехом я мог бы назвать тебя фригидной динамисткой.

Она. Благодарю покорно. *(Поднимается со скамьи, прохаживается по авансцене, садится на место).*

Он. Вот видишь, ты обиделась. А меня так всю дорогу обижаешь. Да, у меня два дня не

получалось. Однако само общение с тобой было таким восхитительным, мы так много узнали друг о друге. Я говорю о себе, конечно. Мои пальцы, мои губы до сих пор помнят, наверное, каждый квадратный сантиметр твоего волшебного тела, запах твоих пышных волос...

Она. Да уж, нашел место для своих грязных воспоминаний. Конечно же, где ещё, как не на людном бульваре? А что тебе ещё остается, эксгибиционист несчастный?

Он. А тебе не кажется, что вспоминать такое в той самой комнате, где всё и происходило, было бы для тебя ещё более дискомфортно?

Третий (*вот уже пару минут переминается с ноги на ногу у скамейки*). Прощения просим, но меня жутко заинтересовал ваш разговор. От имени бульварного сообщества...

Она. Пошел вон отсюда.

Третий. Я извиняюсь. (*Уходит*).

Он. Ты слишком груба... Он мог достать револьвер, а на таком расстоянии достаточно и травматического.

Она. А ты всё равно импотент!

Он. Да брось ты... Прошло несколько лет, и нас завалило сексологической литературой. И оказалось, что я из тех мужиков, которым необходимо сначала привыкнуть к каждой новой женщине. Неудобно, согласен, однако же вовсе не смертельно. Да ты и сама ведь помнишь, что на третье утро у меня всё было в порядке, однако тогда уже ты не захотела. И кто из нас, спрашивается, был виноват?

Она (*медленно*). Странно, а ведь ты до сих пор не понимаешь, что с нами произошло. Чего мне там было помнить? Разве дело было в физиологии? Ты хотел насолить своей стерве, а я Олегу. Ты пытался разорвать свою привычку пилиться именно с ней, а я

оставалась безумно влюблённой в Олега. Если бы и не было у нас из-за этого задержек, и всё получилось бы, как в порнофильме – неужели это хоть что-нибудь бы изменило?

Он. Не знаю, захочешь ли ты это слушать...

Третий. И всё-таки прощения просим. (*Садится на скамейку рядом с Ним, бесцеремонно его потеснив*). Не скажу, что я прошел всё Бульварное кольцо, однако между Никитской и Страстной вы и впрямь самые интересные собеседники.

Он. Где, где – вы сказали?

Она. Пошёл вон!

Третий. Неважно. А на ваше, дамочка, «Пошёл вон» есть ответ: «В Кошкин дом».

Она. А в чем тогда соль?

Третий. Если вы меня послали вон, как же я объясню, при чем здесь «Кошкин дом»? Ха-ха! Неужели не смешно? (*Укоризненно*). А люди смеются.

Она. Могу и повторить. Бог Троицу любит.

Третий. Пустое! Однако меня не ваш трёп, извиняюсь, про порнуху заинтересовал. Что порнуха? Пройденный жизненный этап. У меня, к примеру, на очереди покупка квартиры и создание семьи. Я своё отгулял, а теперь сбил копейку и желаю жениться.

Он. Рад за вас. Но мы ничем не можем помочь.

Третий. Как это – не можете? Вот ты именно и можешь мне помочь, отец! Одолжил бы ты мне свой галстук, а?

Он быстро развязывает галстук, сматывает его в тугой ком и прячет во внутренний карман.

Третий (*смеется*). Я извиняюсь, отец, но что ты сейчас с галстуком проделал?

Он. А вам какое дело? Мой галстук, захочу – с кашей его съем.

Т р е т и й . Да нет, зачем ты его развязал и скрутил?

О н . Вот вы о чём... Мне как-то повстречался один коллекционер галстуков. Бородатый такой молодой человек, вроде вас, и в свитере под горлышко, между прочим. Так он рассказывал, что только так и положено хранить галстуки – развязанными и аккуратно скрученными.

Т р е т и й . А зачем было развязывать? Ведь если надевать, то придется завязывать по новой!

О н а . Фи! Мужчина должен уметь завязать галстук. Вот разве что офицеру оно ни к чему. (*Вздыхает*). Потому что у них на резиночке.

Т р е т и й . Послушай, мужик! Научил бы ты меня завязывать галстуки, а?

О н (*усмехается, грозит пальцем*). Ну, уж нет! Хитро задумано, да меня не подловишь, нет!

Т р е т и й . Отец, обижаешь...

О н . А насчет вида, в котором следует хранить галстук, то припоминается мне, что недалеко отсюда, в бывшей тогда отселенке, художник-концептуалист Александр Бандера устроил в перестройку не то коммуны, не то театр хепенинга. Посетителям он показывал и коллекцию галстуков, ему подарил какой-то почитатель. Так у него они висели по стенкам, а не были скручены.

О н а . Будто на базаре.

О н . Он еще и старушку приютил, и та для посетителей лихо плясала гопак. Я потом, когда его давно в том здании и дух простыл (теперь там, кажется, офисы), смеялся, что бабку Параску изобрел Александр Бандера, а Оранжевая революция украла у него этот бренд.

Третий. А что такое Оранжевая революция, мужик?

Он. Да так, ничего.

Она. Не бери дурного в голову, парень.

Третий (*вскакивает со скамейки, тычет пальцем в зал, кричит*). Ты смотри, мужик! Чайка! Да как она, бляха-муха, завернула на бульвар?

Он (*подхватывается со скамейки*). Где, чайка, где?

Третий выхватывает из внутреннего кармана пиджака Его смотанный галстук и убегает с торжествующим гоготом.

Он (*садится. Кривится, готовый заплакать*). Мой галстук... Это же символ! Символ...

Она (*будто с ребёнком*). Какой еще символ? Ну чего, спрашивается, символ?

Он (*плачущим голосом*). А того... Символ будущего выхода из разрухи. Когда-нибудь, когда жизнь вернется на круги своя, я отправлю резюме. Меня пригласят на собеседование... И я надену... надел бы этот галстук. Менеджер, проводя кастинг, уставится на изумительный мой галстук и не обратит внимания на... на всё прочее не обратил бы внимания.

Она (*так же*). Чушь. Разве мало ты пережил уже всяких кризисов, дефолтов и реформ? Разве когда-нибудь потом что-нибудь возвращалось к прежнему состоянию? Народец наш опять переживёт, перетрёт, приспособится, заработает денег и на пиар, и на газетки про кошечек, а мы, дармоеды, выплывем на поверхность вместе с трудягами. Успокойся, ты, паникёр.

Он (*скептически*). Так значит, ты полагаешь, что разруха минует сама собой?

Она. Можно подумать, что от нас с тобою что-либо зависит... А покажи, в какой именно многоэтажке буянил твой концептуальный Бандера?

Он. Отсюда даже крыши не видно. А вообще меня всегда угнетало, что дома живут дольше нас, людей. Только представить себя, скольких жильцов вынесли вперед ногами из этих доходных домов начала двадцатого века, а сами кирпичные уродины всё стоят!

Она. Они долговечнее нас, если нет землетрясений или войн.

Он. А тогда и человеческие жизни укорачиваются. Впрочем, день такой замечательный, что стыдно долго грустить.

Она. Я бы хотела расставить точки над «i». Мне совсем не лестно, что ты так переживал из-за меня. Ну, случился у тебя романчик с... Как бы о себе тогдашней поточнее сказать? Да ладно уже... Романчик с молодой замужней гулёной себе на уме, и разбежались мы не в самых приятных для твоего мужского самолюбия обстоятельствах. Нормальный человек постарался бы поскорее забыть – и кранты. Нет, ты устраиваешь себе из этого фетиш, будто дикарь из бедренной кости съеденного племенем миссионера. Да, теперь очевидно, что мы жили под пятой, что нам не доставало свободы... Вот мы и придумывали себе этакие хобби: кто по сибирским рекам на байдарках спускался, кто галстуки собирал, а кто, как ты, сопли размазывал вокруг несчастной любви. Будто любовь – это главное в жизни... *(Плачет)*. Будто без неё и, правда, как в поповой песне поется, нельзя прожить...

Он *(растерян)*. Ты-то отчего ревёшь?

Она *(внезапно успокаивается, вытирает глаза кружевным платочком)*. К сожалению, не один ты такой. А ты, небось, и каждой своей новой жене

плакался на судьбу, обо мне рассказывал. Да тут любая дура поймёт, что ты в ней меня пытаешься найти да прошлое вернуть! И кому оно могло понравиться? Вот ты и остался один в это тяжёлое время, ты, извращенец.

Он. Гм. Умно, однако. А давай-ка я расскажу о нашей квартире – о той, в которой ты снимала комнату, а я ту комнату купил. Хотя... Ты не раскапывала её историю?

Она. Зачем мне нужна была её история? Где бы я нашла время на такие пустяки? Достаточно того, что я тут жила, едва успевала тут учиться и жить.

Он. Вот он, типично женский подход. Всегда удивлялся, почему экзистенциализм не женщина придумала. А у меня нашлось время. Я не только прочитал в Ленинке всё, что было напечатано о нашей улице, я даже в архитектурный архив проник.

Она. Что же может быть интересного в истории такого обычного дома?

Он. Да ладно тебе. Мне дом был интересен, и этого достаточно. В общем, в конце позапрошлого столетия его построил купец, богатый мукомол Евсеев.

Она. И богомол? Мне всегда чудилось в мрачном декоре моего дома нечто истовое, даже старообрядческое.

Он. Об этом история умалчивает. Видно, он не очень надеялся на прочность своего мельничного бизнеса, потому что решил построить доходный дом. Однако на каждом этаже одна квартира была спланирована как роскошная даже для тех времён, и ту из них, которая на третьем этаже, он предназначил для себя.

Она. То есть прямо под нами?

Он. Ну да. Поскольку Евсеев был уже стар, то не поскупился на лифт.

О н а . Значит, наш лифт, в котором все двери и дверцы надо руками открывать, ещё с тех времен?

О н . Конечно. Помнишь, я ещё спрашивал, куда подевали ручку, которую жильцы должны были крутить, чтобы подниматься и опускаться?

О н а . Твои шутки всегда были не смешны.

О н . А теперь лифт сломался уже без шуток, и его больше не чинят. Так вот, старик Евсеев рассчитывал, что при любом режиме будет иметь на хлеб с маслом, сдавая квартиры. Однако недооценил большевиков. Он сгинул во время «красного террора», а дом был национализирован.

О н а . Ты же хотел про нашу квартиру...

О н . Скажи, тебя в ней ничего не удивляло?

О н а . Трудно сказать... Я воспринимала её как данность. Хотя и странно, конечно, что за нашей кухней, за дверью, которая открывалась только с той стороны, что там еще одна кухня, настоящая ванная и комнаты Аделаиды Никоновны.

О н . Так вот, всё это была одна большая квартира.

О н а . Припоминаю, Аделаида Никоновна говорила, что дед её был профессор, и что большевики из уважения к нему оставили за ним квартиру, которую он снимал у хозяина.

О н (*оглядевшись по сторонам, шёпотом*). Врала твоя Аделаида Никоновна, если сама не обманывалась. Отец её был врач и служил в спецлаборатории НКВД. (*Обычным голосом*). Ну как, ты еще не догадалась? О том, для кого предназначалась твоя... наша комната?

О н а . Зачем ты меня пугаешь? Разве... здесь складывали трупы?

О н (*с уважением*). Однако же и фантазия у тебя, Фаня... Нет, дело обстояло еще гаже: это был закуток для прислуги возле чёрного хода. Тогда

джентльменский набор состоял из горничной и кухарки, для них комната. Напротив туалет (*не шлаться же им в господский!*) и кладовка.

Она. Не может быть... Там же кухня и душ.

Он. Одно название, что кухня. Кухня? Широкий коридор, в котором поставили газовую плиту. Где-то после войны Аделаиду Никоновну всё-таки уплотнили. Комнату для прислуги разделили перегородкой и за ней поселили слесаря-сантехника. Получив служебную жилплощадь, парень добился от ЖЭКа, чтобы ему позволили устроить в кладовке душ.

Она. О! Великое дело – душ! Был бы, главное, сток, а воду всегда можно нагреть. Я столько лет мылась в тазу, по частям...

Он (*косится на Неё*). Искренне сочувствую, Фаня.

Она. А ты помнишь, как Колька с младенцем чуть не набил тебе морду, когда ему нужно было в душ помыть младенцу попку, а там мы с тобою заперлись? Нам нужно было выяснить отношения, и спьяну мы решили, что этого нельзя было делать в комнате, где я трахалась с Олегом.

Он. Чуть не считается. А я помню всё, всё...

Она. Ты меня идеализировал тогда. Когда я издавала газету «Наши кошечки», то, конечно же, прочитала всю фелинологическую литературу, которую можно было тогда достать в Усть-Уюте или вытащить из Инета. И немножко свихнулась, как водится, на кошках, прежде чем они мне в конец опостытели. И вот тогда я вспоминала себя московскую не иначе, как ухоженной домашней кошечкой, уютно вытягивающейся на диване...

С п о н с о р , с бутоньеркой (лучше всего – простая ромашка) в петлице, уже некоторое время прислушивается к разговору, стоя шагах в трёх от скамейки.

С п о н с о р (*подбегает, легко кланяется*). А какой породы?

О н а (*растерянно*). Египетская мау... Вам-то какое дело?

С п о н с о р . Вы изволили проговориться, что издавали журнал про кошечек, поэтому я не утерпел и позволил себе... Всю жизнь был без ума от кошек, а в последние годы страшно по ним, кискам, соскучился. Извините, мне следовало вначале представиться: издатель, председатель правления холдинга «Северкнига», русский человек, наконец, Фрол Северьянович Полуэктов. В Интернете просто Фрол. Представляете, мне так и пишут: «Добрый день, Фрол!»; «Уважаемый Фрол!». Сегодня отпустил водителя и сан..., то бишь сек.... секьюрити, да уж лучше по-русски, охранников, решил прогуляться пешком, в дачном, вы уж простите, неглиже, хи-хи...

О н (*иронически*). Гарун-аль-Рашид.

С п о н с о р (*Ему*). Все флаги в гости едут к нам... Рад знакомству, Гарун Рашидович. (*Ей*). Очень приятно было прямо на бульваре встретить коллегу-издателя. Целую ручку.

О н а протягивает С п о н с о р у руку для поцелуя. С п о н с о р критически её осматривает и легко пожимает.

О н а . Фаина Витольдовна Крылова. Да только я и не была издателем! Была главным редактором. Газетка печаталась на деньги Игоря Крылова – не слышали о таком?

С п о н с о р . Велика Россия-матушка, а отступить больше некуда... Нет, не слышал об Игоре Крылове. Об

Иване Крылове слышал. Есть ещё питерский издатель, но он не Игорь. Нас, издателей, много. Вы, Фаина, обмолвились, что увлекались фелинологией, а мне сразу вспомнились филэллины. Не то, чтобы я сам так сильно любил греков, просто мне всегда безумно нравилось это слово. А вам не кажется, что когда русский человек становился филэллином, уже это наименование его облагораживало?

Он. Равно как и сама любовь к эллинам.

С п о н с о р. Возможно, что и так, Гарун Рашидович.

Он. Никогда не думал, что в таком молодом возрасте можно руководить целыми, как их, концернами.

С п о н с о р. Но вы же не знаете, сколько лет я об этом мечтал! Однако я заметил, что вас обуревают страсти. Долой ревность и всякие там эмоции! Только упорный труд на службе России-матушке – вот что спасет нас в этот тяжёлый час, когда и богоугодные заведения разоряются и разбегаются!

Он *(хмыкнув прежде)*. Так вы, уважаемый Фрол, считаете издательский концерн богоугодным заведением?

Она. А ты заткнись, будь добр.

С п о н с о р *(несколько смущён)*. Да, я увлекся, пожалуй. *(С прежним напором)*. А как бы вы посмотрели, Витольда Фаиновна, если бы я попросил вас взять на себя труд перенести издание вашего «Кошатника» в мать городов русских?

Она. Да я с дорогой душой... Я и все прежние номера привезла... Вот только не будет ли проблем с брендом?

С п о н с о р . А меня другое беспокоит: не занята ли в Москве ниша? Не лежит ли в ней уже какой-нибудь, хе-хе, «Сиамский красавец»?

О н а . Ой! И в самом деле...

С п о н с о р . Позвоню-ка я, пожалуй, своему главному редактору. (*Шарит по карманам*). Ах да, оставил сотовый в «мерсе». Меня в таких случаях всегда водитель выручал. (*Вопросительно уставился на Негю*).

О н (*грубо*). Нет у меня. С некоторых пор не беру с собой на улицу.

О н а (*протягивает маленький красный мобильник*). Пожалуйста, Фрол Северьянович.

С п о н с о р (*набрав номер*). Ты, Сёва? А это я, Полуэктов... Да, да, прекрасно. Дышу тут воздухом... Сколько раз я убеждал тебя, что про домино во дворе тебе придется забыть... Да, мне её тоже не хватает... Да ты, Сёва, не волнуйся так... Вот что. Я звоню, чтобы ты сказал, нет ли у тебя принципиальных возражений против издания в Москве журнальчика про кошечек...? Ах ты, шалун. (*Поднимает брови*). Ладно, до связи. (*Задумывается*).

О н а . Ну, и как, Фрол Северьянович?

С п о н с о р . Да так себе, признаться, not at all... Ах, да. Главный редактор не возражает. Теперь приглашаю вас, Фаина Витасовна, на деловой обед: надо обсудить условия контракта, а там я вам и аванс лично выдам. Однако хорошо бы поторопиться: моё время ограничено.

О н а (*вспархивает со скамейки, берёт возвращенный Спонсором мобильник*). Конечно, конечно... (*Ему*). А ты посиди здесь. Ещё увидимся.

О н . Королева в восхищении!

Картина 3. Ад

Декорации те же, что в первой картине. Комната залита красным компотом заката, который к финалу пьесы густеет и меркнет.

Дверь открывается, и в комнату заползает О н . Добирается до своего излюбленного места и усаживается там, со вздохом облегчения вытянув ноги. Пауза.

О н (*открывает глаза*). Уф... Ничего себе погулял! «Ещё увидимся, ещё увидимся»... Такая же глупышка, как и в молодости. Тогда – помнится же мне всякая чушь! – чуть ли не на этом самом месте пристал будто бы к Фане художник, не первой молодости, надо думать. Уговаривал пойти с ним в мастерскую позировать для портрета, а потом мужику надоело, и вдруг как заорет: «Да за что мне это наказание – возиться со всякими красивыми дурами?!». А она – нет, чтобы обрадоваться, что виртуоз кисти, профессиональный, можно сказать, ценитель назвал красавицей, так она обиделась на «дуру». И не пошла в мастерскую. Или пошла, а мне не сказала? Зато сейчас побежала, стоило этому потрепанному шизофренику пальцем поманить. (*Смотрит на гвоздь, где висел галстук, кривится*). И зачем только я его нацепил? Неужели хотел произвести впечатление на Фаню? Вот ведь идиот... Нет, не совсем еще идиот, если додумался сейчас до такого...

Подползает к оставленному Е ю чемодану, после некоторой возни отщёлкивает замок, вытаскивает две

перевязанные верёвкой подшивки газеты небольшого формата, любовно ставит их на полку. Потом извлекает два платья, одно длинное романтическое, второе мини, оба Ей явно не по возрасту, затем кружевные трусики, затем лифчик. Всё это развешивает на книжной полке. Снова опускается на пол, размещается напротив лифчика.

Он. Нет, у неё были куда меньшие, и очень обе миленькие, две этакie грушки... Но если даже собачка во время пути могла тра-та-та подрасти?

Слышен шум в коридоре, недовольный голос Кольки с младенцем. Стук в дверь. Сразу же входит Третий, на шее у него уже известный зрителю галстук, отвратительно завязанный. Пауза.

Он. Войдите! *(Возвращается на своё привычное место, садится).*

Третий. Благодарствую, но я уже... Ты что ж, отец, подслеповат?

Он. А это не вы ли заняли у меня очки, уважаемый?

Третий. Понятно, очки звездой накрылись. Так ты, что ж, сторожишь тут жилплощадь? И даже с бабой? *(Тычет пальцем в трусики).* Неплохо устроился, отец.

Он *(чопорно)*. Дама у меня гостит.

Третий *(достает бумажку, смотрит в неё подозрительно)*. Уж не Аденоида ли Никоновна случаем?

Он *(пожимает плечами)*. А вам что за дело? Фаина Витольдовна, допустим.

Третий. А я до Аденоиды Никоновны. По объявлению. Желательно мне посмотреть выставленную на продажу жилплощадь.

Он. Ошиблись, уважаемый. Эта жилплощадь принадлежит мне. Как видите, я здесь живу.

Третий (*рассудительно*). Лежишь ты здесь, доходишь. Это разные вещи, отец. А жилплощадь та самая. Ведь тута (*заглядывает в бумажку*) 14 метров?

Он. Что верно, то верно. Четырнадцать квадратных метров. Только эта комната не продаётся.

Третий. Ты только не волнуйся, отец. Мне сейчас, главное, посмотреть. (*Шаркает ногой по полу*). А туточки что? По звуку слышу, что дерево, не линолеум. А не паркет ли?

Он. Паркет. Самый настоящий паркет. Если потереть мокрой тряпкой, он сразу вырисовывается. (*Присматривается к Третьему*). А на вас не мой ли галстук? Отвечайте немедленно!

Третий. Галстук? Этот вот галстук? (*Берёт за край, рассматривает с удивлением*). Он с российским знаменем цвета одного. Отчего ж именно твой, отец? Разве твоя клёвая удавка была единственной в мире?

Он. Да, пожалуй, я владел не таким уж уникамом... У меня галстук на улице сняли, то есть заняли... Знаете ли, точно такой же, как на вас. Мне отсюда плохо видно, да и завязан ваш галстук как-то странно.

Третий. Вот видишь, отец. А ты говорил – твой. (*Подходит к полке, присматривается*). А это ты своими руками, наверное? Хвалю. Топором вырубил, что ли? (*Снимает с полки и взвешивает на руке одну из подшивок*). Вижу, и ты, отец, завел свой бизнес. Макулатуру сдаешь?

Он. Это не моё. Поставьте на место.

Третий. Будь спок. (*Ставит пачку на место, снимает вторую*). Мне бы только поглядеть, нет ли за ними в стене дыр. А где книжки? Сдал во «Вторсырьё»? Молодец. Книжки только засоряют вот это (*показывает себе на голову*), к тому ж загромождают жилплощадь и

собирают пыль. Я всегда говорил, что пары-тройки книжек в доме достаточно.

Он. И ошибались.

Третий. Да не стесняйся ты, отец! Правильно сделал. А я знаю библиотеку, которую вот-вот вытурят из помещения. Ребята замыслили там шашлычную устроить. То-то будет макулатуры! Могу, пожалуй, дать адресок. (*Отводит в сторону подол платья. Горестно*). Чужало моё сердце, обои оторваны.

Он. Руками не трогать. Я же сказал – не моё!

Третий. Ну, ничего, ничего, главное – обойтись без штукатурных работ. Евроремонт – это, само собою, вещь, вот только кусается. (*Снимает с полки за бретельку лифчик*). Однако же и ваты сюда напхано! Не иначе, как для тепла.

Он. Не трогать грязными руками!

Третий (*подозрительно воззрился на Него*). А, может, эти шмотки как раз твои? А ты в них подрабатываешь? Дескать, старухе больше подадут?

Он. Ничего себе! Я не по тому делу. А вы на меня посмотрите! Очки наденьте! (*Пауза*). Очки.

Третий. Ну, посмотрел, и что? Старуха выходит отменно безобразная. А очки? Зачем мне сейчас очки? Мне они потребовались, чтобы читать объявления в бесплатной газете. Уж больно мелкими буквами печатают.

Он. А вы сравните мои ножищи с туфельками, что стоят на нижней полке. Ничего себе инсинуации!

Третий (*достаёт из кармана и цепляет себе на нос очки, рассматривает туфлю на высоком каблук*). На носке лак потрескался. Да, пожалуй... Выходит, скучный ты человек, отец. И вот я к тебе присмотрелся, и скажу теперь, ты уж извини, что и галстук тебе ни к чему.

Он. Вообще-то мне галстук нужен для визита в государственное учреждение. *(Вздыхает)*. А может быть, мне ещё рано туда.

Третий. Куда это?

Он. Я же сказал – в ЗАГС.

Третий. При чем тут ЗАГС?

Он. Там регистрируют смерти, а я еще жив. Я нахожусь в гражданском состоянии «живой», и вовсе не хочу регистрироваться, ещё не созрел, быть может, позже... Я пока не готов переходить в иное гражданское состояние. О, жизнь меня научила не торопиться в таких делах! Научила на этих, знаете, переходах из состояния «холост» или «разведен» в состояние «женат».

Третий *(смеётся, показывает на Него пальцем)*. Так ты решил, что мертвяков в ЗАГС приволакивают? Да нет, для них устроены особые отделы. И правильно, неловко же пугать брачующихся. *(Приосанивается)*. Я, может, тоже вот-вот... И не нужно там труп предъявлять, достаточно отдать справку. Медбрат какой-нибудь напишет справку – и кранты.

Он. Для медбрата не стоит, пожалуй, надевать галстук.

Третий. Вот и я то же самое говорю. *(Достаёт из кармана вырезку, смотрит в неё)*. «Балк. в натур». Что балкон, я усёк, а что там дальше?

Он. Наверное, «в натуральном виде», то есть неостекленный.

Третий. Пойти посмотреть.

Он. Очень не советую. *(Шёпотом)*. Постреливают.

Третий. Если малец какой из воздушки, то я его вычислю и приструню. Перво-наперво – на родителя его выйти...

Он. Да нет, какой уж там малец с духовым ружьем... В доме напротив нервные жильцы живут. Потому что нервная служба у них. (*Подзывает Третьего и шепчет на ухо. Громче*). Можете сами посмотреть на дырки в бетоне. Только ползком.

Третий. Нет уж, благодарствуйте... На этот случай, с балконом, буду скидки просить. А тебе, отец, спасибо, что предупредил.

Он. Да пожалуйста. Я, честно говоря, боялся, что вы мои очки разобьёте, если упадете на балконе. А уж если свалитесь вниз, очкам полная погибель. Тогда и очечник пришлось бы выбросить.

Третий. Ага, полный аллес капут. Ну, я пошел до Аденоиды Никоновны. (*Требовательно*). Это куда?

Он. Очень просто. В конце кухни есть дверь. Колотите в неё, пока не посинеете, авось откроет.

Третий выходит. Во время последующих реплик слышен настойчивый стук.

Он. Похоже, я разучился разговаривать с народом. (*Задрёмывает*).

Пауза. К стуку за дверью присоединяются дополнительные скрежеты и взвизги. Дверь приоткрывается, и появляется Она со связкой ключей.

Она. О! Ты уже здесь, шустряк! А как ты поднялся по лестнице – у тебя ж колени ни к чёрту?

Он (*цепляясь за полку, поднимается на ноги*). Мир не без добрых людей, Фаня.

Она. Не этот ли добрый человек сейчас стучится в дверь к Аделаиде Никоновне?

Он. Этот? Добрый человек из Подмосковья? Вопрос философский, пожалуй... Нет, не он.

Она (*выходит ближе к авансцене, смотрит в сторону полки, всплескивает руками*). Здорово! Да ты молодец! Есть ещё порох в пороховницах! Да и проветрятся тряпки, а то чемодан провонял почему-то столярным клеем... Отлично!

Он. Так ты не сердишься? Спасибо на добром слове... А не будет ли мне позволено сесть?

Она. Конечно, садись. Тоже мне развел цирлих-манирлих... А вот это (*показывает на трусики*) я бы перевесила левее. И вот что мне пришло сейчас в голову: стринги какие-нибудь на их месте совсем не смотрелись бы – то ли дело романтические кружева!

Он. Угу. Впрочем, очки мне так и не удалось вернуть.

Она. А почему бюст не повесил? (*Снимает с полки, прикидывает, куда бы его пристроить, вешает на то же место, что раньше Он*). Ты что же – его на себя примерял?

Он. И ты туда же. Да нет, конечно. Скажи лучше, подписала ли ты контракт?

Вместо ответа Она с размаху садится на чемодан. Тот продавливается под Нею до пола. Она падает на спину, задирая ноги, потом снова усаживается на продавленный чемодан.

Она. Уж лучше так, чем на грязном полу.

Он (*сдерживая смех*). Прости, бога ради. Так ты подписала контракт?

Она (*после паузы. Смеётся*). Да нет, конечно. Это было бы такое же..., скажем так, неестественное явление, как мой лифчик на твоей впалой груди.

Он. Мерси за комплиман.

Она. Почему ты так на меня смотришь? (*Задорно*). Да, я повелась! Да, я поверила, что сказочно выиграла в

лотерею! Но не надолго же. На полчаса, не больше... До контракта дело не дошло.

Он. Прими во внимание, что я тебе ничего не говорил...

Она. Раз ты такой деликатный, мог бы и не спрашивать. Это между прочим. *(Хихикает)*. Да ладно, мне и самой смешно. Пошли мы в ресторан обсуждать так называемый контракт. Этот тип больше рассказывал про какой-то санаторий, откуда, как я поняла, его выписали раньше срока, потом дал мне кредитную карточку с авансом на ней. Я еще подумала – вот ведь как теперь в столице рассчитываются! Прогресс! А он пожал мне руку и ушел. Расплачиваться, стало быть, мне. Я не в обиде – как ни как заинтересованная сторона. Подзываю официанта, спрашиваю, принимают ли здесь кредитные карточки. Говорит, что принимают. Даю эту карточку официанту, тот зовет метрдотеля, и они начинают оба давиться смехом. Спрашиваю: в чём дело? Официант говорит, что это проездной на метро. Тут уж я перестала фразериться и достала из сумочки очки – и в самом деле проездной, на февраль позапрошлого года! Слава богу, что Полуэктов заказывал вегетарианские блюда, да ещё, чтобы только в истинно русском стиле – из-за чего даже накричал на официанта...

Он. А что это был за ресторан?

Она. «Арагви».

Он. Ты уверена?

Она. Да кто его знает... Когда заходили, я была без очков.

Он. И тебе удалось рассчитаться?

Она. Рассчиталась, конечно. Я же не такая дура, чтобы без денег в Москву приезжать! Дело ведь вовсе не в том, что он меня разыграл с авансом и заставил заплатить за обед. Ты только не смейся... Остаётся

ещё маленький шанс, что мне действительно удастся устроиться в издательство.

Он . Гм.

Она (*достаёт фирменную ресторанный салфетку с крупно написанным на ней телефоном*). Вот, Полуэктов оставил свой рабочий телефон. Фирма называется «Русь святая». Телефон по-прежнему на кухне?

Он . Да нет. Колька с младенцем давно уже перетацил к себе. Я не возражал, потому что тарифы мобильной связи были совсем низкими. Да и не плачу я за стационарный, а Кольку на халтурки вызванивают. В любое время дня и ночи.

Она . И что за манера всё на свете объяснять? И в самом деле, звякну по мобилке. В ней, на крайний случай, и телефон главного редактора остался. (*Набирает номер, ждёт*). Добрый день! Мне Полуэктова, пожалуйста... Как это – какого? Фрола Северьяновича!... А разве это не издательство «Русь святая» холдинга «Северкнига»?... Извините, я, видимо, перепутала номера... Да, да, я понимаю... Почти уже вылечился, говорите... Да, спасибо... До свидания.

Он . А главному редактору будешь звонить?

Она (*чуть не плачет*). Зачем? Наверняка такой же психбольной.

Он (*отворачивается, стараясь не рассмеяться*). Так этот деятель удрал из психушки?

Она . Смейся, смейся – заслужила! Ещё хуже, чем удрал. Этих психов просто распустили по домам, потому что не могли дольше кормить из-за недостаточного финансирования. Девка у телефона сказала даже, что сестрички уже скучают по Фролу Северьяновичу. Надо же!

Он . Не хочешь ли подъехать туда, чтобы лично и уже окончательно выяснить?

Она . Издеваешься надо мной? Самой туда ехать? Не знаю, как у тебя, а у меня ещё с прежних времен осталось такое представление: не суйся в психушку по доброй воле, а то в ней, не дай бог, и останешься.

Он . Разумно. Впрочем, во всей этой истории есть и хорошая сторона: ты хоть пообедала.

Она . Подумаешь, проблему нашёл. *(Прислушивается)*. А ведь стук прекратился...

Как бы в ответ стучит одна дверь, за нею вторая. В комнату врывается Колька с младенцем .

Колька с младенцем . Я сколько раз просил тебя не стучать, сосед! Прощения просим, мадам, но это и вас касается!

Он . Да это не мы! Это посетитель к Аделаиде Никоновне. Мужик такой в кепке и в моем галстуке. Я его прошу не стучать, а он хоть бы хны.

Колька с младенцем . Понял. Стучите, значит, не вы, а тот поц в кепке. Лады, замётано. *(Пауза)*. Я, вообще-то, несколько по другому делу. *(Пауза. Укоризненно)*. Сосед, мы же договорились...

Он . О твоей супруге? Конечно, конечно. И я больше ни сном, ни духом...

Колька с младенцем . Сосед, лучше бы тебе не злить меня. Мы договорились насчёт моих кастрюль.

Он . А... Однако, насколько мне помнится, насчёт кастрюль мы не договаривались.

Колька с младенцем . Лады, не договаривались. Однако я тыщу раз хотел подойти к тебе и договориться. Потом смотрю – ты вроде и без того наш договор выполняешь, я и не подошёл.

Он. Не лучше ли нам закончить этот разговор завтра утром? *(Делает большие глаза, усиленно гримасничает, стараясь показать на Неё)*.

Колька с младенцем. А вот именно из-за мадам я и пришёл! Я же помалкивал, когда в кастрюле с борщом уровень жидкости понижался на семь миллиметров. Я же не зверь, понимаю... Тем более, что ты в кастрюлю руками не лазил, а отливал в свою мисочку, а мисочку после мыл. Я проверял.

Она. О!

Колька с младенцем. Мне ведь совсем не нужно было, чтобы мой сосед по коммуналке помер с голодухи. Нифига себе реклама для сантехника высшей квалификации! И чтобы ты тут, рядом с моим младенцем, валялся неделями дохл... то бишь неживой. Я даже у твоего засова *(показывает на дверь)* шурупы вывернул и засов забрал. Хотя теперь... *(Оценивающе разглядывает Её и Его)*. Может, теперь снова прикрутить?

Он. Это было хамство – откручивать! И вовсе не потому ты открутил засов!

Колька с младенцем. Молчать, доходяга! О моей Машке только я имею право высказываться!

Она. Вам бы лучше, мальчики, вернуться к шести миллиметрам. Уж очень интересно!

Колька с младенцем. Интересно ей? А кто сегодня сожрал две мои тефтели?

Она *(подпрыгивает)*. Что?

Колька с младенцем. Я сегодня на обед заделал диетические тефтели из курятины. Взял в универсаме три куриных грудки, перекрутил на кухонном комбайне...

Он. *(Ей)*. Страшный визг, между прочим. Допотопная машина.

Колька с младенцем. А у тебя и такой нет, сосед. И ты мне зубы не заговаривай! Слепил я двадцать тефтелек. А когда засыпал в кипяток, пересчитал снова. Вышло двадцать две. Только что вытащил их из бульона, а их только восемнадцать, гроб-гардероб! Я дважды пересчитал! Я же не зверь, понимаю, когда ты берёшь одну-две, однако кормить моими тефтелями ещё и бабу – вот где настоящее хамство!

Он (*смотрит в пол, медленно*). Опозорил ты меня перед человеком, Коля. И совершенно безвинно, ей-богу. Я выходил на прогулку, только что приполз. И даже ещё толком не думал об обеде. А Фаина Витольдовна обедала в ресторане.

Колька с младенцем. А в каком, дозволейте полюбопытствовать?

Он
Она } (вместе) В «Арагви».

Колька с младенцем. Живут же люди...

Она. Хоть мы и не ели, но в качестве компенсации... Я утром купила два больших чизбургера, один съела – не возьмете ли второй?

Колька с младенцем. Благодарствуйте, фаст-фудов не употребляем... А кто же тогда схавал мои тефтельки?

Он. Облыжно я не стал бы никого обвинять, но... На кухне околачивался тот тип в кепке. Уж если он позарился на мои поцарапанные очки...

Колька с младенцем. Точно!

Она. И я бы посоветовала вам, Коля, заново перекипятить тефтели.

Колька с младенцем (*думая о другом*). А это для чего?

Она. Ведь тот парень уж точно доставал из кастрюли руками.

Колька с младенцем. Ну и поц! Попрыгает теперь у меня. *(Выбегает)*.

Раздается басовитый плач младенца.

Он *(наставляет ухо)*. Не по расписанию что-то. Неужто приболел?

Она. Он нервничает, бедняжка. У него, небось, паранормальная связь с папашей.

Стук дверей из коридора. За ним другой. Заходит, не постучав, Третий.

Третий. Можно? Не помешаю, случаем?

Она *(чопорно)*. Вы уже вошли. Что у вас?

Третий. У меня галстук ейный и очки. *(Стаскивает с шеи галстук, приспособливает его на полке рядом с бюстгальтером, подходит к Нему и кладет на колени очки)*. Бери взад, отец. Мне теперь без надобности.

Он. Что так?

Третий. А так, что мне теперь без надобности. Пролетел я, мужик, будто фанера над Парижем. Этот твой Аденоида Никоновна такую цену заломил, что где уж нам с тобой! И никакого торгу, как оно меж людьми водится. Упёрся, словно поперёк горла. Будто и не слышал никогда, что квартиры подешевели. Думал я, что у меня деньжищи, что действительно подсобрал, вкальывая да изворачиваясь, а для этого чмо – всё одно, что гривенник.

Он. Успокойтесь, свет не сошёлся клином на Аделаиде Никоновне.

Третий. Нет, если уж такой убитой комнаты не сумел сторговать, где уж мне? Со свиным, как

говорится, рылом... Видно, суждено мне жить до смерти в домишках с дощатой будкой в конце двора, и чтобы до электрички пятнадцать минут. Нет, чтобы до «Елисеева» десять минут, как тучочки!

Она. И до Театра имени Ермоловой совсем недалеко.

Третий. Вот. А теперь прощай, моя байдарка, *(поёт)* проща-а-ай, мечта!

Он. Зато хоть там воздух почище, и природа не отравлена.

Третий. Где это, отец?

Он. В области. В Подмосковье.

Третий. А я этого воздуха надышался по завязку. Рядом с химзаводом. Однако засиделся я у вас тут, пора и честь знать. Прощевайте. Извиняюсь, коли чего не так.

Он *(критически рассматривает залапанные очки, достает очечник, прячет их в него)*. Да ладно уже, замнём для ясности. До свидания.

Она. Прощайте. *(Третий выходит)*. Натуральный человек предместья. Помнишь, как мы с тобой *(вздыхает)* читали Багрицкого?

За дверью крик Кольки с младенцем: «Так вот ты где!». Звуки начавшейся драки.

Он. То есть мещанин, не желающий внимать революционной романтике? А по мне, так слишком уж натуральный. Не переигрывает ли?

Третий влетает в комнату, своим телом распахивая дверь, скользит животом по паркету, едва не упирается носом в туфлю Её, сидящей на чемодане.

Третий. Прощения просим. *(Встаёт, отряхивается, выбегает)*.

Она (*поднимается с чемодана, подходит ближе к Нему*). Быть может, ты и прав. Однако... Нет, неужели твои дела так плохи?

Он. Увы, Фаня. Впрочем, о пенсии я тебе рассказывал. А все сбережения я бухнул в покупку этой комнаты. (*В дверь заглядывает Третий, бросает на чемодан обрывки клеенчатого фартука, исчезает, выволоченный за шиворот. Звуки драки*). Хорошо ещё, что мой галстук успел вернуть. А ведь было здесь так тихо, мирно. Боюсь, Аделаиде Никоновне не понравится.

С грохотом влетает Колька с младенцем, ногой в домашнем тапке попадает с разбегу в чемодан, и так, с чемоданом на ноге, возвращается в коридор.

Она (*подбоченивается*). Нет, это уже чересчур! И как только ты такое здесь терпишь? (*Выходит, возвращается несколько растрепанной, однако с чемоданом*).

Он (*разводит руками*). Мне и самому неловко. Кстати, о Багрицком... Малая серия «Библиотеки поэта», в темно-синем тканевом переплёте. Стояла вон там. (*Показывает на трусики*). Ты, конечно, не помнишь этого, но твоя смуглая, но еще не загорелая кожа в вырезе халатика... О, кажется, додрались!

Действительно, хлопает входная дверь. Наступает относительная тишина.

Колька с младенцем (*входит, осматривается*). У него синяк под глазом, рубашка выбилась из штанов. В руках обрывки фартука). Где-то тут ещё оставался кусок... (*Поднимает с полу обрывок*). И что я теперь Машке скажу? (*Выходит*).

Он. Да уж, не лучшая атмосфера для сентиментальных воспоминаний.

Она. Знаешь, мне как-то расхотелось поселиться здесь. И что мне теперь делать с чемоданом? Разве верёвочкой подвязать? У тебя есть верёвочка?

Он. купишь новый. Ты же при деньгах.

Пауза. Стук в дверь.

Он. }
Она. } (Переглядываются. Вместе) Войдите!

Входит Аделаида Никоновна, позванивая связкой ключей на шее.

Аделаида Никоновна (*начинает тихо*). Я внук (*громко*) Аделаиды Никоновны. (*Пауза*). Не надо приветствий! Рукопожатиями переносятся вирусы.

Она (*задорно*). А я была знакома с настоящей Аделаидой Никоновной. Я снимала у неё эту комнату.

Аделаида Никоновна (*поднимает брови*). Да? Впрочем, неважно. (*Ему*). Когда вы становились ко мне на квартиру, вы не предупреждали меня о том, что будете шуметь, устраивать драки, развратничать среди бела дня (*показывает на трусики*), мешать своими криками другим жильцам. Посему я вынужден отказать вам от квартиры.

Он. Что я слышу? Во-первых, это не я, а младенец. Во-вторых, я ведь купил у вас эту комнату, Аделаида Никоновна.

Аделаида Никоновна. Что за бред? С чего вы это взяли? Не спорю, что вы заплатили мне за пару лет вперёд, но о продаже речь не шла.

Он. Господи, да мы же подписали контракт, Аделаида Никоновна.

Она. А и в самом деле! Ты просто покажи этому утюгу контракт.

Аделаида Никоновна. Если вы надеетесь, дамочка, что после этих слов я продам вам комнату, то я

очень удивляюсь. Бросьте представлять себе! И почему, собственно, уют?

О н а . Да так, похожи. А ты, Костик, тащи-ка сюда контракт.

О н . Отстань! Где я тебе его возьму? Он лежал в том письменном столе, который... Я же объяснял, что всю мебель вывезли за долг.

А д е л а и д а Н и к о н о в н а . Вот видите, и я о том же.

О н . А вы, Аделаида Никоновна, не могли бы сходить за своим экземпляром?

А д е л а и д а Н и к о н о в н а . Нет нужды. Я прекрасно помню, что это контракт на аренду. У вас по закону ещё месяц, но за него уже нужно заплатить.

О н а . А сколько?

А д е л а и д а Н и к о н о в н а . Коммерческая тайна. *(Подходит к Н е м у , шепчет на ухо).*

О н хватается за сердце и ещё глубже оседает на полу.

О н а . Ничего себе коммерция!

А д е л а и д а Н и к о н о в н а . На оплату даю три дня. До свидания.

О н а . А едва ли мы с вами ещё увидимся. Мне что-то расхотелось возвращаться в эту комнату. Жить рядом с таким бессовестным жлобом...

А д е л а и д а Н и к о н о в н а *(останавливается уже у двери)*. Это я-то бессовестный жлоб? Сразу видно, что вы страшно далеки от менеджмента, не знаете, как дела делаются. Если и я хочу в этом году отдохнуть на Канарах, то должен ведь для этого подсутиться? И есть ли какая разница между нефтью и жилплощадью? А насчет совести... Спросите своего престарелого хахаля, кого именно он пиарил в той фирме, откуда его сократили. *(Уходит)*.

О н а . И что ты на это ответишь?

О н открывает рот и довольно долго о чем-то беззвучно говорит, жестикулируя. Наконец, останавливается, фиксируя на Н е й выжидательный взгляд.

О н а . Угу. Значит, самому тебе совестно.

О н . А не врезать ли мне в дверь новый замок?
(Достаёт из кармана очки и начинает их вытирать
полой рубашки).

О н а . Твоё чувство юмора явно деградирует,
весельчак. Нет уж, давай я лучше отвезу тебя в Саки.
Там тебе колени намажут чёрной грязью. К тому же
климатический курорт. Подходящее место для мужиков
твоего возраста. А потом к моим в Ялту.

О н . Это в тот самый чулан под лестницей?

О н а смущена, смотрит в сторону. О н быстро
надевает очки и присматривается к Н е й . Тяжело вздыхает.

О н а . Зато бесплатно. Гарантирую! Вместо благо-
дарности будешь мне помогать. Я намерена официаль-
но развестись с Игорем, скачать с него отступные и из-
давать газету для геев. Кажется, эта ниша свободна.

О н . Для геев? Ну, ну.

О н а (задорно). А что ты имеешь против геев?

О н . Значит, ты при деньгах. Не обманываешь
меня? Ты уверена, Фаня, что нам не нужно снова вы-
йти, поискать нотариуса и оформить тебя наследницей
моей неполученной пенсии?

О н а (машет рукой). Не нужно. А насчет геев это
ты напрасно, мещанин!

О н . Выйду-ка я, пожалуй, на балкон подышать
свежим воздухом.

О н а . Смотри только, чтобы тебя не продуло.

По-прежнему в очках, Он подползает к полке, снимает галстук, развязывает его и тщательно завязывает уже у себя на шее. Гладит дерево полки ладонью. Ползёт к балкону, подтягивается на дверной ручке, встаёт на ноги, оставляет на подоконнике ключи. Поворачивается к Н е й .

Он. Тебе на это, Фаня, лучше не смотреть.
(Притворяет за собой балконные двери).

Пауза. Слышен короткий шлепок пули, попавшей в цель, и приглушенный винтовочный выстрел.

Занавес

2009 г., доработана в 2010 г.





прохладной тени повешенного

Комедия в двух действиях



Действующие лица

Борис Фомич – бездельник лет под 60, образование высшее техническое, одет со столичной небрежной элегантностью: сшитый на заказ светлый костюм, летние полуботинки по моде, на шее тёмный шёлковый платок.

Нелли Аверкиевна – его супруга, новая владелица замка в Карпатах. Дама с незаконченным высшим художественным образованием, выглядит лет на 40, упакована скорее светски, то бишь на момент постановки гламурно, а вот манеры раздражают неуловимой поначалу вульгарностью.

Эдуард Опанасович Волох – провинциальный художник, бывший заведующий музеем «Замок», бывший владелец замка. Черноус, в чёрном костюме немодного покроя и грязной белой рубашке без галстука. Средних лет.

Надя – блондинка неопределенного возраста, претендующая на должность экскурсовода. Одета из «бутика» на улице, прилегающей к Тверской.

Семён Павлович, он же Сенька – зять Бориса Фомича, беглый миллионер. Одет дорого, однако небрит, помят и неумыт, почему и выглядит старше своих 50-ти с лишним лет.

Повешенный – отдалённо похож на Волоха.
Вовсе без слов.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В 1-ом явлении сцена представляет собою дорогу через лес. Борис Фомич и Нелли сидят в машине, ухоженном «жуке» 50-х годов, с поднятым верхом. В конце 2-ого явления справа появляется маленькое изображение замка (будто фото из рекламного проспекта), которое постепенно заменяется на такие же большего размера.

Явление 1

Борис Фомич и Нелли

Нелли (*окинув мужа невидящим взглядом*). Это и есть тот самый твой замок?

Борис Фомич (*обиженным тоном*). Тот самый мой, точнее твой, мать, и действительно замок. В договоре купли-продажи недвижимости так, во всяком случае, записано... Нелли!

Нелли. Что там ещё опять?

Борис Фомич (*ворчливо*). Вот ты скажи мне, мать, когда ты научишься ставить машину на ручник? Это делают совершенно автоматически: остановился – и затянул ручник, остановился – и на ручник. Для водителя это всё едино, что пописать под колесо.

Нелли (*послушно затягивает ручной тормоз*). И как ты это себе представляешь, пупсик?

Борис Фомич. Что я представляю?

Нелли (*с несколько тяжеловесным кокетством*). Меня – писающей под колесо?

Борис Фомич (*смущённо, с хмурой улыбкой*). Мать, ты уж извини... Знаешь ведь, что я тебя люблю неизменно. Я...

Нелли (*нетерпеливо перебивает*). Мне совершенно не хочется, пупсик, выслушивать сейчас твои признания. И по двум, даже и по трём причинам. Первая: ты опять начнёшь говорить, что делал, мол, всё, чтобы я почувствовала себя с тобою счастливой. А у меня с такими твоими заявлениями связываются довольно-таки неприятные воспоминания. О том, как мы проскучали Новый год у того толстого идиота и его подруги жизни – бледной такой потаскушки, помнишь?

Борис Фомич. Начинаю припоминать... А! Нам некуда было тогда податься. Меня после развода... Вот странно! И в самом деле, странно мне теперь, что был женат и раньше, до тебя. Меня осуждали все общие с Тamarкой друзья и знакомые, а ты не хотела вводить меня в твой богемный круг, в тусовку этих твоих пьяных или крейзанутых художников...

Нелли. Естественно, не хотела. Ты и так бесился от ревности, а дернув под ёлочкой, принялся бы выяснять, с кем именно в той компании у меня были романы и кто именно из мужиков сделал мне мою Лорочку!

Борис Фомич (*недоверчиво*). Неужели я этим действительно тогда интересовался?

Нелли. Еще как интересовался! Ты ведь меня ужасно ревновал. А я кантовалась в Музее истории чего-то-там вместе с той бледной немочью, Зилей...

Борис Фомич. Да, с Сильвой... (*Мечтательно*). Прелестное было создание. Белое-белое лицо, голубые глаза немислимой глубины, иссиня-черные волосы...

Нелли. А ты на неё и запал. Впрочем, у тебя на тот Новый год была другая проблема... Ты всю ночь

страдал об нечего выпить... Мы должны были принести икру и торт, а они оказались оба непьющими. То есть Зилия на корпоративных вечеринках нормально закладывала, а дома ни-ни. Ты уговорил полбутылки дешёвой водки, которую они держали на случай сантехника, а потом всё поглядывал тоскливо на хозяйский одеколон...

Борис Фомич. Враньё это, мать. Насчет одеколона. И для тебя (*вздыхает*), для тебя тогда ещё не было проблемой... А почему это я не выскочил за бухлом?

Нелли. Ты забыл, когда это было? Водку доставали по благу или стояли за нею в огромных очередях. Кроме того, у нас не было еще тачки. Метро уже не работало, а хата у Зили с мужем у чёрта на куличках, в новостройке... Да и башли, небось, все потратили на икру (тоже ведь достать требовалось!) и тортик.

Борис Фомич. Свежо предание, а верится хреново... Впрочем, трудные времена для нас теперь, кажется, вернулись. А кстати, почему всё-таки ты вспомнила о том занудном Новом годе?

Нелли. И в самом деле... Ах, да, ты сказанул, что пытался сделать меня счастливой – прямо теми же словами выдал, как тот толстый паук. Расселся в кресле, пузо висит, ноги кривые, волосатые...

Борис Фомич (*поднимает бровь, медленно, с расстановкой*). А когда это ты успела разглядеть, что ноги кривые и волосатые? Нифига себе дела открываются...

Нелли (*искоса довольно поглядывает на мужа*). Да ты у меня прямо порох! А тот тип в шортах был! Очень нужен был мне тот зануда, ещё чего!

Борис Фомич. В шортах? На Новый год?!

Нелли. И верно ведь, пупсик... Тьфу ты, в шортах он на видео был. Весь вечер он нам показывал

на видеике, как зажигал в Индии по турпутёвке, а там он в каждом кадре. И в шортах – по причине жаркого климата. И вот...

Борис Фомич. Нет, мать, не на видеике. Тогда видеики были даже в Москве наперечёт, а они бедновато жили, квартирка-то однокомнатная. Слайды Зилин муж показывал, я уже вспомнил. Слайды, и сам же про каждый нудил. Чуть не заснул я тогда...

Нелли. И вот, когда всё было съедено, кофе (тот еще кофе!) выпит, картинки на стене закончились, а смыться не получалось, потому что метро не ходило, пошли за столом великосветские беседы. Вот тогда-то этот пузан отвратный раскорячился в кресле и заявляет, как сейчас помню: «Да, я умею сделать женщину счастливой. Мне известен секрет рая и в шалаше. Милая, ты ведь счастлива со мной?» Ты, пупсик, от смеха чуть не подавился, ладошкой прикрылся и за меня спрятался. А этой сучке бледнолицей, раскрашенной под Эльвиру, покорительницу тьмы, безумно стыдно стало за мужа-идиота – а что поделаешь? Ресницы опустила, потупилась, на лице имея выражение полнейшей невинности, и выдает: «Конечно же, я счастлива, дорогой, да ты и сам знаешь».

Борис Фомич (*ухмыляется*). И в самом деле прикольно. Вспомнил! А через пару недель...

Нелли (*торопится рассказать первой*). А через месяц встречаю я Зилю на Вознесенской с Митьком, в двух шагах от его холостяцкой берлоги, идут, довольно такие, у Зили глазки сияют (ты понимаешь?), за ручки держатся... Пупсик, опять ты надулся, даже уже и не смешно! Митёк с нами в отделе работал, жил в двух шагах от музея – вот у него наши музейщики и собирались, потому что за выпивку на рабочем месте

тогда увольняли без разговоров. Странно как – было время, когда я боялась оказаться без работы.

Б о р и с Ф о м и ч *(безразлично)*. А любопытно, где они теперь.

Н е л л и . Где? Зиля в Израиль уехала.

Б о р и с Ф о м и ч . С кем – с Митьком?

Н е л л и *(мечтательно)*. Митёк? Он был человек лёгкий: волосики пышные такие, джинсики, маечка, улыбка вместо лица... Дунуло посильнее – и исчез навсегда. Не знаю, куда он делся... Нет, твоя Зиля уехала с мужем. С тем самым. Он ещё и здорово старше её был.

Б о р и с Ф о м и ч *(небрежно, задумавшись уже не о Зиле)*. Что можно рассматривать как победу иудейской морали.

Н е л л и . И вторая причина.

Б о р и с Ф о м и ч . Чего?

Н е л л и . Почему мне не понравился твой комплиман. *(Голосом человека, весьма серьезно воспринимающего собственное неодобрение чего бы то ни было)*. Нехорошо, что ты собрался объясняться мне в вечной любви этим своим нынешним обиженным, таким паскудным тоном. Ты же всегда был такой весёленький!

Б о р и с Ф о м и ч *(мрачно)*. А третья причина?

Н е л л и . Не морочь мне голову. Я хотела бы посмеяться над тем, как мы всегда говорили, что чужого нам не надо и что готовы довольствоваться малым. Я бы хотела посмеяться – и не могу. И не заметили мы, как заделались жлобами, пупсик ты мой, ныне печальный.

Б о р и с Ф о м и ч *(по-прежнему мрачно)*. Вот как? А я, мать, повторяю про себя: зять дал, зять взял. Я-то на Сеньку не в обиде.

Н е л л и *(задорно)*. Твой зять – прохиндей!

Борис Фомич (*скучно*). Нет, Сенька – твой зять, потому что Лорочка – твоя дочь.

Нелли. Нет, он твой зять – потому как твой задушевный приятель и собутыльник. А с Лорочкой он развёлся.

Борис Фомич (*скучно*). Нет, это она от него сбежала к другому миллионщику, помоложе – и попрличнее, потому что во втором поколении.

Нелли. Бóрис!

Борис Фомич (*кратко*). Хорошо, я согласен, что Сенька – это мой любимый зять. Однако прошу не забывать, что бедолага исчез. А ты знаешь, что когда такой человек пропадает, то вполне может объявиться в леске за МКАД, упакованным в полиэтиленовый мешок... Или в нескольких этих самых универсамовских пакетов.

Нелли (*почти сочувственно*). Тебе не удастся меня разжалобить, пупсик! Я твоего Сеньку лицезрела в таких скотских видах, что вполне могу себе представить почивающим на загородной свалке, и зубы рядом. Нет уж, этот ханыга исчез не так, чтобы голову в один пакет и под березу, а правую ногу с большей частью задницы – в другой пакет и в кусты... Не пугай меня такими страшилками, потому что одновременно с ним и наш общий счёт испарился...

Борис Фомич (*монотонно, нехотя, будто повторяет это уже много раз*). ... и мои акции, лежавшие где-то в фирме, исчезли...

Нелли (*точно так же*) ...и служебный «мерс» – вместе с симпатным шофером Володей – в неизвестном направлении...

Борис Фомич (*точно так же*). ...и моя непыльная должность члена правления, вместе с окладом, конечно...

Нелли (*точно так же*). ...и из особняка на Кисловке, записанного на твоего Сеньку, нас выставили новые хозяева...

Борис Фомич (*точно так же*). ... и оттого пришлось забить нашу собственную двухкомнатную испанской мебелью до самого потолка...

Нелли (*точно так же*). ... и довелось нам завывать: «Прощай, любимый город...» – вот ведь хренотень!

Борис Фомич (*точно так же*) ...да и то благодаря моей записке в «Фазенда-банке»...

Нелли (*нехорошо оживляется*). Это какая же ещё твоя записка, пупсик!?

Борис Фомич (*продолжает как ни в чём ни бывало*) ... и чем меня зацепило большее всего – что извещение, где выметайтесь с жилплощади, пришло на бланке ТОО «Эльдорадо». Это же надо – «Эльдорадо»! Устраивают себе Эльдорадо на наши денежки!

Нелли (*чеканит*). Я спрашивала о записке, Борис. Будь любезен ответить.

Борис Фомич (*докторальным тоном*). Ну, мать, я ведь, как деловой человек, не мог не предположить возможности..., что произойдет то, что произошло. И, естественно, завел особый счёт в другом, чужом банке, на котором откладывались мои индивидуальные заработки, гонорары...

Нелли (*подбоченясь*). Это откуда же у тебя, небокопителя, гонорары? На диванчике-то полёживая...

Борис Фомич. Господи, да за консультации же! Кстати, я и Сеньку консультировал.

Нелли. Это когда у тебя в кабинете запирались и гудели до утра? Когда про баб трепались? Когда жёнам косточки перемывали?

Борис Фомич. А ты никогда не слышала, как Кальман сочинял свои оперетты? Собирались его

приятели, и за бутылкой-другой коньячка...

Нелли. Ладно, я поняла. Просто ты перебрасывал деньги с вашего общего с Сенькой счёта.

Борис Фомич. Частично и перебрасывал. Признаю. А ты подумай, как бы иначе я смог презентовать тебе на прошлый день рождения этого коллекционного «жука»? А в этом году, на Международный день 8 марта, на какие шиши я подарил бы тебе этот замок (показывает подбородком), когда ты чуть не уписалась от восторга, найдя его описание в «Недвижимости»? Не будь этого счёта, нам пришлось бы свалить мой итальянский кабинет и твою испанскую гостиную прямо во дворе, у мусорного контейнера.

Нелли (*неохотно*). Ну, прости, пупсик. Раз в год и ты бываешь прав. (*Решает перевести разговор*). Вот мы болтали, а я одним глазом всё на наш замок поглядывала. Ты знаешь, он такой же, как на проспекте – так что, по крайней мере, фотограф не соврал.

Борис Фомич. Да, неплохо, что он вообще существует. Это как-то греет. Ведь заочно могли и сарай какой-нибудь продать... Нет, в натуре замок: донжон с зубцами сверху и даже подъёмный мост через ров.

Нелли (*озабоченно*). Подъёмный мост, говоришь? А с каких это пор ты в замках петраешь?

Борис Фомич. Ага, подъёмный, как положено. Только он едва ли поднимается, мать. Да и не свалимся мы с него, не бойся. А насчет замков я перед отъездом в Инет заглянул.

Нелли. А я думала, ты из Интернета только порноролики скачиваешь...

Борис Фомич. Обижаешь, мать. Ну что, поедем принимать владения?

Нелли (*мечтательно*). Ты прав, это приятно, что замок – вон он, стоит под горой. А подъедем, так мож-

но будет древнюю шершавую стену и рукой потрогать. Тогда, наверное, и то правда, что в проспекте напечатано было. (*Закрыв глаза*). «...В нескольких километрах от ущелья, за которым начинались владения графа Дракулы».

Борис Фомич. Боюсь, что вранье. (*Оглядывается*). Настоящий Дракула, не киношный, был молдавским князем. Или румынским? Там как-то сложно...

Нелли. Сложно, пупсик. Был у меня знакомый молдаванин. Отличный мужик...

Борис Фомич. Да?!

Нелли. О Господи! Отличный мужик, говорю, всегда веселый и заводной, а присмотришься, так и пьян немножко. Вот только помыться иногда забывал. Так Иончик говорил, что Молдавия и Румыния одно и то же. А потом я ещё с одним молдаванином познакомилась, так тот, Мирчей его звали, напротив, на меня накричал, типа я его оскорбила: молдаване, мол, древняя самостоятельная нация, и Румынии никогда не удастся Молдавию поглотить. Он, впрочем, всегда и на всех обижался. Этот, впрочем, благоухал «Детским мылом» и из душа практически не вылезал. Станный был типчик, хотя и кандидат наук. Вроде как и гордился тем, что молдаванин, и обижался, что нам эта его гордость до лампочки, и стыдился своей национальности.

Борис Фомич (*мрачно*). У нас, славян, поголовно та же болезнь. Мы все и гордимся родиной, и стыдимся её. И очень бы мне хотелось, чтобы хотя бы то, чем гордимся, было достойно гордости цивилизованного человека.

Нелли (*с уважением*). Ты иногда бываешь такой умный, пупсик. Если бы погонял меня по философии

перед тем злосчастливым госэкзаменом, я, глядишь, и не завалилась бы. И получила бы диплом.

Борис Фомич. Уж лучше бы ты не хвалила меня, мать. Мне и без того с тобою хорошо, только не огорчала бы ты меня. Зачем ты вспомнила о банных обычаях этих балбесов?

Нелли (*раздражённо*). Ты сам виноват, Бóрис. Уж слишком нежно ты описывал потаскушку Зилу. Неужели ты тоже, как и Митёк, успел с нею перепихнуться? Впрочем, об этом тебя спрашивать бессмысленно.

Борис Фомич (*раздумчиво*). А я вот скажу тебе правду, мать. Как на духу, хоть и не дурак, наверное. Ты права, белокожая... (*вздыхает, кривится, старается пригасить свой лирический пафос*) эта жгучая брюнетка Сильва произвела на меня очень сильное впечатление. Вот только было оно скорее эстетическим, чем эротическим... Вот не знаю, поймешь ли ты меня...

Нелли. Ну, ты даешь, Бóрис! Что такое эстетическое, мне втолковали уже на первом курсе «Академки».

Борис Фомич. Вот этого я и опасался... (*После паузы*). Скажу тогда иначе: мне и в голову не приходило, что с нею можно, как ты сказала, перепихнуться. Всё едино, что с мраморной Венерой Милоской. (*Оживляется*). Вот ещё, к примеру. Разве тебя могли бы с этой, эротической стороны привлечь Эльвира, покорительница тьмы, миссис Адамс из «Семейки Адамсов» или Вампира?

Нелли. Какая еще Вампира?

Борис Фомич. Была такая теледива в Америке, судилась еще с Эльвирой за кражу сценического образа.

Нелли. И откуда ты о всём на свете узнаешь, пупсик?

Б о р и с Ф о м и ч (*вздыхнув*). В Инет заглядываю.

Н е л л и . Если как на духу, пупсик, то супруга Адамс просто домашняя черная курица, которая вечно таскает одно и то же платье, да еще и свихнутая вдобавок, а вот Эльвира... Знаешь, я почувствовала его... это, как оно, сексуальное появление, когда она танцевала грудями: сперва одной крутила, потом другой, потом обеими сразу...

Б о р и с Ф о м и ч (*с энтузиазмом*). Понял, понял, откуда твой секс-эпшил! Это прямо как по Фрейдю, где зависть к... ну, к мужскому отличию, разрешается в тяготении к взаимодополнению с ним. Ты ведь сама не сумела бы так покрутить, твоей-то грудью.

Н е л л и . Бóрис! Ты что это себе позволяешь? Разболтался, ты ж понимаешь! Теперь уже грудь моя тебе не нравится! И мы ведь договаривались, что ты больше никогда не будешь упрекать меня за некоторые... девичьи увлечения.

Б о р и с Ф о м и ч . Да я всегда был в восторге от твоей груди! Такой и должна была быть девическая грудь, эти нежные припухлости, вечно юные, как у тебя. Ты погляди, ведь и мода такая установилась, и никто не носит теперь этих подушек из парафина, без подпорок свисающих без малого до пупа.

Н е л л и (*беззлобно*). Результат длительных полевых изысканий...

Б о р и с Ф о м и ч (*с прежним энтузиазмом*). Нет! «Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет!» А твоя шея! Боже мой, одна твоя шейка меня на этом свете держала! Твоя лебединая, твоя королевская шейка. Гордая – и такая беззащитная. И эта тончайшая кожа, и это местечко у нежной впадинки... Но это я уже после стал разбираться с твоей обалденной

внешностью по отдельности: там шейка, там грудка, там ножки... А вначале, как только я тебя увидел, когда ещё познакомиться боялся, без всяких там отдельностей тебя воспринимал, в целом – как легкий солнечный удар или как (*стеснительно*) если сразу выдуть полбутылки шампанского...

Нелли. Вот то же самое и мне и пан Зденек говорил. «Ты, – говорил, – шампанська дзевчына, Неллка, во йака!»

Борис Фомич (*монотонно, нехотя, будто повторяет это уже много раз*). С меня, пожалуй, хватит. Давай разбираться, мать. Отчего это ты вспомнила о своем поляке?

Нелли (*точно так же*). Ты сам виноват. Назвал меня шампанской дзевчыной.

Борис Фомич (*точно так же*). Хорошо. Я помогу тебе: ты вспомнила о двух молдаванах. А почему ты о них вспомнила?

Нелли (*точно так же*). Потому что ты забыл сегодня поменять носки.

Борис Фомич (*точно так же*). Нет, это было вчера, мать. (*Оживляется*). Я вспомнил: мы удивились, что знаменитый граф Дракула вдруг оказался у нас в соседях.

Нелли. Что тут поделаешь, если с географией у меня в школе были контры... (*Деловито*). Как устроимся, надо будет сразу же пригласить графа в гости.

Борис Фомич (*неуверенно*). Мать, да ведь он вампир. Если это тот самый граф...

Нелли. У каждого найдутся какие-нибудь недостатки, зато он настоящий аристократ. А нам теперь, как обзавелись замком, необходимо возвращаться в обществе. Аристократы, мне говорили, все выродились,

у каждого свой бзык. Об этом графе, по крайней мере, заранее знаем, что он вампир. (*Задумывается*). Значит, так. Набью-ка в свиную кишку кровяночки, как мамашка моя делала, поджарю, а часть крови приберегу для него к столу, налью лично для графа в графинчик. А то пригласишь вслепую какого-нибудь фона-барона – так только на месте и выяснится, что у него за извращение. (*Покровительственно*). И не бойся, я обо всем позаботилась, пупсик. На базаре в Станиславе купила... да где же он?... (*показывает*) связку чеснока, будем добавлять в фирменную аджику, а еще лучше, разрешу тебе ещё пару дней носков не менять... Впрочем, и ты мог бы в свой газовый револьвер вставить серебряные пули.

Б о р и с Ф о м и ч (*невинно*). Куда их тебе вставить, мать?

Н е л л и (*усмехается*). Как ребенок, право... Думаешь, я поверю, что ты не прихватил с собою свою любимую игрушку? (*Деловито*). Не забыть к ужину графа пригласить – и часов на девять, никак не раньше: таким аристократам дневной свет противопоказан. (*Пауза*). Пупсик, а ты не хочешь сходить в замок и решить все вопросы? А я пока тут поскучаю.

Б о р и с Ф о м и ч (*иронически*). То есть прогнать прежнего хозяина или нанять его дворецким? Нет, мать, жилплощадь на тебя записана, ты и действуй.

Н е л л и . Возможно, ты снова прав. (*Вздыхает*). Тогда нефиг больше тянуть. Вперёд!

Двигатель рокочет. Из выхлопной трубы вылетают клубы дыма. Справа из-за кулис выдвигаются декорации следующего явления.

Явление 2

Те же и Повешенный.

Декорации изображают площадку перед донжоном замка. Справа видна часть башни с низким входом, оформленным в псевдоготическом стиле. Над входом на гвозде висит подкова. Слева видна часть подъёмного моста. Задник – поросшая лесом типичная карпатская гора.

Два квакающих автомобильных сигнала. Борис Фомич и Нелли покидают авто и вступают на подъёмный мост. Идут осторожно, Нелли цепляется за руку Бориса Фомича. Из-за кулис справа выдвигается рекламный стенд *«Незабываемый отдых у границы мистических владений Дракуль»*.

Нелли. Нет, ты только посмотри на рекламу!

Борис Фомич. Да, ничего не скажешь, отвратный у твоего графа видок... Впрочем, художник, вполне возможно, писал с натуры.

Нелли. Ты думаешь? Гм... А пожалуй, мы всё же пригласим графа на ужин. Только посадим в темном уголке: и старичку спокойнее, и нам веселее... Пупсик, я тебя о чем-то хотела спросить... Ага. Не думаешь ли ты, что и мой замок – тоже «мистическое владение»?

Борис Фомич. Вот уж нет, мать. За него деньги плочены. И все бумаги с нами. (Тем же манером появляется, заслонив предыдущий, стенд с рекламой *«Живопись и графика Эдуарда Волоха. Постоянная экспозиция»*). Вот тебе и выставка, мать. А ты боялась здесь соскучиться.

Нелли. Эдуард Волох... Волох... Где-то я встреча-

ла эту фамилию. Неужели известный художник? Неловко будет его выставлять отсюда...

Б о р и с Ф о м и ч . В договоре о купле-продаже ты его встречала, вот где. А ты растёшь на ходу: научилась читать бумаги, которые подписываешь!

Н е л л и . Пусть тогда поскорее убирается к своему Дракуле – авось граф сдаст ему комнату! (*Выдвигается стенд «Уроки плавания в крепостном рву»*). То есть плавать – в этой грязной канаве?

Б о р и с Ф о м и ч . Да уж. В старинных замках в ров спускали фекальные массы. Это чтобы противнику было противнее его переплывать.

Н е л л и (*кривит носик*). Едва ли здесь именно так устроена канализация. Я краем глаза видела во рву что-то зелененькое. Лягушки в этих самых твоих массах не стали бы жить, передохли бы.

Б о р и с Ф о м и ч (*возвращается на мост, присматривается*). Не, мать, это не лягушки. Там плавают крокодилы. (*Извиняющимся тоном*). Прости, вообще не хотел тебя напугать. Это зеленые резиновые крокодилы, надувные. Ну, вспомни, их на пляжах всегда продавали...

Н е л л и (*овладевает собою*). Никаких крокодилов я здесь больше не потерплю. Мы устроим бассейн во дворе, как мы мечтали с тобой сделать на Кисловке. (*Сдерживает слёзы*). Я чуть не заплакала, пупсик. Только припомнила...

Б о р и с Ф о м и ч . Мать, не раскисай! Вот он, твой замок! И что нам теперь тот чужой особняк? Да и банк был слишком близко, а его ребята когда-нибудь обязательно подорвут, чтобы следы замести... Соберись с духом – и постучи в дверь. Вот всё, что от тебя требуется.

Нелли (собирается с духом). Я сделаю получше. Сначала вот так. (Достаёт с заднего сидения «жука» связку чеснока, поднимается по трем ступенькам к двери, становится на цыпочки и вешает связку на гвоздь поверх подковы). «Мой щит на вратах Цареграда» – как сказал тот князь, которому змея в ухо заползла.

Борис Фомич. Кому змея в ухо, мать?

Нелли (бормочет). Всё-то тебе расскажи, всё-то объясни... Как маленький, право. (Решительно стучит в дверь, потом тянет за ручку, и дверь подаётся). Да тут открыто, пупсик. (Заходит вовнутрь, и после небольшой паузы раздаётся ужасный, душу из слушателя вынимающий визг. Поскольку бесчеловечно требовать от актрисы многократного повторения этого шедевра, лучше записать его один раз для всех спектаклей, выпустив, например, ей под ноги пару серых мышей. Однако гуманнее было бы прикупить готовую запись у специалиста по шумовым эффектам. Нелли выскакивает наружу). Там, там висит... Повесился он! (Борис Фомич обходит жену, в дверях, не заходя внутрь, присматривается). Повесился бедняга, не вынес продажи его жилплощади...

Борис Фомич. Ну, висит, мать... Ты, что же, раньше не видела, как люди вешаются? Ну подумаешь, висит труп на бронзовой, оч-ч-чень, кстати, клёвой люстре, покачивается на сквозняке.... Ага, на груди табличка, как у Зои Космодемьянской: «Протестую...» Дальше не разобрать. Не вынес, говоришь? Вот и решение вопроса.

Нелли. Кончай рассуждать, Спиноза недоделанный! Звони «02»!

Борис Фомич (послушно достаёт мобильник.

Длинные гудки. Ждёт). Алло, это милиция? Мы тут купили дом, ну замок у дороги, вы знаете, наверное... Повешенный на люстре... (*короткие гудки*). Какой-то странный у них автоответчик...

Нелли снова визжит – приоткрыв рот и полу-присев.

Борис Фомич (*изумлённо, по-прежнему сосредоточенный на экранчике мобилки*). Вот не думал, что такое можно повторить... Да успокойся, наконец.

Явление 3

Те же и Волох.

Нелли. Оторвись от мобилки, болван, поверни голову! Висельник ожил!

Покойник, с обрывком верёвки на шее, тем временем появляется в дверях и даже раскрывает рот.

Волох. ...и на вас лично наезжать не собираюсь. Протестую против подлянки...

Нелли } (*одновременно*). Да сделай с ним что-нибудь!

Борис Фомич (*прижав ладони к ушам*). Заткнись, наконец! (*Замолчали оба. Мнимый покойник с высоты своего роста сверлит Бориса Фомича рассерженным взглядом*). Милиция уже едет. Боюсь, любезный, вам придется с ними объясниться.

Волох (*примирительно*). Это ты не туда попал, мужик. В ментярне или трубку не поднял бы никто, или бы тебя послали. (*Машет рукой, потом смотрит на сверкающие золотом дорогие часы*). Менты сейчас подались из отделения в пиццерию хавать на шару, оставили только дежурного, а тот свой обеденный перерыв тоже уважает. Да и зачем ментам сюда ехать? Тут все

знают про висельника, что рекламная лажа для туристов... Я *(тыкает себя пальцем в выпяченную грудь)* – Волох Эдуард Опанасович, хозяин домостроения. Я протестую, потому что банк развел меня на закладной. Я расплачусь, как только придет перевод из Вены.

Борис Фомич. Заграница вам поможет? Ну, ну... Вот новая владелица, Нелли Аверкиевна, супруга моя, все претензии к ней. А пока занесите-ка наши вещи. И покажите, где нам сполоснуться с дороги. Вы что, не получили телеграммы?

Волох. Ваш номер – «13». Через залу в пристройку, там по лестнице на второй этаж. А то... Хрен с вами, отнесу багаж, вернусь и покажу. *(Подбегает к «жуку», пытается открыть несуществующий багажник, отшатывается, склоняется над задним сиденьем, выхватывает кейс Бориса Фомича, зажимает его себе под мышку, берёт в руки по чемодану и исчезает в двери донжона).*

Нелли. Нет, он совсем ничего. И такой услужливый, проворный...

Борис Фомич. Не торопись расхваливать, мать, это тебе не новая игрушка. К тому же ты его ещё не купила.

Нелли *(загадочно улыбается)*. И вовсе не обязательно его покупать... А ты запомнил, как нам пройти?

Борис Фомич *(отмахивается)*. Этот громила вернётся и проводит. Побудем ещё немножко на свежем воздухе. Я всё хотел спросить тебя об одной штуке, мать... Почему ты не сразу завизжала?

Нелли *(подозрительно)*. Что ты имеешь в виду?

Борис Фомич *(осторожно)*. Ну, ты прошла в эту дверь. Там вон, прямо перед тобой, болтался в петле покойник, а ты подала голос не сразу, только после выдержки... Секунд этак через двадцать.

Нелли (сохраняя хорошее настроение). Что ж тут непонятного? Я вошла и, конечно же, сразу увидела, что посредине этого круглого зала кто-то стоит. Какой-то, вижу краем глаза, мужчина в черном, высокий такой. По-твоему, это я, дама и хозяйка замка как ни как, должна была первой к нему обращаться? Я и сделала вид, что не заметила, и давай разглядывать экспозицию...

Борис Фомич. Какую еще экспозицию, когда там висит покойник?

Нелли. Да картины этого Волоха, про них ещё было на стенде... Он примитивист и типа народный художник. Ещё две бечёвки пустые болтались на сквозняке, покачивались...

Борис Фомич. По твоему тону, мать, понятно, что картины тебе понравились меньше, чем художник. Однако, видно, не полное они дерьмо, если хоть одну удалось продать... И как это я сразу не допер, что муляж? Он ведь тоже раскачивался на сквозняке, повешенный... Настоящий покойник был бы тяжелый.

Нелли. Умный ты у меня, пупсик, но всегда почему-то задним числом. А что там у него на груди?

Борис Фомич. Подойди сама и прочитай... Ладно... (Скрывается в башне). Чушь та же самая, протест против продажи. А написано как курица лапой. Тоже мне, художник от слова «худо»...

Нелли. Эх, политехническая твоя душа! Да художники терпеть не могут черчения, их тошнит от вырисовывания шрифтов этих! Видел бы ты их стенгазеты в «Академке»...

Борис Фомич (появляется в дверях). Поглядел я на эти так называемые картины, мать. (Гордо). И торжественно заявляю: я беру назад свои слова, что это не полное merde. Как раз полное. Картинки стоят столько, сколько дадут за холсты и за грунтовку, а краски и что

там ещё – конопляное масло? – не в счёт, потому что безнадежно испорчены.

Нелли. Репин писал на керосине... Послушай, а тебя не заносит? По мне, пупсик, ты преувеличиваешь. Это же народная живопись.

Борис Фомич. Народная живопись, народная живопись... Если ты занимаешься народной живописью, так сиди себе на деревне у дедушки и расписывай – чего они там расписывают? – подносы и хомуты, вот. Нет, он хочет малевать, как селюк, а чтобы его в Союз приняли и студию в центре бесплатно дали! Вот ведь пристанище для халтурщиков-пролаз, этот твой Союз художников!

Нелли. Сиди себе в хате на деревне? (*Зловеще*). Так это ты на меня намекаешь? Это я селючка-пролаза! Ну и пусть! А ты чем лучше? Сам же хвастался, что твой дед босиком в Москву пришел. Тоже мне, аристократ с Красной Пресни! (*Успокаивается*). А знаешь, Бóрис, я бы сейчас своей мамашки тут не постыдилась. Очень бы мне хотелось, чтобы она лично присутствовала, когда я, её задрипанная Нинка, вхожу хозяйкой в свой собственный замок. Может, я бы ей разрешила и пожить тут недельку-другую. Помогла бы с хозяйством разобраться. Кстати, почему на нас не залаяла собака? На селе без собаки нельзя. А ты злобствуешь, потому что всё записано на меня. Ты это сделал только для того, чтобы Сенька не отобрал, да? Я ведь правильно догадалась?

Борис Фомич. Ты путаешь Сеньку с советской властью. Много чести, знаешь ли. А я назвал пролазой и деревенщиной совсем не тебя, мать. Я имел в виду того нахального мальчишку, которому ты пыталась протезировать, пока вся эта твоя тусовка мазил не начала над тобой в глаза смеяться...

Нелли (*серьёзно*). Мы же договорились, что не будем возвращаться к этой, я готова согласиться с тобой,

достаточно неприятной для нас обеих истории. У каждого спонсора бывают проколы...

Б о р и с Ф о м и ч (*не может остановиться*). У спонсора? Раньше это называлось совращением малолетних. И напрасно ты пыталась довести до ума его мазню. Господи, ну и жалкое же было зрелище...

Н е л л и . Бóрис! Да что с тобой сегодня? Почему ты так настойчиво пытаешься испортить мне эту маленькую радость? Ведь не так много их осталось, радостей в моей жизни... Одно хоть вспомнить: столько дней подряд терпеть тебя рядом – и не через две комнаты, а так, что в любой момент, как только вздумается тебе, можешь ко мне свои грязные руки протянуть! Да еще на трезвую голову всё это терпеть!

Б о р и с Ф о м и ч (*слишком патетически, чтобы можно было поверить в его искренность*). Просто я хочу, мать, чтобы все наши недоразумения и напасти отныне и навеки остались за этой вот дверью. Я уже всё сказал. А теперь хочу дать тебе добрый совет.

Н е л л и . Что ещё? Давай, вываливай: одной гадостью больше, одной меньше...

Б о р и с Ф о м и ч . Я не знаю, как оно ещё с твоим землевладением обойдется, но в любом случае: не стоит приглашать бабу Настю сюда. Не та здесь для неё компания. И попробуй только не пустить её за стол, когда твоего графа Дракулу пригласишь! Тоже ведь любит заложить за воротник, и сразу, как стопку опрокинет – кулаком подопрет голову и давай песню играть...

Н е л л и . Знаешь, а ведь ты в чем-то прав, пупсик. Пусть лучше моя мамашка остается в своей Свиридовке.

Б о р и с Ф о м и ч . Вот и хорошо, мать, вот и ладненько... Куда это, однако, бывший хозяин запропастился?

Пауза. Слышно, как кукует кукушка. Дверь распахивается. Перед попятившимися супругами возникает Волох, вытирает рот внешней стороной ладони.

Волох. Чего встали? Хватайте вещички и дуйте в хату. (*Снова исчезает в дверях*).

Борис Фомич. Ты обратила ли, мать, внимание на этот роскошный жест? На этот характерный жест мужчины, только что ткнувшего у буфета секретную рюмашку?

Нелли (*вздыхает*). Да уж... Уютненько так.

Обременённые багажом, супруги скрываются в башне.

Явление 4

Нелли, Борис Фомич, Волох.

Декорации представляют собой банкетный зал в основном здании замка. Справа – огромный камин, слева – входная дверь. Между ними на стене – обрывок настоящего гобелена XVIII века и грубая имитация средневекового гобелена на неаккуратно склеенных бумажных листах. На фоне псевдогобелена – старинный холодильник «Днепр». На авансцене – раздвижной стол «сороконожка» начала XX века под черное дерево и вокруг него четыре стандартных светлых стула из советской мебели 60-х гг.

Волох сидит лицом к зрителю во главе стола. Нелли и Борис Фомич появляются из двери слева и застывают на пороге.

Волох (*не вставая, радушно*). Ну как, причесались, как девки базлают? А по-простому если – отлили с дороги?

Борис Фомич (*не глядя на него, как бы про себя*). Насчёт этого самого, отлить, интересно получилось...

Видал я гостиничные номера и похуже, но чтобы удобства прямо тут же, в углу, за фанерной коробкой... И вода бежит всё время, журчит и журчит...

Нелли. Как Черный Черемош.

Волох. Журчит? Так это хорошо, что журчит. Вчера так вообще целый день воды не было. И вообще, извиняюсь, конечно, но я бы так сказал: подперло тебе, увидел дырку – втыкай. И всего делов.

Нелли. Ну и разговоры пошли у вас, мужчины, как в пионерском лагере после отбоя. То есть в отряде малышей. Подумаешь, течет! Вызовем сантехника, он всё и сделает. Меня вот другое заинтересовало. Над этой дверью, с той стороны, увидела я надпись в картуше, выложенную мозаикой.

Волох. В картуше? В каком картуше? Не понял!

Нелли. Понял, не понял – едва ли это так важно...

Волох. Не понял?!

Нелли (*лёгким, кокетливым тоном*). Зачем красивому мужчине знать, что такое картуш? Я ведь и сама не уверена, правильно ли сказала, что «картуш», а не что «консоль»...

Борис Фомич отодвигает стул для Нелли, она садится, Борис Фомич остается стоять, угрожающе нависая над развалившимся на стуле Волохом.

Нелли. Так вот. Надпись замазывали мелом, однако проступает довольно отчетливо. Pur-ga-to-ri-um. Что бы это значило, Бóрис?

Борис Фомич (*медленно усаживается*). А кто из нас двоих учил на первом курсе латынь? (*После короткой паузы*). Кухня, наверное...

Нелли. Похоже... Конечно же, кухня. Господи, какой прелестный камин – ведь в нем же можно целого дикого кабана зажарить!

Борис Фомич (*присматривается*). На вертеле?

Волох (*оживился*). В натуре! Только где здесь притыришь дикого кабана?

Нелли. Стало быть, ты можешь ручаться, Эдуард, что по здешним лесам не бегают эти ужасные монстры с клыками?

Волох (*разводит руками*). Кто же станет ручаться? Однако не слышал.

Борис Фомич. А меня заинтересовали номера на дверях – там, в длинном коридоре, с рыцарями. Если не забыл, такие: «1», «3», «7», «12», «13», «6666»... С чего бы это?

Волох. С чего, с чего... Для понта. Пытались ведь тут гостиницу отгрохать.

Борис Фомич (*раздумчиво*). По мне, так с номерами вышло чересчур умно. Знает ли обычный наш русский турист, что знаменует число «6666»? А если вдруг знает, захочет ли за дверью с таким номером поселиться? Сейчас, днём, коридор этот смотрится весьма убого, ничего не скажешь. Эти пыльные летучие мыши на потолке, эти их серые хвостики...

Нелли. Какие еще хвостики? Ты путаешь летучих мышей с полевыми. Это, наверное, концы крыльев у них свисают. Или ушки уже оторвались... И разве они не нарисованы были, пупсик?

Борис Фомич. Там есть и чучела нетопырей, прибитые к потолку. Но я представляю себе, какой драйв наступает, когда эти мышинные хвостики... ну, ладно, мать, пускай ушки... Когда они проскальзывают по твоей плечи ночью, в темноте, или при свечке. Тогда и жестяные рыцарские доспехи на распялках, расставленные вдоль стены, между бойницами, тоже, небось, смотрятся.

Нелли. Тебе это пупсик, не грозит.

Борис Фомич. Что мне не грозит?

Нелли. Что мышинные хвостики будут щекотать твою лысину. (*Смотрит на Волоха*). Там высокие потолки. (*С чувством*). О, как я мечтала когда-то о высоких потолках, Эдик.

Борис Фомич. И ведь нельзя сказать, что сбылась мечта идиота, уважаемый Эдуард Опанасович. Мечта идиота должна быть красочной, масштабной...

Волох. Голая баба. И чтобы обязательно толстая. (*Смеётся*).

Нелли (*после паузы*). Что ж, подождём ночи. Устроим в этот коридор с рыцарями экскурсию при свечах, как в пещеры Киевской лавры. (*Брезгливо*). При свете дня на этих твоих кровососов лучше вообще не смотреть: невозможно удержаться от чиха. Столько пыли! Неужели нельзя почистить пылесосом?

Борис Фомич (*заботливо*). Пылесосом, наверное, нельзя. Пылесос с нетопырей последние остатки шкурки сдерет...

Волох. Да и нету пылесоса!

Нелли. А я, кажется, видела пылесос под винтовой лестницей...

Волох (*решительно*). Сломан давно нахрен!

Нелли. Кажется, Эдуард, вы нас приглашали сюда перекусить...

Волох. Так чего вы ждете? Кушайте – шамовка давно на столе. И вот – от нашего стола вашему столу. (*Достает из холодильника (Нелли морщит носик) трехлитровую бутылку с красной жидкостью, стучит ею об стол*). Экологически чистое местное бухло. Вишнёвка!

Борис Фомич. Скромно, но со вкусом, да? (Показывает на тарелку. Критически оглядывает вилку и втыкает её в содержимое тарелки. Вилка остается стоять). Однако...

Нелли (потупив взор, кротко). Овсянка, сэр.

Волох. Да нет, мадам, это мамалыга. Ихняя каша из кукурузы.

Нелли. Небось, любимая еда графа Дракулы? (Подпархивает к холодильнику. Открывает дверцу и тут же захлопывает). Почему оттуда воняет?

Волох (раздраженно). Так света же нет.

Нелли (капризно). А почему света нет?

Волох (так же). Не платят.

Борис Фомич (вдруг заинтересовавшись). Кто не платит?

Волох (с неожиданной злобой). Да давно уже никто никому не платит! Вы чего, с луны свалились? Кризис ведь! И телефон нахрен отключен.

Нелли. Борис! Прекрати! Бери машину и езжай до первого приличного супермаркета. Консервов набери, ну ещё – как это Эдуард красиво выразился? – ага, бухла нормального. Эдуард, тут в какую сторону ближайший?

Волох тяжело задумывается.

Явление 5

Те же и Надя.

Надя впархивает слева. Желательно осветить её таким образом, чтобы на мужчин в зале произвела столь же парализующее воздействие, как на сцене – на Б о р и с а Ф о м и ч а .

Надя (*звонким голосом старшеклассницы-отличницы*). Ближайший в десяти километрах вправо, но я не уверена, что ту лавчонку можно назвать супермаркетом, Ох, вы извините, что вмешиваюсь в разговор...

В о л о х (*скудным голосом*). А ты кто такая?

Надя (*радостно*). Вы ведь заведующий? Эдуард Опанасович? Да? А я по распределению к вам. (*Роется в сумочке*). По распределению на работу из Международного института культуры имени Джорджа Сореса. Вот (*разворачивает и показывает всем издали четверо сложенную бумажку*). Экскурсоводом. Меня Надей зовут. У вас тут, мне сказали, прямо в музее и общежитие предоставляется?

В о л о х (*всё так же скудно*). Это не ко мне. Хозяева – они...

Н е л л и . Б о р и с , закрой рот! Пока муха не залетела...

Б о р и с Ф о м и ч (*поднявшись на ноги и отвесив полупоклон*). Борис Фомич Прохоров, человек неизвестный. А это супружница моя Нелли Аверкиевна, владелица... э-э-э... жилплощади.

Н е л л и . Не смей называть меня Аверкиевной! (*Свысока*). А вам, девушка Таня, разве не сказали, что здесь уже давно нет общежития? Тут теперь частная лавочка.

Надя. Надя я... Простите, а разве в частном музее экскурсоводы не нужны?

Борис Фомич (*ехидно*). Девушка, вы вот общезнанием интересуетесь и на должность экскурсовода рассчитываете, а сумочка у вас точно такая, как я своей жене подарил на последнюю годовщину бракосочетания – за сто девяносто девять баксов!

Нелли. Это я тебе сказала, будто сто девяносто девять. Нервы твои, пупсик, желала поберечь... А блузон какой! Впрочем, ты никогда ничего не понимал в кофточках.

Надя. Да что вы такое говорите? Сто девяносто девять баксов... (*Хлопает ресницами*). Это же огромные деньги!

Нелли (*вкрадчиво*). Таня, а как вы сюда, на кухню, попали?

Надя. Типа? Да Надя я.

Нелли. Вы, Наденька, не поднимались ли сначала по лестнице, в «13» номер?

Борис Фомич. И мой кейс кто-то открывал. Во всяком случае, контрольный волосок – тю-тю!

Волох. Не нравится – сам таскай свой багаж, ты, зануда! Тоже мне, шестёрку себе нашёл! Я извиняюсь, мадам.

Надя. Это всё совершенно абсурдные подозрения, господа! Я сейчас же всё объясню. Сумку я купила на дешёвой распродаже, а для этого мне пришлось целый месяц отказываться от пончика на завтрак. Вот и всё.

Нелли (*недоверчиво*). А блузон от Гуччи – на сэкондхенде из мешка вытащила?

Надя. А блузон на сэкондхенде. Только не из мешка, а с вешалки в палатке. Так что – берёте вы меня экскурсоводом в свой частный музей?

Нелли. Упаси боже! Что нам сейчас нужно,

так это разве что помощница по хозяйству... Бóрис, отправляйся.

В о л о х (*наливает из бутылки в граненые стаканы*). Сперва на дорожку. И за знакомство. Присаживайтесь, девушка.

Н е л л и (*хватает свой стакан и залпом выпивает*). Вишнёвая наливка... Тоже ничего.

Б о р и с Ф о м и ч (*трагическим шёпотом*). Нелли, это что же ты сейчас над собою сотворила?

Н е л л и (*потупилась*). Ну, чирикнула. Извини, я хотела причаститься, когда ты уже поедешь, но так получилось...

Б о р и с Ф о м и ч (*по-прежнему*). У тебя же ампула подшита, мать. Ты тихо загнешься, как Олег Даль в гостеприимном Киеве.

Н е л л и (*задорно*). Это раньше у меня была подшита ампула. Ты снова сам всё перепутал, пупсик. Я её уже выковыряла, твою ампулу. Маникюрными ножницами.

В о л о х (*чокается с её пустым стаканом, пьёт*). Ну, подруга, сильна. Вот когда я тебя зауважал.

Б о р и с Ф о м и ч (*стучит кулаком по столу*). Не смей мне тут фамиллярничать! (*По-прежнему*). Мать, ведь это всё равно очень опасно! Вспомни, о чем предупреждал Николай Ардалионович!

В о л о х (*повеселев, тихо*). За базар ответишь.

Н е л л и (*уже поплыла*). Ты и не заметил, что жена у себя в стройном своем животе ковырялась. Ты мною уже не интересуешься, пупсик. Ну и...

Надя усмехается втихомолку. В о л о х наливает Н е л л и и себе.

В о л о х. Между первой и второй перерывчик небольшой. Ну, чтобы наши вороги сдохли!

Борис Фомич (*пригубил, кривится*). Сладкая... Отвечает, впрочем, твоим прежним вкусам, мать, пока я не приучил тебя постепенно к настоящим напиткам... (*Моноotonно, как если бы наедине с женой*). Я вспоминал недавно, как мы с тобой бросали курить. Знаешь, вспоминал с такой нежностью... Какое это было чудесное время, Нелли! Я не люблю говорить красиво, ты же знаешь... А сейчас скажу. Та совместная компания «Курению – бой!» оживила и вновь наполнила страстями нашу семейную жизнь. Мы соревновались в твердости решения, мы геройствовали – и испытывали падения, тайком друг от друга покуривая, когда уж совсем становилось невмоготу. Старались не ударить друг перед другом лицом в грязь, заботились друг о дружке... Это был наш второй медовый месяц, мать!

Нелли (*пьяным голосом*). Вот уж чего не заметила... Нет, я уважаю твои чувства, но... Если нам не спалось, это ещё не означает, что мы тогда снова безумно набрасывались друг на друга.

Борис Фомич (*обиженно*). Ты всё забыла, мать!

Волох. А я знаю хороший способ отучить человека от курения. Очень надежный. В натуре!

Надя. Какой?

Волох. Да замочить курца – и всего делов. (*Первым смеётся*).

Борис Фомич (*опять монотонно, будто ничего не слышал*). И совсем другое дело – эта наша ужасная борьба за твою трезвость...

Волох. Эй, мадам! Хозяйка, ау!

Нелли (*вскидывается, неуверенно улыбается*). Что, Эдуард? Я вовсе не сплю. Ну, разве совсем чуточку, устала с дороги...

Волох. Мадам, я могу показать девушке Наде её комнату? Если вы, конечно, не желаете её прямо сейчас

выставить на улицу?

Нелли. В «ббб» запроторь её, миленький. Или в «бббб»? А потом пусть спустится, съездит закупиться с Борисом Фомичом.

Надя и Волох уходят.

Явление 6

Нелли и Борис Фомич.

Борис Фомич (*не обращая внимания на их уход, по-прежнему монотонно*). В твоих глазах я тебя не от края пропасти оттаскивал, а только надоедливо мешал тебе предаваться безвредной и милой привычке. Сколько раз, когда ты надиралась до положения риз, мне хотелось принести камеру и снять, чтобы утром ты сама себя увидела. Однако я так и не сделал этого, и знаешь почему?

Нелли. М-м-мы...

Борис Фомич. Я боялся, что увиденное тебя слишком травмирует. Я ведь помнил, как в молодые годы сам попал на пленку в катастрофически пьяном виде. Потом мне показали. О, какой это был стыд! Как понял я тогда древних римлян!

Нелли (*неожиданно трезвым голосом*). Римлян? Это не мне, а тебе нельзя пить, пупсик, – ты уже заговариваешься...

Борис Фомич. Римляне поили до отвала неразбавленным вином какого-нибудь из рабов, чтобы показать результат сыновьям!

Нелли (*рассудительно*). Сдается мне, дочерям тоже было бы не хило показать. Мне кажется, древние

римляне не очень-то заботились о развлечениях своих дочерей... А почему нам здесь больше не наливают?

Борис Фомич (*не слушая, решительно*). А я соврал. Мне не показали ту пленку, это вовсе не мне, а тогдашней моей девушке её показали.

Нелли. О!

Борис Фомич. Это было на Новый год, еще при Горбачеве, но до нашего с тобой знакомства. Я совершенно забыл, как её звали, эту мою подругу... (*Льстиво*). Твое появление, мать, выбило у меня из головы всех знакомых девушек. Назовем её, допустим, Талой.

Нелли. Опять ты заводишь шарманку про какой-то Новый год...

Борис Фомич. И правда... Может быть потому, что мы с тобою надеемся начать тут новую жизнь? Так вот, Тала работала в чертёжном бюро большого завода «Коммунист» (или имени какого-то деятеля, сейчас уже не вспомню), теперь, понятно, обанкротившегося. И профком, или там комитет комсомола завода откупил на Новый год городской Театр кукол, а он тогда был в здании синагоги, в такой бонбоньерке, и мало кто уже помнил, что там когда-то была синагога. А теперь многие забыли, что в синагоге когда-то был Театр кукол...

Нелли. Так ты волочился за евреечкой? А я всегда считала тебя антисемитом, Борис...

Борис Фомич. С чего это ты взяла?

Нелли. А был у меня один знакомый, Абрам Израилевич. Он объяснил, что порядочные люди, не антисемиты, про евреев вообще молчат, будто и нет их совсем...

Борис Фомич (*горько*). Вот как? Впрочем, оставим это. И Тала пригласила меня. При этом она сказала, что хотя официально выпивка строжайше запрещена,

но профсоюзное начальство (или комсомольское, уж не помню) осторожно, под рукой, пустило слух, что спиртное можно тихонько принести с собой и тихо, где-нибудь в укромном уголке, распить... Иначе, конечно, никто бы и не пошел на это культурное мероприятие. Новый год всё-таки! Я и принес с собою в сумке. Там была, конечно, культурная программа. Показывали, помнится, «Сотворение мира»... Эй, не засыпай!

Нелли. А ты, пупсик, налей мне – я и приободрюсь!

Борис Фомич. Ещё чего захотела... (*Нелли быстро хватается бутылку и, разливая по столу, наполняет свой стакан до половины. Пьёт*). До отвращения знакомая картина... В конце же спектакля, сотворивши мир, Бог-Творец, обмундированный по новогоднему случаю, как Дед Мороз, поздравил всех гостей театра с Новым годом...

Нелли (*размахивая пустым стаканом*). Хэппи нью йи! Хэппи нью йи!

Борис Фомич...и пожелал трудовых успехов на производстве. (*После паузы*). Знаешь, родная, когда ты сейчас размахивала стаканчиком, ты мне напомнила одно из первых моих театральных впечатлений. Мама моя покойная...

Нелли (*возводит глаза к небу*). О Господи! (*В сторону*). Не к ночи будь помянута.

Борис Фомич (*удивленно*). Можно подумать, что она, человек деликатнейший, действительно чем-то тебя обидела... Так вот, мама моя пребывала в убеждении, что культурный человек обязан посещать театры, а потому как-то вечером оттащила меня, мальчика, от телевизора и доставила, хорошо бы в цирк, так нет – в Театр оперетты на «Фиалку Монмантра». И я, привыкший, как теперь понимаю, к сомнительному жиз-

неподобию тогдашней кинопродукции, на всю жизнь запомнил, как молодые люди, изображающие парижских студентов и гризеток, выстроились в одну шеренгу лицом к зрителям и, помахивая – вот как ты только что стаканом, – деревянными сосисками и картонными этими их булочками, запели о том, что они здорово веселятся.

Нелли (*кокетливо*). И кого я тебе сейчас напомнила – хрустящую и мягкую булочку или, не дай бог, сосиску?

Борис Фомич. Движением этим напомнила, этим движением... И знаешь, те молодые лица, что смотрели в зал (в самом деле, молодые, студенты ГИТИСа, видать!), были так пусты и бессмысленны, в то время как твое милое лицо... Я не знаю, как сказать... (*Нелли вдруг роняет голову на стол. Борис Фомич подходит к ней, прислушивается (похрапывание усиливается, его слышат теперь и зрители), морщится, машет рукой, выходит на авансцену. Держа руки в карманах и уставившись в зрительный зал, говорит как бы для себя*). На твоём милом лице написаны все сделанные тобой глупости, но не отпечаталось и не могло отпечататься то, чего ты, моя легкомысленная дурочка, никогда не делала: ведь ты никого не заложила, не предала, не подставила, никогда себя не продавала... А вот за прелестную Надю я бы не стал ручаться. Чего уж там (*воровато оглядывается на спящую жену*), у меня в зобу дыханье спёрло при виде её ангелоподобного явления. Однако вскоре в сиянии, испускаемой юным созданием, не то чтобы тёмные пятна проступили, но стало ясно, что не такое уж оно и юное... . Около тридцати, да... Нет, это в определённом смысле тоже юность, но... И эта сухая определённость тонких черт лица. Да, как человек честный, я готов согласиться с тем, что мое наблюдение спровоцировано

горьким чувством, с некоторых пор вызываемым во мне умопомрачительными блондинками. А напомнила мне Надя в то мгновение непьющую, себе на уме колл-гёрл, приехавшую на дом по вызову... Неужто слово найдено?

Нелли (*поднимает голову, трезвым голосом*). И часто тебе, Борис, приходилось общаться с этими самыми колл-гёрлс?

Борис Фомич. Что ж, я, по-твоему, в кино не хожу, что ли? И куда бы я, человек семейный, их это самое... to call?

Нелли. Я тут прикорнула с устатку. Ты о чём-то рассказывал и остановился... Вот. На том, что Дед Мороз спел тебе и твоей девке «Хэппи нью йи»...

Борис Фомич (*восстановив душевное равновесие*). Ага. После чего на сцене перед занавесом поставили стол, накрытый красным, чтобы провести торжественное заседание, однако народ из зала быстренько рассосался – все разбрелись по закуткам, торопясь вмазать втихую. Я же сделал первую ошибку: сервировал свой бутылек шампанского и молдавский коньячок с незатейливой традиционной закусью...

Нелли (*саркастически*). Как же, как же, помню. Два плавленых сырка. Один – для дамы.

Борис Фомич. Приятно мне, что ты не забыла эти милые мелочи. Да... Выставил угощение на крышке концертного рояля в малом зале и, встретив с Талой Новый год, продолжил выпивать, приглашая к роялю всех проходивших через зал. Народ воспринимал это совершенно нормально, но вскоре к нам подвалил какой-то тип в черном костюме, уже красномордый. Отказавшись выпить, он принялся впаривать, что я веду себя совершенно недопустимо. Этот вурдалак спросил у Талы, откуда она выкопала такого кавалера, а Тала, хихикая, пояснила, что я свой парень, слесарь-сборщик

с «Автоваза». Оказалось, что я роняю честь рабочего класса.

Нелли (*хихикнув*). Вот когда ты оторвался по полной, пупсик!

Борис Фомич. Да нет, скорее обиделся. Потом мы с Талой добавили и пошли танцевать в зрительный зал, откуда уже были вынесены стулья. Тут снова начали меня доставать красномордые и чернокостюмные, а теперь у них были ещё и черно-красные повязки на рукавах...

Нелли (*открывает широко глаза*). Черно-красные? А ты не перепутал, пупсик?

Борис Фомич. Тьфу ты, чёрт! Конечно же, красные повязки! Они орали, что я танцую разнузданно и вызывающе, и чтобы я прекратил оскорблять своим поведением публику. А я тогда любил поплясать... Случилась небольшая драчка, я убежал, спрятался, помнится, в каких-то занафталиненных пыльных тряпках – и очнулся под новогодним темным небом на улице. Слава богу, это был центр, такси поймать не составляло проблемы, а у меня в левом верхнем кармашке пиджака всегда лежала заветная пятёрка, на которую тогда ещё можно было доехать домой, в Замоскворечье, с любой окраины.

Нелли. А эта твоя Тала?

Борис Фомич. Тала?... Тала осталась в Театре кукол, не захотела слишком уж отрываться от коллектива. После праздников ей тогда крепко досталась по комсомольской линии. Она плакала, но меня не выдала. Говорила, что познакомилась на улице и что даже не знает моей фамилии.

Нелли. А что с тобой хотели сделать?

Борис Фомич. Хотели написать телегу мне на работу. А как бы наша руководящая тройка

поступила со мной, прогнозированию не поддавалось. Был бы я ценным работником, сунули ли бы выговор, да и все дела. А я кто был? Один из младших научных сотрудников без степени в НИИ свекловодства и самогоноварения...

Нелли. Самогоноварения? Были такой институт?

Борис Фомич. Сахароварения, конечно. Это мы между собою, в порядке юмора. А я в родном НИИ блистал разве что на междусобойчиках или, как теперь говорят, на корпоративных вечеринках.

Нелли. Верная была девушка, эта твоя Тала. Надежная подруга. Почему же ты, пупсик, не женился на ней?

Борис Фомич. Верная, ты сказала? Однако у неё были и другие поклонники. И смешно было бы думать, что каждая девушка, с которой я встречался, так уж обязательно хотела выскочить за меня замуж. К тому же Тала жила слишком далеко, на рабочей какой-то Варваровке, так что я каждый раз, провожая её, серьезно опасался, что мне начистят морду – имеется там такой народный обычай. Туда по вечерам и таксисты боялись ездить.

Нелли. Ты всегда был опасным, коварным субъектом, Борис. И, готова поспорить, опять соврал.

Борис Фомич (*искренне удивленный*). Соврал? Зачем?

Нелли. А ты врешь не зачем, а просто так, пупсик. Ты соврал, что тебя на этой новогодней вечеринке снимали на видео. Тогда видео, по-моему, ещё не...

Борис Фомич. Ну, не на видео, так на любительскую кинокамеру, а снимали. И если не в Театре кукол на Новый год, так на дискотеке в Доме офицеров. Там тоже забавная история случилась. Рассказать тебе?

Нелли. Уж лучше не надо. Терпеть не могу, когда ты меня воспитываешь, да ещё на примерах из собственной жизни.

Борис Фомич. Разве это имеет значение – где? В любом случае, где-нибудь она да валяется, если ещё не растворилась в самородной химии свалки, эта пыльная пленка, на которой я остался красивым, двадцатипятилетним. Парнем, у которого впереди был не диванчик в нашем особнячке на Кисловке, а что-то получше, мать...

Нелли (*задумчиво*). Тебе не кажется, Борис, что Эдуард и эта шлюшка (здесь ты попал в точку) слишком уж надолго задерживаются наверху, в номерах?

Борис Фомич (*пожав плечами*). И ещё. Я не хотел тебя снимать на видео в таком состоянии, потому что видео останавливает время, совершенно противоестественно сохраняя на довольно продолжительный срок (не скажу, что навечно) нас такими, какими мы были или какими хотели казаться в определённый момент конкретной, быстротекущей нашей жизни. Не снимаясь на видео или там не фотографируясь, мы живем как бы начерно, непритязательно, словно в домашнем халате и в тапочках.

Нелли. Где-то я такое уже слышала...

Борис Фомич. Да? Ты уверена? Где?

Нелли. Кажется по ящичку, на кухне... Налей мне, пупсик, не куксись – самой как-то неловко.

Борис Фомич. А мне казалось, я сам придумал... Наконец-то сам придумал нечто новенькое. Ладно. А заметила ли ты, что в последние годы мы стали реже фотографироваться – и не тянет?

Нелли. И в самом деле... Но зачем это – фоткаться? Лично мне мои снимки последних лет,

если кто-нибудь случайно щелкнет мыльницей или в толпе на тусовке, активно не нравятся. Они мне портят настроение, вот что я тебе скажу, пупсик. И на видео мы снимали только пейзажи, если не забывали камеру дома... А насчет заботы о фотках собственной персоны – в этом есть что-то жлобское, ты не находишь? Это когда на день рождения обязательно идут в фотоателье. И так каждый год. Представляешь?

Борис Фомич. Увы, представляю. Вот, например, идёт человеку семидесятый год, а у него в бархатном альбоме шестьдесят девять фотографий. И, рассматривая их по порядку...

Нелли. Можно и фильмец смонтировать!

Борис Фомич. ...рассматривая снимки по порядку, от начала до конца, он наблюдает, как сперва взрослеет год от года, а потом...

Нелли (*машет рукой*). Эх! Жизнь наша жестянка! Наливай, не томи душу!

Явление 7

Те же и Волох.

Волох (*заходит вразвалочку, по-хозяйски. Доливает стакан Бориса Фомича, наливает доверху Нелли и себе*). Что-то вы тут без меня заскучали, мадам. И почему это муж за вами не поухаживал?

Нелли. Эдуардик, мы тут немного поспорили. А как ты относишься к обычаю фотографироваться каждый год на день рождения?

Волох (*убеждённо*). По мне, так не хилый обычай, мадам. По крайней мере, будет чего отдать художнику

для памятника на кладбище. А то подстрелят пацана, а от него только что и остается, так это общая фотка за столом, где он лыка уже не вяжет, губы отвисли, да ещё и язык, бедолага, высунул. (*Показывает*). Не в морге же у ментов его щелкать?

Борис Фомич (*ухмыляясь*). Эдуард, тут Нелли Аверкиевна беспокоилась, что вы слишком долго возитесь с Надей там, в номерах...

Волох (*ухмыляясь зеркально*). Да чего там, Борис. Я поместил Надю в том номере, где на дверях одни шестерки. Как вы и сказали, мадам. Потом надо было выдать ей постельное бельё, пока не стемнело совсем, а тогда уже, при свече, чистые простыни от грязных не отличить. Надя заявится сюда, как только сполоснется с дороги и переменит тряпки.

Борис Фомич. Эдуард Афанасьевич, я предпочел бы, чтобы вы называли меня Борисом Фомичем.

Волох (*добродушно*). Ишь ты, какой цирлих-манирлих! Ещё мы с ней побазлали насчет торжества сегодня вечером, типа отпраздновать ваш приезд.

Борис Фомич. Вы что – хотите отпраздновать наш приезд? Однако...

Нелли. Борис, как тебе не стыдно! Эдуард – порядочный, справедливый человек.

Волох. А мне уже пофиг, мадам. Я, блин, успокоился.

Борис Фомич. Боюсь, что снова рассержу милейшего нашего Эдуарда, но я вспомнил, о чём перед самым нашим отъездом вычитал в Интернете. Вы представляете, Румыния отдает замок Дракулы, тот, настоящий, последним владельцам, Габсбургам.

Волох (*заинтересован, убежденно*). Желают прогнуться перед австрияками.

Борис Фомич (*смущённо*). Прошу меня простить, но я тогда заинтересовался этим вопросом и тотчас же навел справку по электронной энциклопедии. Габсбурги были изгнаны из Австрии в 1919 году и лишены гражданства. Румыны хотят угодить Европейскому Союзу, вот кому.

Нелли (*она уже опять плывёт*). Пупсик, а где твой пикейный жилет? И если ты боишься, что наш замок тоже отдадут довоенному владельцу, какому-нибудь, извини за выражение, Габ... Гам... Гамбургеру, так не делай ремонт – и спи спокойно!

Волох. ...дорогой товарищ. (*Пауза*). Я говорю: спи спокойно, дорогой товарищ. (*Хохочет первым*).

Явление 8

Те же и Надя.

Надя (*эффектно возникает у стола и застывает в претенциозном па – как на конкурсе бальных танцев в конце какого-нибудь латиноамериканского. На ней черное платье до пят с раструбом книзу, чёрный парик и грим под Вампиру или миссис Адамс. Скромно*). Вот решила сразу переодеться к ужину, чтобы вечером не терять времени. Да и при свечке темно будет краситься – мадам меня поймет. Я готова, Борис Фомич. И лучше бы теперь не тянуть, а то лавочка закроется – ищи тогда продавщицу по всему селу.

Борис Фомич. Что? Да, конечно, я сейчас же... Только вот Нелли Аверкиевну доставлю наверх, пусть пока отдохнет...

Нелли (*быстро опрокидывает стакан, стремится удержать выпитое в себе и одерживает*

победу). Ужин? Никаких пошлых ужинов... Я требую продолжения банкета! Бал-маскарад при свечах! Бал вампиров? Отлично! Только вот графа Дракулу не забудьте пригласить. (Борис Фомич подхватывает Нелли на плечо и утаскивает. Нелли поднимает руки и растопыривает на них пальцы). Свечей! Свечей! Свечей!

Надя и Волох наедине. Некоторое время остаются неподвижны и молчат.

Волох (*вздыхнув, раздумчиво*). Ну хоть ты скажи мне теперь: отчего эта баба так меня достаёт?

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Явление 1

Борис Фомич и Надя

Декорация начала первого действия, только на заднем плане – другой пейзаж. Горы расступаются справа, и открывается горное озеро – серо-жемчужная полоса с туманным над нею пространством. Ночь. Дверцы «жука» открыты, на задней висит гротескный черный парик, сиденья откинута. Ноги Бориса Фомича и Нади высовываются рядом наружу.

Надя (*вздыхнув*). Благодарю вас.

Борис Фомич (*задыхается*). У меня нет слов, чтобы соответствовать... твоей изысканности.

Надя (*манерно закуривая, говорит томно*). Вот никогда не думала, что вы у нас такой богатырь, Борис Фомич. Накинулись на бедную девушку, будто маньяк. Нет, вас в порно нужно снимать, ей-богу.

Борис Фомич (*ворчливо*). Тоже мне нашла маньяка. И кто на кого накинулся – в этом тоже ещё разберёмся. Только зачем, девушка Надя, ты так поторопилась? Думаешь, у меня теперь часто бывают такие приключения? Я ведь, как-никак семьянин с многолетним сроком...

Надя (*по-прежнему томно*). Мне дела нет, я не ревнивая, мой господин.

Борис Фомич (*сбавив тон, помягче*). А уж если повезло человечку, то зачем торопиться, словно, дьявол его задери, на пожар? Мне так хотелось растя-

нуть удовольствие... И почему ты не сразу согласилась снять парик – знаешь ведь, небось, что джентльмены предпочитают блондинок? И уж позволь мне остаться при своем мнении насчет того, кто на кого накинудся...

Надя (*по-прежнему*). Конечно же, вы на меня. Ущипнули за попку, подав тем самым знак, что здесь и сейчас и немедленно желаете осуществить свои феодалные права. И я, испытывая к вам, Борис Фомич, внезапную сердечную склонность...

Борис Фомич. ...метко, ничего не скажешь, лягнула меня по коленной чашечке. До сих пор ноет!

Надя (*по-прежнему*). ...отдала вам всё самое дорогое, что только есть у девушки. (*Оживляется*). А вам разве нравится, Борис Фомич, когда вас за попку щипают?

Борис Фомич. И задница у тебя стальная, чуть пальцы не сломал. Кунфу, что ли занимаешься?

Надя. Вот вы о чём! Ну, сгруппировала мышцы, рефлекторно. И не всегда же она у меня стальная, могли бы уже, кажется, и сами убедиться. (*Заговорищицки*). Можете, впрочем, и сейчас – только, чур, не щипаться!

Короткая возня внутри салона.

Борис Фомич (*кратко*). Да, я убедился, спасибо. И мне приятно, что ты придержишься моды времен моей молодости, когда дамы предпочитали обходиться без нижнего белья. И я просил бы до конца переговоров не застегивать эту замечательную молнию на твоём платье... Ты ведь хотела со мной переговорить – в этом всё дело?

Надя (*выскакивает наружу, застегивая молнию. Кричит*). А то нет? А то зачем бы я стала перепихиваться со старым вонючим козлом? С полуимпотентом? С полным идиотом, который, не врубившись в ситуацию,

видите ли, еще хотел бы растянуть, блин, удовольствие! (Томно). Теперь вы мною довольны, мой повелитель?

Борис Фомич (вздыхнув). Ты будешь смеяться, но я доволен. Поэт сказал, что ему дороже «нас возвышающий обман», а я всегда предпочитал «низкие истины».

Надя. Чего?

Борис Фомич. Короче, девушка Надя, мне правда дороже. И не думай, что я мазохист какой-нибудь. Да и доминирования над собой мне по горло хватает в семейной жизни... Ты не хочешь ли вернуться на сиденья и снова расстегнуть молнию?

Надя. Время поджигает. Нам давно пора возвращаться.

Борис Фомич (зажигает на несколько секунд в салоне свет). Ого! И в самом деле, мы завозились с этими покупками, Надя. (Выбирается из машины и, отвернувшись от дамы, приводит свою одежду в порядок).

Надя. А я вовсе и не Надя. (Увидев, что Борис Фомич поднес палец к губам). Думаете, микрофон прилепили? А знаете, сколько самый простенький «жучок» стоит?

Борис Фомич (ворчливо). Знаю, представь себе.

Надя. Через эти горы к замку никакой хренов «жучок» не пробьет.

Борис Фомич. Надя! (Повторяет с нажимом). Надя! Почему я должен тебе доверять?

Надя щёлкает замком сумочки и суёт Борису Фомичу бумажку.

Борис Фомич (снова зажигает свет. Шепчет). «130429...». Сегодня 18 августа, «31 – 18» и «12 – 8», потом

«5000 – 200...» Всё правильно. Только ты уж оставайся для меня Надей, ладно? Меньше знаешь – крепче спишь... (*Засовывает бумажку в прикуриватель, а пепел растирает подошвой по земле. Поворачивается к Наде*). Жив, значит, милый друг Сенька. А я уж беспокоился. Или всё-таки...?

Надя. Живой, чего ему станется... А вот дела неважно обстоят, Борис Фомич.

Борис Фомич. У кого дела хреновые? У Сеньки?

Надя. У вас, Борис Фомич, у вас лично.

Борис Фомич (*ворчливо*). Тоже мне новость. Линять отсюда надо. «Эдик» твой так называемый – подставной...

Надя (*хлопает наклеенными ресницами*). А как вы догадались?

Борис Фомич. И не такой лопух, как я, догадался бы! Картину не пытается продать, говорит без местного акцента, буквы писать разучился... Где что лежит, не помнит... Усы отклеиваются!

Надя (*изумлена*). Не может быть...

Борис Фомич. Да? Значит, показалось... А ты когда узнала? Почему промолчала?

Надя. Облажалась, признаю. Я-то фотку Волоха видела, но вы же знаете эти фотки! Тот чёрный, и этот чёрный, усы у обоих... Да он и промолчал, не понять было, выдаёт ли себя за художника... Это до того, как мы с ним пошли меня поселять. А потом просекла, а предупредить не могла.

Борис Фомич. А убедились-то как?

Надя. Автопортрет у меня под кроватью лежит. «Жучок» искала, а нашла холст в раме. И даже с медной табличкой «Э. Волох. Автопортрет. 1998». Кстати, в этом самом чёрном банте. А как вы думаете, где сейчас художник?

Борис Фомич. Настоящий Волох Эдуард Афанасьевич? Во рву, вполне возможно.

Надя. Это где «Заплыв в крепостном рву наперегонки с крокодилами»?

Борис Фомич. Да хоть бы и во рву львином! Главное, что художник не в команде этого «Эдика», иначе тому не пришлось бы выдавать себя за него. И важно вот что: уж очень грубо мужик работает – значит, долго не намерен ломать комедию. Да и не может: любой местный, случайно заявившись... А мы исчезнем. Утром нахожу участкового, подмазываю, чтобы вернуться с ним. Тебе какая задача-то поставлена?

Надя. Прикрыть вас до вашей встречи с Семеном Павловичем.

Борис Фомич. Хм... И шмалять не забоишься?

Надя. Если сумею рукой или ногой дотянуться, и так справлюсь, Борис Фомич. Тем более, если расчёской разживусь... А у вас при себе есть ствол?

Борис Фомич. Держи (*достает из кармана и отдает расчёску*).

Надя. А у вас? Я спрашивала – ствол имеется?

Борис Фомич (*неохотно*). Травматический.

Надя (*убеждённо*). Дрянь игрушка. Вот вы в расстроенных чувствах свою пукалку обнажите, а парень примет за настоящий ствол – и пальнет. Выкиньте лучше.

Борис Фомич. Ещё чего – в милиции зарегистрирован! Теперь о деле. Мы сейчас подъедем и заберем мою супругу.

Надя. Да чего ей станется! Ухажер-то рядом.

Борис Фомич. Нихрена себе шуточка! Он же не знает, что Нелли в моих делах ни бум-бум. Пропадёт моя спящая красавица ни за понюшку табаку...

Надя. Тогда я схожу одна. И выведу вам, так и быть, вашу Аверкиевну.

Борис Фомич. Благодарю покорно за доброе намерение. Только пойдем вдвоём.

Надя. Опасно вам туда возвращаться, Борис Фомич. Если вас захватят...

Борис Фомич. Наивная, она думает, мне приятно будет послушать, чего со мной станут делать, если схватят! Но в том-то и штука, что в одиночку «Эдик» едва ли рискнет. Тем более он не решится, если мы появимся вместе, и ты ни на шаг от меня не отойдешь.

Надя. В этом что-то есть.

Борис Фомич. Покорнейше благодарен за одобрение. Помнишь варняканье про маскарад? Супруга моя ещё Дракулу предлагала пригласить... Я смекаю, что в полночь или под утро (запомятовал я, как оно у вампиров заведено) в гости заявится вся «Эдикова» команда. А до полуночи мы двадцать раз успеем слинять.

Надя. Пожалуй.

Борис Фомич. Послушай, ведь ты бывала в замке раньше. Есть ли там какой-нибудь подземный ход, чтобы можно было попасть вовнутрь?

Надя. Господи, да откуда мне знать? Нас целым классом на экскурсию привозили, мы табуном промчались по залам... Луна взойдет только через полчаса. Если уж входить в замок – то с тыла, со стороны горы.

Борис Фомич. И что за идиот додумался строить замок прямо под горой! На горе достаточно установить самый завалящий миномет, хоть бы и самодельный, из мотоциклетного глушителя – и капут. А ров? Ты про ров забыла.

Надя. Я и половины не поняла, я же блондинка. Только это замок вовсе не военный, и рва со стороны горы просто нету. Мы спрячем вашу тачку в кустах, поднимемся на гору с другой стороны и спустимся к

замку. А там махнем через забор и стремянкой сразу на второй этаж. Вот только надо дождаться, пока взойдет луна.

Борис Фомич. А не можем ли мы дождаться луны, вернувшись на сиденья?

Надя (вздыхнув). Я вот о чем подумываю...

Борис Фомич. Ну?

Надя. Может, этот подставной вовсе и не против Семена Павловича работает. Что, если он пытается как-то замок оттяпать?

Борис Фомич. А кому нужен такой сарай?

Надя. Не совсем сарай. Замок местный помещик Ян-Ксаверий Политковский в двадцатых годах, ещё до Советов, построил. Точная копия одного замка в Англии, в Йоркшире. Это наш дальний родственник, так бабушка рассказывала, что он все деньги семьи бухнул в стройку. Как бы свихнулся на замке. После войны тут был музей, в перестройку его приватизировали сотрудники, да от голодухи и разбежались, один этот чокнутый художник остался и оформил всё на себя. Потом за копейки банку заложил, а вы в кризис за копейки перекупили.

Борис Фомич. Если для тебя это копейки, поздравляю... Тогда вот что мне скажи, аристократка ты наша. Если был тут музей, то куда подевались картины (не мазня Волоха, а настоящие, понимаешь?), мебель антикварная, фарфор? Не прикопал ли все это добро наш художничек, и не с того ли суматоха?

Надя. Если и было чего ценного до войны, так Советы вывезли. Музей-то сделали архитектурный, «Музей усадебной и крестьянской застройки» или вроде того. Чертежи всё больше занудные и муляжи построек, над ними-то горе-художник и трудился. Посмотреть было не на что, полный отстой.

Борис Фомич. Понял. А собака на нас не залает?

Надя. Во дворе? Будку помню, однако собаки сегодня не было.

Борис Фомич. Капут собачке. Лаяла, видно, без конца на нахального самозванца... (*Забирается в салон, укладывается на сиденья в прежней позе*). И уж если нам приходится ждать, пока появится луна, я предлагаю вернуться к нашему предыдущему, ещё вполне безопасному разговору.

Надя (*томно*). Для кого и безопасному, а для бедной, незащитной девушки так даже очень опасному.

Борис Фомич. Знаешь ли, Надя, когда я тебя впервые увидел на той огромной кухне, ты произвела на меня ошеломляющее впечатление. Вот только было оно скорее эстетическим, чем эротическим... Вот не знаю, поймешь ли ты меня...

Надя. Уже поняла, Борис Фомич. (*Втискивается в салон «жука», ложится, слышен свистящий шорох растегаваемой молнии*). Можете слегка поглаживать мой стройный животик. (*Пауза*). Ну как, вдохновляет?

Борис Фомич. О чём речь! Теперь-то я, конечно же, понимаю, что ослепительность твоего блистательного появления на этой грязной кухне...

Надя. Да уж, загадили помещение. Я извиняюсь, Борис Фомич.

Борис Фомич. ...точно соответствуя представлению джентльмена о прелестях блондинки, мгновенно саданула оно джентльмена под дых. Я уж не говорю о сногшибательном сиянии трех декольте...

Надя. Трех декольте? Как это вам удалось столько насчитать, Борис Фомич?

Борис Фомич. Миниюбка давно уже считается тем же декольте, только снизу. А разве открытый по

летнему времени живот – это не декольте посередине прекрасной дамы? Вот только вначале, как только я тебя увидел, то без всяких там отдельностей воспринял, в целом и в совокупности всех твоих прелестей – как легкий солнечный удар или как (с заминкой) если сразу выдуть полбутылки шампанского...

На дя . Кстати о птичках. Тот коньяк мне всё под бок подкатывался. Давайте еще по глотку, пока луна не взошла, а?

Борис Фомич . Ты валяй, булькай, не смотри на меня – я за рулем.

На дя . Вы это серьезно – откуда тут взяться автоинспектору?

Борис Фомич (смущенно). Если серьезно, боюсь запыхаться: ведь на гору придется взойти.

На дя (деловито). Тогда уберите руки. Ваше здоровье, Борис Фомич! (Пьет). И удивляюсь я вам – зачем трудились такую речь произносить? Ведь сами понимаете, что больше вам ничего не светит.

Борис Фомич . (Серьёзно). Ты девка наглая, Наденька, однако кое в чем себя недооцениваешь. Для мужика в моём возрасте иногда и... посидеть рядом с красивой девушкой – уже приключение...

На дя . Полежать.

Борис Фомич . Что? Тогда тем более, – как это вы говорите? – супер.

На дя (с неожиданной грустью). Заканчивается наше с вами приключение, Борис Фомич. Вон уже она всходит, луна. И можно двигать потихоньку...

Декорации светлеют, меняют окраску. Слышны далекие хлопки фейерверка. На верхушках сосен мигают слабые его отблески.

Борис Фомич . А что, по-твоему, означает этот фейерверк?

Надя. Маскарад начинается...

Борис Фомич. Гости уже съехались, кареты и прочие экипажи заполнили двор. Престарелый граф Дракула уселся в темном уголке, потягивая свой коктейль из свиной и волчьей крови. Бродячий еврейский оркестр уже настраивает инструменты. Маскарад начался, и нас просят поторопиться. Хватит, мол, разлеживаться на мягких сиденьях в «жуке»...

Надя. Да ладно уж вам. Десять минут ничего не решают. (Томно). Уболтали вы доверчивую девушку, Борис Фомич.

Издаലെка вместе с хлопками фейерверка раздается:

Червону руту
Не збырай вэчорамаы.
Ты у мэнэ йедына,
Тилькы ты, повир!

Борис Фомич. Тьфу ты! Вот ведь напороочил...
Что это за китч, Надя?

Надя. Кассетник. На батарейках, в общем. Какая ж песня без баяна?

Явление 2

Борис Фомич, Надя, Волох.

Декорация изображает коридор во втором этаже основного здания замка. Между узкими окнами-бойницами стоят рыцарские доспехи на распялках, каждый рыцарь держит в руке подсвечник с горящей свечой.

Борис Фомич распахивает створки крайнего левого окна (огоньки свечей метнулись и чуть не погасли), кряхтя от напряжения, протискивается внутрь.

Борис Фомич (ворчит). И тут совершенно случайно в кустах оказался рояль, а прямо под стеной стре-

мянка... (Оглядывается, пытается незаметно от Нади отдышаться. Присматривается к неровной линии свечей). Так можно и до пожара доиграться. Сожгут игрунчики домовладение.

Надя. Подайте, наконец, руку, джентльмен.

Борис Фомич помогает Наде пролезть через окно. Она, по-прежнему в костюме и гриме Вампиры, пружинисто спрыгивает на пол, поправляет перекосившийся парик, пытается прилепить на место отклеившуюся бровь.

Надя (озабоченно). Нет, так дело не пойдёт, придётся основательно подмазаться. Заскочу-ка я на минутку в свой номер, у меня там зеркало и керосиновая лампа. (Исчезает за кулисами слева, скрипит дверь).

Борис Фомич. О женщины! Хотя... Я бы на твоём месте, красавица, тоже не побоялся бы отколоться – ведь не за тобой идет охота. А сам я в одиночку в свой номер не сунусь, ещё чего: мне моя голова на плечах ещё дорога. Или рискнуть?

Скрип двери. Слева появляется Надя.

Надя (громким шёпотом). Сюда, сюда, Борис Фомич, давайте я и вас переодену. (Утаскивает сопротивляющегося Бориса Фомича влево. Там снова скрипит дверь).

Самый правый доспех рыцаря вдруг шевелится. Ожив, рыцарь, поставив свечу в проем окна, начинает приседать и выбрасывать ноги в стороны, разминаясь. Потом осторожно уходит вправо, там коротко взвизгивает дверь. Почти сразу же взвизг повторяется, а рыцарь быстро возвращается на прежнее место.

Слева появляются Борис Фомич и Надя. Он – в рясе средневекового монаха с капюшоном, надетой поверх его светлого костюма и подпоясанной верёвкой.

Борис Фомич (*пытаясь пальцами причесать волосы*). Что это ты сделала с моими волосами? Кто тебя просил?

Надя. Как есть вы теперь монах, вам без тонзуры никак. А у вас плешь аккурат на этом самом месте...

Борис Фомич. Да кому это нужно – на том ли месте у меня плешь? Почитала бы ты Ясунари Кавабату, где он пишет о красиво облысевшем мужчине. Странно мне, Надя, однако ты ведешь себя так, будто действительно пришла сюда поплясать на маскараде.... Отдай сейчас же мою расческу!

Надя (*недоуменно*). Что? А, расчёска... Да, у меня. Только вам не дам сейчас.

Борис Фомич. Дам – не дам... У тебя с этим как-то сложно получается. Тогда прикрывай мне спину, как договорились. И вперед за Нелли Аверкиевной! (*Борис Фомич и Надя осторожно продвигаются по коридору вправо. На полпути Борис Фомич притормаживает и выталкивает вперед даму. Под ногой у него шуршит. Поднимает бумажку и подносит к свече – именно к той, которую держит оживший было и снова замерший рыцарский доспех. Читает*). «Глубокоуважаемый Борис Фомич! Вынуждены сообщить, что заседание правления...» Мнимый Эдуард уже не церемонится. Содержимое кейса вытряхнул на пол, хамло... Похоже, меня он уже списал. (*Складывает бумажку и пытается засунуть её в карман, она снова падает на пол*). Ну, вперед...

Надя. Тихо-то как...

Борис Фомич. Потому что песни народностей умолкли. Не к добру это... (*Подпрыгивает, потому что очень громко раздаётся*:

Ты у мэнэ йедына,
Тилькы ты, повир!
Ах, моя дрога,
Ты йе тыхая вода
З сыних гир!

Рев записи сменяется шуришаньем иглы, впустую царапаншей пластинку, и сразу же – громкими стонами). Это же Нелли! Это из нашей комнаты! (Бросается вперёд).

Надя. Она там не одна. Не нужно вам туда, Борис Фомич. *(Помедлив секунду, бежит за ним, скрывается справа. Два взвизга двери, щелчок).*

Голос Нади. Это же надо – успел запереться, великий комбинатор! *(Стук в дверь).*

Названные в предыдущей ремарке звуки повторяются в обратной последовательности. Борис Фомич и Надя приносят постанывающую Нелли и укладывают её под открытым окном. У Нелли вечерняя «боевая раскраска» на белом, будто обескровленном лице. Глаза, обведенные чёрными кругами, широко раскрыты, даже выпучены. На всё том же, в Станиславе ещё надетом, белом костюме большие тёмные пятна.

Борис Фомич *(растерян)*. Я перетрухал было, подумал, что кровь – ан нет, пятна воняют наливкой. Нэлли без сознания. То ли «Эдик» вколол ей какой наркотик, то ли оставшегося в крови нембутала оказалось достаточно... Она застонала, потому что испугалась рева музыки. Там в углу валяется автомобильная магнитола с кухонным таймером и с аккумулятором. «Роллейфлекс аутоматик», одним словом... Что бы бедной не вкололи, через три дня после ампулы для неё это яд. Промывание желудка бесполезно, обильное питьё – тоже, да и попробуй сейчас её напоить молоком. Надо

везти в больницу. Только так. Ты обещала мне помочь, Надя. Так ты сможешь спустить Нелли вниз?

Надя (*мягко, с добрым чувством*). Я же обещала, Борис Фомич. Всё уладится само собой, вот увидите. (*Громче*). Вот увидите!

Притворявшийся рыцарским доспехом поднимает обвешанную жестью ногу чуть ли не под прямым углом, делает «правое плечо вперед» и шагает к ним. На ходу он открывает забрало, снимает и бросает на пол шлем, и зрители, несмотря на накладные пластиковые клыки и щёки, намазанные бело-зеленым, узнают в нем Волоха.

Волох. Ну и достали же меня эти бабы!

Борис Фомич (*спрятавшись за Надю*). Следует ли вас понимать так, что вы готовы поменять сексуальную ориентацию?

Волох. Сам ты пидор!

Борис Фомич. Я только высказал предположение... Кстати, хотел бы вас поблагодарить за то, что выключили грамзапись. Нет, и в самом деле, без булды, премного вам благодарен. Я против горского фольклора ничего не имею, но не давал сосредоточиться. Сбивал с ритма – надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду?

Волох. За «пидора» ответишь! Давай сюда свою бумагу – и не тяни, а то хуже будет!

Борис Фомич (*искренне заинтересован*). И что же будет?

Волох. Будто сам не знаешь? Ну, к примеру, утюжком поглажу.

Борис Фомич. Так света же нету.

Волох. Не беда, можно и без электричества. Посмотрим, понравится ли тебе, если у тебя пальчики

по одному станут в другую сторону загибаться! А то подвешу тебя в камине, как кабана – и давай коптить!

Борис Фомич. А кунфу не хо-хо?

Чёрное облако пролетает через сцену, накрывает Волоха, лязгают жестянки. Надя, прикрывая собой упавшего от Бориса Фомича, что-то делает с его головой. Поднимается уже с подсвечником; не торопясь, задувает свечу. Поправляет чёрный парик.

Борис Фомич (*покачивает ошарашено головой*). Ну и ну! Прямо тебе балет. А в детстве мы говорили: «Кино и немцы!».

Надя (*скучно*). Капец графу Дракуле. Вот видите, я же говорила, что всё уладится. Не придётся нам вашу супружницу через окно вытаскивать. А возьмём мы в сарае носилки для навоза....

Борис Фомич (*с усилием мысли*). Какие носилки? Ты и в сарае успела побывать?

Надя (*уговаривает, будто ребенка*). Всё уладилось, Борис Фомич. А теперь я должна передать вам поручение Семёна Павловича. Он просил вас отдать мне известный вам документ для передачи ему.

Борис Фомич (*мягко*). Мне он такого поручения не подтверждал.

Надя (*терпеливо*). Он и не мог подтвердить. У Семёна Павловича нет связи с вами. А я должна и сообщение передать, и принять у вас документ.

Борис Фомич. Извините, Надя, но я не могу этого сделать.

Надя. Почему бы это?

Борис Фомич. Боюсь, что я не обязан вам объяснять такие вещи. Дело касается только Семёна Павловича, моего зятя, и меня. Документ я отдам лично Семёну Павловичу. Извините, Надя, но мне

удивительным кажется и то, что он проболта..., что сказал вам об этом документе.

Надя. Вот видите, мне Семён Павлович доверяет! А почему не доверяете мне вы, Борис Фомич? (*Проникновенно*). Разве не отдала я вам самое дорогое...

Борис Фомич (*покосившись на жену, торопливо*). Да, да, самое дорогое, что было у вас в сумочке! Вы поделились со мною жвачкой...

Надя (*со слезами*). Разве я не убила только что человека, чтобы защитить вас? Еще статью, не дай бог, схлопочу...

Борис Фомич. У меня предложение, которое вас, я надеюсь, устроит. Давайте поедem на встречу с Сенькой вместе... То есть все вместе.

Надя (*после паузы, быстро повернув голову в сторону окна*). Ой, а кто это там по стремянке лезет? (*Борис Фомич отвлекается – и вот уже голова его в захвате у Нади*). Эй, дуболом, просыпайся!

Борис Фомич (*хрипит*). Вот и доверяйся после этого крашеным блондинкам... Век живи, век учись...

Мнимый Волох встряхивается, крутит головой, усаживается на полу и начинает срывать с себя доспехи. Под ними чёрный спортивный костюм.

Волох. Вот ведь блин – это у неё понарошку называется! Чуть шею не свернула, спортсменка долбаная! И на кой хрен было тебе разводить эти фигли-мигли? Так он и отдал тебе бумагу на блюдечке с золотой каёмочкой... Клиента надо было при первом удобном случае вырубать и допрашивать – уже далеко кантовались бы от этой вонючей развалюхи, если бы послушала меня...

Надя. Мораль читать – не в твоём стиле, дорогой. Забери у него бумагу, пока я держу. И ты же слышал: этот

старпер назвал меня крашеной блондинкой. Крашеной! Меня, натуральную! Стало быть, я перед тобой ни в чём не виноватая.

Борис Фомич (*хрипит*). «Дорогой»? О! «Коварство зрю я въявь, где ж обрету любовь»?

Волох встаёт и, волоча за собою жестяную поножь, направляется к Борису Фомичу и Наде. По дороге останавливается, шарит у себя на темени, ухватывает за крыло и срывает чучело или муляж нетопыря. Возмущенно рассматривает. Бросает на землю, топчет.

Волох. У-у-у, интеллигенттики! Массовики-затейники! А ты, мужик, – заговариваешься, что ли? Игры кончились, слава богу. И зачем ты натянул на себя этот дурацкий мешок?

Борис Фомич (*показывает на Надю*). Я тут ни при чём, это она вот на меня одела.

Волох (*Наде*). Ну?

Надя. У него припрятан травматический, а так ему труднее было бы достать. А чем тебе не нравится? Прикольно ведь! (*Хихикает*).

Волох. Будто нельзя по-простому, без этого твоего пижонства... (*Борису Фомичу, задушевно*). Отдай бумагу по-хорошему. А по-плохому... тебе не понравится, гарантирую. Если твоя баба полудохлая – думаешь, ей так уж ничего и нельзя теперь сделать, а?

Борис Фомич (*хрипит*). Вы предлагаете сделать Нэлли Аверкиевне педикюр?

Волох (*бьет Бориса Фомича под дых*). Это тебе за педикюр. Раз. Это за маникюр. Два. Это за чемоданы. Три. Это за твой наглый базар. Четыре. Это за твою отвратную бабу... (*Останавливает кулак в воздухе*). Нет, в этом деле ты сам себя наказал, мужик. (*Разжимает кулак и легко шлепает Бориса Фомича по тонзуре*).

Борис Фомич. Ваши... грязные намеки... неуместны.

Надя. И как вам не стыдно, Борис Фомич? Солидный мужчина, казалось бы, а ведете себя, как мальчишка. Вот вы сейчас дергались, сами себе чуть шею не сломали. А если я теперь локтем придавлю, хоть самую малость... В общем и целом, судя по базару моего бой-френда, в ваших вещах этой бумаги нет. Отдайте её добром, Борис Фомич.

Борис Фомич (озабоченно). А в машине смотрели?

Надя. Отдавайте.

Борис Фомич. У меня к тебе небольшая просьба. Будь добра, когда эта бодяга закончится, помоги мне заново уложить чемоданы. Твой приятель разбросал тряпки по всему номеру. Нелли и без того с меня за них голову снимет...

Волох и Надя переглядываются. Волох прикладывает ладонь ко лбу Бориса Фомича.

Волох. Ты смотри, лоб не горячий... Придуривается, поц! (Замахивается).

Надя. Не нужно, дорогой – ему ж ещё в морг на вскрытие. И уже имеются лишние синяки на животе. Лучше обшмонай клиента. Мобильник в кармашке на правой поле пиджака, «Макарыч» спереди за ремнем. У меня от его железки на животе уже тоже, наверное, синяки...

Борис Фомич. Чёрт с вами, я отдам.

Надя. Без фокусов!

Борис Фомич (изворачивается, чтобы достать файл из-под подкладки). Какие фокусы? Я давно понял, что вы заодно. Твоему кавалеру всю эту рвотную чушь про вампиров самому никогда бы не придумать. Кому из вас отдать бумагу?

Волох. Я возьму. *(Волосатая лапа выдергивает сложенную вчетверо бумажку в прозрачном пластиковом файле, Волох подходит поближе к остающимся свечам)*. Что ты мне всучил, падло? На кой ляд мне договор купли-продажи на твой сарай?

Борис Фомич. А разве вы не замок себе хотели вернуть?

Волох. Побазарь мне ещё!

Борис Фомич *(почтительно)*. Там с другой стороны: нужно вынуть из файла.

Волох. Кому надо, разберутся. Ну а ты, если наколол, берегись. *(Прячет файл за пазуху)*. Тогда уж точно, без понтов, долго не проживешь. Да я тебе, мужик, уже подложил свинью: висела у тебя на шее одна ведьма, а теперь две. *(Разворачивается, идёт по коридору вправо)*.

Надя *(жалобно)*. Ты куда, Одиссей?

Волох *(останавливается, оборачивается, ухмыляется. Учитывая, что он забыл вынуть клыки и на лице остается краска, ухмылка выглядит весьма экзотической)*. До жены, до детей. Счастливо оставаться, Пень-те-в-жопу.

Борис Фомич. Очень остроумно! К тому же, как мне показалось, вы намекаете на анальный секс. Сомнительное, доложу я вам, удовольствие.

Надя. Да ладно, мэн, я счастливо останусь, только отдай мне бумагу. *(Борису Фомичу)*. А вы заткнитесь, пока шею не сломала. Вас это не касается.

Волох. По мне, мужик как раз по делу выступает. *(Делает неприличный жест)*. Это у тебя клёво выходит, когда ты после всего выдаешь: «Благодарю вас». Вот и тебе спасибо, что подмогнула.

Надя. Пожалуйста, дорогой! (*Морщит лицо, прищуривается. Мгновенно изогнувшись, задирает подол платья (высоко на правом бедре обнаруживаются чёрные ножны, закреплённые на двух ремешках), взмахивает правой рукой – и в воздухе свистит.*).

Замок на шее Бориса Фомича слабеет, он выдергивает голову, катится по полу в сторону Волоха. Вскрикивает, уже с пистолетиком в руке.

Волох, с ножом, торчащим в горле, медленно опускается на колени. Смотрит он на Надю – и с возмущением, хотя насчёт выражения лица его можно и ошибиться: клыки, грим... Борис Фомич прячется за Волохом, приседая. Пистолет держит направленным на Надю.

Надя. Опустите свою пукалку, Борис Фомич, и протяните её мне рукояткой вперёд.

Борис Фомич (*с надеждой*). А потом снова в койку?

Надя. В койку?! Ой! (*Это Волох обрушился – таки лицом вниз*). Отойдите от него. (*Достает расчёску и делает первый лёгкий, почти незаметный шагок в сторону Бориса Фомича*).

Явление 3

Надя, Борис Фомич, Нелли.

Борис Фомич. Надя, не приближайся, а то выстрелю! Это не травматический...

Тут мобильник в кармане Бориса Фомича выдаёт первые такты «Канкана» Оффенбаха, Борис Фомич подпрыгивает, а ствол его «Макарыча» опасно отклоняется. Нелли вдруг поднимает голову, осматривается и укладывается снова под стеной.

Надя. Достань мобилку, козёл пузатый! Если это твой Сенька, вызови его сюда.

Борис Фомич. И так хороша у нас компашка – хладный труп и Вампира. Не подходи! *(Большим пальцем сдвигает флажок предохранителя и передергивает затвор. Мобильник умолкает).*

Надя *(медленно, злоеце)*. Вы с Сенькой – старые, вонючие, грязные козлы. Вам кажется, что вы ещё – огого! – какие молодцы, а вы уже полутрупы. Потому от вас и воняет, старперы. Посмотрел бы ты, клоун, на себя тогда, на сиденьях, тебя бы вывернуло. А я вот доберусь до своего ножичка и сделаю тебя стройненьким, как доска, со всех сторон у тебя лишнее сало пообрезаю. Ещё просить будешь, чтобы добила!

Борис Фомич *(неспешно)*. Ты меня назвала клоуном... Как-то раз поверили мы с Нелли рекламе TV и поехали на пригородную ярмарку. Что тебе сказать? В общем и целом, затея сельской остроты. Запомнилось только, как одна баба продавала кукол, наверное, залежалый товар, из сельпо еще. Клоун побольше с этикеткой «Клован, 50 рублёв», под клоуном поменьше – «Полуклован, 25 рублёв». Так что я согласен разве что на полуклована. Кто спорит, может быть, оно и смешно, когда животик у мужчины в решительный момент движется, подлец, сам по себе... Зато в главном-то я там, на сиденьях «жука», показал себя молодцом – и не спорь, Надя! А вот ты и в самом деле похожа на настоящую клоунессу – да погляди ты на себя!

Надя. Сам ты дурак! Меня твой пустой трёп просто из себя выводит... Отойди от жмура, ты, козёл!

Борис Фомич. Мне жаль, Надя, что ты начала пренебрегать правилами вежливости, которая в любой ситуации... Господи, что я несу? У тебя, бедняжка, сейчас, наверное, нервный срыв. Едва ли тебе приходилось до этого убивать людей, а милый твой дружок мёртв уже не понарошку: вон сколько кровищи из него натекло.

Впрочем, не важно... Я вспомнил о чём-то действительно важном... Вот... У меня не травматический. То есть был у меня такой, а я отдавал его нашему сантехнику сточить бугры в стволе под боевые патроны. Кучу денег стоило, и патроны дорогие, страсть!

Надя. Нет, я больше этого не вынесу!

Борис Фомич (*смутившись несколько, поспешно*). Я знаю, что во второй раз он может и не выстрелить, а если совсем уж, фатально не повезет, то ствол разорвется уже при первом выстреле, однако пуля всё равно попадет туда, куда я прицелился...

Надя. Ты, козёл, не способен прицелиться... Отдай пукалку и отойди!

Борис Фомич. ... в чистый девичий лоб. Не шевелись!

Надя (*медленно, осторожно делает следующий шаг вперед. Лицо её сморщивается, глаза прищурились*). Нет, я передумала. Лучше я тебя прикончу этой расческой. Поверь, это куда больнее, чем острым ножом.

Борис Фомич. Стой! Стрелять буду!

Надя бросается вперед. Борис Фомич медленно тянет за спуск. Пистолет будто взрывается у него в руке. Затвор тут же заклинивает. Надя падает. Борис Фомич, чертыхаясь, передергивает затвор вручную, обтирает «Макарыч» подолом Надиного плаття, зажимает его в безвольной кисти Волоха и, зажмурившись, надавливает на его указательный палец. Второй выстрел – с потолка откалывается кусок штукатурки и сыплется пыль.

Нелли стонет. Борис Фомич подпрыгивает. Присматривается сперва к Наде, потом к супруге.

Нелли. Борис, прекрати, наконец, свои безобразия.

Борис Фомич. Надеюсь всё же, мать, что на тебя в этой суматохе никто не наступил. Здесь так грязно... (*Высвобождает из Надиной руки расчёску, торопливо причёсывается, бормочет*). Ну прямо, как голый, с этой её тонзурой. (*Торопливо развязывает верёвку, стягивает с себя ряску*). Цепляйся, мать, за меня, я отведу тебя в машину. Господи, чуть не забыл... Минутку. (*Достаёт у «Волоха» из внутреннего кармана злополучный файл, критически осматривает кровавые пятна на его поверхности, вынимает из него бумагу, прячет к себе, а файл разрывает и бросает. Подхватывает Нелли и подтаскивает её к левой кулисе. Бормочет*). Ты не в том состоянии, мать, чтобы оставлять тебя одну надолго. Посиди-ка здесь ещё немного, пока я соберу чемоданы. (*Уходит. Быстро возвращается. Останавливается посреди сцены, ставит чемодан*). Уф... Ведь просил же эту строптивую красотку помочь мне собрать чемоданы. Она не согласилась. Наверное, из-за того, что пришлось бы укладывать и Неллины тряпки ... А своё барахлишко я бросил, как Наполеон армию на Березине. И нечего жалеть! Будет повод обновить гардероб, а Сенька мне на это благородное дело подкинет. И не заняться ли мне, наконец, гимнастикой, не начать ли бегать трусцой по утрам? Идея! Сначала побегать, а уже потом заказывать у Тищенко новые костюмы. (*Нелли громко стонет. Борис Фомич вздрагивает. Подходит к Нелли, наклоняется над ней*). Понял, мать, сейчас заткнусь. Вот только надо придумать, как дотащить до машины, не потеряв ничего по дороге, тебя и твои чемоданы. Придумал! Сделаю так же, как при эвакуации из Питера с Октябрьского вокзала после той замечательной командировки. Когда

же это было? Наверное, в середине восьмидесятых. Посадка заканчивалась, оставалось несколько минут, а я спокойно, методично выполнял свою задумку. Оставлял на месте две сумки и, сохраняя с ними визуальный контакт, то есть без конца оглядываясь, тащил вперед чемодан. Потом бегом возвращался за сумками и заносил их вперед, подальше, однако не упуская из виду чемодан. Потом опять... Вот только почему я не приехал на такси и не взял на вокзале носильщика? Ах да, продул все деньги, и на дорогу занял пятерку у милой Светы, пообещав выслать из Москвы в Рязань телеграфом. Потом постеснялся отправлять на почте такую сумму, да... Надо было преодолеть стыд и отправить. Что Света обо мне подумала? (*Смотрит укоризненно на Надю*). Какие девушки были тогда! Бескорыстные, заботливые, они интересовались мною – мною, таким, каким я был, а вовсе не из-за каких-то чужих счетов... Ну, ладно (*подхватывает Нелли под руки*), давай-ка я тебя подтащу поближе к лестничной площадке, а потом вернусь за чемоданами. (*Уходит, возвращается. Явно оттягивая возню с чемоданами, осматривается*). «О поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями?» А и в самом-то деле, кто? Философский вопрос, если разобраться. (*Обращает внимание на файл*). Какого чёрта я его здесь бросил? Ведь могут остаться отпечатки (*вытирает файл, складывает вчетверо и суёт в боковой карман пиджака*). Ну, пора. Посидеть, что ли, на дорожку? (*Делает вид, что хочет присесть на труп Влоха, и скряхтеньем разгибает ноги. Уносит чемоданы*).

Явление 4

Борис Фомич, Нелли,
настоящий Волох, висящий на люстре.

Декорации представляют собой внутренность донжона. Это круглый зал, освещенный двумя свечами подсвечника в стиле модерн, стоящего на полу рядом с Нелли. Она полулежит, прислонившись спиной к стене, Борис Фомич склонился над нею. Рядом с ними покачиваются на сквозняке две оборванные бечевки. На остальных – холсты без рам и графические листы, пародирующие примитивы современных эпигонов Анри Руссо. Посередине на роскошной люстре, также в стиле модерн, висит муляж повешенного, усатого черноволосого мужчины в грязной белой рубашке, семейных трусах и в шерстяных вязаных носках на резинках типа подтяжек. Это настоящий Эдуард Волох. Просьба к декоратору: несмотря на то, что персонаж пьесы относится к нему, как к всамделишному трупю, а потом, как к живому человеку, муляж ни в коей мере не должен быть «реалистичным», лучше сделать его гротескным: слишком длинные, шевченковские, усы, вислый нос, карикатурно большие ступни.

Борис Фомич (*спиной к повешенному, уstraивая Нелли поудобнее*). Посиди, мать, отдохни. Пыль? Я согласен, что пыль, но костюм твой всё равно придется выбрасывать. Нет, говоришь? Хорошо, отдадим в химчистку. А пока давай дух переведем оба. (*Поворачивается в сторону люстры*). Эй! Да это не тот! Ты кто такой, чёрт тебя задери? И почему ты натянул веревку, будто свинцовый?

Нелли (*не открывая глаз*). И почему вы все так громко кричите?

Борис Фомич (*сбавив тон*). Я же мог на всю оставшуюся жизнь сделаться зайкой. И посмотрел бы я, мать, как бы ты завизжала, если бы не была в отключке. Да это же самозванец, там на люстре! В смысле, что живой... То есть был раньше живой, а теперь кто он

такой? Труп, вот кто, настоящий труп... (*Представляя его Нелли*) Рекомендую, дорогая – настоящий Эдуард Опанасович Волох, художник-примитивист и несчастливый предприниматель... (*Присматривается к трупу*). Вот только если ты повешен, то почему, друг мой, ты не высунул язык? Нет, я бы мог поверить, что ты пытаешься поддерживать традиции порядочности и благопристойности, всё еще живые в некоторых кругах провинциальной интеллигенции... Однако против природы не... (*Звучат первые такты «Канкана» Оффенбаха. Вздрагивает, потом достает трубу. Откидывает крышку*). Слушаю вас.

Голос Семена Павловича. Аллè!

Борис Фомич (*значительно*). «А мы тут плюшками балуемся!» (*Ворчливо*). Ну, наконец...

Голос Семена Павловича. Ты где?

Борис Фомич. Охренел?

Голос Семена Павловича. Похоже на то... «Пивком запивайте».

Борис Фомич (*язвительно*). Покорнейше благодарю за помощницу.

Голос Семена Павловича (*после паузы, наполненной эфирным треском. Устало*). Смотровая площадка в десяти кэмэ на восток от твоего местопребывания. Через два часа. Пока.

Борис Фомич. Пока. (*Отключив мобилку, бормочет*). Конспиратор хренов! Сенька, стало быть, свободен и к встрече готов. «На восток» понимай как «на запад», «в десяти километрах» – делим на два, «через два часа» – через час... Времени у меня ещё вагон. Не люблю оставлять за спиной неразгаданные непонятки... Ведь буду потом мучиться, вспоминать без конца, голову ломать... Знаю ведь про себя. (*Решившись, подходит к трупу с подсвечником и, уцепившись за*

носок двумя пальцами, разворачивает покойника к свету. Присвистывает). Да ты, друг мой, на лямках ви-
сишь! Да ты к тому ж ещё тёпленький! (Морщась, но уже
смелее хватает за руку, ищет пульс). Да ты вообще
ещё живой!

Нелли (не открывая глаз). Эта твоя синяя
ромашка – тоже дерьмо, но что-то в ней есть...

Борис Фомич (ворчит) На три бакса берлин-
ской лазури – вот что там есть, мать.

Нелли (по-прежнему). Так ты, Эдик, про Шамя-
кина и не слышал? Ну, чернозём...

Борис Фомич. А я что говорил?... (Уже смелее
снова разворачивает к себе тело повешенного, успевшее
вернуться в прежнее положение). Уж если ты, Эдуард
Опанасович, жив, ты мог согласиться повисеть на лю-
стре шутики ради только после того, как тебя накололи
наркотиком... Или, возможно... Так, что позволь поискать
следы уколов на твоих бледных бедрах, украшенных
редким шерстяных покровом. (Сморщив брезгливо нос,
поочередно, задирает полы семейных трусов Волоха).
Сюда не кололи... Странно. (Выясняется, что осмотру
верхней части тела мешает небольшой рост Б о р и с а
Ф о м и ч а). Пойти, что ли, табуретку поискать? (Уходит
вправо, унося с собою подсвечник. Пауза).

Нелли (в полнейшей темноте, повозившись).
Нет, я согласна, что спать без подушки на твердом ма-
траसे полезно для позвоночника. Да только в гробу я это
видала – так страдать! И даже заради своей красоты.

Борис Фомич. Безобразие какое! (Пауза.
Приходит с табуретом – типичным казарменным, с
дырой для переноски посредине). Ничего себе – прогу-
лялся за табуреточкой! Какое тут все-таки хамьё! Ну, от-
рубил ты собаке голову, так зачем же ещё компоновать
из этого натюрморт: голова на блюде, как у Иоанна

Крестителя, кровавый топор рядом и гранёный стакан с собачьей кровью? Впрочем, крови в стакане на доньшке – и как быстро успела высохнуть, просто удивительно! (*Поставив подсвечник на пол, заботливо усаживает жену, потом устанавливает табурет возле повешенного и неловко взбирается. Бормочет*). Рубашка до того заношена, что Эдуард побрезговал ею... (*Выпрямившись наконец, отшатывается*). Вот это что называется перегар – в парня влили не меньше бутылки вишнёвки!

Нелли (*по-прежнему*). Я ничего не имею против джина: ведь что ни говори, он всё-таки подбадривает.

Борис Фомич. Как интересно... А ты, парень, повиси пока. Протрезвишься – авось, сам слезешь. А не то утром придет почтальон или молочница, а жив буду – и мы с участковым. Однако и выдал же я – молочница придёт! Что значит, засыпаю... Пойдём, мать... (*Утаскивает Нелли влево. Через некоторое время (более короткое, чем на это потребовалось бы времени в действительности) слышится стук дверцы, затем звук стартера и удаляющийся шум двигателя*).

Явление 5

Семён Павлович, затем Борис Фомич.

Декорации первого явления первого действия, только на месте «жука» стоит фундаментальный черный джип. Габаритные огни не горят. На узкой подножке дремлет, сидя, Семён Павлович. За сценой справа возникает шум движка, далёкие отсветы фар движутся по джипу, стучит дверца. Семён Павлович поднимает голову. Справа появляется Борис Фомич.

Семён Павлович (*медленно поднимается с подножки, растирает поясницу*). Явился, не запылится! А баб куда подевал?

Борис Фомич (*несколько обижен*). Нелли в машине. Никаких других женщин не имеется. (*С чувством*). Давай, что ли, обнимемся, затёк!

Семен Павлович. Каким ты был, таким ты и остался – сентиментальный старый хиппарь!

Обнимаются, похлопывая друг друга по спинам.

Борис Фомич. Однако же и силен от тебя, Сеня, походный-то дух! Похоже, Жан за тобой совсем уже не смотрит...

Семен Павлович. Жан... – ты о каком Жане?

Борис Фомич. Да о холуе твоём! Забыл, что ли?

Семен Павлович. А... Вот о каком ты Жане... Тот Жан рассчитался. Еще в Праге. Он, видите ли, и представления не имел, что меня наши ханжи объявили в розыск через Интерпол.

Борис Фомич. Вот, значит, каким образом...

Семен Павлович. Чмо швейцарское этот твой Жан! Я-де в лучших домах, для меня ваши деньги не главное... Срать я на него хотел! Кто спорит, удобно, когда тебе пиджак подадут в рукава, да вот только своим «кофе в постель» достал он меня! У человека после вчерашнего мочевого пузыря чуть не разрывается, ему необходимо заодно и проблеваться, а потом добраться до бутылки с огуречным рассолом...

Борис Фомич. Актуально.

Семен Павлович. ...а этот чистоплюй уже в галстук и лезет со своим кофе и круассаном! И ведь не бросишь столик ему в бритую морду – профсоюз у него! (*Другим тоном*). Ты что ж это стоишь, как засватанный? Садись (*показывает на подножку*), не стесняйся.

Борис Фомич (*присаживается*). Ты раздражен, Сеня, я понимаю, но не кричи так, пожалуйста.

Потому как Нелли может очнуться и начать свои милые глупости – тебе же хуже будет... Ты не сердись на меня, что опять спрошу. А где Петро твой? Отошёл в лес отлить? А как же славный шоферский обычай?

Семен Павлович. Разве можно мне не сердиться, если ты со мной непонятками говоришь? Под утро, вторую ночь не спавши, неопохмелённый, я терпеть ненавижу долбанные загадки разгадывать! (*Борис Фомич жестами показывает, о чём речь. Семён Павлович успокаивается*). Петро смылся внагряк от меня в Станиславе. Ну, он за это ещё ответит... Ничего, я вспомнил молодость – и дорулил же сюда сам! Найму себе другого водилу, хотя второго такого, как подлец Петька, не найдёшь. Мы же с ним от самого Будапешта петляли, как зайцы. От вертушки ушли!

Борис Фомич (*недоверчиво*). Ну ты даёшь, однако... «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...» Надо же – и от вертушки?

Семён Павлович. А может быть, у меня крыша (*показывает*) и весь кузов – из слоистого пластика по технологии «Стелс» – и в радаре меня не видно! Рассекаешь?

Борис Фомич. Нихрена себе!

Семен Павлович. Ну, садись, рассказывай. (*Деловито*). А когда Гоноратка-то подъедет?

Борис Фомич. Гоноратка? А, вот ты о ком... Ты, по пьянке или разнежась, проболтался ей обо мне, о твоём человеке-футляре...

Семен Павлович. Лучше, Боря, называть нашу систему сдвоенным центром...

Борис Фомич. Нехрен мне зубы заговаривать! Было ведь? То-то... Ты сам послал её ко мне. Прикрывать, блин! Вместо этого она стакнулась с каким-то бандюганом, я так понимаю, из конкурирующей

организации, и они устроили целый спектакль, чтобы отобрать у меня твою бумагу. Однако я ушёл – и вот он я.

Семен Павлович (*насупясь*). Изложи подробнее. А Гоноратка мне нужна прямо сейчас. (*Почёсывается в неприличном месте, почти по-собачьи*). Здесь и сейчас.

Борис Фомич. Ну уж нет, вынужден тебя разочаровать. Ты приготовься к худой вести, бедный мой Сенечка. (*Выдерживает паузу*). Твоя Гоноратка пребывает в виде, пригодном разве что для некрофила. Пришлось мне в порядке самообороны...

Семен Павлович. Излагай, говорю.

Борис Фомич. Ну, если покороче... Пока я отлучился, они напоили Нелли (а она только что ампулу себе вырезала) и вывели её от игры. До сих пор в отключке, только порою говорит свои милые глупости. А твоя, как я понимаю, очередная подстилка, чтобы показать, какая она тебе вся из себя такая верная, и выманить у меня бумагу (она-де сама передаст), сделала вид, что сломала шею своему бой-френду, тому бандюгану.

Семен Павлович (*сумрачно*). И под тебя тоже подстелилась, небось?

Борис Фомич (*с облегчением*). Вот – ты сам сказал! Я не виноват.

Семен Павлович. Изложи подробно.

Борис Фомич. Я, конечно же, ни в какую, а она поганно так усмехается – и мне: «Я не каждый день бандитов мочу! Мне нервы успокоить надо!». А я ей: «Тогда почему бы тебе не трахнуть этого твоего мертвеца?» На что мне Надя: «Ещё чего! Да где вы такое видели, Борис Фомич?». – «В кино, – говорю, – Наденька».

Семен Павлович. Стоп! Ты о какой это Наденьке мне рассказываешь?

Борис Фомич. Да твоя же Гоноратка девушкой Надей назвалась, Сеня.

Семен Павлович. А почему ты с нею на «ты»? Ты ведь позволяешь себе говорить «ты» только тем бабам, с которыми спал!

Борис Фомич *(с невинным видом)*. А разве я с нею не спал? Ведь уже признался...

Семен Павлович. Так ты же её трахнул позднее!

Борис Фомич. Позднее, согласен, однако же рассказываю сейчас, то есть уже после... э-э-э, совокупления. *(Семен Павлович досадливо отворачивается)*. Пришлось, в общем, согласиться, а то, думаю, ещё и мне шею сломает. Каприз леди! И вот затаскивает эта тигрица меня в свою комнатку, а номер у неё «6666» – ты представляешь?

Семен Павлович *(скептически)*. Представляю. Келья бесовки. Похоже на эту сучку.

Борис Фомич. Затаскивает к себе в логово и начинает раздевать. Уже стащила с меня рубашку и майку, когда я опомнился и опять надел пиджак. Так, в пиджаке, и...

Семен Павлович. Прекрати! Ненавижу эту самопальную порнуху! Ладно, что бабы без конца языками чешут про траханье, так теперь еще и мужики моду взяли...

Борис Фомич *(обижен)*. Да какая еще порнуха? Окстись, Сеня, в пиджаке твоя бумага была защита. И, кроме того... *(Мнётся)*. Когда был я помоложе и беден, тогда голый смотрелся лучше, чем одетый, теперь дела обстоят совсем наоборот. И должен же был я высказать к девушке хоть немного уважения... Хотя и то взять, что она меня подсаживала, когда мы перелезли через забор!

Семен Павлович *(недоверчиво)*. Ты это о чём?

Борис Фомич (*на ухо, громким шепотом*). Мой живот.

Семен Павлович. (*Вытаращившись сначала на собеседника изумленно*). Давай всё-таки подробнее. Можешь и с порнухой. Всё равно ведь заливаешь.

Борис Фомич. Я заливаю? А мне оно и расхотелось, вдаваться в эротические подробности. В общем же и целом, я боялся, что меня хватит инфаркт, а она после всего и говорит: «Благодарю вас».

Семен Павлович. Черт! А ведь в чём-то ты не врёшь...

Борис Фомич. И вот, не успел рассеяться перед моими глазами мерцающий розовый туман, как вижу: распахивается дверца одежного шкафа, и появляется из неё давешний гигант, будто бы уже замоченный Надей. Ага, думаю, так вот куда выходит подземный ход! И тут Надины ляжки вдруг обхватили мою шею...

Семен Павлович. Так вот когда ты словил кайф, старый ты паскудник!

Борис Фомич. Если бы! (*Высокопарно*). Ведь эта пленительная плоть тут же затвердела – и мне уж не до нежностей стало. В общем, пока предательница держала меня, её оживший бой-френд вырвал из подкладки моего пиджака твою драгоценную бумагу. И сразу же решил линять, на прощанье обсмеяв твою подружку. Не в добрый час!

Семен Павлович. Да уж, с Гонораткой шутки плохи!

Борис Фомич. Она тут же разжала ноги, дала мне по рукам (оказалось, что я с перепугу продолжал держаться за её бархатные грудки), выхватила из-под матраса нож – чуть ли не десантный тесак – и как метнет... В общем, на сей раз зарезала мужика без будды.

Семен Павлович. Гм. Ты хоть на этот раз проверил его?

Борис Фомич. О чем говорить? Мертвее не бывает! Кровищи столько, будто кабана резали и ведро забыли подставить. И не до поисков у него пульса мне тогда было, Сенечка. Ведь замок на моей шее расслабился, я выдернул голову и скатился с кровати. Успел найти на полу, в куче одежды, свой травматический и передернуть затвор. Забыл я тебе сказать, что отдавал его ребятам на Петровке, чтобы расточили ствол под боевой патрон. Надеялся, два-три выстрела выдержит... Но я её предупредил, что у меня настоящий, ты не думай.

Семён Павлович. Всё одно ненадежно оно как-то... И зачем это делать самому? Так не принято теперь.

Борис Фомич. А она на меня со своим тесаком. Ну и пришлось (*пауза*) всадить пулю именно туда, куда прицелился – в девичий лоб, покрытый нежными розовыми прыщиками. Потом пукалку обтер платком, сунул в руку мертвецу и ещё одну пулю вклеил в потолок.

Семен Павлович. Лихо управился, коли не заливаешь. Только не рассек я, зачем ты свой травматический оставил, ну тот переделанный, если он за тобой числится...

Борис Фомич. Да мой, в милиции зарегистрированный, дома лежит! А этот я зимой, под Новый год, в снегу нашел.

Семен Павлович. Удивил ты меня, Боря! Далеко бы ты пошел, кабы не лень-матушка... Глядишь, в киллеры бы выбился. Гони теперь список.

Борис Фомич (*облегченно вздыхает, достает из пазухи заветный файл, теперь в свою очередь спрятанный в зелёный пластиковый конверт. Бубнит вполголоса*). На файле пальчики и немного крови этого са-

мого «Эдика». Может пригодиться. В файле листок с договором купли-продажи – ксерокопия, для блезиру только. Подержи листок в теплой воде, он расклеится на два, второй – твой. Напечатал на лазерном принтере, не смоеется. Уф...

Семен Павлович. В компе и принтере ничего не зацепилось? И вот что – комп у тебя подключен к Интернету?

Борис Фомич. (*Живым голосом*). О чем речь! Да этих игрушек уж и нет среди нас.

Семен Павлович. Нет среди нас, говоришь... Скажи, Боря, а Гоноратку...

Борис Фомич. Кого? А, вспомнил...

Семен Павлович. ...совсем уж нельзя было привезти сюда Гоноратку, чтобы мы вдвоем с нею разобрались?

Борис Фомич (*отодвигается*). Да за кого, мил друг Сеня, ты меня принимаешь? Я тебе кто – Джеки Чан какой? Да она бы меня одной левой! Скажи лучше – как это ты с нею лопухнулся? Шифр наш сучке доверил!

Семен Павлович. Ты знаешь, до сих пор не верится. Хотя – бабская душа потёмки...

Борис Фомич. Уж не оскорбил ли ты, мил друг, чем покойницу-то? По женской части, а?

Семен Павлович. Может, и ляпнул ей чего ненароком... Но девка битая, Крым, Рим и медные трубы прошла. Чем такую обидишь?

Борис Фомич. Мы тут, Сеня, кое-чего недодумали. Голова уже не варит...

Семён Павлович. Ага, дошло до меня на седьмой минуте: если она ликвиднула бойца, с которым вместе тебя обложила, возможны варианты.

Борис Фомич. Именно! И первый: её, девку

твою, перекупили другие твои конкуренты, тебе пока неизвестные...

Семён Павлович. А что? Теоретически – вполне...

Борис Фомич. Второй: она сама решила всю нашу деньгу хапнуть. К тебе втерлась в доверие, охмурила. Ты сам послал её ко мне. Прикрывать, блин! Она из меня информацию выдавлиывает, тебя убирает, а того проще – обводит тебя, как Фетисов защитника, и катит по маршруту чистить счета...

Семён Павлович. А знаешь, на неё похоже. Эта бы решилась... Самомнение у Гоноратки офигенное. Я было над «Дракулой», фильмецом штатовским, похихикал, так она меня с грязью смешала, сатанистка хренова! На карате год походила, так ей уже и море по колено. Она, покойница, когда ещё в древнейшем ремесле подвизалась, нос задирала так, будто только для себя трудится, для собственного удовольствия. После всего «Благодарю вас» говорила, можешь ты себе такое представить?

Борис Фомич. (*Исподтишка присматривается к другу*). С трудом. Я, ты знаешь, в некоторых вопросах человек старомодный. А ты, Сеня, позволь уж сделать тебе замечание, излишне рискуешь. Даже и сейчас. Окажись кто другой на моем месте... Столкнул бы тебя, сонного, с машиной в пропасть, а сам спокойно поехал бы по «Надькиному» маршруту.

Семен Павлович. Кто другой, Боренька! Да только не ты – человек замечательно ленивый, редкой порядочности и преданный родственным узам! Вспомни, как ты усмирил свою крикливую супругу, когда поддатая Лора привела к вам меня, влюбленного вусмерть, со всем недвижимым и движимым в одном чемоданчике и почти твоего ровесника. Как мы умудрились с тобой ужиться в двухкомнатной

квартирке, как унимали от ссоры баб и – сам погибай, а товарища выручай! – прикрывали друг друга. Я, Боренька, конечно, прошу у тебя за это прощения, но всякий раз, когда начнет тоска донимать, не перечитываю я теперь «Женитьбу Фигаро», а ложусь на диван, ставлю рядом на пол шампанского бутылку и припоминаю – в известных от тебя подробностях – твой роман с Нелли. Как ты боялся к ней подойти и только таскался за ней по пятам, пока её поклонник не набил тебе морду. А как ты проговорился ей, что спер букет на кладбище...

Борис Фомич (*растроганно*). Да ну тебя, на-смешник! Разделявайся теперь со счетами и добирайся поскорее до своего диванчика – вот чего я тебе пожелаю! А я (*смотрит на часы, потом достает и убирает мобильник*), а я поехал искать больницу. Пристрою Нелли и сдамся ментам – убежал-де, как пошла поножовщина.

Семен Павлович. Прощай, друг! (*Обнимаются*).

Борис Фомич (*делает несколько шагов в сторону своей машины. Останавливается, поворачивается к Семёну Павловичу, хлопает себя по лбу*). Чуть не забыл! Ты же закрыл наш счет в «Коллега-банке»!

Семён Павлович. Мой счет. Ты и так хорошо на нем поживился, Боренька.

Борис Фомич. А разве я эти деньги не заработал – вот хотя бы сегодня?

Семён Павлович. Да за что тебе платить – сам подумай, душа любезный? Потрахаюсь с молоденькой на шару и на самый уже конец ещё одно удовольствие себе доставил, пристрелил её, девку. О том не подумал, что девушка ещё и другому кому, может быть, понадобится. (*Снова неприлично чешется*). Да за такое развлечение ты сам ещё, по совести, заплатить должен.

Борис Фомич. Интересная постановочка вопроса...

Семён Павлович. Всем от меня одно только нужно – деньги! И ты туда же: дай! Друг, называется... А никто и не подумает, что они, деньги, мне самому нужны. С чего ты взял, что я жадюга? Ведь ты сам говаривал, что я щедр, как принц Уэльский, а я ведь тогда получал 115 рубасов чистыми... Сейчас, может быть, наконец-то решил пожить по-человечески, а для этого теперь, когда эти силовики продажные меня в угол загнали, для этого, знаешь, сколько капусты требуется? Тебе и не снилось... И за что мне такое несчастье, чем я хуже других? Это же классический «двойной стандарт»! Я ведь только один из тех избранников судьбы, которым наш народ сказал: «Хочу капитализм! Бери у государства, не стесняйся – оно ничье! Можешь и нас немножко пограбить, ничего, мы потерпим – только стань ты нашим Джоном Пэ Морганом....»

Борис Фомич. «...и купи себе виллу на Лазурном берегу, чтобы мы могли тобой гордиться». (*Смеётся*).

Семен Павлович. Мне что же, по-твоему, надо было спичками торговать? Отсыпать из каждой коробочки по пять спичек, чтобы получать чистую прибыль от торговли россыпью? Или, думаешь, те ребята, что в думе заседают и генеральному прокурору ценные указания дают, заработали свои капиталы иначе, чем я?

Борис Фомич. Секрет Полишинеля, Сеня. (*Стучит дверца. Борис Фомич замолкает, прислушивается, глядя влево*). Ну надо же!

Явление 6

Те же и Нелли

Слева на четвереньках, с «венком» чеснока на шее, приползает Нелли. У ног мужчин, по-прежнему сидящих на подножке джипа, поднимает голову.

Нелли. Вы тут веселитесь, мальчишки? Спрятали бутылку! Вам можно, а мне нельзя? Пьёте здесь, сплетничаете про нас, про своих ненаглядных. Я к вам присоединяюсь – и попробуйте только мне не... мне не на... (*укладывается на живот, умолкает*).

Семён Павлович. У меня возникла замечательная идея, Боренька. Разумеется, ты прав, и я открою для тебя счёт. Или просто (*шарит по карманам*) поделим карточки. Она ведь сама сказала, что присоединяется... (*Чешется*). Как ты посмотришь на полевой вариант любви по-шведски?

Борис Фомич (*встает*). Охренел?

Семён Павлович. Нет. (*После паузы*). Послушай, я ведь в курсе твоей проблемы. А вдруг это её заведет, подзадорит – и ты снова будешь допущен к ложу? И у вас всё наладится на старости лет...

Борис Фомич. Нет, в голове не укладывается. Она ж тебя терпеть не может!

Семён Павлович (*ухмыляется*). От ненависти до любви...

Борис Фомич (*с полной серьёзностью*). Нелку не дам.

Семён Павлович. А я больше не дам тебе, бездельнику, ни цента. (*Ядовито*). Впрочем, сейчас у тебя, Боренька, появился и свой шанс. Открой в замке какой-нибудь музей. Нелка намалует тебе картины

под старину, а ты будешь экскурсии водить и в буфете приторговывать потихоньку. А прогоришь – не беда: моя бывшая супруга подкинет тебе из своих карманных. Для неё пара-тройка зеленых – копейки, а тебе не придется из мусорников бутылки выуживать. Лорка – та еще сучка, однако ж тебя любит, будто родного. «Как там мой папашка непутёвый?» – всё у меня, твоего кореша, спрашивала. Я так даже ревновал: уж не заводил ли ты в свое время с нею, с Лолиткой, шуры-муры? Как этот хрен звезданутый, ну, у Набокова...

Борис Фомич. С нимфеткой, Сеня.

Семён Павлович (*агрессивно*). Да всё едино.

Борис Фомич (*небрежно, думает о другом*). Я не по этому делу.

Семён Павлович (*агрессивно*). И это очень хорошо для тебя, если ты не по этому делу, потому что тех, кто по этому делу, наш народ не любит, ох, не любит!

Борис Фомич (*крутит пальцем у виска*). Приехали, что называется.

Семён Павлович. Да пошел ты! (*Залазит в джип, стучит дверцей, разворачиваясь, чуть не наезжает на лежащую неподвижно Нелли. Джип выползает со сцены и исчезает*).

Борис Фомич. Прощай, друг.

На протяжении последующего диалога из темноты постепенно выступают Карпаты, из-за кулис доносится негромкое пение птиц.

Нелли (*поднимает голову, садится*). Однако же и погуляли. Мой костюм, во всяком случае, испорчен окончательно. Это ты облил меня сладкой вонючей дрянью? И я что же – опять плясала на столе в непотребном виде? Нырjala в фонтан? Нет, скажи мне, Бóрис,

как это ты мне позволил так разойтись? (*Напористо*). Где твоя совесть, спрашивается?

Борис Фомич (*сидит на земле в полной прострации, еле шевелит языком*). Я у тебя во всем виноват. Завела бы себе лучше кошку, если уж никак не можешь без козла отпущения.

Нелли (*рассудительно*). Как будто кошка сможет заменить козла... Я всегда подозревала, что по биологии ты в школе не вылезал из двоек. Я тут полежала, подумала... А может быть, всё-таки познакомить графа Дракулу с моей мамашкой, а? Глядишь, старики и найдут общий язык... Вон в Англии, ты посмотри, принцы, как один, женятся на всяких тебе Катьках-продащицах.

Борис Фомич (*немного оживляется*). Мать, да ведь он вампир!

Нелли. Подумаешь! Уж если моя мамашка уходила батьку моего покойного, а тот кремень был мужик, она и из вампира попьет-таки кровушки, можешь не сомневаться... (*Сумрачно*). А что это я вчера вытворяла? Это как же надо было накуролесить, чтобы нас выставили из собственного замка...

Борис Фомич. Да уж. Поистине, вспомнишь – вздрогнешь...

Нелли. (*С подозрением принюхивается к рукаву*). Нет, кажется, хоть в вонючем рву не плавала. И то хлеб... Да ну их нахрен, этих жлобов вместе с их жлобским замком! Вернёмся на Пресню, вот что мы сделаем. Я прикидывала, там есть лазейка: пролезает под буфетом – и сразу попадаешь в щель над диваном. А потом лишнюю мебель загоним, заживём себе уютно в двухкомнатной. Снова станем ходить по гостям, вот только к себе приглашать не станем: у нас, мол, ремонт...

И что же я всё-таки вчера выкинула? Ой! (*Таращит глаза, открывает рот и сжимает себе виски. Пауза.*)
Знаешь что, пупсик, я иногда просто не понимаю, как ты меня до сих пор терпишь.

Борис Фомич (*смущённо, с хмурой улыбкой*).
Мать, это ты меня извини... Знаешь ведь, что я тебя люблю неизменно. Я... Я тебя всегда воспринимал в целостности – уж какая ты есть... Будто лёгкий солнечный удар или как глоток шампанского...

Занавес

2010, 2011, 2013 гг.





Іма вашу матер!

*Трагикомедия в двух действиях,
шести картинах*



Все лица, организации и события, фигурирующие в пьесе, вымышлены. Любое сходство с реально существующими городами, людьми, книгами, брендами, учреждениями, с подлинными происшествиями и событиями возникло в результате художественного вымысла, в намеренья автора не входило и является случайным.

Действующие лица

Половинкин Иван Петрович, в первом действии ассистент, кандидат наук. Лет 30-ти. Видно, что не придаёт своему внешнему виду, в частности одежде и причёске особого значения, хоть и одет, как типичный преподаватель высшей школы. В пятой картине – доктор наук, профессор, в шестой – истопник без регистрации. Он же в четвёртой и шестой картинах притворяется академиком Веселовским.

Майя, вторая жена Половинкина, швея с дипломом, 25-ти лет. Стройна, изящна.

Завкафедрой Пров Никитич Полянкин, профессор, кандидат наук, лет 60-ти, заведующий кафедрой гуманитарной синергетики, элегантен, симпатичный, с приятной улыбкой.

Мария Васильевна, его жена, врач-патологоанатом, женщина энергичная, лет 50-ти, в деловом костюме.

Фитилев Вилен Кирьякович, профессор, доктор наук, лет 80-ти, одет небрежно.

Доцент Порошкова Елизавета Матвеевна, без степени, элегантная полная дама средних лет.

Парторг Дима, старший преподаватель, без степени, секретарь кафедральной парторганизации «Наша Россия», лет 35-ти, придерживается молодежного стиля.

Дама - профорг, Нинель Сысоевна, ассистент без степени, лет 50-ти, одета немодно.

Ассистент Фельдман, Яков Борисович, кандидат наук, лет 35–40. Одет незаметно.

Стажерка из Кирпатии, она же в пятой картине – Докторант из Кирпатии, лет 30-ти, выглядит экзотически.

Диссертант, лет 30-ти. Красив. Прическа с пробором, черный костюм, бабочка, лаковые полуботинки.

Секретарь кафедры Мила, в миниюбке, с милым личиком, не испорченным потугами интеллекта.

1-я лаборантка, Софа, лет 35-ти. Очень полная брюнетка в черном.

2-я лаборантка, в первой картине это 1-я студентка. Матильда, бойкая, миленькая, одета скромно.

2-я студентка, Кузовкина, профорг. В джинсах и короткой тунике, на высоких каблуках.

3-я студентка, полновата, одета в стиле эмо.

4-я студентка, Лера Ивлева, в пятой и шестой картинах аспирантка Калерия Вадимовна Туган-Барановская, она же притворяется в шестой картине профессорской стипендиаткой конца XIX века.

5-я студентка, Болдырева, одета в стиле готов.

1-й студент, он же сын Щетины. Одет по последней моде, очень дорого.

2-й студент, Рома Свердлов, в шестой картине новый референт Щетины. В первой картине одет дешево, но с претензией на последнюю молодежную моду.

3 - й студент, в рубашке-вышиванке, с оселедцем на бритой голове, с большой серьгой в ухе.

О. Ферапонт, в праздничной шёлковой рясе, с наперсным крестом.

Авторитет, Василий Александрович Щетинин, он же вор в законе Щетина.

Референт Щетины. Молодой человек в костюмчике с галстуком.

Прапор
Гном } телохранители Щетины.

Действие происходит в областном центре в наши дни. Между первой и второй картиной проходит несколько дней, между второй и третьей – два года, между пятой и шестой – шесть месяцев.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Сцена изображает собой аудиторию. Справа кафедра и стол преподавателя, слева дверь.

Половинкин, в джинсах и свитере, из-под которого выглядывает воротник ковбойки, сидит на столе. Студенты, одетые по-разному, некоторые совершенно гламурного вида, некоторые в пирсингах и с разноцветными гребнями на бритых головах, сосредоточились на задних партах. Только у трети на столешницах обычные конспекты в тетрадках, у некоторых – ксерокопии, большинство имеет перед собой планшетники, нетбуки и смартфоны.

Половинкин (*потирает руки*). Это ведь третий курс, правда? Значит, у нас с вами сегодня коллоквиум, а по его результатам – зачет.

1-й студент. Чо такое?

Половинкин (*улыбается*). Так вы до сих пор не поняли, что такое зачёт?

1-й студент. Не, препод, я конкретно не рассекаю...

Половинкин (*улыбается*). Впрочем, я и сам только совсем недавно узнал, что такое зачёт. Потому что взял и спросил у нашего ректора на учёном совете: «Никодим Сильч, а что такое зачёт?» Никодим Сильч уточнил, как моя фамилия и на какой я кафедре, а потом сказал, что вопрос надо подготовить. На следующем ученом совете, уже через месяц, он и говорит: «Тут

некоторые молодые, да ранние, в частности, некто Половинкин, ассистент кафедры синергетики, не знают, ты ж понимаешь, что такое зачёт. А если чего не знаешь, надо инструкцию Минвуза читать». Так что я теперь знаю...

1 - й студент. Не, я про этот колюк... колян...

Половинкин (*улыбка гаснет*). А, вот оно что... Ну, коллоквиум (*произносит это слово с удовольствием*) означает по-латыни просто разговор. Только особый. То есть раньше я вам всё на лекциях рассказывал, что такое синергетика, а теперь вы мне расскажете, а я по результатам нашей беседы поставлю каждому зачет. Ну, кто первый? Кто даст определение синергетики, первым подходит с зачеткой.

1 - й студент. Не, я конкретно... Так по сколько с носа? По десять баксов – идёт? (*Роется в кармане, не желая выявлять свои капиталы сокурсникам*).

Половинкин (*не расслышав*). Давайте все-таки пропустим дам вперед.

1 - я студентка (*тянет руку*). Разрешите мне?

Половинкин. С удовольствием.

1 - я студентка (*звонко читает по книге, лежащей на парте*). Синергетика (от греч. «син» — «со-», «совместно» и «эргос» – «действие») – междисциплинарное направление современной мировой науки, основанное профессором Штутгартского университета Германом Хакеном...

Половинкин. Стоп! А почему вы читаете по книге?

1 - я студентка (*продолжает читать*). Синергетика занимается изучением сложных систем, состоящих из многих подсистем различной природы... Иван Петрович, что-то не так?

Половинкин. Вы читаете по книге, а надо рассказывать о том, что вам запомнилось из лекций.

1-я студентка (*обиженно*). Как вы читали вслух, так и я. Все видели, как вы положили эту книгу на кафедру и читали из неё на лекции. Потом вам надоело читать, вы начали прогуливаться по аудитории: подойдете, подсмотрите кусочек и повторяете вслух, прохаживаясь. Еще по дороге этак задумчиво к ножкам Кузовкиной приглядывались. Почему же мне нельзя?

Половинкин. Вам? К ножкам?

2-й студент. А колись-ка ты, Матильда, к чему всю дорогу приглядываешься?

2-я студентка (*обиженно*). Чуть что, Кузовкина виновата. Подумаешь, проездные до сих пор не выкупила. Не надо было избирать меня профоргом. Ах, о чем это я? Вот ведь какая непруха, я ведь сегодня в джинсах. Извините, Иван Петрович, если не потрафила. Можно мне получить зачёт, потому как пора уже бежать в трамвайный парк за проездными?

Половинкин (*отмахивается от Кузовкиной обеими руками, обращается к 1-ой студентке*). Вы читаете по чужой книге, а я по своей. И при чем тут Кузовкина, не понимаю.

1-я студентка. Это не ваша книга. Тут написано: автор – Дурьлин Э Мэ, а вы Иван Петрович, следовательно И Пэ. Это не вы написали. И я не виновата, что пошла в бабушку, папину маму, а у папы ноги толстые.

Половинкин. Это моя книга, я её купил в Москве.

1-я студентка. А это моя.

Половинкин (*подходит, берет её книгу в руки*). Я же сказал, что не ваша книга. На ней библиотечный штамп.

1 - я студентка (*готова заплакать*). Вы ко мне придираетесь, Иван Петрович. А я так старалась...

Половинкин (*насупившись*). Ладно, ладно, давайте зачетку. Я вам ставлю за почин. (*Расписывается в зачётке и ведомости*). Эй, куда это вы собрались?

1 - я студентка (*оборачивается к нему в дверях*). Иван Петрович, я безумно извиняюсь, но уже опаздываю на важную встречу. И я хочу попить кофейку, пока у автомата нет очереди. Принести вам капуччино с шоколадной пенкой? Ужась как вкусный. Нет? Как знаете. (*Исчезает*).

1 - й студент. Как можно пить этот отстой? Ведь там растворимое. Тьфу!

2 - й студент (*встаёт*). Я хочу продолжить, Иван Петрович. Ваш Грэф Факер – немец, и он, как настоящий немецкий профессор, успел сварганить аж 70 томов.

Половинкин (*быстро*). Чего там Хакен сварганил?

2 - й студент. Да семьдесят томов этой своей Синей Хреники. Держите мою зачётку.

Половинкин (*находит в зачётке фамилию*). Вам, Свердлов, зачет надо ещё немножко заслужить. А пока я плюсик поставлю...

2 - й студент (*теребит кольцо в левой ноздре, вполголоса*). Плюсик, плюсик... Некоторым тоже не хило было бы написать свой том, хотя бы один только, и по нему нам мозги пудрить...

Половинкин (*задушевно*). Да ладно вам, Свердлов, могли бы и во весь голос сделать мне замечание. Ну, хорошо, уж если у нас коллоквиум, давайте и я с вами кое-чем поделюсь. Да, мне ведь приходилось слушать настоящие лекции в Питере, когда, как и вы, протирал я штаны за студенческой партией. И я знаю, сколько нуж-

но времени, чтобы подготовить нормальную университетскую лекцию – неделю, а то и две нужно просидеть в библиотеке, да не в нашей областной или университетской, а чтобы типа питерской Публички. Но у меня на это просто нет времени, потому что на неделе у меня по двадцать этих лекций! Вас столько лекций не заставляют отсидеть, сколько мне надо прочитать. А еще я занят главным делом: когда мне готовиться к лекции, если я подписал обязательство за три года подать к защите кандидатскую диссертацию, а через пять лет – докторскую? Диссертация – вот моя главная служебная задача, а не подготовка к лекциям. Я бы даже сказал – партийное задание, если был членом какой-нибудь партии. Вот я уже кандидатскую диссертацию дописал, а теперь гоню докторскую. Вот так. Самому мне стыдно, ребята, за халтурные лекции, но это дело поправимое. Вот защиту докторскую и...

2 - й студент (*теребит кольцо в ноздре, соображает*). Значит вы, Иван Петрович, закончили универ в Питере?

Половинкин (*гордо*). С отличием закончил. И с медалью «За лучшую научную студенческую работу имени академика Корыткина».

2 - й студент. Почему же вас не оставили в тамошней аспирантуре?

Половинкин (*пожимает плечами*). Нашлись и получше меня. И с питерской регистрацией.

1 - й студент. Скажите лучше: с волосатой лапой.

3 - я студентка (*жалостливо*). И не нашлось никого, кто бы замолвил за вас словечко?

Половинкин пожимает плечами.

2 - я студентка (*заинтересованно*). А почему вы не женились на питерской для регистрации?

Половинкин (*смущенно*). Не такой я человек, ребята. Я знаю, что сейчас не модно читать Чернышевского, и вообще читать не модно, разве что Дмитрия Быкова и Сергея Минаева (*студенты недоуменно переглядываются*). А я в вашем возрасте, нет, немножко раньше, тинэйджером, прочитал «Что делать?» Чернышевского, и меня навсегда поразили слова одного персонажа. Звали её, кажется, Розальской (ужасная фамилия), и была она проституткой, только доброй проституткой...

2-я студентка. Подумаешь, удивили... В вестернах только такие и бывают.

Половинкин (*рассеянно*). Да? Так она сказала главной героине, Вере Павловне (нет, простите, это она была Розальской, Вера Павловна)... Сказала: «Умри, но не дари поцелуя без любви!».

4-я студентка. Как хорошо! (*Скандирует*). «Умри, но не дари поцелуя без любви!». Мне сразу вспомнились открытки, оставшиеся от бабушки. Фотки собственно, расписанные ядовито яркими красками. Телки с рогатыми прическами, мэны с пробором в темных волосах... И большими черными буквами: «Люби меня, как я тебя!» «Пусть наша дружба будет вечной, как дружба этих голубей!» (*Закрывает лицо руками*).

2-я студентка (*быстро*). Китч.

Половинкин (*торжественно*). Вот вы, Кузовкина, и заработали свой зачет. Давайте зачетку. Впрочем, разве то, что делал Энди Уорхол, не было китчем?

3-й студент. Антин Вархол. Вин був украинець, мий зэмяк. А застрэлыла його жидивка.

Половинкин (*пожимает плечами*). Девка? Ну, в начале карьеры она, судя по фильму «Я стреляла в Энди Уорхола», подрабатывала древнейшим ремеслом. Исходя из абсолютного презрения к мужчинам. А ког-

да его подстрелила, то была уже идейной феминисткой, писательницей. Уорхол потерял её пьесу «В жопу!» (*Студентки ахают*). Пьеса так называлась, «В жопу!» Вы знаете, а я её понимаю... Писала, писала дамочка свой дисер, а какой-то пидор задвинутый... Ах, извините, то была пьеса.

Аплодисменты. Это студенты аплодируют 2 - ой студентке, дефилирующей с зачёткой от стола к двери. Она идет походкой манекенщицы, «от бедра», косолапо выставляя носки.

2 - я студентка (*в дверях оборачивается и одаряет преподавателя роскошной улыбкой*). Спасибо, Иван Петрович. А я соскочила в трамвайный парк за проездными. До свидания.

Половинкин. До свидания. Ну, кто готов продолжить разговор о синергетике?

5 - ая студентка (*далеко не красавица, кокетливо*). А нельзя ли мне получить зачёт за красоту?

Половинкин (*смущен*). Любопытно, откуда вы узнали, что я иногда ставлю зачёт за красоту. (*Присматривается к 5-ой студентке*). Но это просто шутка такая. К тому вон Кузовкина только что заработала зачет не иначе как своей красотой только. Согласны?

1 - й студент. Иван Петрович, я опять предлагаю предложение. Поставьте нам всем зачёт за десять баксов с носа. Я спешу в... ну, в натуре, спешу, потому заложу за всю бражку. (*Роется в кармане, оборачивается к студентам*). С маржой, в натуре.

5 - я студентка (*тычет ему два кукиша*). Вот тебе твоя маржа! Разбежался!

4 - я студентка (*философски*). Что значит наследственность! Весь в папашу.

1 - й студент. Вы там! Побазарьте мне еще!

Половинкин (*смущенно*). Будем считать, Щетинин, что я не слышал вашего предложения. Вы меня глубоко огорчили. Поэтому сейчас выйдите из аудитории, найдите учебник Дурылина, прочитайте и тогда – милости прошу. Мое расписание на сессию висит на кафедре.

1 - й студент. Ни фиги себе! (*Громко топая, выходит*).

Половинкин. Что ж, ближе к делу. Кто из вас готов рассказать о синергетике, а не о своих бизнес-планах?

3 - я студентка (*тараторит*). В отличие от теории динамических систем, игнорирующей квантовые флуктуации в точках бифуркации, синергетика изучает стохастическую динамику во всей ее полноте и в произвольности возникающих в пространстве и времени бесчисленных параметров.

Половинкин (*кривится*). Давайте зачетку. (*Брезгливо*). И где вы такое вычитали?

3 - я студентка. Из Интернета вытащила, Иван Петрович, из Электронной энциклопедии имени Сергия Радонежского.

4 - я студентка. Разрешите мне дополнить, Иван Петрович? Ивлева Лера. Я про пару-тройку употреблений этой самой синергетики. Вот моя зачетка. (*Возвращается за свою парту*).

Раздается рингтон, это первые такты из ноктюрна Листа «Грёзы любви». 5-ая студентка, добывая мобильник из сумочки, выскакивает из аудитории, а Половинкин и 4 - я студентка застывают в позициях, похожих на стойку пойнтера, почуявшего дичь.

Половинкин (*мечтательно*). Какой приятный у вас голос...

4-я студентка (*мечтательно*). Да о чём это я?... Ах, как вешки какие-то, как цепь пыльных чучел знаменитых писателей...

Половинкин. Фигур, милая, фигур...

4-я студентка. Ах да, фигур... Именно так представляла историю литературы эта самая тусовка критиков и профессоров, то есть историки литературы, которые навалили историю литературы. Ах, кажись, я зарапортовалась.

Половинкин. Нет, вы просто фигурально выражаетесь, а по смыслу правильно. Продолжайте, пожалуйста... (*заглядывает на первую страницу зачетки*), Калерия.

4-я студентка. Лучше пусть Лера... И вот, словно как в музее восковых фигур, стоят себе рядышком маленький, кудрявый и задиристый Пушкин, некрасивый и кривоногий Лермонтов, почёсывающий у себя под лопаткой дуэльным пистолетом, отменно длинноносый Гоголь (то-то случился глюк у бедняги, будто нос от него сбежал), припадочный Достоевский, от которого честной девушке лучше бы держаться подальше, а не в стенографистки к нему наниматься, крестьянский граф Толстой, так даже чересчур гениальный, и миляга доктор Чехов – того хоть к ране прикладывай... А ближе к стеночке, в пыльных витринах красуются ихние шедевры – от «Капитанская дочь, не ходи гулять вполночь» и до лакея Фирса, забытого в вишнёвом саду, чтобы не отстёгивать ему пенсию...

Половинкин. А что ж открывает в этой мути синергетика?

4-я студентка (*засовывает палец в рот, увлеченно соображает. Вынимает палец изо рта*). Я тут помозговала, как лучше... Сдаётся мне, Иван

Петрович, стоит применить синергетический принцип подчинения. Вот этих самых историко-литературных чучел...

Половинкин. Лучше бы сказать – классиков.

4-я студентка. Вот-вот! По гроб жизни благодарна, Иван Петрович, что подсказали! А то я вспоминала-вспоминала, как их дразнят, едва не родила... И даже про классиков промелькнуло, и сразу задний ход: классики – это игра, когда на асфальте. Так вот, этих самых классиков и ихние в зубах навязшие шедевры можно отнести к параметрам порядка, а тех графоманов, что вокруг них крутились и худо-бедно наполняли журналы и издательские портфели, пока классики корпели над шедеврами для хрестоматии, я бы причислила к быстрым переменным.

Половинкин (*весомо*). ...которые рассматриваются как функции параметров порядка в силу принципа подчинения.

4-я студентка (*неуверенно*) Можно и так сказать. (*Снова с увлечением*). И вот взять тогда того же Чехова. Он стабилен – он гвоздь, на века забитый в задницу мировой литературы, а вокруг него, как тараканы, шебуршат туда-сюда такие-всякие быстрые и в общем-то стохастические переменные. Именно, что стохастические: ведь кто напечатает роман в декабрьском номере «Русского богатства» – Немирович-Данченко или Терпигорев, он же, прости Господи, Сергей Атава, – это русской литературе глубоко пофиг! И мало того, что бесстыдно тусуются вокруг бедного чахоточного доктора все эти Боборыкины и Потапенки, да еще и девушек у него, близорукого, уводят – а он, бедный, так любил Лике Мизиновой письма писать! (*После паузы*). У меня всё, Иван Петрович.

Половинкин. Молодцом, Иевлева! Весьма своеобразно... Ставлю вам зачёт с чистой совестью.

4-я студентка забирает зачетку и возвращается на свое место.

Половинкин. Так, так... Кто еще желает принять участие в дискуссии?

2-й студент. Погодите, Иван Петрович, дайте нам Леркины бредни переварить.

Половинкин. Знаете что, ребята, уж поскольку у нас так здорово пошло – спасибо Иевливой! – я тоже поделюсь кое-чем, что мне пришло в голову по поводу принципа подчинения. Нашёл я у Александра Николаевича Веселовского любопытнейшее соображение. А у него оно возникло, когда он вспомнил одно стихотворение Фета. Стихотворение же вот такое:

Облаком волнистым
Пыль встает вдали;
Конный или пеший –
Не видать в пыли!
Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далёкий,
Вспомни обо мне!

Так вот, Веселовский писал... (*Роемся в карманах, извлекает на свет Божий тетрадный листок, оборванный с двух сторон*). Ага, вот. (*Читает*). «Только форма настраивает нас так, что мы видим здесь изображение не единичного случая, совершенно незначительного по своей обычности, а знак или символ неопределимого ряда подобных положений и связанных

с ним чувств. Чтобы убедиться в этом, достаточно разоружить форму».

4 - я студентка. «...Знак или символ неопределимого ряда подобных положений» – это очень синергетически.

Половинкин. Согласен. Веселовский продолжает... Вот: «...достаточно разоружить форму. С каким изумлением и сомнением в здравомыслии автора вы встретили бы на особой странице журнала следующее: "Вот что-то пылит на дороге, и не разберёшь, едет ли кто, или идёт. А теперь видно... Хорошо бы, если бы заехал такой-то"». Господи, а в стихотворении-то... (С чувством).

Друг мой, друг далёкий,
Вспомни обо мне!

Секретарь (появляется в дверях). Иван Петрович, вас просят побыстрее закончить зачет и – на кафедру. Вы же знаете, сегодня день рождения у Нинель Сысоевны...

Половинкин. Мила, рад бы в рай, да зачёт... Это ведь не простой зачёт, Мила, а коллоквиум. Все должны высказаться в продолжение пары, а тогда уж зачет.

Секретарь (морщит носик). И вечно вы что-нибудь придумаете!

3 - й студент (поправив оселедец). Дивчина, а на котру годину можна записатися до вас на прійом?

Секретарь фыркает и исчезает.

3 - я студентка (закрыв глаза). Боже, как вкусно пахнет! Иван Петрович, до чего же я вам завидую!

2 - й студент. Было бы чему завидовать! Преподавы пиццу разогревали в микроволновке и только что вытащили.

3 - я студентка. Тебе, Ромочка, не понять, ты не сидишь на диете (*вздыхает*).

4 - я студентка (*поворачивается к ним, кротко*). Может быть, заткнётесь, наконец? Иван Петрович хотел рассказать про свое изыскание.

Половинкин (*с чувством*). Спасибо, Иевлева, за поддержку. Да-да, вернёмся к нашим баранам. Прочитал я это – и вспомнил противопоставление структуры и текстуры у Джона Кроу Рэнсома. Если коротко, для стихотворения структура – это то, что укладывается в прозаический пересказ его содержания, а текстура – это всё остальное.

4 - я студентка. Я поняла – у Джона Кроу то же самое, только наукообразнее, с терминами!

Половинкин (*пожимает плечами*). С точки зрения предвидения идей синергетики замечание Веселовского интереснее, а Рэнсом мыслит как-то более узко. Однако оба доказывают, что «тема» и «идея», которыми мучили вас в школе, это для поэзии не главное, весь её смысл в ритме, в формальных особенностях текста, в том неуловимом, что и воздействует, интуитивно и бессознательно, на читателя и/или слушателя. Вот прислушайтесь еще:

Друг мой, друг далёкий,
Вспомни обо мне!

5 - я студентка (*ехидно*). А кто из них у кого переписал – Веселовский у Рэнсома или Рэнсом у Веселовского?

Половинкин (*ошарашен*). То есть?

4 - я студентка (*сердито*). А то и есть, что такие тупицы, как Болдырева, все рефераты или там курсовые скачивают с Интернета, и у них даже мозгов не хватает, чтобы усечь, что где-то, в конечном счёте, всё-таки сидят люди, которые сами сочиняют, чтобы могла скатывать друг у друга вся эта бездарь.

5 - я студентка (*грозно поднимается с парты*). Да я тебе, Ивля, последние перья с головы выдеру!

2 - й студент. Тихо, девки! А знаете, Иван Петрович, мне тоже интересно, кто у кого скатал.

Половинкин (*начинает и сам развлекаться*). Хорошо, я постараюсь прояснить ситуацию. Александр Николаевич Веселовский, профессор Петербургского университета, великий русский филолог...

3 - й студент (*тот, что с оселедцем на голове, агрессивно*). Я прыгадав! Цэ не вин написав, а велькый украинський вчений Александр Афанасьевич Потэбня, що жив и працював в Украйини! У Харьквивському унивэрсытэти!

Половинкин (*несколько смущен, потом усмехается*). Разве? А если вы такой малорусский патриот, почему вы у нас учитесь, а не в том же Харьковском университете? Там, в независимой Украине, с вами бы все соглашались.

3 - й студент (*машет рукой*). Э, та дэ ж там!

Половинкин (*снова начинает развлекаться*). Так вот, Веселовский умер в конце XIX века, а американский поэт и литературный критик Джон Кроу Рэнсом родился чуть ли не в год его смерти. Отсюда следует, что Веселовский не мог заимствовать его идею. Потэбня, кстати, тоже.

2 - й студент. Тогда выходит, что это американец спёр у нашего Веселовского.

Половинкин. Вы удивитесь, но это тоже невозможно. Свое эссе «Новая критика» американец напечатал в 1941 году, когда на Западе о Веселовском и его идеях совсем не знали. Американцы же вообще народ довольно невежественный и крепко зацикленный на собственной культуре. Боюсь, что Рэнсом даже не и не подозревал, что жил на свете такой русский гений Александр Веселовский. А если и знал, то не читал, конечно же, потому что Веселовского на иностранные языки не переводили. И Веселовский, и Потенбня остаются, увы, учёными для внутреннего употребления.

4-я студентка. Ничего себе!

Половинкин (*в грустном увлечении*). А всего хуже, что и в цивилизованной, культурной Европе среди учёных вот уж второе столетие действует принцип «*Slavica non leguntur*».

2-й студент. Чего?

Половинкин. А вот того. Это правило, «*Slavica non leguntur*», переводится с латыни в таком смысле: «Что на славянских языках, можно не читать».

4-я студентка. Вот ведь блин! Да ну их нафиг, с их «кока-колой»!

2-й студент (*скандирует*). Верно, Лерка! Фаст фуд, гоу хоум!

Половинкин (*грустно*). С точки зрения синергетики такие лозунги только вредны. Человечество, напротив, идёт к единой, синтетической мировой культуре, где, образно говоря, найдётся место и квасу, и «кока-коле», и «Макдональдсу», и блинной. А то, что нашу гуманитарную науку игнорируют на Западе... Знаете, эта ситуация очень напоминает любимое изречение нашего школьного военрука, майора Косорылова. Он был политракторник в отставке и, несмотря на вполне боевую фамилию, не из тех, кто право имеет, а кто тварь дрожа-

щая. Так вот, майор Косорылов всё нас пугал, что если будем бегать от призыва, как его непутёвый сын, то попадем в тюрьму. Не говорил только, сидит ли его сын. А нам майор Косорылов делал страшные глаза и вещал: «Вот сядете туда, где будет вот так (*скрещивает пальцы в виде решетки*) и по пословице "Ты меня видишь, а я тебя нет!"». И мне теперь порою кажется, что это наша гуманитарная наука оказалась в тюремной камере с окошечком, из которого русским ученым так сяк ещё видно, что там делается в мире, однако с вольной стороны в наше окошечко никто заглянуть не...

1 - я студентка. (*Испуганная, с вытаращенными глазами, врывается в аудиторию, перед собой в вытянутой руке держит мобильник. Протягивает его издали Полонинкину*). Это Никодим Сильч... Вас!

Полонинкин (*встает, невольно вытягивается*). Да, это я, кандидат наук Полонинкин. Слушаю вас, Никодим Сильч... Я прошу прощения, но вы же сами приказали мне руководствоваться инструкцией Минвуза... (*Отодвигает трубу от уха*). Ну почему же, Никодим Сильч?... Бросил трубку. Это надо же... (*Сует трубку 1-й студентке*). Так это вы пожаловались ректору? Вот удружили...

1 - я студентка (*делает большие глаза*). Да что вы, Иван Петрович! Где уж мне? (*заговорищицки, громким шепотом*). Мобилка не моя, а Щетинина, того жлоба, вы его отправили. Он в библиотеку не пошел, за дверьми болтается.

Секретарь (*появляется в дверях*). Иван Петрович, все ждут уже только вас! Вилен Кирьякович очень хочет сказать тост... А то снова заснет, и не добудишься.

Половинкин. Иду, иду. (*Торопливо расписывается в ведомости*). *Finita la comedia*. На сей раз вам повезло. Давайте зачетки.

Студенты толпятся у стола, постепенно рассасываются. Половинкин возится с ведомостью, а подняв от неё голову, обнаруживает, что в аудитории осталась одна 4-я студентка. Он медленно встает.

4-я студентка (*подходит, протягивает клочок бумаги*). Меня вся знакомые ругают без конца: «Ну что ты, – говорят, – Лерка, без конца всякой шантрапе свой мобильный даешь, а потом сплошные неприятности!». Но я не знаю, возникните ли вы ещё на нашем курсе, Иван Петрович, а мне бы облом терять вас надолго из виду. Во мне сейчас возник такой непреодолимый ряд научных чувствований, что даже удивительно... Ведь до чего приятно побазарить об этой самой синергетике! И я просекаю, что вы клёво разбираетесь не только в литературе (а мне тут ещё читать и читать), не только в кино петраете (а мне ещё смотреть и смотреть!), но и в синергетике человеческих отношений многое сумели бы мне открыть. Ну, берите же!

Половинкин, не отрывая от 4-ой студентки глаз, суёт бумажку в карман.

Из-за двери звучит всё тот же рингтон, первые такты из «Грез любви» Листа. Половинкин и 4-я студентка снова застывают на несколько секунд.

Половинкин (*мочает головой, приходя в себя*). Знаете, Калерия...

4-я студентка. Лера!

Половинкин. Знаете, Лера, у меня возникают сомнения насчет индивидуальных занятий в области синергетики человеческих отношений. Далеко можно зайти. А я, должен вас предупредить, семьянин. Женат

я вторым браком. Первая моя жена была работник прилавка, а вторая – кутюрье.

4 - я студентка (*отчаянным голосом*). Кутюрье, это же надо себе такое представить! Она кутюрье! Что ж, если кутерьма такая пошла, гоните телефончик взад.

Половинкин. Одну секунду! (*Опорожняет карманы на стол, откладывает мобилку и ключи в сторону и начинает рыться в библиографических карточках, флешках, огрызках карандашей и обрывках бумажек. Наконец, разводит руками*). Сами видите, что нету. В дырку, что ли, провалился?

Секретарь (*появляется в дверях*). Это что же вы себе позволяете? Пров Никитич уже сердится. Вот выбьетесь в профессора, тогда опаздывайте сколько вашей душеньке угодно.

Половинкин. Вашими бы устами, Мила, да мед пить.

Картина вторая

Автор напоминает, что после зачёта, изображенного в первой картине, прошло несколько дней.

За столами по двое и на стульях вдоль стены сидят члены кафедры, слева лицом к ним за отдельным столом – Заведующий. Перед его столом углом расположен стол Секретаря кафедры со старомодным пузатым монитором, за которым в случае необходимости Пров Никитич имеет возможность укрыться. Справа вход.

Слышен храп. Это спит, откинув назад голову, профессор Фитилев.

Секретарь (*подходит, склоняется над Фитилевым, громким шепотом*). Вилен Кирьякович! Вилен Кирьякович!

Храп.

Парторг Дима. (*Ухмыльнувшись, в ухо, сложив ладони рупором, строго окликает*). Профессор Фитилев!

Фитилев. Я! (*Озирается*). Диссертант владеет пером. Я – за!

Секретарь (*по-прежнему громким шепотом*). Обсуждение закончилось, Пров Никитич, уже проголосовали. Диссертант сейчас будет благодарить.

Завкафедрой. Ну, а теперь ваше заключительное слово, э...

Диссертант (*вскакивает*). Соискатель Мышечкин.

Завкафедрой (*крутит кистью в воздухе*). Нет, э-э-э...

Диссертант (*пританцовывает на месте*). Николай Эммануилович.

Завкафедрой. Николай Мануйлович, имеете что сказать в заключение обсуждения?

Дама-профорг (*громким шепотом*). Благодарите, молодой человек.

Диссертант (*делая округлые жесты, патетически*). Ах, я так волнуюсь... О, сумею ли я выразить, как я благодарен членам кафедры и, в первую голову, глубокоуважаемому Прову Никитичу за одно только согласие рассмотреть мою скромную работу в таком квалифицированном научном коллективе? Я искренне благодарен также назначенным кафедрой рецензентам, принимаю все их замечания и обязательно выправлю выявленные ими досадные, но всё-таки, смею думать, мелкие недостатки. И я просил бы разрешения развернуть в протоколе предварительной защиты лаконичное, однако столь лестное для меня соображение нашего маститого учёного, доктора филологических наук, профессора Вилена Кирьяковича Фитилева, сумевшего в одной короткой фразе...

Завкафедрой (*с сожалением отводит рассеянный взгляд от коленок Секретаря*). Вот и вы, пожалуйста, покороче, Мануил Николаевич.

Диссертант. Понял, уловил на лету, с радостью... (*Украдкой заглядывая в бумажку*). И в заключение предлагаю после апробации плодов моих «ума холодных наблюдений» перейти к дегустации плодов земных с родных для меня берегов Камы близ Елабуги и сока виноградной лозы, доставленного из полуденных краев, а также иных прохладительных напитков,

произведенных в странах Американских и в пределах Израильских.

Завкафедрой (*благосклонно*). Однако же вы и загнули – мне даже захотелось вашу диссертацию прочитать. (*Мышечкин бледнеет и хватается за сердце*). Господи, да что это с вами? Мила, у нас не найдется валидола? (*Диссертанту*). Успокойтесь, я уж передумал читать: (*в сторону*) делать мне больше нечего... Вот ведь молодец какой наш диссертант – опять, как огурчик. Я вас правильно понял – вы хотите пригласить нас на легкий фуршет?

Диссертант. Именно, именно! И очень прошу не побрезговать незамысловатым угощением. Я вам накрою в отдельном зале.

Доцент Порошкова (*свысока*). Там увидите, на стуле, большой пакет из «Тип-топа». В нем три бутылки «Гурджаани». Мне друзья из Грузии привезли. Вы их присоедините.

Парторг Дима, отвернувшись от Доцента Порошковой, корчит для Ассистента Фельдмана ужасную гримасу, выражающую его отношение к грузинскому вину «Гурджаани».

Диссертант. Айн момент, Елизавета Матвеевна.

Завкафедрой. Нинель Сысоевна, командуйте!

Дама-профорг (*зычно*). Лаборантьё! Берите сегодняшнего именинника...

Завкафедрой. Героя дня....

Дама-профорг. ...и на полусогнутых в компьютерную. Скатерть розовая, сервиз повседневный, стаканы и вилки одноразовые! Вперёд.

Секретарь, 1-я лаборантка, Диссертант срываются с места. Стажерка из Кирпатии дернулась было за ними, однако осталась сидеть.

Завкафедрой (*диссертанту*). Молодой человек! Задержитесь на минутку. (*Ухватив за пуговицу, задумчиво*). Девушки бы и сами справились, и вы могли бы подождать тут с нами или выйти перекурить, однако нам сейчас предстоит разобраться в одном внутрикафедральном, сказать, семейном деле... Не обиделись?

Диссертант. И как вы только могли такое обо мне подумать, Пров Никитич? (*Убегает вслед за лаборантьём*).

Завкафедрой (*возвращается на свое место*). Прошу всех сесть. Официальная повестка дня исчерпана, однако руководство настоятельно просило обсудить на партгруппе и осудить аморальное поведение кандидата наук, ассистента Половинкина.

Коллеги отшатываются от Половинкина – и обнаруживается, что он дремлет себе сидя, спрятав глаза за темными очками. Разбуженный, не сразу ориентируется.

Половинкин. Эй, вы чего? Меня-то за что?! Мне – и аморалку. Смешно, право...

Завкафедрой. Дмитрий Семенович, вы парторг, вам и карты в руки. (*Прячется за монитором*).

Парторг Дима (*бурчит*). Вот ведь незадача... Только аморалки нам и не хватало. (*Достаёт лист бумаги и ручку и, едва ли не высунув от старания язык, выписывает, проговаривая вслух*). «Протокол № 3 заседания партгруппы «Нашей России» кафедры гуманитарной синергетики от 25 мая...»

Половинкин (*приходит в себя*). Дима, а я ведь не член партии «Наша Россия» – так какое же право вы

имеете разбирать мое персональное дело? Не имеете вы никакого чёртова права.

П а р т о р г Д и м а . Пров Никитич! Пров Никитич!

З а в к а ф е д р о й (*выглядывает из-за монитора*).

Ну и парторги пошли! Никакого сравнения с советскими временами. Так и быть, помогу. Скажите, Иван Петрович, разве «Наша Россия» не партия власти?

П о л о в и н к и н . Кто ж спорит?

З а в к а ф е д р о й . А если наша партия есть партия власти, то ей до всего в стране есть дело. Я приведу пример. Вот «Наша Россия» взяла да и подарила в дом престарелых компьютер, чтобы и бабушки-дедушки приобщились к новейшим информационным технологиям. Если захочет какой дедок в войнушку поиграть или в порносайт заглянуть, разве будут у него спрашивать, а член ли он нашей партии?

П о л о в и н к и н . Извините, Пров Никитич, не могу с вами согласиться. Одно дело – пользоваться подарком вашей «Нашей России», другое дело – позволять обсуждать свое аморальное поведение, не будучи членом партии. Я прошу прощения, но что вы сможете со мною сделать, если признаете виновным – исключите из партии, в которой я не состою, объявите выговор по партийной линии? Абсурд.

З а в к а ф е д р о й (*выглядывает из-за монитора*).

А вам, Иван Петрович, пальца в рот не клади! Однако если Никодим Силыч приказал обсудить и осудить на партгруппе, мы обязаны обсудить и осудить. Ведите заседание, Дмитрий Семенович.

Ф и т и л е в . Прошу слова! (*Озирается с неподдельным интересом*). Вот уж чего не ожидал... По истине:

Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась...

Завкафедрой прячется за монитор.

Половинкин. Что за чушь собачья! Да я с женщинами еще не разобрался толком, а вы мне такое приписываете!

Доцент Порошкова (*значительно откашливается*). Что касается склонности к гомосексуальным отношениям, то именно относительно нашего Никодима Сильча это далеко не чушь собачья. В бытность доцентом Черноземного пединститута он за такие, как выразилась Нинель Сысонова, «приставания» к студентам был уволен и чуть не схлопотал срок. После перестройки объяснял эту историю политическими преследованиями.

Фитилев (*бурчит*). Не иначе, как диссиденты голубчика преследовали. Ведь в Черноземном пединституте Никодим Сильч состоял до той истории секретарём парткома КПСС.

Доцент Порошкова. Вы абсолютно правы, Вилен Кирьякович. (*Неожиданно хихикает по-девчоночьи*). И этого красавчика, что сейчас в компьютерной сардины открывает, к нам ведь Никодим Сильч протолкнул, и весьма настойчиво.

Фитилев. Вот!

Доцент Порошкова (*преувеличенно серьезным тоном*). А ведь вы и сами тут не без греха, Вилен Кирьякович.

Фитилев. Это что еще за напасть?

Доцент Порошкова (*хихикает*). А кто пришёл в ректорат, принялся дамам ручки целовать, а заодно сослепу поцеловал ручку Никодиму Сильчу?

Стажерка из Кирпатии. О!

Завкафедрой. Хватит! Чтобы покончить с этим кошмаром, я предлагаю две вещи. Во-первых, мы попросим человека Никодима Сильча, на нашей

кафедре имеющего быть, не докладывать ему о том... Чёрт! Да ведь и так понятно, о чём мы все просим не докладывать.

Дама - профессор (манерно). Да что вы все смотрите на меня? Действительно, я частенько появляюсь в приёмной Никодима Силыча. Я там, можно сказать, почти свой человек, но это не значит, что я доношу о том, что происходит у нас на кафедре. Я бываю на приёме у Никодим Силыча по профсоюзным делам. А чтобы Никодим Силыч их правильно решал, я пытаюсь его о-ча-ро-вать (улыбается до того страшным, змеиным оскалом, что все в смущении отводят от неё глаза).

Завкафедрой. Мы заранее благодарны, Нинель Сысоевна. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы вопрос о вашем переизбрании на должность был решён положительно. А вот второе мое предложение. (Задушевно). Иван Петрович, да расскажите вы нам сами, чего там начудили. Покайтесь, облегчите себе душу. Мы вам вынесем общественное порицание, а потом мы все вместе дружно плюнем на это дело. И с чистой совестью переместимся на фуршет. И у нас в четыре ещё освящение отцом Ферапонтом компьютерного класса.

Половинкин (осторожно). Дело в том, что не припоминаю в последнее время за собой каких-то заметных грешков. (Наступательно). Вам ведь известно, что меня приняли сюда на работу с обязательством за три года написать кандидатскую диссертацию, а через пять лет – докторскую. Все эти годы я днём лекции читал, а ночами диссертации без конца набирал на компе. Вот уже одну защитил, а у докторской теперь конец просматривается. Мне постричься некогда, а на аморалку так совсем уже нет времени!

Парторг Дима (*ухмыляется*). Нечего прибедняться, Ваня!

Дама-профорг (*демонстрирует Половинкину свою страшную улыбку*). Вот бы никогда не сказала, что вы совсем не интересуетесь женщинами!

Завкафедрой. Это Иван-то Петрович совсем не интересуется? Да мне на днях наша Мила пожаловалась, что он ей своими буркалами едва коленки не просверлил!

Устремляет мутно-романтический взгляд на то место у стола Секретаря, где сияли бы её коленки, если бы она не намазывала тогда бутерброды в компьютерной.

Доцент Порошкова. Вы ведь женаты вторым браком. (*Ехидно*). Уже забыли, как разводились?

Стажерка из Кирпатии (*поднимает руку*). А ещё Иван Петрович ставит зачеты за красоту...

Половинкин. Вот шустряки, когда только успели донести?... Да то просто шутка была, Пров Никитич. А насчёт второго брака – думаю, что он, напротив, есть свидетельство моей порядочности. Эх, каяться так каяться! Первая моя жена была работник прилавка, а вторая, нынешняя – кутюрье. Каждый раз я женился как порядочный человек. Потому что первая моя жена была моей первой женщиной, а вторая жена – второй и покамест последней. (*Гордо*). Такого типа аморалка.

Стажерка из Кирпатии. Боже, как интересно!

Завкафедрой (*раздумчиво*). Нет, на аморалку не тянет... Да и ставить зачеты за красоту не наш Иван Петрович придумал. Еще в 70-е покойный доцент Костецкий в Киеве ставил пятерки за красоту, принимая экзамен у заочниц. И сам молодой красавец – высокий,

культуризмом увлекался, черноусый, тогда малопьющий ещё... Эх, молодость, молодость...

Доцент Порошкова. Костецкий – это был, кажется, диссидент?

Завкафедрой. Разве что на кухне... Детский писатель из него получился, автор первой в СССР поэмы о матери Ленина.

Доцент Порошкова. И последней.

Завкафедрой. Я бы за это не ручался, Елизавета Матвеевна. Тут действует модель спирали, а то и круга...

Дама-профорг (*льстиво*). Относительно культуры вы абсолютно правы, Пров Никитич. Припомните только: сперва юбки до колен, потом мини, потом макси, потом до пят, снова мини...

Открывается дверь, появляется в ней Д и с с е р т а н т .

Диссертант. Извините, но поскольку вы задерживаетесь... Не подать ли вам сюда по бокалу «Гурджаани» или по чашечке колумбийского?

Завкафедрой (*встает с кресла, всматривается в Диссертанта*). А я-то вижу – лицо знакомое, да не соображу никак... Вы ведь в ресторане «Вавилон» служите?

Диссертант (*переминается с ноги на ногу*). А что в этом плохого, Пров Никитич? По-вашему, официант – так уже и не человек?

Завкафедрой (*с неожиданной резкостью*). Спасибо, не нужно ничего. Мы еще не закончили.

Диссертант улетучивается.

Фитилев (*вдруг просыпается*). Так давайте заканчивать.

Доцент Порошкова (*подходит к Завкафедрой, усаживает его в кресло, гладит по рукаву пиджака, мягко*). Пров, да не бери ты дурного в голову. Ты не первый и не последний, кого наш Никодим Силыч ставит в глупое положение. Ты так на меня по-сматривал, что я и сама догадалась, о чём ты меня хотел спросить. Ты хотел спросить, нет ли у моего муженька-силовика информации о том, что именно аморального натворил наш Иван Петрович. Вы же знаете все, что пока я здесь работаю, вы все под крышей у мужниной силовой структуры.

Ф и т и л е в (*опять просыпается*). И под колпаком, Лизавета Матвеевна, под колпаком, дорогая.

Доцент Порошкова (*докторальным тоном*). Тот случай, Вилен Кирьякович, когда ваша острота не кажется мне удачной. Дело настолько скверно, что я на этот раз не сумею помочь.

Завкафедрой. Тогда... Давай выйдем, Лиза, и ты расскажешь мне наедине.

Доцент Порошкова (*усмехается*). Нет нужды секретничать, потому что в свидетелях оказалось до двух десятков наших студентов. Иван Петрович додумался выставить из аудитории сыночка Щетины.

Пауза. Немая сцена. Первым оживает Завкафедрой.

Завкафедрой. Иван Петрович, доложите, что произошло между вами и сыном криминального авторитета?

Доцент Порошкова (*нейтрально*). Он же председатель комиссии горсовета, отец и благодетель нашего города.

Половинкин. А что мне было делать? Этот юный нахал предложил мне поставить ему и группе зачёт за деньги...

Дама-профорг (смотрит в потолок). И много предложил?

Половинкин. По десять баксов с носа. Я, естественно, возмущился и отправил его готовиться. Продолжил colloquium, а уже под конец позвонил Никодим Сильч и весьма раздражённо распорядился поставить всем зачёт автоматом.

Завкафедрой (вкрадчиво). И вы всем поставили зачет?

Половинкин (пожимает плечами). Конечно, ведь ректор так распорядился.

Завкафедрой. И Щетинину тоже поставили?

Половинкин. Да, в ведомость, а с зачёткой он ко мне больше не подходил.

Завкафедрой (доценту Порошковой). Ты как думаешь?

Доцент Порошкова. Нет, конечно же, нет.

Завкафедрой. И я думаю, что Никодим Сильч не стал бы при таком раскладе обвинять Половинкина в аморалке.

Дама-профорг. И что за мода у вас появилась ежесекундно наезжать на Никодима Сильча!

Завкафедрой (подытоживая). Хорошо. Вы, Иван Петрович, действовали правильно, и инцидент можно считать почти исчерпанным. За единственным исключением правильно действовали... Иван Петрович, зарубите это накрепко себе на носу: отныне, как только вам предложат взятку, вы тут же должны сообщить об этом мне, своему заведующему кафедрой. Мне плевать, что оно там творится у юристов, на кафедрах иностранных языков, на этой их копеечной кафедре этики и эстетики! Здесь же я контролирую ситуацию. А в данном случае, помимо всего прочего, возможна подъёмка.

Дама-профорг. Пров Никитич!

Завкафедрой. Уже по-русски и сказать ничего нельзя. (Доценту Порошковой). Ну что ты так на меня смотришь, Лиза?

Доцент Порошкова. А потому я смотрю, Пров, что против нашего Ивана Петровича органы не устраивали и не будут устраивать никаких провокаций. Абсолютно исключено. Слишком уж он мелкая сошка. Да и ты, Пров, тоже для этого мелковат. Не обиделся? Вот Никодим Силыч – иное дело. Я уж не говорю обо всём ином прочем, но ведь нашу зарплату можно пропустить через один банк, а можно и через другой. А помните тот случай, когда зарплата застряла в ректорате на месяц, а министерство клялось, что деньги перевело? И ты думаешь, что деньги в это время не прокручивались?

Дама-профорг (грозно). Лизавета Матвеевна!

Доцент Порошкова. Как вы смеете на меня голос повышать, Нинель Сысоевна? Тем более, что это вы во всём виноваты!

Дама-профорг. Я?!

Доцент Порошкова. Элементарный логический вывод. Наш Иван Петрович мухи не обидит, и Никодим Силыч к нему не имел претензий до того злосчастливого зачёта, а сразу после зачёта Иван Петрович присутствовал на вашем дне рождения, где вы напоили кафедру самодельной дрянью, а наши мужики накушались до положения риз. И Иван Петрович не составил на этот раз исключения.

Половинкин. Хотите верьте, хотите нет, но такое было со мной во второй раз в жизни.

Завкафедрой (смущенно). Да уж, несколько перебрали.

Парторг Дима. И в самом деле странно: одна рюмочка, другая...

Дама-профорг (*визжит*). Это клевета! Я никого не пила никакой самодельной дрянью. Во-первых, я и сама пила, наравне, по-товарищески, а не то, что вы, Лизавета Матвеевна...

Доцент Порошкова. И что же я?

Дама-профорг. Сидела, как засвтанная, с бутылочкой своей минералки! Тоже мне фря!

Доцент Порошкова. У меня нет слов. Останови эту бабу, Пров, а то она наговорит лишнего.

Дама-профорг (*в ажитации*). Во-вторых, все блюда и напитки были из натуральных продуктов, выращенных на приусадебном участке. Никаких вам гормонов, никакой химии! Выращено и приготовлено вот этими руками. Белое вино – из груш, красное – из смородины, беленькая – чистая, как слеза, потому что дважды пропущена через активированный уголь, в аптеке купленный! Что ж мне – в универсаме отовариваться, когда у меня муж на пенсии? А разве могла я кафедру не угостить? И без того каждая копейка на счету, а меня каждые пять лет норовят выгнать на улицу, потому что я тридцать лет назад была в аспирантуре и диссертации этой клятвой не написала. (*Плачет*). Вот и Лизка диссертации не написала, а почему к ней не пристають?

Доцент Порошкова (*искренне возмущена*). Потому хотя бы, что я не рассказываю на лекции, что богатырь Добрыня Никитич был спортсменом и метал копьё.

Дама-профорг (*её несет*). И не ставьте мне в пример вашего малахольного Ивана Петровича. Ну защитил он диссертацию, подумаешь! А у меня на руках был дом, муж и маленький ребенок.

Фитилев (*опять просыпается, бурчит*). Ничего не попишешь, логика железная: мужа на руках у Половинкина действительно нет.

Завкафедрой (*смотрит в сторону, медленно*).
Нинель Сысоевна, вы поставили руководство кафедры в очень сложное положение. Я-то всегда думал, что наши периодические посиделки, на нынешнем новоязе получившие название корпоративов, приносят пользу, потому что укрепляют человеческие связи между членами кафедры. Я обещаю, что найду способ, как компенсировать понесённые вами затраты. Тем более что теперь припоминаю: это уже третий ваш день рождения за этот семестр. Однако смешно и нелепо было бы устанавливать какую-либо связь между тем, что кафедра будет ходатайствовать о продлении вам на год контракта, и тем, что вы напоили нашу кафедру, гм, грушевым вином.

Ассистент Фельдман. Вы видели, Пров Никитич, что я просидел всю партгруппу тихонько, как мышонок. Однако если между угощением кафедры и получением ставки доцента нет причинно-следственной связи, то остается возможность магической. А посему милости прошу и ко мне на день рождения в следующем месяце. Только лучше в кафе. И без лаборанток, зато с жёнами и мужьями.

Завкафедрой. Ну что сегодня за день такой! Уж на что вы деликатный человек, Яков Борисович, но и вы язвите.

Ассистент Фельдман. У меня предложение. (*Поворачивается к Половинкину*). Постарайтесь-ка припомнить, голубчик, что с вами происходило тогда, после сабантуя.

Парторг Дима. Давно пора! Ой... (*испуганно прикрывает себе рот руками*).

Половинкин (*принимает позу мыслителя*).
Пожалуй, до определенного этапа я смогу восстановить

события. Помнится, мне какая-то гримза облезлая намекала, что не хило бы её проводить...

Стажерка из Кирпатии. О! (*Закрывает лицо руками*).

Половинкин. Ах, так это были вы? Извините, но на мне уже висело важное общественное задание – доставить домой Прова Никитича. Вы же мне его и поставили, Нинель Сысоевна, от имени независимых российских профсоюзов, мне и вот Диме.

Дама-профорг. Да, а какая была альтернатива? Прикажете мне самой доставлять? Тяжеловат стал наш Пров Никитич, да и Марья Васильевна первым делом вцепилась бы мне в рожу.

Завкафедрой. Вы абсолютно правильно поступили, Нинель Сысоевна. Пожалуй, что и вцепилась бы.

Половинкин. Нам с Димой удалось убедить Прова Никитича извлечь из себя всё лишнее уже на улице, за крыльцом закрытого парадного, стало быть, вне поле зрения камеры и охранника на входе. Да и таксист неправильно бы понял... Вызвонили такси, погрузили, довели, расплатились вскладчину...

Завкафедрой. Спасибо, ребята. За мной не заржавеет.

Завкафедрой суёт Парторгу Диме какие-то рубли, тот сперва отпихивает их, потом прячет в карман.

Половинкин. Досюда я всё помню прекрасно. Вы, Пров Никитич, изволили песню играть, что-то из репертуара «Песняров», и ужасно смеялись, когда оказалось, что лифт не работает, и мы должны... ну, помочь вам взобраться на шестой этаж, а потолки у вас в доме высокие...

огурчик. Давайте разбираться, хлопцы. Вы меня выпустили из рук, уже перейдя порог моей квартиры, или мы находились ещё на площадке?

Парторг Дима. Мы были уже в прихожей, Пров Никитич. Я еще поразмыслил, не скинуть ли штилеты, однако, исходя из непонятки на правом носке, где, миль пардон, большой палец вылезает...

Завкафедрой. Фу! Значит, мы находились уже в квартире. То бишь в зоне юрисдикции Марьи Васильевны. Это здесь я маленький начальник, заведующий хрен знает чем, шарашкой какой-то. А дома у нас командует моя супруга, Марья Васильевна. Оно мне как-то и удобнее...

Дама-профорг. Фи! Что вы такое говорите, Пров Никитич! И не стыдно?

Завкафедрой. Да ладно, вы всё и так, проныры, знаете о своем временном начальстве. А вам, хлопцы, в данном случае не в чем себя упрекнуть. И правильно сделали, что испарились – моя Марья Васильевна в гневе, эх, ну и строга же! Этого у неё не отнимешь.

Дама-профорг (*интимно*). А всё-таки, Пров Никитич, что там Марья Васильевна прятала за спиной, а?

Завкафедрой. Насчет Марьи Васильевны у меня возникла одна задумка. Уж если она так хорошо управляется у нас дома и в морге сумела навести идеальный порядок, так не попросить ли её, мою дорогую женушку, разобраться и у нас тут?

Половинкин (*в притворном ужасе*). Да? А мы тогда с Димой спустились в вестибюль. Огляделись – до чего ж хорошо, до чего стильно! Справа стоит мраморная полунагая девица на пуантах, в левой руке подня-

ла круглый белый плафон. Консьержка похрапывает в своем фонаре, на плиточном полу не дорожка какая-нибудь, а настоящий ковер. И справа банкетка стоит. Мягкая, бархатом красным крытая. И тогда Дима мне и говорит: «Грех было бы нам не добавить в такой культурной обстановочке»...

Парторг Дима. Ну почему, ну почему же надо было об этом обязательно рассказывать?

Половинкин. А потому, Дима, что иначе народ не поймет, отчего я отрубился, да так, что очнулся только утром! Правда, на своей постели, в джинсах и в кроссовке на левой ноге.

Завкафедрой. Продолжайте, Иван Петрович.

Половинкин. И достает Дима из-за пазухи бутылку, почти полную. На ней наклейка «Русская горькая», однако заткнута она обломком кукурузного початка. Посидели мы с Димой на банкетке – и всё, как отрезало.

Дама-профорг. А я-то думала, куда она... (*Шевеля губами, считает на пальцах*). Теперь сходится. Ах, молодёжь, молодёжь!

Парторг Дима (*встаёт, виновато склонив голову*). А что было дальше, уж я теперь расскажу. Вышли мы из подъезда, достал наш Иван Петрович какую-то бумажку из кармана и помчался ловить проезжавшее по Банковой такси.

Завкафедрой. Достаточно. Всё понятно. Точнее, ничего не понятно. Впрочем, распитие спиртных напитков в общественном месте (*а разве вестибюль в моём доме не общественное место?*) уже есть проступок, за который партгруппа и выносит Ивану Петровичу общественное порицание. Согласен, парторг?

Половинкин. Мне одному?

Завкафедрой. Всё, я сказал. И так безбожно засиделись.

Стажерка из Кирпатии (*задушевно*). И кушать очень хочется.

Завкафедрой (*поднимается с кресла, ищет и подхватывает свой дипломат*). Кушать, кушать... Хотите поесть, девушка, так чем плох буфет? И что вы вообще, Ингрид Тимуровна, делали на нашем партсобрании – вы же не член нашей партгруппы?

Стажерка из Кирпатии. О!

Завкафедрой (*подходит к Фитилеву, кладёт ему руку на плечо*). Как бы ты посмотрел, Вилен Кирьякович, если бы я тебе предложил прихватить с собою Ивана Петровича да завалиться куда-нибудь в пивную? Надо же обмозговать, кого будем приглашать к нему на докторскую официальными оппонентами.

Ассистент Фельдман аплодирует. В дверях появляется Диссертант, на обеих щеках у него кружочки следов красной помады.

Диссертант. Кушать подано!

Картина третья

Кабинет Авторитета. Обставлен дорогой мебелью, имеется бар, столик для компьютера. Есть тренажёр с беговой дорожкой, нет письменного стола. На заднике висит огромный монитор, тексты на него выводятся Референтом, сидящим за компьютерным столиком.

Авторитет облачен в потрепанный спортивный костюм, на заднице у него прореха, через которую, когда он бродит по кабинету, просматриваются семейные трусы в красный горошек. Он сидит в кресле, перед ним старинный дамский столик для рукоделия, на столике мобильник и пара обычных телефонов. Для посетителей сидячие места не предусмотрены.

Авторитет (*в трубку синего телефона, продолжая разговор*). Конечно же, Никодим Силыч, линия защищена, и никто тебя не запишет. Валяй смело. (*Поворачивается к Референту, крутит перед собой указательным пальцем: «Пиши!» Тот нажимает клавишу на клавиатуре, кивает хозяину*).

Никодим Силыч (*его голос звучит в устройстве громкой связи*). Чтой-то щелкнуло.... У меня к тебе две просьбы. Первую просьбу пусть пишут, хрен с ними, где угодно, хотя и в Кремле. Ты ж понимаешь, застрял транш из Центробанка по линии национального проекта «Образование». Чиновник из наробразы требует откат не по чину, я дам, пусть жрёт, собака, однако желаю нуль сбросить. Прошу твоего дозволения.

Авторитет (*важно*). Скажи, я велел. Дай пятую часть от запроса. И половину ему, вторую мне.

Никодим Силыч. Спасибо. А теперь извини, я через минуту перезвоню.

Авторитет (*бросает трубку, раздраженно*). Вот ведь дерьмо! И вроде свой человек, да из профессоров – а это похуже родимого пятна через весь паспорт. (*Референту*). Чаю, что ли, согрей.

Звонок.

Авторитет (*поднимая трубку синего телефона*). Зачем эти мансы?

Никодим Силыч (*визгливым старушечьим голосом*). Да я это снова!

Авторитет (*отодвигая трубку от уха*). Кто – я?

Никодим Силыч. Да я же. Я только что за транш говорил. Тебе ещё половина отката.

Авторитет (*важно*). Теперь узнаю. (*Смеется*). Богатым будешь, дружбан!

Никодим Силыч. Спасибо на добром слове. А теперь вторая просьба. Мне надо от одного человечка избавиться. На тебя одна надежда, Саныч. Известен я, за такие дела берётся охранное агентство «Стилос», но я уж, извини, лучше прямо к тебе.

Авторитет (*важно*). Да, ты решил правильно. (*Гордо*). Я вор, и я вправе решить быстро и справедливо, стоит ли мочить, а если стоит, то сколько будет стоить.

Щёлкает пальцами, и Референт очень медленно, одним пальцем выводит на большой монитор «МАЧИТЬ, НЕЛЗЯ ПАМИЛОВАТЬ»

Никодим Силыч (*после паузы*). Хорошо. Этот человечек – змеюка, которую я, ты ж понимаешь, пригрел у себя на груди. Некто Половинкин. Сейчас ассистентшишка, однако защитил докторскую и через год-полтора придётся его ставить профессором.

А в т о р и т е т (*быстро*). Профессор? Так бы сразу и сказал... Одним гадом меньше будет. (*Пауза*). Половинкин, говоришь? Слышал я где-то такую прозывалочку... А чем, конкретно, он тебя, говоришь, достал?

Н и к о д и м С и л ы ч . Тебе ли не знать, что дело у меня совсем не наваристое: берёшь ведь за крышу вполне по-божески, спасибо. Одна из возможностей срубить всё-таки кой-какую денюгу – это за приём на бюджетные места. Понятно, что я ЕГЭ лично контролирую. Мы этого Половинкина жалели, пока диссертации свои писал, и на приёмные не назначали. Этим летом впервые был в приёмной комиссии, и не поставил, подлец, те баллы, которые я для него лично на бумажечке написал. И я ведь лично, из рук в руки, ту бумажку передал... Наляпал, ты ж понимаешь, как ему заблагорассудилось. Такой обиды я простить не могу. Лишусь, правда, доктора наук и почти профессора – университету такие кадры ох как нужны! – да уж такой я человек. За правду никого и ничего не пожалею.

А в т о р и т е т (*озабоченно*). Ты не суетись. Дело серьёзное. Он тебя конкретно обидел, признаю. Потому ты судья пристрастный. А что если этот хрен, хоть он и профессор, и не виноват настолько, чтобы сразу уж мочить? (*Референту*). Эй, не спи, переставь закорючку.

Р е ф е р е н т исправляет на «МАЧИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПАМИЛОВАТЬ».

Н и к о д и м С и л ы ч (*всё тем же бабьим голосом, однако тоном ниже*). Чего-то я не врубаюсь...

А в т о р и т е т (*убежденно*). Ничего, сейчас врубишься. Скажи, Силыч, тебя никогда не заказывали?

Н и к о д и м С и л ы ч . Да вроде Бог миловал. А что?

Авторитет. А вот если бы Бог не помиловал, и приказал бы тебя кто...

Никодим Силыч (*осторожно*). Положим.

Авторитет. Как бы тебе понравилось, если б пришел твой враг к мочиле-беспредельщику, который только о хрустах и думает?

Никодим Силыч. Вот теперь я врубился. Чего от меня нужно?

Авторитет. Пришли мне человечка, чтобы твоего дружка Половинкина знал как облупленного. Начальника его, что ли.

Никодим Силыч. Заведующий кафедрой в командировке.

Авторитет (*напористо*). Где?

Никодим Силыч. В Болонье, изучает внедрение... как её... кредитно-модульной системы.

Авторитет (*недоверчиво*). Где? Разве есть такой город? Небось, за границей?

Никодим Силыч (*робко*). В Италии он. А что тебе не по душе, Ксаныч?

Авторитет (*зловеще*). Да то, что я имею половину с твоей ежегодной премии за экономию на командировках, и не желаю, как в этом январе, какие-то копейки получить!

Никодим Силыч (*быстро, переводит разговор*). Разве что профессора Фитилева могу разыскать. Он языкатый, хотя и старенький уже.

Авторитет. Профессора... (*Кривится*). Да ладно уже, перетерплю... Давай, ищи.

Пауза.

Никодим Силыч. На кафедре его нету, Фитилева, ты ж понимаешь... Дома, говорят. По адресу: Ситный переулок, 8, кв. 2.

Авторитет. Да это ж рядом совсем. Я сам пошлю за ним ребяток. Перезвони мне ближе к вечеру. *(Бросает трубку синего телефона)*.

Референт *(робко)*. Василий Александрович...

Авторитет *(поднимает трубку красного телефона)*. Прапор! Бери с собой Гнома и быстро (одна нога здесь, другая там) в адрес профессора Фитилева. Рядом живет: Ситный переулок, 8, кв. 2. Тащи в чём застанешь, мне он нужен тёпленький. Будем колоть. *(Пауза)*. Что значит – «по тревоге»? *(Пауза)*. Забудь ты про казарму, тут тебе не спецназ! *(Бросает трубку, взглядывается в Референта, поднявшего руку)*. Чего тебе?

Референт *(робко)*. Вы сказали «хрусты», Василий Александрович. Вы сами приказали: как начнете ботать по фене, так чтобы я вас останавливал.

Авторитет *(бурчит)*. Были в свое время такие, что пытались меня остановить... Знаешь, где они сейчас? Впрочем, ты мне подсказывай, как договорились... *(Вдруг злится)*. А где чай? Кому я приказал чаю заварить, а? Или хочешь, ты, дура с дипломом, чтоб я тебе голову отвинтил?

Референт убегает влево.

Звонит красный телефон. Авторитет поднимает трубку.

Авторитет. Чего там? *(Пауза)*. Явление святого Пахома в березовых лаптях... Нет, это я не тебе, Пила... Обшмонай его сперва. *(Пауза)*. Говори, чего там выудил. *(Пауза)*. Верни мальцу всё, кроме выкидухи... Эй, а ручка какая? Капиллярная, говоришь? Оставь у себя и ручку.

Убегает Референт с кофеваркой «Эспresso».

Авторитет. (*Референту*). Приканал мой малец. Как начнет башлей выпрашивать, выйди и через пару минут влетай с криком, что на Фонтанке разборка! Врубился?

Референт. Я понял, Василий Александрович. То есть не вполне... А где это – на Фонтанке?

Авторитет. В Одессе, дубина!

Референт явно боится расспрашивать дальше. Авторитет хохочет, довольный.

После небольшой паузы появляется, рассовывая своё имущество по карманам, 1-й студент. Оглядывается.

1-й студент. Привет, папаня! У тебя тут весело, как на хате, когда грев дойдет. И меня твой бык облапал всего, до сих пор щекотно. А где, промежду прочим, Прапор – неужто подстрелили? Да кто посмел?

Авторитет. Привет, сынок! Давай сперва как положено, по-русски! (*Обнимаются и трижды целуются*). Ну, и какова тебе она показалась, жизнь на свежем воздухе?

1-й студент. Во! (*Показывает большой палец*). Особливо, что тёлки на каждом шагу! И чистенькие такие, как в видаке.

Авторитет (*нейтральным тоном*). Ну, в зоне своя любовь живёт, сынок.

1-й студент корчит гримасу. С интересом приглядывается к действиям Референта, засыпающего пачку за пачкой чай в кофеварку.

1-й студент. Вот такую технику нам бы в хату, папаня! А то возились, как лохи, с кипятивником.

Авторитет. Извини, что чифирнуть со мною не приглашаю: сейчас человечка приведут. (*Почти нежно*).

Так ты не сердисься, малец, что я тебя принудил сделать ходку к хозяину?

1 - й студент (*рассудительно*). А чо сердиться? Двушник со скидкой – нормальный срок. А не сделал бы ходки, не было бы мне от братков уважения. Всё путем. Так ты занят сейчас? Тогда я сразу со своим делом...

А в т о р и т е т . Башлей тебе подкинуть, небось?

Р е ф е р е н т включает кофеварку в розетку и исчезает.

1 - й студент (*рассудительно*). Башли никогда не помешают, папаня. Да только ты меня и без того не обижаешь. Я пришел попросить, чтобы ты закопал одного препода. Есть там в универе урод такой, Половинкин. Запомнишь? (*Приподнимает руку с пальцем крючком, кивает на монитор*). Или набить тебе погоняло на компе?

А в т о р и т е т (*заинтересованно*). Надо же... А чем он тебя так достал?

Р е ф е р е н т (*вбегает в кабинет, кричит*). На Фонтанке разборка!

А в т о р и т е т ухмыляется.

1 - й студент. Так то ж аж в Николаеве! (*Крутит пальцем у виска*). И давно у него крыша поехала? Не боишься, что на тебя кинется?

А в т о р и т е т (*бурчит*). Он дождётся, что дурную голову оторву... (*Референту*). Налей мне чаю и мотай отсюда. Зайдёшь, когда старичка-профессора привезут. (*Шумно прихлебнув*). Теперь давай излагай, сынок, свою предьяву.

1 - й студент. Я после ходки, в натуре, в универе восстановился. Твой адвокат преподав, как положено, подмазал, зачеты-экзамены мне проставили, остался

госэкзамен. А там в комиссии этот Половинкин, опять мне кровь портит. Говорит, что заочно не поставлю, давайте его послушаем. Ну, я пришел, когда сказали. Вытянул билет – не знаю ничего. Я вспомнил, как ты меня, папаня, учил (главное, мол, чтобы не молчать) и навесил им на уши кой-чего про зону. А на третий вопрос отвечая, картину за «Крестного отца» вкратце пересказал. Казалось мне, всё путем. Так нет, этот урод, Половинкин, отказался ведомость подписать, где мне уже поставили «пятерку». Ну, нашлось кому вместо него подписаться, но... Сам понимаешь. И денег не взял, поц.

Авторитет (раздумчиво). Тут дело непростое, сынок. Решил я тебе дать два образования. Одно на зоне, второе университетское. Тюремным твоим образованием я вполне доволен. Теперь ты меня и в лучшем обществе не посрамишь! А вот с университетским заковыка вышла, как я теперь понимаю. Диплом, конечно, тоже нужен, однако надо было тебе хоть чему-нибудь научиться. Я вот припоминаю, как обучался (а был помладше тебя) ремеслу щипача у старика Дурносмеха. Как он меня гонял, и как я на него злобствовал! Просто удивляюсь, что сумел я тогда себя сдержатъ, у спящего горло не перерезал. Молод был, горяч... Зато до сих пор... А ну, посмотри-ка сюда! *(Показывает бумажник).*

1-й студент (напрасно шарит по карманам, ещё раз присматривается). Да это же мой лопотник! Ну даёшь, папаня...

Авторитет (открывает правый ящик столика, достает, не глядя, пук «зеленых» и засовывает в бумажник). Ага! Даю, а потом догоняю и ещё добавляю. Держи, сынок – и мотай отсюда. Раскалывать человечка буду.

1 - й студент. А как же...?

Ав т о р и т е т (*озабоченно*). Подумать ещё надо. А что если твой Половинкин просто за дело свое болеет, как мой, этим твоим словцом, препод, покойный Дурносмех? И то подумай, в какой мы дыре были бы в нашем отечестве, если бы все учились в универсах так хреново, как ты. Ничего народ не зарабатывал бы, и нашему брату нечего было бы с него состричь. Ладно, иди. Я подумаю.

1 - й студент уходит в дверь справа. Оставшись один, Ав т о р и т е т принимает позу Роденова мыслителя. После паузы подходит к компьютеру и перемещает запятую. Получается: «МАЧИТЬ, НИЛЬЗЯ ПАМИЛАВАТЬ».

Справа за дверью шум. Ав т о р и т е т возвращается в свое кресло. Звонит красный телефон. Ав т о р и т е т поднимает трубку.

Ав т о р и т е т. Давайте его сюда.

П р а п о р и Г н о м вводят Ф и т и л е в а. Руки у него заломлены назад. Он в белой рубашке, полы которой выпущены поверх штанов от пижамы. На ногах домашние тапки. К галстуку привязана подушка.

Ф и т и л е в (*трясет бородой*). Я протестую. Я протестую против того, что мне не позволили взять с собою чемоданчик!

Ав т о р и т е т. А что у тебя в чемоданчике?

Ф и т и л е в. Что положено на случай отсидки. Сухая колбаса. Чай, сахар. (*Вздыхает*). Еще шампанского бутылка и «Женитьба Фигаро».

Ав т о р и т е т. Этот вот чего – и по дороге заговаривался?

П р а п о р (*озабоченно*). Да вроде не то, чтоб очень. (*Решается*). Невредный он старичок, хозяин.

А в т о р и т е т . Коли ты, Прапор, за эти свои слова отвечаешь, отпусти его руки. Мотай к себе. Гном, ты побудь пока тут.

Ф и т и л е в , бурча себе под нос, растирает запястья. А в т о р и т е т мрачно к нему присматривается.

А в т о р и т е т . Никак доводилось париться, отец?

Ф и т и л е в *(неохотно)*. Сидел только в допре. Получил условный срок по делу группы «Истинные ленинцы». Я сотрудничал *(вздыхает)* со следствием.

А в т о р и т е т *(безразлично)*. Закладывал, значит-ся, подельников?

Ф и т и л е в . Ужасно я перепугался тогда, и сразу истинный ленинизм сделался мне до форточки. Что? Да, закладывал, конечно. Отпустили. А потом ждал повторного ареста. Я ждал ареста при Лаврентии Павловиче Берии, я ждал ареста при Викторе Семёновиче Авакумове, при Иване Александровиче Серове, при выдвигенце из комсомола, ну этом, забыл его фамилию, при Юрии Владимировиче Андропове, при Бакаеве, при Путине. А теперь, когда *(язвительно)* настала свобода, как нам говорят, я дождался, наконец.

А в т о р и т е т *(ухмыляется)*. Это не упаковка, отец.

Ф и т и л е в . А что же тогда ещё? Если вы, Щетина, – реальная власть в городе, и меня насильно привели к вам, что же это, как не арест? А эти ребята... *(удивлен отсутствием П р а п о р а)* – чем не гэбисты?

Г н о м . Папаша, обижаешь...

Ф и т и л е в . А эта надпись *(тычет пальцем в монитор)* – она восходит к анекдоту об Иване Грозном (или о Петре Первом – какая разница?). Если ваша власть самодержавна, то это логично. А сама идея – из времен ещё более диких, когда ещё не догадались,

что пленных можно не только насиловать, убивать и есть, а ещё поработить или посадить в тюрьму, чтобы получить за них выкуп. Отсюда эта дихотомичность и двоичность, как в элементарной ячейке компьютера: казнить – помиловать, да – нет, повесить – отпустить, плюс – минус, земщина-опричина, гад ползучий – славный парень...

А в т о р и т е т . Что за дьявольщина?

Ф и т и л е в (*невозмутимо*). Что же касается двоичности мышления гэбистов, хотелось бы мне рассказать вам, если вы не против, одну историю, случившуюся с моим покойным отцом. Дело было в Киеве в 1937 году, и опричники назывались тогда не гэбистами, а энкавэдистами...

А в т о р и т е т . Тихо, старик! Кончай гонять порожняк. Тебя не захомутали, ты здесь как свидетель. Но не врать мне тут! За каждое твое вранье Гном отрубит у тебя по пальцу. Гном!

Г н о м достаёт колодочку и нажимает на кнопку. Выскакивает лезвие.

Г н о м . Будешь на месаре сидеть и ножками дрыгать.

А в т о р и т е т (*мягко*). И ты же понимаешь, старик, мы тебя не сможем отпустить с отрубленными пальцами. Нехорошо получится. Зароем где-нибудь по-тихому.

Ф и т и л е в . Я правильно понял, что напрасно откладывал деньги на приличные похороны?

А в т о р и т е т . Правильно, сэкономишь. (*Г н о м у*). А ты убери пока свой кнопарь пружинный и принеси-ка тряпку. А то опять ковер испортим.

Г н о м (*не трогается с места*). Да уж, из той бабы хлестало, как из недорезанной свиньи.

Авторитет (*озабоченно*). Тебе же придется снова в чистку везти. А то заставлю самого языком вылизывать.

Гном (*авторитетно*). Через одну тряпку однофамильно просочится. Под низ тряпку положить, а сверху клеенку, какой не жалко, а уж сверху старичка. А вообще я больше грешу на то, что сперва засцыт.

Фитилев. Ну уж нет, на мне памперс.

Авторитет. Не может быть!

Фитилев. Меня ж забрали из кресла, когда собрался вздремнуть. А в моём возрасте необходимо в таких случаях обезопаситься.

Авторитет. Молчать! (*Ядовито*). Так ты профессор, значит.

Фитилев. Профессор и доктор наук. Вы произносите это слово, «профессор», будто ругательство. Точно так же, как на собраниях и дискуссиях в конце сороковых, во времена борьбы с безродным космополитизмом и буржуазным наследием академика Веселовского. И ещё в статьях, тогда любили заголовки типа «Против буржуазно-либерального объективизма в семеноводстве» или «За марксистско-ленинскую историю разведения сои в России!». Вы не можете этого помнить, вас тогда и в проекте, наверное, не было.

Авторитет. Я про своих родителей ничего не знаю, однако предполагаю, что тогда они ещё мыкались по разным коммуналкам.

Фитилев. Теперь мне понятно... Вот этот антикварный столик, вам его дизайнер, наверное, посоветовал?

Авторитет. Ну?

Фитилев (*осторожно*). Врядли он вам подходит, для вашей-то деятельности. Ведь это старинный дам-

ский столик для рукоделья, у него и прозвание свое было – «бобик».

А в т о р и т е т. «Бобик», говоришь... А почему же он тогда не похож на собачку?

Ф и т и л е в. «Бобик», это от «боб». Разве не видите, что его крышка напоминает очертаниями фасоль? (*Подходит к столику, хочет открыть ящик, из которого Авторитет доставал доллары*). В этом ящичке дама-рукодельница держала нитки для вышивания, а в среднем, побольше – пальцы...

А в т о р и т е т. Руками не трожь! Ну, художник от слова худо, ты у меня теперь попляшешь!

Ф и т и л е в. У вас там, наверное, револьвер? Извините, бога ради. Меня, между прочим, Виленом Кирьяковичем зовут.

А в т о р и т е т. А тот художник, что мне бабскую игрушку впарил, он тоже фу-ты ну-ты, профессор кислых щей. Не люблю я вас, профессоров, а потому не люблю, что деньги большие берете, нос задираете, а учите хреново. Да вот, хотя бы... (*Внезапно кричит*). Референт, где тебя черти носят!

Ф и т и л е в вздрагивает и критически присматривается к своим пижамным штанам. Прибегает **Р е ф е р е н т**.

А в т о р и т е т (*Ф и т и л е в у*). Вот, полюбуйся на свой брак. Ведь университетский диплом имеет, а дурак дураком. (*Показывает на монитор*). Слово «нельзя» не может правильно написать.

Р е ф е р е н т (*заинтересованно*). А как правильно?

А в т о р и т е т. Через два «з», понятно. «Низ-зя»... (*Ф и т и л е в у*). Чего уставился?

Ф и т и л е в (*бормочет*). Разве что, если фонетически... (*Оживляется*). А сей молодой человек ни в коей степени не может быть моим браком. Он закончил не-

давно, а меня уже лет двадцать, как выперли на пенсию.

Авторитет. Разве? Да что ж это такое...
(Хватается за голову).

Ф и т и л е в. Это меня ещё тогда выперли, когда Горбачёв лозунг выкинул про омоложение кадров: «Молодым везде у нас дорога...». Слава Богу, потом вскоре пошло новое веяние: введена была аттестация вузов, и велено было в каждом побольше иметь докторов и кандидатов. А где их возьмёшь, особенно в провинции? Вот и настало время таких старых пердунов, как я. Послал я в здешний пединститут, переименованный в университет, документы на конкурс, и меня приняли, как родного, на должность профессора кафедры синергетики. С детьми я горшки побил, а тут дали служебную квартиру, работой не отягощают, а своей степенью и званием людям пользу приношу...

Авторитет. Интересно. Значится, для вуза главное – степень и звание... Заметано. А позвал я тебя к себе, чтобы узнать, так ли уж необходим для нашего универа некий Половинкин, или его можно спокойно отправить к чёртовой матери? Это между нами, старик.

Ф и т и л е в (задумывается). А вам доводилось читать, как Сталин звонил Булгакову, чтобы узнать, ценен ли для русской культуры Мандельштам или его можно спокойно расстрелять?

Авторитет (поражен). Знаю Булгака, вора в законе, да только он, Булгак, у мамки нашелся, когда Иосиф Виссарионович уже... Не верь, отец, это сказки.

Ф и т и л е в (пожимает плечами). Возможно. А относительно Ивана Петровича Половинкина что я могу сказать? Он ведь никто пока, это только какой-то проспект ученого и преподавателя.

Авторитет. Проект, ты говоришь?

Ф и т и л е в . Пусть будет проект, можно и так... Вот вам портрет Ивана Петровича Половинкина между прошлым и будущим. Прошлое весьма непривлекательно. Халтурно читал лекции, потому что гнал диссертации одну за другой, и халтурил в диссертациях, потому что приходилось одновременно и лекции читать. Пролистал я его диссертацию, не смог отбояриться. Тяжкое, нудное чтение. Раньше требовалось, чтобы в каждой докторской диссертации открывалось новое направление науки. Смешно, правда? У нас были бы тысячи новых направлений науки... Серенько, средненько, явно не списано – и то хорошо.

А в т о р и т е т (нетерпеливо). Короче, старик.

Ф и т и л е в (невозмутимо). Задали вопрос, так теперь слушайте. Короче просто невозможно. Будущее же нашего героя неясно. Теперь, когда с каторжным трудом покончено, Половинкин, быть может, и заинтересуется наукой, будет пытаться увидеть и открыть что-то новое, однако такой поворот вовсе не обязателен. Ведь куда чаще люди защищаются и уходят на административную работу или в преподавание, не отягченное учеными раздумьями. В любом случае я предпочту преподавателя, защитившего диссертацию, преподавателю без степени: человек, пока трудился над своим «кирпичом», всё-таки стал образованнее и научился дисциплине умственного труда.

А в т о р и т е т (с обидой). Пока ты болтал, я чуть не упустил мысль, что мне пришла в голову. Помолчи.

Ф и т и л е в (торопится). А человек он честный (возможно, что и по молодости лет), товарищ вроде неплохой...

А в т о р и т е т (не слушая). Гном, выведи старичка, и покажи ему, в какой стороне его переулок. (Ф и т и л е в у). У той бабы, что запакостила кровью мой

ковер, с перепугу начались месячные женские дела. Сегодня обошлось с ковром.

Ф и т и л е в . У меня и мужские дела давно прекратились. До свидания.

А в т о р и т е т (*задумчиво*). А у меня от этого болтуна уже голова трещит... Вспомнил! Картина «Рядовой Александр Матросов» или другая какая. В том прикол, что солдат навечно зачислен в списки родной части. Вот вечерняя поверка. Поверяющий: «Матросов!». А там пустое место в строю, но кто-то базлает: «Я!» (*Подходит к компьютерному столику, возится с клавиатурой и текст на мониторе приобретает написание «МАЧИТЬ И ПАМИЛОВАТЬ»*). Мочить будем Половинкина, а помилуем его докторство и профессорство – пусть послужат любимому городу. Сам ты «бобик», старик!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина четвертая

Комната в двухкомнатной квартире Половинкина, приспособленная под его кабинет. На стенах, на полу, на кресле – книги, диски. На обычном столе у окна, стоящем тылом к зрительному залу, ноутбук, рядом допотопный принтер. Рядом телефон. У стены узкая тахта, покрытая не то пледом, не то рваным солдатским одеялом. Общее впечатление какой-то общежитской временности и неустроенности нарушает только большой портрет бородатого мужчины на стене, окруженный навесными книжными полками.

Звонит телефон. Из соседней комнаты появляется М а й я , вторая жена П о л о в и н к и н а . Несмотря на то, что в халате и в бигудях, подкрашена.

М а й я (*поднимает трубку*). Алло, квартира профессора Половинкина. Ах, так это ты, милая. ... И я тебя люблю, люблю ужасно! Нет, мой на работе болтается. (*Хихикает*). Ах, ты такая шалунишка! Хорошо, где-нибудь на той неделе, теперь я только об этом и буду думать... А что мне одеть? (*Пауза*). И почему ты так трясешься, чтобы я была в рыжем парике? (*Сквозь зубы*). У тебя была рыжая подруга, ну признайся, белокожая, роскошная... Или и сейчас? (*Плачет*). Ну, ладно, пусть я дурочка... Дурочка, так дурочка. Конечно, пожалуйся мне, авось чего посоветую, пусть я и дурочка твоя. (*Пауза*). У меня хоть и не длинношерстный, не пикинес, однако проблемы с кормёжкой похожие. Главное, чтобы их, дармоедов наших, не баловать. Хоть твой и

длинношерстный, не готовь ты ему всяких разносолов, купи какой-нибудь там «Чаппи-маппи», насыпь в миску, он и привыкнет. Ещё тебя станет всю облизывать... Как я устроилась? О, я, сразу же, как мы поженились, не пожалела денег, купила большую эмалированную кастрюлю. Потом нашла на базаре бабок, что говяжьи кости продают, знаешь, на них ещё мясо остаётся... Раз в неделю я ставлю кастрюлю на огонь, вывариваю часа два эти кости, а под конец вбухиваю туда две-три упаковки концентрата супа горохового, знаешь, такие в брикетах. Вкусно, полезно и питательно... Ты смеешься? Конечно же, сама не ем, у меня диета... Беда только, что последнее время, как дисеры свои клятые дописал, начал, подлец, озираться вокруг, приглядываться начал, чего жрёт. *(Слушает)*. А что у меня с работой? Погано у меня с работой. Заказчицы такие все стервы... Моя бы воля, только на одну тебя бы и шила, моя ты прелесть. *(Слышен звонок в дверь)*. Ах, звонят. Наверное, мое чудище вернулось. *(Уходит)*.

Входят П о л о в и н к и н и 4 - я студентка. Задва года, прошедшие после их последнего появления, изменилась только их упаковка. Он теперь в костюме, сшитом на заказ, при галстукe, в дешёвых, но модных полуботинках. Она богато, как бизнес-леди, одета и по-иному, чем в первом действии, причесана.

П о л о в и н к и н . Вот моя берлога. Прошу извинить за рабочий беспорядок.

4 - я студентка . Да, типа сарая как бы. Разве что портретище *(показывает)* не в масть.

П о л о в и н к и н *(осматривается)*. Вы полагаете? А портрет самодельный, это мне с фото увеличили. Раму сам сколотил из старого плинтуса и покрыл паркетным лаком. Рекомендую: великий филолог Александр Весе-

ловский. Квартирка наша служебная, зато, как видите, рядом с университетом. А всё скромненько, потому что житьё наше, как будто временное, всё впереди... Надеемся и жди. Теперь жду первую настоящую зарплату. *(Гордо)*. Я с этого месяца по приказу уже на должности профессора. Не верится, честно говоря...

4-я студентка. Уже профессор, значит... Как быстро летит время, Иван Петрович! Машет своими тяжелыми крыльями, и всё нас по голове, по голове...

Половинкин *(не слушая)*. Как спихнул я докторский кирпич, ощутил в душе пустоту. Боюсь, что деньгами её не заполнить...

4-я студентка. Про какие это вы деньги, бедненький мой Иван Петрович? Ну, накинут вам тыщонку-другую, только раздразнят...

Половинкин *(не слушая)*. Сажусь спозаранку за комп, вхожу в Инет, а чего искать там и чего теперь вытаскивать, не знаю. Я существовал, как ездовой конь в шорах: видит бедняга только направление, куда бежать. Вот и я прибежал, можно бы уже и снять шоры. Да только боюсь. Не вышло бы, как у классика. Помните? Я взглянул окрест себя, и душа моя наполнилась всеми впечатлениями бытия... Брр... Отчего это я вам, человеку незнакомому...?

4-я студентка. Так уж и незнакомому, Иван Петрович? *(Снимает книги и диски с ветхого дешевого кресла, кладёт их бережно на пол, осторожно усаживается)*.

Половинкин. А? Отчего это я всё о себе да о себе? Ох, что ж это я... Садитесь, пожалуйста. О, вы уже сели. Ну, и хорошо. *(Сам осторожно присаживается на край стола)*. И в душу свою заглянуть побаиваюсь. Недавно, признаюсь, заглянул ненадолго. Ночью долго заснуть не мог, ворочался... Знаете, я привык перед сном

вспоминать последние страницы дисера, написанные вечером: поворачиваю так и этак, обсасываю, и тогда утром легче сразу врубиться в работу... Так вот, сунулся я в душу к себе – и быстренько назад. Боже, сколько там всяческого дерьма обнаружилось! И главное – какой я низкий трус, подлиза, конформист! (*Закрывает лицо руками*).

4 - я студентка (*смущена*). Да уж, ни фиги себе признание! Ничего, я слышала, что небольшое извращение – если, конечно, мужик не достает им знакомых, – оно скорее даже прикольно... Тьфу ты! Спасибо хоть, что предупредили.

Половинкин (*чопорно*). Не знаю уж (хоть и догадываюсь, признаться), чего вы там нафантазировали, однако конформист по-русски означает всего-то навсего приспособленца. (*Горько*). Всего-то, однако для меня достаточно.

4 - я студентка (*изумлена*). Да иди ты...

Половинкин (*удивлен её тоном, официально*). Итак, вас допустили к приёмным экзаменам в аспирантуру, а прочитать ваш реферат и оценить его поручено мне. Практически это означает, что я буду и вашим научным руководителем на время аспирантуры. Я пригласил вас, чтобы поговорить о вашем реферате и ориентировать перед приемным экзаменом по специальности. А сюда пригласил, потому что традиция такая: профессора работают с аспирантами и диссертантами у себя в кабинете. Тут и книги под руками...

4 - я студентка (*тихонько*). И кушеточка.

Половинкин. Теперь давайте, наконец, знакомится. Я – Половинкин Иван Петрович, (*с невинной гордостью*) доктор наук, профессор кафедры синерге-

тики. А вы... (*Достает из портфеля бумагу*). А вы – Туган-Барановская Калерия Вадимовна...

4-я студентка. Ваня, неужто ты меня не помнишь?

Половинкин. Позвольте...

4-я студентка. Тогда вспомни тот зачёт по синергетике на третьем курсе, это когда ты посмел погнать из аудитории сыночка самого Щетины! Я та самая Лера Иевлева, что блестяще отвечала на все твои занудные вопросы, а потом, разнежившись, дала тебе, дурочка я впечатлительная, номерок мобильника...

Половинкин. Щетинина припоминаю...

4-я студентка. Только ты меня отшил, рассказал о всех своих женах, и что ты им верен, как... как...

Половинкин. Как стул.

4-я студентка. Почему же – стул?

Половинкин. Потому что не хуже других. Такой же верный, как и стол. Вы хотели подобрать сравнение, Калерия Вадимовна, а я вам помогаю. Верный муж – явление настолько банальное и неинтересное, что и сравнений не требует. (*Официально*). Нам надо ещё обсудить вопросы к экзамену.

4-я студентка. Я разревелась тогда, и той своей минуте славы уже и не рада, пошла себе... А тем же вечером в общаге, часу уже во втором, кличут меня вниз, на вахту. Я как раз с горя повелась с девками нашими травку покурить, одну только затяжку и успела... Говорят, препод вызывает – перетрухала даже... А там ты, Ваня, бледный, как смерть, и вусмерть бухой, обещаешь вахтёрше тете Ксене рога обломать...

Половинкин. Боже мой!

4-я студентка. Она не поддалась, тебя в общагу не пустила. Тогда ты ухватил меня за руку и потащил в окружающий общаги сад, где мы почти до утра и прокуковали на старой яблоне. Трепались, трепались и время от времени пытались перепихнуться – там такая развилка была, чуть было не получилось у нас... Ты был чудо как мил – такой раскованный, такой прикольный, предприимчивый, неутомимый... Всё бы по высшему разряду, да только ты не догадался подтащить бухла, а я только одну затяжку успела. Ты не думай, я и без того кайф поймала, да только несло от тебя самогонкой уж слишком жестоко. Я еще удивлялась: нешто преподы такие бедные, что не могут себе нормального бухла позволить... А как светать начало, ты поклялся мне в вечной любви, достучался до сонной тети Ксюши, пропихнул меня в общагу – и исчез.

Половинкин. Теперь понял! Меня же через пару дней на партгруппе «Новой России» обсуждали за аморалку, с подачи самого Никодима Силыча, между прочим. И никто не мог понять, что за аморалка такая – и я первый! Потому что я всё начисто забыл! Потому что от клятой самогонки, которой напоила нас на своем дне рождения змея Сысоевна, у меня случилась алкогольная амнезия! Господи, как я виноват перед вами, Вадима Калериевна!

4-я студентка. Это на тебя тётя Ксения настучала. За то, что ты спяна грозился её на уши поставить, утром она дозвонилась в ректорат. Тётя Ксения мне потом сама рассказала. Баба-то добрая, душевная, напрасно ты на неё попёр... Настучала и сдала смену в девять, поехала кормить своих поросят. А через двое суток, когда снова вышла дежурить, приехал от ректора холуй, чтобы оформить заявление по всем правилам. К

тому времени тетя Ксения пребывала уже в состоянии духа, благосклонном к пылкой молодёжи, и заявила, что ничего теперь не помнит, а позвонила спросонья.

Половинкин (*фальшиво*) Ну и дела! Настоящая комедия амнезий... Простите меня, (*заглядывает исподтишка в бумажку*) Калерия Вадимовна!

4-я студентка (*присматривается к Половинкину, недовольно поджимает губы*). Кому комедия, а кому... Ты представь только, что я почувствовала, когда в коридоре универа разлетелась было к тебе, а ты посмотрел, будто на пустое место... Чего я только не передумала тогда, а вот что тебе с перепоею память перемкнуло, не догадалась! А теперь вижу: если бы и доперла, мало что изменилось бы, Ваня.

Половинкин (*постепенно воодушевляется*). Не скажите, не скажите, Лера! Ведь мой безумный порыв не вызван был одною самогонкой, зелье Сысоевны было только ключом... нет, той последней по весне льдиной, что сносит мост и прорывает плотину. Я вспомнил теперь, что на самом семинаре, когда вы столь романтически назвались Лерой Иевлевой и несли забавную такую дичь, что уже и тогда нам зазвучала некая мелодия, будто камертон в костяной руке у судьбы... Вот, кажется, эта. (*Включает компьютер, роется в дисках, судорожно засовывает один из них в дисковод, орудует «мышкой»*). Я почти уверен...

Громко и мощно звучит основная тема «Лебединого озера». Половинкин разводит руками.

4-я студентка. Нет, не оно, Ваня! Выруби, пожалуйста. (*Нашаривает в сумочке, не может найти, ищет на столе свободное место, куда можно бы высыпать содержимое. Не находит*). Вот непруха! (*Становится на колени, опрокидывает и трясёт*

сумочку над полом, роется в куче разбросанных вещей).
Помог бы!

М а й я (*сперва стучит в дверь, потом входит. На шее у неё висит портновский метр. Светским тоном*).
Привет! Впрочем, мы ведь уже виделись, девушка. Тогда муж сказал, что вы его будущая аспирантка. Скажите, не предохранительный ли пакетик вы ищете? Так вон он, у вашей правой руки – или у носка левого полуботинка моего мужа. Иван, а ты уверен, что вспомнишь, куда эту штуку надевают?

4 - я студентка. Лера я, а не девушка! Я – Лера. (*Находит, наконец, мобильник, встаёт на ноги*).
А вы которая из жён Вани? На которых он женился как порядочный человек, потому что одна из вас была первой, вторая... ну и дальше там по порядку... его женщиной. Вот вы лично кто именно – работница прилавка Соня или Маечка, которая кутюрье?

М а й я. Я вторая женщина в жизни Ивана Петровича, то самое, что вы назвали. И откуда нынешние мочалки узнают такие мудреные слова? (*Примирительно*).
Знаете, ребята, я зашла, потому что интересно тут у вас. То Чайковского врубите, то загадочная наступает тишина. Я, с вашего разрешения, загляну ещё попозже. Чао! (*Упакивает*).

4 - я студентка. Что это было, Ваня?

Половинкин. Мы с Майей вот уже столько лет не можем разгадать феномен нашего брака, а ты надеешься его понять на лету... Скажи лучше, зачем ты искала мобилку?

4 - я студентка. Затем. (*Орудует клавишами. Сухо в трубу*).
Послушай, набери меня. Просто набери, Олег.

Через несколько секунд раздаётся рингтон, это первые такты из «Грёз любви» Листа. Половинкин и 4-я студентка закрыв глаза, застывают в позициях, сравнение для которых автор подобрал ранее, в ремарке к 1-ой картине. Потом 4-я студентка медленно приближается к Половинкину, берет его за руки.

Половинкин (*закрыв глаза, монотонно*).
Почему, почему ты исчезла так надолго?

4-я студентка. Друг мой, друг далёкий,
почему ты не вспоминал обо мне?

Половинкин. Знаешь ли, меня начинают мучить вещи, ранее для меня абсолютно безразличные. Например, почему я не смог дозвониться до тебя той ночью. Или – кому ты звонила сейчас.

4-я студентка. Ты спрашиваешь меня о вещах, абсолютно не имеющих значения. Тогда я оставила мобильник дома, в своей комнате, потому что отпраивались мы на вечеринку к ребятам, и я, и без того вечная растерёха, обкурившись, обязательно бы забыла его. А хуже нет, чем искать потерянную вещь в общаге, расталкивая и тормоша похмельный народ. Да и приставучий – эта утренняя эрекция, знаешь ли... Тогда мобилка была для меня ценной вещью, и не только из-за привычного номера. А только что я звонила мужу. Это ещё скучнее, Ваня.

Половинкин. Откуда взялся муж?

4-я студентка (*по-прежнему закрыв глаза, так же монотонно*). Время шло, я пошла в спецсеминар к Лизавете Матвеевне, а не к тебе, чего ты даже не заметил. Под её руководством защитила и бакалаврскую, и магистерскую. А на пятом курсе, как положено, я начала подыскивать себе мужа. Это давняя традиция, когда иногородние студентки на последнем курсе выскакивают замуж. Раньше это делали для того, чтобы не от-

правиться по распределению в какую-нибудь Пурдовку, а теперь, когда давно уже все сами ищут себе работу, для этой операции основания куда более серьезные, тем более для девушки из общаги. Представь себе только – даже если она устроится на работу здесь, в областном центре, бедолаге только за квартиру придется платить в три раза больше, чем её зарплата. Вот я, обдумав поставленную перед собою задачу, и съездила к своему отдельно живущему папáнке, выцыганила у него некоторую сумму, теперь посмотреть, так смешную, и принялась улучшать свою внешность. Детали тебе неинтересны, ведь ты едва ли рассмотрел плоды моих усилий. В общем и целом, в приемлемый срок я подловила запланированную дичь. «Нового русского», то есть. В состоянии довольно потрепанном, я у него уже пятая хозяйка, и глупо было бы думать, что последняя. Но чем дальше я продержусь, тем больше шансов отхватить человеческие отступные. Танец живота не умею исполнять, потому удерживаю внимание к себе мужа как бы учеными разговорами. В частности, о причудах синергетических взаимосвязей. Чтобы продолжить забаву, Олег и в аспирантуру меня устроил.

Половинкин. То есть купил тебе место.

4-я студентка. Я так не говорила.

Половинкин (*глубоко вздыхает*). Это неправильно, так не должно происходить.

4-я студентка (*открывая глаза, но столь же монотонно*). Что именно неправильно – покупка места в аспирантуре или покупка меня?

Половинкин (*отводит глаза*). Твоя продажа себя.

4-я студентка. Моё замужество ничуть не глупее и ничем не подлее твоей первой женитьбы. Уж

сразу и женился бы на посудомойке из столовой, чтобы тебя подкармливала.

Половинкин. Ты ведь ничего ведь не знаешь о той истории. И ты просто насмотрелась перестроечных фильмов. А когда Кинчев снялся в том фильме, где жалостная история влюбленной посудомойки, мне было только десять лет.

4-я студентка. Не пойму, о чём ты. Или ты опять хочешь меня заговорить до потери пульса, как тогда на старой яблоне?

Половинкин. Знаешь, я ревную тебя к воспоминаниям о той ночи. Мне всё ещё не верится, что тогда с тобой был я. Та ночь, она существует только в твоём сознании, но не в моём, и противная скептическая сторона моей души, этот высокопарный и ничтожный доктор Вернер...

4-я студентка. Слушай, может быть, с моей стороны это и неприлично... Неужели ты не слышишь, что воняет горелым?

Половинкин *(несколько напыщенно. Чувствуется, что он рад поводу уйти)*. Действительность напомнила о себе. Сегодня среда. По средам Майя варит для меня гороховый суп на неделю вперед. Она увлеклась своим шитьём или подслушиванием у двери кабинета, вот суп и сбежал. В комплект поставки входит также алюминиевая мисочка, в ней очередная порция подогревается, из неё же и есть. Я быстро. *(Убегает)*.

4-я студентка пожимает плечами и прохаживается по комнате. Садится в кресло и задумчиво рассматривает сумочку и разбросанные на полу вещи, отнюдь не торопясь их поднимать.

Та часть стены, где висит большой портрет, вдруг незаметно для неё затеняется, портрет рушится вниз, а на его месте появляется несколько растерянный академик Веселовский.

4-я студентка (*поворачивает голову в сторону портрета*). Ой! А вы кто ещё такой?

Академик Веселовский (*отряхивается, причесывает бороду и волосы, потирает руки. Наконец склоняет голову*). Позвольте представиться: действительный член Российской Академии наук профессор Александр Николаевич Веселовский. А с кем имею честь?

4-я студентка. Да бросьте вы... А вообще-то я магистр синергетики Туган-Барановская Калерия Вадимовна, вот поступаю в аспирантуру...

Академик Веселовский (*весело*). Прямо здесь и поступаете, mademoiselle?

4-я студентка. Ну, на собеседовании как бы...

Академик Веселовский. И куда поступаете, я не расслышал?

4-я студентка. В ас-пи-ран-ту-ру.

Академик Веселовский. И с чего бы называть по-немецки? По-русски было без затей – приготовляющийся к профессорскому званию, а теперь говорят: профессорский стипендиат... (*Оглядывается*). А нет ли здесь где-нибудь календаря? Сойдет и перекидной.

4-я студентка. Так вы знаете не только немецкий язык, но и французский? У нас теперь кто знает английский, не знает в таком случае французского. Впрочем, чаще он и английского толком не знает. Я уж не говорю о немецком. Немецкий теперь мало кто учит.

Академик Веселовский. Странно... Я знаю все новые европейские языки и основные древние, без этого я не смог бы заниматься сравнительным литературоведением.

4-я студентка. А как вам удалось их выучить?

Академик Веселовский. Мать моя была немкой, а бонна англичанкой. В гимназии меня научили французскому, латыни и древнегреческому, в университете – славянским языкам, а доучивался я, вот, как и вы, но только в Италии. Дальше было уже попроще...

4-я студентка молча подставляет ему экранчик мобильного.

Академик Веселовский щурится, присматривается, раскрывает рот и прикрывает его ладонью.

Академик Веселовский. Этого не может быть... Следовательно, я сплю. А уж если сплю...

Протягивает руку и поглаживает 4-ю студентку по бедру.

4-я студентка. Это ещё что?

Академик Веселовский. Это моя рука, mademoiselle. Если я сплю, то это мой сон, а в своем собственном сне я имею безусловное право потрогать приснившуюся мне красивую девушку.

4-я студентка. Ты, что ли, Ваня?

Академик Веселовский. Ну кто ж ещё, mademoiselle?

4-я студентка. Как ты решился на такое?

Академик Веселовский. Да очень просто. Там, за портретом, окошко такое с дверцей, чтобы из кухни готовые блюда в комнату передавать, вот через него я и пролез. Кухня тут маленькая, нельзя на ней обеденный стол поставить. А парик и бороду...

4-я студентка. Нет, как ты решился прикоснуться ко мне, не опившись предварительно самогоном вашей змеюки Сысоевны?

Целуются.

4 - я студентка . Сними это.

Академик Веселовский снимает бороду и парик и превращается в Половинкина .

Половинкин . И ты сними.

4 - я студентка . Ну уж нет, не дождёшься, мы ведь всё-таки на собеседовании.

Продолжают целоваться. Сперва постучав, впархивает Майя .

Майя . Извини, что нарушаю ваш интим, Иван, однако я вынуждена огорчить тебя. *(Трагически)*. Суп сторел. И я даже представить себе не могу, чем буду кормить тебя следующую неделю. *(Подносит к глазам платочек)*.

Половинкин . Я вижу в этом знамение судьбы. Я не возьму в рот горохового супа отныне и навсегда. Не знаю, буду ли я теперь вообще есть. Моя жизнь так мгновенно изменилась, что даже голова кружится, и мозги не варят. Мне мнится, что из меня вот-вот повалит дым, а через минуту я превращусь в горку пепла.

Майя . Сперва кастрюля с супом, потом муж... Нет, для меня это чересчур, ещё и этой вони я не вынесу. Не лучше ли мне прекратить переговоры и поискать чего потяжелее?

4 - я студентка *(Майе)*. Женщина, я тоже замужем. Успокойтесь, вашему браку ничего не грозит. Не придавайте значения тому, что ваш муж упорно пытается задрать на мне юбку. Ваня просто ещё не врубился. Наши с ним отношения будут чисты, как купленная в

магазине сорочка, и бессмысленны, как фильм на DVD, прокрученный в обратную сторону.

Половинкин. При чем тут DVD? Ты бредишь, Лера. Наверное, у тебя тоже жар... Хотя у нас с тобой ничего ещё не было, мне никогда ещё не было так хорошо.

Майя. Секс в одежде, да? Безумно моден был когда-то, однако можно разориться на химчистке. Извините, девушка, но нам с мужем нужно решить вопрос, чем он будет питаться следующую неделю. Я должна привести Ивана в чувство. Вы его подержите, пожалуйста, а я таки схожу на кухню подобрать себе половник по руке.

Раздаётся рингтон, это снова первые такты из «Грёз любви». Половинкин и 4-я студентка закрыв глаза, застывают в объятиях друг у друга.

Майя кружит вокруг них, рассматривая, будто в музее восковых фигур.

Майя. Девушка, а вам никто не говорил ещё, что на вас музыка действует, как на кобру?

4-я студентка (*не слушая её*). Я разыскала этот рингтон, я ставила его на все свои мобилки, меня не оставляла надежда: а вдруг удастся, вдруг дано мне будет снова испытать тот восторг, что мы испытали, когда впервые услышали вместе... Нет, это возможно только рядом с тобой.

Половинкин. Почему он снова звонит тебе? Кажется, теперь я возненавижу эти патетические, фальшиво оптимистические звуки, выманивающие тебя к пропасти разлуки и предательски оставляющие над нею. Никакой электроники больше! В нас звучит живая музыка, и жалкое звяканье телефона только унижает её.

М а й я (*плаксивым девчоночьим голосом*). Ребята, а что если вы примете меня в свою игру? Я беру назад свои слова про кобру. Какая же ты кобра, если ты не рыжая, не белокожая, не роскошная Тициановская толстуха? (*Обнимает обоих, затем отстраняется*). Я, кажется, сделала глупость. Я не почувствовала ничего нового. Обманчивое, благовонное тепло чужой сучки и всё тот же кислый вкус измены на моих изогнутых губах. Боюсь, Иван, что нам придется серьёзно поговорить.

П о л о в и н к и н . Да, Майя, в эту игру не играют втроём. Ты бы лучше убрала свои руки от Леры. Наверное, нам стоит поговорить, хотя я теперь ещё хуже тебя понимаю. Да и что я могу сейчас понимать? В моей голове работает пульсар, и восхитительны именно эти перерывы – между тем, как на короткие мгновения ко мне возвращается сознание, и я снова становлюсь самодовольным, скучным жлобом.

4 - я студентка . Ваня, ты не ошибся. Это муж напоминает, чтобы я не опоздала на выставку, которую он должен открывать. Майя, спасибо тебе за предложение дружбы, но я не могу её принять. Я иначе устроена, и очень на то похоже, что в меня уже пару лет как встроен твой муж. Извини, но лучше считай меня чужой сучкой. Я ведь и вправду сучка, и у меня с мужиками своя война, сепаратная.

П о л о в и н к и н . Лера, у тебя жар. О какой выставке ты говоришь?

Слышен звонок в дверь. Звонят агрессивно, подолгу задерживая палец на кнопке.

4 - я студентка . Лёгко на помине. Вот он и сам за мной заехал. Как это похоже на Олега!

М а й я . Я пойду открою. А вы пока ведите себя прилично.

4 - я студентка . Боюсь, что Майя вовсе не это имела в виду...

В прихожей топот. Вваливаются П р а п о р и Г н о м , сопровождаемые испуганной М а й е й .

П р а п о р . Кончай обжиматься! Ты профессор Половинкин?

П о л о в и н к и н . Я академик Веселовский.

П р а п о р . Пошутишь тут у меня! Это твоя подпись? (*Показывает раскрытую зачётку*).

П о л о в и н к и н . Может быть, моя, а возможно, что и не моя. Когда приходится часто расписываться, глупо тратить время на завитушки. А простую подпись каждый может подделать.

П р а п о р . Пойдёшь с нами. Паспорт?

М а й я . А вы не могли бы показать ещё раз своё удостоверение?

П р а п о р . (*Гному*). Разве я не показывал дамочке свою ксиву? (*Майе*). Отхлынь.

П о л о в и н к и н . Майя, ты не помнишь случайно, где мой паспорт?

П р а п о р . Отставить. Документы все, пропуск, кредитку, ключи оставь жене. Ну, той из двух, которой квартира останется. Тебе не понадобится.

Г н о м . А вот сигареты прихвати.

П р а п о р . Только не спички и не зажигалку.

П о л о в и н к и н . Я не курю.

Г н о м . Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт. (*Гогочет*).

П р а п о р . Гм. Давай, Половинкин, на выход.

Половинкин. Это недоразумение, вы же видите. Я скоро вернусь.

4-я студентка. Ваня, прощай!

Половинкина отрывают от 4-я студентки, уводят. Пауза.

4-я студентка (*хмурит лоб*). Ведь всё одно пришлось бы через пару минут уходить, но кто мог ожидать такого...

М а й я (*кидается ей на шею, плача*). Сучка ты бесчувственная!

Картина пятая

Сцена представляет собою преподавательский зал в студенческой столовке, на вечер превращенный в банкетный.

Стол стоит на авансцене. За ним, лицом к зрителям, расположились члены кафедры и гости. Два стула справа пусты, далее сидит *М а й я , о . Ф е р а п о н т*, затем профессора, *Д о к т о р а н т к а* из *К и р п а т и и*, доценты, ассистенты, аспиранты, лаборанты.

Когда поднимается занавес, все стоят, повернувшись влево, поднимая бокалы, как на картинах *П и р о с м а н и* пирующие свои полные роги. *З а в к а ф е д р о й* с серьезным видом поднимает вилку, *Ф и т и л е в*, спрятавшись за спиной *Д о ц е н т а П о р о ш к о в о й*, вздымает фигу. Слева хлопает дверь, все рассаживаются.

Д а м а - п р о ф о р г (*одарив зрителей своей замечательной улыбкой*). Какой удивительный оратор *Н и к о д и м С и л ы ч*! Я чуть было не расплакалась, когда он воздавал должное нашему *И в а н у П е т р о в и ч у*. Ведь, и в самом деле болтался себе по кафедре такой себе молодой человек в свитере, а теперь диплом профессора получил!

М а р ь я В а с и л ь е в н а. Пров, а чего тут делает эта змея подколодная? Ты же обещал, что и духу её на твоей кафедре не будет!

Д о к т о р а н т к а из *К и р п а т и и*. О!

Д а м а - п р о ф о р г (*пошипев несколько секунд, набирает, наконец, в грудь воздуха*). От проשמандовки слышу!

Доцент Порошкова. Промолчи себе в тряпочку, Нинель. Добром советую.

Завкафедрой (*встает, с удивлением взирает на вилку у себя в руке, подумав, позванивает ею по бокалу*). Тут ректор речь произносил, и я не успел представить свою супругу. Прошу любить и жаловать. Полянкина Марья Васильевна, заведующая патологоанатомическим отделением второй городской больницы. Когда-то Яков Борисович предлагал собираться семейно, приводя на сабантуйчики своих жён и мужей. Вот я и захотел показать пример. Быть может, и не совсем удачно вышло...

Марья Васильевна (*встаёт, раскланивается*). Очень приятно. Пров, я ведь не про бабские шуры-муры (об этом мы и дома сможем пообщаться), а про работу кафедры. Ты серьёзно подставляешься. У себя в отделении не то что такого прозектора, но и санитаря такой квалификации не стану держать! (*Садится*).

Докторантка из Кирпатии (*доценту Порошковой*). А что такое шуры-муры?

Доцент Порошкова (*Садится*). Это, девушка, наши внутренние дела. Э... The inherited affaires.

Докторантка из Кирпатии. О!

Завкафедрой (*он так и не сядил, но успел налить себе в бокал минералки*). Дамы, прошу внимания! Поскольку наш глубокоуважаемый ректор в своём тосте уделил достаточное внимание виновнику сегодняшнего торжества (*угрюмо косится на пустой стул Половинкина*), я поднимаю этот бокал за его очаровательную супругу, за Майю, которая в последние месяцы стала почти что членом нашей кафедры!

Все чокаются, пьют.

М а й я (*наливает сама себе*). Спасибо, дорогой Пров Никитич! Я резервирую ответный гост – и желательно поскорее, пока совсем не окосела от шампанского.

Докторантка из Кирпатии. О! А кстати, где же он сам, Иван Петрович?

Взоры пирующих обращаются к З а в к а ф е д р о й , однако он, уткнувшись взглядом в тарелку, старательно разрезает на ней кусок ветчины.

Д а м а - п р о ф о р г . Иван Петрович в Москве. Поехал на заседание ВАК.

Д и м а - п а р т о р г . А я слышал, что он на Конгрессе синергетиков в Брюсселе.

1 - а я л а б о р а н т к а . Чепуха! Вырезает аппендицит, на днях уже выйдет на работу.

М а р ь я В а с и л ь е в н а . А в ч ь е й к л и н и к е ?

Ф и т и л е в (*просыпается, бурчит*). На Луну улетел.

М а й я . Да что вы все, право! Иван вышел на минутку тут рядом, носик попудрить. (*Неверною рукой накладывает грудку салата оливье на тарелку пустого прибора рядом с собою*). Иван у меня неприхотлив, с удовольствием потребляет полезные и питательные продукты. Хотя и не длинношерстный, нет.

Ф и т и л е в (*с интересом*). А нос у него сухой?

М а й я . Когда как. (*Мрачно задумывается*).

Ф и т и л е в (*хохотнув*). Если нос мокрый, значит, здоров.

2- а я л а б о р а н т к а (*раскраснелась*). Разрешите мне, Пров Никитич. Мы тут с Софочкой и Милочкой поспорили, отчего это так получается, что с того конца коньяк поставлен, а с нашего – водка, там – бутерброды с красной икрой, рыбные всякие вкусности...

О. Феррапонт. Пост потому как...

Марья Васильевна. Да помолчите, батюшка, дайте девочке сказать...

2-ая лаборантка. ...а с нашего, говорю, капустные салатики и свекольные больше. Да сами посмотрите – с того бока густо, а с нашего пусто! А почему так, знаете? А потому что Птица Счастья над столом пролетала и давай напитками и закусками опорожняться. Летела она оттуда сюда – вот и вышло, там, где начала гадить – густо, где брюхо у ней, у Жарптицы, опустело почти – пусто!

Дима-парторг свистит, приспособив два пальца в рот.

2-ая лаборантка. Это же тост, Дмитрий Семёнович! Дайте договорить... Так выпьем же за то, чтобы и мы, молодежь, оказывались на той стороне стола, где Птица Счастья какает гуще, как очутился там молодой ещё да ранний Иван Петрович! (*Пьёт*).

Докторантка из Кирпятии. «Какает гуще»? О!

Пауза.

Марья Васильевна. Девочка права. Ты, Пров, допустил несправедливость. А ну, девочки-мальчики, давайте поработаем... Это блюдо туда, бутылки вот эти, будьте любезны... Майя Батьковна, ну что же вы!

Теперь стол заполнен напитками и закусками равномерно. Только Майя, в начале уравнивающей операции ухватившая за горлышки бутылки шампанского и коньяка, удержала их за собой.

М а й я (*поднимается со стула, чтобы сказать тост*). Дорогие друзья! Придя на кафедру синергетики, чтобы уладить кое-какие дела, связанные с частыми отлучками моего мужа, я почувствовала, что обрела новую семью. На мою... на нашу карточку «VISA» начали приходиться замечательные деньги. Я научилась замечательно подписываться за Ваню, и ставлю его подпись, не жеманясь, каждый раз, как меня попросят. Особенно яркие впечатления... Да, когда Ваня впервые участвовал в приемной комиссии, где подписываться пришлось очень часто. Никодим Силыч даже доверил мне...

Д и м а - п а р т о р г (*прикладывает палец к губам*).
Ш-ш-ш-ш!

С е к р е т а р ь . И я умею подписываться за Ивана Петровича! (*Надувает губки*). Только шиш с маслом за это имею...

М а й я . В чем дело, Димон? Ведь приёмные экзамены для того и придумали, чтобы хорошие люди могли подработать, разве нет?

Ф и т и л е в . А знаете ли, Майя, как называли взятку во времена Петра Великого? Оказывается, «дачкой». Не от слова «братъ», а от наоборот.

Д а м а - п р о ф о р г . Как мило! Возьмите дачку...

Д и м а - п а р т о р г . И купите себе тачку.

А с с и с т е н т Ф е л ь д м а н . Не хотите тачку, так постройте себе дачку!

Д а м а - п р о ф о р г . Нет, Яков Борисович, так много сразу не дают.

З а в к а ф е д р о й (*Фитилеву*). А знаешь ли, Вилен Кирьякович, почему нас с тобою никогда не назначают в приемную комиссию?

Ф и т и л е в . *(Ехидно)*. Вот-вот. *(Подмигивает, они пожимают друг другу руки. Чокаются фужерами с минералкой)*.

Доцент Порошкова. И меня никогда не берут.

Ф и т и л е в . Вы, Елизавета Матвеевна, к нам не примазываетесь.

З а в к а ф е д р о й . Тебя, Лиза, разве что вместе с мужем назначать.

М а й я . Это даже не комильфо – спикать между собой о вещах, которые не понятны простому российскому кутюрье. Надоело стоять, как дура, с рюмкой! Пью за ректора! За дорогого Никодима Сильча!

Ф и т и л е в *(задумчиво)*. Вот ведь какая теперь у профессора Половинкина жена – элегантная, деятельная и светская, а ведь, как помнят члены кафедры, признался нам Иван Петрович в исповедальном порыве...

О . Ф е р а п о н т *(громко, басом)*. Желательно бы, господин профессор, не путать Божий дар с яичницей. Исповедь есть одно из таинств Божиих.

Ф и т и л е в . Отец Ферапонт! Сделали своё дело, опять чего-то там окропили святой водичкой, так теперь будьте добры, пейте и закусывайте. Так вот, признался нам Иван Петрович, что был сперва женат на продавщице, и мне это напомнило одну историю начала шестидесятых. Преподавал я тогда в таком же провинциальном пединституте, только намного южнее...

Д а м а - п р о ф о р г *(гордо)*. У нас тут университет, многоуважаемый Вилен Кирьякович.

З а в к а ф е д р о й *(мрачно)*. Да, вот уже второй десяток лет пошел, как перекрасились из педагогического института. А что, собственно, изменилось? В чём, спрашивается, изменились мы?

Ф и т и л е в . Так вот, поступил на физико-математический факультет один парень, далеко уже не юноша, и пролетарий чистейшей воды. Мигалкин по фамилии, а я с ним общался, потому что был тогда в профкоме, а он таскался ко мне в рассуждении материальной помощи. В помощи он, конечно же, нуждался, потому что гол был, как сокол. Красноречив, многоречив, и мат через слово. Ещё любил кулаком по столу или по кафедре постучать. В светло-синем костюме-двойке невиданного покроя и с чужого плеча (подарил какой-то благодетель), в голубой неснимаемой рубашке, и несло от Мигалкина, стоило ему пошевелиться, как от свиньи, которую привезли на сельскохозяйственную выставку, а почистить забыли. Я, бывало, намекаю, что пора бы и помыться, а он в ответ: «Славно бы, блин, заскочить в баньку попариться, да всё недосуг». Он, Мигалкин, прибыл в Черноморск, пребывая в убеждении, что не кончит ещё курса, как ему присудят сразу докторскую степень – потому что ещё у себя в посёлке сделал такое открытие, которое перевернет мировую науку. Вот так!

З а в к а ф е д р о й (мечтательно). С провинциалами случается. Встречались и мне такие Ломоносовы. А я вот автор 150-ти публикаций (стыдно признаться!), а ни одного открытия так и не сподобился сделать. А ты, Вилен Кирьякович?

Ф и т и л е в (усмехается). Я спокойнее к этому отношусь, Пров Никитич. Мы с тобою не Эйнштейны, мы с тобой обучающий персонал, с нас, значит, и спрос другой. Этот Мигалкин сам рассказывал, что когда ехал в город поступать в вуз, прочитал в общем вагоне целую лекцию о том, как он разгонит чиновников-дармоедов, поставит раком бюрократов, да и учёных-бездарей научит уважать рабочий класс! Так попутчики там его убеждали: ты, мол, поставь их раком, мы не против,

только не сыпь ты матом через каждое слово – не поймут! Если кто не знает, что такое тогдашний общий вагон, так были то не ряды кресел, как сейчас, а нечто среднее между теплушкой и купейным вагоном. Я очень ярко себе тогда представил, как Мигалкин, стуча кулаком и матерясь, проповедует в общем вагоне.

З а в к а ф е д р о й . Ты, Вилен Кирьякович, столь ярко представил (*мягко ухмыляясь*), потому что посадил своего Мигалкина на место Ленина в набившей оскоми-ну картине «Разговор Ленина с рабочими по дороге из Финляндии» или как-то эдак.

А с с и с т е н т Ф е л ь д м а н . Ваш Мигалкин, Вилен Кирьякович, – ну прямо как оживший правдоискатель из народа у Платонова.

Ф и т и л е в . О Платонове тогда просто не вспоминали. Будто его и не было. А заметили вы, что сейчас о нем снова забывают? Потому что теперь ни народ, ни чудаки из народа никому не нужны, ни тем более народные чудаки-интеллигенты, вроде самого Платонова. И не напоминайте мне о «чудиках» Шукшина, тогда их Шукшин в лучшем случае только задумывал.

Д а м а - п р о ф о р г . А при чем тут наш Иван Петрович?

Ф и т и л е в (*хихикает*). А при том! Сейчас поймете, при чем, Нинель Сысоевна. Дело в том, что как-то Мигалкин, сидя у меня в кабинете и по своей привычке гнусно почесываясь (спиной о спинку стула, волнами пуская черноземные запахи), признался, что перед отъездом из родного поселка договорился с одной вдовой бабой, владелицей завидного приусадебного участка: она должна помогать ему, пока выучится, продуктовыми посылками, а он, получив диплом, на той бабе женится.

М а й я (*встает, кланяется, покачиваясь*). Весьма вам благодарна, Вилен Кирьякович! Вот, оказывается, какие ассоциация вызывает у вас мой дорогой, хотя и временно отсутствующий муж. А Соня, его первая жена... Как я её теперь понимаю! Я думаю теперь даже, что она была святая женщина.

О . Ф е р а п о н т дернулся было вмешаться, но промолчал.

Ф и т и л е в . Мне вас искренне жаль, соломенная вы вдовушка. (*Закрывает глаза, тут же открывает их*). Виноват, я только сейчас сообразил, что все вы ждали тоста. Ей-богу, я и сам не пойму, за что тут можно выпить. Придумайте уж сами, коллеги. (*Отпивает минералки*).

А с с и с т е н т Ф е л ь д м а н (*заинтересованно*). А что с ним случилось, с этим Мигалкиным? Сделал карьеру? Сам превратился в упитанного бюрократа?

Ф и т и л е в . Я пытался не упускать чудака из виду. Скажем так, он довольно быстро поблекнул. Видимо, ему объяснили, кому положено: на дворе-де не лучшее время, чтобы выскочке-пролетарию ставить раком советских бюрократов, да и его приёмы местечкового оратора не действовали на наших студентов, у которых тогда на первом месте в жизни стоял преферанс. Даже не девушки, а преферанс. Играли сутками подряд и засыпали потом, сидя на унитазах. Да и тяжело ему пришлось в университете. Представляете, каково было Мигалкину с его словарным запасом конспектировать «Пролегомены к "Критике чистого разума"»? Полинял наш пролетарский Руссо, выцвел, а потом и вовсе исчез.

Д о ц е н т П о р о ш к о в а (*вздыхнув*). Совсем как наш Половинкин.

Ф и т и л е в (*быстро*). Я этого не говорил.

Д и м а - п а р т о р г . Ваня, ау! (*Забирается под стол*).

О . Ф е р а п о н т (*наливает себе водки, встает*). Дорогие мои миряне! А и в самом-то деле: куда подевался виновник сегодняшнего торжества? Миловидная супружница искомого под столом профессора солгала. (*Грозит пальцем*). Ой, кому лжешь, красавица – быть может, будущему отцу своему духовному лжешь! Сбрехала, ох, сбрехала Евина дочка, потому что мужа её и не было днесь в университете. Я сегодня зело любопытствовал, кто из господ профессоров и доцентов присутствовал на закладке часовни на университетском дворе, а кто пренебрег. Для чего обозрел аз, прегрешный, перед церемонией не только аудитории и кафедры, но даже библиотеку и сортир. Не было нигде Половинкина! Я ещё хотел донести о том Никодиму Силычу, да вот зарাপортовался, не успел.

З а в к а ф е д р о й . Что ж вы, батюшка, не донесли, опростоволосились – ай-я-яй! (*Поворачивается к спиной к о. Ферапонту*).

О . Ф е р а п о н т . Так я же в хорошем смысле хотел донести – ведь Никодим Силыч ревнует о духовности своих подчиненных, и хорошо бы вам начальству своему воспоследовать, господин профессор – я проверял: у вас на кафедре портрет президента имеется, да и тот висит криво, но вот иконы ни единой! Да и только что греховное деяние вы совершили, Пров Никитич – понеже сбили меня с мысли! Ага, вот... Не видно нигде Половинкина – однако вот он, предстоит начальству в образе супружницы своей! В видимом своем образе не присутствует Половинкин, однако его лекции читаются! Несть Половинкина в городе (*тычет перстом в пустой стул*) – а его чествуют! Вы уж меня простите, я сам обу-

чался в семинарии, и для меня не такое уж диво, когда профессор лекцию пропустит, а по бумагам всё в ажуре. Но чтобы устраивали банкет в честь отсутствующего именинника – вот это диво дивное! Рядом с ним меркнет даже и тот удивительный случай, иже беж со мною уже после рукоположения...

Дама - профорг (*кланяется, осеняя себя католическим крестным знамением*). Благословите нас, батюшка, да и выпьем наконец!

О. Ферапонт (*в сторону, бурчит*). Пусть тебя твой римский папа благословит! Креститься по-православному научилась бы сначала, дурища! (*Громко*). Вздумалось мне как-то в свободную годину полюбоваться на свой семинарский диплом – честолюбие ведь грех неизбывный! – разогнул я обложку, а там внутри бумажка вложена, я и её развернул, а сие вкладыш о предметах, изученных мною в семинарии. Вот они – врата моей учености! Едва я не прослезился тогда. Прочитую прилежно, пред очима моими внутренними встают незабываемые картины бурсацкой нашей житухи – как вдруг: «Мистическое богословие», и оценка стоит – «Удовлетворительно». А ведь не было у нас такого курса!

Оглядывает стол победительно. Народ в большинстве своем уже выпил, не дождавшись, наливают по новой. Стучат ножи и вилки.

Завкафедрой (*спасая положение*). А было ли там проставлено, кто прочитал курс?

О. Ферапонт. «О. Петр Флоренский».

Фитилев (*просыпается, уважительно*). Тогда это действительно мистика!

О. Ферапонт (*воодушевленный поддержкой*). Удивительная история профессора Половинкина, отсут-

ствующего в земном этом мире, но присутствующего в нем духовно, доказывает неопровержимо, хотя и невидимое, иначе постоянное и неусыпное смотрение Господне над миром нашим тленным. И теперь, поднимая эту чарку с малой толикой жидкой субстанции, её же и монаси приемлют, я предлагаю тост за... Извиняюсь, секундочку... (*Достаёт бумажку, читает теперь по ней*). Тостую за то, чтобы благодать Божия осенила ученых кафедры синергетики, дабы они сообразили, наконец, что именно неисповедимая воля Божья устанавливает все те многообразные и вездесущие связи между явлениями сотворенного Господом мира, которые описывает их наука! Пью за то, дабы именно сия благочестивая и спасительная идея была положена в основу всех ваших трудов!

О . Ф е р а п о н т чокается с недоумевающими кафедрами. Все, кто дотерпел до конца его тоста, наконец-то выпивают.

М а й я вдруг безумно хохочет.

М а й я . Ох, не могу! Вы знаете, что проделывал Димон, пока поп толкал свою речугу? Залез под стол, снял у меня с ноги туфлю и щекотал мне пятку! Ох, опять щекочет! (*Сердито, с неожиданной злостью*). Отстань, Димон, кому говорю!

Д и м а - п а р т о р г (*вылезает из-под стола, волосы у него растрепаны. Плаксиво*). Вот так, говоришь? Пощекотал – и поди себе? Своё получила – и в шею недотепу? Вот теперь я понимаю, какво было с тобой бедному Ване... (*Кривится, готовый заплакать, отворачивается*).

Пауза. О . Ф е р а п о н т шокирован.

Ф и т и л е в (*обращаясь к Завкафедрой*). Надо было тебе, Пров Никитич, всех жен приглашать, а не одну только свою Марию Васильевну.

Завкафедрой. Не я тут хозяин. (*Показывает пальцем в потолок*). Кто заказывает музыку, тот и кафедрю танцует.

Марья Васильевна. А кстати, Пров, почему ты назвал эту даму (*показывает подбородком на доцента Порошкову*) Лизой?

Завкафедрой отвечает своею доброй, растерянною улыбкой.

Ф и т и л е в. Держись, Пров Никитич! Ох, получишь ты своё вечером...

Марья Васильевна. Само собой. И я ещё подумаю, пускать ли тебя впредь на эти ваши банкететы. (*Протягивает руку и ерошит мужу волосы, тщательно зачесанные на пробор*).

М а й я тем временем перемигивается с 1 - й лаборанткой. Наконец, делает приглашающий жест, указывая на пустой стул рядом с собой. Та перебирается, прихватив с собою бокал, тарелку и вилку. Усаживается при этом на пустой стул Половинкина и еще третью зада – на ректорский. М а й я наливает ей и себе.

М а й я. За дружбу! Знаешь, я на тебя давно уже глаз положила, помню, что Софой кличут...

1 - я лаборантка (*улыбается*). Только мы ещё не пили на брудершафт, Майя... Господи, а ведь никто не знает, как вас по отчеству...

М а й я. И не надо. (*Пьют на брудершафт*). И сейчас – присматриваюсь я к тебе, Софочка, и думаю: почему такая девушка – и скучает? (*Тревожно*). Ты же не рыжая, не перекрашенная, ведь правда?

1 - я лаборантка (с чувством). Да будь я рыжая, душой бы была, если б перекрасилась. Натуральная рыжая – да это же забойно! И я к тебе всё присматривалась, Майя. (*Заговорщицки*). Ох, что-то не нравится мне сегодня твоя голова.

Майя. Вы что же тут все – решили, что я свихнулась? Я понимаю, что долго этой сказке не продлится, чтобы мне за мертвеца позволили деньги получать. Да за профессорскую зарплату я готова не только любую комедию на кафедре ломать, но и... (*Окидывает мужчин оценивающим взглядом*).

1 - я лаборантка. Но и..., – продолжай, прошу тебя. Ух, до чего интересно!

Майя. Да? Но нет, я поторопилась, пожалуй. Я не стала бы всё-таки кроить костюмы для ваших профессоров. Не мой контингент, уж чересчур... Уж чересчур фигуры у них какие-то... профессорские. А вот посуду после сегодняшнего банкета я бы, пожалуй, перемыла. Это занятие устраняет беспорядок и прекрасно отрезвляет.

1 - я лаборантка (*явно разочарована*). Таким, значит, образом.... Вот это уж совершенно лишнее. За всё уплочено. Никодим Силыч заплатили из своих фондов. А тарелки сполоснут в столовке: у них там машина стоит... Ох, не об этом я печалилась, не о внутренностях твоей головы, а о внешнем её украшении. Не нравится мне твоя сегодняшняя прическа, Майя.

Майя. У меня диплом дизайнера, может быть! Я не нуждаюсь в твоих замечаниях! Тоже мне Петроний в юбке!

1 - я лаборантка. Ну, знаешь! Да я полкафедры стрижу и причесываю! Всех лаборантов, докторанта из Кирпатии и даже вон Лизавету Матвеевну. (*Проникновенно*). Люблю я это дело. Ну, ты сперва поду-

май, прикинь... Тебе бы очень пошло подстричься под пажа, Маечка.

М а й я . Под пажа, влюбленного в королеву? М-м-м... А что ты делаешь завтра вечером, Софочка?

1 - я л а б о р а н т к а . Завтра вечером? (*Усмехается*). Кормлю ужином мужа и детей. Я никогда не причесываю дома, только на кафедре. Была охота время терять! А дело у меня к тебе вот какое, Маечка. Нашла я на кафедре в шкафу две папки с толстым таким талмудом. Явно твоего Ивана Петровича. Я, ты извини, возила их домой, показывала мужу. А Эдуард мой в издательстве одном. Он посмотрел. Говорит, что можно и издать – если только не будет чрезмерных требований к гонорару...

4 - я с т у д е н т к а (*встает с бокалом в руке*). Позвольте и мне сказать пару слов. У нас здесь, как водится...

З а в к а ф е д р о й (*встаёт тоже*). Позвольте сначала вас представить, если кто с вами ещё познакомиться не успел. Это – Калерия Вадимовна Туган-Барановская, аспирантка Ивана Петровича. Наша выпускница, между прочим.

Д о ц е н т П о р о ш к о в а . Знаем, знаем! У меня писала диплом.

З а в к а ф е д р о й . Калерия Вадимовна успешно сдала кандидатские экзамены, две её статьи уже напечатаны в московских академических изданиях. Вот ты скажи, Вилен Кирьякович, печатали ли нас с тобою в её годы в Москве?

Ф и т и л е в . Да разве что в многотиражке нас в её годы печатали, Пров Никитич, в многотиражке. Калерия Вадимовна молодец.

М а й я (*1-ой лаборантке*). Я тебе скажу, для чего нужны нам, бабам, мужики... (*Шепчет на ухо*).

1-я лаборантка (*округляет глаза*). Ну ты, Майя, даёшь! Я, конечно, могила...

Завкафедрой. Извините, что прервал вас, Калерия Вадимовна. (*Садится*).

4-я студентка. Спасибо. У нас здесь, как водится, о виновнике торжества все почти успели позабыть. Разве что Майя там, во главе стола, уже продает его рукописи. Ну, забыли о юбиляре на обычном банкете – так какая в том беда? Посмотришь – да вон он в наличии. Сидит себе, пьяненький. А нашего Ивана Петровича нету. Даже пьяненького его не увидишь теперь в универе. Я предлагаю выпить за здоровье Ивана Петровича, где бы он сейчас ни был, за научные и творческие успехи Ивана Петровича, где бы он сейчас ни был, за большое личное счастье Ивана Петровича, где бы он сейчас ни был!

Пьёт, разбивает бокал об пол и медленно выходит к середине стола.

И почему это вы все вдруг решили, что Иван Петрович в универе больше не появится?

Диссертант (*с полотенцем на согнутой руке, склоняется перед Завкафедрой*). Прикажете ли подавать горячее, Пров Никитич?

Картина шестая

Интерьер старой котельной. Грязно-зеленые стены, украшенные обрывком обветшалого предвыборного плаката. Стоит табурет, рядом в стене два серых встроенных шкафчика: один для инструментов, второй для уличной одежды и обуви истопника. У стены широкая скамья, покрытая грязным серым одеялом. Прямо – гнилая дверь, на ней большая надпись мелом «Душ». С правой стороны, от горячей газовой печи, на пол и на стены ложатся отблески пламени.

На скамье, руку под голову подложив, лежит *Половинкин*. Он в грязной спецовке, грубых рабочих ботинках со стальными кнопками, зарос бородой, однако видно, что волосы у него чистые, пушистые.

Скрип входной двери. *Половинкин* подхватывается было, но тут же мгновенно укладывается опять и в правой руке держит теперь перед собою раскрытую книгу.

Слева осторожно входит 4-я студентка.

4-я студентка. Ваня, ты спишь?

Половинкин. Как видишь. Сплю и заодно читаю.

4-я студентка. Ваня, ты на меня сердишься?

Половинкин. Конечно же, не сержусь. Ну, подумаешь, опоздала немножко.

4-я студентка. И совсем не немножко. Подвинься, я сяду.

Половинкин. Так возьми табурет.

4-я студентка (*садится на краешек скамьи*). Я опоздала на двое суток.

Половинкин. И в самом деле! Должна была прийти в понедельник, а пришла в условленное время, минута в минуту, признаю, да только в среду. Такая чепуха! Мелочь, не стоящая внимания!

4-я студентка. Послушай, я ведь, кажется, уже извинилась. Мне нужно было срочно уехать, а как я могла тебя предупредить? Ты же не позволил купить тебе мобильник.

Половинкин. Это было бы началом конца. Ты начала бы с гамбургера, а потом принялась бы таскать мне бутерброды с икрой.

4-я студентка. По-прежнему не понимаю, что же в этом плохого.

Половинкин. Я много раз тебе объяснял, что из-за тебя нарушил свой договор с убийцами, заключенный уже над ямой, в которой они должны были меня закопать. Я должен был убраться из города и не мешать карьере своего призрака в университете. Я не смог сделать ни того, ни другого потому, что не способен, как оказалось, жить без тебя. Единственное спасение для нас с тобой – это отказ от всяких там твоих гамбургеров, пакетов, разговоров украдкой по мобильнику. Так меньше зацепок для любопытных глаз. Ну, зашла хорошо одетая девушка в котельную – наверное, она хочет пожаловаться на то, что горячая вода у неё в трубах недостаточно горяча.

4-я студентка. Ты просто не хочешь ничего у меня брать. Никто не знает, что ты прячешься в этой кочегарке.

Половинкин. Хотелось бы... Вчера, когда я, как обычно, в сумерках, выходил в лавочку сдавать бут..., в общем, в лавочку выходил, мне показалось, что за мною следят. Наверняка показалось. Я должен быть уверен, что делаю всё, чтобы тебя не подставить. Ты

не представляешь, в какой нечеловеческой обстановке мы живем: ведь перед тем как зарезать, меня должны были...

4 - я студентка (*быстро*). Ты уже рассказывал. Лично мне кажется, что не помешало бы некоторых мужчин подвергать такому насилию: узнали бы, что приходится испытывать женщине, которую принуждают к тому, чего она не хочет.

Половинкин. Ты сегодня какая-то взвинченная... Разве я тебя чем-нибудь обидел?

4 - я студентка. Я имела в виду вовсе не тебя. Ты у нас исключительно нежный, прямо как облако в штанах. (*Ласково*). Ваня, наше время давно пошло. И горячая вода в моих трубах сегодня прямо кипяток.

Половинкин. Господи, думаешь, я не слышу, как время нашей встречи проливается у меня между пальцами?

4 - я студентка. Тогда, может быть, прекратишь дуться?

Половинкин. Мир?

4 - я студентка Мир. Хочешь поиграть?

Половинкин. Через пару минут. Я по поводу бутербродов с икрой. Вот ведь прицепились... Была ли ты на банкете? Не развалилась ли еще желтая домина неизвестного науке стиля, но с белыми дорическими колоннами?

4 - я студентка. Даже не знаю, как начать. У меня для тебя, бывший ты Половинкин, две новости. Обе плохие. Твоя Майя напилась на банкете и разболтала толстухе Софочке, что беременна. А та, конечно же, по секрету всему свету...

Половинкин. Никак непорочное зачатие? Очень похоже на Майю.

4 - я студентка Бедный мой Ванечка! Зачатие, напротив, порочит тебя, задевая твою честь: ведь заделал его кафедральный парторг, для того только, будто бы, и допущенный к ложу.

Половинкин. А вторая новость?

4 - я студентка. Майя продаёт твою рукопись местному издательству.

Половинкин. Ничего и никого у меня там не осталось. Ничего моего. Только ты и осталась, да и то, когда ты здесь. Теперь поиграем. Я, кажется, готов.

Расходятся, идут навстречу друг другу, будто фланируют по бульвару.

Академик Веселовский (*поднимает свою грязную кепку, отводит её в сторону, как старинный франт – цилиндр или шляпу*). Добрый вечер, mademoiselle!

4 - я студентка (*легко приседает в полупоклоне, придерживая несуществующую широкую и длинную юбку*). Добрый вечер, господин академик!

Академик Веселовский. Неужели курсисткам дозволяется в столь поздний час гулять по Летнему саду?

4 - я студентка. А я уже не курсистка, Александр Николаевич, а профессорский стипендиат. Нешто забыли?

Академик Веселовский (*хлопает себя ладонью по лбу*). Ах, да, в Цюрихе! Ещё раз искренне поздравляю, mademoiselle! Думается, что профессорские стипендиаты получают право на одинокие прогулки, даже если они столь юны и прелестны.

4 - я студентка. А вам не кажется, что мы мешаем гуляющим? Не пострадает ли ваша репутация,

господин академик, если мы отойдем в боковую аллею или продолжим прогулку вместе?

Академик Веселовский (*предлагая ей руку*). Моя репутация настолько безукоризненна, что такая мелочь её не подмочит.

4-я студентка (*берет его под руку*). А моя репутация настолько испорчена, что ей уже ничего не может повредить.

Академик Веселовский. Смелы, язычок у вас хорошо подвешен, спрашиваете первой, перехватывая у собеседника инициативу, и норовите, как Иисус Христос, отвечать вопросом на вопрос... Вы напоминаете мне одну мою ученицу, mademoiselle.

4-я студентка. А вы меня пристыдили, Александр Николаевич. Расскажите про ту свою ученицу, а я обещаю внимать вам кротко, как овца божья.

Академик Веселовский. Вам ли не знать, что в российских университетах женщины не обучаются? Как и каждый порядочный человек, я осуждаю этот дурацкий средневековый запрет, и как только открылись в Питере Высшие женские курсы, я вместе с коллегами-профессорами начал читать там те же лекции, что и в университете, и даже вёл семинар со слушательницами. Кажется, он назывался «Западная христианская легенда в древнерусской литературе и народной словесности».

4-я студентка. Не скучновато ли для девушек, Александр Николаевич?

Академик Веселовский. Для человека науки ничего не скучно, mademoiselle. Брось такому темку про какой-нибудь инфинитив в лужицком говоре, и он схватит её на лету, как собака кость. Была там одна такая курсистка, не буду называть её фамилии, потому что она станет еще известна.

4-я студентка. Курсистка имела глупость в вас влюбиться?

Академик Веселовский. Вы же пообещали вести себя прилично! Сначала я думал, что своеобразие выступлений этой слушательницы на моем семинаре коренится в своеобычии её речи, а сие последнее, увы, исходит из малой образованности и недостаточной общей культуры. Оказалось, однако, что дело было в своеобразии её натуры. Играючи написала она зачётную работку, я, ворча, как водится, выправил по преподавательской привычке шероховатости стиля. Перечитал – и увидел, что получилась весьма неплохая статейка. Отдал барышне перепечатать на ремингтоне, отправил с курьером в дружественный мне «Вестник Европы», и там её тиснули. Появляются и отклики, вполне благожелательные. Она продолжает учиться, продолжает писать статьи, я их выправляю-выправляю, а потом замечаю, что и выправлять уже нечего.

4-я студентка. Свежо предание...

Академик Веселовский (*не слушая*). Перечитываю очередную статью и вижу, что это лучше всего написанного мною. Всегда считал себя человек небесталанным, однако я принадлежу к старой школе, когда главным в науке почиталось умение набрать и сопоставить побольше фактов, а из сопоставления, глядишь, и мыслишка какая вынырнет. У неё же всё напротив: идеям в статье тесно, как пельменям в миске. Зачем она приносит мне рукописи своих работ? Ей это больше уже не нужно. (*Всхлипывает*).

4-я студентка. Ваня, да что с тобою? Ты должен был сказать: «Мамзель, как от вас чудесно пахнет!»

Академик Веселовский (*плачущим голосом*). Mademoiselle, как от вас чудесно пахнет!

(*Справляется с собою*). Наверное, вы намерены приехать из Парижа?

4-я студентка. Побывала на Невском в лавке с французской парфюмерией, только и всего. Однако я (*морщит носик*) не могу вернуть вам комплимент, господин академик.

Академик Веселовский. А... (*смущенно*). Может быть, всё дело в том, что банный день у меня четверг, а сегодня у нас среда. А вот завтра мой Осип растопит на кухне плиту и, ведрами горячую воду таская, наполнит мне ванну. Ванна у меня замечательная – чугунная на красивых звериных лапах. А в Чистый четверг я со старыми своими студенческими приятелями встречаюсь в торговой бане, такой у нас обычай...

4-я студентка. Вы словно оправдываетесь, Александр Николаевич.

Академик Веселовский. Однако мои нынешние обычаи по части гигиены почти идеальны в сравнении с тем, что мне довелось испытать в Италии. Случилось так, что министерство задержало на несколько месяцев моё содержание, и я оказался буквально на улице. Квартирная хозяйка, и без того мною недовольная, воспользовалась случаем, чтобы от меня избавиться. Мой сундучок и немногие тогда ещё мои книги согласился взять к себе в каморку университетский педель, помнится, Марчелло его звали. И превратился я в *lazzarone*, итальянского босяка. *Mademoiselle*, забудьте о картинах русских передвижников, на которых итальянские лаццарони в роскошных лохмотьях беспечно дрыхнут в тени платанов!

4-я студентка (*испуганно*). Да я и не помню вовсе никаких таких картин!

Академик Веселовский. Тем более! Я босяковал зимой, а это даже в Италии не в пример

хуже, чем летом. Дело было в Болонье, в этом каменном мешке. Когда сильно холодало, и шёл снег, за место в ночлежке приходилось буквально драться. Вот тогда я и умывался через день ледяной водой из фонтана, и плевать мне было, в каком веке построен фонтан и каким знаменитым зодчим. Одежда моя истрепалась от ночлегов на паперти Сан-Петронио, этого огромного сарая, и меня не пускали в архив и в библиотеку. Когда же я имел глупость сунуться в кафе, чтобы пролистать там свежие газеты, хозяин едва не спустил на меня своего сторожевого пса.

4 - я студентка. Почему же друзья не помогли вам?

Академик Веселовский. У меня не было друзей в Болонье, если не считать книг университетской библиотеки и рукописей в архиве. Вот знакомые были... Несколько студентов-итальянцев, но те жили так скудно, в таких убогих каморках, что нельзя было бы поставить еще одну койку, а если бы какой-нибудь полуголодный герой, великодушный поклонник Гарибальди, взялся бы ещё и меня подкармливать, то голодали бы мы оба. О подружках весёлых дней и не говорю: у каждой, как оказалось, кроме уже известных мне достоинств, имелся и любезный дружок с вот таким coltello...

4 - я студентка. С coltello? От латинского...?

Академик Веселовский. С ножом... Скитаясь в поисках случайного заработка по Пьяцца Маджоре, где я мог бы уже узнать каждый камень мостовой, я невольно натыкался на звенья невидимой зловещей паутины, связывающих жителей палаццо и трущоб, на отвратительные хитросплетения спроса и предложения, в которых находили друг друга

порок и продажная красота, на причудливые связи в экономических и политических отношениях, проникновения в которые было бы куда более опасным. Я бы не выжил на тех холодных камнях, если бы хозяин одной лавчонки, жадный старик, дававший мне иногда подработать на разгрузке овощей, не отвёл меня на свой заводик граппы под городом.

4-я студентка (*задумчиво*). Граппы...

Академик Веселовский. Grappa... Когда из винограда винных сортов выжата последняя капля, остатки продают производителям граппы, они же скупают гнильё, в которое превращается непроданный столовый виноград. Как водится, в дело идёт и прочая мерзость, о чём пьющему человеку лучше и вовсе не знать... Всё это сбраживается и перегоняется на граппу, итальянскую водку. Я был приставлен к перегонному кубу, под которым обязан был круглые сутки поддерживать огонь. Я обязан был и пробовать готовый продукт, дабы поддерживать должный градус крепости. (*Поворачивает голову в сторону бойлера. Медленно*). Огонь печи завораживал меня, граппа медленно отравляла, и у меня возникла проблема, не исчезнувшая и впоследствии, когда, наконец, пришел перевод из Санкт-Петербурга, и вокруг меня снова засуетись приветливые и улыбчивые люди...

4-я студентка. Ваня, ау!

Достаёт мобилку и лихорадочно щёлкает по экрану ногтем. Раздаются первые такты из ноктюрна Листа «Грёзы любви» в ещё более огрубленном и бедном звучании, чем ранее на рингтоне. Это запись на диктофон мобилки.

Академик Веселовский. Какая у вас крошечная музыкальная шкатулочка, mademoiselle!

Впрочем, вещь почти не узнать: создается впечатление, будто её прокручивает шарманщик. А я слушал этот ноктюрн в фортепьянном исполнении самого Ференца Листа! Правда, он был уже стар, куда старше, чем я сейчас...

4-я студентка. Хорошо, давай играть дальше... Александр Николаевич, а ведь Летний сад сегодня – волшебный!

Академик Веселовский. Хотите сказать, что по средам между ложноклассических статуй летают ирландские феи?

4-я студентка. Мы с вами вышли на перепутье. Налево пойдешь – найдешь рояль в кустах, направо пойдешь – а там приткнулась кабинка летнего душа.

Половинкин. Конечно же направо, mademoiselle! (*Проводит по лицу руками, будто стирая грим*). Как ты не понимаешь, что я сейчас боюсь прикоснуться к тебе этими грязными руками, не то что обнять. Пойдём же, конечно же, скорее пойдём в это единственное место в этой вонючей кочегарке, где можно закрыться на щеколду. Горячие струи воды смоят с тебя парижские парфюмы, а с меня вонь кочегарки, мы станем равны, как когда-то, безгрешны и могучи, как новые Адам и Ева, и гнилые осклизлые стены обратятся райским садом! Поверишь ли, Лера? Только там я позволяю себе поверить, что ты со мной, что ты со мною не потому, что жалеешь меня, а потому что...

4-я студентка (*вздыхает*). Не та я девушка, Ваня, чтобы кого пожалеть. Идём.

Скрываются за дверью душа. Пауза. Дверь открывается, появляется, прикрываясь грудой своей и

Лериной одежды Половинкин, запикивает тряпки в шкафчик. Возвращается в душ. Из-за двери слышится только неясный шум воды.

Скрип входной двери. Входит, осторожно ступая, 2-й студент. Он одет теперь, как обычно одеваются на службу молодые бизнесмены и чиновники, в галстуке, с маленьким портфелем, в тонких лайковых перчатках. За ним появляются Прапор и Гном. Эти остаются у дверей.

2-й студент (вполголоса). Чего вам, ребята?

Прапор (с чувством собственного достоинства). Нам, Сверло, нужны четкие инструкции. Что это за херня – «действовать по обстановке»? Да мы тут, почитай в центре города, действуя по обстановке, такого надеждемся, что только держись! Мне нужен приказ, чтобы я мог в разе надобности доложить: Сверло велел мне сделать так вот и так вот, с него и спрос.

2-й студент. Разумное требование. Действуете следующим образом: если мы с Половинкинским выйдем вместе, вы свободны и отправляете пиво пить. Если он выйдет один и раньше меня, вы делаете свою работу.

Гном. Значит, мочим на стройке напротив химзавода и там же оставляем?

2-й студент. Именно! Ничего у него не берете, нож на месте не сбрасываете. Менты сами закроют дело. Бомж бомжа зарезал спьяну – кого это удивит? И никаких эксцессов, просто мочите. Это тебя лично касается, Гном.

Прапор. Кажись, понятно, старшой.

Гном. Да ладно тебе, Сверло, на меня бочку катить.

2-й студент. И в самом деле понятно? Идите, не нужно вам тут.

Прапор и Гном исчезают.

2 - й студент (*бормочет*). «Пойдешь налево – а там рояль в кустах...». Роялем в кустах оказался я. Очень мило. И в чем-то символично. (*Крадучись, обходит кочегарку. Со скамьи брезгливо, взяв двумя пальцами, поднимает книжку*). Фиалкова Мария. «В огне страсти». Надо же!

Бросает книжку на скамью. Подходит к шкафчику, разглядывает защемленную дверцей и выглядывающую на свет божий нижнюю часть светлых женских колготок. Протягивает было палец потрогать, тут же отдергивает.

Осматривает табурет, кладет на один из углов носовой платок, осторожно на него присаживается. Пауза.

2 - й студент (*по-прежнему*). Предполагался быстрый карьерный рост. Скорее бы вырасти. А то в гробу я видал такие поручения.

Дверь душа распахивается, появляется раздетый Половинкин, за его спиной дверь снова захлопывается, слышен стук щеколды. Половинкин, напевая, устремляется к шкафчику и вдруг замирает, уставившись на сидящего напротив шкафчика 2 - го студента.

2 - й студент. Что, помылись уже, Иван Петрович? Одевайтесь, надо поговорить.

В свою очередь уделив внимание защемленным колготкам, Половинкин распахивает дверцу шкафчика. Помедлив, одевается не в спецовку, а в жалкие остатки своего костюма, настоящие лохмотья. Садится на скамью.

2 - й студент. Времени у нас, Иван Петрович, вполне достаточно. Лерка имеет привычку после этих дел долго балдеть под душем, не меньше четверти часа. (*Пауза*). Ну что вы на меня так вызверились, неужели не узнаете?

Половинкин. Теперь узнал. Вы ведь Свердлов, да? Роман, если не ошибаюсь... Я так и думал, что, в конечном счёте, вы расстанетесь с кольцом в носу.

2-й студент. Откуда такая злоба? Неужели вы так наивны, что думали, будто у Лерки, когда она втрескалась в вас, не было человека? Мы же с нею общежитские, она из «45», я из «112», и, признаться, мы тогда не придавали большого значения прыжкам с одной скрипучей кровати на другую, с одной застиранной простыни с лиловой треугольной печатью на другую, тоже застиранную и с лиловой треугольной печатью.

Половинкин (*саркастически*). А теперь разбогатели, и кровать под вами не скрипит. Хотите предложить мне работу почище? Или вы пришли для того только, чтобы сообщить... что были любовником Иевлевой?

2-й студент. Эх, не с этого я хотел начинать, да только из тех крох уважения к вам, как ко препода, что сохранились со студенческих лет... Не желаете ли обсудить эпистему, сложившуюся в нашем провинциальном дискурсе вокруг слова «любовник»?

Половинкин. Самое время. (*Шарит под одеялом, однако под внимательным взглядом гостя убирает руку*).

2-й студент. Те отношения, что связались у меня некогда с Калерией Вадимовной, и о которых она едва ли вспоминает, теперь называются другими словами. Словом же «любовник» теперь пользуются, чтобы охарактеризовать р-р-романтическое и в высшей степени неудобное положение, которое ухитрились занять вы, бывший Иван Петрович. Чёрт вас угораздил влезть между мужем и женой! Они родные люди, у них общие интересы, они в любой момент могут

договориться и извергнуть чужака! С чего это вы взяли, что Калерия Вадимовна пойдёт из-за вас на риск разрушить благополучие и комфорт, обеспеченные её браком? Она ведь счастлива в браке, они с мужем если и не живут душа в душу, то прекрасно дополняют друг друга. Образцовая пара, любимцы светской тусы нашего города.

Половинкин. Неравный брак. Лера мне говорила...

2-й студент (*чуть не срывается на крик, однако вовремя успевает понизить голос*). Да не нужно никогда слушать, что женщины в таких случаях говорят своим хахалям! «Я больше не могу жить с ним...», «Мы давно спим в разных постелях...». Вы же не видели, каким собачьим взглядом глядит она на мужа, когда возвращается домой после свидания с вами!

Половинкин. Лера? Разве вам доводилось наблюдать, каким взглядом она смотрела на мужа, когда возвращается и прочее?

2-й студент. Нет, нет, у меня был собственный опыт... А с Леркой, стартовав рядом в универе, мы теперь оказались в разных социальных слоях. Разошлись пути-дорожки... Я буду, кстати, всеми силами стараться сократить наш разговор, чтобы уйти прежде, чем Калерия Вадимовна выйдет из душа. Она оказалась бы в нелепом и двусмысленном положении и никогда бы мне того не простила... Однако поверьте, что в основном я не ошибаюсь. В таких вещах все бабы одинаковы, и даже самые умные из них.

Половинкин. Однако вам известно, о чём мы говорили здесь...

2-й студент. Вот дьявол! Спасибо, что напомнили. Оставляя эту штучку (*отгибает край плаката и отдирает от стены приклеенный там «жучок»*) было бы слишком дорогим подарком вашему собутыльнику управдому. Должен заметить, что вы не ошиблись: последние два дня за вами действительно приглядывают. Это люди из охранный агентства «Стилос», по поручению мужа они выследили Калерию Вадимовну. «Стилос» берётся (хотя это стоит больших денег) и за кардинальное решение вопроса. То есть за зачистку.

Половинкин. Вы хотите сказать, что Лере грозит опасность?

2-й студент. Едва ли. В крайнем случае, традиционное русское домашнее наказание. Типа таскания за волосы и подвешивания фонарей под глазом. Да и то вряд ли: Лерка ведь не постесняется и даст сдачи. А у вас есть немного времени, быть может, даже до конца недели. И только потому, что за слезку «Стилос» берет почасово.

Половинкин. Чего я не пойму, так это вашей заинтересованности, Свердлов... А чей тогда «клоп»?

2-й студент. Никакой моей личной заинтересованности не имеется, Иван Петрович. Я к вам с последним предложением от своего работодателя. Того самого, чьи условия вам передали мои сотрудники полгода назад, над вашей могилкой, уже вами выкопанной. Вы, наверное, поверили, что они сами решились вас отпустить? На такую самодеятельность ребята бы не решились. Ну, это не секрет, что «Стилос» принадлежит Александру Васильевичу Щетинину. Он поинтересовался, чем они там занимаются, а вас к этому

времени в «Стилосе» уже расшифровали. Александр Васильевич был очень огорчен тем, что вы нарушили его условия, из города не убрались, да ещё влипли в историю с супругой Туган-Барановского, уважаемого в городе человека. Теперь сами виноваты.

П о л о в и н к и н . Убьёте, так убьёте. Я знал, на что иду, когда остался в вашем грязном городке и разыскал Леру. Вас-то зачем ко мне Щетина послал? Киллером после университета устроились? *(Быстрым движением выхватывает из-под одеяла бутылку, заткнутую обломком кукурузного початка, вытаскивает пробку и делает большой глоток. Прячет бутылку за пазуху).*
Граппа!

2-й студент *(снова садясь, возвращая правую руку из левой подмышки, где у него кобура)*. Алкаш позорный...

П о л о в и н к и н *(дурачась, однако по-прежнему вполголоса)*.

Джонни верит в чудеса,
Джонни едет в небеса!

2-й студент *(нагибается, поднимает с пола портфель, вынимает из него пластиковый пакет с документами, бросает на скамью)*. Это вам подарок от моего работодателя. Хозяин этих бумаг лежит, похоже, в той самой яме, вами выкопаной для себя. Он сирота, интернатский. Вам там, где интернат расположен, лучше не показываться. Есть даже диплом о высшем образовании, так что при желании можете начать свою научную карьеру снова... Да возьмите вы бумажки, пролистните! Времени мало...

Половинкин. Заботитесь, чтобы на документах остались мои отпечатки?

2-й студент. Да вы тут, на диванчике полёживая, не только бабским любовным чтивом развлекались, а и детективов перечитали. Менты и судьи давно на двойном жаловании, нужны им ваши пальцевые отпечатки!

Половинкин (*достает из пакета диплом в кожаной обложке, раскрывает*). «Международная Академия ресторанного и гостиничного бизнеса». Лихо!

2-й студент. Там есть номер лицензии... Всё ваше, если сейчас же выйдете... Бойлер, кстати, не взорвется? (*Половинкин отмахивается*). Чтобы уже никогда не возвращаться в город.

Половинкин. А как же слежка?

2-й студент. Топтуны из «Стилоса» испарились. Они зафиксировали, что Калерия Вадимовна зашла сюда, и отправились в офис писать отчёт. Если сразу, сейчас же, выйдете, то пролазьте под известной вам доской в заборе, через пустырь попадете на Ивановскую... Тогда пешком до первой пригородной станции электрички – и всё.

Половинкин. За что же мне такая милость?

2-й студент. Мне работодатель о таких вещах не докладывает. Однако на днях я слышал, как он говорил о том, что нельзя же ответственному государственному мужу одной рукой поддерживать и поощрять рождаемость в отечестве, а другою мочить его граждан.

Половинкин. А почему же тогда... этого? (*Как бы взвешивает на руке диплом*).

2-й студент. Всегда остаются случаи, когда руководитель обязан проявить принципиальность.

Даже если это может повредить делу... увеличения народонаселения отчизны.

Половинкин (*рассовывает документы по карманам, книжку бросает влево, очевидно в жерло печи*). Omnia mea – тесит... Хорошо, я исчезну. Теперь довольны, вы, слуга мафии? Меня не очень удивляет, что владелец диплома, который удостоверяет ваши знания, позволяющие когда-нибудь назвать себя интеллигентом... Не удивляет, что вы пошли на службу к бандитам, а удивляет, что вы – при довольно ироническом восприятии происходящего – оправдываете... своего работодателя. Вы были моим студентом, поэтому я чувствую себя обязанным вам это сказать. Идёмте. (*Встаёт, закладывает руки за спину, поворачивается к двери*).

2-й студент. Нет, нет, погодите, бывший препод Половинкин! Выслушайте сперва, что я вам скажу. Кто вы такой, чтобы читать мне мораль? А вы – чужак здесь, вы – человек без корней, это вы, а не я – безнравственный наёмник! Вы на своих лекциях без конца ныли о своем (и тоже не своем!) Питере, будто у нас тут не люди учатся. А я именно об этом нашем городе и мечтал с тех самых пор, как привезли нас, школьников, из рабочего посёлка автобусом сюда на экскурсию. Что вы там чирикали этой своей холеной сучке – «не развалилась ли, мол, ещё желтая домина без всякого стиля, но с белыми колоннами»? А для меня с той самой экскурсии это старинное здание сразу стало храмом науки, и я мечтал когда-нибудь в нём учиться! Для вас Щетина – бандит, а я в детстве в своем рабочем посёлке (мы с Василием Александровичем земляки) о нём легенды слышал, будто о Робин-Гуде. Он уже

тогда жил сам по закону и судил по закону, когда все вокруг только и старались побольше нахапать. И чем он хуже других бизнесменов, по-вашему, чистеньких? Те начинали мелкими комбинаторами или комсомольскими деятелями, получившими свою часть пирога, а разбогатев, вынуждены были собирать вокруг себя банду, чтобы защитить своё состояние. Вы меня называли прислужником мафии...

Половинкин (*стоит в прежнем положении*). Извините, ошибся. Мафия – это на Сицилии и в США. Есть русское слово – яруга.

2-й студент. Да мне, знаете ли, плевать... Мафия так мафия. Пиццу в офис нам привозят – так почему бы у нас и мафии не быть? Сами рассказывали нам на лекции о синергетическом принципе подчинения, вот он и работает. Мы с вами – быстрые переменные, а такие, как мой работодатель – это медленные переменные, вокруг которых-то всё и крутится, к которым власть сама переходит! А что пошел в услужение... Освободилась вакансия, сам Василий Александрович через родственников моих передал мне приглашение – разве мог я отказаться? Не в быки, не в охранники звал, а сразу личным референтом! Мне после предшественника (*показывает подбородком на конверт, лежащий на скамье*) не только должность и оклад остались, но и квартира двухкомнатная со всем содержимым, тачила почти новая. А так куда мне было идти с вашим дипломом – курьером в банк на пятнадцать тысяч?

Половинкин. А не боитесь, Свердлов?

2-й студент (*шипит*). Боюсь, да! Как не бояться? Но есть шанс сделать карьеру, быстро срубить

денег. Если поступать по понятиям, не подставляться. Понял? Пора идти, препод.

Половинкин. Прошу вас первым. На правах временного хозяина... Шутка.

2-й студент (со злобой). Как можно? Нет, только после вас! Только после вас, господин академик!

Половинкин, по-прежнему со склоненной головой, с руками, сведенными сзади, уходит влево. Скрипит дверь. 2-й студент остаётся слева у кулис, с ужасом взирая на двери душа, за которым тем временем стихает шум воды. Внезапно раздаётся рингтон, это первые такты из ноктюрна Листа «Грёзы любви». Дребезжащие звуки мобилки подхватываются мощными звуками оркестровой записи.

Занавес

2008, 2013 г.





гры в братской могиле

Макабр-комедия в двух картинах



Действующие лица

Сорпы – у всех руки связаны за спиной, все избиты:

Интеллектуал – под 50, седой, с небольшой бородкой, волосы сзади собраны в пучок, на нём темный костюм и грязная белая рубашка без галстука.

Студент – немного за 20, в футболке, джинсах, кроссовках. С модной молодежной причёской.

Феминистка – средних лет, волосы лиловые, топ-плекс, в джинсах и сапогах на высоких каблуках. Роль для характерной актрисы.

Аристократка – худая старуха лет 80-ти, в длинной ночной рубашке, в когда-то роскошном, теперь потрёпанном халате и одном шлёпанце на среднем каблучке.

Революционер – лет 30-ти, с бритым черепом, одет незаметно. В сцене расстрела на голове у него кепка, потом без неё.

Семинарист – лет 20-ти, длинноволосый, в длинной тёмной рясе и грубых чёрных ботинках.

Рабочий – лет 40-а, усатый, в грязном и разорванном комбинезоне на помочах, под ним – сорочка-вышиванка с красно-синей вышивкой. В сапогах.

Дурак – средних лет, волосы взлохмачены и торчат во все стороны, на румяных щеках недельная щетина. Яркая рубаха навывпуск, белые носки под широкими короткими брюками.

У каждого из мужчин-**сорпов** на правой руке красно-синяя повязка.

Бздняки – все с желто-зелёными повязками на левых руках, все вооружены:

Торговец. В рубахе-вышиванке с желто-зелёной вышивкой. За этим исключением, в остальном одет по-европейски. В шляпе с пером. Вооружён охотничьим карабином. Через плечо – патронташ.

Офицер. Без возраста. В камуфляже, однако в парадной фуражке с высокой тульей и с тросточкой.

Сержант. Под пятьдесят, седоусый. В камуфляже с нашивками.

Активист. В европейском костюме, перетянутом ремнём с подсумками. С американской винтовкой.

Первый просто солдат.

Второй просто солдат.

Третий просто солдат.

Сержант и просто солдаты – все в камуфляже, обвешаны амуницией и новейшими причандалами. Вооружены американскими винтовками различных модификаций.

Солдат, водитель сапёрной землеройки.

Гражданский.

Оба без слов.

Фигуры в чёрном – мужчины, в трико из чёрного бархата и с обтянутыми черным бархатом головами (щели для глаз незаметны). *Без слов.*

Новый офицер – в краповом берете и в тельняшке под камуфляжем по русской моде.

Новый сержант, в краповом берете и в тельняшке под камуфляжем, с АКМ на груди.

Три Новых просто солдата, одетых и вооруженных, как солдаты-**бздняки**, и двое гражданских с оружием. *Без слов.* Эти персонажи все с красно-синими повязками на левых руках.

Пролог

Стена городского кладбища в центрально-европейской стране Сорпздинии. На заднем плане – зарево пожара. Из города слышны одиночные выстрелы и очереди.

Бзняки выводят **Сорпов** и расставляют у стены для расстрела. Сами выстраиваются, спиной к ним, лицом к залу. Без команды прицеливаются в зрителей.

О ф и ц е р . Отставить!

С е р ж а н т . Кому сказано, дуболомы! К ноге! (*Солдаты опускают оружие и берут его «к ноге». Активист и Торговец продолжают целиться*). Вас, Бобанки с ружжом, это тоже касается!

А к т и в и с т и Т о р г о в е ц неохотно подчиняются.

О ф и ц е р . Господ зрителей просят не беспокоиться! Наша власть в городе законна, и никому не дозволено стрелять в мирное население.

Ф е м и н и с т к а . А мы кто, по-твоему – сволочь?

О ф и ц е р пожимает плечами.

Т о р г о в е ц . Скажешь, тётка, ты ещё и билет в театр купила?

С е м и н а р и с т . Люди, побойтесь Бога!

С е р ж а н т . Завалите хавальники! Вы, все! Неужто не видите, что господин офицер желает высказаться? Смирно!

О ф и ц е р . То что, я имею сказать, проистекает из приказа высшего командования. Господин генерал

приказал: «К стенке!». И добавил короткую фразу на командном языке. Поскольку же наша власть законная, то никто не может быть расстрелян иначе, чем по решению справедливого демократического суда. Чтобы на нас не посмотрели бы косо в остальной Европе и в самой демократической стране мира. Могут ли быть сомнения, что наш военный суд справедлив и демократичен? Вольно! Мы начинаем судебное заседание, господа. Можно курить.

Торговец. Чего?

Сержант и солдаты становятся «вольно», вешают оружие «на плечо», достают сигареты, зажигалки, спички.

Аристократка. А... Вспомнила я, господа, что такое командный язык... Это когда сталинский Ванька-взводный заполнял анкету. А полковник ему: «Не трома, а двома языками владеешь ты, лейтенант. Командный язык тот же матерный».

Активист. Это вражеская пропаганда!

Торговец. Она ещё и умничает, старая сука.

Активист. Шлёпнуть путинскую шпионку без всяких там военных судов!

Феминистка (*визжит*). Бабулечка, держитесь! Ах, как правильно умные девочки писали про этих сволочей-мужиков!

Аристократка (*свысока*). Разве? А вы, солдафоны, если уже определили меня в русские шпионки, извольте выслушивать.

Студент. Я не к этим бомжам обращаюсь, а к военнотружущим. Забыли, что принимали присягу не своему бзняцкому меньшинству, а всему сорпздийскому народу?

Офицер отходит в угол авансцены, достает золотой портсигар, любителю им, отщелкивает крышку,

берет сигарету. Прикуривает от зажигалки услужливо подбежавшего С е р ж а н т а , затягивается.

О ф и ц е р (*тихо, но яростно*). Что стоишь столбом, сержант! Действуй.

С е р ж а н т поспешно прячет свою, уже приготовленную сигарету, подходит к **Мертвым**, угрожает прикладом А р и с т о к р а т к е , легко тыкает в живот Ф е м и н и с т к у и сбивает с ног С т у д е н т а .

Т о р г о в е ц . А теперь разбей сорпской сволочи голову!

О ф и ц е р . Молчать! Вот так всегда... Любое, малейшее даже отступление от устава приводит к мерзкому бардаку. Слушайте меня все! Все! Вы, террористы у ямы, и вы, штатские пентюхи с ружьями. Речь не идет о возможности оправдательного приговора. Наш суд всё-таки военный. А вот немножко болтовни перед залпом дозволяется. Террористам, так и быть, тоже. С уважением к вооруженным силам, само собой. Исполнять!

Р а б о ч и й . Коли с уважением к тому, о чём было сказано... Требую назначить мне адвоката!

С е м и н а р и с т . Позовите сюда нашего ректора, отца Феопемпта. Христом-Богом молю!

С т у д е н т поднимается на ноги.

Р е в о л ю ц и о н е р . Требую свидания с американским консулом! Я работаю на Госдепартамент США и нахожусь под патронатом супердержавы!

О ф и ц е р машет рукой.

С е р ж а н т . Заткните хлебала, придурки!

О ф и ц е р . Глупые у вас просьбы. Даже дамские

какие-то. (*Затягивается*). Впрочем, высказаться имеет право каждый.

Активист. И вы же видите, террористы: вас не заставили копать самим себе могилу. Сапёрная землеройная машина вырыла для вас аккуратненькую траншею.

Торговец. Разве это не реальное улучшение? Большое послабление! В общем, мы рады, что вы выбрали именно нас. Приходите ещё.

Студент. А как... всё-таки... насчет присяги?

Активист. Позвольте мне, господин офицер. (*Офицер величественно кивает*). Ага, вот... Присяга, данная неправильному государству, угнетающему правильную коренную нацию, не в счёт. О присяге, принятой грязным длинноволосым попом на книжке из пыльной ризницы в церковном здании, неправоммерно предоставленном неправильной конфессии, и вспоминать не стоит. Вот таким образом.

Рабочий. А ведь тот шустрый, с седыми усами, он ещё «сивому соколу», небось, присягал.

Сержант. Молчать, чумазый!

Аристократка. «Сивому соколу»? У вас тут так Сталина называли, «сивым соколом»?

Активист. У нас тут и свой Сталин был. Будто сами не знаете, мадам шпионка...

Семинарист (*падает на колени*). Священника приведите! Православного! Исповедаться чтоб!

Рабочий. А закурить у вас не найдется?

Сержант. Прикажешь тебе и руки развязать, чумазый? Ишь ты, мои присяги ему покоя не дают...

Второй просто солдат. Кто покурит, а кто и поплюёт.

Третий просто солдат. Здоровьице побереги! Га-га-га...

Офицер. Верность личного состава присяге? Да, тут есть проблемка... Но разве мы не в XXI веке живём? А эти тупые формулы присяг – явный пережиток средневековья. Тогда прикажете нам и ведьм палить на кострах?

Торговец. В городе такие ведьмы имеются, что как раз не грех бы иную препроводить под белые ручки на костер.

Феминистка. Тупые скоты! *(Плачет)*.

Аристократка. А вот я тоже покурила бы сейчас. Да только не этих солдатских, от одного их только дыма на рвоту тянет. А присяга... И в самом деле, разве не изменят с легкостью государству мужчины, изменяющие, налево, направо и не задумываясь, своим женам?

Революционер. Повторяю. Если меня не отпустите, ждите кары от американского Госдепа. Вам тогда небо в овчинку покажется, обещаю!

Офицер *(скучно, почти доброжелательно)*. Вот если бы вы были гражданином США, дело другое. Вы тогда бы об этом на всех углах кричали. В самом деле, несмотря на ваши преступления против правильной нации, вас тогда и пальцем побоялись бы тронуть. Я бы лично выделил для вас охрану до границы Шенгенской зоны. Но вы не гражданин США. Отстаньте.

Торговец. Тоже мне нашелся американец! Это же внук бабки Ребекки! У неё табачная лавочка в Кривом переулке.

Революционер. Да я почти заработал «грин-карту»! В Египте, на Украине, в Молдавии. Я без самого малого *(дергает связанными руками, пытаясь, видимо, показать на пальце)* американский гражданин. Отпустите... *(Голос у него пресекается)*.

О ф и ц е р . Разве я вас не выслушал? (*Обводит взглядом шеренгу приговорённых*). Кто ещё желает высказаться? Только коротко, по-военному. Тьфу ты... То есть как если бы по-военному. Ну, я думаю, меня и дурак бы понял.

Д у р а к . Ага. Вот и меня спросили. Как-то неловко было Петко самому высовываться... А теперь почему бы и нет? Так вот. Петко не хочет больше с вами оставаться и сейчас уйдёт. Нет, сначала, особенно на баррикаде, было прикольно. Мне ведь и пострелять позволили, да... И за тумачи Петко не в обиде. Играть так играть, правда? Но я могу опоздать на ужин, а за это влетит. К тому же вы сами виноваты, что вздумали говорить о скучном. Руки Петко можете не развязывать. Мамка развяжет. Да так и прикольнее будет домой прийти. Всем до свидания! (*Не торопясь, уходит в сторону левой кулисы*).

О ф и ц е р . Сержант!

С е р ж а н т плевком гасит окурок, бросает его на сцену, сдергивает с плеча винтовку и навскидку выпускает очередь. Д у р а к падает, а рядом с ним и Ф е м и н и с т к а .

Ф е м и н и с т к а . Ты меня подстрелил, сволочь! (*Медленно, держась за бок, встаёт на ноги*).

С е м и н а р и с т . Господи, к Тебе взываю!

О ф и ц е р . Теперь все высказались, надеюсь? Пора заканчивать балаган. (*Поворачивается к шеренге **Мертвых**, находит взглядом И н т е л л е к т у а л а*). Ба! А ведь вы, доктор кислых щей, так ни слова и не сказали. Притом, что были вы у нас такой речистый! Прошу! Даю (*смотрит на часы на тыльной стороне левого запястья*) три минуты.

С е м и н а р и с т . Священника!

С т у д е н т . Учитель! И то правда, сказали бы что-нибудь. Глядишь, и стало бы всем нам полегче.

И н т е л л е к т у а л (*помолчав*). Едва ли полегче. А я хотел сберечь время, чтобы подумать. Ведь немного осталось.

О ф и ц е р . На нет и суда нет. Командуйте, сержант.

О ф и ц е р , не торопясь, выходит на авансцену. Словно бы священнодействуя, закуривает. За его спиной задвигается занавес. Из-за занавеса звучат команды С е р ж а н т а , выстрелы, крики. Потом всё смолкает.

О ф и ц е р (*как бы про себя*). Да уж, лучше бы нашим назначить банкет в «Паласе». (*Зрителям*). Вы ведь согласны, господа, что в «Паласе» кухня получше будет, чем в «Дунайских волнах»?

Картина 1. Тусовка

Сцена от пола до потолка затянута черным шёлком. На нём алые, вертикально вытянутые пятна. Вверху шёлк висит свободнее и колеблется под лёгкой струёй воздуха. За шелком скрывается конструкция, на ступеньках которой, соединенных переходами, на разной высоте стоят **Сорпы**.

В начале картины у всех одна поза: лицом к зрителям, голова опущена, глаза закрыты, руки за спиной, ноги в первой позиции. Одежда у всех окровавлена. Каждый неярко освещен отдельным софитом. Начиная говорить, каждый открывает глаза и поднимает голову.

Пауза.

С т у д е н т (*резко вскидывает голову*). Это невозможно, в это нельзя поверить... Этого просто не может быть!

И н т е л л е к т у а л (*помолчав*). Едва ли нельзя поверить в то, что уже произошло. Всему на свете можно найти объяснение. Надо только хорошенько подумать, если возникла такая возможность.

Д у р а к. Вот теперь Петко уже точно опоздал на ужин! Боюсь, не уберечь мне задницу от отцовского ремня. А почему вот тут (*подбородком показывает на рану у себя на груди*) уже не бо-бо?

С е м и н а р и с т. Заткнись, идиот недоделанный! (*Пауза*). Ох, прости меня, брат мой убогий. Господь дал нам время покаяться. Посему не болтай чепухи, а молись усердно.

Д у р а к. Петко послушный. Петко молчит. А что такое «молись усердно»?

Рабочий. А вот теперь заткнитесь оба, и ты, длинноволосый – вот ты уж точно недоделанный, потому как поп-недоучка. Блин! Мало того, что солдаты-мужичье меня расстреляли, теперь ещё и нагружают всякой религиозной бодягой! (Пауза). Хреново мне что-то... Врача! Тот ффраер надушенный, с тросточкой, называл ведь кого-то доктором?

Студент. Знаете, а у меня в груди почему-то болит. И нога словно разламывается... Учитель, можно, я за вас объясню товарищу?

Интеллектуал. Будь добр. Только не называй меня... Впрочем, после.

Студент. Спасибо, Учитель. Не называть, почему? Ладно, после так после... Это, товарищ, не тот доктор, который врач. У почетного гражданина нашего города профессора Славомира Мравича учёная степень доктора философии.

Рабочий. Так с нами доктор Мравич! Респект вам и уважуха, доктор! Скажу даже, что от имени рабочего класса Сорпздинии.

Революционер. Так ты, тупарь, до сих пор не узнал знаменитого доктора Мравича?

Рабочий. А тебе бы сейчас помолчать в тряпочку. Мы с тобой ещё разберемся, провокатор америкосовский.

Студент. Это честь для нас, что славный доктор Мравич с нами!

Феминистка. Честь для нас? Тоже мне придумал, сосунок! Однако и у меня нигде не болит, при этом не болит и в тех местах, куда эти грязные сволочи... Это может означать только одно. Что я загнулась. (Плачет).

Дурак. (Радостно). И у меня пятки больше не чешутся!

Аристократка. Как и эта девушка, не знаю, к сожалению, имени...

Феминистка. Томила. Томилой меня зовут. Томой. А не всё ли теперь равно, как меня зовут?

Аристократка. А я – Мария Павловна, княжна Катырева-Ростовская, и для меня, напротив, важно, что ношу именно это имя. Очень приятно, впрочем. О чём же я начинала, голубушка, о таком неприятном...? Ага. Как и Томиле, мне кажется весьма сомнительной честь лежать в одной братской могиле с известным сорпским националистом доктором Мравичем. Вам тут это постесняются сказать, но я, как русская эмигрантка, позволю себе прямо в глаза заявить: мы оказались тут во многом и по вашей вине, доктор.

Интеллектуал (*поспешно*). Да я согласен, абсолютно согласен с вами, княжна... Или следует говорить «ваше сиятельство»?

Аристократка. Думаю, обойдемся без титулования, доктор. Ко мне можно обращаться «княжна», а еще лучше по-простому: «Мария Павловна».

Интеллектуал. Я согласен с вами, княжна Мария Павловна, да, я признаю свою вину. И поэтому, когда произошли всем известные прискорбные, трагические события, я понял, что жестоко просчитался и подставил под топор бзднякского палача мирное сорпское население. Вот тогда я и пришёл на баррикаду. Хоть и возраст мой, и занятия позволяли мне оставаться дома и не брать – почти символически – оружие в руки. Ведь в моём ящике письменного стола только и нашёлся, что револьверчик под патрон Флобера.

Рабочий. Это четыре миллиметра, что ли? Такой ствол разумнее было бы вовсе не обнажать.

Революционер. Да вас бздняки всё равно вытащили бы на улицу и ликвидировали бы. Это как

пить дать. Лучше бы спрятались у знакомых, или ещё можно было попробовать перейти границу.

Рабочий. Если бы да кабы... Если бы я не хлопнул лишнюю рюмку сливовицы, хоронился бы сейчас с женой и детьми в подвале. У соседей-армян.

Интеллектуал (быстро, явно желая отвлечь от себя внимание). Княжна Мария Павловна, а как вы оказались в нашей компании висельников? Небось, недоразумение какое-нибудь? Вас ведь не было на нашей баррикаде, и вы присоединились к нам только в тюремной камере.

Аристократка (скорее даже весело). Конечно же, недоразумение. Ещё можно сказать, что вечный бардак в ленивых сорпздийских мозгах. Вы, сорпы, слишком хорошо о себе думаете, если воображаете, что я, в моем почтенном возрасте, рисковала бы жизнью ради вас. Из-за чего? Из-за одного православия вашего? Из-за низких цен на вашем почти восточном базаре? Из-за того, что дальняя родственница герцогиня Брауншвейгская оставила мне в наследство квартиру в вашем городке? Да если бы не возможность сэкономить на аренде квартиры, я и не вздумала бы перебраться сюда из блестящего Мюнхена, где и светской жизни была не лишена!

Рабочий. Жуткая белиберда. *(Забыв, что связан, дергает плечами, пытается поднять руки, чтобы заткнуть уши. Ему это не удается. Изумлён).* Братва, а на том свете зачем же людей связывать?!

Дурак (повторяет жесты Рабочего – и руки у него освобождаются, а на пол падают обрывки веревки). А вот я опять с руками!

Революционер (качает головой). Пулей, видать, перебило... Бывает.

Аристократка (обиженно). Меня приглашали в лучшие дома, присылали на дом контрамарки, я даже балы открывала в «Мандарин Ориентал»... А вы, молодые люди, если уж спрашивали меня, то имейте терпение выслушать ответ. О чём, впрочем, спрашивали? (Пауза). Ага. Так вот, моя квартира – в старинной четырехэтажке, третий дом в сторону собора от кабака. «Под липой» кабак называется, это из его столиков и стульев вы строили баррикаду, и мои окна выходили как раз на неё. Мой брат, князь Ксаверий, погиб на такой же баррикаде в Венгрии в пятьдесят шестом, пытаюсь остановить совдеповские танки. Так вот, мне захотелось понаблюдать, как оно вживую будет происходить. Я достала свой театральный бинокль черепаховой кости с удобной такой ручкой, как у лорнета, поставила на подоконник любимую хрустальную пепельницу и уселась в кресло возле окна. Квартира моя в бельэтаже, вид из неё неплох. Как странно, мне перехотелось курить.

Рабочий. Так это твой брат вешал в Будапеште рабочих на фонарных столбах? Держись от меня подальше, старая сука!

Феминистка. Дай человеку досказать, сволочной ты мужик! И вы не испугались шальных пуль, княжна Мариечка?

Аристократка. Я, девушка, ребёнком почти пять лет, с 1940 года по май сорок пятого, прожила под бомбами в Берлине, потом в Вене. Отвыкла бояться ещё тогда. Просто отупела, наверное, от недосыпа. Днём в школе, ночью в подвале, а во время бомбёжки не заснёшь...

Революционер. Бомбёжка теперь нам уж точно не грозит...

Аристократка (*свысока*). Смешно, пожалуй, но это ещё большой вопрос, молодой человек, приличен ли юмор в нашем положении? Ну, увидела я, как сорпы защищали баррикаду. О том, как оценила я это зрелище, промолчу. И даже думать об этом не стану, господа. У меня создалось впечатление, что мы сейчас не говорим, а напрямую обмениваемся мыслями. Мне и так уже мысленно угрожает нервный простолюдин в грязном комбинезоне и с простреленной головой.

Феминистка. А за что, княжна Марьюшка, вас арестовали эти сволочи?

Аристократка (*хмыкает*). Бздняки не дали мне переодеть домашний наряд и не позволили даже запереть квартиру. А за что взяли? Будто бы я по мобильному телефону корректировала огонь вашей допотопной пушки. Видела я, как вы её прикатили на тачке с бульвара, где лежала перед музеем. Испугать бздняков, наверное, хотели.

Студент (*гордо*). Пришлось вбухать ей в жерло добрую половину запаса пороха из охотничьей лавки! А вот вместо ядра мы использовали булыжник. Я, признаться, надеюсь, что останусь теперь в истории как последний наводчик этого музейного орудия.

Интеллектуал. Вы, Раич, и сами прекрасно знаете, что историю пишут победители, а не побеждённые. Дамы и господа! Не о том мы сейчас говорим и, как метко подметила уважаемая княжна, прозрачно друг для друга думаем. Где мы? Почему сохраняем сознание? Каковы наши перспективы? Сколько, в частности, у нас ещё времени? Вот о чём нам надо подумать и вот какие вопросы мы должны решить в первую очередь.

Феминистка. Подумать? А я собралась рассказать о том, как сюда попала...

Семинарист. Устами блудницы глаголет истина, чего там ещё думать? Мы в...

Феминистка. Идиот! Христианство жестоко нарушает права женщин. А почему же ваши родители, княжна Марисенька, не уехали из Берлина? Чтобы спастись от бомбёжек то есть.

Аристократка. Родители? Отец мой погиб в Испании, сражаясь с республиканцами. А мать не могла покинуть Берлин, даже когда разбомбили Орденский дворец на Вильгельмплац, где она служила в Министерстве пропаганды. Мы эвакуировались только с министерством.

Рабочий. Белая сволочь! Фашистка недобитая!

Революционер. И вам не стыдно за своих родителей? Если вы, конечно же, сами уважаете общеевропейские демократические ценности.

Аристократка. Плевать я хотела на ваши лживые ценности! Мой отец и мой брат воевали, чтобы уничтожить как можно больше большевиков. У нас ведь отобрали всю собственность, все родовые имения, а в так называемой демократической России никто и не почесался, чтобы её возвратить! Мне в Москве разве что в глаза не смеялись. А моя покойная мама стала поклонницей фюрера, как только он начал поход на большевицкую Россию. Правда, впоследствии...

Интеллектуал. Сказанное вами, княжна, необычайно интересно, и в другой ситуации я бы слушал вас и слушал, но сейчас...

Семинарист. Меня бы послушали, наконец... Не о чем тут рассуждать. Мы в чистилище, и не мы, собственно, а наши бессмертные души.

Интеллектуал. Для православного вы, юноша, странные суждения высказываете. Учение о чистилище, оно ведь католическое.

Аристократка. Ну да. У нас, православных, судьбы душ умерших уже предопределены: кому прямо в рай, кому в ад, но кое-кого до начала Страшного суда ещё могут отмолить живые родные и близкие... Ой!

Революционер. Вот именно, что «ой»... Пока вы, дамочки, трещали тут, как сороки, я воспользовался добрым советом доктора – и задумался. И вот теперь у меня ко всем такой вопрос. Если, коллеги, мы сейчас в чистилище или как там оно называется, то почему мы здесь одни? Где же другие души – хотя бы погибших сегодня наших соотечественников?

Интеллектуал. Вот, вот... И я о том же. Лично для нас это странное место никто бы не создавал. Значит, и другие тут уже побывали. А если их нет здесь сейчас, объяснение может быть только одно. Увы...

Феминистка. А если это VIP-апартаменты для расстрелянных? И если для просто убитых на улицах где-нибудь есть другие помещения?

Студент. Вы, Учитель, готовитесь сказать нечто умное, однако... Странно, но я чувствую, что предпочёл бы оставаться в неведении. Просто жить, использовать неожиданно представившуюся возможность.

Рабочий (смеётся). Жить? Нихрена себе обмолвка...

Интеллектуал. Не называйте меня больше учителем, Раич!

Студент. Вы меня обижаете, ...профессор. И почему Раич, а не Живан, как в прежние времена?

Революционер. Вы, яйцеголовые, между собой сами разберётесь. И чтобы сделать вывод из имеющихся фактов, ученой степени не требуется. Ничего хитрого. Наши души – или как оно там называется, то, что говорит за меня сейчас после моей... понятно, после чего, но не хочу называть. Наши души вовсе не

бессмертны. То, что вместо нас, живых, существует сейчас, исчезнет через какое-то время, как и у других ранее умерших. Вот почему мы здесь одни.

И н т е л л е к т у а л . Вот, вот. По сути правильно. Можно было бы только предложить уточнение...

Ф е м и н и с т к а . Блин! Второго такого ужаса, второго сраного ожидания смерти я не переживу. *(Плачет)*.

С т у д е н т . Эврика! *(Неуверенно, с видом тугодума хлопая глазами)*. Учитель! Эта размалёванная тётка с нелепо отвисшими грудями предложила пару минут назад вторую гипотезу... До меня только сейчас дошло.

Р а б о ч и й . Грех не воспользоваться случаем... Доктор, давно я хотел узнать, отчего это груди у баб либо торчат в разные стороны, либо одна больше другой?

Ф е м и н и с т к а . Ты бы лучше о своих яйцах спросил! Они у тебя, дебил, тоже по-разному свисают! И здесь спасения нет от тупых мужиков.

С т у д е н т . Да замолчите, наконец! Это ведь для всех нас важно. Нам кровь из носа необходимо проверить, в самом ли деле мы здесь одни. Мы стоим на твёрдой поверхности, так? А вот, что у нас над головами, не знаем.

А р и с т о к р а т к а . И как же вы, молодой человек, узнаете о том, что у вас над головой?

С т у д е н т . А вот так! *(Начинает поднимать и опускать плечи – и поднимается на полметра)*. Пока вы трепались, я кое-то успел проверить. Надо только вообразить себе, что поднимаешь и опускаешь прямые руки. Вот так... Вы подождите меня – я ненадолго! *(Продолжает дёргать плечами и поднимается всё выше и выше)*.

Семинарист. Чудо Господне! *(Падает на колени, молится).*

Рабочий. Во даёт!

Дурак. Слава Сорпздинии! *(Втягивает голову в плечи).*

Студент тем временем поднялся до потолка. Вот и ноги его скрылись.

Интеллектуал. Мы стали свидетелями левитации. Это доказывает, что земные законы физики здесь действуют только выборочно.

Голос Студента. Не плачьте! Я вернусь.

Революционер. Что наш парнишка о себе воображает? Незаменимых нет!

Семинарист *(дрожащим голосом)*. Если он воображает, что вознёсся сейчас, как Иисус Христос, то я не знаю уже, что и сказать. Ведь вознёсся же... Господи, укрепи меня и просвети!

Аристократка. Вспомните, что Иисус вознёсся на небо, а куда поднялся этот молодой человек, никто не знает. И стоит ли нам ломать голову? Если вернётся, сам расскажет. Паренёк, за версту видно, честолюбивый. Он ведь слова жены покойного Солженицына повторил. Это когда её с детьми из Советов на Запад высылали, «Ди дойче велле» вела репортаж с вокзала. Я запомнила, потому что разозлилась тогда: «Что ты в этих вещах понимаешь, жидовская курица!»

Интеллектуал *(робко)*. А разве Светлова еврейка?

Революционер. Никакого понятия о политкорректности у эмигрантского старичья! Чем вас, мадам, не устраивают мои предки?

Аристократка *(повышает голос)*. Понятие жидовства не одних евреев касается. А до ваших, молодой

человек, пейсатых предков мне дела нет. Это мой дед (упокой Господи, его пылкую душу!) велел бы вас выпороть на конюшне, если бы не в добрый час поймали бы сторожа возле имения. Тут девушка хотела рассказать, как попала в нашу пёструю компанию.

Феминистка (радостно). Так вы, оказывается, заинтересовались мной, миленькая Марусечка Павловна! Для вас я, конечно же, расскажу, а не для этих отвратительных мужиков. Я член автономной группы «Фемен». Мы хотели присоединиться к знаменитым украинкам, но они отказали нам в резкой, даже сволочной форме. Выдумали, будто мы посягаем на ихние денежки. Очень нам надо!

Революционер. Уже и денег бесстыжим не нужно. А вы, женщина, даже здесь не можете удержаться от вранья.

Феминистка. А вы, грязные самцы, заслужите сначала, чтобы вам говорили правду. Ещё украинки пригрозили, что будут судиться за воровство брэнда. Мы в ответ перевернули в «Фемен» букву «F» в обратную сторону и принялись действовать в пределах городка. «Сорбздиния – не Сардиния», это против НАТО был протест. Мы еще выступали протии переноса кладбища, в гриме зомби, но, как положено, топ-лесс.

Семинарист (отвлекаясь от молитвы, поднимает голову). Грим зомби – вот это аккурат для тебя, блудница ты вавилонская.

Рабочий. А теперь и без грима обошлась бы. С такой-то рожей.

Феминистка. Ретрограды! Однако чего ещё ждать от грубых мужланов? Боролись мы и против стриптиза как унижающего женщину. Речёвка была: «Подруга, отползай от шеста!». Для этого флеш-моба пошили хорошенькие розовые мундирчики...

Революционер. Выходит, вас солдаты, любители стриптиза, замели?

Феминистка. Да нет... Зарапортовалась наша координатор, да там, бедняжка, на шоссе и головку свою сложила. Это когда мы вышли навстречу войсковой колонне бзняков с плакатом: «Мужчины, не бздите своими танками!». А я вот здесь. *(Плачет)*.

Революционер. Да, пожалуй, чересчур смело это было, останавливать войсковую колонну на марше. Военные начальники такого очень не любят, и если пьяный солдат остановит колонну, отдадут под трибунал.

Интеллектуал. А почему так? Военные, как женщины, вечно торопятся и вечно везде опаздывают. Вот почему.

Аристократка. Давайте лучше не будем о грустном, господа. Меня давно интересовало, что именно испытывает женщина, обнажаясь на публике. Одна моя знакомая, уже, к сожалению, покойная, не из нашего круга, а из писучей вывихнутой этой богемы, хвасталась, будто в тридцатые кормила всю свою семью, выступая в «Мулен Руж». Уверяла, что танцевала классику, и в пачке, но мне знаете, не очень-то верилось. Так однажды там девушка из кордебалета вышла на сцену, под прожектора, обнаженной, туфельки на себе имея только, ещё разве страусиные перья на голове – да и грохнулась в обморок. А вы, голубушка? Что вы испытывали, эпатируя мужчин на улице своей открытой грудью?

Феминистка. И хотела бы соврать, да ведь здесь все мысли прозрачны. Вначале, действительно, очень миленькие испытывала ощущения. Меня вроде бы легко щекотал каждый взгляд, будто перышком из подушки. Временами обдавало горячей волной... Помню даже некоторый как бы триумф: теперь они вынуждены

на тебя смотреть, сволочи, теперь они тебя заметили! Потом привыкла и больше за мужиками наблюдала, по-прежнему победительно. Удивлялась спервоначала, что некоторые, особенно часто юнцы, кривятся с явным отвращением, хотя...

Революционер (*перебивает*). И не удивительно!

Феминистка. Дебил ты! Не приглянулась я тебе, так тем только счастлива! В каждый флеш-моб обязательно ставили молоденькую и хорошенькую, иногда с такими нежными грудочками, что мне и самой глаз не отвести. Так и съела бы плутовку без соли! А в группе у нас не было возрастного ценза, чтоб вы знали. Принимали вообще всех!

Аристократка (*тонко улыбнувшись*). Выходит, и меня бы приняли?

Феминистка (*несколько смущена*). Наверное, приняли бы, княжна Марусенька. Вот только девочки попросили бы вас снять лифчик и обсудили бы вашу грудь.

Аристократка (*вздыхнув*). Было бы что обсуждать, голубушка. Но вы ведь не закончили своей мысли. Это насчет... неприятия вас некоторыми мужчинами, особенно юными.

Феминистка. А... Так это они кривились из презрения к себе, к тем низменным чувствам, которые мы в них, девочки топ-лесс, вызывали.

Семинарист (*трагическим тоном*). А я всё жду, молюсь о том, чтобы вы сами додумались замолчать. Ведь даже просто слушать вас, безбожников, сейчас – это смертный грех. А каково мне таковую напасть выносить, когда вот-вот придет ко мне сладчайший Иисус, чтобы исповедовать и простить мои тяжкие грехи?

Рабочий. Ежели ты, попёнок, сейчас же не затк...

Рабочего прерывает протяжный крик. Это с высоты катастрофически быстро спускается, почти падает Студент. Не сразу поднимается с пола, принимает прежнюю позу на прежнем месте. Не смотрит на других. Вздыхает.

Рабочий. Ну, что там, наверху? Не томи, паренёк!

Студент (неохотно). Там, наверху, всё такое же. Мы тут и в самом деле одни.

Семинарист. А почему ты низвергнулся? Или тебя огненный ангел остановил?

Революционер. Утомился, небось, умственно махать руками.

Студент. Огненный ангел – это же надо такое придумать! И не утомился я ничуть. Просто поднялся я очень высоко. Очень-очень высоко, уже и ваши голоса не были слышны. А вокруг такая же черно-красная лабуда. Я посмотрел вверх – и наверху то же самое, конца-краю не видно. И только опустил я голову, как меня легонько стукнуло по макушке, и тотчас же я начал падать.

Революционер (смеется). Будто кто-то сказал: «Полетал, парень, и будет. Дальше – стоп машина».

Рабочий. Дальше – только за дополнительную плату. Как у стриптизёрши в дорогом баре, где стопка сливовицы дороже на пять динаров.

Семинарист (робко). А кто сказал: «Довольно!»? Неужто Господь?

Студент. Вы лучше послушайте, что доктор Мравич скажет. Объясните всем, профессор, прошу вас!

Интеллектуал. Думаю, что вы и сами теперь всё поняли. Мы одни в этом месте, потому что наши предшественники уже исчезли из него. Посмертная ак-

тивность мозга – явление доказанное. Я не физиолог, но в народных верованиях разбираюсь. Так вот, все славяне убеждены, что души держатся возле своих тел девять дней, а окончательно покидают дом и семью через сорок дней после смерти. Вот остатки нашего сознания и проживают сейчас эти добавочные девять или сорок дней.

Революционер. Значит у нас в запасе почти полные сорок дней?

Интеллектуал. Увы, намного меньше. Мало ли что народ считает... Народ, например, был убеждён, что Земля стоит на трёх китах. Приборы фиксирует посмертную мозговую активность на протяжении полминуты. Те же, кто пережил клиническую смерть, рассказывают о довольно длительных видениях. Естественный вывод: восприятие времени у посмертного сознания субъективно, время для него, фигурально выражаясь, растягивается.

Студент. Тогда, доктор, разве не может оказаться, что и мы, не потратив ещё до конца положенной нам половины минуты, успели сыграть тут чуть ли не акт дурацкой комедии? *(Оглядывается недоуменно. В зал)*. Что я только что сказал?

Интеллектуал. Увы. Но почему именно комедии, Раич?

Аристократка. Это даже и я смогу объяснить, старая вешалка. Любая иллюзия существования в сравнении с настоящей полноценной жизнью человека есть только жалкая комедия. Что же, как ни трагикомедию одиночества, разыгрывала я в вашем городке последние пятнадцать лет – трагедию для себя и комедию для проходящей уборщицы Моньки?

Революционер (*напористо*). Если наше положение столь критично, мы должны немедленно реагировать. Необходимо...

Феминистка. Ой, а мне захотелось пи-пи!

Аристократка. Это тебе показалось, голубушка. Какое уж теперь пи-пи?

Феминистка. И верно, показалось. Со страху, небось, что скоро снова придётся помирать. (*Плачет*).

Интеллектуал. Быть может, не так и вскоре, уважаемая. У меня создалось впечатление, что мы общаемся здесь намного дольше, чем в любом видении больного, вышедшего из клинической смерти. И у меня даже возникло объяснение этого феномена, хотя, быть может, и смешное.

Революционер. Почему никто не желает меня выслушать?! Нам необходимо организовать! Сплоченный коллектив способен справиться с проблемами, перед которыми одиночка вынужден опускать руки.

Интеллектуал (*скандирует*):

А если
в партию
сгрудились малые –
Сдайся, враг,
замри
и ляг!

Я единственный из вас, наверное, кто зубрил Маяковского в школе.

Рабочий. В этом что-то есть! Только снова в партию я не пойду. Членские взносы меня и при «сивом соколе» капитально доставали.

Феминистка (*настороженно*). Зачем это врагу ложиться? Чтобы победитель его отымел?

Интеллектуал. Так вы не желаете услышать моё объяснение? Может быть, оно и к лучшему. А молодой человек, как мы сегодня узнали, учился методам насаждения демократии у специалистов самой демократической страны мира, глядишь, и вас построит, как надо. Мне же достаточно и общения с собственными мыслями. Была бы честь предложена.

Студент. Учитель, а меня за что вы обидели?

Интеллектуал пожимает плечами.

Рабочий. Да, он же выкормыш америкосов, как я мог забыть? Голова что-то плохо варит...

Дурак. А разве не Сорпздиния самая демократическая страна в мире? (*Приседает, прикрывает голову руками*).

Семинарист. Не судите, да не судимы будете.

Рабочий. Оба больных на голову высказались. Теперь провокатора хуч в президенты избирай.

Революционер. А чем, спрашивается, я плох хотя бы и в президенты? Я гражданин нашей несчастной страны и имею заслуги перед сорпским народом – и у меня ещё больше заслуг, чем у господина доктора.

Студент. От кого слышим? От продажного политикана и подстрекателя!

Революционер. Отчасти я понимаю вас, мой будущий избиратель. Молодость в вас играет, присущий ей сопливый романтизм. В годы, когда папаша и мамаша продолжают вас кормить, одевают, оплачивают ваши счета, трудно поверить, что кому-то приходится из сил выбиваться, чтобы прожить. Но подумайте сами, своей ещё не забитой кредитами головой, справедливо ли требовать от меня, чтобы я делал свою скрытую,

тайную, опасную для жизни работу – и не получал за неё никакого вознаграждения? Почему это депутат получает приличные деньги за то, что просиживает штаны от «Версаче» в парламенте, а я должен корячиться бесплатно? Под пулями даже, как это реально было в Египте и Молдавии?

Студент. И что вы предлагаете конкретно?

Революционер (*ухмыляется*). Как и всякий профессиональный убалтыватель, я ненавижу этот вопрос. Распинаешься, глотку, можно сказать, рвёшь, а тебе, как кукиш в нос: «А что вы предлагаете конкретно?». Но вот сейчас я просто счастлив, что вы его, этот вопрос, задали. Потому что у меня есть конкретный, дальше некуда, по самое никуда конкретный ответ. Я предлагаю выбрать координатора и передать ему ответственность за судьбы нашей маленькой общины.

Интеллектуал. Тогда уж лучше социума, молодой человек.

Революционер. Пусть будет социум. Голосовать предлагаю в соответствии с традициями сорпского народного самоуправления. Каждый имеет право проголосовать «за» только один раз. Стало быть, кандидат в координаторы имеет право проголосовать и за себя. Я предлагаю свою кандидатуру. Какие ещё будут предложения?

Студент. Молодым везде у нас дорога... Пожалуй, я тоже предложу себя в координаторы. Прикольно ведь.

Аристократка. А я не стану голосовать, потому что не имею гражданства вашей страны. У меня гражданство Bundesrepublik.

Феминистка. Тогда как же вы сюда угодили, княжна Марусечка?

Интеллектуал. И в самом деле, достаточно было сказать солдатам, что вы гражданка Германии.

Аристократка. Допустим, сказала бы я. А они: «Покажите паспорт!». А у меня паспорт, как назло, куда-то подевался. Я на проходящую уборщицу Моньку грешу: не замыслила ли плутовка с моим украденным паспортом открыть совместное предприятие? И вот я представила себе, как унижаюсь перед солдатами, прошу подождать, ищу паспорт в комодке под постельным бельём, зная, что там уже искала, и не раз... Да пошли они к чёрту!

Рабочий. Гонор нищей аристократки, и ничего больше.

Революционер. В нашем коллективе гражданство значения не имеет. Проголосуйте за меня, мадам, и делу конец.

Интеллектуал. А не достали ли вас, княжна Мария Павловна, в конец артрит или переломы шейки бедра? Не пожелали ли вы подсознательно избавиться от тягот стариковского существования?

Семинарист. Отчего ж подсознательно? Для православной христианки желание пострадать за свою веру вполне естественно.

Аристократка. В своем ли вы уме, молодые люди? Если бы дожили до моих лет, убедились бы, что никогда не ценишь жизнь так, как в старости. Поскольку же вы всё едино прочитали бы мои мысли, признаюсь сама. Мне страх как захотелось самой увидеть, что же будет дальше. Я ведь уже говорила, что защитники баррикады меня разочаровали? Сорпские мужчины бывают очень красивы, вот этой самой мужественной такой красотой...

Феминистка (*ядовито*). Княжна не о присутствующих говорит. Посмотрели бы сейчас на себя...

Аристократка (*пожимает плечами*). Красивы бывают, говорю, ваши черноволосые усачи, но что касается храбрости... Меня безумно заинтересовало и второе действие драмы. Признаю, что поступила легкомысленно.

Революционер. Аминь, и Богу нашему слава. Начинаем процедуру выборов! Будем считать, что свою кандидатуру я уже выдвинул, так что без лишнего формализма... Кто «за»?

Студент. Эй, придержи коней, шустряк! Я ведь тоже предлагал свою кандидатуру.

Феминистка. И я предлагаю себя в координаторы. Чего вылупились? Для борьбы с властной монополией мужчин необходимо использовать любую возможность. Поддержите меня, любименькая княжна Марьюшка!

Феминистка. Извини, голубушка, но я из принципа никогда не голосую. Я ведь чужая везде.

Революционер. Понятно. Начнем в порядке поступления. Я первый самовыдвигался. Кто «за»?

Семинарист. Я – «за». С помощью Божьей выбираю лучшее из худшего.

Дурак. И я. Лучшее ведь лучше худшего. Разве не так?

Революционер. Кто ещё не проголосовал? Активнее, активнее! (*Пауза*). Ладно, я тоже голосую за себя. Итого у меня три голоса. Ставлю на голосование вторую кандидатуру, юноши, представителя демократической сорпской молодёжи. Кто «за»? (*Пауза*).

Дурак. А... Не ругайте меня, я задумался... Петко тоже «за». Петко ведь тоже молодёжь, даже в школу ещё не ходил.

Революционер. Только один раз можно проголосовать «за»!

Рабочий. Скажи спасибо, бедолага, что тебя вообще к выборам допустили.

Дурак. Спасибо, дяденька.

Студент. Тогда я хоть сам за себя проголосую. Я – «за». Учитель, почему вы меня подвели?

Интеллектуал отмахивается.

Революционер. Итак, подведём итоги. Выиграл...

Феминистка. Ты про меня забыл, жулик ты!

Революционер. Ох, извините, девушка. Теперь третий кандидат, представительница национального женского движения. Кто «за»? (Пауза).

Дурак. И Петко «за»! (Прикрывает голову руками). У неё глаза красивые, почти как у лошади нашего молочника.

Революционер. Это вяканье не в счёт. Кто ещё?

Аристократка. Compliment, однако, совсем неплох!

Феминистка. А чего было ожидать от грубых мужланов? Я тоже голосую сама за себя. Я – «за».

Интеллектуал. Пожалуй, я тоже проголосую за девушку. Всегда испытывал неясную вину перед женским полом.

Революционер. Нам необходима счётная комиссия. Председателем предлагаю избрать доктора.

Интеллектуал. Обойдёмся без комиссии. Будто сами не сможете сложить один плюс один?

Революционер. Будь по-вашему. Тогда я сам подведу итоги. Студент Живан Раич имеет один голос, девушка... Вот ведь, имя забыл.

Феминистка. Моя фамилия – Идинахер. И-ди на-хер!

Аристократка. Да Томилой её зовут.

Революционер. Ага... Девушка Томила Идинахер, представительница группы «Фемен», получает два голоса, а я, известный политик и политолог Мирча Голосовкер, – три. Таким образом, я становлюсь координатором нашего самоуправяемого социума и начинаю им руководить. (*Играет туш на губах*).

Феминистка (*подозрительно*). Голо-сователь? Ничего себе фамилия...

Студент. Требую переголосования и пересчета голосов!

Феминистка. Жульё – на мыло!

Аристократка. Вот ведь позабавили. Прямо как «Новости» по ящику.

Рабочий. Требую слова по ведению собрания!

Революционер. А почему бы и нет? Прошу.

Рабочий. Спору нет, выборы жульнические. Голос этого вот мужика-дебила считается, когда он подан за мастера тёмных демократических дел, и не считается, когда тот же слабоумный голосует за других кандидатов. Кандидаты не предложили своих политических программ. И, блин, это не случайно.

Интеллектуал. А если не случайно, то почему?

Рабочий. Приметил я, что и вы, доктор, с неохотой проголосовали. А почему? Да просто эти выборы на самом деле никому не нужны. О каком коллективе базар, о каком самоуправлении? Я двадцать лет прожил в государстве народного самоуправления, успел в те годы и на заводе повкалывать, и никакого настоящего самоуправления нигде не видел. А потом пошла голая капиталистическая эксплуатация рабочего класса. У нас тут семеро официально считающихся в здравом уме

(а там кто знает?) и один патентованный дебил. Разве мы коллектив?

Дурак. Сам ты дебил, невыттый наёмный работник! А я (*гордо*) отстающий в развитии, вот.

Рабочий. Тебе, мужик, лучше бы не повторять подлых буржуйских закидонов, а то не сдержу ещё руки, отвешу подзатыльник. (*Дурак приседает, прикрывает голову руками*). Вот так и стой, пока не договорю. Только с мысли сбил... Так вот, управлять нами как коллективом не нужно. И незачем. Сейчас каждому не хило бы задуматься о своей жизни, вспомнить, чего в ней было хорошего, жену, детей припомнить. Мысленно попроситься со всеми родными, близкими и с самим белым светом. Ведь его мы больше не увидим, тот солнечный свет, белые облачка на голубом небе не увидим, чует моё сердце. А там будь что будет!

Интеллектуал. Абсолютно и во всём сказанном о выборах согласен с вами. Жаль, что не могу сейчас пожать вашу руку.

Революционер. А насчет программ позволю себе не согласиться. На программы никто теперь не смотрит. Взял власть – тогда найдётся и кому программу для тебя написать!

Семинарист. А ведь хорошо сказал безбожник-пролетарий, даже не вполне ожидажно. Вот только ещё помолиться бы всем – умильно и усердно.

Революционер (*язвительно*). Диво дивное, чудо чудное! Глядите: пролетарий отказывается от коллективизма, а выбирает индивидуализм. И о чём речь? Если вы не принимаете результаты выборов, то устраивайте протестный Майдан, а я устрою Майдан в защиту законной власти.

Студент. И в самом деле, ну их, эти выборы к чёрту! Ещё перессоримся из-за них!

Верхняя половина тела Рабочего дополнительно освещается жёлто-зеленым.

Семинарист. А вот чёрта тут поминать вдвойне неблагоприятно. Сдаётся мне, отсюда до адских огней как недалеко...

Рабочий. Да, ссориться не нужно бы, ребята. Зачем портить себе самим последние, возможно, минуты. Вот только.... Что это творится с моей головой? Ты кто такой?! Отвали, кому... *(Падает, взбрыкивает ещё ногами, лежит неподвижно)*.

Фигуры в чёрном, как бы вынырнув из темноты возле лежащего Рабочего, утаскивают его без должного почтения, за ноги ухватив, за правую кулису.

Тотчас же из-за левой кулисы со скрежетом выдвигается кенотаф, символизирующий труп Рабочего. Это скульптурное, грубо вырезанное из части ствола дерева и аляповато раскрашенное изображение в натуральную величину лежащего навзничь персонажа, при этом обязательно карикатурное, утрированное сходство с ним и его костюмом. Кенотаф остаётся лежать возле левой кулисы.

Феминистка. Ой, мамочка! *(Плачет)*.

Аристократка и Семинарист дёргают правыми руками, желая перекреститься. Шевелят губами. Остальные молча замирают. Пауза.

Студент. Сколько можно отмалчиваться, уткнув глаза в землю? Стоило бы обсудить то, что произошло.

Революционер. О какой земле речь? В то уставились, что у нас под ногами.

Интеллектуал. И если то, чем на нём стоим, действительно можно назвать нашими ногами.

Дурак. Почему же ноги нельзя называть ногами? Потому что они не воняют, да?

Интеллектуал. Устами младенца глаголет истина, коллеги. Вот этого только нам не хватало – запутаться в деталях!

Аристократка. Мужчины, будьте проще! Если что и стоит обсудить, так только вот это. Почему он, этот простой человек, ум... то есть ушёл окончательно, почему именно он первым? Вот в чём самый важный для нас вопрос.

Революционер. Ответить легче лёгкого. Он отвёрг наши выборы – и оказался здесь лишним. Его прикончил собственный антидемократизм.

Аристократка. Чепуха, господин координатор! Я вон тоже не голосовала, однако продолжаю вам, молодые люди, мозолить глаза.

Интеллектуал. Верно подмечено. Думается, настала пора изложить гипотезу, которую вы раньше не пожелали выслушать.

Феминистка (*хлопает в ладоши*). Просим! Просим! (*Смущённо*). Хотя какое-то развлечение...

Во время последующего монолога возможна проекция кадров кинохроники о сожжении книг в фашистской Германии прямо на чёрный шёлк. Можно использовать и рирпроекцию. Качественность изображения не обязательна. Достаточно, чтобы зритель понимал, что происходит в кадре.

Интеллектуал. Спасибо. Знаете ли, я уже давно задумывался о том, куда девается духовная энергия сожжённых варварами книг. Ведь костры из книг пылали не только в Германии во времена фашизма. Запретные книги сжигала инквизиция, и даже в просвещённом восемнадцатом веке в Западной Белоруссии и на Украине иезуиты специально скупали

православные книги, чтобы их сжигать. Да зачем далеко ходить? В начале девяностых годов минувшего века во всей независимой Украине возле районных библиотек пылали костры: это горела вредная коммунистическая и оказавшаяся излишней русская литература. Так неужели весь вложенный в эти огнем и дымом ушедшие книги духовный потенциал рассеялся бесследно? Уж не он ли подпитывает духовную энергию сознания умерших, подхватывая и продолжая короткую вспышку активности, прощальный привет от погибающего мозга? Простите, если я кого расстроил, назвав вещи своими именами.

Студент. А как же тогда вы, профессор, объясните тот факт, что наш пролетарий покинул нас первым?

Интеллектуал. Ответ, Раич, напрашивается сам собой. При всём моем уважении к этому здравомыслящему работнику физического труда... Разве был он похож на человека, в своей жизни много читавшего?

Революционер (*крякает. После паузы*). Правильно ли я понял, доктор, что вы надеетесь продержаться дольше всех нас?

Интеллектуал. Вы, наверное, не поверите, но мне это и в голову не приходило.

Революционер. С тем же успехом можно предположить, что наше сознание подпитывают радиоволны мобильного покрытия.

Дурак. Грязный наёмный работник упал, потому что у него головка бо-бо.

Студент. Молодец! Сумел бы я до тебя дотянуться, за умный ответ сопли бы тебе подтёр. (*Дурак отшатывается*). Мы все забыли, что у рабочего голова была прострелена! Я ещё, когда поднимал-

ся вверх, видел, как капитально разворотило пулями на выходе ему затылок, испугался даже. Эврика! Ведь и в ужастиках зомби погибают, только если им прострелить голову.

Феминистка. Ты посмел нас к зомби приравнять, щенок! Мало того, что я с белым светом распрощалась, так меня ещё и зомби обзывают. *(Плачет)*.

Интеллектуал. Да нет, мы не зомби, мы нечто прямо противоположное. У зомби, уважаемая, тело действует, а мозги набекрень, у нас же прямо да наоборот.

Дурак. А что такое зомби?

Аристократка. А что такое ужастик? *(Пауза)*. Да нет, я знаю, что такое ужастик. Просто меня этот экстравагантный молодой человек восхищает своей непосредственной манерой задавать вопросы, и я как бы заразилась от него. Я хотела сказать, что ни одного ужастика так и не видела. Всё собиралась посмотреть где-нибудь, да руки не дошли. А теперь уж наверняка удовольствие увидеть киношную страшилку потеряно для меня.

Интеллектуал. Не много вы потеряли, княжна. Я лично если и просмотрел парочку ужастиков у себя в компе, то только из научного интереса. Как культуролог.

Семинарист. Бесовство там одно. Похуже ещё «Гарри Поттера».

Интеллектуал. Скажите, а почему вы, княжна Мария Павловна, зациклились, с позволения сказать, на ужастиках? Ведь есть ещё «мыльные оперы», любовные мелодрамы с красивыми любовными сценами, детективы, фэнтези, экранизации комиксов, наконец.

Аристократка. А у меня приходящая уборщица прямо без ума от ужастиков. Монька моя пресловутая, горе моё луковое... Вы же, доктор, в своём

перечне о порнушке забыли. С порнушкой получилось совсем смешно. Неприлично было мне как даме образованной не ознакомиться со столь популярным явлением современной массовой культуры – правда, доктор? И вот как-то разговорилась я с соседом по площадке, воспитанным таким молодым человеком под пятьдесят. Он обещал помочь горю и, в самом деле, принёс несколько дисков. Боже мой, какое отвращение испытала я тем вечером!

Феминистка. Естественно! На этих видео только и делают, что унижают женщин! Изобретательно и подло унижают! Bravo, княжна Мариечка!

Революционер. Очень спорное заявление!

Аристократка. Да дело не в том. Женщин на дисках вовсе не было, откуда ж тут взяться унижению? Сосед оказался геем, и от увиденного меня чуть не стошнило.

Интеллектуал. Пожалуй, с одним ужасиком вам всё-таки удалось познакомиться, княжна.

Революционер. Прошу не забывать о политкорректности! Кроме того, я не собираюсь вмешиваться в вашу личную жизнь, мадам, но от вас сейчас прямо-таки фонтанируют весьма неприличные мысли!

Аристократка. Как интересно, что вы их распознаёте! Просто я не могла в связи с нашим разговором не вспомнить добрую старую порнографию своего послевоенного отрочества. Я утаскивала те книжки и открытки из потайного ящика в письменном столе отчима, а с ними забиралась ночью, прихватив офицерский фонарик, под круглый стол в гостиной, прикрытый скатертью почти до пола, и внимательно

изучала. Должна же была я, невинная девица из хорошей семьи, получить представление о том, что же на самом деле происходит между мамой и отчимом, когда они запираются в спальне?

Революционер. Едва ли на эти ваши пикантные воспоминания стоило всем нам тратить время, мадам. Как законно избранный координатор я принимаю решение продолжить изучение нашего места пребывания. Что находится над нами, уже известно. Под нами некая твердь, тут без инструментов ничего не сделаешь. Мы продолжим исследования во всех направлениях. Я отправлюсь на юг, доктор на север, а наш юный друг – на восток. А я, когда вернусь, проверю ещё и запад.

Интеллектуал. А как вы определили стороны света?

На голову Революционера падает лучик жёлто-зелёного цвета.

Революционер. Не можете не придаться к человеку? Минутку прожить без учёного занудства не можете? Тогда я направо, а вы налево. Я первым. (*Студенту*). Напомните, как это вы проделывали руками. Быстро!

Студент показывает, поднимая и опуская плечи. Остаётся на месте.

Революционер. Я постараюсь не отлучаться надолго. За меня остаётся доктор.

Подражает студенту. Безрезультатно. Продолжая свои попытки, наклоняется влево, не отрывая ступней от земли. Безрезультатно дергая коленками, Революционер

клонится в сторону довольно низко, прямо таки неестественно – но его поддерживает одна из Фигур в чёрном. Тем временем он уже весь сверху подсвечен жёлто-зелёным.

Революционер (*в зал, задорно*). Вы противодействуете законно избранной власти! Вам оно так просто не пройдёт!

Внезапно лицо Революционера искажается, он дергается, закатывает глаза и повисает на руках у Фигуры в чёрном. Та опускает его на пол и утаскивает за правую кулису. Из-за левой кулисы рядом с кенотафом Рабочего, однако ближе к залу выдвигается со скрежетом точно также сработанный кенотаф Революционера.

Студент (*сипло*). Координатор умер. Долой координатора!

Аристократка склоняет голову, дёргает правым плечом, бормочет молитву. Все замирают.

Антракт

Картина 2. Распад

На сцене те же декорации и те же персонажи, за исключением Рабочего и Революционера. Они, впрочем, представлены кенотафами, которые по-прежнему лежат у кулисы слева.

Интеллектуал. (*Вращает глазами*). Откуда у меня ощущение, что тут стало пустовато?

Феминистка. Одним грубым мужланом меньше.

Аристократка. А почему бы не проявить уважение к безвозвратно ушедшему?

Студент. Покажите мне, бабушка, того, кто обо мне пожалеет.

Интеллектуал. Здоровый молодой эгоизм! Разумеется, распоряжение Голосовкера насчёт меня не имеет силы. Обойдёмся без власти. Нет смысла больше тратить время на всякие проверки. Но отчего наш Азеф покинул нас? Это вопрос.

Феминистка (*требовательно*). Кто такой этот ваш Азеф?

Аристократка. Это из российской истории, голубушка. Для иностранки российская история чересчур занудная. Как это? Забейте на неё.

Интеллектуал. Забудьте об Азефе. Был ещё такой, более известный провокатор. Поп Гапон.

Семинарист. Властолюбец без покаяния откинулся. Сие, кстати, и всем вам грозит.

Дурак. Чёрного дядьки боюсь. Утащит Петко.

Интеллектуал. Объяснение, что господин Голосовкер надсадился, пытаюсь оторвать ступни от земли, было бы внешне научным, а по сути таким же нелепым, как и остальные.

Феминистка. Уж если мы, слабые женщины и переучившиеся мужчины в компании с идиотом, решились обойтись без власти, то почему бы нам не решиться да не послать нахер и всякие научные объяснения? Что они могут изменить в последних минутах нашей... ну, как бы жизни?

Интеллектуал (*кратко*). Никто вам теперь уже не объяснит, уважаемая. Закономерности не обнаруживаются, а сам предмет изучения до того расстраивает и печалит, что, как вы удачно выразились, да ну его нахрен совсем. Мы ведь каждый за себя, правда? Вот и я сейчас займусь своими делами, а вам могу только посоветовать обратиться за утешением к единственному среди нас идеальному христианину.

Семинарист. Тоже мне нашли идеального христианина, доктор. Душа моя преисполнена мерзости. В детстве я мучил кошек и собак, в отрочестве подглядывал за женщинами, в семинарии курил травку и доносил на товарищей. Нет во мне смирения, а вот нечестивой гордыни полно.

Феминистка. Однако ты, мелкий пакостник, умолчал о походе с другими бурсаками в бордель, хоть сам и вспоминал только что. Вот это была настоящая мерзость – будущим священникам за деньги покупать женщину!

Студент. Да еще в скотски пьяном виде! (*Ухмыляется*). По крайней мере, есть что вспомнить. Аж завидно.

Семинарист. До того моего греха тебе, бесстыжая тётка, и тебе, нахальный безбожник, дела нет. Я отнюдь не укрыл его на исповеди, и после исполнения епитимии получил прощение сего прегрешения от духовного отца.

Интеллектуал (*скучно*). Историки церкви утверждают, что православные семинарии основывались по образцу иезуитских коллегий и воссоздавали их ханжеские традиции. Если бы и университеты имели такое же иезуитское происхождение, мы с Раичем тоже были бы доносчиками, на публике демонстрировали бы ангельское смирение, а между собою матерились бы через слово. Однако бог миловал. Но если уж пошла такая откровенность... Давно хотел я спросить вас, православный юноша: как вы угодили на баррикаду?

Семинарист. Гордыня меня подвела, доктор, вот та самая проклятая моя гордыня. Я в семинарии после той выходки уже на волоске висел. Ведь после визита к девкам пришлось мне тайно лечиться. Добро ещё, что отец ректор не дознался. Из бурсы точно бы выставил, о прочем умолчу.

Аристократка. Знаем, знаем! Память твоя отнюдь не умолчала. Вспоминал ты, сынок, о своих мучениях у венеролога очень красочно, очень. А ты не пробовал нравоучительные рассказы для православной газеты писать?

Семинарист (*после паузы*). Нет, не пробовал. Мне и ученье тяжело даётся, мадам. Так вот, когда бздняки подняли мятеж, но ещё не было известно, что армия выступила на их стороне, ректор собрал у себя в кабинете четверокурсников. Темнил, темнил, а потом и говорит: не хочу я, чтобы семинария осталась в стороне от святого и патриотического дела. Тому, кто не побоится и пойдёт сейчас в народ поднимать дух

православного сорпского люда, Бог воздаст сторицей, а от меня, говорит, при распределении таковой получит, невзирая на оценки, самый богатый приход. Ну, я и вызвался.

Аристократка. Голубушка, не в службу, а в дружбу, посмотрите, кто это там так смачно храпит? С моего места не видно.

Феминистка. Кто ж ещё, как не наш дурачок.

Интеллектуал. Взрослое дитя нашего социума.

Студент. Скажите лучше, обделавшийся сын полка.

Семинарист. Как говорится, не мечите бисера... Но раз уж начал, закончу. На баррикаде, клянусь, оружия в руки не брал, хоть и очень хотелось. Вот только сбежать вовремя смекалки не хватило. А ещё раньше надо было мне отказаться, когда вон тот усатый покойник, в грязном комбинезоне, завёл меня в разгромленный кабаk и предложил выпить на шару для храбрости.

Верхняя половина тела Семинариста начинает освещаться желто-зелёным цветом, интенсивность которого постепенно усиливается.

Интеллектуал. Спасибо. Теперь понятно. А что это с вами? Вы на глазах желтеете.

Студент. Ты почему это вдруг задёргался, приятель?

Семинарист. (*Измлён*). Ты? Сейчас? В такой момент? Да пошла ты...

Лицо Семинариста сначала искажается гневом, потом успокаивается. Вот и глаза у него уже закрыты – и упал бы парень, если бы не поддержала Фигура в чёрном. Та опускает его на пол и за ноги утаскивает за правую кулису. Из-за левой кулисы рядом с кенотафом

Р е в о л ю ц и о н е р а , однако ещё ближе к залу выдвигается, шурша, кенотаф С е м и н а р и с т а .

А р и с т о к р а т к а (*порывается креститься, склонив голову*). Господи, упокой с миром его недалёкую душу. Аминь.

С т у д е н т (*ёжится*). Слишком быстро оно начало происходить...

И н т е л л е к т у а л . Я признаться, разочарован. Я, Раич, надеялся уйти позже этого несчастного юноши, потому что хотел увидеть, как к нему придёт Иисус Христос в сиянии своей славы или просто белой такой фигурой, а очертания чтобы, как на картине русского художника Крамского «Христос в пустыне». Или это на картине Репина «Воскрешение дочери Иаира»? (*Можно дать проекции слайдов обоих полотен*). На худой конец, чтобы гром грянул, и молния сверкнула: понимаете, мол, как знаете...

С т у д е н т . То есть?

И н т е л л е к т у а л . Гром означал бы, что грешник отправился в ад. Я в своё время серьёзно изучал русский язык. Довелось тогда прочесть балладу Николая Михайловича Карамзина, и неуклюжие строки из неё запомнились навсегда, будто на граните выбитые. (*Читает загробным голосом, завывая*).

Сказав сии слова, Эльвира
Низверглась в море. Грянул гром.
Сим небо гибель подтвердило
Того, кто погубил её.

Ф е м и н и с т к а . Прямо мороз по коже...

С т у д е н т . Потому и страшно, что не совсем понятно. Это как церковнославянский в нашей православной церкви.

Феминистка. Вы, доктор, наверное, много всяких стишков наизусть выучили. Почитали бы нам, поразвлекли бы компанию. Про любовь, например.

Интеллектуал. Да у меня, уважаемая, в голове больше всякие учёные курьёзы... Извините.

Аристократка. Ах, Карамзин, Карамзин... Все русские нашего круга знали его фамилию, но едва ли кто читал. У меня была тоненькая книжечка повестей Карамзина, изданная в начале прошлого века. Я одолела только про бедную Лизу, под несчастливой звездой (*поднимает голову, смотрит вверх, вздыхает*) она полюбила дворянина Эраста.

Студент. Русский «Любовник леди Чаттерлей» наизнанку? А вы, Учитель... профессор то есть, ещё не пояснили, почему молния.

Интеллектуал. Ну, это тоже просто. В христианстве молния есть символ божественного Откровения или Страшного суда. А кстати, к кому это наш христианский юноша обращался в свои последние мгновения? Я дальше всех стоял, не всё и расслышал.

Студент. Уж точно не к Иисусу Христу. Это была женщина.

Аристократка. Тогда не Богородица ли?

Интеллектуал. Не стал бы этот парень так грубо обращаться к Богородице. Я думаю, что ему явилась мать, а с ней у него был психологический конфликт.

Феминистка (*задумчиво*). Я ближе стояла, хорошо рассмотрела. Это Эльза была, из квартала красных фонарей. Мы с девочками ходили в её заведение, агитировали. Напрасно только время потратили.

Интеллектуал. Гм. Должен сказать, что способ последнего ухода семинариста я считаю ровно ничего не значащим относительно христианской

гипотезы... Ну, вы меня понимаете. Мы ведь не знаем, настолько искренне он веровал, чистосердечно ли раскаивался. Я это для вас, княжна Марья Павловна, говорю, чтобы вы, верующая, попусту не расстраивались.

Студент. По мне, так вы, профессор, слишком осторожны в выводах.

Аристократка. А я бы сказала, что изысканно галантны. (*Улыбается*). Не только щадите мои религиозные чувства, доктор, но и пытаетесь их... Как сказать? *Restaure, répare...* Репарировать, что ли? Ремонтировать? Звучало бы смешно. На самом же деле мои отношения с Богом остались прежними, потому что меня они вполне устраивают, а Он – Он пусть поступает со мной, как считает нужным.

Феминистка. Ох, уж эти русские эмигрантки! Люблю их, фантазёрок!

Аристократка. Впрочем, кое о чём я всё-таки пожалела. Если бы случилось настоящее чудо, и я снова оказалась бы в своей квартирке в бельэтаже, я с огромным удовольствием отказалась бы на будущее от посещения всенощных и утрень в соборе. Особенно утрени меня добивали. Вместо того, чтобы досматривать сладкие предутренние сны, вылезаете, как дура, из тёплой, мягкой постели, напяливаете на голову тёмный платок, плетёшься полутёмной ещё улицей и стоишь в толпе таких же старых куриц, дожидаясь, когда же закончится скучная служба. Это при том, что ещё с молодости помнишь в ней каждое слово.

Феминистка (*нежится*). «Сладкие предутренние сны» – хорошо сказано! Что ж ещё остается одинокой гордой женщине!

Студент. Учитель, а что вы теперь думаете о причинах, вызвавших исчезновение наших товарищей

по яме? Ведь у нас с вами прибавилось материала для размышлений.

Интеллектуал. Гм. Сгоряча я выпалил, что в исчезновении первых двух не просматривается никакой закономерности – и поспешил. Теперь тем более становится мне ясно, что определённая закономерность есть. Да, совсем забыл... Мою гипотезу насчет духовной энергии сожжённых книг придётся отбросить. Бедный семинарист книг как раз начитался – и вот именно великих книг! По духовной силе не какому-нибудь детективу чета!

Аристократка. Извините меня, невежду, что вмешиваюсь в вашу учёную беседу, но не тот ли это случай, когда «Смотрит в книгу, видит фигу»? Один мой знакомый немец иногда пролистывает «Библию», чтобы перечитать в ней сальные места, а второй рассказывал, что в американских мотелях в каждом номере обязательно лежит «Библия».

Студент. Ишь ты! Выходит, Америка – не только самая демократическая страна мира, но и самая читающая. Ведь Советский Союз с его невероятно дешёвыми книгами давно уже канул в Лету.

Аристократка. Едва ли. Одинокие мужчины, командировочные, коммивояжеры, те, действительно, не забывали заглядывать в такую мотельную «Библию». Ведь там на последних, чистых страницах записаны были телефоны местных «прости-господи».

Феминистка. Грязные мужланы!

Интеллектуал. Позвольте мне вернуться к своей мысли. Я уже упомянул об определённой закономерности, которую только что обнаружил. Работяги с развороченным затылком она, правда, не касается. Смотрите, оба молодых человека покинули нас, когда их сознание достигло определенной завершенности, а ими

была достигнута некая цель. Один из них всю жизнь пресмыкался перед заокеанскими инструкторами и начальниками, а здесь добился избрания на хоть и призрачный, но руководящий пост и тотчас же принялся распоряжаться.

Феминистка. С наслаждением распоряжаться! И где он теперь, этот жулик?

Дурак (*громко зевает, потом в ужасе вращает глазами*). А где – я?

Интеллектуал. Второй молодой человек хотел исповедаться и получить отпущение грехов перед кончиной, как православному и надлежит. Фактически он исповедался – перед нами. А церковь разрешает в экстремальных случаях исповедоваться перед мирянином. Среди нас же была его единоверка – вы, княжна. А когда вы отпустили ему грехи, миссия семинариста в этом континууме завершилась.

Аристократка. Не припомню, чтобы я отпускала ему грехи...

Интеллектуал. Достаточно было подумать: «Бедный парень!». Или: «Кто в молодости не ошибался?».

Аристократка. Разве? Почему вы считаете меня размазнёй-добрячкой?

Интеллектуал. Я нечто в этом роде подумал, это уж точно. Вы, княжна, имели право отпустить ему грехи, а я это, сам о том не догадываясь, совершил. Не забывайте, что мы не в соборе святого Яна.

Дурак. А куда подевался дяденька в юбке? И ведь голая тётя о нём вас тоже спрашивала?

Феминистка. Голая тётя оказалась слишком близко к покойникам – не покойникам, чучелам – не чучелам. И слишком далеко от вас, миленькая княжна Марусечка. Нельзя ли мне перебраться к вам поближе?

Аристократка. Да ради бога.

Дурак (поворачивает голову к саркофагам). Вот он где, дядя в юбке! Петко боится.

Феминистка (убеждённо). В таких переделках девочкам лучше держаться вместе.

Дёргая одновременно обоими плечами, как будто поднимая и опуская прямые руки, Феминистка начинает передвигаться, с носка на пятку, ступней от пола не отрывая, в сторону Аристократки. Останавливается рядом с нею.

Интеллектуал. У вас получилось!

Феминистка. Долго ли умеючи? Ах, миленькая княжна Марусенька, до чего же мне нравится ваш аристократический носик!

Аристократка. Вот как? Между прочим, нос у меня как раз не княжеский. Весь род Катыревых-Ростовских курносый. Римский нос у меня от дедушки по матери, племянника эрцгерцога Фердинанда.

Феминистка. Ах, мне дела нет до эрцгерцога Фердинанда! Ваш носик, княжна Марусенька, сводит меня с ума потому и только потому, что он на вашем милом личике. Я ведь вижу вас в профиль, и для меня ваш породистый носик как бы завершает общее впечатление о вашем прекрасном облике.

Интеллектуал. Сдаётся мне, Раич, мы только что услышали признание в любви.

Студент. Ну и дела!

Аристократка. Что за шутки! Я же старуха!

Феминистка. Если вам, мужчины, не нравится, заткните уши. А вы, миленькая княжна Марюточка, где увидели старуху? Но об этом позже. Сначала я хочу объяснить, что последовала призыву нашего попа-недоучки. Он призывал нас: «Возлюбите друг друга!». Вот я и возлюбила. Что, взяли?

Интеллектуал. Ей-богу, не помню, чтобы семинарист говорил такое...

Феминистка. Если не говорил, то подумал, а я слышала. А почему, спрашивается, нашу княжну нельзя полюбить? Оттого, что не такая уж и молоденькая? А вы, тупые мужчины, к ней просто не присматривались. Княжна Маричечка у нас ещё ого-го-го!

Мужчины ухмыляются.

Аристократка. Однако же и напор! И вы ведь, голубушка, совсем не имели времени меня разглядеть. А присмотревшись, какую развалину вы увидите! К тому же я вся в грязи и крови, одета в домашние тряпки, а обута... Полуобута собственно.

Феминистка. И очень хорошо я вас разглядела, миленькая княжна Марьюшка! А если вы в таком виде из-за проклятых бзнякских мужланов, то и я ведь сейчас чистотой отнюдь не блистаю. И вообще грязь и чистота внешние, телесные здесь и сейчас совсем не причём! А что касается обуви, то как раз обуты вы оч-ч-чень эротично. ножка голенькая, вторая на каблучке – да с этой находкой хоть сейчас на подиум! И не сомневаюсь, что у вас, с вашей комплекцией, ножки остались стройненькими и очень сексуальными. А про грудь вашу разве я уже не говорила? Да с вашей прелестной грудью хоть сейчас на акцию нашей группы «Фемен»!

Студент. Не выйти ли нам, Учитель?

Интеллектуал. Будем считать, что я показал вам большой палец.

Аристократка. И что я вам, молодой человек, сейчас аплодирую.

Интеллектуал. И она ещё предлагала мне почитать стихи! Девушка и сама себя прекрасно развлекает.

Феминистка. Уж если вы родились мужчиной, доктор, если уж вам настолько не повезло, то вы самой мужской своей природой обречены хамить и грубить. Хотя, надо признать, прежде вы были достаточно деликатны... Как вы посмели намекнуть, что я занимаюсь самоудовлетворением? Пусть я и занимаюсь, но не вам, мужчине, меня в этом упрекать.

Студент. Ну, и закрутили же вы... Ничего плохого в этом нет, но и говорить про дочкилово не стоит. Я правильно понял?

Дурак. У этих взрослых не поймёшь, о чём можно говорить, а о чём нельзя. Стоило только Петко позавчера за обедом признаться, что укакался...

Интеллектуал. Тихо! Прежде всего, я ни на что не намекал, дорогая. В моих словах не было никакого скрытого смысла.

Феминистка. Да? Правда? Это меня радует, что вы не имели в виду ничего плохого, а то ведь я уже разочаровалась. Знаете, ведь вы, доктор, относились ко мне по-человечески, и я привыкла к вам как бы. Теперь и я скажу, что в моем чувстве к нашей замечательной княжне нет скрытого, похабного смысла.

Аристократка. Вот за это искренне благодарна вам, голубушка. А то я уже прикидывала, в какую сторону мне отползать, если вы вдруг приметесь меня лапать. (*Феминистка плачет*). Да успокойтесь вы, голубушка... Это тоже была шутка. Нельзя же ко всему относиться столь серьёзно.

Феминистка. Однако же надо хоть к чему-нибудь в жизни относиться серьёзно. И почему бы тогда не к любви?

Интеллектуал. С чего это вы взяли, что любовь это нечто важное в жизни? Для нас, мужчин, куда важнее работа, возможность обеспечить материальны-

ми благами себя и семью. А ещё признание, с работой связанное, даже слава, если повезёт.

Студент. Присоединяюсь стопудово.

Феминистка. Что там мужчины думают о любви, очень мало меня колышет. Для меня мужчины – вроде самцов у муравьев, единственную пользу те приносят, оплодотворяя самок. Стали бы вы прислушиваться к той философии, которую разводят между собой самцы муравьишек перед тем, как спариться и погибнуть? Вот и мне это неинтересно. К тому же о любви женщины к женщине мужики судят по порнороликам, которые для них же и снимают другие мужики.

Интеллектуал (сочувственно). Это вы сами придумали?

Феминистка. Где уж мне... Внутренняя информация нашего сообщества. Коллективный женский разум, можно сказать. А ещё мужчины судят лесбиянок по себе, точнее, приравнивают отношения между девочками к действительно отменно грязным и скоропалительным случаям между геями. У девочек же всё совсем по-другому. Они ценят длительные союзы, бережное, предупредительное, с глубоким взаимным уважением сосуществование, и психологическая гармония для них куда важнее физических контактов, как правило, очень и очень нечастых. Это в первую очередь близкие подруги, максимально добрые друг к другу. Поэтому они ухитряются спокойно, весело, комфортно уживаться вдвоём даже в самой тесной квартирке.

Интеллектуал (осторожно). А вам, уважаемая, приходилось ли вступать в такой союз?

Феминистка. Хотелось бы соврать, дак ведь не выйдет... Нет, не приходилось, доктор. Я влюблялась и не раз, но меня не хотели.

Аристократка (*отведя от Феминистки взгляд*). Эх, надо было мне совратить мою приходящую уборщицу Моньку! Глядишь, и не заметала бы, ленивица, мусор под комод.

Феминистка (*горько, готовая снова заплакать*). Шутки всё шутите, вы все, а я уж было привыкла к вам. Будто в коммуналке мы все вместе оказались, и остались теперь вполне, вроде, пристойные люди. Такие, думаю, не стали бы шипеть по углам из-за очереди мыть пол в туалете. И ещё так славно разбились на парочки, прямо «два плюс два».

Интеллектуал и Студент, с неожиданной, удививших их самих лёгкостью повернув друг к другу головы, обмениваются изумлёнными взглядами.

Интеллектуал }
Студент } (*вместе*) Парочки? «Два плюс два»?

Феминистка. Ну да. Мы с княжной – это одна парочка, а вы, доктор, вместе с парнем, вторая.

Интеллектуал. Благодарю покорно.

Аристократка. А ты, голубушка, не в службе ли знакомств подвизалась?

Феминистка. И вы туда же, шутить, миленькая княжна Марысенька, словно стесняетесь их, этих мужиков... И я же прекрасно понимаю, в чём тут загвоздка, почему вы не желаете даже притвориться, что принимаете мою такую бескорыстную к вам любовь. Вы думаете, что я вам не пара – но разве я с этим спорю? Ну, кто я такая в сравнении с вами? Простая ведь мещанка: папаша был сцепщик на железной дороге и пьющий, а мамочка тянула всю домашнюю работу. А я? Я зарабатываю на жизнь не шибко красиво: в ночную смену обслуживаю машины для мойки посуды

в ресторане. Конечно, вам, княжне, родственнице покойного императора Вильгельма, не к лицу водиться с судомойкой.

Аристократка. Право же, не знаю, что и сказать. С одной стороны, русская эмигрантская знать давным-давно перероднилась с европейской аристократией и, тут ничего не скажешь, вошла в определённую замкнутую касту. После второй мировой войны пошли по миру с сумой те мои дальние родственники, чьи замки и поместья оказались в советских зонах оккупации, и я могла бы назвать вам имя наследного принца, из-за хлеба насущного усердно тянущего лямку клерка. С другой стороны, довоенные ещё русские эмигранты как были, так и остались нищими, и я, голубушка, не намного богаче вас.

Феминистка. Господи, да не в богатстве вашем дело!

Аристократка (сурово, строго). Да, не в деньгах счастье. Да, человек с деньгами и он же без денег должен оставаться самим собой! И мне и в голову не пришло бы выйти за пределы тех норм поведения, которые действуют в нашем кругу. Да мне всю оставшуюся жизнь было бы стыдно перед покойным отцом! И уж поверьте мне, что я в последние, быть может, свои минуты не хочу и не буду потакать вашей, голубушка, половой распущенности и баловству. Да, да, вот именно! Я вон с Господом Богом не успела выяснить отношения, с мужчинами за всю свою жизнь не разобралась, куда уж мне... нырять в эти новомодные веяния. Даже если речь идет о платонических чувствах – а какие ещё возможны здесь и теперь, голубушка?

Феминистка (горячо). Да вам и не нужно никуда нырять, любименькая княжна Марьюшка! И вовсе ничего я от вас не жду, вот разве улыбнулись бы мне

когда-нибудь, если заслужу, ведь у вас такая замечательная улыбка! А я уже позволила себе раз мечтаться о том, как выгнала бы я вашу неряху-домработницу...

Аристократка (*уже мягче*). Ну, на домработницу у меня пенсии не хватило бы. У меня только приходящая уборщица, а так я всё сама.

Студент. Cleaning lady.

Интеллектуал. На сорпском правильно будет сказать: помощница по хозяйству.

Феминистка. Да как её ни назови, всё равно бы выставила за дверь! И первым делом выгребла бы мусор из-под комода. Я бы чисто-начисто выстирала бы все ваши халатики и ночнушки, заштопала бы бельишко, освежила бы и погладила бы платье, в котором вы ходите на базар и в церковь. Я каждый день варила бы вам ваши любимые щи да кашу...

Аристократка (*серьёзно*). И не такие уж и любимые, однако за желание помочь благодарна.

Интеллектуал. И ведь никакие гадости не приходят сейчас девушке в голову. Bravo!

Жёлто-зелёный луч начинает слабо освещать разлохмаченную макушку Феминистки.

Студент. Эй, поберегись!

Феминистка. Не сбивай меня с мысли, парень! Ах да... Любименькая моя, я водила бы к вам врачей, толпами бы водила, я не жалела бы на врачей денег, и вы бы прожили у меня ещё долго-долго. И я лелеяла бы вас и любовалась бы вами целую вечность. Я бы сделала для вас всё то, что не сумела и не захотела сделать для своей бедной мамочки. (*Кривится*). Я бы заплакала сейчас от счастья, но почему-то не могу... (*Лицо у неё спокойно, улыбается. Шёпотом*). Нет!

Вся облитая жёлто-зелёным светом, Феминистка закрывает глаза и начинает падать. Две Фигуры в чёрном, не позволив опуститься на пол, на руках уносят её за правую кулису. Из-за левой кулисы высовывается кенотаф Феминистки.

Аристократка (*бормочет*). Ты меня разозлила, но где бы ты не была теперь, я желаю тебе обрести хоть там успокоение. Аминь и Богу нашему слава. (*Порывается креститься. Громко*). А ведь у здешней прислуги имеется уважение к дамам.

Дурак. (*Показывает пальцем на кенотафы*). Петко жалко голую тётю.

Интеллектуал. Вы разозлились на бедняжку, княжна Марья Павловна, а виду не подали.

Аристократка. Остатки хорошего воспитания сохранились. Быть может, то, что я сейчас скажу, прозвучит и нескромно, однако и смолчать я не могу. «Любименькая»... Вот ведь напасть! Почему у тех, кому навязывают своё внимание, не спросят никогда, а хотят ли они этого? Наверное, мы живём в таком холодном и себялюбивом обществе, что оцениваем любое проявление добрых чувств. Я имею в виду, к другому человеку.

Интеллектуал (*неловко*). Вы абсолютно правы, княжна, и мне слишком хорошо известен случай, когда экзальтированная женщина едва не загнала своей любовью в могилу мужчину, которому она с этой своей любовью вовсе не была нужна.

Студент. Несчастный едва не попал в могилу, а мы в ней пребываем. Вы заметили ли, коллеги, что, выражаясь высоким штилем, течение событий ускорилося? (*Вертит шей*). И вроде как-то посвободнее нам стало.

Аристократка. И гробы повапленные (*показывает подбородком на кенотафы*) расположены теперь как-то по-другому. Расползлись будто.

Интеллектуал. Вам показалось, княжна Марья Павловна. Но и то правда, что любая система перед своим окончательным распадом обязательно разбалтывается, то там, то сям даёт слабину.

Студент. Вашими бы устами да мёд пить.

Интеллектуал. А я, пожалуй, рискну воспользоваться ослаблением здешнего режима.

Интеллектуал, не отрывая ступней от пола, неуклюже выдвигается на авансцену. Поворачивает голову вправо-влево, высматривая кого-то среди зрителей.

Интеллектуал (*раздумчиво*). Как странно, что тебя нету в зале. При всей твоей скупости ты ведь должна была потратиться на билет.

Студент ухмыляется. Интеллектуал, сторбившись, возвращается на своё место. Пауза.

Аристократка. Я не знаю, господа, долго ли просуществую в виде такой же карикатуры (*снова показывает подбородком, теперь на кенотаф Феминистки*), но мне бы не хотелось... (*Сбрасывает с ноги шлёпанец и остаётся босиком*). Не хочется ещё и ногами... Смешить чертей мне не хочется, вот что.

Дурак (*с ужасом*). Черти? Мы так не договаривались! (*Садится на корточки, прикрывает голову руками*).

Аристократка. В Библии очень красиво написано о кончине патриархов. «Авраам наполнился жизнью и...». А я не наполнилась жизнью и уж точно не пресытилась. Просто я принимаю форму ухода,

дарованную мне Богом, и готова к окончательному исчезновению. Эй, вы, тени, прячущиеся по углам, я готова! Как бы там ни было, такой исход решает некоторые мои проблемы. Признаться, я боялась внезапно окочуриться в своей спальне во вторник, скажем. Ведь Монька, уборщица, появляется только по понедельникам. Зато теперь уж точно крысы не объедят мне лицо. И ещё я ведь показала кукиш не только крысам, но и своему врачу. Бездельник запрещал мне мою невинную слабость, пирожные. Мол, диабет, мол, вам инсулин придётся колоть каждый день. И можно теперь наплевать на внезапные боли в желудке. Извините, господа, глупую старуху: распустила язык. Прощайте! Бог в помощь вам! Вот уж не знаю, свидимся ли снова.

С некоторым даже изяществом передвигаясь (видно, танцевала в своё время твист), А р и с т о к р а т к а оказывается на метр ближе к авансцене. Все остальные теперь у неё за спиной. Выпрямляет плечи, откидывает назад голову и закрывает глаза. Выглядит всё это так, будто она подставляет лицо солнцу. Появляется жёлто-зелёный лучик, падает на лоб А р и с т о к р а т к и , расширяется, и вот уже вся верхняя половина её тела вспыхивает под софитом. Две Ф и г у р ы в чёрном подхватывают её, на руках уносят за правую кулису. Из-за левой кулисы со скрежетом высовывается кенотаф. Топорное изображение А р и с т о к р а т к и напоминает Бабу-Ягу, она босая.

Дура к . Бабушка-то – ту-ту-у-у! (*Жестами и пыхтеньями изображает отправление поезда*).

С т у д е н т . А нам ведь тоже вскоре ту-ту.

И н т е л л е к т у а л . Почему же – вскоре, Раич?

С т у д е н т . Русская чудачка отбыла со сказочной быстротой. И наш черёд настанет скорее, чем мы с вами думали. (*Ёжится*). Даже неприятно. Будто перед прыжком в холодную воду.

И н т е л л е к т у а л . Марью Павловну, насколько мне известно, никто не торопил. У меня возникло впечатление, что перед нами был совершён акт суицида.

С т у д е н т . Тогда у княжны это была вторая за сегодня попытка.

И н т е л л е к т у а л . Княжны? Род князей Катыревых-Ростовских пресёкся не то в XV, не то в XVI столетии.

С т у д е н т . Почему же тогда вы потворствовали безумной старухе, почтительно выслушивая её бредни?

И н т е л л е к т у а л . Во-первых, она вовсе не безумна. Во-вторых, чего только не происходило в этой загадочной Российской империи? Царь мог княжеский титул восстановить своим указом, такое бывало.

С т у д е н т . Как у вас всё зыбко, профессор! Вы ни в чём не убеждены наверняка. Тяжко, наверное, вам живётся.

И н т е л л е к т у а л (*почти кричит*). Да, я всегда в сомнении! Да, я не убежден ни в чём! Но я не хочу уходить, не избавившись хотя бы от одной тяжести на сердце. Нам с вами надо объясниться.

С т у д е н т . Пожалуй. Давно хотел. И не дожидаться же, пока... (*Смотрит на Дурака*).

Д у р а к . Пока Петко что?

И н т е л л е к т у а л (*мягко*). Пока Петко не отпустят домой, вот что.

Д у р а к . Дома Петко выпорют. Да и кушать совсем не хочется. Я, пожалуй, ещё немножко с вами поиграю.

С т у д е н т . «Кушать, кушать...». Учитель, почему вы приняли в аспирантуру не меня, а Мусича? За что вы меня обидели?

И н т е л л е к т у а л (*после паузы*). Это ещё надо посмотреть, кто кого обидел. Во-первых, Мусич был до-

стойнее вас. Во-вторых, от меня выбор зависел весьма в небольшой степени, о чём вам прекрасно известно.

Студент. У меня IQ выше, чем у Мусича!

Интеллектуал (*смотря в сторону*). Зато он не подавал плагиат на Всесорпздийский студенческий конкурс. Уж лучше вам было бы написать что-нибудь тупенькое, но своё.

Студент. Вы это бросьте! Каждый выкручивается, как может! И я ведь честно перевёл с английского. И не ловилось как списанное Гуглом, вот именно потому, что перевёл!

Интеллектуал. Смешно было бы сейчас убеждать вас, что воровать чужое нехорошо. И что это опасное заблуждение – считать других глупее себя.

Дурак. Вот-вот! Петко не крал пирожок! Просто очень захотелось кушать.

Студент. Заткнись, идиот! И не «кушать», а «есть»! По-сорпски правильно – «есть»! А вам, профессор, нечего корчить из себя целку. Сами же признавались сегодня, что на ваших руках – кровь!

Интеллектуал по-прежнему неуклюже снова выдвигается на авансцену. Задирает бородёнку и вертит головой, выискивая, очевидно, наверху место, откуда протянется желто-зеленый лучик.

Интеллектуал. Ваша забота о чистоте нашего сорпского языка не свидетельствует ли, что из вас вышел бы неплохой учитель? Наверное, и мне надо было после университета податься в сельские учителя. Глядишь, и больше пользы принёс бы нашему несчастному, ещё мало цивилизованному народу.

Студент (*шутовски кланяется*). Спасибо за совет. Вот только едва ли мне удастся ему последовать.

Интеллектуал. То, что я сейчас скажу, я не для вас скажу, Раич, потому что вам ничего на свете уже не поможет.

Студент. Да ну!

Интеллектуал. Я ведь долгую жизнь прожил, научился читать написанное на лицах людей... Я буду говорить для себя. Ведь мысль проясняется, если проговорить её вслух. Да, я виноват перед своим народом, виноват и перед бзняками, жившими рядом с нами и среди нас. Где она пролежала, та грань, переступив которую, я поступился научной объективностью ради желания понравиться нашей политической и торговой верхушке? В какой именно момент учёной карьеры я, обычный сорпский патриот, соскользнул в национализм и ксенофобию? Может быть, моё падение началось, когда я весьма горячо и, осмелюсь сказать, талантливо, поддержал кампанию «Сорпские песни – лучшие в мире!». Наши песни, конечно же, прекрасны, но... Не лучше ли было подождать, когда нам об этом скажут другие? Мы с такой гордостью лелеяли наш гордый патриотизм, нашу религиозность, наш общинный коллективизм, нашу приверженность семейным устоям и наше неприятие геев и лесбиянок...

Студент. Неприятие – это ещё мягко сказано! *(Бросает свирепый взгляд в сторону кенотафов)*.

Интеллектуал. Да. Но мы не желали признавать, что все эти черты нашего национального характера – не совсем то, чем есть смысл гордиться в XXI веке. И ещё мой грех состоит в том, что я хорошо знал, почему нас, славян, так не любят цивилизованные европейцы, я разобрался в проблеме, но боялся честно о ней написать. А ведь правда могла подействовать на многие горячие головы как отрезвляющий холодный

душ. Люди не понимают, что нельзя одновременно оставаться сорпами и сделаться полноправными европейцами, наподобие французов.

Студент. Но мы же почти приняты в ЕС! Мы ведь, кажется, уже были приняты в ЕС?

Интеллектуал. Угу. И остались со своими динарами. И в Шенгенскую зону нам хода нет, словно мы какие-нибудь румынские цыгане. И если вы лично надеетесь, что после путча бзняков нам когда-нибудь светит полноправное членство, то методика определения IQ никуда не годится.

Студент. Знаете, чем вы больше всего меня оскорбляете, Учитель? Своей снисходительностью, блин.

Интеллектуал. Увы, я всю жизнь был абсолютно равнодушен к другим. Теперь-то можно об этом сказать. Но если очень многое в моём характере обусловлено генетически, так ведь и корни наших общих бед – в истории нашего народа. Европейцы всё никак не могут простить нам, что наши предки-дикари сумели некогда закрепиться в самом сердце Европы и не ушли отсюда, не вымерли, не растворились в немцах или итальянцах. Европейцы ещё терпят славян онемеченных и покатоличенных, но сохранившие православие им вдвойне чужды. К тому же восприятие нас европейцами крепко подпортила Россия, уже самим своим существованием. Как русские посмели дважды брать Берлин и оккупировать Париж, как они посмели победить великого Наполеона и удачливого Гитлера! Как посмели они даже после развала двух империй, Романовых и коммунистической, сохранить за собою территорию от Кёнигсберга до Камчатки и колоссальные природные ресурсы! Как посмели они

развить свою мощнейшую духовную культуру на основе византийского православия!

С т у д е н т (*бурчит*). Сами же говорили, что русские не выдвинули великих философов.

И н т е л л е к т у а л . Это славяне не выдвинули, а русские вот именно как славяне. У них есть, впрочем, религиозные философы, начиная со Сковороды. Но в том-то и дело, что православие не лучшая основа для философствования.

С т у д е н т . А сейчас не лучшее время для лекции, профессор!

Д у р а к . А для чего сейчас лучшее время? Петко соскучился. Давайте поиграем в «Испорченный телефон».

И н т е л л е к т у а л (*кратко*). Я уже заканчиваю. Потом можно и поиграть. Итак, мало того, что нас не любят именно как злоредных славян, мы ещё вынуждены отдуваться за наших мощных и ненавистных Европе сородичей. Впрочем, я уже начал повторяться, и не признак ли это близкого конца? Но я не всё ещё сказал, что хотел. Я ведь и сам недостаточно проникся современными идеями терпимости, мира, всеобщего равенства, вот и не имел морального права проповедовать их своему народу... А со мной покончено. (*Пауза*). Здравствуй, Джелка. Знаешь ли, я не удивляюсь, что ты и тут меня достала.

Голову и торс Интеллектуала тотчас же, мгновенно освещает яркая вспышка сине-зелёного света, он со стуком падает на пол, и Фигуры в чёрном за ноги вытаскивают его за левую кулису. Кенотаф появляется справа и со скрипом продвигает собою кенотаф Рабочего ближе к центру сцены, в направлении Дурака. Тот с ужасом вытаращивается на усатую скульптурную карикатуру, накрывает голову руками и безмолвно передвигается ближе к Студенту.

С т у д е н т . Мир как спасение для слабых, тупая кротость – так вот оно, твоё последнее слово, учёный осёл? Ненавижу!

С т у д е н т наклоняет голову по-бычьей, напрягается всем телом. Позади его на пол падают обрывки верёвки. Он подносит руки к лицу и рассматривает их, будто видит впервые.

Раздается приглушенный шум двигателя и рокот военной землеройной машины. С потолка на сцену сыплются чёрные куски поролон, обозначающие комья земли. Снова слышны выстрелы, очереди, взрывы.

С т у д е н т . Твои любимые европейцы, Учитель, дали оружие бзднякам, прислали инструкторов и предоставили снимки со спутников. Ненавижу! И боли в груди вернулись... Да пошли вы все!

Внезапно С т у д е н т срывается с места, хромя, добирается до задника и начинает карабкаться по лестнице, скрытой за чёрным шёлком. Вот и ноги его исчезли под потолком. Тем временем саркофаги, шурша и скрежеща, надвигаются на Д у р а к а . Тот смотрит на них сквозь растопыренные пальцы обеих рук.

Д у р а к . Петко не боится. Я снова рожусь котёнком. Как только наш кот Бегемот окотится.

Под глухие звуки одиночных выстрелов и очередей опускается занавес.

Эпилог

Декорации почти те же, что и в **Прологе**. Та же каменная стена кладбища, только участок левее показанного в начале пьесы. Ночь, тёмное небо иногда пересекают цепочки трассеров. Слева у свежерыкопанной траншеи кучки чёрной земли, справа – такие же уже высохшие, светло-коричневые прикрывают засыпанную траншею. Справа почти у кулис, стоит **Торговец**. Ковыряется в зубах зубочисткой, держа карабин с прикреплённым под стволом фонариком на плече.

Торговец. Сказал мне сержант: пойдя, мол, погляди. Если вдруг кто выполз, добей, говорит. Вечно я у сержанта крайний, будто я не герой революции. А пока я бегаю и колупаюсь, ребята допьют всё хорошее вино, и придётся накачиваться пивом, а сорпское пиво... *(Плюётся)*. О, это настоящий отстой... Но тут вроде тихо. А вот в городе ребята что-то здорово расшалились. Таким макарон можно все даровые боеприпасы извести, а потом цена станет кусаться: два бакса за патрон. Это тебе не фунт изюму.

Почти рядом с его ботинками из засыпанной траншеи появляется сначала рука, потом голова **Студента**. **Торговец** оборачивается на шум и сдёргивает с плеча карабин. Направляет ствол с фонариком на **Студента**. Тот замирает.

Торговец. Тю на тебя! *(Крестится по-католически)*. Ты кто – вурдалак?

Студент *(пожимает плечами)*. Сам не знаю... Это ты, остряк? Вот не думал, что ещё раз увижу твою тупую рожу!

Торговец. А! Я тебя узнал... Ты, парень, полегче! А то получишь у меня прикладом. Выбирайся из земли, и я отведу тебя к свежей траншее. (*Показывает пальцем*). Тут недалеко. А здесь неудобно будет снова зарывать.

Студент. Значит, мне всё это почудилось? Солнце высушило слой рыхлой земли, и мне хватило воздуха...

Торговец. Можешь не косить под психа, тебе не поможет. Кому сказано – вылезай! Пока я не разозлился, парень.

Студент. Да не могу я выбраться так сразу. Дай сперва отдышаться.

По стене кладбища, по Торговцу и голове Студента забежали белые лучики фонариков.

Торговец. Дождёшься у меня, что я сам себе работы прибавлю, а тебя прикончу на месте... (*Смотрит налево, чешет затылок, сдвинул шляпу на лоб*). Эй, а это что там за люди? Зачем водителя землеройки вытаскивали из машины? Дают по шее... (*Студент изо всех сил выбирается на поверхность. Остаётся на корточках, чтобы передохнуть*). Господи, Боже... (*Крестится по-католически*). Это невозможно, в это нельзя поверить... Этого просто не может быть! Ноги, ноги... (*Пытается убежать, Студент хватается его за ногу*). Пусти! Слышь ты, повязку отдай! Не хочешь? Получай! (*Направляет карабин на Студента*).

Звучит выстрел. Торговец падает. Студент, шатаясь, встает на ноги.

Студент. Не стреляйте! Я свой! Меня... нас... вчера расстреляли... Или сегодня?

Голос Нового сержанта. Да видим, что сорп. Иди к нам, товарищ.

Из-за левой кулисы выдвигаются семеро **сорпов**, это другие уже Новый офицер и Новый сержант, три Новых просто солдата и два гражданских. Новый офицер и Новый сержант одеты как русские десантники, солдаты одеты и вооружены, как и солдаты-**бзняки**. Новый сержант расставляет у стены **бзняков** – со связанными руками, избитых, безоружных. Это Офицер, потерявший фуражку и тросточку и с перевязанной головой, Сержант, Первый просто солдат, Третий просто солдат и не выходившие прежде на сцену Водитель землеройки и Гражданский.

Студент подхватывает карабин Торговца и медленно, сильно хромя, направляется к **сорпам**.

Новый сержант. Террористы, прыгайте в траншею. Марш, марш! Теперь ложитесь на дно.

Неожиданно, шатаясь, поднимается на ноги Торговец.

Торговец. Пойдите, господин офицер! Я ведь должен стать в строй. Я же тот, кто расстреливает, а вовсе не...

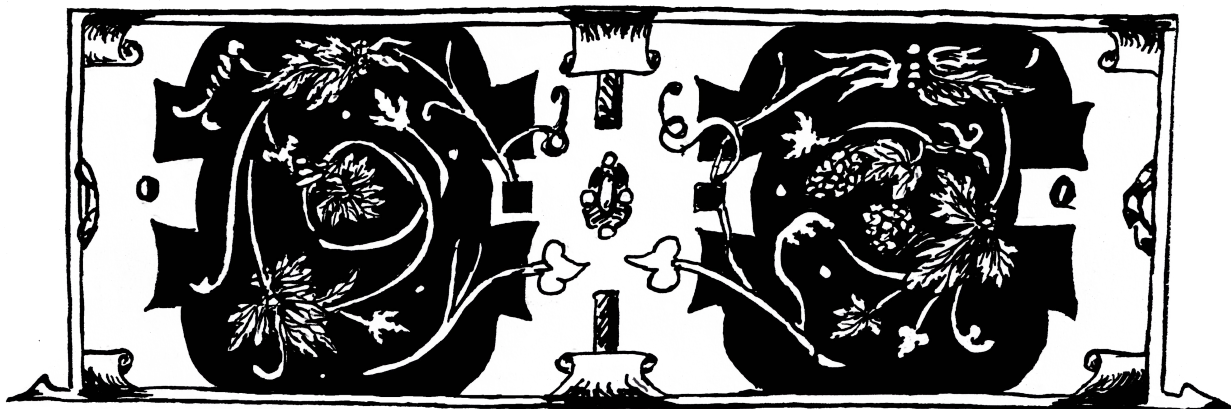
Выстрел. Это Студент стрелял в Торговца. Тот падает. Студент решительно ковыляет к **сорпам** и становится в строй.

Сами, без команды, **сорпы** разворачиваются «налево кругом» и нацеливают оружие на зрителей.

Занавес

Декабрь 2013 г. Киев





АРИАНТЫ





Дракулой в кустах

*Пьеса умеренного абсурда в двух действиях
для актёров несколько старше среднего возраста*



Действующие лица

Борис Фомич – лишний человек лет 50-ти, образование среднее техническое, одет со столичной небрежной элегантностью: сшитый на заказ светлый костюм, летние полуботинки, на шее тёмный шелковый платок.

Нелли Аверкиевна – его супруга, новая владелица замка. Дама с незаконченным высшим художественным образованием, под 40 лет, упакована светски, то бишь на момент представления гламурно, а вот манеры раздражают неумовимой поначалу вульгарностью.

Эдуард Опанасович Волох – провинциальный художник, бывший заведующий музеем «Замок», бывший владелец замка. Черноус, в черном костюме немодного покроя и грязной белой рубашке без галстука.

Надя – девушка неопределенного возраста, претендующая на должность экскурсовода. Одета из бутика на улице, прилегающей ко Крещатику.

Семён Павлович, он же Сенька – зять Бориса Фомича, беглый миллионер. Одет дорого, однако небрит, помят и неумыт, почему и выглядит старше своих 50-ти лет. До конца второго действия выступает как внесценический персонаж.

Граф Дракула, сосед владельцев замка. Выглядит моложе своих 580-ти лет, одет не в исторический костюм XV века, а как в американских фильмах ужасов – в алом плаще, с высывающимися по мере надобности клыками и т. д. *Почти без слов.*

Повешенный – внесценический персонаж, отдаленно похожий на Волоха. *Вовсе без слов.*

Рабочий сцены – в ярко-голубом комбинезоне, в желтой кепке с длинным козырьком. Выглядит подчеркнуто по-городски, щеголеват. Персонажи его не замечают. *Без слов и мимики.*

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Прибытие в резиденцию

В 1-ом явлении сцена представляет собою дорогу через лес. Борис Фомич и Нелли сидят в машине, «жуке» 50-х годов, с поднятым верхом. В конце 2-ого явления справа появляется маленькое изображение замка (будто фото из рекламного проспекта), которое постепенно заменяется на такие же большего размера.

Явление 1

Борис Фомич и Нелли

Нелли (*окинув мужа невидящим взглядом*). Это и есть тот самый твой замок?

Борис Фомич (*обиженным тоном*). Тот самый мой, точнее твой, мать, и действительно замок. В договоре купли-продажи недвижимости так, во всяком случае, записано... Нелли!

Нелли. Что там ещё опять?

Борис Фомич (*ворчливо*). Вот ты скажи мне, мать, когда ты научишься ставить машину на ручник? Это должно делать совершенно автоматически: остановился – и затянул ручник, остановился – и на ручник. Для водителя это всё едино, что писать под колесо.

Нелли (*послушно ставит «жука» на ручной тормоз*). И как ты это себе представляешь, пупсик?

Борис Фомич. Ну что ещё?

Нелли (*с несколько тяжеловесным кокетством*). Меня – писающей под колесо?

Борис Фомич (*смущенно, с хмурой улыбкой*). Мать, ты уж извини... Знаешь ведь, что я тебя люблю неизменно. Я...

Нелли (*нетерпеливо перебивает*). Мне совершенно не хочется, пупсик, выслушивать сейчас твои признания в любви. И по двум, даже и по трём причинам. Первая: ты опять начнешь говорить, что делал, мол, всё, чтобы я почувствовала себя с тобою счастливой. А у меня с такими твоими заявлениями связываются довольно-таки неприятные воспоминания. О том, как мы проскучали Новый год у того толстого идиота и его подруги жизни – бледной такой потаскушки, помнишь?

Борис Фомич. Начинаю припоминать... Нам некуда было тогда податься. Меня после развода... Вот странно! И в самом деле, странно мне теперь, что был женат и раньше, до тебя. Меня осуждали все общие с Тamarкой друзья и знакомые, а ты не хотела вводить меня в твой богемный круг, в тусовку этих твоих пьяных или крейзанутых художников...

Нелли. Естественно, не хотела. Ты и так бесился от ревности, а дернув под ёлочкой, принялся бы выяснять, с кем именно в той компании у меня были романы и кто именно из мужиков сделал мне мою Лорочку!

Борис Фомич (*недоверчиво*). Неужели я этим действительно тогда интересовался?

Нелли. Ещё как интересовался! Ты ведь меня ужасно ревновал. А я кантовалась в Музее трипольской культуры вместе с той бледной немочью, Зилей...

Борис Фомич. Да, с Сильвой... (*Мечтательно*). Прелестное было создание. Белое-белое лицо, голубые глаза невысказанной глубины, иссиня-черные волосы...

Нелли. А ты на неё и запал. Впрочем, у тебя на тот Новый год была другая проблема... Ты всю ночь страдал об нечего выпить... Мы должны были принести икру и торт, а они оказались оба непьющими. То есть Зилиа на корпоративных вечеринках нормально закладывала, а дома ни-ни. Ты уговорил полбутылки дешевой водки, которую они держали на случай сантехника, а потом всё посматривал на хозяйский одеколон...

Борис Фомич. Враньё это, мать. Насчет одеколona. И для тебя (*вздыхает*) для тебя тогда ещё не было проблемой... А почему это я не выскочил за спиртным?

Нелли. Ты забыл, когда это было? Водку доставали по блату или стояли за нею в огромных очередях. Кроме того, у нас не было ещё тачки, тогда как метро уже не работало, а хата у Зили с мужем у чёрта на куличках, в новостройке... Да и башли, небось, все потратили на икру (*тоже ведь достать требовалось!*) и тортик.

Борис Фомич. Свежо предание, а верится хреново... Впрочем, трудные времена для нас уже, кажется, вернулись. А кстати, почему всё-таки ты вспомнила о том занудном Новом годе?

Нелли. И в самом деле... Ах, да, ты сказанул, что пытался сделать меня счастливой – прямо теми же словами выдал, как тот толстый паук. Расселся в кресле, пузо висит, ноги кривые, волосатые...

Борис Фомич (*поднимает бровь, медленно, с расстановочкой*). А когда это ты успела разглядеть, что ноги кривые и волосатые? Нифига себе дела открываются...

Нелли (*искоса довольно поглядывает на мужа*). Ну прямо порох ты у меня! Да ведь тот тип в шортах был! Нужен был мне этот зануда, ещё чего!

Борис Фомич. В шортах? На Новый год?!

Нелли. И верно ведь, пупсик... Тьфу ты, в шортах он на видео был. Весь вечер он нам показывал на видике, как побывал в Индии, а там он в каждом кадре. И в шортах – по причине жаркого климата. И вот...

Борис Фомич. Нет, мать, не на видике. Тогда видики были в Киеве наперечет, а они бедновато жили, квартирка-то однокомнатная. Слайды Зилин муж показывал, я уже вспомнил. Чуть не заснул я тогда...

Нелли. И вот, когда всё было съедено, кофе (тот ещё кофе!) выпит, картинки на стене закончились, а смыться не получалось, потому что метро не ходило, пошли за столом великосветские беседы. Вот тогда-то этот пузан отвратный раскорячился в кресле и заявляет, как сейчас помню: «Да, я умею сделать женщину счастливой. Мне известен секрет рая и в шалаше. Милая, ты ведь счастлива со мной?» Ты, пупсик, от смеха чуть не подавился, ладошкой прикрылся и за меня спрятался. А этой сучке бледнолицей, раскрашенной под Эльвиру, покорительницу тьмы, безумно стыдно стало за мужа-идиота – а что поделаешь? Ресницы опустила, потупилась, на лице имея выражение полнейшей невинности, и выдает: «Конечно же, я счастлива, дорогой, да ты и сам знаешь».

Борис Фомич (*ухмыляется*). И в самом деле прикольно. Вспомнил! А через пару недель...

Нелли (*торопится рассказать первой*). А через месяц встречаю я Зилю на Вознесенской с Митьком, в двух шагах от его холостяцкой берлоги, идут, довольные такие, у Зили глазки сияют (ты понимаешь?), за ручки держатся... Пупсик, опять ты надулся, даже уже и не смешно! Митёк с нами в отделе работал, жил в двух шагах от музея – вот у него наши музейные и

собирались, потому что за выпивку на рабочем месте тогда увольняли без разговоров. Странно как – было время, когда я боялась оказаться без работы.

Борис Фомич (*безразлично*). А любопытно, где они теперь.

Нелли. Где? Зия в Израиль уехала.

Борис Фомич. С кем – с Митьком?

Нелли (*мечтательно*). Митёк? Он был человек лёгкий: волосики пышные такие, джинсики, маечка, улыбка вместо лица... Дунуло посильнее – и исчез навсегда. Не знаю, куда он делся... Нет, твоя Зия уехала с мужем. С тем самым. Он ещё и здорово старше её был.

Борис Фомич (*небрежно, задумавшись уже не о Зиле*). Что можно рассматривать как победу древне-иудейской морали.

Нелли. И вторая причина.

Борис Фомич. Чего?

Нелли. Почему мне не понравился твой комплиман. (*Голосом человека, весьма серьезно воспринимающего собственное неодобрение чего бы то ни было*). Нехорошо, что ты собрался объясняться мне в вечной любви этим своим нынешним обиженным, таким паскудным тоном. Ты же всегда был такой веселенький!

Борис Фомич (*мрачно*). А третья причина?

Нелли. Не морочь мне голову. Я хотела бы посмеяться над тем, как мы всегда говорили, что чужого нам не надо и что готовы довольствоваться малым. Я бы хотела посмеяться – и не могу. И не заметили мы, как заделались жлобами, пупсик ты мой, ныне печальный.

Борис Фомич (*по-прежнему мрачно*). Вот как? А я, мать, повторяю про себя: зять дал, зять взял. Я-то на Сеньку не в обиде.

Нелли (*задорно*). Твой зять – прохиндей!

Борис Фомич (*скучно*). Нет, Сенька – твой зять, потому как Лорочка – твоя дочь.

Нелли. Нет, он твой зять – потому что твой задушевный приятель и собутыльник. А с Лорочкой он развёлся.

Борис Фомич (*скучно*). Нет, это она от него сбежала к другому миллионщику, помоложе – и поприличнее, потому что во втором поколении.

Нелли. Борис!

Борис Фомич (*кратко*). Хорошо, я согласен, что Сенька – это мой любимый зять. Однако прошу не забывать, что бедолага исчез. А ты знаешь, что когда такой человек пропадает, то вполне может объявиться в Голосеевском лесу, упакованным в полиэтиленовый мешок... Или в нескольких этих самых универсамовских пакетах.

Нелли (*почти сочувственно*). Тебе не удастся меня разжалобить, пупсик! Я твоего Сеньку лицезрела в таких скотских видах, что вполне могу себе представить почивающим на загородной свалке, и зубы рядом. Нет уж, этот ханыга исчез не так, чтобы голову в один пакет и под березу, а правую ногу с большей частью задницы – в другой пакет и в кусты... Не пугай меня такими страшилками, потому что одновременно с ним и ваш общий счёт испарился...

Борис Фомич (*монотонно, нехотя, будто повторяет это уже много раз*). ... и мои акции, лежавшие где-то в фирме, исчезли...

Нелли (*точно так же*) ...и служебный «мерс» – вместе с симпатягой шофером Володей – в неизвестном направлении...

Борис Фомич (*точно так же*). ...и моя

непыльная должность члена правления, вместе с окладом, конечно...

Нелли (*точно так же*). ...и из особняка на Печерске, записанного на твоего Сеньку, нас выставили новые хозяева...

Борис Фомич (*точно так же*). ... и оттого пришлось забить нашу двухкомнатную на Володарке испанской мебелью до самого потолка...

Нелли (*точно так же*). ... и довелось нам завывать: «Прощай, любимый город...» – вот ведь хренотень!

Борис Фомич (*точно так же*) ...да и то благодаря моей записке в «Фазенда-банке»...

Нелли (*нехорошо оживляется*). Это какая же ещё твоя записка, пупсик!?

Борис Фомич (*продолжает как ни в чем ни бывало*) ... и чем меня зацепило большее всего – что извещение, где выметайтесь с жилплощади, пришло на бланке ТОО «Эльдорадо». Это же надо – «Эльдорадо»! Устраивают себе Эльдорадо на наши денежки!

Нелли (*чеканит*). Я спрашивала о записке, Борис. Будь любезен ответить.

Борис Фомич (*докторальным тоном*). Ну, мать, я ведь, как деловой человек, не мог не предположить возможности..., что произойдет то, что произошло. И, естественно, завел особый счёт в другом, чужом банке, на котором откладывались мои индивидуальные заработки, гонорары...

Нелли (*подбоченясь*). Это откуда же у тебя, небокопителя, гонорары? На диванчике-то полеживая...

Борис Фомич. Господи, да за консультации же! Кстати, я и Сеньку консультировал.

Нелли. Это когда у тебя в кабинете запирались и

гудели до утра? Когда про баб трепались? Когда жёнам косточки перемывали?

Борис Фомич. А ты никогда не слышала, как Кальман сочинял свои оперетты? Собирались его приятели, и за бутылкой-другой коньячка...

Нелли. Ладно, я поняла. Просто ты перебрасывал деньги с вашего общего с Сенькой счёта.

Борис Фомич. Частично и перебрасывал. Признаю. А ты подумай, как бы иначе я смог презентовать тебе на прошлый день рождения этого коллекционного «жука»? А в этом году, на Международный день 8 марта, на какие шиши я подарил бы тебе этот замок (*показывает подбородком*), когда ты чуть не уписалась от восторга, найдя его описание в «Недвижимости»? Не будь этого счёта, нам пришлось бы свалить мой итальянский кабинет и твою испанскую гостиную прямо во дворе, у мусорного контейнера.

Нелли (*неохотно*). Ну прости, пупсик. Раз в год и ты бываешь прав. (*Решает перевести разговор*). Вот мы болтали, а я одним глазом всё на наш замок поглядывала. Ты знаешь, он такой же, как на проспекте – так что, по крайней мере, фотограф не соврал.

Борис Фомич. Да, неплохо, что он вообще существует. Это как-то греет. Ведь заочно могли и сарай какой-нибудь продать... Нет, в натуре замок: донжон с зубцами сверху и даже подъёмный мост через ров.

Нелли (*озабоченно*). Подъёмный мост, говоришь? А с каких это пор ты в замках петраешь?

Борис Фомич. Ага, подъёмный, как положено. Только он едва ли поднимается, мать. Да и не свалимся мы с него, не бойся. А насчет замков я перед отъездом в Интернет заглянул.

Нелли. А я думала, ты из Интернета только порноролики скачиваешь...

Борис Фомич. Обижаешь, мать. Ну что, поедем принимать владения?

Нелли (*мечтательно*). Ты прав, это приятно, что замок – вон он, стоит под горой. А подъедем, так можно будет древнюю шершавую стену и рукой потрогать. Тогда, наверное, и то правда, что в проспекте напечатано было. (*Закрыв глаза*). «...В нескольких километрах от ущелья, за которым начинались владения графа Дракулы».

Явление 2

Те же и Дракула.

Из кустов у дороги, за спинами путешественников, высовывается Дракула. Осматривается, выясняя, кто называл его имя.

Борис Фомич. Боюсь, что враньё. (*Оглядывается. Дракула прячется*). Настоящий Дракула, не киношный, был молдавским князем. Или румынским? Там как-то сложно...

Нелли. Сложно, пупсик. Был у меня знакомый молдаванин. Отличный мужик...

Борис Фомич. Да?!

Нелли. О Господи! Отличный мужик, говорю, всегда веселый и заводной, а присмотришься, так и пьян немножко. Вот только помыться иногда забывал. Так Иончик говорил, что Молдавия и Румыния одно и то же. (*Дракула снова выглядывает из кустов и прикладывает ладонь к уху*). А потом я ещё с одним молдаванином познакомилась, так тот, Мирчей его звали, напротив, на меня накричал, типа я его оскорбила: молдаване, мол, древняя самостоятельная нация, и Румынии никогда не удастся Молдавию поглотить. Он, впрочем, всегда и на всех обижался. Этот, впрочем,

благоухал «Детским мылом» и из душа практически не вылезал. Станный был типчик, хотя и кандидат наук. Вроде как и гордился тем, что молдаванин, и обижался, что нам эта его гордость до лампочки, и стыдился своей национальности.

Борис Фомич (*мрачно*). У нас, славян, поголовно та же болезнь. Мы все и гордимся родиной, и стыдимся её. И очень бы мне хотелось, чтобы хотя бы то, чем гордимся, было достойно гордости цивилизованного человека.

Нелли (*с уважением*). Ты иногда бываешь такой умный, пупсик. Если бы погонял меня по философии перед тем злосчастным госэкзаменом, я, глядишь, и не завалилась бы. И получила бы диплом.

Борис Фомич. Уж лучше бы ты не хвалила меня, мать. Мне и без того с тобою хорошо, только не огорчала бы ты меня. Зачем ты вспомнила о банных обычаях этих балбесов?

Нелли (*раздраженно*). Ты сам виноват, Бóрис. Уж слишком нежно ты описывал потаскушку Зилю. Неужели ты тоже, как и Митёк, успел с нею перепихнуться? Впрочем, об этом тебя спрашивать бессмысленно.

Борис Фомич (*раздумчиво*). А я вот скажу тебе правду, мать. Как на духу, хоть и не дурак, наверное. Ты права, белокожая... (*вздыхает, кривится, старается пригасить свой лирический пафос*) эта жгучая брюнетка Сильва произвела на меня очень сильное впечатление. Вот только было оно скорее эстетическим, чем эротическим... Вот не знаю, поймешь ли ты меня...

Нелли. Ну, ты даешь, Бóрис! Что такое эстетическое, мне втолковали уже на первом курсе «Академки».

Борис Фомич. Вот этого я и опасался... (*После паузы*). Скажу тогда иначе: мне и в голову не прихо-

дило, что с нею можно, как ты сказала, перепихнуться. Всё едино, что с мраморной Венерой Милоской. (Оживляется). Вот ещё, к примеру. Разве тебя могли бы с этой, эротической стороны привлечь Эльвира, покорительница тьмы, миссис Адамс из «Семейки Адамсов» или Вампира?

Голова Дракулы показывается над кустами.

Нелли. Какая еще Вампира?

Борис Фомич. Была такая теледива в Америке, судилась еще с Эльвирой за кражу сценического образа.

Нелли. И откуда ты о всяком таком узнаешь, пупсик?

Борис Фомич (вздыхнув). В Инет заглядываю.

Нелли. Если как на духу, пупсик, то супруга Адамс просто домашняя черная курица, которая вечно таскает одно и то же платье, да еще и свихнутая вдобавок, а вот Эльвира... Знаешь, я почувствовала его... это, как оно, сексуальное появление, когда она танцевала грудями: сперва одной крутила, потом другой, потом обеими сразу...

Борис Фомич (с энтузиазмом). Понял, понял, откуда твой секс-эпил! Это прямо как по Фрейду, где зависть к... ну, к мужскому отличию, разрешается в тяготении к взаимодополнению с ним. Ты ведь сама не сумела бы так покрутить, твоей-то грудью.

Нелли. Борис! Ты что это себе позволяешь? Разболтался, ты ж понимаешь! Теперь уже грудь моя тебе не нравится! И мы ведь договаривались, что ты больше никогда не будешь упрекать меня за некоторые... девичьи увлечения.

Борис Фомич. Да я всегда был в восторге от твоей груди! Такой и должна была быть девическая

грудь, эти нежные припухлости, вечно юные, как у тебя. Ты погляди, ведь и мода такая установилась, и никто не носит теперь этих подушек из парафина, без подпорок свисающих без малого до пупа.

Нелли (*беззлобно*). Результат длительных полевых изысканий...

Борис Фомич (*с прежним энтузиазмом*). «Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет!» А твоя шея! Боже мой, одна твоя шейка меня на этом свете держала! Твоя лебединая, твоя королевская шейка. (*Голова Дракулы снова появляется над кустами*). Гордая – и такая беззащитная. И эта тончайшая кожа, и это местечко у нежной впадинки... (*У Дракулы вылезают длинные клыки, он тянется в сторону «жука»*). Но это я уже после стал разбираться с твоей обалденной внешностью по отдельности: там шейка, там грудка, там ножки... А вначале, как только я тебя увидел, когда ещё познакомиться боялся, без всяких там отдельностей тебя воспринимал, в целом – как лёгкий солнечный удар или как (*стеснительно*) если сразу выдуть полбутылки шампанского...

Нелли. Вот то же самое мне и пан Зденек говорил. «Ты, – говорил, – шампанська дзевчына, Неллка, во йака!»

Дракула машет рукой с длинными ногтями и скрывается снова.

Борис Фомич (*монотонно, нехотя, будто повторяет это уже много раз*). С меня, пожалуй, хватит. Давай разбираться, мать. Отчего это ты вспомнила о своем поляке?

Нелли (*точно так же*). Ты сам виноват. Назвал меня шампанской дзевчыной.

Борис Фомич (*точно так же*). Хорошо. Я по-

могу тебе: ты вспомнила о двух молдаванах. А почему ты о них вспомнила?

Нелли (*точно так же*). Потому что ты забыл сегодня поменять носки.

Борис Фомич (*точно так же*). Нет, это было вчера, мать. (*Оживляется*). Я вспомнил: мы удивились, что знаменитый граф Дракула вдруг оказался у нас в соседях.

Нелли. Что тут поделаешь, если с географией у меня в школе были контры... (*Деловито*). Как устроимся, надо будет сразу же пригласить графа в гости.

Дракула, обрадовавшись приглашению, начинает подбираться к машине.

Борис Фомич (*неуверенно*). Мать, да ведь он вампир. Если это тот самый граф...

Нелли. У каждого найдутся какие-нибудь недостатки, зато он настоящий аристократ. А нам теперь, как обзавелись замком, необходимо возвращаться в обществе. Аристократы, мне говорили, все выродились, у каждого свой бзык. Об этом графе, по крайней мере, заранее знаем, что он вампир. (*Задумывается*). Значит, так. Набью-ка в свиную кишку кровяночки, как мамашка моя делала, поджарю, а часть крови приберегу для него к столу, налью лично для графа в графинчик. А то пригласишь вслепую какого-нибудь фона-барона – так только на месте и выяснится, что у него за извращение. (*Покровительственно*). И не бойся, я обо всём позаботилась, пупсик. На базаре в Станиславе купила... да где же он? (*показывает*) ...связку чеснока, будем добавлять в фирменную аджику, а ещё лучше, разрешу тебе еще пару дней носков не менять... (*Дракула кривится и возвращается на прежнее место*). Впро-

чем, и ты мог бы в свой газовый револьвер вставить серебряные пули.

Борис Фомич (*невинно*). Куда их тебе вставить, мать?

Нелли (*усмехается*). Как ребенок, право... Думаешь, я поверю, что ты не прихватил с собою свою любимую игрушку? (*Деловито*). Не забыть к ужину графа пригласить – и часов на девять, никак не раньше: таким аристократам дневной свет противопоказан. (*Дракула делает гримасу, крутит у себя пальцем у виска, хватается за голову и скрывается в кустах. Над этим местом поднимается легкий дымок*). Пупсик, ты не хочешь сходить в замок и решить все вопросы? А я пока тут подожду.

Борис Фомич (*иронически*). То есть прогнать прежнего хозяина или нанять его дворецким? Нет, мать, жилплощадь на тебя записана, ты и действуй.

Нелли. Возможно, ты снова прав. (*Вздыхает*). Тогда нефиг больше тянуть. Вперед!

Двигатель рокочет. Из выхлопной трубы вылетают клубы дыма. Справа из-за кулис выходит Рабочий сцены и устанавливает нечто подобное уменьшенному бигборду со цветной фотографией замка.

Явление 3

Те же и Повешенный.

Декорации изображают площадку перед донжоном замка. Справа видна часть башни с низким входом, оформленным в псевдогоthicеском стиле. Над входом на гвозде висит подкова. Слева видна часть подъемного моста. Задник – поросшая лесом типичная карпатская гора.

Два квакающих автомобильных сигнала. Слева на подъемном мосту появляются Борис Фомич и Нелли. Идут осторожно, Нелли цепляется за руку Бориса Фомича. Из-за декорации замка выходит Рабочий

сцены, несет в руках и прислоняет к стене замка рекламный стенд *«Незабываемый отдых у границы мистических владений Дракуль»*, уходит.

Нелли. Нет, ты только посмотри на рекламу!

Дракула, в тёмных очках, выглядывает из-за кулис слева, всматривается, приставив ладонь козырьком, и хватается за голову.

Борис Фомич. Да, ничего не скажешь, отвратный у твоего графа видок... Впрочем, художник, вполне возможно, писал с натуры.

Дракула издали грозит ему пальцем.

Нелли. Ты думаешь? Гм... А пожалуй, мы всё же пригласим графа на ужин. Только посадим в тёмном уголке: и старичку спокойнее, и нам веселее... Пупсик, я тебя о чем-то хотела спросить... Ага. Не думаешь ли ты, что и мой замок – тоже «мистическое владение»?

Борис Фомич. Вот уж нет, мать. За него деньги плочены. И все бумаги с нами.

Рабочий сцены тем же манером приносит и прислоняет к стене, заслонив им предыдущий, стенд с рекламой *«Живопись и графика Эдуарда Волоха. Постоянная экспозиция»*.

Борис Фомич. Вот тебе и выставка, мать. А ты боялась здесь соскучиться.

Нелли. Эдуард Волох... Волох... Где-то я встречала эту фамилию. Неужели известный художник? Неловко будет его выставлять отсюда...

Борис Фомич. В договоре о купле-продаже ты его встречала, вот где. А ты растёшь на ходу: научилась читать бумаги, которые подписываешь!

Нелли. Пусть тогда поскорее убирается к свое-

му Дракуле – авось граф сдаст ему комнату! (*Рабочий сцены устанавливает стенд «Уроки плавания в крепостном рву»*). То есть плавать – в этой грязной канаве?

Борис Фомич. Да уж. В старинных замках в ров спускали фекальные массы. Это чтобы противнику было противнее его переплывать.

Нелли (*кривит носик*). Едва ли здесь именно так устроена канализация. Я краем глаза видела во рву что-то зелёненькое. Лягушки в этих самых твоих массах не стали бы жить, передохли бы.

Борис Фомич (*возвращается на мост, присматривается*). Не, мать, это не лягушки. Там плавают крокодилы. (*Извиняющимся тоном*). Прости, вовсе не хотел тебя напугать. Это зеленые резиновые крокодилы, надувные. Ну, вспомни, их на пляжах всегда продавали...

Нелли (*овладев собою*). Никаких крокодилов я здесь больше не потерплю. Мы устроим бассейн во дворе, как у нас было на Печерске. (*Сдерживает слёзы*). Я чуть не заплакала, пупсик. Только припомнила...

Борис Фомич. Мать, не раскисай! Вот он, твой замок! И что нам теперь тот чужой особняк? Да и Госбанк был слишком близко, а его ребята когда-нибудь обязательно подорвут, чтобы следы замести... Соберись с духом – и постучи в дверь. Вот всё, что от тебя требуется.

Нелли (*собирается с духом*). Я сделаю лучше. Сначала вот так. (*Достает с заднего сидения «жука» связку чеснока, поднимается по трём ступенькам к двери, становится на цыпочки и вешает связку на гвоздь поверх подковы*). «Мой щит на воротах Цареграда» – как сказал тот князь, которому змея в ухо заползла.

«Виси ж и ты, венок победный...»

Борис Фомич. Чьи это стишки, мать?

Нелли (*бормочет*). Всё-то тебе расскажи, всё-то объясни... Как маленький, право. (*Решительно стучит в дверь, потом тянет за ручку, и дверь подается*). Да тут открыто, пупсик.

Нелли заходит внутрь, и после небольшой паузы раздаётся ужасный, душу из слушателя вынимающий визг. Поскольку бесчеловечно требовать от актрисы многократного повторения этого шедевра, лучше записать его один раз для всех спектаклей, выпустив, например, ей под ноги пару серых мышей. Однако гуманнее было бы прикупить готовую запись у специалиста по шумовым эффектам. Нелли выскакивает наружу.

Нелли. Там, там висит... Повесился он! (*Борис Фомич обходит жену, в дверях, не заходя внутрь, присматривается*). Повесился бедняга, не вынес продажи его жилплощади...

Борис Фомич. Ну, висит, мать... Ты, что же, раньше не видела, как люди вешаются? Ну подумаешь, висит труп на бронзовой, оч-ч-чень, кстати, клёвой люстре, покачивается на сквозняке.... Ага, на груди табличка, как у Зои Космодемьянской: «Протестую...» Дальше не разобрать. Не вынес, говоришь? Вот и решение вопроса.

Нелли. Кончай рассуждать, Спиноза недоделанный! Звони «02»!

Борис Фомич (*послушно достаёт мобильник. Длинные гудки. Ждёт*). Алло, это милиция? Мы тут купили дом, ну замок у дороги, вы знаете, наверное... Повешенный на люстре... (*короткие гудки*). Какой-то странный у них автоответчик...

Нелли снова визжит – приоткрыв рот и полу-присев.

Борис Фомич (*изумленно, по-прежнему сосредоточенный на экранчике мобилки*). Вот не думал, что такое можно повторить... Да успокойся, наконец.

Явление 4

Те же и Волох.

Нелли. Оторвись от мобилки, болван, поверни голову! Висельник ожил!

Покойник, с обрывком веревки на шее, тем временем появляется в дверях и даже раскрывает рот.

Волох. ...и на вас лично наезжать не собираюсь. Протестую против подянки...

Нелли } (одновременно). Да сделай с ним что-нибудь!

Борис Фомич (*прижав ладони к ушам*). Заткнись, наконец! (*Замолчали оба. Мнимый покойник с высоты своего роста сверлит Бориса Фомича рассерженным взглядом*). Милиция уже едет. Боюсь, любезный, вам придется с ними объясниться.

Волох (*примирительно*). Это ты не туда попал, мужик. В ментярне или трубку не поднял бы никто, или бы тебя послали. (*Машет рукой, потом смотрит на сверкающие золотом дорогие часы*). Менты сейчас отправились из отделения в пиццерию хавать на шару, оставили только дежурного, а он свой обеденный перерыв тоже соблюдает. Да и зачем ментам сюда ехать? Тут все знают про висельника: рекламная лажа для туристов... Я (*тыкает себя пальцем в выпяченную грудь*) – Волох Эдуард Опанасович, хозяин домостроения. Я

протестую, потому что банк развёл меня на закладной. Я расплачусь, как только придёт перевод из Вены.

Б о р и с Ф о м и ч . Заграница вам поможет? Ну, ну... Вот новая владелица, Нелли Аверкиевна, супруга моя, все претензии к ней. А пока занесите-ка наши вещи. И покажите, где нам сполоснуться с дороги. Вы что, не получили телеграммы?

В о л о х . Ваш номер – «13». Через залу в пристройку, там по лестнице на второй этаж. А то... Хрен с вами, отнесу багаж, вернусь и покажу.

Подбегает к «жуку», пытается открыть несуществующий багажник, отшатывается, склоняется над задним сиденьем, выхватывает кейс Бориса Фомича, зажимает его себе под мышку, берёт в руки по чемодану и исчезает в двери донжона.

Н е л л и . Нет, он совсем ничего. И такой услужливый, проворный...

Б о р и с Ф о м и ч . Не торопись расхваливать, мать, это тебе не новая игрушка. К тому же ты его ещё не купила.

Н е л л и (*загадочно улыбается*). И вовсе не обязательно его покупать... А ты запомнил, как нам пройти?

Б о р и с Ф о м и ч (*отмахивается*). Этот громила вернётся и проводит. Побудем ещё немножко на свежем воздухе. Я всё хотел спросить тебя об одной штуке, мать... Почему ты не сразу завизжала?

Н е л л и (*подозрительно*). Что ты имеешь в виду?

Б о р и с Ф о м и ч (*осторожно*). Ну, ты прошла в эту дверь. Там вон, прямо перед тобой, болтался в петле покойник, а ты подала голос не сразу, только после выдержки... Секунд этак через двадцать.

Н е л л и (*сохраняя хорошее настроение*). Что ж тут непонятного? Я вошла и, конечно же, сразу увидела, что посредине этого круглого зала кто-то стоит. Какой-то,

вижу краем глаза, мужчина в черном, высокий такой. По-твоему, это я, дама и хозяйка как ни как, должна была первой к нему обращаться? Я и сделала вид, что не заметила, и давай разглядывать экспозицию...

Борис Фомич. Какую еще экспозицию, когда там висит покойник?

Нелли. Да картины этого Волоха, про них ещё было на стенде... Он примитивист и типа народный художник. Ещё две бечёвки пустые болтались на сквозняке, покачивались...

Борис Фомич. По твоему тону, мать, понятно, что картины тебе понравились меньше, чем художник. Однако, видно, не полное они дерьмо, если хоть одну удалось продать... И как это я сразу не допер, что муляж? Он ведь тоже раскачивался на сквознячке, повешенный... Настоящий покойник был бы тяжелый.

Нелли. Умный ты у меня, пупсик, но всегда почему-то задним числом. А что там у него на груди?

Борис Фомич. Подойди сама и прочитай... Ладно... (*Скрывается в башне*). Чушь та же самая, протест против продажи. А написано как курица лапой. Тоже мне, художник от слова «худо»...

Нелли. Эх, политехническая твоя душа! Да художники терпеть не могут черчения, их тошнит от вырисовывания шрифтов этих! Видел бы ты их стенгазеты в «Академке»...

Борис Фомич (*появляется в дверях*). Поглядел я на эти так называемые картины, мать. (*Гордо*). И торжественно заявляю: я беру назад свои слова, что это не полное merde. Как раз полное. Картинки стоят столько, сколько дадут за холсты и за грунтовку, а краски и что там ещё – конопляное масло? – не в счёт, потому что безнадежно испорчены.

Нелли. Репин писал на керосине... Послушай, а

тебя не заносит? По мне, пупсик, ты преувеличиваешь. Это же народная живопись.

Б о р и с Ф о м и ч . Народная живопись, народная живопись... Если ты занимаешься народной живописью, так сиди себе на деревне у дедушки и расписывай – чего они там расписывают? – подносы и хомуты, вот. Нет, он хочет малевать, как селюк, а чтобы его в Союз приняли и студию в центре бесплатно дали! Вот ведь пристанище для халтурщиков-пролаз, этот твой Союз художников!

Н е л л и . Сиди себе в хате на деревне? (*Зловеще*). Так это ты на меня намекаешь? Это я селючка-пролаза! Ну и пусть! А ты чем лучше? Сам же хвастался, что твой дед босиком в Киев пришел. Тоже мне, аристократ с Володарки! (*Успокаивается*). А знаешь, Бóрис, я бы сейчас своей мамашки тут не постыдилась. Очень бы мне хотелось, чтобы она лично присутствовала, когда я, её задрипанная Нинка, вхожу хозяйкой в свой собственный замок. Может, я бы ей разрешила и пожить тут недельку-другую. Помогла бы с хозяйством разобраться. Кстати, почему на нас не залаяла собака? На селе без собаки нельзя. А ты злобствуешь, потому что всё записано на меня. Ты это сделал только для того, чтобы Сенька не отобрал, да? Я ведь правильно догадалась?

Б о р и с Ф о м и ч . Ты путаешь Сеньку с советской властью. Много чести, знаешь ли. А я назвал пролазой и деревенщиной совсем не тебя, мать. Я имел в виду того нахального мальчишку, которому ты пыталась протезировать, пока вся эта твоя тусовка мазил не начала над тобой в глаза смеяться...

Н е л л и (*серьёзно*). Мы же договорились, что не будем возвращаться к этой, я готова согласиться с тобой, достаточно неприятной для нас обеих истории. У каждого спонсора бывают проколы...

Борис Фомич (*не может остановиться*). У спонсора? Раньше это называлось совращением малолетних. И напрасно ты пыталась довести до ума его мазню. Господи, ну и жалкое же было зрелище...

Нелли. Борис! Да что с тобой сегодня? Почему ты так настойчиво пытаешься испортить мне эту маленькую радость? Ведь не так много их осталось, радостей в моей жизни... Одно хоть вспомнить: столько дней подряд терпеть тебя рядом – и не через две комнаты, а так, что в любой момент, как только вздумается тебе, можешь ко мне свои грязные руки протянуть! Да еще на трезвую голову всё это терпеть!

Борис Фомич (*слишком патетически, чтобы можно было поверить в его искренность*). Просто я хочу, мать, чтобы все наши недоразумения и напасти отныне и навеки остались за этой вот дверью. Я уже всё сказал. А теперь хочу тебе дать добрый совет.

Нелли. Что ещё? Давай, вываливай: одной гадостью больше, одной меньше...

Борис Фомич. Я не знаю, как оно ещё с твоим землевладением обойдётся, но в любом случае: не стоит приглашать бабу Настю сюда. Не та здесь для неё компания. И попробуй только не пустить её за стол, когда твоего графа Дракулу пригласишь! Тоже ведь любит заложить за воротник, и сразу, как стопку опрокинет – кулаком подопрет голову и давай песню играть...

Нелли. Знаешь, а ведь ты в чем-то прав, пупсик. Пусть лучше моя мамашка остается в своей Свиридовке.

Борис Фомич. Вот и хорошо, мать, вот и ладненько... Куда это, однако, бывший хозяин запропастился?

Пауза. Слышно, как кукует кукушка. Дверь распаивается. Перед попятившимися супругами возникает Волох, вытирает рот внешней стороной ладони.

Волох. Чего встали? Хватайте вещички и дуйте в хату. (*Снова исчезает в дверях*).

Борис Фомич. Ты обратила ли, мать, внимание на этот роскошный жест? На этот характерный жест мужчины, только что тяпнувшего у буфета секретную рюмашку?

Нелли (*вздыхает*). Да уж... Уютненько так.

Обремененные багажом, супруги скрываются в башне.

Слева на подъёмном мосту появляется Дракула с зелёной противогазной сумкой через плечо. На середине моста напяливает противогаз, останавливается у двери, разводит руками и, не снимая противогаза, ретируется.

Явление 5

Нелли, Борис Фомич, Волох.

Декорации представляют собой банкетный зал в основном здании замка. Справа – огромный камин, слева от него входная дверь. Между ними на стене – обрывок настоящего гобелена XVIII века и грубая имитация средневекового гобелена на неаккуратно склеенных бумажных листах. На фоне псевдогобелена – старинный холодильник «Днепр». Посреди зала – раздвижной стол «сороконожка» начала XX века под черное дерево и вокруг него четыре стандартных светлых стула из советской мебели 60-х гг.

Волох сидит лицом к зрителю во главе стола. Нелли и Борис Фомич появляются из двери слева и застывают на пороге.

Волох (*не вставая, радушно*). Ну как, причесались, как девки базлают? А по-простому если – отлили с дороги?

Борис Фомич (*не глядя на него, как бы про себя*). Насчёт этого самого, отлить, интересно получилось... Видал я гостиничные номера и похуже, но чтобы

удобства прямо тут же, в углу, за фанерной коробкой... И вода бежит всё время, журчит и журчит...

Нелли. Как Черный Черемош.

Волох. Журчит? Так это хорошо, что журчит. Вчера так вообще целый день воды не было. И вообще, извиняюсь, конечно, но я бы так сказал: подперло тебе, увидел дырку – втыкай. И всего делов.

Нелли. Ну и разговоры пошли у вас, мужчины, как в пионерском лагере после отбоя. То есть в отряде малышей. Подумаешь, течёт! Вызовем сантехника, он всё и сделает. Меня вот другое заинтересовало. Над этой дверью, с той стороны, увидела я надпись в картуше, выложенную мозаикой.

Волох. В картуше? В каком картуше? Не понял!

Нелли. Понял, не понял – едва ли это так важно...

Волох. Не понял?!

Нелли (*легким, кокетливым тоном*). Зачем красивому мужчине знать, что такое картуш? Я ведь и сама не уверена, правильно ли сказала, что «картуш», а не что «консоль»...

Борис Фомич отодвигает стул для Нелли, она садится, Борис Фомич остается стоять, угрожающе нависая над развалившимся на стуле Волохом.

Нелли. Так вот. Надпись замазывали мелом, однако проступает довольно отчетливо. Pur-ga-to-ri-um. Что бы это значило, Борис?

Борис Фомич (*медленно усаживается*). А кто из нас двоих учил на первом курсе латынь? (*После короткой паузы*). Кухня, наверное...

Нелли. Похоже... Конечно же, кухня. Господи, какой прелестный камин – ведь в нем же можно целого дикого кабана зажарить!

Борис Фомич (*присматривается*). На вертеле?

Волох (*оживился*). В натуре! Только где здесь притыришь дикого кабана?

Нелли. Стало быть, ты можешь ручаться, Эдуард, что по здешним лесам не бегают эти ужасные монстры с клыками?

Волох (*разводит руками*). Кто же станет ручаться? Однако не слышал.

Борис Фомич. А меня заинтересовали номера на дверях – там, в длинном коридоре, с рыцарями. Если не забыл, такие: «1», «3», «7», «12», «13», «6666»... С чего бы это?

Волох. С чего, с чего... Для понта. Пытались ведь тут гостиницу отгрохать.

Борис Фомич (*раздумчиво*). По мне, так с номерами вышло чересчур умно. Знает ли обычный наш русский турист, что знаменует число «6666»? А если вдруг знает, захочет ли за дверью с таким номером поселиться? Сейчас, днём, коридор этот смотрится весьма убого, ничего не скажешь. Эти пыльные летучие мыши на потолке, эти их серые хвостики...

Нелли. Какие еще хвостики? Ты путаешь летучих мышей с полевыми. Это, наверное, концы крыльев у них свисают. Или ушки уже оторвались... И разве они не нарисованы были, пупсик?

Борис Фомич. Там есть и чучела нетопырей, прибитые к потолку. Но я представляю себе, какой драйв наступает, когда эти мышинные хвостики... ну, ладно, мать, пускай ушки... Когда они проскальзывают по твоей плечи ночью, в темноте, или при свечке. Тогда и жестяные рыцарские доспехи на распялках, расставленные вдоль стены, между бойницами, тоже, небось, смотрятся.

Нелли. Тебе это пупсик, не грозит.

Борис Фомич. Что мне не грозит?

Нелли. Что мышинные хвостики будут щекотать твою лысину. (*Смотрит на Волоха*). Там высокие потолки. (*С чувством*). О, как я мечтала когда-то о высоких потолках, Эдик.

Борис Фомич. И ведь нельзя сказать, что сбылась мечта идиота, уважаемый Эдуард Опанасович. Мечта идиота должна быть красочной, масштабной...

Волох. Голая баба. И чтобы обязательно толстая. (*Смеётся*).

Нелли (*после паузы*). Что ж, подождем ночи. Устроим в этот коридор с рыцарями экскурсию при свечах, как в пещеры Киевской лавры. (*Брезгливо*). При свете дня на этих твоих кровососов лучше вообще не смотреть: невозможно удержаться от чиха. Столько пыли! Неужели нельзя почистить пылесосом?

Борис Фомич (*заботливо*). Пылесосом, наверное, нельзя. Пылесос с нетопырей последние остатки шкурки сдерет...

Волох. Да и нету пылесоса!

Нелли. А я, кажется, видела пылесос под винтовой лестницей...

Волох (*решительно*) Сломан давно нахрен!

Нелли. Кажется, Эдуард, вы нас приглашали сюда перекусить...

Волох. Так чего вы ждете? Хавайте – шамовка давно на столе. И вот – от нашего стола вашему столу. (*Достает из холодильника (Нелли морщит носик) трехлитровую бутылку с красной жидкостью, стучит ею об стол*). Экологически чистое местное бухло. Сливянка!

Борис Фомич. Скромно, но со вкусом, да? (*Показывает на тарелку. Критически оглядывает*

вилку и втыкает её в содержимое тарелки. Вилка остается стоять). Однако...

Нелли (*потупив взор, кротко*). Овсянка, сэр.

Волох. Да нет, мадам, это мамалыга. Ихняя каша из кукурузы.

Нелли. Небось, любимая еда графа Дракулы? (*Подпархивает к холодильнику. Открывает дверцу и тут же захлопывает*). Почему оттуда воняет?

Волох (*раздраженно*). Так света же нет.

Нелли (*капризно*). А почему света нет?

Волох (*так же*). Не платят.

Борис Фомич (*вдруг заинтересовавшись*). Кто не платит?

Волох (*с неожиданной злобой*). Да давно уже никто никому не платит! Вы чего, с луны свалились? И телефон нахрен отключен.

Нелли. Борис! Прекрати! Бери машину и езжай до первого приличного супермаркета. Консервов набери, ну ещё – как это Эдуард красиво выразился? – ага, бухла нормального. Эдуард, тут в какую сторону ближайший?

Волох тяжело задумывается.

Явление 6

Те же и Надя.

Впархивает слева. Желательно осветить Надю таким образом, чтобы на мужчин в зале произвела столь же оглушающее воздействие, как на сцене – на Бориса Фомича.

Надя (*звонким голосом старшеклассницы-отличницы*). Ближайший в десяти километрах вправо, но я не уверена, что ту лавчонку можно назвать супермаркетом, Ох, вы извините, что вмешиваюсь в разговор...

В о л о х (*скучным голосом*). А ты кто такая?

Н а д я (*радостно*). Вы ведь заведующий? Эдуард Опанасович? Да? А я по распределению к вам. (*Роемся в сумочке*). По распределению на работу из Международного института культуры имени Джорджа Сореса. Вот (*разворачивает и показывает всем издали вчетверо сложенную бумажку*). Экскурсоводом. Меня Надей зовут. У вас тут, мне сказали, прямо в музее и общежитие предоставляется?

В о л о х (*всё так же скучно*). Это не ко мне. Хозяева – они...

Н е л л и . Бóрис, закрой рот! Пока муха не залетела...

Б о р и с Ф о м и ч (*поднявшись на ноги и отвесив полупоклон*). Борис Фомич Прохоров, человек неизвестный. А это супружница моя Нелли Аверкиевна, владелица... э-э-э... жилплощади.

Н е л л и . Не смей называть меня Аверкиевной! (*Свысока*). А вам, девушка Таня, разве не сказали, что здесь уже давно нет общежития? Тут теперь частная лавочка.

Н а д я . Надя я... Простите, а разве в частном музее экскурсоводы не нужны?

Б о р и с Ф о м и ч (*ехидно*). Девушка, вы вот общежитием интересуетесь и на должность экскурсовода рассчитываете, а сумочка у вас точно такая, как я своей жене подарил на последнюю годовщину бракосочетания – за сто девяносто девять баксов!

Н е л л и . Это я тебе сказала, будто сто девяносто девять. Нервы твои, пупсик, желала поберечь... А блузон какой! Впрочем, ты никогда ничего не понимал в кофточках.

Надя. Да что вы такое говорите? Сто девяносто девять баксов... (*Хлопает ресницами*). Это же огромные деньги!

Нелли (*вкрадчиво*). Таня, а как вы сюда, на кухню, попали?

Надя. Типа? Да Надя я.

Нелли. Вы, Наденька, не поднимались ли сначала по лестнице, в «13-й» номер?

Борис Фомич. И мой кейс кто-то открывал. Во всяком случае, контрольный волосок – тю-тю!

Волох. Не нравится – сам таскай свой багаж, ты, зануда! Тоже мне, шестерку себе нашел! Я извиняюсь, мадам.

Надя. Это всё совершенно абсурдные подозрения, господа! Я сейчас же всё объясню. Сумку я купила на дешевой распродаже, а для этого мне пришлось целый месяц отказываться от пончика на завтрак. Вот и всё.

Нелли (*недоверчиво*). А блузон от Гуччи – на сэкондхенде из мешка вытащила?

Надя. А блузон на сэкондхенде. Только не из мешка, а с вешалки в палатке. Так что – берете вы меня экскурсоводом в свой частный музей?

Нелли. Упаси боже! Что нам сейчас нужно, так это разве что помощница по хозяйству... Борис, отправляйся.

Волох (*наливает из бутылки в граненые стаканы*). Сперва на дорожку. И за знакомство. Присаживайтесь, девушка.

Нелли (*хватает свой стакан и залпом выпивает*). Вишневая наливка... Тоже ничего.

Борис Фомич (*трагическим шепотом*). Нелли, это что же ты сейчас над собою сотворила?

Нелли (*потупилась*). Ну, чирикнула. Извини, я хотела причаститься, когда ты уже поедешь, но так получилось...

Борис Фомич (*по-прежнему*). У тебя же ампула подшита, мать. Ты тихо загнешься, как Олег Даль в гостеприимном Киеве.

Нелли (*задорно*). Это раньше у меня была подшита ампула. Ты снова сам всё перепутал, пупсик. Я её уже выковыряла, твою ампулу. Маникюрными ножницами.

Волох (*чокается с её пустым стаканом, пьёт*). Ну, подруга, сильна. Вот когда я тебя зауважал.

Борис Фомич (*стучит кулаком по столу*). Не смей мне тут фамильярничать! (*По-прежнему*). Мать, ведь это всё равно очень опасно! Вспомни, о чем предупреждал Николай Ардалионович!

Волох (*повеселев, тихо*). За базар ответишь.

Нелли (*уже поплыла*). Ты и не заметил, что жена у себя в стройном своем животе ковырялась. Ты мною уже не интересуешься, пупсик. Ну и...

Надя усмехается втихомолку. Волох наливает Нелли и себе.

Волох. Между первой и второй перерывчик небольшой. Ну, чтобы наши враги сдохли!

Борис Фомич (*пригубил, кривится*). Сладкая... Отвечает, впрочем, твоим прежним вкусам, мать, пока я не приучил тебя постепенно к настоящим напиткам... (*Моноotonно, как если бы наедине с женой*). Я вспоминал недавно, как мы с тобой бросали курить. Знаешь, вспоминал с такой нежностью... Какое это было чудесное время, Нелли! Я не люблю говорить красиво, ты же знаешь... А сейчас скажу. Та совместная компания «Курению – бой!» оживила и вновь наполнила страстями

нашу семейную жизнь. Мы соревновались в твёрдости решения, мы геройствовали – и испытывали падения, тайком друг от друга покуривая, когда уж совсем становилось неважно. Старались не ударить друг перед другом лицом в грязь, заботились друг о друге... Это был наш второй медовый месяц, мать!

Нелли (*пьяным голосом*). Вот уж чего не заметила... Нет, я уважаю твои чувства, но... Если нам не спалось, это ещё не означает, что мы тогда снова безумно набрасывались друг на друга.

Борис Фомич (*обиженно*). Ты всё забыла, мать!

Волох. А я знаю хороший способ отучить человека от курения. Очень надёжный. В натуре!

Надя. Какой?

Волох. Да замочить курца – и всего делов. (*Первым смеётся*).

Борис Фомич (*опять монотонно, будто ничего не слышал*). И совсем другое дело – эта наша ужасная борьба за твою трезвость...

Волох. Эй, мадам! Хозяйка, ау!

Нелли (*вскидывается, неуверенно улыбается*). Что, Эдуард? Я вовсе не сплю. Ну, разве совсем чуточку, устала с дороги...

Волох. Мадам, я могу показать девушке Наде её комнату? Если вы, конечно, не желаете её прямо сейчас выставить на улицу?

Нелли. В «ббб» запроторь её, миленький. Или в «бббб»? А потом пусть спустится, съездит закупиться с Борисом Фомичом.

Надя и Волох уходят.

Явление 7

Нелли и Борис Фомич.

Борис Фомич (*не обращая внимания на их уход, по-прежнему монотонно*). В твоих глазах я тебя не от края пропасти оттаскивал, а только надоедливо мешал тебе предаваться безвредной и милой привычке. Сколько раз, когда ты надиралась до положения риз, мне хотелось принести видеокамеру и снять, чтобы утром ты сама себя увидела. Однако я так и не сделал этого, и знаешь почему?

Нелли. М-м-мы...

Борис Фомич. Я боялся, что увиденное тебя слишком травмирует. Я ведь помнил, как в молодые годы сам попал на пленку в катастрофически пьяном виде. Потом мне показали. О, какой это был стыд! Как понял я тогда древних римлян!

Нелли (*неожиданно трезвым голосом*). Римлян? Это не мне, а тебе нельзя пить, пупсик, – ты уже заговариваешься...

Борис Фомич. Римляне поили до отвала неразбавленным вином какого-нибудь из рабов, чтобы показать результат сыновьям!

Нелли (*рассудительно*). Сдается мне, дочерям тоже было бы не хило показать. Мне кажется, древние римляне не очень-то заботились о развлечениях своих дочерей... А почему нам здесь больше не наливают?

Борис Фомич (*не слушая, решительно*). А я соврал. Мне не показали ту пленку, это вовсе не мне, а тогдашней моей девушке её показали.

Нелли. О!

Борис Фомич. Это было на Новый год, ещё при Горбачеве, но до нашего с тобой знакомства. Я

совершенно забыл, как её звали, эту мою подругу... (Льстиво). Твое появление, мать, выбило у меня из головы всех знакомых девушек. Назовем её, допустим, Талой.

Нелли. Опять ты заводишь шарманку про какой-то Новый год...

Борис Фомич. И правда... Может быть потому, что мы с тобою надеемся начать тут новую жизнь? Так вот, Тала работала в чертёжном бюро большого завода «Коммунист» (или имени какого-то деятеля, сейчас уже не вспомню), теперь, понятно, обанкротившегося. И профком, или там комитет комсомола завода откупил на Новый год городской Театр кукол, а он тогда был в здании синагоги на Бассейной, в этакой бонбоньерке, и мало кто уже помнил, что там когда-то была синагога. А теперь многие забыли, что в синагоге когда-то был Театр кукол...

Нелли. Так ты волочился за евреечкой? А я всегда считала тебя антисемитом, Борис...

Борис Фомич. С чего это ты взяла?

Нелли. А был у меня один знакомый, Абрам Израилевич. Он объяснил, что порядочные люди, не антисемиты, про евреев вообще молчат, будто и нет их совсем...

Борис Фомич (горько). Вот как? Впрочем, оставим это. И Тала пригласила меня. При этом она сказала, что хотя официально выпивка строжайше запрещена, но профсоюзное начальство (или комсомольское, уж не помню) осторожно, под рукой, пустило слух, что спиртное можно тихонько принести с собой и тихо, где-нибудь в укромном уголке, распить... Иначе, конечно, никто бы и не пошел на это культурное мероприятие. Новый год всё-таки! Я и принес с собою в сумке. Там была, ко-

нечно, культурная программа. Показывали, помнится, «Сотворение мира»... Эй, не засыпай!

Нелли. А ты, пупсик, налей мне – я и приобдрюсь!

Борис Фомич. Ещё чего захотела... (Нелли быстро хватая бутылку и, разливая по столу, наполняет свой стакан до половины. Пьет). До отвращения знакомая картина... В конце же спектакля, сотворивши мир, Бог-Творец, обмундированный по новогоднему случаю, как Дед Мороз, поздравил всех гостей театра с Новым годом...

Нелли (размахивая пустым стаканом). Хэппи нью йи! Хэппи нью йи!

Борис Фомич...и пожелал трудовых успехов на производстве. (После паузы). Знаешь, родная, когда ты сейчас размахивала стаканчиком, ты мне напомнила одно из первых моих театральных впечатлений. Мама моя покойная...

Нелли (возводит глаза к небу). О Господи! (В сторону). Не к ночи будь помянута.

Борис Фомич (удивлённо). Можно подумать, что она, человек деликатнейший, действительно чем-то тебя обидела... Так вот, мама моя пребывала в убеждении, что культурный человек обязан посещать театры, а потому как-то вечером оттащила меня, мальчика, от телевизора и доставила, хорошо бы в цирк, так нет – в Театр оперетты на «Фиалку Монмантра». И я, привыкший, как теперь понимаю, к сомнительному жизнеподобию тогдашней кинопродукции, на всю жизнь запомнил, как молодые люди, изображающие парижских студентов и гризеток, выстроились в одну шеренгу лицом к зрителям и, помахивая – вот как ты только что стаканом, – деревянными сосисками и картонными

этими их булочками, запели о том, что они здорово веселятся.

Нелли (*кокетливо*). И кого я тебе сейчас напомнила – хрустящую и мягкую булочку или, не дай бог, сосиску?

Борис Фомич. Движением этим напомнила, этим движением... И знаешь, те молодые лица, что смотрели в зал (в самом деле, молодые, студенты театрального, видать!), были так пусты и бессмысленны, в то время как твое милое лицо... Я не знаю, как сказать... (*Нелли вдруг роняет голову на стол. Борис Фомич подходит к ней, прислушивается (похрапывание усиливается, его слышат теперь и зрители), морщится, машет рукой, выходит на авансцену. Держа руки в карманах и уставившись в зрительный зал, говорит как бы для себя*). На твоём милом лице написаны все сделанные тобой глупости, но не отпечаталось и не могло отпечататься то, чего ты, моя легкомысленная дурочка, никогда не делала: ведь ты никого не заложила, не предала, не подставила, никогда себя не продавала... А вот за прелестную Надю я бы не стал ручаться. Чего уж там (*воровато оглядывается на спящую жену*), у меня в зобу дыханье сперло при виде её ангелоподобного явления. Однако вскоре в сиянии, испускаемым юным созданием, не то чтобы темные пятна проступили, но стало ясно, что не такое уж оно и юное... . Около тридцати, да... Нет, это в определённом смысле тоже юность, но... И эта сухая определенность тонких черт лица. Да, как человек честный, я готов согласиться с тем, что мое наблюдение спровоцировано горьким чувством, с некоторых пор вызываемым во мне умопомрачительными блондинками. А напомнила мне Надя в то мгновение непьющую, себе на уме колл-гёрл, приехавшую на дом по вызову... Неужто слово найдено?

Нелли (*поднимает голову, трезвым голосом*). И часто тебе, Борис, приходилось общаться с этими самыми колл-гёрлс?

Борис Фомич. Что ж, я, по-твоему, кино не смотрю, что ли? И куда бы я их, человек семейный, их это самое... to call?

Нелли. Я тут прикорнула с устатку. Ты о чём-то рассказывал и остановился... Вот. На том, что Дед Мороз спел тебе и твоей девке «Хэппи нью йи»...

Борис Фомич (*восстановив душевное равновесие*). Ага. После чего на сцене перед занавесом поставили стол, накрытый красным, чтобы провести торжественное заседание, однако народ из зала быстренько рассосался – все разбрелось по закуткам, торопясь вмазать втихую. Я же сделал первую ошибку: сервировал свой бутылёк шампанского и молдавский коньячок с незатейливой традиционной закусью...

Нелли (*саркастически*). Как же, как же, помню. Два плавленых сырка. Один – для дамы.

Борис Фомич. Приятно мне, что ты не забыла эти милые мелочи. Да... Выставил угощение на крышке концертного рояля в малом зале и, встретив с Талой Новый год, продолжил выпивать, приглашая к роялю всех проходивших через зал. Народ воспринимал это совершенно нормально, но вскоре к нам подвалил какой-то тип в черном костюме, уже красномордый. Отказавшись выпить, он принялся впаривать, что я веду себя совершенно недопустимо. Этот вурдалак спросил у Талы, откуда она выкопала такого кавалера, а Тала, хихикая, пояснила, что я свой парень, слесарь-сборщик с «Большевика». Оказалось, что я роняю честь рабочего класса.

Нелли (*хихикнув*). Вот когда ты оторвался по полной, пупсик!

Б о р и с Ф о м и ч . Да нет, скорее обиделся. Потом мы с Талой добавили и пошли танцевать в зрительный зал, откуда уже были вынесены стулья. Тут снова начали меня доставать красномордые и чернокостюмные, а теперь у них были ещё и черно-красные повязки на рукавах...

Н е л л и (*открывает широко глаза*). Черно-красные? А ты не перепутал, пупсик?

Б о р и с Ф о м и ч . Тьфу ты, черт! Конечно же, красные повязки! Они орали, что я танцую разнузданно и вызывающе, и чтобы я прекратил оскорблять своим поведением публику. А я тогда любил поплясать... Случилась небольшая драчка, я убежал, спрятался, помнится, в каких-то занафталиненных пыльных тряпках – и очнулся под новогодним темным небом на улице. Слава богу, это был центр, такси поймать не составляло проблемы, а у меня в левом верхнем кармашке пиджака всегда лежала заветная троячка, на которую тогда ещё можно было доехать домой, на Володарку, с любой окраины.

Н е л л и . А эта твоя Тала?

Б о р и с Ф о м и ч . Тала?... Тала осталась в Театре кукол, не захотела слишком уж отрываться от коллектива. После праздников ей тогда крепко досталась по комсомольской линии. Она плакала, но меня не выдала. Говорила, что познакомилась на улице и что даже не знает моей фамилии.

Н е л л и . А что с тобой хотели сделать?

Б о р и с Ф о м и ч . Хотели написать телегу мне на работу. А как бы наша руководящая тройка поступила со мной, прогнозированию не поддавалось. Был бы я ценным работником, сунули ли бы выговор, да и все дела. А я кто был? Один из младших научных сотрудников без степени в НИИ свекловодства и самогоноварения...

Нелли. Самогоноварения? Был и такой институт?

Борис Фомич. Сахароварения, конечно. Это мы между собою, в порядке юмора. А я в родном НИИ блистал разве что на междусобойчиках или, как теперь говорят, на корпоративных вечеринках.

Нелли. Верная была девушка, эта твоя Тала. Надёжная подруга. Почему же ты, пупсик, не женился на ней?

Борис Фомич. Верная, ты сказала? Однако у неё были и другие поклонники. И смешно было бы думать, что каждая девушка, с которой я встречался, так уж обязательно хотела выскочить за меня замуж. К тому же Тала жила на такой рабочей Варваровке, что я каждый раз, провожая её, серьёзно опасался, что мне начистят морду – имеется там соответствующий народный обычай. Туда по вечерам и таксисты боялись ездить.

Нелли. Ты всегда был опасным, коварным субъектом, Борис. И, готова поспорить, опять соврал.

Борис Фомич (*искренне удивленный*). Соврал? Зачем?

Нелли. А ты врешь не зачем, а просто так, пупсик. Ты соврал, что тебя на этой новогодней вечеринке снимали на видео. Тогда видео, по-моему, ещё не...

Борис Фомич. Ну, не на видео, так на любительскую кинокамеру, а снимали. И если не в Театре кукол на Новый год, так на дискотеке в Доме офицеров. Там тоже забавная история случилась. Рассказать тебе?

Нелли. Уж лучше не надо. Терпеть не могу, когда ты меня воспитываешь, да ещё на примерах из собственной жизни.

Борис Фомич. Разве это имеет значение – где? В любом случае, где-нибудь она да валяется, если ещё не растворилась в самородной химии свалки, эта пыльная плёнка, на которой я остался красивым, двадцатипятилетним. Парнем, у которого впереди был не диванчик в нашем особнячке на Печерске, а что-то получше, мать...

Нелли (*задумчиво*). Тебе не кажется, Бóрис, что Эдуард и эта шлюшка (здесь ты попал в точку) слишком уж надолго задерживаются наверху, в номерах?

Борис Фомич (*пожав плечами*). И ещё. Я не хотел тебя снимать на видео в таком состоянии, потому что видео останавливает время, совершенно противостоит, сохраняя на довольно продолжительный срок (не скажу, что навечно) нас такими, какими мы были или какими хотели казаться в определенный момент конкретной, бысторотекущей нашей жизни. Не снимаясь на видео или там не фотографируясь, мы живём как бы начерно, непритязательно, словно в домашнем халате и в тапочках.

Нелли. Где-то я такое уже слышала...

Борис Фомич. Да? Ты уверена? Где?

Нелли. Кажется по ящику, на кухне... Налей мне, пупсик, не куксись – самой как-то неловко.

Борис Фомич. А мне казалось, я сам придумал... Наконец-то сам придумал нечто новенькое. Ладно. А заметила ли ты, что в последние годы мы стали реже фотографироваться – и не тянет?

Нелли. И в самом деле... Но зачем это – фотографироваться? Лично мне мои фотографии последних лет, если кто-нибудь случайно щёлкнет мыльницей в толпе на тусовке, активно не нравятся. Они мне портят настроение, вот что я тебе скажу, пупсик. И на видео мы снимали только пейзажи, если

не забывали камеру дома... А насчет заботы о фотках собственной персоны – в этом есть что-то жлобское, ты не находишь? Это когда на день рождения обязательно идут в фотоателье. И так каждый год. Представляешь?

Борис Фомич. Увы, представляю. Вот, например, идёт человеку семидесятый год, а у него в бархатном альбоме шестьдесят девять фотографий. И, рассматривая их по порядку...

Нелли. Можно и фильмец смонтировать!

Борис Фомич. ...рассматривая снимки по порядку, от начала до конца, он наблюдает, как сперва взрослеет год от года, а потом...

Нелли (*машет рукой*). Эх! Жизнь наша жестянка! Наливай, не томи душу!

Явление 8

Те же и Волох, затем Дракула.

Волох заходит вразвалочку, по-хозяйски. Доливает стакан Бориса Фомича, наливает доверху Нелли и себе.

Волох. Что-то вы тут без меня заскучали, мадам. И почему это муж за вами не поухаживал?

Нелли. Эдуардик, мы тут немного поспорили. А как ты относишься к обычаю фотографироваться каждый год на день рождения?

Волох (*убежденно*). По мне, так не хилый обычай, мадам. По крайней мере, будет чего отдать художнику для памятника на кладбище. А то подстрелят пацана, а от него только что и остается, так это общая фотка за столом, где он лыка уже не вяжет, губы отвисли, да еще и язык, бедолага, высунул. (*Показывает*). Не в морге же у ментов его щелкать?

Б о р и с Ф о м и ч (*ухмыляясь*). Эдуард, тут Нелли Аверкиевна беспокоилась, что вы слишком долго возитесь с Надей там, в номерах...

В о л о х (*ухмыляясь зеркально*). Да чего там, Бóрис. Я поместил Надю в том номере, где на дверях одни шестерки. Как вы и сказали, мадам. Потом надо было выдать ей постельное бельё, пока не стемнело совсем, а тогда уже, при свече, чистые простыни от грязных не отличить. Надя зайвится сюда, как только сполоснется с дороги и переменит тряпки.

Б о р и с Ф о м и ч . Эдуард Афанасьевич, я предпочел бы, чтобы вы называли меня Борисом Фомичем.

В о л о х (*добродушно*). Ишь ты, какой цирлих-манирлих! Ещё мы с ней побазлали насчет торжества сегодня вечером, типа отпраздновать ваш приезд.

Б о р и с Ф о м и ч . Вы что – хотите отпраздновать наш приезд? Однако...

Н е л л и . Борис, как тебе не стыдно! Эдуард – порядочный, справедливый человек.

В о л о х . А мне уже пофиг, мадам. Я, блин, успокоился.

Б о р и с Ф о м и ч . Боюсь, что снова рассержу милейшего нашего Эдуарда, но я вспомнил, о чем перед самым нашим отъездом вычитал в Интернете. Вы представляете, Румыния отдает замок Дракулы, тот, настоящий, последним владельцам, Габсбургам.

Д р а к у л а (*выглядывает вниз головой из каменной трубы*). О-хо-хо-охо-хонюшки!!!

Н е л л и (*отмахивается от облака золы*). Что это было?

В о л о х . Кусок сажи из трубы в камин шлепнулся. Никто ж ничего давно не чистит.

Борис Фомич. Представляете, румыны сначала сделали ремонт прославленного замка за государственный счёт, а потом отдают, так, за здорово живешь, чужому дяде.

Волох (*заинтересован, убежденно*). Желают прогнуться перед австрияками.

Борис Фомич (*смущённо*). Прошу меня простить, но я тогда заинтересовался этим вопросом и тотчас же навел справку по электронной энциклопедии. Габсбурги были изгнаны из Австрии в 1919 году и лишены гражданства. Румыны хотят угодить Европейскому Союзу, вот что.

Нелли (*она уже опять плывет*). Пупсик, а где твой пикейный жилет? И если ты боишься, что наш замок тоже отдадут довоенному владельцу, какому-нибудь, извини за выражение, Габ... Гам... Гамбургеру, так не делай ремонт – и спи спокойно!

Волох. ...дорогой товарищ. (*Пауза*). Я говорю: спи спокойно, дорогой товарищ. (*Хохочет первым*).

Явление 8

Те же и Надя.

Надя эффектно возникает у стола и застывает в претенциозном па – как на конкурсе бальных танцев в конце какого-нибудь латиноамериканского. На ней черное платье до пят с раструбом книзу, черный парик и грим под Вампиру или миссис Адамс.

Надя (*скромно*). Вот решила сразу переодеться к ужину, чтобы вечером не терять времени. Да и при свечке темно будет краситься – мадам меня поймет. Я готова, Борис Фомич. И лучше бы теперь не тянуть, а то лавочка закроется – ищи тогда продавщицу по всему селу.

Б о р и с Ф о м и ч . Что? Да, конечно, я сейчас же... Только вот Нелли Аверкиевну доставлю наверх, пусть пока отдохнет...

Н е л л и *(быстро опрокидывает стакан, стремится удержать выпитое в себе и одерживает победу)*. Ужин? Никаких пошлых ужинов... Я требую продолжения банкета! Бал-маскарад при свечах! Бал вампиров? Отлично! Только вот графа Дракулу не забудьте пригласить.

Из камина взвивается новый клуб золы. Раздается хохот. Вылетает летучая мышь.

Н а д я . Кыш! Кыш!

Летучая мышь ныряет снова в камин. Б о р и с Ф о м и ч подхватывает Н е л л и на плечо и утаскивает. Н е л л и поднимает руки и растопыривает на них пальцы.

Н е л л и . Свечей! Свечей! Свечей!

Н а д я и В о л о х наедине. Некоторое время остаются неподвижны и молчат.

В о л о х *(вздыхнув, раздумчиво)*. Ну хоть ты скажи мне теперь: отчего эта баба так меня достаёт?

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Покидая Замок

Явление 1

Борис Фомич и Надя

Декорация начала первого действия, только на заднем плане – другой пейзаж. Горы расступаются справа, и открывается горное озеро – серо-жемчужная полоса с туманным над нею пространством. Ночь. Дверцы «жука» открыты, на задней висит гротескный черный парик, сиденья откинута. Ноги Бориса Фомича и Нади высовываются рядком наружу.

Надя (*вздыхнув*). Благодарю вас.

Борис Фомич (*задыхается*). У меня нет слов, чтобы соответствовать... твоей изысканности.

Надя (*манерно закуривая, говорит томно*). Вот никогда не думала, что вы у нас такой богатырь, Борис Фомич. Накинулись на бедную девушку, будто маньяк. Нет, вас в порно нужно снимать, ей-богу.

Борис Фомич (*ворчливо*). Тоже мне нашла маньяка. И кто на кого накинулся – в этом тоже ещё разберёмся. Только зачем, девушка Надя, ты так поторопилась? Думаешь, у меня теперь часто бывают такие приключения? Я ведь, как-никак семьянин с многолетним сроком...

Надя (*по-прежнему томно*). Мне дела нет, я не ревнивая, мой господин.

Борис Фомич (*сбавив тон, помягче*). А уж если повезло человечку, то зачем торопиться, словно, дьявол его задерит, на пожар? Мне так хотелось растянуть удовольствие... И почему ты не сразу согласилась снять парик – знаешь ведь, небось, что джентльмены предпочитают блондинок? И уж позволь мне остаться при своем мнении насчет того, кто на кого накинулся...

Надя (*по-прежнему*). Конечно же, вы на меня. Ущипнули за попку, подав тем самым знак, что здесь и сейчас и немедленно желаете осуществить свои феодалские права. И я, испытывая к вам, Борис Фомич, внезапную сердечную склонность...

Борис Фомич. ...зверски лягнула меня по коленной чашечке. До сих пор колено ноет!

Надя (*по-прежнему*). ...отдала вам всё самое дорогое, что только есть у девушки. (*Оживляется*). А вам разве нравится, Борис Фомич, когда вас за попку щипают?

Борис Фомич. И задница у тебя стальная, чуть пальцы не сломал. Кунфу, что ли занимаешься?

Надя. Вот вы о чем! Ну, сгруппировала мышцы, рефлекторно. И не всегда же она у меня стальная, могли бы уже, кажется, и сами убедиться. (*Заговорщицки*). Можете, впрочем, и сейчас – только, чур, не щипаться!

Короткая возня внутри салона.

Борис Фомич (*кратко*). Да, я убедился, спасибо. И мне приятно, что ты придерживаешься моды времён моей молодости, когда дамы предпочитали обходиться без нижнего белья. И я просил бы до конца переговоров не застегивать эту замечательную молнию на твоём платье... Ты ведь хотела со мной переговорить – в этом всё дело?

Надя (*выскакивает наружу, застегивая молнию. Кричит*). А то нет? А то зачем бы я стала перепихиваться со старым вонючим козлом? С полумипотентом? С полным идиотом, который, не врубившись в ситуацию, видите ли, ещё хотел бы растянуть, блин, удовольствие! (*Томно*). Теперь вы мною довольны, мой повелитель?

Борис Фомич. Ты будешь смеяться, но я доволен. Поэт сказал, что ему дороже «нас возвышающий обман», а я всегда предпочитал «низкие истины».

Надя. Чего?

Борис Фомич. Короче, девушка Надя, мне правда дороже. И не думай, что я мазохист какой-нибудь. Да и доминирования над собой мне по горло хватает в семейной жизни... Ты не хочешь ли вернуться на сиденья и снова расстегнуть молнию?

Надя. Время поджигает. Нам давно пора возвращаться.

Борис Фомич (*зажигает на несколько секунд в салоне свет*). Ого! И в самом деле, мы завозились с этими покупками, Надя.

Борис Фомич выбирается из машины и, отвернувшись от дамы, приводит свою одежду в порядок.

Надя. А я вовсе и не Надя. (*Увидев, что Борис Фомич поднес палец к губам*). Думаете, микрофон прилепили? А знаете, сколько самый простенький «жучок» стоит?

Борис Фомич. Знаю, представь себе.

Надя. Через эти горы к замку никакой хренов «жучок» не пробьёт.

Борис Фомич. Надя! (*Повторяет с нажимом*). Надя! Почему я должен тебе доверять?

Надя щелкает замком сумочки и сует Борису Фомичу бумажку.

Борис Фомич (*шепчет*). «130429...». Сегодня 18 августа, «31 – 18» и «12 – 8», потом «5000 – 200...» Всё правильно. Только ты уж оставайся для меня Надей, ладно? Меньше знаешь – крепче спишь... (Борис Фомич засовывает бумажку в прикуриватель, а пепел растирает подошвой по земле. Поворачивается к Наде). Жив, значит, милый друг Сенька. А я уж беспокоился. Или всё-таки...?

Надя. Живой, что ему сделается... А вот дела неважно обстоят, Борис Фомич.

Борис Фомич. У кого дела хреновые? У Сеньки?

Надя. У вас, Борис Фомич, у вас лично.

Борис Фомич (*ворчливо*). Тоже мне новость. Линять отсюда надо. «Эдик» твой так называемый – подставной...

Надя (*хлопает наклеенными ресницами*). А как вы догадались?

Борис Фомич. И не такой лопух, как я, догадался бы! Картину не пытается продать, говорит без местного акцента, буквы писать разучился... Где что лежит, не помнит... Усы отклеиваются!

Надя (*изумлена*). Не может быть...

Борис Фомич. Да? Значит, показалось... А ты когда узнала? Почему промолчала?

Надя. Облажалась, признаю. Я-то фотку Волоха видела, но вы же знаете эти фотки! Тот черный, и этот черный, усы у обоих... Да он и промолчал, не понять было, выдаёт ли себя за художника... Это до того, как мы с ним пошли меня поселять. А потом просекла, а предупредить не могла.

Борис Фомич. А убедилась-то как?

Надя. Автопортрет у меня под кроватью лежит. «Жучок» искала, а нашла холст в раме. И даже с медной табличкой «Э. Волох. Автопортрет. 1998».

Кстати, в этом самом черном банте. А как вы думаете, где сейчас художник?

Борис Фомич. Настоящий Волох Эдуард Афанасьевич? Во рву, вполне возможно.

Надя. Это где «Заплыв в крепостном рву наперегонки с крокодилами»?

Борис Фомич. Да хоть бы и во рву львином! Главное, что художник не в команде этого «Эдика», иначе тому не пришлось бы выдавать себя за него. И важно вот что: уж очень грубо мужик работает – значит, долго не намерен ломать комедию. Да и не может: любой местный, случайно заявившись... А мы исчезнем. Утром нахожу участкового, подмазываю, чтобы вернуться с ним. Тебе какая задача-то поставлена?

Надя. Прикрыть вас до вашей встречи с Семёном Павловичем.

Борис Фомич. Хм... И шмалять не забоишься?

Надя. Если сумею рукой или ногой дотянуться, и так справлюсь, Борис Фомич. Тем более, если расчёской разживусь... А у вас при себе есть ствол?

Борис Фомич. Держи (*достаёт из кармана и отдаёт расческу*).

Надя. А у вас? Я спрашивала – ствол имеется?

Борис Фомич (*неохотно*). Газовик.

Надя (*убежденно*). Дрянь игрушка. Вот вы в расстроенных чувствах свой газовый обнажите, а парень примет за настоящий ствол – и пальнет. Выкиньте лучше.

Борис Фомич. Еще чего – в милиции зарегистрирован! Теперь о деле. Мы сейчас подъедем и заберем мою супругу.

Надя. Да чего ей станется! Ухажер-то рядом.

Борис Фомич. Нихрена себе шуточка! Он же не знает, что Нелли в моих делах ни бум-бум. Пропадет

моя спящая красавица ни за понюшку табаку...

Надя. Тогда я схожу одна. И выведу вам, так и быть, вашу Аверкиевну.

Борис Фомич. Благодарю покорно за доброе намерение. Только пойдем вдвоем.

Надя. Опасно вам туда возвращаться, Борис Фомич. Если вас захватят...

Борис Фомич. Наивная, она думает, мне приятно будет послушать, чего со мной станут делать, если схватят! Но в том-то и штука, что в одиночку «Эдик» едва ли рискнет. Тем более он не решится, если мы появимся вместе, и ты ни на шаг от меня не отойдешь.

Надя. В этом что-то есть.

Борис Фомич. Покорнейше благодарен за одобрение. Помнишь варняканье про маскарад? Супруга моя ещё Дракулу предлагала пригласить... Я смекаю, что в полночь или под утро (запомнювал я, как оно у вампиров заведено) в гости заявится вся «Эдикова» команда. А до полуночи мы двадцать раз успеем слинять.

Надя. Пожалуй.

Борис Фомич. Послушай, ведь ты бывала в замке раньше. Есть ли там какой-нибудь подземный ход, чтобы можно было попасть вовнутрь?

Надя. Господи, да откуда мне знать? Нас целым классом на экскурсию привозили, мы табуном промчались по залам... Луна взойдет только через полчаса. Если уж входить в замок – то с тыла, со стороны горы.

Борис Фомич. И что за идиот додумался строить замок прямо под горой! На горе достаточно установить самый завалящий миномет, хоть бы и самодельный, из мотоциклетного глушителя – и капут. А ров? Ты про ров забыла.

Надя. Я и половины не поняла, я же блондинка. Только это замок вовсе не военный, и рва со стороны горы просто нету. Мы спрячем вашу тачку в кустах, поднимемся на гору с другой стороны и спустимся к замку. А там махнем через забор и стремянкой сразу на второй этаж. Вот только надо дождаться, пока взойдет луна.

Борис Фомич. А не можем ли мы дождаться луны, вернувшись на сиденья?

Надя (вздыхнув). Я вот о чем подумываю...

Борис Фомич. Ну?

Надя. Может, этот подставной вовсе и не против Семёна Павловича работает. Что, если он пытается как-то замок оттяпать?

Борис Фомич. А кому нужен такой сарай?

Надя. Не совсем сарай. Замок местный помещик Ян-Ксаверий Политковский в двадцатых годах, еще до Советов, построил. Точная копия одного замка в Англии, в Йоркшире. Это наш дальний родственник, так бабушка рассказывала, что он все деньги семьи бухнул в стройку. Как бы свихнулся на замке. После войны тут был музей, в перестройку его приватизировали сотрудники, да от голодухи и разбежались, один этот чокнутый художник остался и оформил всё на себя. Потом за копейки банку заложил, а вы за копейки перекупили.

Борис Фомич. Если для тебя это копейки, поздравляю... Тогда вот что мне скажи, аристократка ты наша. Если был тут музей, то куда подевались картины (не мазня Волоха, а настоящие, понимаешь?), мебель антикварная, фарфор? Не прикопал ли все это добро наш художничек, и не с того ли суматоха?

Надя. Если и было чего ценного до войны, так Советы вывезли. Музей-то сделали архитектурный,

«Музей усадебной и крестьянской застройки» или вроде того. Чертежи всё больше занудные и муляжи построек, над ними-то горе-художник и трудился. Посмотреть было не на что, полный отстой.

Борис Фомич. Понял. А собака на нас не залает?

Надя. Во дворе? Будку помню, однако собаки сегодня не было.

Борис Фомич. Капут собачке. Лаяла, видно, без конца на нахального самозванца... (*Забирается в салон, укладывается на сиденья в прежней позе*). И уж если нам приходится ждать, пока появится луна, я предлагаю вернуться к нашему предыдущему, ещё вполне безопасному разговору.

Надя (*томно*). Для кого и безопасному, а для бедной, незащитной девушки так даже очень опасному.

Борис Фомич. Знаешь ли, Надя, когда я тебя впервые увидел на той огромной кухне, ты произвела на меня ошеломляющее впечатление. Вот только было оно скорее эстетическим, чем эротическим... Вот не знаю, поймешь ли ты меня...

Надя. Уже поняла, Борис Фомич. (*Втискивается в салон «жука», ложится, слышен свистящий шорох расстегиваемой молнии*). Можете слегка поглаживать мой стройный животик. (*Пауза*). Ну как, вдохновляет?

Борис Фомич. О чём речь! Теперь-то я, конечно же, понимаю, что ослепительность твоего блистательного появления на этой грязной кухне...

Надя. Да уж, загадили помещение. Я извиняюсь, Борис Фомич.

Борис Фомич. ...точно соответствуя представлению джентльмена о прелестях блондинки, мгновенно саданула оного джентльмена под дых.

Я уж не говорю о сногшибательном сиянии трёх декольте...

На дя. Трёх декольте? Как это вам удалось столько насчитать, Борис Фомич?

Борис Фомич. Миниюбка давно уже считается тем же декольте, только снизу. А разве открытый по летнему времени живот – это не декольте посередине прекрасной дамы? Вот только вначале, как только я тебя увидел, то без всяких там отдельностей воспринял, в целом и в совокупности всех твоих прелестей – как легкий солнечный удар или как (с заминкой) если сразу выдуть полбутылки шампанского...

На дя. Кстати о птичках. Тот коньяк мне всё под бок подкатывался. Давайте еще по глотку, пока луна не взошла, а?

Борис Фомич. Ты валяй, булькай, не смотри на меня – я за рулем.

На дя. Вы это серьезно – откуда тут взяться автоинспектору?

Борис Фомич (смущенно). Если серьезно, боюсь запыхаться: ведь на гору придётся взойти.

На дя (деловито). Тогда уберите руки. Ваше здоровье, Борис Фомич! (Пьет). И удивляюсь я вам – зачем трудились такую речь произносить? Ведь сами понимаете, что больше вам ничего не светит.

Борис Фомич. (Серьезно). Ты девка наглая, Наденька, однако кое в чем себя недооцениваешь. Для мужика в моём возрасте иногда и... посидеть рядом с красивой девушкой – уже приключение...

На дя. Полежать.

Борис Фомич. Что? Тогда тем более, – как это вы говорите? – супер.

На дя (с неожиданной грустью). Заканчивается

наше с вами приключение, Борис Фомич. Вон уже она всходит, луна. И можно двигать потихоньку...

Декорации светлеют, меняют окраску. Слышны далекие хлопки фейерверка. На верхушках сосен мигают слабые далекие отблески.

Борис Фомич. А что, по-твоему, означает этот фейерверк?

Надя. Маскарад начинается...

Борис Фомич. Гости уже съехались, кареты и прочие экипажи заполнили двор. Престарелый граф Дракула уселся в темном уголке, потягивая свой коктейль из свиной и волчьей крови. Бродячий еврейский оркестр уже настраивает инструменты. Маскарад начался, и нас просят поторопиться. Хватит, мол, разлеживаться на мягких сиденьях в «жуке»...

Надя. Да ладно уж вам. Десять минут ничего не решают. (Томно). Уболтали вы доверчивую девушку, Борис Фомич.

Издали вместе с хлопками фейерверка раздается:

Червону руту
Не збырай вэчорамы.
Ты у мэнэ йедына,
Тилькы ты, повир!

Борис Фомич. Тьфу ты! Вот ведь напророчил...
Что это за китч, Надя?

Надя. Кассетник. На батарейках, в общем.
Какая ж песня без баяна?

Явление 2

Борис Фомич, Надя, Волох.

Декорация изображает коридор во втором этаже основного здания замка. Между узкими окнами-бойницами стоят рыцарские доспехи на распялках, каждый рыцарь держит в руке подсвечник с горящей свечой.

Борис Фомич распахивает створки крайнего левого окна (огоньки свечей метнулись и чуть не погасли), кряхтя от напряжения, протискивается внутрь.

Борис Фомич (*ворчит*). И тут совершенно случайно в кустах оказался рояль, а прямо под стеной стремянка...

Оглядывается, пытается незаметно от Нади отдышаться. Присматривается к неровной линии свечей.

Борис Фомич. Так можно и до пожара доиграться. Сожгут игрунчики домовладение.

Надя. Подайте, наконец, руку, джентльмен.

Борис Фомич помогает Наде пролезть через окно. Она, по-прежнему в костюме и гриме Вампиры, пружинисто спрыгивает на пол, поправляет перекосившийся парик, пытается прилепить на место отклеившуюся бровь.

Надя (*озабоченно*). Нет, так дело не пойдёт, придётся основательно подмазаться. Заскочу-ка я на минутку в свой номер, у меня там зеркало и керосиновая лампа (*исчезает за кулисами слева, скрипит дверь*).

Борис Фомич. О женщины! Хотя... Я бы на твоём месте, красавица, тоже не побоялся бы отколоться – ведь не за тобой идёт охота. А сам я в одиночку в свой номер не сунусь, ещё чего: мне моя голова на плечах ещё дорога. Или рискнуть?

Скрип двери. Слева появляется Надя.

Надя (*громким шепотом*). Сюда, сюда, Борис Фомич, давайте я и вас переодену.

Утаскивает сопротивляющегося Бориса Фомича влево. Там снова скрипит дверь. В оставленном полуоткрытым окне появляется голова Дракулы – и исчезает, когда самый правый доспех рыцаря вдруг шевелится. Ожив, рыцарь, поставив свечу в проём окна, начинает приседать и выбрасывать ноги в стороны, разминаясь. Потом осторожно уходит вправо, там коротко взвизгивает дверь. Почти сразу же взвизг повторяется, а рыцарь быстро возвращается на прежнее место.

Слева появляются Борис Фомич и Надя. Он – в рясе средневекового монаха с капюшоном, надетой поверх его светлого костюма и подпоясанной веревкой.

Борис Фомич (*пытаясь пальцами причесать волосы*). Что это ты сделала с моими волосами? Кто тебя просил?

Надя. Как есть вы теперь монах, вам без тонзуры никак. А у вас плешь аккурат на этом самом месте...

Борис Фомич. Да кому это нужно – на том ли месте у меня плешь? Почитала бы ты Ясунари Кавабату, где он пишет о красиво облысевшем мужчине. Странно мне, Надя, однако ты ведёшь себя так, будто действительно пришла сюда поплясать на маскараде.... Отдай сейчас же мою расчёску!

Надя (*недоуменно*). Что? А, расчёска... Да, у меня. Только вам не дам сейчас.

Борис Фомич. Дам – не дам... У тебя с этим как-то сложно получается. Тогда прикрывай мне спину, как договорились. И вперед за Нелли Аверкиевной! (*Борис Фомич и Надя осторожно продвигаются по коридору вправо. На полпути Борис Фомич притормаживает и выталкивает вперед даму. Под ногой у него шуршит. Поднимает бумажку и подносит к свече – именно к той, которую держит оживший*

было и снова замерший рыцарский доспех. Читает).
«Глубокоуважаемый Борис Фомич! Вынуждены сообщить, что заседание правления...» Мнимый Эдуард уже не церемонится. Содержимое кейса вытряхнул на пол, хамло... Похоже, меня он уже списал. *(Складывает бумажку и пытается засунуть её в карман, она снова падает на пол).* Ну, вперед...

Надя. Тихо-то как...

Борис Фомич. Потому что песни народностей умолкли. Не к добру это...

Подпрыгивает, потому что очень громко раздаётся:

Ты у мэнэ йедына,
Тилькы ты, повир!
Ах, моя дрога,
Ты йе тихая вода
З сыних гир!

Дракула, успевший выглянуть из окна за спинами Бориса Фомича и Нади, затыкает уши, кривится и исчезает. Рёв записи сменяется шуршаньем иглы, впустую царапающей пластинку, и сразу же – громкими стонами.

Борис Фомич. Это Нелли! Это из нашей комнаты! *(Бросается вперед).*

Надя. Она там не одна. Не нужно вам туда, Борис Фомич.

Помедлив секунду, бежит за ним, скрывается справа. Два взвизга двери, щелчок.

Голос Нади. Это же надо – успел запереться, великий комбинатор! *(Стучит в дверь).*

В окне снова появляется голова Дракулы, он с удобством усаживается на подоконнике и начинает осматриваться. Удирает в окно, когда названные в предыдущей ремарке звуки повторяются в обратной последовательности. Борис Фомич и Надя приносят постанываю-

щую Нелли и укладывают её под открытым окном. У Нелли вечерняя «боевая раскраска» на белом, будто обескровленном лице. Глаза, обведенные чёрными кругами, широко раскрыты, даже выпучены. На всё том же, в Станиславе ещё надетом, белом костюме большие тёмные пятна.

Борис Фомич (*растерян*). Я перетрухал было, подумал, что кровь – ан нет, пятна воняют наливкой. Нэлли без сознания. То ли «Эдик» вколол ей какой наркотик, то ли оставшегося в крови нембутала оказалось достаточно... Она застонала, потому что испугалась рёва музыки. Там в углу валяется автомобильная магнитола с кухонным таймером и с аккумулятором. «Роллейфлекс аутоматик», одним словом... Что бы бедной не вкололи, через три дня после ампулы для неё это яд. Промывание желудка бесполезно, обильное питьё – тоже, да и попробуй сейчас её напоить молоком. Надо везти в больницу. Только так. Ты обещала мне помочь, Надя. Так ты сможешь спустить Нелли вниз?

Надя (*мягко, с добрым чувством*). Я же обещала, Борис Фомич. Всё уладится само собой, вот увидите. (*Громче*). Вот увидите!

Притворявшийся рыцарским доспехом поднимает обвешанную жестью ногу чуть ли не под прямым углом, делает «правое плечо вперед» и шагает к ним. На ходу он открывает забрало, снимает и бросает на пол шлем, и зрители, несмотря на накладные пластиковые клыки и щеки, намазанные бело-зеленым, узнают в нем «Волоха».

«Волох». Ну и достали же меня эти бабы!

Борис Фомич (*спрятавшись за Надю*). Следует ли вас понимать так, что вы готовы поменять сексуальную ориентацию?

«Волох». Сам ты пидор!

Борис Фомич. Я только высказал предположение... Кстати, хотел бы вас поблагодарить за то, что выключили грамзапись. Нет, и в самом деле, без будды, премного вам благодарен. Я против горского фольклора ничего не имею, но не давал сосредоточиться. Сбивал с ритма – надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду?

«Волох». За «пидора» ответишь! Давай сюда свою бумагу – и не тяни, а то хуже будет!

Борис Фомич (*искренне заинтересован*). И что же будет?

«Волох». Будто сам не знаешь? Ну, к примеру, утюжком поглажу.

Борис Фомич. Так света же нету.

«Волох». Не беда, можно и без электричества. Посмотрим, понравится ли тебе, если у тебя пальчики по одному станут в другую сторону загибаться! А то подвешу тебя в камине, как кабана – и давай коптить!

Борис Фомич. А кунфу не хо-хо?

Чёрное облако пролетает через сцену, накрывает «Волоха», лязгают жестянки. Надя, прикрывая собой упавшего от Бориса Фомича, что-то делает с его головой. Поднимается уже с подсвечником; не торопясь, задувает свечу. Поправляет чёрный парик.

Борис Фомич (*покачивает ошарашено головой*). Ну и ну! Прямо тебе балет. А в детстве мы говорили: «Кино и немцы!».

Надя (*скучно*). Капец графу Дракуле. Вот видите, я же говорила, что всё уладится. Не придётся нам вашу супружницу через окно вытаскивать. А возьмём мы в сарае носилки для навоза....

Борис Фомич (*с усилием мысли*). Какие носилки? Ты и в сарае успела побывать?

Надя (*уговаривает, будто ребенка*). Всё уладилось, Борис Фомич. А теперь я должна передать вам поручение Семёна Павловича. Он просил вас отдать мне известный вам документ для передачи ему.

Борис Фомич (*мягко*). Мне он такого поручения не подтверждал.

Надя (*терпеливо*). Он и не мог подтвердить. У Семёна Павловича нет связи с вами. А я должна и сообщение передать, и принять у вас документ.

Борис Фомич. Извините, Надя, но я не могу этого сделать.

Надя. Почему бы это?

Борис Фомич. Боюсь, что я не обязан вам объяснять такие вещи. Дело касается только Семёна Павловича, моего зятя, и меня. Документ я отдам лично Семёну Павловичу. Извините, Надя, но мне удивительным кажется и то, что он проболта..., что сказал вам об этом документе.

Надя. Вот видите, мне Семён Павлович доверяет! А почему не доверяете мне вы, Борис Фомич? (*Проникновенно*). Разве не отдала я вам самое дорогое...

Борис Фомич (*покосившись на жену, торопливо*). Да, да, самое дорогое, что было у вас в сумочке! Вы поделились со мною жвачкой...

Надя (*со слезами*). Разве я не убила только что человека, чтобы защитить вас? Ещё статью, не дай бог, схлопочу...

Борис Фомич. У меня предложение, которое вас, я надеюсь, устроит. Давайте поедem на встречу с Сенькой вместе... То есть все вместе.

Надя (*после паузы, быстро повернув голову в сторону окна*). Ой, а кто это там по стремянке лезет? (*Борис Фомич отвлекается – и вот уже голова его в захвате у Нади*). Эй, дуболом, просыпайся!

Б о р и с Ф о м и ч (*хрипит*). Вот и доверяйся после этого крашеным блондинкам... Век живи, век учись...

Мнимый В о л о х встряхивается, крутит головой, усаживается на полу и начинает срывать с себя доспехи. Под ними чёрный спортивный костюм.

«В о л о х». Вот ведь блин – это у неё понарошку называется! Чуть шею не свернула, спортсменка долбаная! И на кой хрен было тебе разводить эти фигли-мигли? Так он и отдал тебе бумагу на блюдечке с золотой каемочкой... Клиента надо было при первом удобном случае вырубать и допрашивать – уже далеко кантовались бы от этой вонючей развалюхи, если бы послушала меня...

Н а д я. Мораль читать – не в твоём стиле, дорогой. Забери у него бумагу, пока я держу. И ты же слышал: этот старпер назвал меня крашеной блондинкой. Крашеной! Меня, натуральную! Стало быть, я перед тобой ни в чём не виноватая.

Б о р и с Ф о м и ч (*хрипит*). «Дорогой»? О! «Коварство зрю я въявь, где ж обрету любовь»?

«В о л о х» встает и, волоча за собою жестяную поножь, направляется к Б о р и с у Ф о м и ч у и Н а д е. По дороге останавливается, шарит у себя на темени, ухватывает за крыло и срывает чучело или муляж нетопыря. Бросает на землю, топчет.

«В о л о х». У-у-у, интеллигенты! Массовики-затейники! А ты, мужик, – заговариваешься, что ли? Игры кончились, слава богу. И зачем ты натянул на себя этот дурацкий мешок?

Б о р и с Ф о м и ч (*показывает на Н а д ю*). Я тут ни при чём, это она вот на меня надела.

«Волох» (Наде). Ну?

Надя. У него припрятан газовик, а так ему труднее было бы достать. А чем тебе не нравится? Прикольно ведь! (Хихикает).

«Волох». Будто нельзя по-простому, без этого твоего пижонства... (Борису Фомичу, задушевно). Отдай бумагу по-хорошему. А по-плохому... тебе не понравится, гарантирую. Если твоя баба полудохлая – думаешь, ей так уж ничего и нельзя теперь сделать, а?

Борис Фомич (хрипит). Вы предлагаете сделать Нэлли Аверкиевне педикюр?

«Волох» бьет Борис Фомича под дых.

«Волох». Это тебе за педикюр. Раз. Это за маникюр. Два. Это за чемоданы. Три. Это за твой наглый базар. Четыре. Это за твою отвратную бабу... (Останавливает свой кулак). Нет, в этом деле ты сам себя наказал, мужик. (Разжимает кулак и легко шлёпает Бориса Фомича по тонзуре).

Борис Фомич. Ваши... грязные намеки... неуместны.

Надя. И как вам не стыдно, Борис Фомич? Солидный мужчина, казалось бы, а ведёте себя, как мальчишка. Вот вы сейчас дергались, сами себе чуть шею не сломали. А если я теперь локтем придавлю, хоть самую малость... В общем и целом, судя по базару моего бой-френда, в ваших вещах этой бумаги нет. Отдайте её добром, Борис Фомич.

Борис Фомич (озабоченно). А в машине смотрели?

Надя. Отдавайте.

Борис Фомич. У меня к тебе небольшая просьба. Будь добра, когда эта бодяга закончится, помоги мне заново уложить чемоданы. Твой приятель

разбросал тряпки по всему номеру. Нелли и без того с меня за них голову снимет...

«Волох» и Надя переглядываются. «Волох» прикладывает ладонь ко лбу Бориса Фомича.

«Волох». Ты смотри, лоб не горячий... Придуривается, поц! (*Замахивается*).

Надя. Не нужно, дорогой – ему ж ещё в морг на вскрытие. И уже имеются лишние синяки на животе. Лучше обшмонай клиента. Мобильник в кармашке на правой поле пиджака, «газовик» на пояснице за ремнем. У меня от его железки на животе уже тоже, наверное, синяки...

Борис Фомич. Чёрт с вами, я отдам.

Надя. Без фокусов!

Борис Фомич (*изворачивается, чтобы достать файл из-под подкладки*). Какие фокусы? Я давно понял, что вы заодно. Твоему кавалеру всю эту рвотную чушь про вампиров самому никогда бы не придумать. Кому из вас отдать бумагу?

«Волох». Я возьму. (*Волосатая лапа выдёргивает сложенную вчетверо бумажку в прозрачном пластиковом файле, «Волох» подходит поближе к остающимся свечам*). Что ты мне всучил, падла? На кой ляд мне договор купли-продажи на твой сарай?

Борис Фомич. А разве вы не замок себе хотели вернуть?

«Волох». Побазарь мне ещё!

Борис Фомич (*почтительно*). Там с другой стороны: нужно вынуть из файла.

«Волох». Кому надо, разберутся. Ну а ты, если наколол, берегись. (*Прячет файл за пазуху*). Тогда уж точно, без понтов, долго не проживешь. Да я тебе, мужик, уже подложил свинью: висела у тебя на шее

одна ведьма, а теперь две. (*Разворачивается, идёт по коридору вправо*).

На дя (*жалобно*). Ты куда, Одиссей?

«Волох» (*останавливается, оборачивается, ухмыляется. Учитывая, что он забыл вынуть клыки и на лице остается краска, ухмылка выглядит весьма экзотической*). До жены, до детей. Счастливо оставаться, Пень-те-в-жопу.

Борис Фомич. Очень остроумно! К тому же, как мне показалось, вы намекаете на анальный секс. Дорогое, доложу я вам, удовольствие.

На дя. Да ладно, мэнь, я счастливо останусь, только отдай мне бумагу. (*Борису Фомичу*). А вы заткнитесь, пока шею не сломала. Вас это не касается.

«Волох». По мне, мужик как раз по делу выступает. (*Делает неприличный жест*). Это у тебя клево выходит, когда ты после всего выдаешь: «Благодарю вас». Вот и тебе спасибо, что подмогнула.

На дя. Пожалуйста, дорогой!

На дя морщит лицо, прищуривается. Мгновенно изогнувшись, она задирает подол платья (высоко на правом бедре обнаруживаются чёрные ножны, закреплённые на двух ремешках), взмахивает правой рукой – и в воздухе свистит. Замок на шее Б о р и с а Ф о м и ч а слабеет, он выдёргивает голову, катится по полу в сторону «Волоха». Вскakiвает, уже с пистолетиком в руке.

«Волох», с ножом, торчащим в горле, медленно опускается на колени. Смотрит он на «Надю» – и с возмущением, хотя насчет выражения лица его можно и ошибиться: клыки, грим. Б о р и с Ф о м и ч прячется за «Волохом», приседая. Пистолетик держит направленным на На дя ю.

На дя. Опустите свою пукалку, Борис Фомич, и протяните её мне рукояткой вперед.

Борис Фомич (*с надеждой*). А потом снова в койку?

На дя. В койку?! Ой! (Это «Эдик» обрушился-таки лицом вниз). Отойдите от него. (Достаёт расчёску и делает первый лёгкий, почти незаметный шажок в сторону Бориса Фомича).

Явление 3

Надя, Борис Фомич, Нелли.

Борис Фомич. Надя, не приближайся, а то выстрелю! Это не газовый...

Тут мобильник в кармане Бориса Фомича выдаёт первые такты «Канкана» Оффенбаха, Борис Фомич подпрыгивает, а ствол его маленького «Вальтера» опасно отклоняется. Нелли вдруг поднимает голову, осматривается и укладывается снова под стеной.

Надя. Достань мобилку, козёл пузатый! Если это твой Сенька, вызови его сюда.

Борис Фомич. И так хороша у нас компашка – холодный труп и Вампира. Не подходи!

Мобильник умолкает. Борис Фомич большим пальцем сдвигает флажок предохранителя и передёргивает затвор.

Надя (медленно, зловеще). Вы с Сенькой – старые, вонючие, грязные козлы. Вам кажется, что вы еще – ого-го! – какие молодцы, а вы уже полутрупы. Потому от вас и воняет, старперы. Посмотрел бы ты, клоун, на себя тогда, на сиденьях, тебя бы вывернуло. А я вот доберусь до своего ножичка и сделаю тебя стройненьким, как доска, со всех сторон у тебя лишнее сало пообрезаю. Ещё просить будешь, чтобы добила!

Борис Фомич (неспешно). Ты меня назвала клоуном... Как-то раз поверили мы с Нелли рекламе TV

и поехали на Сорочинскую ярмарку. Что тебе сказать? В общем и целом, затея сельской остроты. Запомнилось только, как одна баба продавала кукол, наверное, залежалый товар, из сельпо еще. Клоун побольше с этикеткой «Клован, 10 гривен», под клоуном поменьше – «Полуклован, 5 гривен». Так что я согласен разве что на полуклована. Кто спорит, может быть, оно и смешно, когда животик у мужчины в решительный момент движется, подлец, сам по себе и даже несколько сбивает с ритма... Зато в главном-то я там, на сиденьях «жука», показал себя молодцом – и не спорь, Надя! А вот ты и в самом деле похожа на настоящую клоунессу – да погляди ты на себя!

Надя. Сам ты дурак! Меня твой пустой треп просто из себя выводит... Отойди от тела, ты, козёл!

Борис Фомич. Мне жаль, Надя, что ты начала пренебрегать правилами вежливости, которая в любой ситуации... Господи, что я несу? У тебя, бедняжка, сейчас, наверное, нервный срыв. Едва ли тебе приходилось до этого убивать людей, а милый твой дружок мёртв уже не понарошку: вон сколько крови из него натекло. Впрочем, не важно... Я вспомнил о чём-то действительно важном... Вот... У меня не газовик. То есть был у меня газовый «Вальтер», а я отдавал его переделать под боевые патроны. Кучу денег стоило, и патроны дорогие, страсть!

Надя. Нет, я больше этого не вынесу!

Борис Фомич (*смутившись несколько, поспешно*). Я знаю, что во второй раз он может и не выстрелить, а если совсем уж, фатально не повезёт, то ствол разорвётся уже при первом выстреле, однако пуля всё равно попадёт туда, куда я прицелился...

Надя. Ты, козёл, не способен прицелиться... Отдай пукалку и отойди!

Б о р и с Ф о м и ч ... в чистый девичий лоб. Не шевелись!

Н а д я медленно, осторожно делает следующий шаг вперед. Лицо её сморщивается, глаза прищурились.

Н а д я. Нет, я передумала. Лучше я тебя прикончу этой расческой. Поверь, это куда больнее, чем острым ножом.

Б о р и с Ф о м и ч . Стой! Стрелять буду!

Н а д я бросается вперед. Б о р и с Ф о м и ч медленно тянет за спуск. Пистолетик будто взрывается у него в руке. Затвор тут же заклинило. Н а д я падает. Б о р и с Ф о м и ч , чертыхаясь, передергивает затвор вручную, обтирает «Вальтер» подолом Надиного платья, зажимает его в безвольной кисти «Волоха» и, зажмурившись, надавливает на его указательный палец. Второй выстрел – с потолка откалывается кусок штукатурки и сыплется пыль.

Н е л л и стонет. Б о р и с Ф о м и ч подпрыгивает. Присматривается сперва к Н а д е, потом к супруге.

Н е л л и . Б о р и с , прекрати, наконец, свои безобразия.

Б о р и с Ф о м и ч . Надеюсь всё же, мать, что на тебя в этой суматохе никто не наступил. Здесь так грязно... (*Высвобождает из Н а д и н о й руки расчёску, торопливо причёсывается, бормочет*). Ну прямо, как голый, с этой её тонзурой. (*Поспешно развязывает верёвку, стягивает с себя ряску*). Цепляйся, мать, за меня, я отведу тебя в машину. Господи, чуть не забыл... Минутку.

Достаёт у «Волоха» из внутреннего кармана злополучный файл, критически осматривает кровавые пятна на его поверхности, вынимает из него бумагу, прячет к себе, а файл разрывает и выбрасывает в окно. Подхватывает Н е л л и и утаскивает её за левую кулису. Пауза.

Из окна показывается Д р а к у л а . На голове у него держится наподобие треуголки Наполеона выпотрошенный файл. Стряхивает его с головы на пол. Приглядывается к « В о л о х у » , отшатывается, увидев клыки и бело-зелёный грим. Едва успевает убраться за окно при появлении справа Б о р и с а Ф о м и ч а , который тащит на себе Н е л л и .

Б о р и с Ф о м и ч (*бормочет*). Ты не в том состоянии, мать, чтобы оставлять тебя одну надолго. Посиди-ка здесь ещё немного, пока я соберу чемоданы.

Укладывает Н е л л и на прежнее место, уходит вправо. Д р а к у л а с прежними ужимками подкрадывается к ней, однако зажимает нос и, преисполненный возмущения, отшатывается. Обращает свои взоры к Н а д е , однако ему снова мешает Б о р и с Ф о м и ч , появляющийся справа с большими чемоданами. Из одного неплотно закрытого чемодана свисают женские тряпки, за другим волочится бюстгальтер с набитыми ватой чашечками.

Б о р и с Ф о м и ч (*останавливается посреди сцены, ставит чемодан*). Уф... Ведь просил же эту строптивую красотку помочь мне собрать чемоданы. Она не согласилась. Наверное, из-за того, что пришлось бы укладывать и Неллины тряпки ... А своё барахлишко я бросил, как Наполеон армию на Березине. И нечего жалеть! Будет повод обновить гардероб, а Сенька мне на это благородное дело подкинет. И не заняться ли мне, наконец, гимнастикой, не начать ли бегать трусцой по утрам? Идея! Сначала побегать, а уже потом заказывать у Тищенко новые костюмы. (*Н а д я шевелится и громко стонет. Б о р и с Ф о м и ч вздрагивает. Подходит к Н е л л и , наклоняется над нею*). Понял, мать, сейчас заткнусь. Вот только надо придумать, как дотащить до машины, не потеряв ничего по дороге, тебя и твои чемоданы. Придумал! Сделаю так же, как при эвакуации

из Москвы с Киевского вокзала после той замечательной командировки. Когда же это было? Наверное, в середине восьмидесятых. Посадка заканчивалась, оставалось несколько минут, а я спокойно, методично выполнял свою задумку. Оставляя на месте две сумки и, сохраняя с ними визуальный контакт, то есть без конца оглядываясь, тащил вперед чемодан. Потом бегом возвращался за сумками и заносил их вперед, подальше, однако не упуская из виду чемодан. Потом опять... Вот только почему я не приехал на такси и не взял на вокзале носильщика? Ах да, продул все деньги, и на дорогу занял пятерку у милой Светы, пообещав выслать из Киева в Рязань телеграфом. Потом постеснялся отправлять на почте такую сумму, да... Надо было преодолеть стыд и отправить. Что Света обо мне подумала? (*Смотрит укоризненно на Надю*). Какие девушки были тогда! Бескорыстные, заботливые, они интересовались мною – мною, таким, каким я был, а вовсе не из-за каких-то чужих счетов... Ну, ладно (*подхватывает Нелли под руки*), давай-ка я тебя подтащу поближе к лестничной площадке, а потом вернусь за чемоданами.

Д р а к у л а не успевает снова показаться из окна, как возвращается Б о р и с Ф о м и ч . Явно оттягивая возню с чемоданами, осматривается.

Б о р и с Ф о м и ч . «О поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями?» А и в самом-то деле, кто? Философский вопрос, если разобраться. (*Обращает внимание на файл*). Какого чёрта я его здесь бросил? Ведь могут остаться отпечатки (*вытирает файл, складывает вчетверо и суёт в боковой карман пиджака*). Ну, пора. Посидеть, что ли, на дорожку?

Делает вид, что хочет присесть на труп «Волоха», и с криком разгибает ноги. Уносит чемоданы.

Дракула выбирается из окна, наклоняясь, щупает пульс на горле у Нади, стаскивает с неё парик, восхищенно всплескивает руками, ложится рядом и впивается, как положено, зубами ей в шею. Потом поворачивает окровавленную физиономию к зрителям.

Надя (*не раскрывая глаз*). Благодарю вас.

Явление 4

Борис Фомич, Нелли, настоящий Волох,
висящий на люстре.

Декорации представляют собой внутренность донжона. Это круглый зал, освещённый двумя свечами подсвечника в стиле модерн, стоящего на полу рядом с Нелли. Она полулежит, прислонившись спиной к стене, Борис Фомич склонился над нею. Рядом с ними покачиваются на сквозняке две оборванные бечевки. На остальных – холсты без рам и графические листы, пародирующие примитивы современных эпигонов Марии Примаченко. Посередине на роскошной люстре, также в стиле модерн, висит муляж повешенного, усатого черноволосого мужчины в грязной белой рубашке, семейных трусах и в шерстяных вязаных носках на резинках типа подтяжек. Это настоящий «Едуард Волох». Просьба к декоратору: несмотря на то, что персонаж пьесы относится к нему, как к всамделишнему трупу, а потом, как к живому человеку, муляж ни в коей мере не должен быть «реалистичным», лучше сделать его гротескным: слишком длинные, шевченковские, усы, вислый нос, карикатурно большие ступни.

Борис Фомич (*спиной к повешенному, утраивая Нелли поудобнее*). Посиди, мать, отдохни. Пыль? Я согласен, что пыль, но костюм твой всё равно придётся выбрасывать. Нет, говоришь? Хорошо,

отдадим в химчистку. А пока давай дух переведем оба. *(Поворачивается в сторону люстры)*. Эй! Да это не тот! Ты кто такой, чёрт тебя задери? И почему ты натянул верёвку, будто свинцовый?

Нелли *(не открывая глаз)*. И почему вы все так громко кричите?

Борис Фомич *(сбавив тон)*. Я же мог на всю оставшуюся жизнь сделаться заикой. И посмотрел бы я, мать, как бы ты завизжала, если бы не была в отключке. Да это же самозванец, там на люстре! В смысле, что живой... То есть был раньше живой, а теперь так кто он такой? Труп, вот кто, настоящий трupp... *(Представляя его Нелли)* Рекомендую, дорогая – настоящий Эдуард Опанасович Волох, художник-примитивист и несчастливый предприниматель... *(Присматривается к трупу)*. Вот только если ты повешен, то почему, друг мой, ты не высунул язык? Нет, я бы мог поверить, что ты пытаешься поддерживать традиции порядочности и благопристойности, всё еще живые в некоторых кругах провинциальной интеллигенции... Однако против природы не... *(Звучат первые такты «Канкана» Оффенбаха. Вздрагивает, потом достает трубу. Откидывает крышку)*. Слушаю вас.

Голос Семена Павловича. Аллё!

Борис Фомич *(значительно)*. «А мы тут плюшками балуемся!» *(Ворчливо)*. Ну, наконец...

Семен Павлович. Ты где?

Борис Фомич. Охренел?

Семена Павлович. Похоже на то... «Пивком запивайте».

Борис Фомич *(язвительно)*. Покорнейше благодарю за помощницу.

Семен Павлович *(после паузы, наполненной эфирным треском. Устало)*. Смотровая площадка в де-

сяти кэмэ на восток от твоего местопребывания. Через два часа. Пока.

Борис Фомич. Пока. (*Отключив мобилку, бормочет*). Конспиратор хренов! Сенька, стало быть, свободен и к встрече готов. «На восток» понимай как «на запад», «в десяти километрах» – делим на два, «через два часа» – через час... Времени у меня ещё вагон. Не люблю оставлять за спиной неразгаданные непонятки... Ведь буду потом мучиться, вспоминать без конца, голову ломать... Знаю ведь про себя. (*Решившись, подходит к трупу с подсвечником и, уцепившись за носок двумя пальцами, разворачивает покойника к свету. Присвистывает*). Да ты, друг мой, на лямках ви-сишь! Да ты к тому ж ещё тёпленький! (*Морщась, но уже смелее хватает за руку, ищет пульс*). Да ты вообще ещё живой!

Нелли (*не открывая глаз*). Эта твоя синяя ромашка – тоже дерьмо, но что-то в ней есть...

Борис Фомич (*ворчит*). На три бакса берлинской лазури – вот что там есть, мать.

Нелли (*по-прежнему*). Так ты, Эдик, про Шамякина и не слышал? Ну, чернозем...

Борис Фомич. А я что говорил?... (*Уже смелее снова разворачивает к себе тело повешенного, успевшее вернуться в прежнее положение*). Уж если ты, Эдуард Опанасович, жив, ты мог согласиться повисеть на люстре шутики ради только после того, как тебя накололи наркотиком... Или, возможно... Так, что позволь поискать следы уколов на твоих бледных бедрах, украшенных редким шерстяным покровом. (*Сморщив брезгливо нос, поочередно, задирает полы семейных трусов Волоха*). Сюда не кололи... Стран-

но. (*Выясняется, что осмотру верхней части тела мешает небольшой рост Бориса Фомича*). Пойти, что ли, табуретку поискать? (*Уходит вправо, унося с собою подсвечник. Пауза*).

Нелли (*в полнейшей темноте, повозившись*). Нет, я согласна, что спать без подушки на твердом матрасе полезно для позвоночника. Да только в гробу я это видала – так страдать! И даже заради своей красоты.

Борис Фомич. Безобразие какое! (*Пауза. Приходит с табуретом – типичным казарменным, с дырой для переноски посередине*). Ничего себе – прогулялся за табуреточкой! Какое тут все-таки хамьё! Ну, отрубил ты собаке голову, так зачем же ещё компоновать из этого натюрморт: голова на блюде, как у Иоанна Крестителя, кровавый топор рядом и гранёный стакан с собачьей кровью? Впрочем, крови в стакане на доньшке – и как быстро успела высохнуть, просто удивительно! (*Поставив подсвечник на пол, заботливо усаживает жену, потом устанавливает табурет возле повешенного и неловко взбирается. Бормочет*). Рубашка до того заношена, что Эдуард побрезговал ею... (*Выпрямившись наконец, отшатывается*). Вот это что называется перегар – в парня влили не меньше бутылки вишнёвки!

Нелли (*по-прежнему*). Я ничего не имею против джина: ведь что ни говори, он всё-таки подбадривает.

Борис Фомич. Как интересно... А ты, парень, повиси пока. Протрезвишься – авось, сам слезешь. А не то утром придет почтальон или молочница, а жив буду – и мы с участковым. Однако и выдал же я – молочница придет! Что значит, засыпаю... Пойдём, мать...

Утаскивает Нелли влево. Через некоторое время (более короткое, чем на это потребовалось бы времени

в действительности) слышится стук дверцы, затем звук стартёра и удаляющийся шум двигателя. Справа появляется Дракула, который тащит за собой Надю.

Надя. Нифига себе вечерок! Ещё один старпёр на мою голову!

Убегают влево.

Явление 5

Семён Павлович, затем Борис Фомич.

Декорации первого явления первого действия, только на месте «жука» стоит фундаментальный чёрный джип. Габаритные огни не горят. На узкой подножке дремлет, сидя, Семён Павлович. За сценой справа возникает шум движка, далекие отсветы фар движутся по джипу, стучит дверца. Семён Павлович поднимает голову. Справа появляется Борис Фомич.

Семён Павлович (*медленно поднимается с подножки, растирает поясницу*). Явился, не запыхался! А баб куда подевал?

Борис Фомич (*несколько обижен*). Нелли в машине. Никаких других женщин не имеется. (*С чувством*). Давай, что ли, обнимемся, затёк!

Семен Павлович. Каким ты был, таким ты и остался – сентиментальный старый хиппарь!

Обнимаются, похлопывая друг друга по спинам.

Борис Фомич. Однако же и силен от тебя, Сеня, походный-то дух! Похоже, Жан за тобой совсем уже не смотрит...

Семен Павлович. Жан – ты о каком Жане?

Борис Фомич. Да о холоуе твоём! Забыл, что ли?

Семен Павлович. А... Вот о каком ты Жане... Тот Жан рассчитался. Ещё в Праге. Он, видите ли, и

представления не имел, что меня наши ханжи объявили в розыск через Интерпол.

Борис Фомич. Вот, значит, каким образом...

Семен Павлович. Чмо швейцарское этот твой Жан! Я-де в лучших домах, для меня ваши деньги не главное... Срать я на него хотел! Кто спорит, удобно, когда тебе пиджак подадут в рукава, да вот только своим «кофе в постель» достал он меня! У человека после вчерашнего мочевого пузырь чуть не разрывается, ему необходимо заодно и проблеваться, а потом добраться до бутылки с огуречным рассолом...

Борис Фомич. Актуально.

Семен Павлович. ...а этот чистоплюй уже в галстук и лезет со своим кофе и круассаном! И ведь не бросишь столик ему в бритую морду – профсоюз у него! (*Другим тоном*). Ты что ж это стоишь, как засватанный? Садись (*показывает на подножку*), не стесняйся.

Борис Фомич (*присаживается*). Ты раздражен, Сеня, я понимаю, но не кричи так, пожалуйста. Потому как Нелли может очнуться и начать свои милые глупости – тебе же хуже будет... Ты не сердись на меня, что опять спрошу. А где Петро твой? Отошёл в лес отлить? А как же славный шофёрский обычай?

Семен Павлович. Разве можно мне не сердиться, если ты со мной непонятками говоришь? Под утро, вторую ночь не спавши, неопохмеленный, я терпеть ненавижу долбанные загадки разгадывать! (*Борис Фомич жестами показывает, о чём речь. Семен Павлович успокаивается*). Петро смылся внаглак от меня в Станиславе. Ну, он за это ещё ответит... Ничего, я вспомнил молодость – и доручил же сюда сам! Найму себе другого водилу, хотя второго такого, как подлец Петька, не найдёшь. Мы же с ним от самого Будапешта петляли, как зайцы. От вертушки ушли!

Борис Фомич (*недоверчиво*). Ну ты даёшь, однако... «Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл...»
Надо же – и от вертушки?

Семён Павлович. А может быть, у меня крыша (*показывает*) и весь кузов покрашены по технологии «Стеллс» – и в радаре меня не видно! Рассекаешь?

Борис Фомич. Нихрена себе!

Семен Павлович. Ну, садись, рассказывай. (*Деловито*). А когда Гоноратка-то подъедет?

Борис Фомич. Гоноратка? А, вот ты о ком... Ты, по пьянке или разнежась, проболтался ей обо мне, о твоём человеке-футляре...

Семен Павлович. Лучше, Боря, называть нашу систему сдвоенным центром...

Борис Фомич. Нехрен мне зубы заговаривать! Было ведь? То-то... Ты сам послал её ко мне. Прикрывать, блин! Вместо этого она стакнулась с каким-то бандюгой, я так понимаю, из конкурирующей организации, и они устроили целый спектакль, чтобы отобрать у меня твою бумагу. Однако я ушёл – и вот он я.

Семён Павлович (*насупись*). Изложи подробнее. А Гоноратка мне нужна прямо сейчас. (*Почёсывается в неприличном месте, почти по-собачьи*). Здесь и сейчас.

Борис Фомич. Ну уж нет, вынужден тебя разочаровать. Ты приготовься к худой вести, бедный мой Сенечка. (*Выдерживает паузу*). Твоя Гоноратка пребывает в виде, пригодном разве что для некрофила. Пришлось мне в порядке самообороны...

Семён Павлович. Излагай, говорю.

Борис Фомич. Ну, если покороче... Пока я отлучился, они напоили Нелли (а она только что ампулу себе вырезала) и вывели её от игры. До сих пор в отключке, только порою говорит свои милые глупости. А твоя, как я понимаю, очередная подстилка, чтобы

показать, какая она тебе вся из себя такая верная, и выманить у меня бумагу (она-де сама передаст), сделала вид, что сломала шею своему бой-френду, тому бандюгану.

Семен Павлович (*сумрачно*). И под тебя тоже подстелилась, небось?

Борис Фомич (*с облегчением*). Вот – ты сам сказал! Я не виноват.

Семен Павлович. Изложи подробно.

Борис Фомич. Я, конечно же, ни в какую, а она поганно так усмехается – и мне: «Я не каждый день бандитов мочу! Мне нервы успокоить надо!». А я ей: «Тогда почему бы тебе не трахнуть этого твоего мертвеца?» На что мне Надя: «Ещё чего! Да где вы такое видели, Борис Фомич?». – «В кино, – говорю, – Наденька».

Семен Павлович. Стоп! Ты о какой это Наденьке мне рассказываешь?

Борис Фомич. Да твоя же Гоноратка девушкой Надей назвалась, Сеня.

Семен Павлович. А почему ты с нею на «ты»? Ты ведь позволяешь себе говорить «ты» только тем бабам, с которыми спал!

Борис Фомич (*с невинным видом*). А разве я с нею не спал? Ведь уже признался...

Семен Павлович. Так ты же её трахнул позднее!

Борис Фомич. Позднее, согласен, однако же рассказываю сейчас, то есть уже после... э-э-э, совокупления. (*Семен Павлович досадливо отворачивается*). Пришлось, в общем, согласиться, а то, думаю, ещё и мне шею ломает. Каприз леди! И вот затаскивает эта тигрица меня в свою комнатку, а номер у неё «6666» – ты представляешь?

Семен Павлович (*скептически*). Представляю. Келья бесовки. Похоже на эту сучку.

Борис Фомич. Затаскивает к себе в логово и начинает раздевать. Уже стащила с меня рубашку и майку, когда я опомнился и опять надел пиджак. Так, в пиджаке, и...

Семен Павлович. Прекрати! Ненавижу эту самопальную порнуху! Ладно, что бабы без конца языками чешут про траханье, так теперь ещё и мужики моду взяли...

Борис Фомич (*обижен*). Да какая ещё порнуха? Окстись, Сеня, в пиджаке твоя бумага была зашита. И, кроме того... (*Мнётся*). Когда был я помоложе и беден, тогда голый смотрелся лучше, чем одетый, теперь дела обстоят совсем наоборот. И должен же был я высказать к девушке хоть немного уважения... Хотя и то взять, что она меня подсаживала, когда мы перелезли через забор!

Семен Павлович (*недоверчиво*). Ты это о чем?

Борис Фомич (*на ухо, громким шепотом*). Мой живот.

Семен Павлович. (*Вытаращившись сперва на собеседника изумленно*). Давай всё-таки подробнее. Можешь и с порнухой. Всё равно ведь заливаешь.

Борис Фомич. Я заливаю? А мне оно и расхотелось, вдаваться в эротические подробности. В общем же и целом, я боялся, что меня инфаркт хватит, а она после всего и говорит: «Благодарю вас».

Семен Павлович. Чёрт! А ведь в чём-то ты не врешь...

Борис Фомич. И вот, не успел рассеяться перед моими глазами мерцающий розовый туман, как вижу: распаивается дверца одежного шкафа, и появляется из неё давешний гигант, будто бы уже замоченный Надей. Ага, думаю, так вот куда выходит подземный ход! И тут Надины ляжки вдруг обхватили мою шею...

Семен Павлович. Так вот когда ты словил кайф, старый ты паскудник!

Борис Фомич. Если бы! (*Высокопарно*). Ведь эта пленительная плоть тут же затвердела – и мне уж не до нежностей стало. В общем, пока предательница держала меня, её оживший бой-френд вырвал из подкладки моего пиджака твою драгоценную бумагу. И сразу же решил линять, на прощанье обсмеяв твою подружку. Не в добрый час!

Семен Павлович. Да уж, с Гонораткой шутки плохи!

Борис Фомич. Она тут же разжала ноги, дала мне по рукам (оказалось, что я с перепугу продолжал держаться за её бархатные грудки), выхватила из-под матраса нож – чуть ли не десантный тесак – и как метнет... В общем, на сей раз зарезала мужика без будды.

Семен Павлович. Гм. Ты хоть на этот раз проверил его?

Борис Фомич. О чём говорить? Мертвее не бывает! Кровищи столько, будто кабана резали и ведро забыли подставить. И не до поисков у него пульса мне тогда было, Сенечка. Ведь замок на моей шее расслабился, я выдернул голову и скатился с кровати. Успел найти на полу, в куче одёжки, свой газовик и передернуть затвор. Забыл я тебе сказать, что отдавал газовик ребятам на Петровке, чтобы расточили ствол под боевой патрон. Надеялся, два-три выстрела выдержит... Но я её предупредил, что у меня не газовик, ты не думай.

Семен Павлович. Всё одно ненадёжно оно как-то... И зачем это делать самому? Так не принято теперь.

Борис Фомич. А она на меня со своим тесаком. Ну и пришлось (*пауза*) всадить пулю именно туда, куда

прицелился – в девичий лоб, покрытый нежными розовыми прыщиками. Потом пукалку обтер платком, сунул в руку мертвецу и ещё одну пулю влил в потолок.

Семен Павлович. Лихо управился, коли не заливаешь. Только не рассёк я, зачем ты свой газовик оставил, ну тот переделанный, если он за тобой числится...

Борис Фомич. Да мой, в милиции зарегистрированный, дома лежит! А этот я зимой, под Новый год, в снегу нашёл.

Семен Павлович. Удивил ты меня, Боря! Далек бы ты пошёл, кабы не лень-матушка... Глядишь, в киллеры бы выбился. Гони теперь список.

Борис Фомич (*облегченно вздыхает, достает из пазухи заветный файл, теперь в свою очередь спрятанный в зеленый пластиковый конверт. Бубнит вполголоса*). На файле пальчики и немного крови этого самого «Эдика». Может пригодиться. В файле листок с договором купли-продажи – ксерокопия, для блезиру только. Подержи листок в тёплой воде, он расклеится на два, второй – твой. Напечатал на лазерном принтере, не смоеся. Уф...

Семен Павлович. В компе и принтере ничего не зацепилось? И вот что – комп у тебя подключён к Интернету?

Борис Фомич. (*Лживым голосом*). О чём речь! Да этих игрушек уж и нет среди нас.

Семен Павлович. Нет среди нас, говоришь... Скажи, Боря, а Гоноратку...

Борис Фомич. Кого? А, вспомнил...

Семен Павлович. ...совсем уж нельзя было привезти сюда Гоноратку, чтобы мы вдвоём с нею разобрались?

Борис Фомич (*отодвигается*). Да за кого, мил друг Сеня, ты меня принимаешь? Я тебе кто – Джеки Чан какой? Да она бы меня одной левой! Скажи лучше – как это ты с нею лопухнулся? Шифр наш сучке доверил!

Семен Павлович. Ты знаешь, до сих пор не верится. Хотя – бабская душа потемки...

Борис Фомич. Уж не оскорбил ли ты, мил друг, чем покойницу-то? По женской части, а?

Семен Павлович. Может, и ляпнул ей чего ненароком... Но девка битая, Крым, Рим и медные трубы прошла. Чем такую обидишь?

Борис Фомич. Мы тут, Сеня, кое-чего недодумали. Голова уже не варит...

Семен Павлович. Ага, дошло до меня на седьмой минуте: если она ликвиднула бойца, с которым вместе тебя обложила, возможны варианты.

Борис Фомич. Именно! И первый: её, девку твою, перекупили другие твои конкуренты, тебе пока неизвестные...

Семен Павлович. А что? Теоретически – вполне...

Борис Фомич. Второй: она сама решила всю нашу деньги хапнуть. К тебе втерлась в доверие, охмурила. Ты сам послал её ко мне. Прикрывать, блин! Она из меня информацию выдавлиывает, тебя убирает, а того проще – обводит тебя, как Фетисов защитника, и катит по маршруту чистить счета...

Семен Павлович. А знаешь, на неё похоже. Эта бы решилась... Самомнение у Гоноратки офигенное. Я было над «Дракулой», фильмецом штатовским, похихикал, так она меня с грязью смешала, сатанистка хренова! На карате год походила, так ей уже и море по колено. Она, покойница, когда ещё в древнейшем

ремесле подвизалась, нос задирала так, будто только для себя трудится, для собственного удовольствия. После всего «Благодарю вас» говорила, можешь ты себе такое представить?

Борис Фомич. (*Исподтишка при-сматривается к другу*). С трудом. Я, ты знаешь, в некоторых вопросах человек старомодный. А ты, Сеня, позволь уж сделать тебе замечание, излишне рискуешь. Даже и сейчас. Окажись кто другой на моём месте... Столкнул бы тебя, сонного, с машиной в пропасть, а сам спокойно поехал бы по «Надькиному» маршруту.

Семен Павлович. Кто другой, Боренька! Да только не ты – человек замечательно ленивый, редкой порядочности и преданный родственным узам! Вспомни, как ты усмирил свою крикливую супругу, когда поддтая Лора привела к вам меня, влюбленного вусмерть, со всем недвижимым и движимым в одном чемоданчике и почти твоего ровесника. Как мы умудрились с тобой ужиться в двухкомнатной квартирке, как унимали от ссоры баб и – сам погибай, а товарища выручай! – прикрывали друг друга. Я, Боренька, конечно, прошу у тебя за это прощения, но всякий раз, когда начнет тоска донимать, не перечитываю я теперь «Женитьбу Фигаро», а ложусь на диванчик, ставлю рядом на пол шампанского бутылку и припоминаю – в известных от тебя подробностях – твой роман с Нелли. Как ты боялся к ней подойти и только таскался за ней по пятам, пока её поклонник не набил тебе морду. А как ты проговорился ей, что спер букет на кладбище...

Борис Фомич (*растроганно*). Да ну тебя, на-смешник! Разделявайся теперь со счетами и добирайся поскорее до своего диванчика – вот чего я тебе поже-

лаю! А я (смотрит на часы, потом достаёт и убирает мобильник), а я поехал искать больницу. Пристрою Нелли и сдамся ментам – убежал-де, как пошла поножовщина.

Семён Павлович. Прощай, друг! (Обнимаются).

Борис Фомич (делает несколько шагов в сторону своей машины. Останавливается, поворачивается Семёну Павловичу, хлопает себя по лбу). Чуть не забыл! Ты же закрыл наш счет в «Коллега-банке»!

Семён Павлович. Мой счёт. Ты и так хорошо на нём поживился, Боренька.

Борис Фомич. А разве я эти деньги не заработал – вот хотя бы сегодня?

Семён Павлович. Да за что тебе платить – сам подумай, душа любезный? Потрахалясь с молоденькой на шару и на самый уже конец еще одно удовольствие себе доставил, пристрелил её, девку. О том не подумал, что девушка ещё и другому кому, может быть, понадобится. (Снова неприлично чешется). Да за такое развлечение ты сам ещё, по совести, заплатить должен.

Борис Фомич. Интересная постановочка вопроса...

Семён Павлович. Всем от меня одно только нужно – деньги! И ты туда же: дай! Друг, называется... А никто и не подумает, что они, деньги, мне самому нужны. С чего ты взял, что я жадюга? Ведь ты сам говаривал, что я щедр, как принц Уэльский, а я ведь тогда получал 115 рубасов чистыми... Сейчас, может быть, наконец-то решил пожить по-человечески, а для этого теперь, когда эти силовики продажные меня в угол загнали, для этого, знаешь, сколько капусты требуется? Тебе и не снилось... И за что мне такое несчастье,

чем я хуже других? Это же классический «двойной стандарт»! Я ведь только один из тех избранных судьбы, которым наш народ сказал: «Хочу капитализм! Бери у государства, не стесняйся – оно ничьё! Можешь и нас немножко пограбить, ничего, мы потерпим – только стань ты нашим Джоном Пэ Морганом...»

Борис Фомич. «...и купи себе виллу на Лазурном берегу, чтобы мы могли тобой гордиться». (*Смеётся*).

Семён Павлович. Мне что же, по-твоему, надо было спичками торговать? Отсыпать из каждой коробочки по пять спичек, чтобы получать чистую прибыль от торговли россыпью? Или, думаешь, те ребята, что в парламенте заседают и генеральному прокурору ценные указания дают, заработали свои капиталы иначе, чем я?

Борис Фомич. Секрет Полишинеля, Сеня. (*Стучит дверца. Борис Фомич замолкает, прислушивается, глядя влево*). Ну надо же!

Явление 6

Те же и Нелли

Слева на четвереньках, с «венком» чеснока на шее, приползает Нелли. У ног мужчин, по-прежнему сидящих на подножке джипа, поднимает голову.

Нелли. Вы тут веселитесь, мальчишки? Спрятали бутылку! Вам можно, а мне нельзя? Пьёте здесь, сплетничаете про нас, про своих ненаглядных. Я к вам присоединяюсь – и попробуйте только мне не... мне не на... (*укладывается на живот, умолкает*).

Семен Павлович. У меня возникла замечательная идея, Боренька. Разумеется, ты прав, и я открою для тебя счёт. Или просто (*шарит по карманам*) поде-

лим карточки. Она ведь сама сказала, что присоединяется... (*Чешется*). Как ты посмотришь на полевой вариант любви по-шведски?

Борис Фомич (*встаёт*). Охренел?

Семен Павлович. Нет. (*После паузы*). Послушай, я ведь в курсе твоей проблемы. А вдруг это её заведет, подзадорит – и ты снова будешь допущен к ложу? И у вас всё наладится на старости лет...

Борис Фомич. Нет, в голове не укладывается. Она ж тебя терпеть не может!

Семен Павлович (*ухмыляется*). От ненависти до любви...

Борис Фомич (*с полной серьёзностью*). Нелку не дам.

Семен Павлович. А я больше не дам тебе, бездельнику, ни цента. (*Ядовито*). Впрочем, сейчас у тебя, Боренька, появился и свой шанс. Открой в замке какой-нибудь музей. Нелка намалюет тебе картины под старину, а ты будешь экскурсии водить и в буфете приторговывать потихоньку. А прогоришь – не беда: моя бывшая супруга подкинет тебе из своих карманных. Для неё пара-тройка зеленых – копейки, а тебе не придется из мусорников бутылки выуживать. Лорка – та еще сучка, однако ж тебя любит, будто родного. «Как там мой папашка непутёвый?» – всё у меня, твоего кореша, спрашивала. Я так даже ревновал: уж не заводил ли ты в свое время с нею, с Лолиткой, шуры-муры? Как этот хрен звезданутый, ну, у Набокова...

Борис Фомич. С нимфеткой, Сеня.

Семен Павлович (*агрессивно*). Да всё едино.

Борис Фомич (*небрежно, думает о другом*). Я не по этому делу.

Семён Павлович (*агрессивно*). И это очень хорошо для тебя, если ты не по этому делу, потому что тех, кто по этому делу, наш народ не любит, ох, не любит!

Борис Фомич (*крутит пальцем у виска*). Приехали, что называется.

Семён Павлович. Да пошёл ты!

Семён Павлович залазит в джип, стучит дверцей, разворачиваясь, чуть не наезжает на лежащую неподвижно Нелли, джип выползает со сцены и исчезает.

Борис Фомич. Прощай, друг.

Сразу же слева в глубине сцены, за спиной Бориса Фомича, появляются Дракула за ручку с Надей, оба подцвечены зелёной фосфоресцирующей краской. Надя лягает Дракулу в коленку, вырывает у него свою руку и стартует, как на стометровке. Дракула, хромая, скрывается в кустах.

Слышно, как тормозит джип Семёна Павловича.

Рабочий сцены выходит с плакатом: «Эта она его догнала». Пауза. Слышно, как водитель газует, затем звук движка гаснет вдали. Рабочий сцены уходит.

На протяжении последующего диалога из темноты постепенно выступают Карпаты, из-за кулис доносится негромкое пение птиц.

Нелли (*поднимает голову, садится*). Однако же и погуляли. Мой костюм, во всяком случае, испорчен окончательно. Это ты облил меня сладкой вонючей дрянью? И я что же – опять плясала на столе в непотребном виде? Нырjala в фонтан? Нет, скажи мне, Борис, как это ты мне позволил так разойтись? (*Напористо*). Где твоя совесть, спрашивается?

Борис Фомич (*сидит на полу в полной прострации, еле шевелит языком*). Я у тебя во всем ви-

новат. Завела б себе лучше кошку, если уж никак не можешь без козла отпущения.

Нелли (*рассудительно*). Как будто кошка сможет заменить козла. Я всегда подозревала, что ты по биологии не вылезал из двоек. Я тут полежала, подумала... А может быть, всё-таки познакомить графа Дракулу с моей мамашкой, а? Глядишь, старики и найдут общий язык... Вон на Западе, ты посмотри, принцы, как один, женятся на всяких тебе Дианках-воспитательницах.

Борис Фомич (*немного оживляется*). Мать, да ведь он вампир!

Нелли. Подумаешь! Уж если моя мамашка уходила батьку моего покойного, а тот кремень был мужик, она и из вампира попьет-таки кровушки, можешь не сомневаться... (*Сумрачно*). А что это я вчера вытворяла? Это как же надо было накуролесить, чтобы нас выставили из собственного замка...

Борис Фомич. Да уж. Поистине, вспомнишь – вздрогнешь...

Нелли. (*С подозрением принюхивается к рукаву*). Нет, кажется, хоть в вонючем рву не плавала. И то хлеб... Да ну их нахрен, этих жлобов вместе с их жлобским замком! Вернёмся на Володарскую, вот что мы сделаем. Я прикидывала, там есть лазейка: пролезает под буфетом – и сразу попадаешь в щель над диваном. А потом лишнюю мебель загоним, заживем себе уютно в двухкомнатной. Снова станем ходить по гостям, вот только к себе приглашать не станем: у нас, мол, ремонт... И что же я всё-таки вчера выкинула? Ой! (*Таращит глаза, открывает рот и сжимает себе виски. Пауза*). Знаешь что, пупсик, я иногда просто не понимаю, как ты меня до сих пор терпишь.

Борис Фомич (смущённо, с хмурой улыбкой).
Мать, это ты меня извини... Знаешь ведь, что я тебя люблю неизменно. Я... Я тебя всегда воспринимал в целостности – уж какая ты есть... Как лёгкий солнечный удар или как глоток шампанского...

Занавес

2007 г.





Жильцы Аделаиды Никоновны

*Повесть
(переделка пьесы «Разруха à trois»)*



Полуденное солнце, робко проникая сквозь запылённые стёкла балконной двери, освещало рассеянным светом пустую комнату. «Так пуста моя комната или всё же пустынна?» – задумался Валериан Иванович, утомлённо опустив веки.

Скорее пустынна эта жилплощадь в коммуналке, ведь не абсолютно же пуста. Есть в ней книжный стеллаж-самоделка, прислонённый к стене напротив балкона. Да, без книг, зато с левой его части приветствует посетителей поднятым драповым рукавом инсталляция «человек-невидимка», а собрана она из шляпы, пальто, шарфа, растянутых по стеллажу, и зимних ботинок, стоящих на полу. Есть победитовый гвоздь, антикварный нынче, торчит сей из стены рядом с правой стойкой стеллажа, а на нём галстук в бело-красно-бордовую полоску, потрёпанный только самую малость. Это самый красивый артефакт в комнате, на нём приятно отдохнуть глазу, хоть после утраты очков приходится сильно прищуриваться. Имеются также упомянутая дверь на балкон и дверь из коридора. Они обеспечивают логистику – и ему стало приятно, что вспомнил это мудрёное слово, как секундой раньше «артефакт». А главное содержание комнаты составляет он сам, Валериан Иванович, вполне живой её владелец и неперемный обитатель. Он здесь, в комнате, сидит на полу, прислоняясь спиной к стене, справа от стеллажа, ближе к двери. Обеспечивает в комнате присутствие своего флага. И просто существует здесь.

Наручные часы у него давно остановились, потому что батарейка приказала долго жить. Мобильник не пожелал больше заряжаться, но остались биологические часы: в животе уже ощутимо посасывало. Валериан Иванович повернул голову, направляя более исправное ухо к стене, общей с комнатой «Кольки с младенцем». Так называл он соседа-сантехника, несмотря на то, что тот давно уже не мотался по квартире с орущим отпрыском на руках, а появлялся в поле зрения в клеёнчатом кухонном фартуке со цветочками. Впрочем, и без фартука его малоприятная личность легко определялась по голосу.

Сейчас Валериан Иванович ожидал, да что там, был в полной уверенности, что соседский малый вот-вот вззоет. А как только серия «Наших милых соседей» закончится, можно будет подумать об обеде. Пожалуй, макароны по-флотски. Давненько он не думал о макаронах по-флотски.

И вот тогда, в неурочное время, за дверью послышались шаги. И смолкли, но прежде он успел распознать, что это не упитанный «Колька с младенцем» притопал. Кто-то с той стороны двери вставил ключ в скважину и провернул его в замке. От неожиданности едва не напустив в штаны, Валериан Иванович мгновенно перебрал все варианты и с восторженным ужасом предположил, что грядёт явление Аделаиды Никоновны. Медленно приподнялся он на ноги и на полусогнутых, цепляясь за стеллаж, прокрался вдоль него, чтобы укрыться за доской-стойкой.

Дверь открылась и захлопнулась. В комнате возникла дама с небольшим чемоданом. Чемодан-то углядел Валериан Иванович, пол вошедшей личности в дорожном унисексе без особого труда определил, а лицо женщины расплывалось. Что уже далеко не

молода, выдавали легко дрожащие руки и привычка разговаривать сама с собой. Ведь она не постеснялась заявить – негромко, тоном вдруг заговорившей сомнамбулы:

– Не повезло. Сохранилась всё-таки местная живность. Таракан какой-то завёлся. Или зомби. Уж лучше бы кошка. Хотя... Огорчительно было бы обнаружить здесь кошку. Господи, до чего же они мне надоели, эти гламурные создания!

Подумав самую малость, он отлепился от стены и опустил руки, прикрывавшие голову. Выговорил, напустив побольше яду:

– И вам, сударыня, доброе утро.

– Как странно! Голос этого бомжа показался мне знакомым. В Москве всё жестоко изменилось. Словно приехала в гости к бабушке – и что же я вижу? Старуха вдруг помолодела, разбогатела и обзавелась гаремом из дешёвых жиголо. Однако, когда шла я сюда от Киевского вокзала, некоторые дома застенчиво помаргивали мне стеклами окон, узнавая. Они всё те же под новой штукатуркой, под уродливыми коробками на месте балконов, под этими вульгарными пристройками конфетного какого-то стиля и под ужасной рекламой. Мой же дом уберётся даже от ремонта – потому, наверное, что в глубине двора.

Как она смеет говорить в его комнате свои глупости таким тоном, будто тут его нет? Валериан Иванович собрал все свои душевные силы и спросил суровым начальственным голосом:

– Да кто вы такая, и что вы тут делаете?

– Странно, наваждение продолжается... Голос Валерика, я могла бы поклясться, – монотонно, по-прежнему повернувшись к нему спиной, продолжила она. – С родителями расплевалась окончательно. По-

койный Игорь меня избегал. Сначала у меня отнял культурную программу на курортном ТВ, потом газету. И если мне стало нечего делать дома, если жить стало не для чего, то не лучше ли ничего не делать и дожить пустышкой в Москве, а не в Ялте или в Усть-Уюте? Я и приехала сюда. Естественно, что я пришла в комнату, которую четыре года снимала у Аделаиды Никоновны, пока училась в МГУ.

– А как вы проникли в мою комнату? – голос у него оставался по-прежнему суровым, маленькая радость в хреновой ситуации. Забрела какая-то малахольная, и попробуй выстави...

– У меня остались ключи. Я заказала как-то запасные, для моего приятеля, Валерика, чтобы он мог тут прятаться от своей драгоценной супруги, когда мне доводилось уезжать домой на каникулы. Я их и оставила себе. И не поменяла Аделаида Никоновна замки за эти годы, вот ведь молодец! А комната могла быть пуста. Размечталась... Даже если бы тут умерла старушка, я бы её вытащила на двор к мусорнику, помыла бы полы, да и пожила бы здесь всё равно. Это ведь моя комната.

– Где вы тут видели старушку? – возмутился Валериан Иванович. – А вот Аделаида Никоновна, та давно умерла. Я покупал комнату у мужчины, её внука, теперь он для удобства жильцов называет себя Аделаидой Никоновной... Боже мой! А ведь это и вправду ты, Фая.

Было ли ему чего пугаться? Но сердце ушло у Валериана Ивановича в грязные его пятки, когда она уставила на него свои глаза, показавшиеся чёрными ямами на раскрашенном лице. Вот он назвал сейчас это имя, Фая, преодолевая внутреннее сопротивление, но назвал. А было ведь время, когда тщательно прятал его в тайниках своей памяти, потому что стоило только

произнести – и проваливался в чёрную дыру, днём всё валилось из рук, а ночь обращалась в похмельный кошмар.

– Я-то Фаина. А ты, выходит, и вправду Валерик, – и столь же равнодушно. – Подонок. Подлый изменщик. Ты ведь именно отсюда слинял тогда. И эти ключи оставил на коврике перед моей дверью.

Валериан Иванович почесал в плешивом затылке. Вообще-то он в своей долгой жизни немало совершил глупостей, встречались среди них и такие... Гм, их иные строгие моралисты охотно называли бы подлостями. И он не прочь покаяться в своих грехах, но предпочитает делать это по воскресеньям, вроде как исповедуясь себе самому. Сегодня же четверг. Или ещё среда? Да бог уж с нею, с больной на голову...

– Ладно, согласен, я поступил нехорошо. Однако ведь и ты меня бросила. Слишком, ты ж понимаешь, любила своего Олега, мужа-военного. Баш на баш, Фая. И это ты сбежала из Москвы, а я остался. Вот так, Фая.

– Вы! Фаина Витольдовна! Так теперь меня называют. А ты как оказался в моей комнате, полоумный?

– А вот меня теперь никак не называют, – с уже искренней горечью признался он. И продолжил изрекать сущую правду. – Ты воскрешаешь столь давние времена, Фая, что мои воспоминания о них словно из-под слоя плесени выглядывают.

– На вы, подонок! И Фаина Витольдовна. Я, кажется, задала вопрос.

– На вы, на вы... А разве мы с тобой не...? Не того?

Тут он сам себе поразился. Неужто до такой уже степени огрубел и оскотинился, что не смог придумать ничего лучшего, чтобы назвать восхитительные и печально прекрасные переживания, испытанные с нею,

тогда юной и ослепительно красивой сумасбродкой, в пространстве именно вот этой комнаты?

– Увы! Я и сейчас жалею о той своей слабости, развратник, – ему показалось, что теперь скандалит Фаина больше по инерции. Однако вдруг мутное пятно на месте её лица перекривилось не на шутку. – Боюсь, что меня сейчас стошнит. Отвечай на вопрос, импотент несчастный!

– А я с наслаждением вспомнил бы те три дня и две ночи, когда мы укрывались тут от всего света. Я ведь тоже, кажется, был ещё женат тогда. Ну, ладно уж. Именно те волшебные минуты... В этой комнате на большой железной кровати Аделаиды Никоновны и на твоём всегда накрахмаленном постельном белье... Да, только райские воспоминания о пережитом здесь заставили меня купить эту комнату.

– Ой! – ухватилась она за живот. – Мне нужно срочно выйти!

Растаял призрак Фаи, хлопнула дверь, а Валериан Иванович продолжил стоять в состоянии обиды и изумления. Конечно же, он сейчас далеко не розанчик, но... Нет, чтобы от его вида стошнило даму почти пенсионного возраста? Потом в дверь постучал «Колька с младенцем», и она тотчас же распахнулась. Валериан Иванович торопливо уселся на прежнее место. Подбоченился тучный сосед-сантехник и возмущенно воззрился на него.

– Заходи, Коля, – пригласил Валериан Иванович.

– Сосед, мы ж договаривались, чтобы всё потихому. Меж нами ж фанерная стенка, а у меня мальй. Ты любишь побазарить сам с собою, постонать, поохать, поойкать, и я всегда говорю, чтобы на полтона ниже.

Чтобы не понять мне было, о чём ты... Где ты снял эту крикливую бабу?

– Сама пришла. Фаина Витольдовна тут раньше жила, – преданно отрапортовал он, держа, понятное дело, фигу в кармане.

– Надо же... Баба юркнула в сортир. Вот что, сосед, ты моешь сортир сегодня не в очередь.

– Это же всё-таки дама. А дамы, они, Коля, аккуратные.

– Надежду имею, не промахивается сослепу, как ты. Значит, договорились по-хорошему.

Донёсся шум спускаемой из бачка воды. Соседи переглянулись. Тут же раздался басовитый вопль ребёнка. «Колька с младенцем» показал Валериану Ивановичу внушительный кулак.

– Вот, разбудили-таки мне малого!

Ушёл. Возвратилась незваная гостья. Он, цепляясь за полку, поднялся на ноги. Прищурился – и рассмотрел, что она ошарашена.

– Я прошу прощения... Видно, съела в дороге что-нибудь несвежее. Или уже на вокзале? Купила я с лотка два чизбургера, и один... – помолчала и продолжила решительно. – Послушай! Я сейчас в коридоре встретила громилу. Неужели это – тот самый жлоб, что жил в соседней комнате? Тот самый Колька-сантехник? И ребёнок за его дверью орал... Неужели то самое малое дитя?

– Насчёт того, тот ли самый Колька, я и сам в сомнении, – пожал он плечами. – Вроде бы не мог так сохраниться, а там кто их знает, сантехников. А вот младенец наверняка уже другой.

– А по его бабе не пробовал определить? Та ли она, которая двадцатипятилетней давности?

– Не с чем было сравнить, Фая. Я совершенно не запомнил ту, что четверть века тому назад. Помню только, что тот Колька – или всё же этот? – держал её за мебель. Типа тумбочки.

И дёрнул же его чёрт за язык! На кой вздумал вспоминать про мебель? Призрак Фаи на глазах приободрился, подбоченился и выдал прежним скандальным тоном:

– А где, кстати, мебель, подонки? Мебель стареет не так быстро, как люди. Ведь здесь были и мои вещи. Вертящийся табурет для пианино, например. Тот, на ножке-винте. И, кажется, матрац. Что-то там вдобавок из мелкой мебели.

Валериан Иванович усмехнулся. С чего бы это они все тут подбочениваются, словно польские пань на картине, изображающей, как Марина Мнишек въезжает в Москву? Ну, на Марину Мнишек Фая не потянет... Он вспомнил, что его рассудительный, докторальный тон в прежние времена раздражал подругу, но ничего не смог с собой поделать, когда принялся объяснять:

– Обо всем по порядку, Фаина Витольдовна. Зная твой характер, я подозреваю, что времени у нас впереди вагон и маленькая тележка. И так, денег на покупку комнаты у меня, разумеется, не было, однако тогда, как вдруг оказалось теперь, мы жили в эпоху процветания, а потому на каждом углу предлагались кредиты. Вот я и взял кредит под залог имущества, хотя никакого особого имущества у меня тогда не водилось. Зато сам чёрт был мне не брат, ведь я уже не выплачивал алиментов.

– А что ты знаешь о моём характере? – вспыхнула она. – Я всегда была мягкой и уступчивой, а вот склочной и въедливой – никогда!

– Я имел в виду, Фая, что ты отсюда не уйдёшь, пока не докажешь, что ты во всём права, а мы, остальные, виноваты. Так вот, к тому времени, когда надо было отдавать уже не проценты, а все деньги разом, я потерял работу. И не успел найти новой, как бабахнул кризис.

– Я, в отличие от тебя, отсюда вовсе не уйду...

Пропустив мимо ушей очередную задорную глупость Фаи, он в первый раз за всё время разрешил себе не только поднять на неё глаза, но и прищуриться. В результате признался:

– Знаешь, а я до сих пор боялся на тебя посмотреть – а вдруг увижу такую огромную медузу? Ведь больше четверти века прошла. И твои родители были скорее полные... Однако ты совсем не изменилась, Фая.

Она хихикнула, помолчала. Прошипела:

– Очки нацепи, недоумок.

– Очков у меня сейчас нет. У меня их заняли на последней прогулке, пару месяцев назад.

Валериан Иванович погрустнел. Очков он лишился самым нелепым образом. Во время последней его вылазки на бульвар сидел он, балдея, на скамейке. Какой-то качок пригородного вида подошел к нему, не говоря худого слова, сдёрнул очки с переносицы и положил себе в карман. Сказал, что позаимствовал на время, и спросил, не прихватил ли «отец» с собою очечника. Так он и остался с одним очечником.

– Я не желаю выслушивать твой бред, тем более в этой твоей манере объясняющего господина. Ты начал рассказывать о том, куда исчезла моя мебель. Нет, это ведь ни в какие ворота не лезет – прийти сюда, в святое место моих воспоминаний, и наткнуться здесь на тебя!

– А чем я так плох? Почему ты меня всю дорогу оскорбляешь?

– Посмотришь в зеркало, вурдалак.

– В доме нет зеркал, – ответил он напыщенно. – Я не смотрелся в зеркало вот уж лет пятнадцать, к твоему сведению.

– На нет и суда нет. А своего походного зеркальца я тебе не дам. Услышу ли я, наконец, отчет о том, как ты пропил мою мебель?

– Пропил? Это мы с тобою прогуляли скромное наследство, оставленное мне отцом. Две тысячи рублей. Кооперативной квартиры на них уже нельзя было построить, но две тысячи были ещё деньги. А какой полной была та жизнь! Ведь мы могли попасть в любой театр, а Окуджава пел нам с пластинки!

– Угу. А потом приехал император на голубой кобыле – и кранты. Ты меня не разжалобишь, мышиный жеребчик. А ну, колись, куда подевал мебель!

– Теперь так не говорят, Фая, – решил он на замечание, кроткое, впрочем. – А ты и тогда была провинциалкой. Очаровательной кантри, из песни слова не выкинешь.

– А как теперь говорят?

Валериан Иванович удивился: столько агрессии в Фая! Почему не растратила её в стычках с мужьями?

– Я не знаю, но так теперь не говорят люди нашего круга.

– Пусть! Пусть я провинциалка. Но и ты не москвич. Сам же рассказывал, как приехал из Волчанска и не мог найти в Москве общественный туалет.

– Разве? Теперь я не смог бы рассказать, потому что совсем забыл о Волчанске, – соврал он, сам не понимая, зачем. И тут же подбавил правдивой информации. – А я награжден медалью «В память 850-летия Москвы». Её

давали только коренным москвичам, и теперь, стало быть, я дипломированный москвич. Государственно подтверждённый!

– Чушь.

– Разве? Да, дьявол задери, я согласен. Вот, и я не коренной москвич, зато приехал на добрых двадцать лет раньше тебя.

– Ты вообще был на двадцать лет старше меня. Как старший, ты должен был не с дебильным энтузиазмом впутываться в мои девчоночьи авантюры, а, напротив, удерживать меня от глупостей.

И тут, на этом месте, прежняя Фая должна была улыбнуться, однако эта, как удалось рассмотреть, осталась серьёзной.

– Можно подумать, что ты тогда воспринимала меня как старшего, как ментора, что позволила бы себя воспитывать! Ты это прямо сейчас придумала, Фая. Тебе тогда было чуток за двадцать – и недаром я всегда так любил этот возраст! Эти девчьи двадцать два... Ладно, промолчу. Главное, и жизненный опыт уже имеется, позволяющий оценить в человеке верность и доброту. И не видеть в мужике под сорок и в сорок замшелого старца. А насчет глупостей...

– Что замолчал, краснобай? Рожай уже...

– У меня была очень скучная, очень правильная молодость, а тогда я кинулся догуливать своё, – повторил он свою в прежние времена излюбленную формулу. Объяснение это и тогда, в прежние времена, было полуправдой, а теперь он и вспомнить её не мог, свою по-глупому истраченную молодость. А вот детство, что пришлось на начало брежневщины, вспоминалось всё ярче... И почему всё-таки она продолжает его оскорблять? Ещё немного – и он себя не сдержит, обидевшись...

– Да ты даже не слушаешь меня! Прожжённый циник и эгоист, каким ты был, таким ты и остался. А теперь к тому же – и уже без балды – не казак лихой, а старпёр. Вонючий.

Вот тут он обиделся. В душе он полощется регулярно, хоть и впотьмах, носки и бельишко стирает по ночам на кухне под краном. Доказывать ничего не стал, не гоже метать бисер...

– Извини, но ты теперь старше, чем я был тогда, – заявил ядовито, донельзя гордый уместностью своего наблюдения. И не острога ли у него невзначай получилась?

– А мне совсем это не интересно – себя с тобою сравнивать. Да и время тогда было другое. Я спрашивала о мебели, болтун.

Валериан Иванович принялся переминаясь с ноги на ногу. Колени прямо отваливались. Вот ведь проклятье хороших манер, мамой воспитанных, отцовским ремнём закреплённых! Тот же «Колька с младенцем» давно бы уселся. Валериан Иванович произнёс жалобно:

– Кстати о мебели. Я хотел бы сесть. У меня проблема с коленями. А ты не могла бы сначала присесть где-нибудь?

Она обвела своими чёрными ямами комнату – и презрительно:

– Не на твоём же грязном полу сидеть.

– Можешь устроиться на своём чемодане. Это если он туго набит. Если нет, сломается, а ты окажешься на полу. На моём грязном полу.

– Мой заслуженный чемодан набит туго.

– Никогда не думал, что тебя будут когда-нибудь интересовать тряпки.

Убедившись, что Фая без членовредительства уселась на чемодан, он сполз на пол и с наслаждением вытянул ноги.

– Правильно не думал, мыслитель. Там полный комплект моей газеты. Я издавала газету «Наши кошечки».

– Не пошлово ли звучит? – поднял он клочковатую бровь.

– Зато можно было указывать, что это возрождение газеты, выходявшей при государе императоре Николае II.

Валериан Иванович усмехнулся. Если бы она выдавала такие глупости четверть века тому назад, он принял бы их за стёб. И всё, что та вздорная девчонка говорила, и всё, чем окружала себя, казалось ему тогда безумно сексуальным. Тайными тропинками представлялось, ведущими к её невероятно соблазнительному смуглому телу... Он стряхнул наваждение.

– Теперь понятно... Когда я пришёл покупать эту комнату, тут была какая-то мебель, однако Аделаида Никоновна её забрал. Я перевёз свою книжную полку, вот эту самую, и кое-какие вещи. Недостающее прикупил по дешёвке, а то и притащил с газона. Тогда возле мусорных баков можно было найти замечательную старинную мебель. Особенно, здесь в центре. Царапины я закрашивал акварелью, а сверху покрывал бесцветным лаком для ногтей. Нашёл целую батарею на балконе. Уж не ты ли оставила?

– Усекла. Моя мебель у потомка Аделаиды Никоновны. Что-то из сказанного тобою мне крепко не понравилось... Вот. Когда это я показывала тебе своих родителей?

– Странно, что ты забыла... Хотя... Если это и есть девичья память...

– Я вспомнила! Ты приезжал к нам в Ялту летом на пару дней. А чего ж там было неприятного? Я помню, мы трепались чуть ли не до утра, а днём поднялись к Музею Чехова, потом на Поляну Сказок. Наши отношения тогда были ещё гармоничны...

– Мы тогда очень нужны были друг другу именно как друзья, – подхватил он, донельзя довольный тем, что вроде перестала выступать. – Моя вторая жена тем летом додумалась завести любовника. А твой военный муж пребывал в далёкой отлучке, и у вас пошли очередные контры. Тот разговор, до рассвета, был очень важен для нас с тобою, хоть порою и мучителен для меня, мужчины. Ты была слишком уж очень легко одета, а кровать совсем узка, чуть ли не раскладушка, а сесть было нельзя, потому что в щели между стеной и кроватью ступни не помещались, даже и твои, узенькие. Вот и лежали мы, прижавшись друг к дружке...

– Я вспомнила: дом был набит курортниками под завязку, я сама спала на раскладушке у родителей, а тебе они отвели каморку под лестницей, зато отдельную. Однако же мы и сидели тогда, подняв ноги на стену, а не только лежали.

– Возможно, что и сидели. Я помню только чёрный ящик, вроде гроба, и в нём твое прелестное живое тело. Или так: пахнущую морской солью юную Венеру в тёмной, ещё не раскрывшейся раковине.

– Надо было мне это сказать – глядишь, уже тогда бы не устояла, – захихикала она.

– Дружба! Святое дело – дружба... А на следующий день, когда мы с тобой зашли к твоим вечером, чтобы я забрал рюкзак и с ними простился, твоя мать, отозвав меня в сторону, взяла с меня за двое суток по высшей ялтинской таксе. Я был не в обиде, только удивился слегка.

– Я не знала, поверь, – она смущённо отвернулась, а он удивился, увидев у неё на высоком узле чёрных волос ещё и крохотную шляпку.

А четверть века тому назад он удивился поступку Фаиной матери, потому что привёз им из Москвы гостинцы: коньяк какой-то навороченный, сухую колбасу, зелёный сыр и чуть ли не икру. В Ялте такое можно было достать, кроме разве что той марки коньяка, только через ресторан или совсем уж по большому благу. Зелёный сыр... это был уже чисто столичный деликатес, из «Елисеевского». Его растирали на тёрке и насыпали на слой масла, намазанного на белый хлеб. Давненько уже куда-то пропал он и здесь, советский зелёный сыр. Не вспомнить ли о бутербродах с зелёным сыром на ужин? Валериан Иванович вздохнул.

– В разговорах с тобой, в самом общении с юной печальной ундиной я тогда отошёл душой. А деньги... Что ж деньги?

– А я уже взрослой прожила со своими родителями достаточно долго, чуть ли не десятилетие, да так и не научилась смотреть на эти вещи их глазами. Однако я поняла их позицию. Знаешь, они ведь люди интеллигентских профессий, им тоже не сладко пришлось, когда были вынуждены прирабатывать мелким отельным бизнесом и в своем собственном доме угождать курортникам.

Валериану Ивановичу надо бы тогда оценить, что Фая сбавила тон, и самому быть поосторожнее, но он не сумел сдержать гордыни – нелепой в его нынешнем положении:

– Мне трудно в это вникнуть. Я всю жизнь был из тех, кто квартиры снимает, а не сдаёт, кто даёт на чай, а не наоборот.

– Вы только посмотрите на нашего аристократа! А в Ялте это всеобщий промысел, там это не считается стыдным – комнаты, углы и койки сдавать. Что за лето на курортниках заработал, оно и твоё на долгую противную зиму. А мои к тому же привыкли каждую копейку приберегать, чтобы я могла в Москве роскошествовать в этой комнате, когда в универе училась. Я бы тоже не стыдилась их и не злилась бы, если бы в Ялте и родилась.

– Так они приезжие? Мне твои родители показались коренными крымчанами.

– Таких не бывает. Разве что татары. Всегда удивлялась, почему о татарах говорят, что они кочевники? Не трогай их, и будут сидеть у себя дома, что в Казани, что в Крыму. Вот мы, русские, вот мы – настоящие кочевники.

– Постой, а ты почему к русским примазываешься? – завёлся он, успевший на неё обидеться, хоть и не припомнил бы уже, за что именно. – Сама же хвасталась, что цыганка.

– А... Знаешь, в юности хотелось как-то выделиться. А оседлые цыгане, да ещё с высшим образованием, это уже русские.

– Ага. И если ты столько лет прожила в Крыму, значит, у тебя спрятан и второй, украинский паспорт.

Она вздохнула. Призналась неохотно:

– У меня четыре паспорта на три фамилии, из них два заграничные биометрические. Мой покойный Игорь позаботился. У богатых людей это фишка такая, чтобы была возможность мгновенно выехать из страны, если понадобится.

– О! Понятно. Значит, паспортами ты, Фая, обеспечена. Почти как Штириц. Или как Мата Хари. Я смотрел старый фильм «Мата Хари» на пиратском диске

Греты Гарбо, – и он показал мохнатым подбородком в пустой угол комнаты.

– Она была похожа на меня? Такая же трусливая авантюристка?

Хоть вопрос, скорее всего, был шутливым, Валериан Иванович задумался над ответом. Произнёс неуверенно:

– Нет, конечно же, нет. В сравнении с тобой просто стерва.

– Это что же – комплимент? Но я и раньше была не подарок, а за четверть века совсем испортилась... Эй, скажи лучше, а куда это ты показывал?

– Куда, куда? Там тумбочка с видаком и плеером, кассетами и дисками. А-а-а... То есть стояла там тумбочка с видаком. Судебные исполнители забрали. А когда они ушли, я даже перекрестился – вот уж не знаю, правильно или по-католически...

– А ну-ка, перекрестись, сынку!

И хотя Фая аж никак не походила на Тарас Бульбу, он послушно перекрестился.

– Ты крестишься по-католически. С чего бы это?

– Даже перекрестился, говорю, – отмахнулся он. – Потому что они не догадались отобрать главной теперь моей собственности – этой вот комнаты. Представляешь, как мне повезло? Однако, что это я всё о себе да о себе? А ты, Фая, хау ду ю ду?

– Ты перекрестился по-католически... Ага. А кто твои родители? Почему я никогда не задумывалась, какой ты национальности, прохиндей?

– Потому что ты вообще никогда обо мне не задумывалась, – ответил он убеждённо. – Ты думала только о своём Олеге. А у меня в пятой графе при Советах было не то, что тебе сейчас подумалось. Впрочем, и я никогда

не видел особой разницы между евреями и цыганами. Ты уж прости, Фая.

– Вот те на, а я уже успела немножко расслабиться. Ведь та же комната, хоть и ты на полу сидишь, как прыщ, тот же потолок, та же дверь на балкон. Если бы вставили модные стеклопакеты, комната стала бы совсем чужая.

– А у меня забрали всё, что нашли в доме, когда я не смог расплатиться с банком. Даже книги унесли. Оставили вот только стеллаж – не понравился им, видишь ли, и вот... – тут он торжественно указал подбородком на галстук. – И его я догадался сразу же повязать на шею. А вот твой Олег, сама говорила, не умеет завязать галстук.

– А ты не смей говорить гадости о моем Олеге, ты, баба базарная! – тотчас же вернула она себе прежний задор.

– Откуда бы мне о них знать, подумай? Мог бы только повторить о нём те гадости, что слышал от тебя, – осмелел Валериан Иванович – и втянул голову в плечи.

– Не смей повторять мои гадости об Олеге! – притопнула она ногой. Как он сумел заметить, по-прежнему стройной. И с маленькой ступней – но разве могли они со временем увеличиться?

– Ты слишком многого от меня хочешь, – снова пожал он плечами. – Это ведь твой тогдашний муж, а мы с тобой были, хоть и пару ночей всего, любовниками – так как же я должен к нему, ко красавцу-блондину, относиться?

Вживе Валериан Иванович видел его, этого её Олега, только однажды. Тот, курсант радиотехнического, кажется, военного училища, был в увольнительной и мыл полы на кухне этой коммуналки, где его жена-студентка снимала комнату. А они с Фаем в тот день познакомились на выставке натюрмортов и завалили к

ней домой, потому что он обещал кокетливой красавице научить её варить «компотик». Другой бы ретировался, конечно, тем более рассмотрев мужа-культуриста в майке, только не Валериан, отнюдь не чувствовавший себя в чём-либо виноватым. И они с Фаей сварили-таки «компотик», и распили совместно, пока её драгоценный Олег, закончив на кухне, отмывал в суровом молчании сперва душ, а потом и туалет. А некоторое время спустя, когда они с Фаей уже по-настоящему подружились, она показывала мужа на фотках. Валериан Иванович до сих пор помнит одну, где Олег снят в толпе товарищей-курсантов, все в майках и в мятых трусах типа семейных, в этой их казарме с двухъярусными койками. Припомнилось, что, желая Фае угодить, нашёл он тогда лестное сравнение. Будто на фоне сельских парней этот курортный выкормыш выглядел, как князь Андрей Болконский, если бы тот вздумал перед Аустерлицем выкупаться в пруду вместе с солдатами своего полка.

Нынешняя Фая молчала, задумалась о своём, и он уточнил:

– Ах да, это тогда он был красавцем, а как сейчас выглядит, не представляю...

– Да уж, как Олег сейчас выглядит, лучше не представлять. Олега ведь давно уже похоронили в Твери, а туда привезли в цинковом гробу из горячей точки.

– Извини, Фая, я не знал. Сочувствую, чего уж там... Однако во всем этом есть и... как бы сказать...? Вот, позитивная сторона. Ты ведь теперь получаешь за Олега пенсию.

– А ты теперь только о пенсии и думаешь, скопидом.

– Наше государство простым людям ничего лишнего не даёт. Согласись, что с пенсией тебе легче пришлось.

– Вот привязался с этой пенсией! Тогда у Олега была уже другая жена. Он о такой, небось, всю жизнь мечтал: мешчаночка из тех, что натянут мини-юбку или эти их коротенькие... Как их?

– Леггинсы? – подсказал он робко.

– Какие-такие леггинсы, спятил ты, что ли? Раскрасятся как проститутки, и в выходной прогуливаются под военными училищами – авось душку-курсанта подцепят. Вот он с нею и покатил к новому месту службы, а я тогда осталась в Усть-Уюте.

– И тебя не выставили из служебного жилья? Поразительно...

– А ко мне командир части очень хорошо относился. И вовсе не то, что ты думаешь! Все старшие офицеры встали на мою сторону, когда Олег связался с этой своей сучкой.

– Она, твоя соперница служила официанткой в офицерской столовой – я ведь угадал?

Фая промолчала, отвернулась. Он возвеселился, потирая руки – внутренне, понятно. Руки держал на коленях, лицо серьёзное. Но когда пощупал кожу на небритой щеке, оказалось, что она искривлена в ехидной ухмылке.

Между тем Фая заговорила монотонно, словно и неинтересно стало ей рассказывать:

– Я там вела большую работу в женсовете дивизии: кружки ИЗО, макраме, танцевальный, драматический. В Усть-Уюте есть свой драматический театр, только саамский.

– Помнится, тебя всегда тянуло к этой мелкой самодеятельности, к любительщине, собственно... – обобщил он покровительственно. – Но ведь ты же училась на факультете журналистики?

– Тогда ещё не доучилась. Уже на заочном, кстати. Да и в районной газете не нашлось вакансий.

– А мне послышалось, что ты сама издавала газету... Нет, я вовсе не хочу беречь твои раны, ты не подумай...

– То уж совсем другая история, ты, отзывчивое ничтожество.

Он охнул – не в бровь, а в глаз! Да кто он теперь такой, чтобы возвращаться в ту позицию старшего товарища – мудрого, образованного, опытного, ироничного? И зачем только она приехала? Так ведь и до инфаркта можно довоспоминаться...

Раздался рёв ребёнка.

– Я это называю сериалом «Наши добрые соседи», – смущённо, словно это он сам орал за фанерной стенкой, пояснил Валериан Иванович. – Поднадоел уже несколько, зато, согласись, такой жизнеподобный! А с криком постановщик шумов перестарался. Надо просто перетерпеть, Фая.

Громкий стук в дверь. Они переглянулись – и дуэтом:

– Войдите!

Влетел «Колька с младенцем». Зарычал, как бы компенсируя для себя вынужденную уступку этикету:

– Разве я не говорил – помалкивать? Еле-еле успокоил малого, а вы опять гыры-гыры да гыры-гыры! И как вы смеете мою Машку обзывать проституткой и сучкой?

Валериан Иванович и Фая снова переглянулись. Фая обратила к соседу свои чёрные ямы и, как угадал Валериан Иванович, хлопнула накладными ресницами:

– А разве я кого-то называла проституткой?

– Речь шла вовсе не о твоей Марусе, Коля, – пояснил Валериан Иванович. – Имелась в виду та баба, что увела вот у неё, у Фаины Витольдовны, мужа.

– Выходит, я ослышался. Ну, извини, сосед. Однако я в последнее время что-то часто начал слышать... чего не должно бы слышаться. Будто Машка и у тебя тут промышляет.

– Да как? Опомнись! Я же пустой, Коля. Ведь ты и сам сказал, что послышалось.

– Как, как? – передразнил сосед. – А хоть бы и в кредит. Ты же у нас большой спец по кредитам. Смотри мне! И запомните оба накрепко. Пусть моя Машка блядь, пусть и сучка. Однако называть её блядью и сучкой имею право только я. Намотайте оба себе на ус!

Фая отшатнулась, испуганно потрогала пальцем у себя под носом. Пожала плечиками. Снова раздался детский крик – и усилился, наливаясь басовитыми обертонами. «Колька с младенцем» тяжело подпрыгнул и убежал. Валериан Иванович развёл руками.

Она поинтересовалась вкрадчиво:

– А что этот сантехнический монстр вякал насчет тебя и своей супруги? Ты же импотент...

– Во-первых, я не импотент, и тебе самой это прекрасно известно. Во-вторых, я же не идиот, хотя мне всегда лестно внимание молодой женщины, пусть даже крайне вульгарной. В-третьих, я без денег, – тут он оглянулся и продолжил уже шепотом. – В отличие от Аделаиды Никоновны, вот он может себе позволить такое по соседству.

– Такое – что?

– Тру-ля-ля!

За стенкой рёв грудного ребенка, примолкший было, снова усилился. Теперь уже со стороны кухни донеслись нервные стуки и ругань няньки-сантехника.

Фая поёжилась. Вдруг встрепенулась:

– А кстати! Сколько в месяц ты платишь сейчас Аделаиде Никоновне?

– Нисколько в месяц не плачу, – отчеканил он гордо. – Я же купил комнату.

– Но ты же платишь за коммунальные услуги? За свет, за воду, за канализацию... За неработающий лифт, как водится. Вот не думала, что в Москве сохранились ещё такие допотопные лифты.

– Да не плачу я, так вышло... Всё идет в долг. Но я максимально экономлю. Все мои лампочки, например, – и в комнате, и на кухне, и в душе, и... ну, сама знаешь, где... Аделаидой Никоновной самолично выкручены.

– А разве ты не получаешь пенсию, скопидом? Ты ведь раньше прилично зарабатывал.

– С пенсией вышла странная история. Да, я успел в своё время потрудиться на пенсию. А потом служил пиарщиком на всяких, как их называл Маяковский, министров-капиталистов.

– Пиарщиком? – перекинуло Фая. – Помнится, у тебя была же учёная степень...

– Учёная степень весьма украшает резюме. Да будет тебе известно, что пиарщик может срубить хорошую капусту только в сезон, например, в избирательную кампанию. А тогда резюме приобретает решающее значение.

– Ты преисполнился мудрости, которую Кришнамурти называет ложной.

– Кто? А, вспомнил... – усмехнулся он снисходительно. – Но ты не дослушала меня! Пока оставался фрилансером, с оплатой в конверте, нормально и пенсию получал. А потом соблазнился, лопух, постоянной должностью в фирме, а тут и влип. Сначала у меня сняли пен-

сию, как у работающего пенсионера, а потом и в фирме сократили именно как пенсионера, в первую очередь.

– Почему же ты не обратился в собес, чтобы тебе вернули пенсию?

– Конечно же, я обращался. Но тут-то и началось самое интересное.

– Для кого интересное? – хмыкнула она.

– Для тебя, Фая, если спрашиваешь... А вообще-то нет повести печальнее на свете. Пенсию мне не вернули. Фирма оказалась под следствием за то, что раздавала зарплату в «конвертах», а на самом деле потому, что пиарила не тех, кого надо. Моя пенсия оказалась вещественным доказательством, и мне её обещали вернуть, когда закончится процесс. Или моим наследникам – что там окажется на счету... А с чего вдруг ты решила, что я импотент?

– Будто сам не знаешь? Я вспомнила те три дня и две ночи, когда мы с тобою решили променять нашу нежную дружбу на интим. Словцо, конечно же, обидное, но разве оно не уместно в данном случае?

– А... С тем же успехом я мог бы обозвать тебя фригидной динамисткой, – выпалил он.

– Благодарю покорно, – ответила ядовито.

Поднялась Фая с чемодана, довольно неуклюже поднялась: видно, и у неё с суставами неладно. Принялась прохаживаться по комнате, и стало заметно, что несколько сгорбилась. Однако Валериан Иванович следил за её расплывчатым силуэтом вовсе не для того, чтобы фиксировать возникшие недостатки фигуры. Готовился вовремя остановить, если вдруг вздумает выскочить на балкон. Заранее же не хотел её пугать, нет. А желание уберечь Фаю от опасности заставило вспомнить о чудесных часах общения со старшим сыном, Радиком, в первые годики, до разрыва с его

мамашей. Что он теперь подельывает, непутёвый Радик? Счастлив ли? Жив ли вообще в этой своей Испании? Валериана Ивановича обдало теплом, в животе на время перестало сосать, а глаза оказались на мокром месте.

К тому времени, как остановилась Фая посреди комнаты и уставилась на него своими чёрными ямами, он окончательно растрогался, вытер глаза тыльной стороной ладони и забубнил мягко, примирительно:

– Вот видишь, ты обиделась. А меня так всю дорогу обижаешь. Да, у меня той ночью не получилось. Однако само общение с тобой было таким восхитительным, мы так много узнали друг о друге... Я говорю о себе, конечно. Мои пальцы, мои губы до сих пор помнят, наверное, каждый квадратный сантиметр твоего волшебного тела, запах твоих пышных волос...

– А ты всё равно импотент!

– Да брось ты... Прошло несколько лет, и нас завалило сексологической литературой. И оказалось, что я из тех мужиков, которым необходимо сначала привыкнуть к каждой новой женщине. Неудобно, согласен, однако же вовсе не смертельно. Да ты и сама ведь помнишь, что на утро у меня всё было в порядке, однако тогда уже ты не захотела. Последней близости больше не захотела, остались мы на уровне милых прихотей. И кто из нас, спрашивается, был виноват?

Она не пошевелилась в ответ, осталась неподвижна посреди комнаты, как новомодная парковая скульптура без постамента. И заговорила уже без всякого задора, почти бессвязно и так тихо, что он кое-чего не сумел расслышать. Она-де вспоминала, конечно же, об их отношениях, ведь яркий составили они эпизод и в её жизни. И время находилось повспоминать. Особенно полярной зимой в Усть-Уюте, под вой вьюги и треск дров в печи. Когда не смогла сразу вернуться

в Ялту, побеждённая на всех фронтах. О, как умел её старший и мудрый друг ужалить в самое больное место! Умел и до сих пор не разучился. Да, любительщина, да дилетантство, да, она так и не научилась делать что-либо профессионально. У неё даже детей нет! Он наострил уши, когда Фая вспомнила о тех трёх сутках, проведённых почти невылазно в постели. К тому же она, видно, поняла, что стал глуховат, и закончила уже достаточно громко.

– Странно, а ведь ты до сих пор не понимаешь, что с нами произошло. Разве дело было в физиологии? Ты хотел насолить своей стерве, а я Олегу. Ты пытался разорвать свою привычку пилиться именно с ней и только с нею, а я оставалась безумно влюбленной в Олега. Если бы и не возникла у нас из-за этого задержка, и всё получилось бы, как в порнофильме – неужели это хоть что-нибудь изменило бы?

– Умно, Фая. Быть может, и чересчур умно, – только и сумел он ответить.

Не успел собраться с мыслями, как она схватилась снова за живот, ойкнула и убежала.

Валериану Ивановичу пришло вдруг в голову, что более серьёзный интим мог повернуть их отношения в другое русло, и сам он, в частности, отнёсся бы к ним с бóльшей ответственностью. Не удрал бы от Фаи то есть, пребывая в сложных и не всегда приятных для самоуважения чувствованиях. Но ему не хотелось думать в этом, не слишком лестном для себя направлении. Предпочёл синицу в руках и принялся мечтать, как эта новая Фая, справившись с пищевым отравлением, выведет его погулять. И не обязательно на бульвар, хотя бы и во двор, сразу за мусоросборником. А посидеть на бетонном блоке, да на зелёную травку посмотреть.

И главная завлекалочка – повисеть на Фае, пока они доберутся туда и назад. Сколько тогда вспомнится!

А бывая подруга всё не возвращалась, ребёнок за стенкой притих, и Валериан Иванович решил дать волю своим творческим инстинктам. Он подполз к оставленному гостьей из прошлого чемодану, подтащил его под книжный стеллаж, после недолгой возни бестрепетно отщёлкнул замок и засунул нос внутрь. Пованивало там столярным клеем, но, видимо, этот советский фибровый чемоданчик имеет для Фаи некую магическую ценность. Дорог ей как память, если перевести на бабский язык.

Удовлетворённо хмыкнув, вытащил две перевязанные бечёвкой подшивки газеты небольшого формата, осмотрел обе и с первой страницы, и с тыла. Что ж, кошки и коты до того замечательные модели, что снимки не удалось испортить даже провинциальному фотографу, полагающемуся на экспонирование по средней освещённости и на автоматическую наводку на резкость. Или это сама Фая фоткала? Тогда замечания лучше оставить при себе. Так-с, объявлений и реклам на двух последних, с интервалом в год, страничках маловато, прямо скажем. Критически мало. Доходность на нуле была, значит, ведь распространялась газетка бесплатно. Можно бы посоветовать напридумывать самой, да только поздно уже. Он выбрал эффектное место для подшивок и поставил их рядком на полку.

Потом извлек из чемодана два платья, одно длинное романтическое, розового цвета, второе мини, красное. Пришёл к выводу, что оба Фае явно не по возрасту, но это сейчас, а четвертью века ранее она выглядела бы в них потрясно. Так, может быть, для себя тогдашней они и покупались? Карабкаясь по стеллажу, он поднялся на ноги, с платьями, свисающими с плеч,

и тщательно их развесил. Потом нашёл место для пары кружевных трусиков и особенно долго устраивал на стеллаже лифчик. Ведь если трусики нашли быстрый и приятственный отклик в его творческом сознании, то лифчик показался чужим и эмоционально холодным из-за своего размера. Он ведь прекрасно помнил, какие у юной Фаи были грудки – куда меньшие, очень обе миленькие, две этакie грушки. Господи, да они прямо стоят перед глазами! Но если даже собачка во время пути могла тра-та-та подрасти?

Снова опустился на пол Валериан Иванович, разместился напротив лифчика и тщательно осмотрел новую инсталляцию, оценивая. Что ж, лучше ему сейчас и не сделать.

Окончательно прервал творческий процесс шум из коридора. Рывкнул недовольно «Колька с младенцем», в дверь отрывисто постучали, и она тут же скрипнула, поворачиваясь на петлях. В комнату ввалился и аккуратно прикрыл за собой дверь жлоб не первой молодости. Здоровяк из тех, кто в юности позорился на московских улицах в спортивном костюме. Сейчас облачён в секондхэнд. Одежду, как и красное круглое лицо с глазками-щёлками, маячившее под кожаной кепкой, Валериан Иванович воспринимал расплывчато, но в оценках своих был уверен.

Он переполз на своё прежнее место и разрешил:

– Войдите, конечно же.

– Благодарствую, но я уже... – был ответ. – Ты что ж, отец, подслеповат?

– А это не вы ли заняли у меня очки, уважаемый? – узнав голос, поинтересовался хозяин.

– Понятно, очки звездой накрылись. Так ты, что ж, сторожишь тут жилплощадь? – ловко уйдя от ответа,

пришелец ткнул пальцем в оранжевые трусики. – И даже с бабой? Неплохо устроился, отец.

– Дама у меня гостит, – пояснил Валериан Иванович чопорно.

Хам достал бумажку, наверняка вырезку из газеты бесплатных объявлений, оседлал нос-пуговку очками, очень похожими на отобранные у Валериана Ивановича, поглядел-поглядел на бумажку – и подозрительно:

– Уж не Аденоида ли Никоновна случаем?

– А вам что за дело? – пожал хозяин плечами. – Фаина Витольдовна, допустим.

– А я до Аденоиды Никоновны. По объявлению. Желательно мне посмотреть выставленную на продажу жилплощадь.

И хоть понятно было изначально, что речь может идти только о досадном недоразумении, Валериан Иванович похолодел. Несмотря на свой испуг, а также вопреки ему ответил, как настоящий хозяин, с непоколебимым чувством собственного достоинства:

– Ошиблись, уважаемый. Эта жилплощадь принадлежит мне. Как видите, я здесь живу.

– Лежишь ты здесь, приходишь, а не живёшь. Это разные вещи, отец, – уточнил хам. – А жилплощадь та самая. Ведь тута «14 м»?

– Что верно, то верно. Четырнадцать квадратных метров. Только эта комната не продаётся.

– Ты только не волнуйся, отец. Мне сейчас, главное, посмотреть, – и шаркнул ногой в кроссовке по полу. – А туточки что? По звуку слышу, что дерево, не линолеум. А не паркет ли?

– Паркет. Самый настоящий паркет. Если долго тереть мокрой тряпкой, он со временем вырисовывается, – любезно ответил Валериан Иванович.

Ему припомнилось, что Фая собиралась помыть здесь полы. Вот пришлось бы ей потрудиться! Было немножко совестно. Надо же – довёл паркет до такого состояния, что даже не помнит его рисунка.

Тем временем незванный гость подошёл к стеллажу, присмотрелся.

– А это ты своими руками, наверное? Хвалю. Топором вырубил, что ли? – сняв с полки и взвесив на руке одну из подшивок, заметил одобрительно. – Вижу, и ты, отец, завёл свой малый бизнес. Макулатуру сдаёшь?

– Это не моё. Поставьте на место.

– Будь спок, отец. Мне бы только поглядеть, нет ли за ними в стене дыр, – поставив пачку на полку, снял надоеда вторую. – А где книжки? Сдал во «Вторсырьё»? Молодец. Книжки только засоряют вот это, голову, а к тому ж загромождают жилплощадь и собирают пыль. Я всегда говорил, что пары-тройки книжек в доме достаточно.

– И ошибались.

– Да не стесняйся ты, отец! Правильно сделал. А я знаю одну библиотеку, её вот-вот вытурят из помещения. Ребята замыслили там шашлычную устроить. То-то будет макулатуры! Могу, пожалуй, дать адресок, – и, отведя в сторону подол красного плаття, горестно. – Чуюло моё сердце, обои оторваны.

– Руками не трогать! – злясь на собственную беспомощность, прикрикнул Валериан Иванович. – Сказано же – не моё!

– Ну, ничего, ничего, главное – обойтись без штукатурных работ. Евроремонт – это, само собою, вещь, вот только кусается, – он снял с полки за бретельку лифчик. – Однако же сколько ваты сюда напхано! Не иначе, как ддя тепла.

– Не трогать грязными руками!

– А, может, эти шмотки как раз твои? А ты в них подрабатываешь? Дескать, старой перечнице больше подадут?

– Ничего себе! Я не по этому делу. А вы на меня посмотрите! Очки наденьте! Мои очки.

– Ну, посмотрел, и что? Вижу и без очков: старуха выходит отменно безобразная, – и в некотором противоречии со сказанным достал и нацепил очки, снова вынул из кармана вырезку, прочитал. – «Балк. в натур.».

Что балкон, я усёк, а что там дальше?

– Наверное, «в натуральном виде», то есть неостекленный, – неохотно подсказал Валериан Иванович.

– Пойти посмотреть.

– Очень не советую, – и шёпотом пояснил. – Постреливают.

– Если малец какой из воздушки, то я его вычислю и приструню. Перво-наперво – на родителя его выйти...

– Да нет, какой уж там малец с духовым ружьем... В высотке напротив, за каменным забором нервные жильцы живут. Потому что нервная служба у них. Можете сами посмотреть на выбоины в бетоне. Только ползком подбирайтесь.

– Нет уж, благодарствуйте... На этот случай, с балконом, буду скидку требовать. А тебе, отец, спасибо, что предупредил. Ну, я пошёл до Аденоиды Никоновны, – и с внезапным враждебным напором. – Это куда?

– Очень просто. В конце кухни есть дверь. Колотите в неё, пока не посинеете, авось откроет.

Через пару минут издалёка донёсся настойчивый, размеренный стук. Не умолкал он, и на Валериана Ивановича, уставшего от всей сегодняшней суматохи, надоедливый этот стук подействовал, как ни странно, умиротворяюще и успокоительно. Он начал задрёмывать,

даже не закончив свою последнюю чётко оформленную мысль – о том, что, похоже, разучился разговаривать с народом.

Как только дверь снова скрипнула и затворилась, он сразу же открыл глаза. Не успела мать перед глазами окончательно рассеяться, как из неё вынырнула Фая, и на её расплывающемся лице кое-что изменилось: исчезли кроваво-красные губы. Видно, ей пришлось смыть помаду, а с собою патрончик не прихватила. Проснувшись окончательно, он заметил, что бывшая подруга приятно оживлена.

– Знаешь, я заглянула в здешнюю смешную душевую. И вспомнилась прикольная история, как мы с тобой там застряли, потому что нам надо было вот именно в тот момент, теснясь под струями воды из душа, выяснить в очередной раз отношения. А тогдашний – или этот же самый – Колька-сантехник выносил дверь, чтобы помыть попку своему младенцу. А когда мы наконец, вышли, он едва не начистил тебе физиономию – или начистил всё-таки?

– Не начистил и, по-видимому, то был всё же другой сантехник, – буркнул Валериан Иванович.

Беда в том, что он совершенно не помнил этого эпизода – а если бы они вместе принимали душ, разве возможно было бы забыть о таком волнующем переживании? Не говоря уж о перспективе получить по морде от её соседа-сантехника. Выходит, Фая спугала его с Олегом – или с другим своим любовником...

А она вышла на середину комнаты, ахнула, всплеснула руками.

– Здорово! Да ты молодец! Есть ещё порох в пороховницах! Да и проветрятся тряпки, а то чемодан провонял какой-то дрянью... Отлично, Валерик!

– Так ты не сердишься? Спасибо на добром слове...

Похоже, Фая улыбнулась ему и пальцем с зелёным ногтем показала на розовые трусики:

– А вот их я бы перевесила левее. И вот что мне пришло сейчас в голову: стринги какие-нибудь здесь совсем не смотрелись бы – то ли дело романтические кружева!

– Стринги, в отличие о кружевных трусиков, ни в коей мере не артефакт, – солидно пояснил он.

– Конечно, – согласилась она и захихикала по-девчоночьи. – В случае со стрингами на эстетические качества претендует лишь то, что ими прикрыто и что вокруг. Старых баб это не касается – или и на нас распространяется всё-таки?

Валериан Иванович разинул рот. Тем временем Фая примерилась и с размаху уселась на чемодан. Тот продавился под нею до пола, она упала на спину, задирая ноги, потом снова присела на останки чемодана.

– Уж лучше здесь, чем на грязном полу, – пояснила спокойно.

– Прости, бога ради, – сам, не зная за что, повинился Валериан Иванович. Удержал в себе смех. Прислушался. – А ведь стук прекратился...

Как бы в ответ стукнула одна дверь, за нею вторая. В комнату ворвался «Колька с младенцем».

– Я сколько раз просил тебя не стучать, сосед! Извиняюсь, мадам, но это и вас касается!

– Да это не мы! – вскинулся Валериан Иванович. – Это посетитель к Аделаиде Никоновне добивается. Жлоб такой в кожаной кепке.

– Понял. Лады, замётано. Я, вообще-то, по другому делу, – и помолчав, он проговорил – укоризненно,

пялясь упорно на новую инсталляцию. – Сосед, мы же договорились насчёт...

– О твоей супруге? Конечно, конечно. И я больше ни сном, ни духом...

– Сосед, лучше бы тебе не злить меня. Мы договорились насчет моих кастрюль.

– А-а-а... Однако, насколько мне помнится, насчёт кастрюль мы не договаривались.

– Лады, не договаривались. Однако я тыщу раз хотел подойти к тебе и договориться. Потом смотрю – ты вроде и без того наш договор выполняешь, я и не подошёл.

– Не лучше ли нам закончить этот разговор завтра утром? – попросил Валериан Иванович. Он принялся делать большие глаза, стараясь показать ими на гостью, и гримасничал вовсю, только разозлив тем тупаря-сантехника.

– Да хорош кривляться, сосед! А вот именно из-за мадам я и пришёл! Я же помалкивал, когда в кастрюле с борщом уровень жидкости понижался на семь миллиметров. Я же не зверь, понимаю... Тем более, что ты в кастрюлю руками не лазил, а отливал в свою мисочку, а мисочку после мыл. Я проверял.

– О! – выдохнула Фая.

– Мне ведь совсем не нужно, чтобы мой сосед по коммуналке помер с голодухи. Не фигу себе реклама для сантехника высшей квалификации! И чтобы ты тут, рядом с моим дитём, валялся неделями дохл... то бишь неживой. Я даже у твоего засова шурупы выкрутил и засов забрал. Хотя теперь... – поглядел на них оценивающе. – Может, теперь снова прикрутить?

– Это было хамство – откручивать! – возмутился Валериан Иванович, чуть не плача. – И вовсе не потому ты открутил засов!

– Молчать, доходяга! О моей Машке только я имею право высказываться!

– Вам бы лучше, мальчики, вернуться к семи миллиметрам, – посоветовала Фая. – Уж очень интересно!

– Интересно ей? А кто сегодня сожрал две мои тефтели?

– Что?! – с этим возгласом Фая подпрыгнула на своём чемодане, чем, судя по треску, капитально его доломала.

По-прежнему таращась на платья, распяленные на стеллаже, сантехник Коля откашлялся.

– Я сегодня на обед заделал диетические тефтели из курятины. Слепил я двадцать тефтелек. А когда засыпал в кипяток, пересчитал снова. Вышло двадцать две. Только что вытащил их из бульона, а их всего восемнадцать, гроб-гардероб! Я дважды пересчитал! Я же не зверь, понимаю, когда ты берёшь одну-две, однако кормить моими тефтелями ещё и бабу – вот где настоящее хамство!

– Опозорил ты меня перед человеком, Коля. И совершенно безвинно, ей-богу, – вымолвил Валериан Иванович еле слышно.

– Хоть мы и не ели, но в качестве компенсации... Я утром купила два больших чизбургера, один съела – не возьмете ли второй?

– Благодарствуйте, фаст-фудов не употребляем... А кой хрен тогда схавал мои тефтельки?

– Облыжно я не стал бы никого обвинять, но... – выдавил из себя Валериан Иванович. – На кухне околачивался тот тип в кепке. Уж если он позарился на мои поцарапанные очки...

– Точно!

– И я бы посоветовала вам, Коля, заново перекипятить тефтели.

– А это для чего? – поинтересовался тот небрежно, думая теперь явно уже о другом.

– Ведь тот парень беспрерывно доставал из кастрюли руками.

– Ну и поц! – взревел сантехник в некоем даже восторге. – Попрыгает теперь у меня.

Выбежал он – и тотчас же раздался басовитый детский плач.

– Не по расписанию что-то, – наставил ухо Валериан Иванович, глаза по-прежнему пряча от Фаи. – Неужто приболело дитя?

– Нервничает, бедняжка. У него, небось, паранормальная связь с папашей.

Стук дверей из коридора. За ним другой. Ввалился, не постучав, давешний мужичок в кепке.

– Можно? Не помешаю, случаем?

– Вы уже вошли, – заявила Фая чопорно. – Что у вас?

– У меня ейные очки, – и с этими словами он подтопал к Валериану Ивановичу и положил ему на колени очки. – Бери взад, отец. А позаимствовал я объявления прочитывать. Мне теперь без надобности.

– Что так?

Реакция на этот вежливый и почти равнодушный вопрос Валериана Ивановича словно пружину в мужичке спустила. Он сорвал с бритой головы кепку, бросил её на пол. Подвигал ногами неуклюже, будто хотел растоптать, да передумал. Скривившись, вернул кепку на голову и крепко сжал пудовые кулаки. Заговорил злым шёпотом:

– А так, что пролетел я, отец, как фанера над Парижем. Этот твой Аденоида Никоновна такую цену заломил, что где уж нам с тобой! И никакого торгу, как оно меж людьми водится. Упёрся, словно поперёк горла.

Будто и не слышал никогда, что квартиры подешевели. Думал я, что у меня деньжищи, что действительно подсобрал толику, вкальывая да изворачиваясь, а для этого чмо – всё едино, что гривенник.

– Успокойтесь, свет не сошёлся клином на Аделаиде Никоновне, – попробовала утешить его Фая.

– Видно, суждено мне жить до смерти в домишках с дощатой будкой в конце двора, и чтобы до электрички пятнадцать минут. Нет, чтобы до «Елисеева» десять минут, как туточки!

– И до Театра имени Ермоловой совсем недалеко, – вздохнула Фая.

– Зато хоть там воздух почище, и природа не отравлена, – заметил Валериан Иванович.

– Где это, отец?

– В области. В Подмосковье. Будто и сами не знаете.

– А я этого воздуха надышался по завязку. Рядом с химзаводом. Однако засиделся я у вас тут, пора и честь знать. Прощевайте. Извиняюсь, коли чего не так.

– Да ладно уж, замнём для ясности, – критически изучил Валериан Иванович залапанные очки, достал очечник, спрятал их. – Чего уж нам делить... До свидания.

– Прощайте, – улыбнулась Фая, а когда мужичок вышел, решила блеснуть эрудицией. – Натуральный человек предместья. Помнишь, как мы с тобой читали Багрицкого?

Они разом вздохнули и разом вздрогнули. Потому что из-за двери донёлся торжествующий крик сантехника «Так вот ты где!» и звонкие звуки начала кулачной драки.

Валериан Иванович попробовал продолжить разговор на культурную тему:

– То есть мещанин, не желающий внимать революционной романтике? А по мне, этот так слишком уж натуральный. Не переигрывает ли?

И словно доказывая свою натуральность недоверчивому бывшему пиарщику, в следующее же мгновение пригородный житель влетел в комнату, но уже в горизонтальном положении. Головой распахнул дверь, скользнул подбородком и животом по полу. Едва не упёрся носом в туфлю Фаи, сидящей на чемодане. Встряхнул головой, пробормотал:

– Прощения просим.

Ещё раз тряхнул головой, поднялся на ноги. Оттряхнул одежду, сжал кулаки, выбежал. Фая с некоторой поспешностью покинула обломки чемодана, встала у стеллажа рядом с Валерианом Ивановичем.

– Однако... Валерик, мне глубоко наплевать, натуральный ли жлоб этот подмосковный хам. Но скажи мне правду... Нет, неужели твои дела так плохи?

– Увы, Фая. Впрочем, о пенсии я тебе рассказывал.

Тут в дверь заглянул, лёгок на помине, подмосковный хам, бросил на чемодан обрывки клеенчатого фартука. Ничего не успел сказать, только оскалил жёлтые зубы, когда «Колька с младенцем» ухватил его за шиворот и выволок из комнаты. С ворота ковбойки звонко посыпались на пол пуговицы. Теперь звонкие плюхи доносились уже из-за самой двери.

– А ведь жили мы здесь так тихо, мирно, – вздохнул Валериан Иванович. – Боюсь, Аделаиде Никоновне не понравится.

С грохотом влетел «Колька с младенцем», с разбегу ногой застрял в чемодане и таком положении, с чемоданом на ноге, рыча и пошатываясь, возвратился в коридор.

– Ну, нет! Это уже чересчур! И как только ты такое здесь терпишь?

Это уж у Фаи не выдержало ретивое, она выпрямилась и принялась чеканить шаг на выход. Той своей вспомнившейся тотчас же Валериану Ивановичу боевой походочкой.

– Мне и самому неловко, – развёл он руками. – Кстати, о Багрицком... Малая серия «Библиотеки поэта», в тёмно-синем тканевом переплёте. Стоял вон там, где висят твои розовые трусики. Ты, конечно, не помнишь этого, но твоя смуглая, однако ещё не загорелая кожа в вырезе халатика...

Не договорил он, потому что Фая выскочила в коридор. Возвратилась не сразу и в виде несколько растрёпанном, однако с остатками чемодана. Хлопнула входная дверь. Наступила относительная тишина.

Отдышалась бывшая квартирантка и только собралась заговорить, как ввалился, понуриив голову, «Колька с младенцем». У него заплыл глаз, рубашка выбилась из штанов. В руках обрывки фартука.

– Где-то тут ещё оставался кусок... – подняв с полу обрывок клеёнки, принялся вдумчиво его рассматривать одним глазом. Заныл. – И что я теперь Машке скажу?

Убрался сосед, а Фая прошлась по комнате и выдала, наконец, на гора результат своих размышлений:

– Знаешь, мне как-то расхотелось поселиться здесь. И что мне теперь делать с чемоданом? Разве бечёвкой подвязать? У тебя найдётся верёвочка?

– купишь новый. Ты же при деньгах.

– Не помню, чтобы я докладывала тебе о своих капиталах, – отчеканила она. – Они у меня в другом чемодане, он в камере хранения, а какого вокзала, не скажу. Если положить в банк, тот чемодан освободится для

шмоток. Сама удивляюсь, зачем тебе об этом докладываю?

А он удивился: к чему такая жесть? Или не отошла ещё от схватки за чемодан?

Не успел он придумать, какими словами ей о том сказать: раздался новый стук в дверь. Особый. Хозяйский. У Валериана Ивановича сердце упало: теперь-то уж точно Аделаида Никоновна! Они с Фаей переглянулись, и он уловил удивление в чёрных ямах её глаз: отчего, мол, испугался? О, не знает она Аделаиды Никоновны...

– Войдите! – выдали они дуэтом.

Конечно же, Фая, с молодых ногтей лелеющая своё чувство прекрасного, очень была бы не прочь дать глазам отдохнуть на мужчине хоть сколько-нибудь привлекательном. Да где уж там... Аделаида Никоновна, вошедший, позванивая связкой ключей на большом кольце с брелоком, отнюдь не годился бы на роль положительного киногероя, благородного ковбоя какого-нибудь, а вот одного из тупых пьяниц в салуне сыграл бы вполне убедительно. Он из тех мужчин, что в бёдрах и талии шире плеч, а блестящая от жира физиономия в любое время дня и ночи выглядит так, будто он страдает от жестокого похмелья. Входя, Аделаида Никоновна едва не упал, поскользнувшись на пуговицах, что отнюдь не прибавило ему хорошего настроения.

– Я внук Аделаиды Никоновны, – провозгласил свысока. – Не надо приветствий! Рукопожатиями переносятся вирусы.

– А я была знакома с настоящей Аделаидой Никоновной, – задорно заявила Фая. – Я снимала у неё эту комнату.

– Да? Впрочем, неважно, – поднял реденькие брови Аделаида Никоновна и всем своим массивным телом повернулся ко квартиранту. – Когда вы становились ко мне на квартиру, вы не предупреждали меня, что будете шуметь, устраивать драки, развратничать среди бела дня, мешать своими криками другим жильцам. Посему я вынужден отказать вам от квартиры.

– Что я слышу? Во-первых, это не я, а ребёнок Коли. Во-вторых, я ведь купил у вас эту комнату, Аделаида Никоновна.

– Что за бред? С чего вы это взяли? Не спорю, что вы заплатили мне за пару лет вперед, но о продаже речь не шла.

– Господи, да мы же подписали контракт, Аделаида Никоновна.

– А и в самом деле, Валерик! – вмешалась Фая со своим фирменным задором. – Ты просто покажи этому утюгу контракт.

От такой наглости квартирохозяин потерял дар речи. Несколько секунд раскрывал беззвучно рот, пока не сумел прошипеть:

– Если вы надеетесь, дамочка, что после этих слов я сдам вам комнату, то я очень удивляюсь. Бросьте представлять себе! И почему, собственно, утюг?

– Да так, похожи. А ты, Валерик, тащи-ка сюда контракт.

– Отстань! Где я тебе его возьму? Лежал в том письменном столе, который... Я же объяснял, что всю мебель вывезли за долг.

– Вот видите, и я о том же, – заявил домохозяин и принялся критически рассматривать потолок.

– А вы, Аделаида Никоновна, не могли бы сходить за своим экземпляром? – робко попросил Валериан Иванович.

– Не вижу нужды. Я прекрасно помню, что это контракт на аренду. У вас по закону ещё месяц, но за него уже нужно заплатить.

– А сколько? – поинтересовалась Фая. Рассмотрев к этому времени на брелке кольца для ключей памятник Минину и Пожарскому, она подумала, что в такой гниде отвратителен даже патриотизм.

– Коммерческая тайна, – отрезал Аделаида Никоновна.

А вот к Валериану Ивановичу он подошёл, наклонился над ним, отпрянул, скривившись, потом всё-таки снова наклонился и изволил прошептать сумму на ухо. Тот охнул, схватился за сердце и ещё глубже осел на полу. Теперь его породистый нос торчал вроде как из кучки тряпья.

– Ничего себе коммерция! – взвилась Фая.

– На оплату даю три дня. До свидания.

– А едва ли мы с вами ещё увидимся! Мне что-то расхотелось возвращаться в эту комнату, вот! Жить рядом с таким бессовестным жлобом...

Валериану Ивановичу стало ясно, что Фаю несёт, и он, зная её заядлый характер, опасался членовредительства и вызова полиции. Что именно его защищала с прежней страстью, почему-то не тешило. Он вообще пока предпочитал удерживаться от мыслей о положении, в котором оказался.

А вот мяч оказался на стороне Аделаиды Никоновны. Человек-утюг не пренебрёг своим правом на ответный удар. Уже в двери он остановился и заговорил снисходительно, будто кухарке объяснял, как жарить морковные котлеты:

– Это я-то бессовестный жлоб? Сразу видно, дамочка, что вы страшно далеки от менеджмента, понятия не имеете, как дела делаются. Если и я хочу в этом

году отдохнуть на Канарах, то должен ведь для этого подсуетиться? И есть ли какая разница между нефтью и жилплощадью? А насчет совести... Спросите лучше своего престарелого хахаля, кого именно он пиарил в той фирме, откуда его сократили.

Исчез квартирохозяин, незаметно так. Будто сквозь стену прошёл.

– И что ты на это ответишь? – спросила Фая агрессивно. Наверное, по инерции.

– Отвечу, что совесть тут не причём, – буркнул он. – Я профессионал. Кто деньги платил, тех и пиарил.

– Угу. Значит, самому тебе не совестно, грубиян.

– А не врезать ли мне в дверь новый замок?

Сострил Валериан Иванович из последних уже сил. Будь он один, рыдал бы уже в грязную тряпочку вместо платка. Чтобы переключить внимание, достал он из кармана очки и начал их вытирать полой рубашки. Чего она там несёт?

– ...чувство юмора явно деградирует, весельчак. Нет уж, давай я лучше отвезу тебя в Крым. Конкретно сначала в Саки. Там тебе колени намажут чёрной грязью. К тому же климатический курорт. Подходящее место для мужиков твоего возраста. А потом к моим старикам в Ялту.

Решившись, Валериан Иванович быстро нацепил очки – и окружающий его убогий мирок бросился ему в глаза в новом зрительном качестве, излишне, даже болезненно чёткий. Ну, зачем ему видеть эту грязь, эти махровые метёлки пыли на стойках стеллажа, этого посеревшего «человека-невидимку», этот потолок, где в зарослях паутины вполне могла бы укрыться летучая мышь? Он поднял глаза, чтобы присмотреться к Фае, маячившей посреди комнаты – уже не его комнаты. Увидел её в фокусе – и невольно отпрянул. Тощая мымра

со злыми чёрными глазками-бусинками не могла быть его драгоценной возлюбленной. Куда она поддевала свои роскошные цыганские очи? Почему свелись в две бледные полосы её пухленькие без всякого ботокса и красиво вырезанные губки, сводившие его с ума? Он припомнил только что ею сказанное, а им воспринятое, словно из-под толщи воды. Составил ответ.

– Это в тот самый чулан под лестницей?

Крашенная самозванка смутилась, смотрит в сторону. Нет, это её, Фаин носик, милый её подбородочек, заострились только. И разве не её голос звучит здесь весь день, голос злой и своенравной девчонки? Та показывала ему украденную у отца финку с наборной рукоятью и клялась, что никому не спустит обиды... Вот, придумала, чего ему сказать.

– Зато бесплатно. Гарантирую! Вместо благодарности будешь мне помогать. Я намерена официально оформить на себя активы Игоря, выплатить отступные всяким прочим претендентам на наследство и развлекаться, издавая газету для геев. Кажется, эта ниша свободна.

– Для геев? Ну, ну...

– А что ты имеешь против меньшинств, ретроград?
– осведомилась она с прежним задором.

Однако у него не оставалось уже душевных сил, чтобы поддержать прежнюю игру.

– Выходит, ты при деньгах, – сделал он вывод. – Не обманываешь меня? Ты уверена, Фая, что мне не следует отсюда выползти, найти нотариуса и оформить тебя наследницей моей неполученной пенсии?

– Не нужно, – отмахнулась она. – А ты не хочешь забрать с этой жалкой кухни свою мисочку?

– Удивляешь ты меня, Фая. Деньги идут к деньгам, это всем известно. И отказываться от них, не брать,

например, гонорар – плохая примета, всё потеряешь. Деньги – это жизнь, Фая.

И насколько серьёзно, как всей жизнью выстраданное знание, он это сказал, настолько же серьёзно она и ответила:

– А по мне деньги немного стоят, если ими нельзя продлить эту самую человеческую жизнь.

Валериан Иванович ахнул – внутренне, разумеется, и победил в себе желание снова поглядеть на Фаю сквозь очки. Вот теперь все части пазла сложились – и хужоба, и злоба, и глаза, обведённые чёрными кругами, и эти долгие отлучки в туалет. Ой-ёй-ёй... Он решил срочно перевести разговор.

– Знаешь, Фая, меня всегда угнетало, что дома живут дольше нас, людей. Только представить себя, скольких жильцов вынесли вперед ногами из доходных домов начала двадцатого века на этой улице, а кирпичные уродины всё стоят!

– Они долговечнее нас, если нет землетрясений или войн. Ещё реконструкций. Послушай, прежде чем мы вдвоём выйдем навсегда из этой убитой комнатки, я хочу расставить точки над «і». Мне совсем не лестно, что ты так переживал из-за меня. Ну, случился у тебя романчик с... Как бы о себе тогдашней поточнее сказать? Ты меня идеализировал, не без того. Когда я издавала газету «Наши кошечки», то, конечно же, прочитала всю фелинологическую литературу, всё из этой лабуды, что можно было тогда достать в Ялте или вытащить из Инета. И немножко свихнулась, как водится, на кошках, прежде чем они мне в конец опостытели. И вот тогда я вспоминала себя московскую не иначе, как ухоженной домашней кошечкой, породы египетская мау, уютно вытягивающейся на диване...

– ...на кровати Аделаиды Никоновны, на твоём роскошном постельном белье. А про твоё сравнение себя с кошкой, моя мама сказала бы: «Унижение паче гордости». Не знаю, откуда она выкопала это изречение.

– Да ладно уже... У тебя случился романчик с молодой замужней гулёной себе на уме, и разбежались мы не в самых приятных для твоего мужского самолюбия обстоятельствах. Нормальный человек постарался бы поскорее забыть – и кранты. Нет, ты устраиваешь себе из этого фетиш, будто дикарь из бедренной кости съеденного племенем миссионера. Да, теперь очевидно, что мы жили под пятой, что нам не доставало свободы... Вот мы и придумывали себе этакие хобби: кто по сибирским рекам на байдарках спускался, кто галстуки собирал, а кто, как ты, сопли размазывал вокруг несчастной любви. Будто любовь – это главное в жизни... Будто без неё и, правда, как в попсовой песне поется, нельзя прожить...

И она вдруг горько разрыдалась. Сидела в той же позе, только лицо сморщила и подвывала в голос.

– Ты-то отчего ревёшь? – спросил он, вконец сбитый с толку.

А Фая внезапно успокоилась, принялась вытирать глаза кружевным платочком. Пояснила:

– К сожалению, не один ты такой. А ты, небось, и каждой новой своей бабе плакался на судьбу, обо мне рассказывал. Да тут любая дура поймёт, что ты в ней меня пытаешься найти да прошлое вернуть! И кому оно могло понравиться? Вот ты и остался один в тяжёлые времена, ты, извращенец.

– Умно, однако. А давай-ка я расскажу о нашей квартире – о этой, где ты снимала комнату, а я ту комнату попытался купить. Хотя... Ты не раскапывала её историю?

– Зачем мне нужна была её история? Где бы я нашла время на такие пустяки? Достаточно того, что я тут... едва успевала тут учиться и жить.

– Вот он, типично женский подход. И как насыщено значениями слово «жить»! – усмехнулся он. – Всегда удивлялся, почему экзистенциализм не женщина придумала. А у меня нашлось время. Я не только прочитал в Ленинке всё, что было напечатано о нашей улице, я даже в архитектурный архив проник. Итак, в конце позапрошлого столетия этот дом построил купец Евсеев, богатый мукомол.

– И богомол? – оживилась она. – Мне всегда чудилось в мрачном декоре моего московского дома нечто истовое, даже старообрядческое.

– Об этом история умалчивает. Видно, Евсеев не очень надеялся на прочность своего мельничного бизнеса, потому что решил построить доходный дом. Однако на каждом этаже одна квартира была спланирована как роскошная даже для тех времён, и ту из них, что на третьем этаже, он предназначил для себя.

– То есть прямо под нами?

– Ну да. Поскольку Евсеев был уже немолод, то не поскупился на лифт.

– Значит, наш лифт, в котором все двери и дверцы надо руками открывать, ещё с тех времен? – уточнила она, то ли дурочку из себя строя, то ли думая о чём-то другом.

– Разумеется, Фая. Помнишь, я ещё спрашивал, куда подевали ворот, который жильцы должны были крутить, чтобы подниматься и опускаться?

– Твои шутки всегда были не смешны.

– Да разве? А теперь лифт сломался уже без шуток, и его больше не чинят. Так вот, старик Евсеев рассчитывал, что при любом режиме будет иметь на

хлеб с маслом, сдавая квартиры. Однако недооценил большевиков. Он сгинул во время «красного террора», а дом национализировали.

– Ты же хотел про нашу квартиру...

– Скажи, Фая, тебя в ней ничего не удивляло?

– Трудно сказать... Я воспринимала её как данность, философски. Хотя и странно, конечно, что за нашей кухней, за дверью, которая открывалась только с той стороны, что там ещё одна кухня, настоящая ванная и покои Аделаиды Никоновны.

– Так вот, всё это была одна большая квартира.

– Припоминаю, Аделаида Никоновна говорила, что дочь профессора, московского медицинского светила, и что большевики из уважения к нему оставили за ним квартиру, которую снимал у хозяина.

Валериан Иванович огляделся по сторонам и перешёл на шёпот:

– Врала твоя Аделаида Никоновна, если сама не обманывалась. Отец её служил в спецлаборатории НКВД. Ну, как, ты до сих пор не догадалась? О том, для кого предназначалась твоя... наша комната?

– Зачем ты меня пугаешь? Разве... здесь складывали трупы?

– Однако ж и фантазия у тебя, Фая... – признал он с уважением. – Нет, дело обстояло куда гаже: это был закуток для прислуги возле чёрного хода. Тогда джентльменский набор состоял из горничной и кухарки, для них комната. Напротив – сортир (не шляться же им в господский!) и кладовка.

– Не может быть... Здесь же кухня и душ.

– Одно название, что кухня. Кухня? Широкий коридор, где поставили газовую плиту. Сразу после войны Аделаиду Никоновну всё-таки уплотнили. Комнату для прислуги разделили перегородкой и за ней поселили

слесаря-сантехника. Получив служебную жилплощадь, парень добился от ЖЭКа, чтобы ему позволили устроить в кладовке душ.

– О! Великое дело – душ! Был бы, главное, сток, а воду всегда можно нагреть. Я столько лет мылась в тазу, по частям...

– Искренне сочувствую, Фая, – покосился на неё Валериан Иванович. Он попытался представить, как она, прежнее смуглое чудо, моется в тазу, но не смог.

Не оттого не смог, что утратил игривость воображения, а потому что, наконец, окончательно решился. Нет, доживать жизнь в каморке под лестницей? Разве недостаточно для него и того позора, что половина комнатки для прислуги оказалась недоступным для него идеалом жилья? И если Фая с присущим душевным благородством возьмёт на себя его содержание, то разве не примется она почти тотчас же наставлять и воспитывать милого друга прежних дней? Ну, уж нет! И не станет он за крышу над головой и жратву соперничать бедной Фае все те немногие месяцы, что оставила ей на прожить страшная болезнь. Не такой уж он хороший человек, чтобы добрые чувства подвигли его на такое самопожертвование, а уж давняя страсть тут так уж точно не аргумент.

– Выйду-ка я, пожалуй, на балкон подышать свежим воздухом.

– Смотри только, чтобы тебя не продуло. А я пока начну собираться, пожалуй.

В другое время её заботливость растрогала бы его до слёз, но не сейчас.

По-прежнему в очках, Валериан Иванович подполз к стеллажу, снял с гвоздя галстук, развязал его и тщательно завязал уже у себя на шее. Это ведь был его фетиш. Символ будущего выхода из разлуки.

Мечтал ведь, пока намертво не отчаялся, что в один прекрасный день, когда жизнь вернётся на круги своя, он отправит резюме. Его пригласят на собеседование. И тогда он наденет этот галстук. Менеджер, проводя кастинг, уставится на изумительное украшение его шеи и не обратит внимания на... на всё прочее не обратит внимания.

Чувствуя приятное неудобство галстука у себя на шее, он перевёл взгляд на стеллаж и увидел на пустой полке тесно поставленный ряд своих любимых книг, будто и не исчезали они. И Багрицкого в малой серии «Библиотеки поэта» увидел. Погладил дерево стойки ладонью. Скривился, занозив руку, но возиться с занозой не стал.

Валериан Иванович уже у балконной двери. Подтянувшись на дверной ручке, встал на ноги, оставил на подоконнике ключи. Повернулся к Фая, снимающей со стеллажа розовое платье-макси, и прошептал в её худую спину:

– Тебе на это, Фая, лучше не смотреть.

Притворив за собой балконные двери, Валериан Иванович максимально выпрямился. Огляделся. Поскольку очков он не снимал, мерзость запустения на балконе предстала перед ним в ненужной, собственно, чёткости, а вот высотка метров в двухстах, та, напротив, расплывалась. Решил, что оно даже к лучшему, и остался в очках. Не увидел, как распахнулось окно на предпоследнем этаже высотки, однако вздрогнул в тот самый момент, когда в тёмном прямоугольнике взметнулось белое облачко.

Валериан Иванович ещё услышал короткий хруст пули, вошедшей ему в переносицу, но уже не воспринял

звук далёкого винтовочного выстрела, когда тот достиг балкона.

Его бывшая подруга, та только выстрел и расслышала. Свой человек на армейских полигонах и стрельбищах, Фаина Витольдовна мгновенно определила и тип оружия, и примерное расстояние до стрелявшего.

Нахмурившись и стиснув зубы, она сняла со стеллажа и уложила в остов чемодана последние две тряпки, потом связки газет и только тогда позволила себе повернуться к балкону. Валерик уже не стоял там, а запыленное внешнее стекло балконной двери оказалось заляпанным большими красными и мелкими розовыми пятнами.

– И Валерика тоже... – выдавила из себя Фаина Витольдовна и коротко, сухо всплакнула. – Неужто судьба прощается со мной, убирая одного за другим всех моих мужиков?

Она достала из поясной сумочки портмоне, из него тысячедолларовую купюру. Подумав, заменила её на пять стодолларовых. Взяла чемодан под мышку колючей разломанной стороной к себе. Вышла в коридор, ненужно заперла за собой дверь и постучалась в соседнюю.

– Да что ж это такое?! Мальчонка только заснул... – выскочил сантехник, топоча, как слон.

– Слышали выстрел? Валерик... Валериан застрелен на балконе. Это на похороны.

Она засунула хрусткие бумажки ему в нагрудный карман пижамы, кивнула и повернула ко входной двери.

– Где мне вас искать, мадам? – услышала за плечами.

– Нигде. Я ведь сюда и не приходила! – крикнула она уже с лестничной площадки.

Только на узкой и грязной лестнице она поняла, как доставала её та комната, хоть и практически пустая, своей теснотой. А выйдя из двора на улицу, была оглушена многоцветием и многоголосием этой маленькой Москвы. Словно в суматошном сне, повернула направо и прошла до троллейбусной остановки. Даже не удивилась, когда остановка оказалась в том же месте, что и двадцать пять лет тому назад. Не сообразив, как заплатить за проезд, она проехала «зайцем» до бульвара.

И только на скамейке, выключив себя из вечной московской сутолоки, несколько пришла в себя Фаина Витольдовна. Достала из сумочки свои слабенькие «Саргі» и зажигалку, закурила. Тут же закашлялась и выбросила, загасив, в урну едва начатую сигарету. Однако главное было почувствовать во рту вкус табачного дыма. Она тотчас мобилизовалась, огляделась и в ту же урну опустила связку ключей от своей московской берлоги. Спрятаться там была идея совсем не плохая, но вот с воплощением идеи в жизнь у неё получилось, как всегда. Фаина Витольдовна вынужденно позволила себе задуматься о смерти Валерика, и уже соскальзывала к мысли о том, что не виновата в ней ни в малой степени – или вот как раз в самой малой степени виновата, когда её айфон сыграл первые такты «Оды к радости» Бетховена.

И кому бы звонить? Номер высветился незнакомый гаджету. Она ткнула пальцем в зелёное поле ответа.

– Это Фаина Витольдовна? – осведомился полужанкомый мужской голос.

– Да. А с кем...?

– Я майор Симоненко из Ялтинского уголовного розыска, Пётр Афанасьевич. Я вас уже допрашивал по делу о самоубийстве вашего мужа. Открыто новое про-

изводство, и мы не смогли доставить вам повестку. Вы должны срочно прибыть по известному вам адресу, кабинет номер...

– Да я не смогу, приехать в ближайшее время, – прощепетала она. – Уж слишком я далеко, Пётр Афанасьевич.

– А где вы, если не секрет?

– Какие могут быть от вас секреты, господин майор? Я в Мурманске и в ближайшие часы отбываю на ледоколе в круиз по Северному морскому пути.

– Вам нужно срочно вернуться, Фаина Витольдовна. Родственники вашего мужа требуют эксгумации.

– Вот как? Ну, тогда я с вами буду общаться только в присутствии адвоката. Извините, меня зовут.

Она нажала на красное поле и выключила звук. Испытала сильнейшее желание отправить игрушку в мусор вслед за ключами, но удержала себя. Достаточно вынуть карту. Что ж, номер в мурманской гостинице «Жемчужина» заказан и оплачен, билет на ледовый круиз на «Ямале» заказан. Воспользовавшись запасным загранпаспортом на фамилию Олега и с правильным отчеством, Виленовна, она будет в Киеве уже завтра утром. И сразу же вылетит... ну, в Прагу. Пока ялтинские менты наведут справки в Мурманске, пока репу себе почешут... Ищи-свищи «человека-невидимку», путешественницу вдоль хладного берега Стикса.

2018 г.





, Вильям Шекспир

и другие...

Пъеска



[В день 70-летия Станислава Росовецкого на банкете юбиларом были зачитаны написанные им три миниатюры-поздравления от писателей, к творчеству которых он неоднократно обращался в своих научных трудах и художественных произведениях: Вильяма Шекспира, Тараса Шевченко и Михаила Булгакова. Вместе они образуют мини-спектакль. – *Прим. ред.*]

* * *

Тут вот ещё письмо пришло, электронной почтой, на английском. От «Stratford-upon-Avon_Holy_Trinity_Church@uk.com.» Пришлось переводить электронным же переводчиком, так что вынужден просить прощения за результат.

Добрый вечер, Стэн!

Не очень-то впечатлил мой 450-летний всемирный юбилей. Неужто я, великий Вильям Шекспир, уже в зубах навяз у публики? Меня очень тронуло, что ты хотел помочь моей славе своей комедией обо мне, но... Такое впечатление, что злобный рок преследовал нас обоих. Ты слишком долго выбирал переводчицу-немку, театр Российской армии отказался от обещанной постановки, и даже скандальный режиссёр Искандер Сакаев не нашёл провинциального театра в России, в котором мог бы поставить твою эпатажную пьесу поставить. А там и твой немецкий литагент скрылся в неизвестном направлении.

Но стоит ли сегодня о грустном? Ведь сегодня ты, одинокий душой, как и всякий порядочный писатель, в окружении очаровательных женщин и мужественных кавалеров празднуешь своё семидесятилетие.

Я хотел поздравить тебя сонетом, но проблемы перевода... Вот тебе пьеска.

Персонажей двое – я и Мэри Грин. Ты её, бесстыдницу, сам придумал, так что не сетуй...

Итак. Место действия:

Клаптон-бридж, отменно уродливый, но прочный мост в Страдфорде-на-Эйвоне. Осенний полдень.

Шекспир (*склоняет голову*). Я – Вильям Шекспир, богатый домовладелец торгового города Страдфорда-на-Эйвоне, живу себе в нём на покое. Мне под 50, вы бы мне дали не больше сорока. Седая прядь в длинных волосах только подчеркивает мою молодость, не так ли? Я выгляжу, как на гравюре «Первого фолио», украшающей титульный лист.

Мэри (*приседает*). А я – Мэри Грин, незамужняя дочь главного олдермена, первая красавица Страдфорда. Мне семнадцать лет.

Шекспир. Прошу тебя, честная Мэри, ответь на мои вопросы по совести. Согласна?

Мэри (*бурчит*). А куда денешься? (*Громко*). Рада служить, сэр.

Шекспир. Это правда, что ты купила «Шекспировы сонеты» на книжном прилавке под вывеской, изображавшей белую борзую, на паперти собора св. Павла? И что тотчас же выложила за них десять пенсов, полученные от отца на покупку сукна для новой юбки? И что в результате пострадала именно та часть тела, которую должно было согреть не купленное сукно?

Мэри. О! Нет, сэр.

Шекспир. Это правда, что ты пришла ко мне в мой дом Нью-Плейс с поручением от церковного кружка девственниц-штопальщиц при нашей церкви святой Троицы?

Мэри. Нет, конечно! (*Хихикает*). Это же надо было такое придумать...

Шекспир. Ты и в самом деле пыталась играть на моём клавесине, в то время как я плясал для тебя «Моррисов танец»?

Мэри. Как интересно... Нет, сэр.

Шекспир. Ты и вправду вынудила меня рассказать тебе о парадоксах страстной любви?

Мэри. Увы, нет, сэр.

Шекспир. Мне, право, неловко... Разве мы целовались, Мэри, на прощанье?

Мэри. Как можно, сэр?

Шекспир. Спасибо, Мэри. (*Шекспир поворачивается к публике, Мэри показывает его спине язык*). Вот видишь, Стэн...

Мэри. Минутку, сэр. Раз уж вы меня спрашивали... Да, я не покупала в Лондоне ваших сонетов, и моё мягкое место за это не пострадало. Но в прошлом году один мой приятель... Бывший приятель, школяр... Он подарил мне затрёпанную тетрадку ваших любовных сонетов, выписанных из печатной книжки, и я почти все вызубрила наизусть. Да, я не приходила в Нью-Плейс, но, когда вы приехали, мне очень захотелось увидеть вас, ведь слышала о вас немало разного. Вот только вы не бываете в церкви, и я встретила вас только через две недели на этом самом мосту. Меня ужасно разочаровало, что вы такой старый. Однако вы так элегантны. И ещё, проходя мимо и занятый разговором со спутником, нашим аптекарем, вы мимолётно мне улыбнулись – и сразу так похорошели. И от вас так приятно пахло – совсем не так, как от моего отца. Да, мы не целовались. Но почему вы так уверены, что я не мечтала об этом? О нежной дружбе с вами?

Пауза.

Шекспир. Я смущён, Стэн. Хотел было сделать тебе выговор за то, что честных страдфоцев и страдфордианок изобразил ты такими же свободными и неистовыми в поступках, как и я, грешный. Мы, мол, актёры, особь статья. Нам ведь и так закрыт путь в Царствие Небесное. Теперь готов согласиться, что люди вокруг тебя и вокруг меня куда более похожи, чем мне представлялось. Понятно почему: и мы, и вы, отнюдь того не желая, вынуждены жить в эпоху трудных перемен. *(Склоняет голову)*. С днём рождения!

Мэри *(приседает)*. С днём рождения!



* * *

Ще один лист... На звороті невдалого відбитка офорту, заляпаний друкарською фарбою... Дрібний почерк, ледве розшифрував... Від оригінала тхне горілкою та «Портером»... Ще тхне... Краще промовчу, чим... Та скажу вже, а то бозна що подумаєте. Землею тхне. Отже...

Друже мій єдиний!

Дійшли до нашого товариства дві твої книжки. Якийсь шевченкоман (це ж треба!) наказав покласти собі в домовину під голову твою вчену книжку «Тарас Шевченко і фольклор», а п'єсу «Шевченко під судом» щоб дали в руки. Отак і прибув.

З поваги до мене дозволило мені товариство розпочати прочитання і дали вибрати книжку. Кажуть люде, спочатку солоного, а потім і солодкого покуштуй, тож взяв я вчений талмуд. Що ж, велемудрих слів забагато, деінде про ті речі пишеш, які кожний українець з дитинства знає, але багато що мене зачепило. І навіть замислився – а чому, справді, ніде в писаннях своїх не згадую загадок і того вертепу? Приємно, що вбачаєш у мені вченого-історика, я й сам таким себе відчуваю. Наприкінці, де про мене та про якийсь Інтернет, навіть просльозився. Ти кажеш про «відчуття внутрішньої спорідненості з генієм, яке не має нічого спільного з вульгарним амікошонством». Оце по-нашому! Тому й

звертаюся – «друзе мій єдиний». Ще мені приємно, що поляк пише не лише про українця, але й прекрасним нашим українським язиком.

Потім примандрувала до мене п'еса. Примірник уже був на берегах прикрашений помітками товариства. Читалася ця річ легше, а помітки... Це на краще, що тобі їх не доведеться побачити. Висловлю і свою думку, її не прикрашаючи. Стосовно того світу (це для тебе «того», а для мене – «цього», матері його ковінька!) та його побудови ти багато що вгадав. Але мені писати про це зась. Дивно, але звідси можна вляпатись до місця ще прикрішого. Не сподобалося, як ти з мене зробив не лише пророка, але ж і людину завзяту, що головує, командує, покійному цареві наказує. Це так само, як на останній мій день народження у вас натягнули на мене якийсь шолом і одягли в броню, теж новомодну. Теплий кожух, та не на мене шитий. Мені за десять років і отой солдатський мундир, ременями хрестоподібно перехрещений, остогидів безмірно. Я ж людина мирна, тиха.

І, пробач, коли вже пророк, тоді якого біса було згадувати про мої пригоди в борделях? Що було, те було, але ж ти змальовуєш неймовірно, розважаєшся потойбічними скандалами. Ось... «Вихід із залу ліворуч із грохотом розчиняється, звідти вириваються язики червоного полум'я, скиглення, вереск і крик, що перебиваються важким роком». Як це? «Немов виштовхнута цими звуками, до залу влітає Адольфінка – дама середніх літ, жахливо намазюкана й у вульгарному отруйно-зеленому платті, однак із слідами колишньої визивної краси. Втім, залишки цієї краси важко розгледіти в Адольфінці, напівобгорілій, точніше, обгорілій з правого боку. Вся вона праворуч чорно-червона, волосся праворуч вигоріло, праве око

витекло від жару і хитається на ниточці. Продовжуючи верещати, заплигує на сцену. За нею гониться через зал і наздоганяє її на сцені ще одна дама середніх літ, знову-таки в жахливому червоному платті, в голові у неї топорищем уперед сторчить сокира, від талії і нижче вона у чорній блискучій смолі. Ця ковилає нерівно, тому що своїм черевиком на високому кóрочку все силується засвітити по голові першій дамі. На сцені дами зчіплюються, намагаючись кóпнути одна одну ногою і поливаючи одна одну лайкою не менше ніж трьома мовами».

Ти ж сам пишеш, що «дами». Як жінки, вони заслуговують на повагу, хоч і... сам знаєш хто. Подивись, якими словами я писав про таких жриць Пріапа. «Очаровательное семейство», он як їх називав у «Журналі».

Мало не забув, будь здоров, із сімдесятиріччям. Живи хоч і до ста, коли Бог так хоче.

Твій щирий Т. Шевченко.



[Как возникло интервью, взятое Михаилом Булгаковым у Станислава Росовецкого. Знаменитый писатель был для этого выпущен на одну ночь в Киев из мест весьма отдалённых, а именно из потустороннего мира. Поводом для переполоха на том свете стала новость о напечатании издательством SELENA романа «Белая гвардия-2, или Возвращение Мышлаевского» (Киев, 2015)]. – Объяснение С. Росовецкого (прим. ред.).

Слегка готическое интервью

Позавчера я проснулся среди ночи, в четверть третьего. К бурным гениям ваш покорный слуга никаким своим местом не относится, посему обычно спит себе покойно, как младенец, до рассвета. «Ну, проснулся, эка невидаль!» – скажете вы. Однако меня сразу же кое-что смутило. Часы! С прикроватной тумбочки на меня светил мёртвым химическим сиянием циферблат старинного будильника, с наведенными белым фосфором стрелками и цифрами, с двумя звоночками сверху – и это на месте моей удобной пластиковой говорящей коробочки. Кроме того, в комнате я был не один.

– Зажгите свет, графоман! – прозвучал в темноте капризный, несколько надтреснутый баритон. – В вашей берлоге сам чёрт ногу сломит! А мне сейчас только поломанной ноги не хватает...

Я тут же дёрнул за шнурок лампы под старину. Возле моего письменного стола, в начале XX века принадлежавшего известному фабриканту трубочного табака, топтался вовсе не чёрт. Человек невысокого роста, в несвежей белой рубахе под толстым домашним халатом и в ермолке, прикрывавшей, очевидно, плешь на макушке. Глаза на лице, после болезни и морфия скорее добродушном, были зажмурены, однако я сразу узнал Михаила Булгакова. Конечно же, можно бы сейчас

и не упоминать о гипотетической плещи и несомненном морфии, но тогда я обиделся на «графомана».

– Здравствуйте, Михаил Афанасьевич, – ответил я.

– И почему так уж сразу и «графоман»?

– Как вы можете работать среди этого хлама? – проворчал гость, показав подбородком на столешницу, действительно заваленную папками, бумагами да вырезками и с поставленной посредине для понта пишущей машинкой «Каррел» 1932 года выпуска. Слава богу, мой настоящий рабочий уголок спрятан за расписной китайской ширмой. – А кто же, если не графоман, вздумал бы печатать продолжение чужого романа? Да и ваше нелепое пожелание мне здоровья выдаёт, согласитесь, литератора, не умеющего работать со словом.

Я почувствовал, что краснею. Однако не стал робко поддакивать знаменитому покойнику.

– Но если вы, Михаил Афанасьевич, пребываете в местах весьма унылых, как смею догадываться, тогда как вы узнали о выходе из печати моего романа «Белая гвардия-2, или Возвращение Мышлаевского»?

– Слухами земля полнится, – ответил он туманно. И, несколько оживившись (опять не то слово?), воскликнул. – Думал я, что уже не испытаю большего огорчения, чем после гадостной многосерийной фильма по этой многострадальной моей «Белой гвардии». Там раскормленный актёр, некто Пореченков, смахивающий на сметливого деревенского конюха, играет моего любимца Мышлаевского. В фильме даже милый Николка туп и толст! Но нет предела моему невезению! Теперь вот вы мародёрствуете. И зачем, спрашивается?

О, мне было что на это ответить! Однако Булгаков прервал меня, выставив перед собою сухую свою ладонь.

Потом выпятил нижнюю губу, достал из кармана халата сложенную вчетверо бумажку и сунул мне.

– Мне пришлось вспомнить одно из занятий своей голодной писательской молодости. Чтобы попасть в Киев, согласился я взять у вас интервью для нашего журнальчика, «Адской почты». Тут набросал я вопросы, а вы, уж будьте любезны, впишите ответы. А я пойду прогуляюсь по Городу, увольнительная-то у меня до утра...

И он начал растворяться в воздухе. Я спросил поспешно:

– А что мне с этим потом делать?

– Да вложите в конверт и бросьте в щель любого почтового ящика. Только не забудьте надписать «В "Адскую почту" для Фёдора Эмина»... – успел ответить Булгаков.

Утром и в самом деле на ковре обнаружилась та самая бумажка. Была она в серых пятнах, и я очень надеюсь, что их оставила не земля из могилы.

Порывшись в памяти, я припомнил, что сатирический журнал «Адская почта» Фёдор Эмин издавал в 1769 году. Бывший турецкий подданный, полиглот-переводчик, беллетрист и духовный писатель, он вскоре скончался на руках изумлённых его предприимчивостью и плодовитостью россиян. Теперь оказалось, что и длительностью издания «Адской почты» Фёдор Эмин поставил невиданный рекорд!

Вот как возникло интервью, предлагаемое ниже вашему вниманию. Вопросы обозначены инициалами **М. Б.**, а ответы – **С. Р.** Приём этот рассчитан на опытного или догадливого читателя.

* * *

М. Б. Как вы посмели нарушить мои авторские права?

С. Р. Ваши авторские права, Михаил Афанасьевич, не нарушены, потому что «Белая гвардия» вот уже второе десятилетие как находится во всенародной собственности. Цитирование же её текста, использование персонажей вашего романа, а уж тем более игра с их прототипами – всё это вполне соответствует традициям современного литературного процесса

М. Б. Зачем вы тщились продолжить мой роман? Ведь была уже такая попытка, не имевшая успеха.

С. Р. Да, известно рижское издание 1926 года с продолжением первых 11-ти глав по последнему действию «Дней Турбиных». Это была пиратская, хамская и чисто коммерческая анонимная халтура.

Мой же опус преследует цель совершенно иную – упрочить и развить славу вашей «Белой гвардии», перенеся на отечественную почву западную традицию сиквелов популярнейших романов. С научной точки зрения такие «продолжения» входят в пёструю мозаику «пост-текста» произведения (термин публикаций «Института манускриптов» в Париже) – рядом с рецензиями, авторскими интервью, театральными инсценировками и экранизациями, с биографиями писателя и исследованиями его творчества, с фанфиками, наконец. Но я хотел сделать не коммерческое или

любительское бездарное подражание, а написать нечто вроде «Скарлетт» Александры Рипли.

В этой связи прошу вас обратить внимание, что я не пошёл наиболее простым, очевидным путём. В своё время, охмуря дочь графа Каменского Ирину фон Раабен, ставшую простой московской машинисткой, вы рассказали ей, что во второй части трилогии действие будет происходить в 1919 году, а в третьей в 1920 году, при этом Мышлаевский перейдёт на сторону красных. Очаровывали вы аристократку-машинистку для того, чтобы она бесплатно перепечатывала для вас «Записки на манжетах» и «Белую гвардию», выходит, её воспоминаниям можно доверять: не стали бы вы молодую женщину обманывать насчёт содержания книги, которую ей предстояло перепечатывать. В этих условиях совершенно естественно было бы в «продолжении» использовать этот ваш план, держась канвы вашей биографии, в наше время уже неплохо изученной. Я же предпочёл придумать оригинальный сюжет, поместив в него некоторых ваших персонажей рядом с выдуманными мною. Сохранив общее членение на 20 глав, я не соблазнился имитациями вашего стиля и приёмов композиции.

Должен заметить, что выражение «Белая гвардия-2» появилось (когда мой роман уже был написан) в составе заглавия шедевра 2014 года Александра Бушкова «Принцесса на алмазах. Белая гвардия-2». Этот боевик из серии «Пиранья» не имеет к вашему роману никакого отношения. А. Бушков плодовит и скор выпекать роман за романом не хуже Фёдора Эмина; как и тот, он обошёлся средним образованием, зато дерзает громить современные науки, биологию и историю.

М. Б. Что действие «продолжения» происходит в Киеве, это можно понять. А вот с какой стати летом 1922 года?

С. Р. Может быть, вам, Михаил Афанасьевич, и понятно, почему в романе место основного действия – это Киев (в начале есть сцена в Бердичеве, в середине – в Берлине и на Кавказе, в середине и в конце – в Москве), но сейчас я ведь пишу и для читателей «Адской почты». Хотя, в отличие от вас, я не коренной киевлянин, но живу в этом прекрасном городе вот уже больше полувека и считаю его самым прекрасным местом на земле. Вот мне и было безумно интересно восстановить облик Города и особенности жизни киевлян в самом конце гражданской войны.

Есть ведь одна тонкость. Если для вас «Белая гвардия» была романом о ваших современниках, и вы могли ещё получить письмо от красного командира, назвавшего себя «Мышлаевским», то сейчас в восприятии читателя и ваш роман, и его сиквел неизбежно смещаются в зону исторической романистики. Следовательно, познавательная, историческая функция выходит на первый план. Мне же очень интересной и совсем не отраженной в литературе показалась эта смутная эпоха начала 20-х годов между военным коммунизмом и НЭПом, между принципиальным интернационализмом победивших коммунистов и их попыткой «украинизации» Киева и городов Восточной Украины. Пусть эта историческая обстановка только фон в моем романе, но мне было чрезвычайно интересно его прописывать. И поверьте мне, что я использовал все доступные в наше время исторические источники.

А почему действие происходит в начале лета? Во-первых, Город, заваленный снегом, вы уже описали. Во-вторых, в замерзающих, заиндевевших квартирах

любовные сцены выглядели бы чересчур гротескными, разве нет?

М. Б. Какой смысл имеет сталкивание в вашем «продолжении» разных прототипов поручика Мышлаевского?

С. Р. Да потому что мой роман откровенно постмодернистский. Согласен, что в литературе России он мог бы именно в этом аспекте выглядеть анахронизмом, да только не в Украине, где русскоязычная литература определённым образом привязана к процессам, происходящим в сучукрите. И если прибудет к вам (чего не дай бог!) какой-нибудь мой коллега по сучукриту и гордо заявит, что новейшая украинская литература проделала эволюцию от соцреализма к нацреализму через постмодернизм, не верьте ему: это будет в лучшем случае преувеличением. Как и в других областях гуманитарной, духовной деятельности, пропущенный Украиной во время принудительной советской автаркии художественный опыт Запада невозможно быстро и по дешёвке имплантировать в современную культуру, его необходимо не только серьёзно осмыслить, но и фундаментально переварить, освоить осмысленно, творчески и свободно.

Сказанное полной мерой касается и постмодернизма. Думаю, мы не скоро еще избавимся от обаяния этого новейшего «эллинизма», где на первый план снова выходит интерпретация и переосмысление сотворенного ранее. Вот только градус смелости интертекстуальных изысков со времён поздней античности подскочил выше крыши, так что не сетуйте на злоключения вашего Мышлаевского, Михаил Афанасьевич! Не моя он жертва, как и прочие персонажи, а постмодернизма. Вот.

Глубинный же смысл игры с прототипами при выстраивании образа «красного» Мышлаевского – часть общего замысла, о котором, как я надеюсь, вы меня еще спросите.

М. Б. Зачем было в поделку с использованием персонажей моего романа втискивать ещё и детективный сюжет?

С. Р. А в интересах читателя, Михаил Афанасьевич, для его, нашего повелителя и кормильца (шутка!) развлечения. Осмелюсь заметить, что и в сюжете вашего высоконравственного и философического, как нам теперь говорят, произведения есть традиционные беллетристические завлекалки. Например, мотивы «погони», «счастливого избавления от неминуемой смерти», «жертвенного подвига», «несчастной любви». И ведь «Белой гвардии» это только на пользу!

М. Б. Какого дьявола вы вставили в свой текст мое сатирическое... нет, скорее шаржированное изображение?

С. Р. Разве ваше? О вас лично говорит только Иван Русаков во введении к моему роману. Вы его, жалкого гения, сами ведь придумали, с себя и спрашивайте, если он, болезный, что неприятное для вас проварнякал. А в самом романе о вас ни слова, а только об Алексее Турбине. Снова же вы сами соизволили его сделать в «Белой гвардии» и в пьесе «Дни Турбиных» своим вторым «я», тем самым предоставили возможность продолжить игру с прототипом, несколько её усложнив. А что в главе о кавказских мытарствах Алексея Турбина есть элемент биографической легенды, так вы ведь и сами рассказывали о себе всякие выдумки. Той своей бесплатной аристократке-машинистке это разве не вы заливали, что пришли в Москву из Воронежа пешком по шпалам, в Москве одиноки и ночуете в подъездах?

М. Б. Даже пошлый анекдот рассказывают не просто так, а с некоей целью, сверхзадачей. А что вы хотели сказать своим весьма несовершенным текстом?

С. Р. Да чего уж там. Отвечу как на духу. К вашей славе я хотел примазаться, Михаил Афанасьевич. Теперь ведь, если уж вышла моя книжка, то независимо от её качества, худа или хороша, она уже привязана к вашему шедевру и будет иногда упоминаться в литературе о нём.

Однако на самом деле этот шкурный интерес и в голову мне не приходил, когда роман только задумывался. Мне просто безумно хотелось написать о том, как Мышлаевский демобилизуется и возвращается в город своей мечты. Я ведь тоже был офицером и служил в той же Красной армии, реформами Сталина и в структуре своей, и в ментальности во многом воспроизводившей царскую. В своём славном 167-ом гвардейском полку я чувствовал себя, будто оказался среди персонажей «Поединок» Куприна, и так же, как и простоватый Мышлаевский, возвратился в любимый Киев к мирной, штатской жизни, будто с того света.

И вот история написалась, как написалась. Хорошо. Однако же и самому мне пришлось задуматься, о чём же это и что я хотел сказать. Что ж, пока критики помалкивают, попробую объяснить сам. Это книжка о том, как люди переживают навязанные им сверху, жестоко и безапелляционно, кардинальные изменения в их привычной, устоявшейся столетиями, обросшей традициями и пережитками жизни. К новой социальной политике, к новой идеологии можно приспособиться, напялив будёновку со звездой или перепечатавая статьи большевицких хозяев жизни, но трагические противоречия неизбежны. Образом придуманного председателя облисполкома «Зубра» я хотел показать, что новый коммунистический порядок не соответствует

человеческой природе. Вот карьерист Карась не знает пока сомнений, но призрак революции, пожирающей своих детей, уже повисает и над ним.

А Мышлаевский отторгнут городом и его людьми, геройствует и погибает бесславно потому, что он... и в самом деле симулякр, как обзывает его двойник и прототип Бржезицкий. Ведь я, настоящий автор, передал повествование гротескному Ивану Русакову, а он с ролью демиурга, творца художественного мира не справляется. Не по силёнкам это ему. Жаль, если вы, Михаил Афанасьевич, не слышали песню о «волшебнице-недоучке» на слова Леонида Дербенёва. Ваш – и мой – Иван Русаков тоже всё творит «кое-как». Мышлаевского он пытается скроить из нескольких прототипов, как бы проходя с конца в начало работу вашего, Михаил Афанасьевич, воображения над этим персонажем, но швы остаются. Сам-то Русаков пыжится, пытается апеллировать к своим особым отношениям с Богом и дьяволом, но втуне. Придуманный им мир рушится, будто декорации в заброшенном театре, а чекисты, те никуда не делись.

И разве нас с вами, Михаил Афанасьевич, пусть и в разные времена, история не брала за шкуру, как слепых котят, и разве не открывала принудительно перед нами «новое небо и новую землю» (Откр., 21,1)?





Тексты	3
Играли «Ревизора» <i>Комедия</i>	5
Умник кёнигсбергский <i>Одноактная комедия</i>	101
Шекспир как ты и я <i>Комедия в 3-х актах</i>	123
Киевские мечты о Шевченко 1859 года <i>Комедия в 3 актах</i>	219
Шевченко подсудимый <i>Трагифарс в четырёх актах</i>	285
Гений измены <i>Жестокая игра об украинской интеллигенции в двух действиях, четырех картинах</i>	401
Разруха à trois <i>Пьеса абсурда в трёх картинах для актрисы и актёра старше среднего возраста и ещё одного актёра помоложе</i>	485

В прохладной тени повешенного <i>Комедия в двух действиях</i>	545
Alma вашу mater! <i>Трагикомедия в двух действиях, шести картинах</i>	633
Игры в братской могиле <i>Макабр-комедия в двух картинах</i>	747
Варианты	821
С Дракулой в кустах <i>Пьеса умеренного абсурда в двух действиях для актёров несколько старше среднего возраста (Вариант пьесы «В прохладной тени повешенного» 2007 года)</i>	823
Жильцы Аделаиды Никоновны <i>Повесть (перделка пьесы «Разруха à trois»)</i>	915
«Я, Вильям Шекспир» и другие...	
<i>Пьеска</i>	971
[Вильям Шекспир]	973
[Тарас Шевченко]	977
[Михаил Булгаков]	981





РАМАТУРГНЯ



ТАНИСЛАВА



ОСОВЕЦКОГО

Литературно-художественное издание

Станислав Казимирович Росовецкий

ДРАМАТУРГИЯ

Тексты. Варианты. *Сборник пьес*

Редактор: Ю. Б. Дядищева-Росовецкая

Компьютерная вёрстка: Ю. Б. Дядищевой-Росовецкой

Корректор: Ю. Б. Дядищева-Росовецкая

В дизайне обложки использованы элементы графики
С. К. Росовецкого к изданию «Спадкoемні зв'язки
національних словесних культур» (Київ, 1997) –
восстановлено Ю. Б. Дядищевой-Росовецкой

На авантитуле фотография С. К. Росовецкого
авторства С. Н. Саломатина